

Александр Терехов

КАМЕННЫЙ МОСТ

роман



Александр Терехов

**КАМЕННЫЙ
МОСТ**

роман

аст / астрель

москва

Художник *Андрей Бондаренко*

В оформлении переплета использована
фотография из личного архива автора

Терехов, А.М.

Т35 Каменный мост: роман / Александр Терехов. — М. :
АСТ : Астрель, 2010. — 830, [2] с.

ISBN 978-5-17-058261-7 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-23255-8 (ООО «Издательство Астрель»)

Герой романа Александра Терехова – бывший эфэсбэшник – проводит расследование трагической истории, случившейся много лет назад: в июне 1943 года сын сталинского наркома из ревности застрелил дочь посла Уманского и покончил с собой. Но так ли было на самом деле?

«КАМЕННЫЙ МОСТ» — это роман-версия и роман-исповедь. Жизнь «красной аристократии», поверившей в свободную любовь и дорого заплатившей за это, пересекается с жесткой рефлексией самого героя.

Лауреат премии «Большая книга».

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус) 6-44

Текст дается в авторской редакции. За достоверность фактов и документов, а также интерпретацию реальных событий, изображенных в романе, несет ответственность автор

Подписано в печать 15.12.09. Формат 84×108¹/₃₂.

Гарнитура «Ньютон». Усл. печ. л. 43,68

Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 4024006

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.09 г.

ISBN 978-5-17-058261-7 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-271-23255-8 (ООО «Издательство Астрель»)

© Терехов А.М., 2008

© Бондаренко А.Н., оформление, 2009

© ООО «Издательство Астрель», 2009

Финский лыжник

Ни разу в жизни я не занимал первого места. В воскресенье мало французов, немцев, англичан. Экскурсионные автобусы подвозят поляков, да таскаются безликие военные китайцы в мешковатых френчах. А что им? Гжель, платки, матрешки... Серьезные покупатели в Измайлово приезжают по субботам. Сегодня нечего ждать.

Я кивнул соседу Рахматуллину – тот торговал железом: самоварами товарищества Баташова, разнокалиберными гирями, замками, утюгами, колоколами и мельхиоровыми подстаканниками кольчугинского завода с Кремлем – присмотри, и побрел к лестнице, ведущей вниз, под деревянный указатель (палец с насмешливой надписью «антиквариат») – на блошиный рынок.

Там, на продуваемых, неосвещенных деревянных балконах, бродяги, сироты, выбракованные школой, и гордые старухи раскладывали на одеялах и клеенках награбленный человеческий мусор из брошенных и отселен-

ных домов: лысые куклы с закотившимися глазами, керосиновые лампы, жестяные коробки из-под монпансье и чая товарищества «Высоцкий и К°» со знаменитым корабликом на этикетке, квитанции фотоателье довоенных лет, елочные игрушки из цветного картона, почерневшие кофемолки, обрывки париков, словно скальпы... Попадались и оловянные солдаты, правда, редко, все больше пластмасса и уродцы из «киндер-сюрпризов», но в июне я всего за триста рублей купил на «блошке» прогрессовских «Солдат революции» в превосходном состоянии — у «солдата, идущего в буденовке» цела винтовка, только погнута, — и продал на «Молотке» за две сотни «бакинских». Еще рассказывали про старуху, просившую «хоть сколько-нибудь» за «красных казаков» сороковых, что стоят в Инете по полторы штуки долларов каждый. «Казачков» и на фотографии-то мало кто видел, и никто доподлинно не знает, сколько в наборе и каких, а у нее даже не было четырехсот рублей заплатить за место — вот только где эта старуха?

Ближе к воскресному обеду сюда, замкнув железными жалюзи свое добро, спускался ленивым барским шажком свободный вернисажный люд — знатоки икон и фарфора — поклевать легкую поживу, брезгливо поворошить ногой выброшенную морем дохлятину под нервное неприязненное молчание местных... Ничего, почти ничего, все ценное скуплено в ночь с четверга на пятницу у бомжей на платформе Марк — от скифского золота, нарытого «черными археологами» в Тамани, до маршальских мундиров с рубинами на погонах и пулеметных лент.

— Уважаемая, кофе!

Вьетнамка в белом фартуке толкала тележку с термосами, обернутыми целлофаном бутербродами и бачком с сосисками. Сливки? Взамен десятки я получил пластмассовый дымящийся стаканчик и успел сделать еще два шага.

— Да вон хозяин ходит... Василич, интересуются! Подойди!

Как весной случаются заимствованные дни, пахнущие осенью, так это сентябрьское воскресенье возвращало долги солнцем, синим небом словно оглянувшегося лета.

По-иностранному подкопченная солнцем морда с правильным профилем терлась у моих бойцов, схватила одного и крутила под носом. Я ускорил шаг, убавив глотком кофе, чтоб не расплескать. Кого он там сцапал, этот загорелый малый в черном пальто поверх белой рубашки, с полосатым шарфом, педерастически повязанным узлом под горло? Я присмотрелся.

— Хелло! Ит из скайер солжер оф финиш во. Иксклюзив. Ван хандрид долларс.

Малый в восхищении крутил головой, встряхивал чернявыми кудряшками, смазанными каким-то жидким дерьмом.

— Можешь себе представить?! — подзывал полюбоваться приятеля плечистого водительского вида. — Сотку!.. — и поставил солдатика, чтоб лучше рассмотреть, на ободранный прилавок.

Безлицый оловянный лыжник в маскхалате, покрытом ошметками зеленой краски, двигал правую ногу вперед в неспешном ходу. Рукавицы, лыжные палки, ботинки, давно потерявшие черный цвет, автомат, висящий на животе дулом кверху.. Отполированная тысячами прикосновений каска блестела тусклым свинцом. Один из моих любимых бойцов. Не все мне одинаково нравятся. Не люблю брянских «Моряков на параде» (и серебряных, и некрашенных), «Куликовскую битву», астрцовскую «Конармию», вообще все конные фигурки. «Столбики» мелитопольские не нравятся... Но собираю оловянных советских всех (масштабы 1:35 и 1:48) и продаю — лоток «Солдаты СССР».

«Водитель» оторвался от рахматуллинских самоваров, вглядывался с почтительного расстояния в хозяйские причуды.

— Лыжник финской войны. Солдатик, между прочим, *тридцать девятого года*. — Я прилебывал кофе, барыга рассматривал наживку с умиротворенной улыбкой, намертво вклеившейся ему под нос... Вспоминает... В детстве он двигал, наверное, такого лыжника по пустыням летней пыли меж травяных лесов, огибая высохшие шнурки дождевых червей. — Всплывает раз в год по штуке. Я б своего не продал, товарищ попросил — ему деньги на лекарства нужны. Канадец в прошлом году такого на «Е-bay» за две сотни купил. Боец вообще-то уже проданный, человек за деньгами пошел, но если возьмешь — отдам. Иностранцам — сто евро, тебе — сотку долларов. Без торга.

Барыга заново осторожней положил солдатика на ладонь и приблизил к лицу — так разглядывают медальон с девичьей головкой в черно-белых добросердечных кинофильмах, его долго ищет в комоды и с усмешкой протягивает старуха: «Угадайте, кто это?.. я!», — потом подбрисил и поймал, накрепко сжав пальцы.

— Аккуратней. Сломаешь — заплатишь.

— А вы? — Барыга улыбался задумчиво. Молодой еще мужик лет двадцати пяти, с губастым ртом и темными пустыми глазками; такая мразь в юности выглядит постарше, а в старости — помоложе. — Вы так одеаетесь... Как солдат. Вы — солдат? Будете вести боевые действия?

Говорил он, словно припоминая русский язык, блудливо поводя мордой. Я понял: гуляет пьяный... Перегнулся через прилавок и вдруг вцепился свободной рукой в воротник моего чумазого бушлата с хищной репейной цепкостью и захохотал — очень его веселили золотые пуговицы со звездами на бушлате:

— Получается, военнослужащий. Красная Армия! Следовательно, вы в состоянии воевать?

Я покосился на «водителя»: забери своего ублюдка! — и подхохотнул:

— Да все можно купить. И шинель. И шапку с кокардой. И кáбуру с пистолетом. И корочки с фоткой. Главное, шоб баксы были. Баксы есть?!

Он отцепился и тут же загреб с прилавка стопку порывевших книжиц. И посыпались, словно выпрыгивали из рук, Сталин «О Великой Отечественной войне Советского Союза», Сталин «Об основах ленинизма», «Календарь колхозника за 1943 год»... Одна застряла меж пальцев и развернулась сама собой. Малый тотчас начал читать с наугад взятого: «Нет больше так называемой свободы личности — права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации», — и захлебнулся. Он словно вспомнил о чем-то. Вглядывался растерянно в прочитанное — и губы шевелились, растягиваясь и смыкаясь, угловато или округло, и горло глотало, он словно понимал смысл, но не мог прочитать. Он так и торчал в одиноком забытии, пока тот, второй, не тронул его за локоть. И барыга ожил — захлопнул книжку, пробормотав трезво обложечное название:

— «Сталин. Речь на девятнадцатом съезде партии».

— Четыреста рублей.

— Несомненно. Там, обратите внимание, между страницами трамвайный билет. Пятьдесят второго года. На одну поездку. Тридцать копеек цена. В качестве бонуса... — сухо предположил он. — Билет неиспользованный, вам еще пригодится. В хорошем состоянии книжки, — барыга неприязненно взглянул на меня. — Это вы их набираете в походах *туда*?

Так, хватит улыбаться. Легкий страх... Допить кофе и еще чуть-чуть подождать, поглаживая небритой щекой воротник бушлата... Пьяные умники хуже, чем пьяные скоты.

Он оборвал, что-то решил:

— Ну, довольно. Где финский лыжник?

Пять пятисоток — боец спрыгнул с загорелой ладони в карман черного пальто, и двое стремительно и озабоченно двинулись прочь вдоль рядов, не останавливаясь больше, мимо пробитых пулями касок, водолазных и танкистских шлемов, чугунков, икон Николы Можайского, прялок, льняных сарафанов, пионерских горнов, матрешек, каминных решеток и абажуров с мохнатой бахромой, патефонов, алых знамен передовиков социалистического соревнования, берестяных шкатулок и коричневых екатерининских пятаков в сторону главной лестницы, обложенной косматыми медвежьими шкурами и кабаньими мордами с желтыми клыками, обставленной чучелами оскаленных горностаев и соболей.

Проводив их взглядом, я натянул рваные вязаные перчатки и начал складывать солдатиков по жестяным банкам из-под печенья и чая по сериям: «Матросы Октября», русские богатыри на Чудском озере, «Куликовская битва», стоячие «гвоздики», «Матросы в бою», всадники маршала Буденного, знаменосцы-гиганты десятисантиметровой высоты, «Солдаты революции», телефонисты, регулировщики движения с острыми флажками, лежащие пулеметчики, подносчики пулеметных дисков, мотоциклисты из бесчисленных полчищ, «Солдаты в походе» и «Солдаты в бою» Брянска, Ленинграда и Мелитополя, полковые музыканты, редко попадающиеся медсестры, выкрашенные зеленью и серебром, сидячие пограничники с овчарками, пехотинцы-лилипуты Минского моторного завода с командиром, башкою вросшим в бинокль, безродные одиночки из неопределенных серий с пятнышками розовой краски на месте лиц — около четырех сотен, — коробки сложил в чемодан, обклеенный изнутри газетой, сверху набросал книжки и клацнул замками.

— Развел. Как детей, — похвалил Рахматуллин. Он представлял нарды. — Решил пойти? Чего так рано? Такой почин сделал... Пстой еще — деньги придут!

Шашлыки

Задами, через «аллею живописцев», где терлось помельше публики, я пронес погромыхивающий чемодан к бревенчатому терему у спуска к центральной лестнице — там вплотьмах предлагали купить кубачинские кинжалы из трагически подсвеченных витрин и принимали на хранение чемоданы — пять долларов за неделю, — и от-правился мимо голосащих под электромузыку «ветеранов чеченской войны», уж лет пять как сменивших «афганцев», и дымной шеренги мангалов в обход, к южной ограде вернисажа, проломленной соседней стройкой, — грунтовка, набитая самосвалами, вела почти до самого метро.

— Шашлычок? Баранина! Свининка!

— Нет. Спасибо.

— Как нет?! Ша-шлы-чка! — в плечо когтями впился и загораживал путь краснощекий малый с бритой башкой, галстук, костюм, и с нахрапистой милицейской сноровкой пихал к распахнутой двери кафе «Городец», подпертой половинкой кирпича, к ступенькам наверх, на веранду — больно пихал, до синяков, не пускал обойти. Дыхание сбилось, и, тухнув и вспотев, я безнадежно взглядывал на черных шашлычников крымчанина Мамеда, переставших размахивать картонками над нанизанным мясом, знакомых официанток в белых фартуках поверх вязаных кофт. Что же? Кричать? Но ведь белым днем тащил он меня... поговорить? Паспорт... Как чувствовал: паспорт взял и квитанции за аренду, и люди кругом вон смотрят — люди, и если за тобой пришли, полагалось идти, пока ты нужен.

Загорелый барыга с шарфиком на горле (как я ошибался, приняв его за тупорылую валютную скотину) присел в углу, макал мясо в кетчуп, подбирал вилкой луковые кольца. Официантка сгружала ему чай, он показал: еще стаканчик. Набив рот, приветственно прижмурился,

показал на свободный стул напротив и сосредоточился на шашлыке — небось, жилистый, не жутется, тварь!

Тот, что меня притащил, уселся на лавке за ближним столиком с водителем барыги и взялся за чай, разорвав на четыре куса лаваш с подкопченной круглой вмятиной посредине.

Я со вздохом опустился на стул с дыркой, сердечком вырезанной в спинке, установил локти на стол, сцепив руки под подбородком. Потом руки расцепил, бросил на колени. Откинулся на стуле. Вытянул ноги под столом. Подумал и — поджал. Все оказывалось неподходящим. Я обедал здесь дважды в неделю, все знал наизусть, а не сиделось спокойно.

Барыга дожевал свой кусок, вытер губы салфеткой, свернул ее в аккуратную подушечку, разместил в пепельнице и выставил на стол солдата финской войны.

— Завидую вам. Свободный человек! Не высидиваете в конторе. Остались ребенком. Играете в собственное удовольствие до седых, как я вижу, кое-где волос... Да еще за это платят! Самостоятельно распорядиться своим временем — это правильная цель жизни мужчины. — Он поднял указательный палец. — И не иметь хозяина. Моя мечта... Собирать старые игрушки и — продавать; прекрасно! Что это? Творение? Смотря для чего вы это... Вы считаете, что собиранием кусочков прошлого можно что-то изменить? У меня, кстати, есть собственная теория про мужчин, заигравшихся в солдатики... А?

Официантка тетя Маша принесла еще чай с лимоном и забрала тарелку с луковыми огрызками и обмелевшей лужицей кетчупа.

— Рассчитаетесь?

— Пейте чай, — кивнул барыга, отдавая деньги. — Я заметил, у вас некоторая асимметрия в фигуре, правая часть тела развита меньше — никто не говорил? В лице особенно заметно. И рука левая, наверное, потеет сильнее при физических нагрузках? Еще у вас синдром навяз-

чивых движений: губы вытягиваете вперед, облизываетесь, трете подбородок... Вы не аллергик? На цветение не реагируете? Правда, сейчас осень... — Он незаметно достал откуда-то из-под стола и глядящим движением руки доставил на мою половину столешницы страницу с черно-белым изображением, оглянулся и прошептал, донеся до губ чай: — Вот она.

Я не стану смотреть...

Распечатка на принтере, фотобумага, формат А4.

— Потрясающая. Столько лет прошло, а все равно — сносит крышу, — усмехнулся барыга. Помолчал, давая прорасти упавшим зернам, и добавил с осторожной мягкостью: — Вы можете получить возможность посмотреть еще несколько ее фото. Других.

Девушка не выглядела запоминающе красивой. Густые пышные волосы окружали широкое, подростково пухлощекое лицо. Ямочка на подбородке. Нерусский, тонкий нос с едва угадываемой горбинкой и загнутым вниз овалом ноздрей. Верхняя губа чуть выступает вперед, выдавая изъяз челястного строения или праздную поимку фотомастером внутреннего движения: готовящуюся улыбку, угасающее слово...

Если закрыть ладонью нижнюю половину лица и взять отдельно широкий чистый лоб, отчетливо прорисованные брови и, самое главное, глаза, получится необыкновенно милая девушка. Глаза со спокойной ясностью смотрели за правое плечо наблюдателя — в них плескалась живая вода. Но если убрать ладонь, в целом оставалась здоровая юность, не более.

Волосы нелепой длины — едва до плеч — завивались на концах. Прическу организовывала темная лента, обнаруживавшая себя бантиком, расположившимся надо лбом, — эта двукрылая бабочка относил момент фотографирования самое меньшее на полвека назад и усаживала девушку за парту выпускного класса. Одежду представлял строгий жакет под горло; в кадре поместились

две круглые металлические пуговицы с нехитрым узором — рубчики по кругу.

— Она мертва, — сухо уточнил барыга, словно это имело какое-то значение. — Разрывная пуля попала в ее затылок с небольшого расстояния 3 июня 1943 года, и пятнадцатилетняя роковая красавица стала урной на Новодевичьем кладбище. Нина Уманская, слышали когда-нибудь?

Люди намного моложе, и сильнее, и лучше одетые никогда не вызывают у меня ненависти. Ощущаю другое — лень подобрать слово. Я не чувствую тепла, когда ко мне приближается еще один пока живущий... Барыга тронул оловянного лыжника: вот что я купил за сотку долларов — пустые разговоры.

— Удивительная прозорливость конструкторов советской военной игрушки... Вы заметили, у воина советско-финской войны, отлитого, по вашим словам, в тридцать девятом году, пистолет-пулемет системы Шпагина, калибр 7,62? А ведь знаменитые ППШ в производство-то пошли только в декабре сорокового... Да и по весу — чувствуете? — цинк, алюминий, магний... Самое позднее — середина шестидесятых. — Он выгудил из чашки толстошкурую лимонную дольку, собираясь вгрызться в нее, но поразглядывал и отправил на блюдец — чем-то не подошла. — Живете обманом?

Какое-то время мы помолчали, нет — помолчал он, я бросал взгляд на ворота вернисажа, на торговые терема, укрытые фальшивой черепицей из резины, на свежестроенный павильон нижегородских народных промыслов, барыга, как мне представлялось, примеривался закатать мне в морду. Официантка попыталась уплотнить наш стол парой англоязычных пухлощеких очкариков, но одним шевелением охранные туши растворили ее в цыганистых югославах — те шумно сдвигали столы.

— Суть дела, — отчетливо произнес барыга, в голос его капнуло раздражение. — Идет Великая Отечественная

война. Начало лета. Уже позади Сталинград, но Курская дуга еще впереди. У дипломата Константина Уманского удивительно красивая дочь Нина, вызывающая у всех, кто ее хотя бы раз видел, сверхъестественный трепет души. И тела. Девочка учится в элитной школе вместе с детьми кремлевских вождей. Там же, кстати, учится и дочь Сталина. В Нину влюбляются многие. Особенно Володя Шахурин. Мальчик также из знатной семьи — сын народного комиссара авиапромышленности. Заканчивается седьмой класс, сдаются экзамены. Константин Уманский получает назначение послом в Мексику. Пятого июня он должен вылететь с семьей к месту назначения. Володя Шахурин провожает возлюбленную домой. По-видимому, просит — тринадцать-четырнадцать лет! — не улетай, я очень люблю тебя. Девочка, вероятно, не соглашается. Володя достает из кармана пистолет и стреляет Нине Уманской в затылок. Наповал. А потом — в висок себе. Но какое-то время еще дышит. Около суток. И умирает. Дело докладывают Сталину, он восклицает: ух, волчата! В русской истории остается пометка: «Дело волчат».

Он подтащил фотографию обратно к себе, пощупал, словно проверяя, не намочил ли ее неисправно вытертый стол, и спрятал.

— Скучно, верно? Шизофрения, подростковый психоз неразделенного чувства. Все настолько скучно и ясно, что хранить «Дело волчат» берутся только маразматика и пошляки: наши Ромео и Джульетта! — вот что осталось, и поэтому ужасно пахнет дерьмом... Но ведь никому... — барыга перегнулся ко мне через стол, все, что он говорил теперь, казалось ему чрезвычайно важным, щеки горели и голос ослабел до едва различимого шепота, — никому до меня не пришла в голову простейшая мысль: откуда такая ясность? Что говорил мальчик? Что отвечала девочка? Откуда уверенность, что любовь... Чего он добивался... Девочка убита. Мальчик мертв. И никто не

слышал их разговора, ведь Бога нет. Так что же или *кто же* тогда внушает нам такую ясность? — Он вдруг улыбнулся пьяно. — Чувствуется рука специалиста. Кто-то основательно поработал на будущее... Зачем-то! Русские Ромео и Джульетта! Волчата! И кто-то уверен, что *все получилось*. Что всех обманули и никто не вернется копать. Ошибка-аются... — И закончил с игривой педерастической интонацией, словно подслушанной в нерусском кино: — Дорогой мой, я хочу, чтобы вы туда *отправились*. Надо все поменять.

Он давал мне возможность кивнуть или хотя бы шевельнуться, я же сосредоточился на том, чтобы сесть как-то поудобней, а еще лучше встать и пойти в сторону метро, купить копченых куриных крылышек, лаваш и бутылку ледяного «Очаковского» кваса и наплевать. И только рассказывать в скучные минуты, как продал солдатика в воскресенье.

— Поспешайте. А то все скоро умрем и некому будет строить плотину, чтобы остановить эту... воду. — Он выкатил главное: — Я хочу знать, кто их убил.

Удостоверившись в моей немоте, барыга (неужели охрана не понимает, что пасет больного?!) заговорил свободней, не ожидая в ответ ничего, что могло бы взорвать проложенные им рельсы.

— Кто убил. И почему. На картину привычную взглянуть словно впервые, глазами ребенка, чужеземца. Это работа для человека, любящего фотодело. Взгляд фотографа меняет объект съемки, если фотограф имеет, так сказать, особое отношение к объекту... Вам не приходилось фотографировать обнаженных женщин перед тем, как с ними быть? — Он приостановился и глумливым подмигиванием дал понять, как доволен: попал. Я не дрогнул. Но не я команду кровью. Кровь хлынула в шею, щеки, уши, забившись тупиково в руках. Как в любой дешевой истории (а только в дешевку они мечтают попасть!), они отпустят меня «подумать над их

предложением», это паутина. — Мне нужны новые фотографии. С прошлым можно сделать абсолютно все.

У меня другое мнение о прошлом. И я бы еще спросил: а что происходит при этом с фотографом?

— Я мучился: к кому бы обратиться... Беда России — ремесленники не вырастают в мастеров, все хотят быстрых денег... Никто не жаждет красивой работы... — Он неожиданно вильнул и ударил: — Не посещаете портал «Последняя граница»? А? Я вот — да. А что — прикольно... Весь этот Нью Эйдж, пятая раса... Новые культуры. А сколько там молодых... Богиня смерти Кали...

Он улыбался мне дружески-опечаленно, как охотник улыбается лосиной мертвой туше, заставившей его побегать. Поставив болотный сапог на горло добыче.

— Там довольно подробно выкладывали стенограммы одного суда. Но я не буду детали. Там что? Уход молодого человека, фактически ребенка, в секту — трагедия. Брошена семья, возлюбленные, профессия. Имущество отдано учителю. Сознание — полностью... — он соединил пальцы правой руки в щепоть и потер ими, протерев дыру в невидимой ткани. — Голодание. Медитации. Наркотики... Законных оснований вернуть мальчика-девочку нет. Свободные совершеннолетние люди, сами выбрали, во что верить. А футбол не нравится. Родителям больно: растили-растили, так сказать, цветочек, а он теперь служит, как собачка, какому-нибудь там трижды судимому алкоголику и возвращаться не хочет. Вообще папу-маму не узнает. Что вера-то делает, а?

Что же остается, Александр Васильевич, родителям? (*Имя, вдруг мое имя!*) Страдать! И ждать. Отработанный материал вернут — инвалиды любой коммерции обуза. Родители получают инвалида — и никакие походы к психиатрам не вернут человека в мир, где жарят шашлыки, совершают поездки на море в Египет, рожают детей, продают, к примеру, солдатиков. Остаются полутемные комнаты, запах лекарств, бормотание мантры, избыточное

слюноотделение — навсегда! Мы, конечно, с вами рассуждаем как подданные телевизора, товаров и цен... Но так все! Известно же, что совесть и душу наука не нашла, а русский народ не смог доказать их существование опытным путем.

И выхода, уважаемый Александр Васильевич, казалось бы, нет. Но идеально устроенный организм в процессе развития сам делает себя уязвимым, чтобы мировое равновесие сил не нарушалось. Секты интересуют прежде всего богатые семьи. Но богатые не готовы так вот запросто отдать детей какой-нибудь там уголовной «Церкви конца и начал» Дэвида Медфорда. Богатые не признают страданий, деньги — это рай.

Так, милый Александр Васильевич, и возникла платная услуга. Насильственное депрограммирование. Похищение. Лечение. Возвращение семье. Не слышали? И я верю: деятельность депрограмматоров и посейчас мало, скажем так, освещена. Секты молчали о пропаже своих дойных коров. Так могли и собственные трупы засветиться — у всякого производства отходы. Искали пропавших силами собственных служб безопасности и ребят, которые, выразимся аккуратно, прикрывали их бизнес. Там, во тьме, беззвучно шла война: штурмы квартир, похищения, внедрения агентов, обмен заложниками, говорят, и перестрелки случались... Нет? С трагическим исходом.

Свет пал в эту тьму случайно. Один из спасаемых юношей выбросился из окна конспиративной квартиры в Беляеве во время оздоровительной процедуры. И сломал, между прочим, позвоночник. Сычужников. Помните его? А вот он лично вас как-то выделял... И очень боялся, что его добьют в больнице. Симпатичный малый, на вид довольно вменяемый. Если долго с ним не разговаривать. А в телевизоре долго не разговаривают: зрителей растрогал — и довольно, тут еще выборы, коррупция в органах — тема... И тотчас в милицию, о чем-то договорившись,

понесли заявления все: кришнаиты, «Дерево денег», богородичники, муниты, мормоны, сайентологи, «Дети Бога» и даже остатки «Белого братства». До сих пор доподлинно неизвестно, как депрограмматоры «лечили». В заявлениях, кроме похищений, фигурировали пытки, избиения, лишение пищи и сна. Применение психотропных препаратов. Принуждение к тяжелому труду. Вранья хватало? Да, наверное. Это ж политика. Но мы с вами, дорогой мой, рассуждая без соплей, можем предположить: депрограмматоры, скорее всего, клин клином, использовали те же средства, что и новые культы по дороге «туда», пытаясь вернуть проплаченного «обратно».

Кстати, некоторые из молодых людей, возвращенных в рыночную действительность, дали показания в суде — да, вот так. Благодарности нет! Точное число похищений не установили. Больше шестидесяти? Родителям приходилось выкладывать от ста тысяч долларов в сложных случаях. Дети несостоятельных граждан депрограмматоров не интересовали. Хотя бедняки выходили на них. И молили вернуть кормильцев в семьи, к грудным детям... Я почитал — страшные истории. Растрогался бы камень. Но не вы.

Среди задержанных — как же вы ничего не слышали... гремело! — нашлись отставники и действующие сотрудники органов. Сразу подключилась служба собственной безопасности МВД, фээсбэшники. Арестованы сорок два человека, шестнадцать осуждены. Следствие продолжается. По вновь открываемым эпизодам. Не всех пока нашли.

Барыга смотрел на меня не отрываясь. И я безвыходно понял: мне придется сделать это у него на глазах. Вытереть пот со лба, с бровей и верхней губы, вытереть руку, расстегнуть, разорвать пуговицы бушлата, сверху донизу. Облизать зудящие губы. Дальше.

* — Есть человек в розыске ФСБ... Еще его пытаются найти так называемая информационная служба «Церкви

конца и начал» с помощью, между прочим, измайловской ОПГ, — он усмехнулся подобному совпадению и впервые позволил себе оглянуться на терема измайловского вернисажа, пропекаемые неурочной жарой, — бабье лето, вот что это такое. — Он не похищал. Не участвовал в пытках. Занимался только разработкой клиентов. Окружение, связи жертвы... или спасаемого? Даже не знаю... Просчитывал, кого из близких использовать при возвращении похищенного в прежнюю жизнь. Вот, подумал я, тот, кто сможет мне помочь. Этот человек. И его люди.

...Красив и ухожен. Из тех нынешних, что втирают крем и делают ногти в салоне за стеклянной загородкой. Возможно, и мокрые смоляные кудряшки его — плоды чьих-то оплаченных усилий. Только молодость он не купил. Ее ему дали. Победную, сильную молодость, что подбрасывала сейчас чужую жизнь на ладони, как дырявую ракушку, подобранную на крымском побережье.

— Я изложу вам ход моих мыслей. Что делает секта с новобранцем прежде всего? — И он выпалил: — Уничтожает личное прошлое. Прошлое не нужно, оно не ведет к спасению. Чтобы владеть человеком, нужно стереть все прожитое и заполнить пустоту заповедями учителя. Работник, о котором я говорю, напротив, возвращал жертве прошлое, помогал вспомнить... Но если учесть, что люди попадали в его руки с совершенно измененным сознанием, пустые, белые, бумажные коробочки... Совершенно улетевшие люди. Вспомнить они почти ничего не могли, и прошлое... — барыга усмехнулся одними глазами, — работник писал заново. По своему усмотрению. Улавливаете? И, важный момент, он делал это бесплатно. Следствие установило: он единственный не получал денег — это мне особенно пришлось по душе. Что такое деньги в сравнении с его занятием? И я сказал себе: о'кей. Вот кто мне нужен.

Около сорока лет, чуть выше ста восьмидесяти. Темные волосы. Седина. Бывший историк? Хотя кто-то показал на следствии, что видел его в Высшей школе КГБ в период учебы. Вряд ли он убежал, думал я... Упал в почву, на какой-нибудь вонючий вьетнамский рынок, — он заново окинул меня взором, — коротко подстригся, армейская форма... Единственная деталь, я даже не знаю, правда ли — собирает солдатиков. Как-то по-детски. Но символично, согласитесь. Я понял: он продаст квартиру, потеряет паспорт, но игрушки пойдут за ним. Людей, имеющих в России и на Украине серьезные коллекции, оказалось немало, девяносто два. Два салона — на Якиманке и ЦДХ. Два сайта. Но это профессионалы. А искать нужно любителя.

Свидетели настолько противоречили друг другу, что не удалось составить даже фоторобот. Я угадывал: под каким прикрытием он мог работать? А? Копался, сопоставлял и в архиве сайта Московского отделения общества сознания Кришны нашел новость: четыре года назад ашрам на Хорошевском шоссе неофициально посетили сотрудники отдела внешних сношений Русской православной церкви. В ознакомительных целях. И там выложена фотография, вот, — еще один, теперь уже квадратный кусок бумаги приехал по столу поближе ко мне. — Явно против воли запечатлели четверых. Четвертый — тогдашний лидер московского отделения Субхадра Дас. Он нам не нужен. Видите, гости выходят из ашрама. Договоренности фотографироваться не было. Все, кроме Субхадры, пытаются отвернуться. Кришнаитам было важно получить доказательство хоть каких-то контактов с Православной церковью. Посмотрите — как жаль, что вам это совершенно неинтересно! — кто попал на фотографию: это диакон Андрей Вострецов, слева отец Алексей Правдолюбов, третий, вот его видно хуже всего — сотрудник «Вестника Московской патриархии» Николай Костромин. Именно он, кстати, попросил

показать не только кухню и идол Брапхупады, но и общежитие. Гости заглянули еще в книжный магазин, на звукозаписывающую студию. На кухне их пробовали накормить прасадом, но есть идоложертвенную пищу они, естественно, отказались.

Через три дня из ашрама похитили двух кришнаитов. Конечно, совпадение! Я решил встретиться с Костроминым. Меня мучило предчувствие, что человека по фамилии Костромин в «Вестнике Московской патриархии» нет. Я оказался неправ, он есть. Заместитель главного редактора. Но встречаться со мной Костромин отказался наотрез. Почему?! Я думаю, потому, что на фотографию угодил совсем другой человек. В патриархии меня вообще уверяют, что это фотомонтаж. Я больше ее никому не показывал. Только двум коллекционерам советской военной игрушки, чтобы проверить одно дикое предположение, а теперь, видите, вообще рву... — он разорвал фото опереточно мелко, да, посмейся надо мной. — Хотя кришнаиты ее хранят. А вот эту фотографию я вам оставляю. Вполне достаточно, чтобы начать.

Он поднялся и шлепнул меня по плечу паскудным господским жестом. Как пса.

Я подождал, словно меня должны были забрать куда-то еще для дальнейших опытов, но больше ничего не случилось.

Мимо распродажи армейских рюкзаков и камуфляжных курток они — трое — вышли к воротам. Их ждал омоновец в черном берете с пистолетом-автоматом на плече, взмахнул рукой — подъехали черный «БМВ» с мигалкой и милицейский «лендровер» сопровождения, распахнулись дверцы. Барыгу усадили в первую машину, охрана бегом расселась... Все. Они перебрались в зрительный ряд и теперь будут смотреть, как я бегаю на цепи.

Я записал в мобильный телефон бортовой номер милицейского джипа и крытой галереей спустился на лодочную станцию измайловских прудов.

Лодки на час за сто двадцать рублей и паспорт выдавали желающим два чеченских мальчика лет двенадцати, объясняя правила: с бортов не прыгать, к другому берегу не приставать. Я сидел на каменных ступеньках, сжав ладонями лоб. Молодая поросль, дожидавшаяся свободных лодок, сочувственно подставляла мне под ноги пустые пивные бутылки. Я подумал, как думал всегда: завтра уже будет по-другому. Пройдет ночь, и человек просыпается другим. Тело отдохнуло, солнце освещает углы. И убить тебя не кажется возможным.

Я достал из кармана фотографию девочки Нины.

Распечатку на принтере он почему-то забрал. Оставил мне фотографию вчетверо меньшего формата, с цифрами фотолаборатории на обороте <No-36A>010. Лучшее качество печати сделало заметным жакет убитой, плотный и ворсистый, волосы пушатся серебристым сиянием над головой, чуть задышала кожа. Позже, бессмысленно разглядывая лицо, я понял, почему он заменил снимки: он оставил мне отпечаток с другого кадра — теперь девочка смотрела прямо в мои глаза с грустным и вопросительным спокойствием. Живой человек, разомкнутся губы — и сейчас что-то скажет. Старшеклассница из соседнего подъезда... Я разорвал ее лицо пополам и выбросил в помойное ведро для окурков.

Мост

Человек выходит из подъезда ранним вечером. Уже холодно. В руке его белый конверт. Что за письмо он несет в синий ящик почты? В конверте бесплатное объявление — он продает недостроенный дом: мечтал построить пять лет и пять лет пытался, — продает землю.

Он не возвращается от почтового ящика сразу. Идет вдоль сентябрьских дорог, трава, расцвеченная васильками и клевером, еще прет из земли, но уже голо торчат

верхушки тополей и подножья дубов завалены ржавчиной, гниют каштановые скорлупки – вот наступает время прилива, и мы уходим под крыши, начинаем жить в метро, на чужбине. Иссохлось, укоротилось лето, от бескрайней летней страны мальчика осталось двенадцать недель, месяц жары, хотя мальчик жив. Подолгу стоит напротив светофора. Поднимает ногу, чтобы сделать шаг. Голуби и вороны... В другом городе он видел птичьи стаи, слышал их гомон, они рваными знаменами кружили, проходя сквозь друг друга, и утекали к теплу.

Из этого города птицы не улетали. Кленовые листья умирали, сторонясь бурых и жухлых собратьев других пород, на чьих лицах проступала простая, земляная смерть. Клены тужились дотянуть до дворницкого дымного костра гладкими и цветными.

В августе рубль обвалился, жизнь затрещала, я не верил в гибель Сбербанка и народное восстание, но все забирали деньги, и я каждое утро в половине десятого утра звонил в отделение Сбербанка на Новопетровской: выдаете? Валюту выдавали частями.

Заведующая выложила последние три тысячи, распишитесь в трех экземплярах – закрываем счет. Я поймал шариковую ручку, висевшую на мохнатой бечевке, погладил выброшенные в окошко потрепанные бланки, нащупав место для подписи, отмеченное, словно оспинной, фиолетовой галочкой.

– Спасибо.

От соседнего окошка не отходил седой: дайте мне деньги!

Олег Семенович, пенсия еще не пришла! Мне не нужна пенсия – дайте мне деньги! Олег Семенович, деньги еще не поступили. Не поступили? Всем дают, а мне нет, где мои деньги?! В министерстве финансов, у Ельцина. Я и пойду к Ельцину. Я не просто, я (корявый палец уткнулся в нутро красных корочек) ветеран войны.

И мне нету денег?! Не надо пить, и будет денег хватать, идите к сыну, он даст вам денег. У меня нет сына! Тогда идите к бабушке своей...

Десять округов Москвы, дачные поселки, города Подмосковья... Я остановился: к кому? Свежие месторождения или брошенные шахтерские поселки? Из опустевших золотоискательских бараков выпирали дряблые животы с утонувшими в складках пупками, бородатые лобки, вонючая слизь во влагилишных глубинах, толстые языки, незагорелые кожи, усатые рожи, железобетонное знание: как сразу после паскудно... Как мгновенная мерзость закружит уже при первой судороге, уже в миг плевка в липкую нору, и распухнет совсем в минуту отлипания, отваливания, неизбежных слов и поглаживания по законам служебного собаководства, и долго еще потом покатается на твоих плечах — до подъезда по месту прописки, до горячей воды и горсточки жидкого мыла, до подушки, до муторного утра, щетины в зеркале, ее трогаешь, как живую: шевельнется — нет? Я давно уже понял: все, что мне нужно, находится не в чужой постели. Но эту истину приходилось доказывать себе раз за разом. Иногда по несколько раз на дню.

Хотелось свежих материалов с несуществующими тайнами, с замиранием первого обнажения, колокольных ударов сердца, преодолимыми препятствиями счастливых замужеств, необходимости задерживаться на работе допоздна, техники нажатия квартирного кода — тремя пальцами сразу или поочередно одним, болезненной пронизательности свекрови Виктории Самойловны — незнакомых телефонных номеров-квартир, где в семи цифрах жили родители, соседи, бабушки с феноменальным слухом, въедливые шаловливые братья, собаки, перекусывающие провода, отцы, бесшумно снимавшие трубки на параллельной линии; где по телефону отвечали из ванной под шум стиральной машины, из кресла, забравшись с ногами, с балкона над шумящим Кутузов-

ским, в коротких халатах, в полотенце, ни в чем — сколько он обжил таких квартир, не переступив порога! Хотелось инопланетную, новую улицу, какую-нибудь там Марины Расковой или 26 Бакинских комиссаров с ортопедическим диспансером во дворе, с «мне так нельзя, так мне нравится больше», с «я боюсь, что мне так будет больно»... Я подумывал о кукле из резины, хотя стоило, возможно, оглянуться на собственный изъян, вертевший мной особенно безлюдным голоногим летом — от засухи к ливню... Повыбрав, я позвонил ближней: сегодня, сейчас, да я просто уезжал, звонил и тебя просто не было на месте, я просто подъеду к твоей работе, где ты теперь? На Кржижановского, нефть и газ, компания «Сибур». Ты узнаешь меня, я — метр восемьдесят четыре, мне тридцать восемь лет, и пробивается седина, в левой руке у меня будет правая рука.

— А ты легко узнаешь меня потому, что я очень красивая женщина.

Шла и улыбалась, красные долгоносые туфли, черно-белая юбка на широких бедрах... Мы пересекли улицу ради заведения, блуждавшего между баром и кафе, официант и бармен в белых рубашках (возможно, считая себя кем-то другим — заведующим производством и менеджером зала, например) запрокинули морды под солнцем на крыльце, подсунув под зад пластмассово-белые стулья. Из растворенных окон выдувались желтые занавеси и радио «Динамит FM», полная громкость, потише, лучше выключить... Она листала заламинированные страницы меню — официант кивал: все имеется, — в маленьком зале на три стола, на стене картина прежнего вида города Москвы с желтым куполом еще не взорванного храма Христа Спасителя за мостом. Я смотрел на ее южные, коричневые плечи (зачем? сразу в сауну на Крылатские холмы!), расспрашивал, воскрешая детали объекта, выключатели, расположение комнат: дочка все танцует в «Непоседах»?

Подруга твоя та вышла тогда замуж за француза? Отца взяла на работу? В Астрахань ездила? Ты же хотела. Я? Теперь занимаюсь торговлей. Ничего не случилось. Может, не выпался.

Не сговариваясь, обернулись в окно — официант скорым шагом преодолевал улицу, целясь в магазин «Диета» на углу, покупать все, что заказали.

Она произносила легкие слова, смех, я захлебнулся, почуяв чужое, словно увидел в первый приезд на перезимовавшую дачу раскиданные, испоганенные чужими лапами вещи, вывороченные из шкафов ящики, — что-то мешало ей говорить и бульк-бульк — поперек голоса, вот сейчас засунет руку в горло по локоть и выдернет — начнет с повседневного сора, затем бегло покажет дыру — *то*, как неважное, как новое, неудачное фото, только из своих рук, и забросает опять шелухой, чтобы не молчать тяжело, чтобы жизнедеятельность продолжалась, поддерживаемая негазированной чистой питьевой водой «Шишкин лес» со льдом.

— У нас сокращения. Никто ничего не знает точно. То говорят, всех разгонят и «Газпром» приведет свою команду. То — поменяют только руководство и повысят зарплаты. Я решила вернуться к мужу, — сказала она.

В пустом зале, под кондиционерами, я увидел, что вот — еще сидим напротив, еще вернется из магазина официант, уложит в тостер ломтики хлеба с сыром и ветчиной, нарежет клубнику и бананы для фруктового салата, выдавит шарики шоколадного мороженого, еще немало ждать, потом жевать и не умолкая говорить, но сегодня я ее не коснусь, по ту сторону жизни разверзлась дыра — подуло снегом и другими годами; я схватился за стакан, как за опору, и закрыл им морду под обвинительные оправдания:

— Устала засыпать одна. И просыпаться одна. И дочка очень просит. Ты знаешь, он очень изменился. Говорит, что все понял, пока меня не было.

В сауну она не поедет. Через полгода позвонит. Но это все равно что сдохла. Убитое время. Не даст ли она прямо тут, напоследок? Официант еще не скоро... Поднять юбку и посадить на колени эту любительницу чулок и трусов с разрезом вдоль промежности. Затолкать ей всухую по самый корень и чтоб попрыгала... Что не успел я узнать про нее?

– Ты заплетаешь когда-нибудь волосы?

– Каждый вечер. Я сплю с косичкой.

– Теперь будешь спать не только с косичкой... Конечно, переедешь за город?

Выложив главное, сейчас она отвечала с усилием:

– Деревня Ложки. В Солнечногорском районе.

– Женщина помогает по хозяйству. Водитель привозит продукты. Три собаки, бультерьеры.

– Две. Бультерьер и леонбергер.

– Три этажа в доме?

– Четыре. Сауна и бильярдная в цоколе. А ты? Чем торгуешь? Антиквариат?! Какие планы у тебя?

Я всмотрелся в картину за ее спиной, наморщился и прочел название. Оказывается, картина изображала главным образом мост, а не храм, взорванный при императоре Сталине и позже клонированный на месте плавательного бассейна.

– У меня? Ну, я займусь... Вот – Большим Каменным мостом. Пора с ним разобраться.

– А где этот мост? Что в нем такого?

Со сдохшей я проговорил еще час. Смял и оставил в тарелке бумажку с номером ее нового мобильного. Допил два глотка еще не нагретой воды, льда не осталось. Бело-синяя этикетка на пустой бутылке. «Шишкин лес. Чистая питьевая вода. Негазированная вода из артезианской скважины №1-99. Изготовлено в России. Московская обл., Солнечногорский район, д. Ложки» – вот откуда она прочла адрес своей изменившейся жизни. Но что это меняло?

БКМ. Справка по делу

Большой Каменный мост признан лучшим местом для разглядывания Кремля и русской жизни, названной Черчиллем «тайной, покрытой мраком». Мне определенное бегемотистого англичанина кажется пошлостью. С моста открывался «лучший вид» еще со времен Корнелия де Бруина (голландца, картинам его триста лет) до заставок в советских телевизорах перед программой «Время», заменявшей вечернее богослужение. Однажды весной по мосту проехал Юрий Гагарин — из Внуковско-го аэропорта на Красную площадь и в вечную память.

Вид на противоположную сторону продавался «вторых»: храм Христа Спасителя (с перерывом на бассейн) и Второй дом Совнаркома (прославленный Трифоновым как Дом на набережной) — общежитие строителей коммунистической башни, правильная, не стыдная роскошь, улей, заполненный медом. Райские поляны. Жителей пятисот квартир время попозже, если не выразаться кроваво, *поменяло* — как несломленно сказал император Сталин президенту де Голлю: «В конце концов победителем всегда оказывается смерть». Президент в своей глупой фуражке, похожей на открытую консервную банку, навсегда осмеянную покупными комедиями о французских идиотах-полицейских, покивал: «Да, да...» — он не понял, что император имел в виду.

Самая ближняя к мосту из кремлевских — Водовзводная башня (или Свиблова, по имени строителя), высокая и мрачная. Она единственная без ворот, беременна первым (неискоренимое, черт возьми, слово в краеведении) русским водопроводом, поднимавшим воду в царские чертоги и сады. Наполеон на прощание ее взорвал и восстанавливающие руки убавили суровости, но и сейчас башня, по мнению моему, смотрится безрадостно. В 1937 году ее увенчали рубиновой звездой, приметив наиболь-

шую близость к зрителю, спустившемуся на мост для рассмотрения дел нашей земли.

Москва росла на холмах, между холмов текли реки, речки и ручейки. Множество деревянных, «живых» мостов скрепляло московскую жизнь, кому-то казалось, что даже в имени Москва спрятаны чавкающие «мостки». Большой Каменный мост (а еще его называли Всехсвятским, Берсеневским, Новым) – первый (вот опять!) каменный и – последний. Его считали четвертым русским чудом после Царь-колокола, Царь-пушки и колокольни Ивана Великого, но мост почему-то застрял в тени.

Иван Третий расчистил Боровицкую площадь, отодвигая от Кремля деревянные дома вместе с пожарами и затрудняя татарские осады, и жизнь, потесненная площадью, перебралась за реку и потянулась на юг, в стрелецкие слободы Замоскворечья, вдоль дороги из Великого Новгорода на Рязань. Жизни требовалась опора, путь по речной воде – царь Михаил Федорович вызвал из Страсбурга палатного мастера Ягана Кристлера с дядей, с инструментом – медные пешни, векши, подпятки, долотники, винтовники, шурупники, кирки, закрепки – заклинание прямо!

Немцы для наглядности сколотили игрушку – маленький мостик и отбили два вопроса заказчиков (дьяков Львова и Кудрявцева интересовало, устоит ли мост от удара двухаршинного льда, выдержит ли перевозку больших пушечных снарядов): «Будут сделаны на месте быков каменные островики, а на те быки учнет лед проходя рушиться, а тот рушеный лед учнет проходить под мостом меж сводов мостовых. Своды будут сделаны толстые и твердые, от большой тяги никакой порухи не будет».

Только в Москву поехали аршинные кубы белого камня из Настасьина (в Настасьине я однажды переночевал в пионерском лагере зимой), как все умерли –

и немцы, и царь (как писали, «оставя царство земное, преселися в вечныя обители»). Взялись достраивать уже при Софье — царица мне нравится, но коммунисты полюбили по родственным соображениям ее брата душегуба Петра, и Софья осталась в истории толстомясой жаркой бабой с немытыми черными космами.

Семнадцатый век сильно походил на двадцатый. Начинался смутой, кончился смутой: гражданская война, восстания крестьян и казаков, походы на Крым; восставшие «рубил в мелочь» бояр, лекари под пытками признавались в отравлении царей, в кровавом апреле сжигали старообрядцев. Русские с безумными вниманием оглянулись вдруг на свое прошлое, на собственное «сейчас» и с ожесточением бросились переписывать «тетради» по историческим язвам: раскол, стрелецкие бунты, место земли нашей на глобусе, как раз завезенном в Россию, — о политике спорили дети и женщины! Внезапно простонародье осознало: мы — тоже, мы — участвуем, мы свидетели, и как сладко говорить: «Я». Что-то произошло такое, отчего захрипела и сдохла БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МОНАСТЫРЕЙ, и кто-то сказал над черноземными головами: НАМ НУЖНА ВАША ПАМЯТЬ, останется все, что вы захотите, нам нужна *ваша* правда. Не повезло, пришлось запоминать, обдумывать, каждому, а не только беглецам-недобиткам.

Ну вот, в год, когда Шереметев ездил к цесарю Леопольду Габсбургу, князь Голицын ходил на Перекоп и вернулся от Конских Вод потому, что татары выжгли степь, чернец по чертежам покойных немцев достроил «восьмое чудо света» — Большой Каменный мост.

Если верить некоторым косвенным упоминаниям в денежных расчетах, звать его могли Филарет. «...От простых монахов зовомый Филарет» прямо, но не исчезающе достоверно занес чернец Силиверст Медведев в свое «Созерцание краткое...». В год завершения моста автору «Созерцания...» срубили голову — ученый

(в Москве его так и звали «Солнце наше») расплатился за советы Софье, споры с патриархом, совещания с мятежными стрельцами — «главоотсечен на Красной площади и погребен в убогом доме со странными в яме».

Восьмипролетный, арочный, из белого камня. В семьдесят саженей в длину.

Гравюры Пикарта (видны домики — мельницы или купальни?), литографии Дациаро (под пролетами уже набиты сваи, пара зевак и предсказуемый челнок — пассажира в шапке одним веслом прогуливает тепло одетый гондольер) и литографии Мартынова (уже прощальные, с двухбашенными въездными воротами, снесенными задолго до издания), запечатлевающая Кремль, заодно захватывали и мост, первые сто пятьдесят лет его: мукомольные мельницы с плотинами и сливами, питейные заведения, часовни, дубовые клетки, обложенные «дикарем» на месте двух обрушившихся опор, палаты князя Меншикова, толпы любующихся ледоходом, триумфальные ворота в честь азовской победы Петра; сани, запряженные парой, тянут высокий помост с двумя пассажирами — священником и закованным в цепи быстроглазым Пугачевым (борода и смуглая морда), погубившим семьсот человек (кричал налево и направо молчавшей, предполагаю, толпе: «Простите меня, православные!»); палаты Предтеченского монастыря, неизбежные полеты в воду самоубийц, весенние разливы, шарманщики-итальянцы с учеными собачками; «темные личности укрывались в сухих арках под мостом, угрожая прохожим и приезжим» — присочинил мой собрат, отвлекшись на маканье пера в чернильницу.

Балаганы показывали восковые фигуры, диких людей, заросших мхом, и недавно пойманную рыбаками рыбу сирену, в толпе грызли подсолнухи и покупали разноцветные надутые газом шары. На колени ставили арестантов с табличками «За поджог», «За разбой». Будочники с театральными алебардами, свободно куращие

косматые студенты и стриженные девицы в темных очках, трактир «Волчья стая» в грязном двухэтажном доме, пристань общества московских рыболовов (всего-то изба на деревянном плоту с гроздью привязанных лодок)... И все понимали, что — время вышло, дни сочтены (особенно когда в наводнение 1783 года обвалились сразу три арки, задавив рыбака и стиравших баб), но все равно не раз злобно припоминали Александру Второму одно из первых его деяний — разбор старого, великого моста, хотя (о, конечно!) даже лом не брал старинную кладку — пришлось взрывать.

Новый мост по-прежнему остался Большим Каменным, хотя в 1859 году на два каменных быка легли чугунные арки с перилами того же материала и мостовой из лафетных досок (лень подниматься к словарю — «лафетный»?) — инженер Н.Н. Воскобойников (по анкете выходит двадцати одного года — опечатка?) исполнил проект полковника Танненберга; ратной фамилией полковник обязан одной восточно-прусской местности, известной гибелью тевтонского ордена от русско-польско-литовских усилий и злосчастной судьбой армии генерала Самсонова в Первую мировую.

На фотографиях собрания Готье-Дюфайе можно заметить: чугунный мост встал немного левее и теперь утыкался не в Боровицкую площадь, а в Ленивку — самую короткую улицу Москвы. Ветшая, мост простоял человеческий век — семьдесят пять. Ломать собирались раньше, но случились две войны и революции, а после смерти он пожил еще — при ознакомлении с делом обнаружено в советской газете: «пролеты старого моста найдены в удовлетворительном состоянии и перевезены на баржах в район деревни Заозерная».

За Третий Мост бились на конкурсе лучшие силы русской архитектуры, без видимого труда ставшей советской: Передерий, Жолтовский, Щуко, Щусев. Мощной стальной однопролетной аркой выиграл Щуко (и ученик

его Гельфрейх). Проигравших тянуло к тесноте и многорочности московской старины. Шуко один оторвал бессонные глаза от чертежной доски и посмотрел в пред-рассветное окно – МОРСКОЙ ПОРТ МОСКВА. Заключенные выроют каналы. «Москва – Волга» и Беломорско-Балтийский. Под мостом пойдут караваны судов!

Стремительность, сила, упругость – так выразил победитель свою идею.

Если следствию представится возможность, было бы интересно предложить проходящему по делу Шуко в трех словах выразить идею собственной, Владимира Алексеевича, жизни. Сын военного, окончил училище в Тамбове, пробовался актером во МХАТе и был отмечен Станиславским, потом полярная экспедиция на Шпицберген.

Началось дипломным проектом дворца наместника на Дальнем Востоке, Рим, Стамбул, Афины, Флоренция, Милан, модерн и русский ампи́р, традиции Камерона и Ворони́хина. Закончилось бесчисленными проектами памятников Ленину (осуществлен один – Ленин на броневике, Финляндский вокзал), Библиотекой имени Ленина и семилетним бесплодным проектированием колосса – Дворца Советов. И – Третий Мост, над «водным зеркалом», 478 метров. Построил и через год умер.

5 марта 1938 года мост испытали – сто сорок десяти-тонных автомобилей и двадцать груженных трамвайных поездов. Четыре большевика-полярника тем временем проплыли на льдине над Северным полюсом, взрывались дирижабли, Япония воевала в Китае, девицы с рекламных плакатов советовали пить кофе с ликером марки Главликерводка наркомпищеторга, праздновали 750 лет «Слову о полку...», в Александровском саду искали место памятнику Павлику Морозову, инженеры испытывали новое изобретение – телефонный автоответчик, но это и многое из первых плодов генерального плана реконструкции Москвы: станции метро, парки, улицы, мосты – оказалось чуть вдали от человеческих

глаз тридцать восьмого года — окончание строек совпало со всплытием из болотных глубин правотроцкистских гадов; процесс «антисоветского троцкистско-бухаринского блока» завершался привычными русскими казнями «зверей в человеческом облике», привычными русскими дикими обвинениями соперников и совершенно нерусской податливостью.

«Были ли случаи, что члены вашей организации, имеющие отношение к масляному делу, в масло подбрасывали стекло?»

«Да».

«Были ли случаи, когда ваши союзники, сообщники преступных организаций подбрасывали в масло гвозди?»

«Признаю».

«Я возвратился в СССР с мандатом японского шпиона».

«Вредители центра уничтожили в Москве пятьдесят вагонов яиц».

«Я вел вредительско-диверсионную деятельность в лесном хозяйстве Северного края».

«Искусственно распространял эпизоотию, от которой в Восточной Сибири пало двадцать пять тысяч лошадей».

Навсегда осталось непонятым, зачем несколько сотен тысяч людей, прыгая в могилы, между привычным русским жертвенным молчанием и позором выбрали позор? Что произошло тогда? Кто пообещал им воскрешение? Неизвестно.

Пешеход Третьего Моста очень скоро перестал бы любоваться преимущественно вечным Кремлем — уже закончили укладку фундамента Дворца Советов; строительство затевалось так, словно что-то должно было отмениться в России навсегда.

Всего через десять месяцев каркас дворца собирался поравняться со Вторым домом Совнаркома и расти выше, до 320 метров, перейдя в стометровую фигуру Владимира Ленина (длина указательного пальца пять

метров) — скульптор Меркуров уже заканчивал модель. Сумма двух цифр (320+100) дала бы ясное представление статуе Свободы (33 м), а заодно и пирамиде Хеопса, и Кельнскому, Амьенскому соборам, Эйфелевой башне и, наконец, небоскребу Эмпайр-стэйт-билдинг в Нью-Йорке о том, кто спасет мир. Великим идеям соответствуют каменные сооружения великого размера, но тень, черная тень напознала, росла и густела, накрывая всё — и эти недели казней (в сутки расстреливали по две тысячи человек), концертов, премьер кинолент «Волочаевские дни» и «Юность маршала» (заживо описавшая детство Семы Буденного, кавалериста, носившего самые знаменитые усы Советского Союза), фантастических фильмов о победной будущей войне тоже. Черная, страшная тень, окончательная чернота, клокоча и содрогаясь, затопляла всё, говоря: с Большого Каменного моста вы сможете увидеть только Россию и больше ничего; говоря: теперь можно строить только танки и самолеты; говоря: своих убивать так много уже нельзя — нас придут убивать чужие. Металл из конструкций дворца пошел на противотанковые ежи и мосты на железной дороге — ее потянули на русский Север за углем, Донбасс взяли немцы. Ничего отменить не получилось.

Пароход

— Давай на пароходике? Давай, давай, давай! — Украинка прыгала на входе в метро и хлопала в ладоши, груди ее тряслись тяжелыми рывками под белой блузкой. Я повел ее по эскалатору вниз, она тормозила, оглядывалась и подставляла алые губы — целуешь помаду и останется бледная щель, — предупредила: ночевать домой, тетка ждет. В вагоне до «Киевской» украинка взглядывала сонно, накрашенно и тревожно, безумно-влюбленно, показательно цепенея от чувств, поправляя начесанный

беспорядок волос, даже зад ее посвежел, а может, еще пару килограммов нажрала.

Баром на корабле командовала тетя в морской фуражке. Я слупил два бутерброда, попросил льда в апельсиновый сок, но тетя сказала:

— Такого у нас не бывает.

Украинка повисла на мне ручной обезьяной, хватала за шею, запускала руки под рубашу, покусывала ухо с утомленным стоном — я выволок ее на верхнюю палубу и усадил на скамейку посреди набережных достопримечательностей. Похолодало, пришлось обнять. Она поерзала, ввинчиваясь в меня то боком, то спиной, и кулем повалилась на колени, разомкнув губы с мясной мокрой изнанкой. Я нагнулся, и мы целовались невпопад, не вовремя вываливая языки, толком не соединив губы, украинка плаксиво вздыхала, и все не к месту. Тупорылые приезжие оглядывались на нас с восторженным интересом:

— А кому вон тот памятник? Извините, а что там за карусели?

— Петру Первому! Парк культуры!

И дальше все так же бестолково, бессмысленно и без перерывов.

Смеркалось, ей еще добираться домой; я свел украинку на пристань у Театра эстрады по трапу из двух досок, поглаживая толстую грудь в сходящей толчее, трогая зад, и — в сторону, по ступенькам пониже, к воде, сквозь дымную вонь отчаливающего парохода; стоп! — и вдавил ее в гранитную стену — здесь; она целовалась с прежним пылом, взглядывала умоляюще, слезно, невыносимо, расстегивала рубашку, целовала шею и грудь и дважды внятно сказала: «Я люблю тебя». Правая рука моя уползла под блузку, расстегнула тройной крючок на лифчике и заученно погладила провисшую жировую громаду, а потом забралась под юбку. Она прошептала:

— Ты такой романтик!

Я стащил ее ниже, подальше от дебильных детей на роликах и бомжей, к речной хлюпающей воде, и потрогал вязкие волосы между ног — украинка изумленно вздрогнула. (Ничего не выйдет. Слишком светло. По набережной за рекой катят машины, на губах мешается запах жратвы с умеренной отдушкой карисного ее рта, кто-нибудь сейчас что-нибудь скажет где-то над головой...) Слабо заболел затылок, она уже замаялась ждать и случайным проверяющим движением помяла мне джинсы слева и справа: где?

Я трогал ее, как трогают кошку, мимоходом, думая не об этом, мял и разглаживал, а потом уморился и бросил, только сопел и тыкался губами во что-нибудь. Закрой глаза, прошептала украинка, не думай ни о чем, здесь никого нет, и хозяйскими рывками распустила мне ремень... Я жмурился, чтоб не видеть светлого вечера, затылок болел сильнее — и, почуяв нужную твердость, вслепую схватил ее за шею, поставил, повернул спиной, она торопливо приподняла юбку, волосы обмотали ей лицо, как мешок, отпихнула мою руку, велела: дай! — и направила сама, коротко и музыкально простонав, — я толкался в нее с яростным ощущением: скорей, скорее, пробивая за этажом этаж, обволакиваясь влажностью, в горячем спокойствии... А может быть, может быть, она приезжает в Москву забеременеть, замуж? Я потерпел и выскочил из нее, выплевывая в пустоту студенистые метки; украинка, растерянно помедлив, развернулась, неуклюже переступая в спущенных трусах, и взялась помогать. Я отвел ее руки — я тебя не запачкал? — прижался к туше с несдерживаемым вздохом омерзения, поцеловал в щеку, раз, другой, не замечая ищущих губ, и еще вздохнул; она протянула влажные салфетки в разорванной упаковке — все найдется у девушки в сумочке, — быстро вытерся, украинка нащупала сквозь юбку трусы и подтянула их на место. Всё.

Вел наверх, по набережной и дальше к мосту, как теперь выяснилось, называвшемуся Большим Каменным, ловить машину, поперек «давай погуляем немножко», «у тебя еще есть время?», «такой необыкновенный вечер...» — машины неслись с воем и шелестом, приходилось кричать. Украинка шла как пьяная, что-то старательно весело рассказывая сама себе — я пропускал жалобы («не хватает денег на третий курс»), надежды, просьбы («еще завтра у меня свободный вечер, давай в кино»), отметил только — день отъезда и разместил меж пальцев бумажку в одну тысячу рублей, сунуть, как только подъедет такси — всегда давал с пятикратным запасом, и не отказывалась: много.

Мы поднимались двухпролетной каменной лестницей на мост, где движение погуще, — на площадке украинка широким шагом переступила припорошенную песком лужу:

— Как свинью резали.

Я посадил ее, хлопнула дверь, махал рукой, пока могла видеть, лживо поклявшись, как всегда: никогда больше! — ближе к ночи поймал на Лубянке машину и задохнулся от радости: плешивый водила на место магнитолы припаял телек, на экране размером с пепельницу, мерцающая и мигая, без звука бились «Спартак»—«ЦСКА». Водила вздыхал за армейцев, и я уставился в пасы и навесы, чтобы вовремя порадовать его, до самой Якиманки:

— Гол! ЦСКА!

— Вне игры, — сухо поправил водила, — Попов в пассивном офсайде.

Молчком мы въехали на Ленинский проспект, словно в лето — такая сгустилась жара.

Я расстегнул побольше пуговиц, опустил в дверце стекло и вертелся, изнемогая от распаренной духоты, почесывая башку и зевая, давая щекотную испарину на щетинистой верхней губе, перехватывая капли пота на шее — сердце постукивало глубоко вниз, как баскетбол

в школьном спортзале — слышен на каждом этаже в тишине контрольной письменной по алгебре, запустил я в десятом классе алгебру, — единственный ночной кошмар, а так — я хорошо сплю.

По Университетскому, мимо платной поликлиники — дважды сдавал на сифилис, раз на хламидии, кровь на герпес первого типа и больно, выдавив слезу, на гонореллез... Я мазнул взглядом по другой стороне, по черным лавочкам вдоль сквера — там посасывали пиво и огненной пылью царапали тьму сигаретные зрачки, на лавке номер четыре человек отдыхал в одиночестве. Должен ли человек оставаться один?

— Останови!

— Что, хреново?

Во внезапном жаре, как в тесной одежде, я доковылял до киоска «Российских лотерей» с разбитой камнем витриной, купил у грязноватых кавказских рук заснеженную банку кока-колы лайт и шипяще вдавил в ней дырку, похожую на лепесток. Перелез проспект, прикладываясь к банке, через ограду, сквозь кусты и подсел к одинокому человеку, на свободный край — допивал, хватая воздух, вслушиваясь: жарко? остываю? Башка горела азартным огнем, кровь ломилась слева в затылок, как в плотину.

Сосед сидел свободно и отрешенно — пожилой, изящно худой, с седым растрепанным облаком на голове, в мягких домашних брюках и допотопной интеллигентской кофте с завязкой на животе — в таких изображают умирающих физиков-евреев и подлецов, скупающих краденые скрипки и марки. Давно и непривычно небритый, он сидел так свободно, словно жил где-то неподалеку и каждый вечер выходил сюда подышать, на лавочку, оставляя за спиной цирк на Вернадского.

— Здравствуйте, Александр Наумович! — и я весело переехал по лавке поближе. — Что вы сейчас читаете?

Гольцман с удовлетворением улыбнулся, и мы сцепили рукопожатие.

— С тех пор, как умерла Регина, я читаю только одну книгу. Она лежит у меня на тумбочке у кровати. Это Библия. Ты знаешь, в ней есть *всё*.

— Хочу сказать! Кровать, что вы мне с Региной Марковной отдали, до сих пор в порядке. Я на ней сплю!

— Хотя прослужила семнадцать лет, прежде чем нам понадобился ортопедический матрас. — Гольцман призадумался, чему-то тоскливо улыбаясь, рука его агонизирующе шевельнулась и ожила, качнулась ко мне для приземления на участок тела, используемый для участия, «держишь, я с тобой», но рухнула на лавку, словно не хватило завода, все ясно и так. — Надо уезжать.

— Да куда мне уезжать, — я задрал голову, глядя на холодно дрожащую листву, на осень, на тающую свою бессмысленную жизнь, чуть не заплакал.

— Но. Ты понимаешь. Ясно, что кто-то тебя установил. Взяли в разработку. Мы не знаем, кто они. Надеюсь, что коммерция. Мальчик, что имел с тобой разговор на вернисаже, несерьезный. Но неприятный. Он тебя провоцировал. Но он же не один. Если ты не согласишься работать под ними, по их клиентам, тебя сдадут. Уходи. Я не вижу других вариантов. — Осторожными рывками, отдирая приклеенный кровью бинт, он говорил медленно, словно двигалась тяжелая мебель, давая понять, что времени нет, нас ведут и даже здесь, на этой лавке, мы пескари в стеклянной банке, выпустили посмотреть, как задохнемся. — Ты знаешь наши возможности. Теперь они довольно ограничены. Если мы найдем достаточно средств... Если нужные люди в прокуратуре и суде согласятся оказать содействие... До суда ты просидишь год. Два. Ради чего? Посмотри на все это по-другому. Разве ты не устал? Ты уже что-то прожил. У тебя появилось то, чего не будет, если уже не было. Ты уедешь к морю. У тебя будет все, что нужно: природа, труд... — Гольцман хотел

добавить «женщина», но сморгнул это слово со слезой. — Поверь, больше ничего не надо, в Библии про это все есть. Я должен знать, что ты думаешь.

Осталось так мало жизни. Все слиплось, вот в чем дело. Все слиплось. Утерян смысл детских игр, передвижений солдатиков в траве, утеряны новогодние радости, сладкие арбузы, наслаждение телом любимой, сладость звучания собственного имени, теплая тяжесть мокрой рубашки под летним ливнем — мир без интереса смотрит на меня. Осталось мечтать о здоровой старости, чтоб не «под себя», да о смерти во сне.

— Я думаю, у меня еще есть время, я отдохнул. Я могу еще поработать. Я хочу заняться Большим Каменным мостом. Открыть и выпустить всех, кто там есть. Вы мне поможете.

Гольцмана я заметил в читальном зале номер шесть (для научных работников) на втором этаже исторической библиотеки на «Китай-городе», видел в архиве Института марксизма-ленинизма (теперь он называется как-то иначе, что-то там про социально-политическую историю государства российского) на Большой Дмитровке, встречал в бывшем архиве Центрального Комитета Коммунистической партии на Ильинке. Мы раскланивались. Пара вежливых слов... Первые разговоры в буфете за пирожками с яблоками... Он начал читать мне свое — почему никто не берется печатать? Старик с рабской безысходностью угловато вырезал, словно ножницами по металлу, очерки о героях партизанского движения зимы сорок первого года — и впустую носил по редакциям своих не нужных никому парашютистов, лейтенантов госбезопасности, удивительных людей, говоривших зимним утром с виселичной петлей на шее согнанным на площадь сельским жителям: «Наше дело все равно победит... Я не боюсь смерти. Умру, как подobaет патриоту Родины», — в часы, когда немецкие мото-

циклисты въезжали со стороны Химок в Москву по нынешнему месторасположению мебельного монстра ИКЕА. Гольцман свидетельствовал о любви к Родине (Родину он не хотел забыть), силой не уступавшей смерти, и, надо признать, Родина своих не подводила, повешенные — люди правды — не ошибались: их дело действительно победило, дотошно и полностью, не упуская мелочей, и если в суховатое повествование Гольцмана, перегруженное цифрами грузоподъемности пущенных под откос поездов, вплетался человек, предавший наших, то обязательно спустя пару абзацев, без всякой связи с излагаемым материалом появлялось: «Кстати сказать, и этот провокатор был пойман и приговорен трибуналом к расстрелу», — ничто не прерывало хлопотливое и вечное движение холодных рук, десятилетиями подбивающих итоги, и в четверг утром в провинциальную дверь звонил водопроводчик, и открывший седой и ветхий хозяин слышал именно тот веселый ненавидящий говорок, который слышал каждую ночь все эти бессильные годы: «Ну что, сука, думал, забился в щель и мы тебя не найдем?»

Гольцмана печатали только коммунистические газеты и «Военно-исторический журнал». Я гадал: зачем... ему? Чем-то себя занять? Нужны деньги? Внучка снимает квартиру? На лекарства внуку? Но Гольцман внуков не нажил и таскал камни на могилы однокашников с продуманным упорством, словно участвовал в каком-то строительстве. Жену три года сжирал рак, стало неловко звонить Гольцману домой: «Как ваши дела, Регина Марковна? Как вы себя чувствуете? Что-то голос у вас невеселый... Дома Александр Наумович?» — болтать с женщиной, которой выпало умереть медленно, осознанно, а ты еще останешься здесь и увидишь, как... например, весной... — что-то другое требовалось говорить. Сын Гольцмана давно женился на компьютере, трахался с ним, и компьютер увез его с собой на родину, в Америку.

Прошлого Гольцмана никто не видел, он никогда на моих глазах не выпускал его покормить, хотя не думаю, что оно сдохло: оставались ученики, и ученики учеников, и похороненная заживо Родина. В предисловиях к сборникам воспоминаний ветеранов КГБ генерал-майора Гольцмана А.Н. выделяли за активную общественную работу по созданию истории контрразведки. В архивах, если пенсионерам-исследователям в запросе требовалось указать «последнее место работы», Гольцман убористо вписывал «помощник председателя Комитета информации», и его считали журналистом: малоизвестно, что в учреждении, неловко названном Комитетом информации, в 1947 году кратковременно попытались объединить военную (ГРУ) и политическую (Первое управление МГБ) разведки, и председателем комитета стал человек номер 2 империи — Вячеслав Молотов.

Мы ему не платили, Гольцман помогал на идейной основе; мы не дружили — я не умею дружить и кого-то жалеть: внимательное сострадательное отношение ко всем млекопитающим приводит только к растерянной жестокости и окончательному арктическому холоду, — да и он не умел дружить. Мы служили Всей Правде, а это — гостиничное белье со штампиками, пыльные бумаги, недопустимость сочувствия, человечья слизь и черный лес — в конце земных дорог там ничего нет и окликнуть некому. Мы просто встречались и говорили друг другу то, что от нас требовало дело. Пока не умерла его жена. Тогда Гольцмана взяла невидимая рука, помяла-пожала с легким хрустом и положила обратно на эту лавочку.

— Идея простая. Распаковать мост. И долбануть уродов, привести в чувство. А то они думают, что закрывают все вопросы. Что всех зароят. Пусть знают.

Гольцман покивал — да, он ожидал этого:

— Это, дорогой мой, безнадежно. Это бесполезный, опасный труд. Это не наше дело. Это после всех нас.

А нам выход один. И для тебя он тоже открыт. Выход — вот. — Я не повернулся, я смотрел, как байкеры несутся в сторону Воробьевых гор, везут своих белокурых девок в черной коже, я так и не увидел, как он изобразил управлявшую им теперь книгу: тремя перстами? крестом? — И мы вернемся. — Он так и не добавил «я уверен», «может быть», «я надеюсь», «мне кажется», «и Пушкин в это верил, а небось, не глупее нас», «Эйнштейн в конце жизни признал...»

— Я не вижу выхода. Я буду делать то, что могу.

Мы нескучно помолчали, я доцедил кока-колу и метко запустил банку в урну: трехочковый! — облизнулся и задумался над его вопросом:

— Но этот... мальчик? Этот зондаж тебя... Ты считаешь, у тебя хватит ресурсов, чтобы как-то... решить?

— Он меня напугал. Все так выглядело... Так настоящему, как не бывает! Но потом я все вспоминал. Ночь с ним разговаривал... И вспомнил... И может быть, у меня есть маленькая возможность все развернуть. Клиент неуверенно сел в машину. Вообще не знал, куда ему сесть. Полез сперва в машину наружки, охрана его пихнула в «БМВ», а там он не знал, с какой стороны садится охраняемый, ему подсказывали! Как в первый раз. Если мне повезет, если он приехал на вернисаж без охраны... Если весь этот маскарад подогнали только под наш разговор... Если сопровождение он нанял на час, потому что на большее не хватило денег... то этот малый — один, раскрытая ладонь. И за ним никого нет. Просто клоун, заигрался в Интернете... Кино про секретные материалы... Путешествия во времени... Управление чужими желаниями... Не понимает, *что* трогает. Я записал номер машины.

— Если кто-то всего лишь обратился во вневедомственную охрану и оплатил наружку и физзащиту на воскресенье... Например, для сопровождения на переговоры...

— Тогда мы его разорвем.

Гольцман безжизненно и равнодушно подумал и наконец кивнул: возможно...

И поднялся. Настала пора. Теперь, когда он казался себе свободным и будильники молчали, он жил по какому-то особенно строгому распорядку:

— Большой Каменный мост у Дома правительства. Много слышал, но толком ничего. Надо найти вход. — Что-то прикинул и постороннее выдал: — Может получиться познавательное.

Ночь — ненадежное время. Я становлюсь мальчиком. Все, кто знают меня другим и на кого я должен работать, засыпают. Я сижу на кровати один и не могу включить свет, мне не разрешают. Я не могу включить свет, чтобы читать, не могу в темноте слушать музыку — это всем мешает выспаться. Я могу только ощущать себя мальчиком, который сейчас, в эти минуты, никому не должен. Я могу на ощупь разминать руками морщины и не слушать неинтересное, не интересоваться неинтересным. Могу подержать в руках мячик или тихо катнуть его до стенки.

Я не устал, я могу встать и долго идти быстрым шагом, но меня не выпустят, я должен на них работать, пока они меня не похоронят. То есть — ничего взамен.

Проблема

Вот это у меня... обострено. Мне тридцать восемь полных лет. Имею двоих детей. Старшая дочь (ей десять) высокая — уже барышня! У меня много седых волос. Я гляжу на них смиренно, как на снег, лежащий на крыше дома, — он растает, — как на царапину, что заживет.

Наверное, это началось раньше, давно, что-то повлияло на плод или после недолечили, но особенно пять лет назад: я читал газету в вагоне метро, подъезжая к работе.

И прочел: через несколько тысяч лет (или через несколько десятков тысяч лет) Млечный Путь, где мы живем, столкнется с туманностью Андромеды. Сейчас мы сближаемся со скоростью пятьсот километров в час. Или пятьсот тысяч километров в час. Но когда мы встретимся, Земля давно уже будет мертвым телом. У Солнца закончатся запасы тепла, и Земля превратится в ледяную глыбу.

Мне стало так жутко, как бывало только в детстве, и только в метро, и только при мысли о гибели родителей. Я сразу подумал о дочери. Я так остро почувствовал СМЕРТЬ, что казалось, это ощущение уже не пройдет. Но прошло десять минут, и, подходя к работе, я почувствовал: полегче. Я даже удивился — где же то? Что такое разогнулось во мне и так быстро! Видно, попритерся я здесь, привык жить-жевать.

Но спустя... летом... мы свернули с дочкой к оврагу поискать грибы. «Пап, а правду говорят, что Земли когда-то не будет?» Безвыходное, выигрывающее время: «Кто тебе сказал?», и на склоне оврага я полностью понял: да. Ничего больше не будет. Все сгниет, как трава. Но это невозможно показалось совместить с существованием рядом родной, потной, пахучей макушки моей дочери. Я оказался не готов к небытию навсегда.

Моя болезнь описывается четырьмя словами: *я не могу забыть*.

Нет, тремя: не могу понять. Тремя: не могу смириться. Еще три: я не хочу!!!

Вечером и утром я начал об этом задумываться. Вечером и утром я покачивал с нажимом свое нутро, как ненадежный зуб: так же? не перестало? Иногда пробитую дыру затягивало синеватой, тошнотной пленкой от усталости, переедания, опустошенности женским телом, соседства с сыном, бегущим во сне на битву; я двигался бережно и старался больше спать, чем-то попритереть, но — не срасталось; совсем дыра, похоже, не зарастет

никогда. Видимо, ослаб организм, не борется. Что-то в тканях такое... Видимо, прошло мое время.

В юности предохранительной подушкой впереди лежала неизведанная земля «ты еще молодой», в детстве жизнь казалась пустыней, дремучим лесом, но вот теперь лес стал пожиже, и меж стволов начала проглядывать... ты поднялся на следующую гору и вдруг увидел впереди черное море; нет, вон там, впереди, еще есть горы, поменьше, но моря, к которому ты идешь, они не закроют больше никогда.

Я отмечал в себе: я все равно не готов, что мой сын (он любит гречневую кашу и плачет изредка в саду — там появился кролик) умрет, что его старческое лицо появится в фотографическом овале, а потом крест завалится и могилы распашут. Я не готов принять появление каких-то новых мальчиков, дождавшихся очереди жить. Я не хочу других мальчиков, других стариков, другой весны, кроме моей, нашей. Мне пришлось признаться себе: со всем этим мне хочется броситься к маме, прижаться, прикинуть, подбежать и с разбегу уткнуться — и не могу, мама умерла. Но у меня не хватает сил скрывать, что желание это абсолютно реально.

Никому это не интересно. Вот и настало время, когда некому рассказать про мою маму. Так странно: хочешь рассказать про свое бессмертие, а это никому не надо.

Постепенно мысль о несуществовании полностью заняла меня, как полчище татаро-монгол, как иго.

Любую радость начала протыкать смерть, несуществование навсегдашнее. Я потерял радость утреннего сна, просмотра футбола, трудовой усталости тела и оконченной тяжелой работы, радость весны, первого снега, радость невесомости детских рук, утоления жажды холодной водой. Я потерял вкус еды — я потерял все. Вес могильной плиты раздавил.

Жизнь продырявилась, когда я понял, что умирать — «да», и разорвалась тем, что еще и «скоро». Там, во мраке

уничтожения личности, сквозила какая-то новизна и окончательность, сладость подчинения чужой воле и иногда твердое обещание несомненного будущего, но все это оставалось смертью и тонуло в смерти. Кого сможет согреть эта ледяная искра? Мир сокращается, опускается каменная порода, бегать приходится пригнувшись, потом согнувшись, а скоро придется на четвереньках, а затем ползком, а в конце лежать и чувствовать, как миллиметрами налегает камень на хрустящую грудину, пока не придавит как жука, запоздало распялившего крылья.

Что — я прожил свое, прожег? Весной уже не обновляется кора. Уже не выучить английский. Окончательно мимо. Почему-то больше всего я пожалел о школьных уроках. Что не писать больше дробей, не решать уравнений с неизвестными. Не учить расположения планет: Меркурий, Венера, Марс, — еще помню Плутон. Не придется подчеркивать подлежащее одной чертой. Знания отработали свое и больше не понадобятся. Я больше не понадобится. Моя жизнь... Моя жизнь! Но я хочу еще раз заучить падежи и неправильные глаголы, я опять хочу (не «опять» — всегда!) чувствовать прочность закладки первых кирпичей, я хочу жить в детской, человеческой справедливости, а не под людоедским гнетом времени, решившим, что я навсегда должен *не быть*... И уж если по справедливости, то мир должен взорваться такой атомной бомбой, чтоб все сдохли, чтоб никогда никого, если умираю я, человек, что был дороже всего на свете только маме.

Я хочу вернуть себя...

Я заглядывал в лица людей, особенно стариков — вон они улыбаются, сидя на банных полках и на мягких сиденьях маршрутных такси — они, видно, знают секрет, какой не знаю я. Ведь их ждет та же смерть, что и меня, и раньше: уже завтра! Тогда чему они улыбаются, почему не спешат, не подают вида, что сжирает их ужас? На что надеются? Мне некому рассказать, мне некому расска-

зять... Я с детства привык, что моя жизнь так же важна всем вокруг, как моей маме, единственному взгляду, его ничто не заменит.. Не всепрощению... А чему-то другому. А вот теперь — не интересен никому. Только некоторым, и не весь — частицей, что можно съесть — да, потрепать, отгрызть. Целиком — никому.

Я увидел смерть так отчетливо, что больше перед глазами ничего не осталось. Мне сожгла глаза моя мгновенно, неостановимо и совершенно убедительно сгораемая жизнь, и ненужно удивляли вопросы: почему только сейчас? как я мог жить, не замечая этого раньше? почему так быстро прошло и кончается?

Всякая жизнь (вся! пожалуйста, вся!) кончится моей смертью, мысли-утешения о будущих придурках внуках и детях — это обезболивающий укол, чтоб дошли без лишних хлопот для окружающей молодой своры, без ночных криков ужаса, без цепляний за рукава санитарок и врачей: не отдавайте меня туда!!! Судьба человечества меня не волнует, человечества давно нет, в нем нет ничьего «я», и кому оно на хрен сдалось?! — меня волнует моя жизнь, мое дыхание, я. Мне нужен я.

Я не хочу навсегда *не быть*, я не хочу, чтобы дрогнули и поплыли границы моего времени: школьная синяя форма с металлическими пуговицами, автоматы по размену монет в метро, парады на Красной площади, космонавты, ценнейшая газета «Футбол-Хоккей», трамвай двадцать шестого маршрута, голоса Высоцкого и Левитана, записи «Машины времени» на рок-фестивале в Тбилиси, танки, идущие... — не хочу, чтобы наше время замертвело, опутанное щупальцами молодой хищной жизни, научившейся подавлять голоса умирающих и больных и не замечать надежды мертвых. Эти молодые запугали всех и заставили жить так, словно смерти нет. Словно все кончается хорошо. Все вообще хорошо. Плохих финалов нет. Будет еще серия. Всегда есть повод развлечься. Все смеются. Только ненадолго прервемся на

рекламу. Словно все мы окончательно не сдохнем навсегда. Словно есть что-то важнее этого «нет» на свете. Об этом не говорят, не поют, детей не учат — смерти нет. Этого не замечает телевизор — смерти нет. Молодость и веселье и новые товары! Пожилых немного, вон они на лавках ласкают собак, румяные и придурковатые мишени для насмешек! уродины! — а мертвых и вовсе нет. Унесли и закопали. Жизнь продолжается. Так, словно *всегда* будет продолжаться... Их не показывают. Их не выносят на улицу. Их большинство, но им нечем сказать. Никто не хочет вызволять из земли сгнивших, никто не признает их равными себе. Никто не слышит этот подземный стон великого большинства: **ВЕРНИТЕ НАС!** Словно самое главное человеческое желание, как и смерть, не существует, словно единственный возможный смысл — не имеет значения. Словно мертвым есть на кого надеяться, кроме нас.

Что же мне делать, что же мне делать... Способы, хоть какие-то надежды... Какие? Есть занавесочка «еще не скоро». Великое «еще не сейчас». Есть жажда СО — сильнодействующих отвлекателей. Алкоголь. Горные лыжи. Фан-клуб... Можно искать бодрости в образцах здорового долголетия, длительной работоспособности.

А может, я разрушусь, сокрушусь до моллюска, прежде чем умру и смогу думать только о рисовой каше?!

А может, вообще не думать об *этом*, и старость сожрет личное, неповторимое незаметно, как стачивает пылинки-жучок трехобхватные бревна.

Может быть, физическая старость напитает идею «С меня довольно», и нежелание дальше *быть* будет столь же отчетливо, как «я наелся», «больше не пойду купаться». Нет! Форма выражения этой идеи будет взята напрокат и потеряет существенную свою особенность — неконечность (в пределах жизни нет ничего окончательного). Когда мы говорим «не пойду больше купаться» — это вовсе не означает, что я не буду купаться больше

никогда. И когда старик однажды почувствует «хватит жить» — это не значит, что завтра он не почувствует другое, увидев скворца на вишне, березу и медную сосновую кору, это не значит, что он навсегда захотел умереть.

Еще есть какие успокоительные средства?!

А, есть еще такая удобная форма приема смерти вовнутрь, как «семья», «народ» (форма побольше и попроще), «ИС-ТО-РИ-Я», — хоть и безымянно, но ты останешься в ней — минералом, растворенным в воде, золотинкой. Кровью в родственных жилах. Семейным горбатым носом. Шустрым атомом надмирового «Я», долей безликого грамма, улавливаемой современной аппаратурой!

Да, я оглянусь на «семья!», «народ!», «история!»... Красиво упакованная, красиво выполненная история, для удобства перелистывания принявшая законченный вид... Но я не согласен подыхать навсегда для того, чтобы *все это* двинулось куда-то вперед и дальше навстречу туманности Андромеды!

Или? — боль сделает немилую жизнь, и сам будешь рад нажать самоустраняющую кнопку — ведь нажимают вон те, и не откажешь им в искренности?

Может быть, *таблетки*. Но не думаю, что фармацевтической промышленности под силу гарантировать результат. Таблетки отладят глубину и остроту, но не подвинут мысль, застрявшую на уничтожении всего; да и мысль — и она живая, моя, это тоже «я» — и ужас свой не отдам!!!

Ничего не могло, не может, нет-нет, заслонить это. Ничто не может вернуть сонное состояние глаз, когда видению будущего положен обыкновенный людской предел: мой сын, мой внук, яблони, что вырастут без меня, и насядут, как прежде, майские жуки на березки городского парка...

Я побегал меж этих жалких, неподдействовавших «способов», как выросший человек вокруг старой одежды,

как медведь вокруг теремка, не выходило ничего, только одно — кто-то должен пообещать бессмертие.

Земные правители? Сияющие скоты? Но у них пока не очень получается даже с канализацией — с проводкой дерьма по трубам! Народному восстанию за бессмертие они покажут икону.

Еще предпоследнее — бог, Бог, Бог — да, хорошая идея, чтобы успокоиться, — сдохнем в отмеренных муках, поспим, а затем — воскрешение в физическом облике, с кожей, волосьями, хоть и неизвестного возраста (лишь бы не в десятом «А» — алгебра!), и — вечность; трудовой, нехалаявный выход: отстаивать службы, к старости почиститься, покаяться и умертвить плоть, угадывать знакомые слова в церковнославянском и подпевать (а может, и на Пасху что-то доверят нести)... пожертвовать в завещании люстру в монастырь, а то и постричься *накануне*, брат Серафим! А если поголодать и часами напрягшись смотреть в темноте на огонек свечи, то и увидеть что-нибудь заживо можно — какое-нибудь неясное такое свечение и тени... Подходяще, хотя, сдается мне, черешни и девушек в коротких юбках у Бога не предусмотрено, Бог представляется довольно большим бетонным шаром, внутри которого заключено *все*. Но в чем висит этот шар? Что вокруг него? Вдруг та же вечность-вселенная-смерть? И смущает: *написано*, а раз *писалось*, так и польза, ведомо, соблюдена, пишут же ради пользы! Боятесь, значит, умирать? Так ветераны посовещались и составили в утешение, написали, чтоб вам не бояться! Чтоб друг друга не перегрызли на похоронах детей. Чтоб не требовали бессмертия. Чтобы мертвых хоронили, чтоб санитарно-эпидемиологическая обстановка... И чтоб вели себя поприличней — за вами наблюдают! Только вот жалкий торговый разнобой: миллиарды верят в одно, миллиарды в другое. Ислам какой-то... Далай-ламы... Католиков напридумывали — кто это? И особо не спорят, не жалко им идущих мимо — поделили рынок. И еще как-то

смутно, когда выход один: вот есть Бог, а больше ничего. Не из чего выбрать, и ненадежность от этого, боязнь, ведь практических свидетельств нету, даже Папа Римский рак прямой кишки не исцеляет, и астрофизика не подтверждает — тишина какая-то, Бог не пугает, Бог что-то молчит... Никому что-то давно не *являлось*. И плащаница возрастом не сошла. Я, кстати, только двух глубоко православных знал. И оба (мужик и женщина) оказались законченными сволочами. Нет, я верю, что утешение есть, святые есть, РПЦ, бедным помогают бесплатными обедами, православная сиделка, как правило, потеплей, хоть и много дороже; и как-то легче, душевней, когда поставишь свечу за полтинник, потолще, и подождешь «за упокой», когда народ в пасхальную ночь потечет вокруг церкви... — кто спорит, нужное дело, а вот воскрешения из мертвых, боюсь, нет. В наборе может не оказаться. Производят все в Китае, в прилагаемую косноязычную инструкцию разве вчитываешься, когда покупаешь...

Нет, не так, другое — допустим, один процент (1%) вероятности, что там, в алтарях, пусто, только солнечный свет, и этим маленьким церквям с низкими небесами нечего ответить остывающему Солнцу. Смехотворный один процент. Нет, или — 0,0001 процента. Или — 0,000000000001. И даже одна ничтожная эта единица после одиннадцати нулей выпускает ночной ужас на волю. Беда этого уравнения в том, что любая, самая ничтожная погрешность в расчете не меняет приемлемый, ожидаемый результат, а уничтожает его вовсе, уничтожает вообще все, и моя дочь останется одна, и скотски и безлико мы уснем навсегда. Сгнием.

Вечная жизнь должна быть гарантирована безоговорочно. Мысль о проценте сильно занимала меня.

Остается последнее. Есть такое стожильное выючное животное — б у д у щ е е; выносит все, что на него грузим, и еще грузим, и еще грузим. В будущем, короче,

разовьется наука и нас вернут ангелы-врачи! Но верится слабо. Вдруг эти уроды подарят вечность только себе, своим, родственникам, ближним? Как нам, сдохшим, проследить, отстоять, заставить их потащить *всех* поголовно назад? У нас же нету партии, нету «крыши», нету ресурса, а они, будущие, сами себе хозяева — сперва отставят австралопитеков, и это только начало, надо же экономить бюджет, подсчитают и задвинут на хрен Средние века, а потом — оставим только живущих, да и не всех: кому повезет! Кто не должен за коммуналку. Уроды! Хотя, если б мне повезло и администрация предложила: вот лично тебя оставим, а дедушек твоих и бабушек, извини, нет — сам же я, подлец, соглашусь — а какой у меня выбор? Зато я тогда своих вспоминать буду — каждый день! И рассказывать про них — вам интересно? Все лучше, чем **ВООБЩЕ НИЧЕГО**... А вдруг даже живущим не всем дадут, вдруг окажусь не годен, не попаду в лимит? И тем более — послушные собаки, журавли и серийные убийцы, на детских утренниках обещавшие из себя многое другое? Никого. Нет.

Ничего не остается, кроме лжи. Но я из нее выпал.

Отвлекаясь... Я догадался: что-то случилось со мной. Что-то такое, чего не случается с другими. Как это раньше не проламывали меня миллиарды лет, черные дыры, жрущая глотка Вселенной?

А может быть, я подумал, просто все дело в том, что вечный человек, живший внутри меня, умер. Перестал разговаривать и просить есть. Там теперь какая-то мумия.

Маскарад

«Барыга» оплатил двухчасовой контракт «сопровождение и встреча» с управлением вневедомственной охраны при Главном управлении внутренних дел Москвы, подпи-

сал: Чухарев А.В., генеральный директор ООО «Орион-К». Род занятий: туризм. Почтовый адрес: Хлыновский тупик, дом 26. Оплачено: семьсот двадцать долларов.

Хлыновский тупик уходил направо с Большой Никитской (если подниматься от Моховой) напротив театра Маяковского. Вход в подъезд, занятый офисами, находился в сырой обшарпанной арке сразу за кафе «Гнездо глухаря», где, судя по рекламе, шалашом выставленной на тротуаре, по вечерам выступали барды.

Я устроился на веранде ресторана на Большой Никитской и попросил у грудастой усатенькой официантки в коричневой блузке стакан воды «Витель» без газа, стакан льда и сразу счет. Я сидел один и гонял пальцем по столу черную пепельницу.

Из красного полыхающего «Фольксвагена» выбралась очень высокая девка в белой легкой накидке и белых просвечивающихся штанах без малейших признаков трусов — такие сражаются насмерть с морщинами и со временем усилиями пластических хирургов превращаются в шимпанзе.

Опустилась за соседний столик, церемонно закурила, сжав тонкую, как коктейльная трубочка, сигарету красивыми полными губами. Плосковатая подростковая грудь, вывезенная из Испании смуглость, узкие бедра, крашенные в смоль волосы, туго зачесанные, заколотые на затылке и словно залакированные. В расположении огромных глаз проглядывала плаксивая изломанность, но сбоку девка смотрелась породистой и плотоядной, отрисованной в имидж-лаборатории «Персона» на Кутузовском проспекте.

Я загружал льдом стакан, девке принесли кофе в наперстке. Она аккуратно, как пудреницу, раскрыла серебристый мобильник; тыкала розовыми, заляпанными золотистыми узорами ногтями кнопки и слушала — спрашивала, отвечала, хриловато ржала, прощалась и набирала снова.

Он появился сверху. Шел от Бульварного кольца, издали выделяясь среди прохожих белорубашечной грудью и вольной смуглой статью. Вел за руку маленькую беременную жену с розовыми, налитыми локотками и школьным хвостиком на затылке. Безмятежно улыбаясь, они шли и грелись на солнце, глядели вперед, но так, словно смотрели в лицо друг другу сонными счастливыми глазами, и какой-то сияющий шар клубился в том месте, где соединялись их руки.

— Вот они идут. И весь мир для них как зеленая поляна, — сказал я костлявой девке, и та невольно оглянулась.

На перекрестке молодые прижались друг к другу, вплоборота, оберегая беременный живот, и он отправился руководить обществом с ограниченной ответственностью, оглядываясь и отмахивая жене рукой: не оборачивайся, иди осторожней — и она, улыбаясь своей жизни (встречаются такие девушки, особенно летом), пошагала дальше одна, вниз к Моховой.

— Вот и лето прошло, — сообщил я девке и пересел за ее столик. — Ждешь его, ждешь, приходит — и черешни не успеешь поесть. И никто больше не влюбится в тебя сам по себе. Никто не будет краснеть, ронять вилки и подкладывать записки без подписи в куртку в раздевалке.

— Мне кажется, вас очень многие любят. Вы просто не хотите этого замечать. — Она сказала это без улыбки. Сердечно...

— Будете работать с нами?

— Пополняете коллекцию? Не пробовали еще ноги в сто четырнадцать сантиметров? Раскованная семейная пара ищет девушку? — Она серьезно вглядывалась в меня сквозь сигаретную дымку.

— У меня нет жены, я один. Да и вы слишком худая. Девушки моложе шестидесяти килограммов не рассматриваются.

— А кто это — вы?

— На самом деле — никто. Организация по выяснению обстоятельств. Общество защиты детских фотографий.

— У вас грустные глаза, — губы ее остались чуть разомкнутыми, розовая влажная толща, и светится снежная кромка зубов, и дышащая пустота, в ней приливами накатывается язык и отступает.

— Это из другого кино. Давайте вернемся в нашу картину. Ничего особенно не требуется. Подняться на пятый этаж...

— Я, боюсь, не сумею вам чем-то помочь. Я ничего не умею... такого.

— Ну-у... Пусть после нашего как бы случайного знакомства прошло два года, вы начинали с малого, а теперь — умеете все. Алена Сергеевна. Обеспеченная, красивая девушка. Муж занимается бизнесом. Двигается в правильном направлении. Один ребенок. Сын. Вы помогаете нам. Потому что многое из остального вы уже попробовали. Или придумайте себе другую причину, Алена.

— И я буду видеть вас каждый день. — Она смотрела мне прямо в глаза; лет двадцать шесть, небось, а то и тридцать. — И каждый день...

Мне пришлось примолкнуть, уставившись в ярко-зеленые (не тонированные ли это линзы?)... Опоздал предупредить: я ничего не чувствую при этом. Словно смотришь на две пуговицы, пришитые к резине. Только изображение начинает двоиться и дурнеет голова. Дыхание не перехватывает. Такие красивые девушки встречаются только в аэропорту — куда они все летят?

Есть несколько способов выбраться из-под такой куклы. Снять с каблучков — жопа при этом опускается существенно ниже и уходит кобылий размах при ходьбе. Мысленно поцеловать помаду и увидеть бледную щель на месте всех этих наливных ягодок нижней губы и алых сердечек верхней. Представить, как она сосет у мужа, буднично и устало. Есть и другие способы.

Алена перешла Большую Никитскую, не замечая машин. Надела черные очки и двинулась в Хлыновский переулок, деловитая и грустная, как собака, бегущая ночью вдоль шоссе.

В центре еще лето. Здесь Москва походит на приморский город: белые стулья в кафе, множество праздных людей, цветочные узоры на островках подземного тепла. Я огляделся и почувствовал себя человеком, работающим в горах, — спустился за солью и спичками, купить «Спорт-экспресс» за неделю. И все равно — эти улицы трудно представить без меня.

Боря Миргородский прохаживался воробыиной прыжкой под вывеской «Гнездо глухаря» и вгрызался в какую-то плюшку, придирчиво вглядываясь в ее нутро после каждого укуса сквозь дешевые очки.

— Во, — показал он мне, — называется булка с маком. — И заорал: — Где здесь мак?! Что ты купил, аспирантура?

Рыжий кудрявый юноша, подростково щуплый и наряженный как жених, стоял на противоположном тротуаре и делал вид, что Борю не знает. Не выдержал, сорвался и начал прохаживаться до угла и обратно, помахая портфелем, что-то зло шепча себе под нос и отворачивая покрасневшее лицо.

— Блин, что за люди, — плевался Боря, пожав мне руку. — Двоечники! Одни отошли кофе выпить и пропали. Этого за булкой нельзя послать, купил дерьмо какое-то... Иди сюда, аспирант! Все равно уже расконспирировался.

Юноша вздохнул, пересек дорогу, потупился и прошептал, глядя в Борины сандалии:

— Борис Антонович... Товарищ полковник... Видите ли... Я не предполагал...

— Да что? Что? Что?! Хрен ли, товарищ полковник? Что ты такой вареный?! Вот почему ты план по возбуж-

денным делам не выполняешь... Ах, вот они, — Миргородский живо развернулся. — Пожалуйста, ташатся... Вы что, пустились по магазинам прочесать?! Я же сказал: по чашке кофе — десять минут! Сидели там, языками а-ла-лы?

Три некрасивые женщины в уродливых длинных кофтах, с прыщеватыми лицами, с одинаковыми прическами башнями, зачесанными наверх, застыли на углу, шушукаясь и толкая вперед друг дружку.

— Распустился, распустился ваш отдел, — укоризненно поблескивал очками Боря. — Живете как мухи в сахарнице!

— Там очередь, — подали голос, конфузясь и пряча улыбки в кулаки, подкрадывались ближе.

— Очередь! Очередь! А в сумках что?

— А это мы вам булочек с изюмом купили.

Боря смолк, чтоб не рассмеяться, и радостно подмигнул мне, поправив на запястье часы, похожие на золотого краба с глазищами циферблата, и с сокрушенным стоном распахнул объятия и шагнул навстречу выпущенной подъездной дверью Алене, и распушил незримые усы:

— А-алена Сергеевна! Редко видимся, но вся-акий раз... Па-азвольте... — и сосуще поцеловал ей руку, и безрезультатно попытался удержать. — Но почему я не плечистый, не красивый и не холостой... — пропел. — Зачем я золото надел? Что там?

Не глядя на него, ни на кого не глядя, нагнувшись над сумкой (ключи от машины?), Алена пробормотала, перебирая тонкими пальцами в сумочке элементы для сборки ее ослепительной жизни:

— Общий зал. Отдельные кабинеты — два. Налево — генеральный, главбух справа. Используют штампы и печати разных фирм. Деньги принимают в долларах. Кассир сдачу доставала из сумки. Главный бухгалтер Вера Ивановна. Договора с клиентами не заключают.

Я посмотрела туры в Египет — цены приемлемые. Предложили чай, — спрятала в сумку очки, скользнула ладонью по гладким волосам и побежала к машине — такие не разговаривают на тротуарах. Такие девушки не становятся старухами.

— Ну, эта... — Миргородский кивнул как-то вбок, и в переулочек вползла «Газель» с зашторенными окошками, с надписью «Организация безопасности движения» на борту, а следом вторая. Боря растопырил пальцы: пять, пятый этаж. Из «Газелей» выпрыгивали бойцы физзащиты в камуфляжных куртках; черные маски, автоматы и дубинки, как чертовы хвосты; ботинки стучали по асфальту и втекали в подъезд, следом понесся рыжий юноша, стиснув портфель под мышкой, за ним спешили три женщины в длинных кофтах.

В подъезде два седых вахтера раскоряченно стояли лицом к стене, широко опершись руками, словно собирались блевать; у одного съехала фуражка и висела на ухе. Меж ними стоял боец, постукивая дубинкой о ладонь с мясистым, смачным звуком.

— Давай на лифте? — Мы поднимались в подрагивающей и лязгающей кабинке с надписью «Пусть раздавят меня танком, все равно я буду панком», посматривая на этажи сквозь по-старинному зарешеченную дверь.

— Что сейчас читаешь, Борь?

— Газету даже некогда... Работаю по двадцать восемь часов в сутки! Если только радио успеваю, одним глазом... Не жарко в ней?

Я успокоительно промычал, натягивая вязаную шапочку с прорезями для глаз, — дыхание щеkotно скопилось под носом.

На пятом этаже нас ждала тишина и пустота у железной двери с бессмысленной табличкой «Египет, Кипр, Хорватия, Саммит-тур».

Бойцы физзащиты каменными барельефами на гробнице вождя пластались вдоль лестницы, придерживая за

поясные ремни и воротники всех встреченных обывателей — испуганные моргания: что нам будет?

Женщины и рыжий юноша с портфелем не шевелясь стояли за лифтовой шахтой.

Миргородский покосился на глазок в двери и слабеющим голосом произнес:

— Ну, эта... — и пошмыгал носом. — Что за черт, как осень — начинаю сопатить. Как аллергия. У тебя есть какой гомеопат? Или кто это делает? Иммунолог? Лариса Анатольевна! Позвоните.

Старшая из женщин прошла к двери и тронула кнопку звонка единственным слабым движением, словно боясь потревожить, всего лишь спросить, когда бывают соседи — неделю не может застать, и ровно встала напротив, улыбнувшись в глазок.

Дверь отворилась. Крашенная блондинка (не успел разглядеть), автоматический голос: «За путевкой? Проходите, пожалуйста!» И дико вскрикнула и повалилась вниз и набок — через нее хлынули спины, и плечи, и черные головы.

И вопли:

— Лежать всем!!! Лицом вниз! Куда ты повернулся, сволочь?! Ноги! Ноги на ширине плеч! Все легли, или стреляем! Брось телефон! — Телефонная розетка прыгнула из стены — лопнуло! — с осколками штукатурки. Грохот, удары втащили нас внутрь, мы спотыкались о перевернутые стулья, вздрагивали от грохота падающих чашек и настольных ламп. Спины... Из-под вырвавшихся подолов и рубах вылезли жирные телесные ломти, разбросанные, словно взрывом; я смотрел только на обувь, на пыльные сбитые подошвы и тонкие каблуки, вот даже маленькие, как у девочки, белые кроссовки...

— Борис Антонович, в туалете закрылась! — орал рыжий юноша.

Боря развел руками: что ты будешь делать — женщины, поднял опрокинутое кресло и присел за компьютер,

тронув плечо девушки в белой блузке, лежавшей под столом:

— Ваша машина? Есть «Сапер»? Любимая игра Шамиля Басаева!

Тетки рассаживались за расчищенные бойцами столы, готовили авторучки и чистую бумагу.

— Открой, тварь! — орал юноша. — Считаю до трех! — Махнул рукой: ломайте — и веселой пробежкой бросился в кабинет налево; за ним топали бойцы, задрав автоматные дула, следом спешил я.

— Лежим тихо! — С оглушительным треском дверь туалета рухнула внутрь, пыхнув строительной пылью, брызнуло зеркало, и руки выволокли наружу тощую истеричную бабу в уборщицком халате — она не могла идти от страха, ее мешком протащили в зал и бросили вдоль плинтуса; ломавший дверь боец присосался к окровавленным пальцам, — женщинам можно встать. Каждая со своим паспортом подошла к вот этому столу!

В дверях кабинета хозяин не выдержал и забарахтался, его незаметно и сильно ударили прикладом, и он с мучительной гримасой обвалился в высокое кожаное кресло «Босс», такие долларов шестьсот. На лице Чухарева я не находил глаз: он то шурился, то поднимал брови, сваливал голову набок, простуженно мигал вспухшими веками, поглядывал в стену, как попугай в рекламе строительных красок.

— Вы генеральный директор «Орион-К»? — Юноша смахнул на пол серебристый мобильник Чухарева, и тот улетел под шкаф, выблевав крышку и аккумулятор. — В вашем офисе проводится оперативное мероприятие налоговой полиции по заявлению граждан о проведении незаконных сделок, — и вихрем носился по кабинету. — Что в этом столе? Открывайте. Что в барсетке? Что в карманах? Быстро встал!!!

Чухарев стоял с поднятыми трясушимися руками, бойцы выбрасывали на длинный приставной стол связ-

ки ключей, визитницы, записные книжки, дискеты, папки с бумагами, фотографии, носовые платки. Я перебрал фотографии, роняя отсмотренные на пол. Где же Нина Уманская? Старики-родители, семейные праздники, счастливая жена на верблюде и на фоне ветряных... Я залез в холодильник, притворившийся встроенным шкафом, достал бутылку «БонАквы» без газа, бойцам вытащил две бутылки «Хеннеси» и бутылку «Джонни Уокер».

– Так... Откройте сейф.

– Ключей нет.

– Ты что говоришь такое, сучонок?! – замахнулся на него ближний, и Чухарев страшно вздрогнул. – Ключи начальнику! Ломать будем!

– Константин Геннадьич, – окликнули юношу из-за двери. – Ну, мы...

– Документы – в коробки. Компьютеры, оргтехнику, телефоны – все выносим. Завтра будем описывать. Техника у вас на балансе? – юноша мазнул взглядом по онемевшему Чухареву. – Ваша личная? Значит – ничья! А может, еще и ворованная – надо проверить. Только мебель оставляем. Сейф открывайте, Чухарев. У вас там что, наркотики?

– Обыск... только с санкции прокурора, – срываясь в бабьи визги, выдавил генеральный директор.

– Когда он даст санкцию, ты уже будешь сидеть, – юный Константин Геннадьевич прилег на стол и шевельнул рукой вываленный хлам. – Чьи это печати? Чьи штампы? Почему на путевках «Орион-К», а в приходниках «Саммит-тур»? Что за ООО «Ираида»? Это же чистая сто девяносто девятая. Ты уже сидишь, парень. Из твоего окна всю Сибирь видеть.

В кабинет экскурсионно-утомленно заплелся Боря и извлек из кармана серебряную чайную ложку с витой ручкой.

– Секретарь сказала – ваша? Интересная такая штучка.

Чухарев согласно вдохнул со страдальческим всхлипом и опустил за стол. Его породистая смуглость теперь отсвечивала синевой, кудряшки дождливо прилепились к вискам. Он сидел как привязанный, только голова не держалась ровно, словно из шеи вынули позвонки.

Миргородский убрал ложку в карман, вернул на переносицу съехавшие очки и устранился, прошептав — но чтоб всем было слышно — бойцу тяжеловесной стати:

— Только не так, как в прошлый раз. А то проверяемый катался в истерике, два ребра сломал, а его адвокат написал — ты помнишь? — *его били!*

Я вскочил и по Бориным следам перебрался в кабинет напротив, где оцепенело молчала маленькая женщина со старческим лицом.

Она сидела в углу, как можно дальше отодвинувшись от стола, и смотрела себе на коленку. На столе веерами лежали раскрытые тетради и кипы листов, соединенных скрепками.

Женщина вздрагивала, когда в комнату кто-то входил, и щипала рукав бордового свитера. Казалось, она не видела Бориных девочек в длинных кофтах — одна писала, другая спрашивала, то выпуская когти, то глядя бархатной лапкой:

— Вера Ивановна, ну посмотрите на меня. Ваши сотрудники уже показали, что вы главбух. И зарплату выдавали вы. В конвертах. Черным налом. Покажите мне штатное расписание. Нет? Твою мать, прости меня, Господи! Вот! Смотрите, берем приходник за сегодняшнее число. Я задаю вопрос: где у вас, Вера Ивановна, проведены эти деньги?! Вы не волнуйтесь. Спокойно смотрим кассовую книгу. Вот сегодняшнее число... Что же получается? Пишем: средства за вырученные путевки в кассовой книге не отражены. Черная выручка. Так? Да не надо молчать. Это же ваша подпись на приходнике?

У женщины плаксиво наморщился подбородок и отрицательно вздрогнул.

— А кто же это расписывался? Мы же сейчас вызовем почерковедческую экспертизу. Вот тогда придется поплакать. Если по-человечески не хотите. Дети у вас есть?

В горле у женщины что-то клокотнуло.

Боря переместился к подоконнику и открыл окно пополам — освежить; один из бойцов вскочил и выбежал вон — прогрохотал по лестнице на улицу.

— Пока мы с вами по-хорошему разговариваем, Вера Ивановна. Просто общаемся. А будет по-плохому, когда допрашивать начнем. Деньги в мешке из вашего стола чьи? Ваши? Не ваши. Фирмы? Есть подтверждающие документы? Понятно, деньги ничьи. Изымаем. Борис Антонович, налицо преступление — кассового аппарата нет. Все приходники на валюту. Главный бухгалтер молчит. Ни документов уставных, ни расчетного счета...

Миргородский словно проснулся:

— А что вы на нее все вешаете? Лицо честное, симпатичная такая девушка...

Лицо бухгалтера скобками перехватили мучительные морщины. Она отворачивалась от примостившегося напротив Бори. Не хотела его слышать.

— Может, и не она расписывалась. А может, и вообще она не Вера Ивановна, — думал вслух Боря. — Вы хоть паспорт у нее смотрели? А то вцепились... — И тише спросил: — Вы кто? Уважаемая, паспорт ваш можно посмотреть?

Бухгалтер брезгливо всплеснула рукой. Паспорт шмякнулся на стол.

Боря без промедления выбросил паспорт в окно и с прежней теплотой продолжил:

— Паспорт свой покажите, будьте добры. Вы кто?

Главбух вскочила, лягушачьи подергалась и уткнулась в кулачки, похоронно заголосив, захлебываясь, гавкая:

— Ат-дай! В-выбросил! П-паспорт давала! — У нее распухало лицо, губы, горло, она уже не могла говорить, только шипела, прерываясь на измученный вздох.

Миргородский превратился в огорченного очкастого учителя, диктующего проверочную работу:

— Вот так, ребята. Я как чувствовал. Паспорт отсутствует. Других документов, удостоверяющих личность, не предъявлено. Объяснений не получено. Следовательно, везем в камеру предварительного заключения и оформляем на трое суток для выяснения личности. Сегодня четверг? Во вторник вечером выйдет. Лариса Анатольевна, вызывайте милицию. По факту мошенничества. Главный бухгалтер без документов. Имени не называет.

Послышался стук пальцев по телефонным кнопкам.

— Какое тут отделение...

— Да вы звоните «ноль-два», там переключат.

— Не надо. Я вас прошу — не надо! — вдруг выдавила главбух таким истерзанным голосом, что у меня заньло сердце. — Не надо! Не надо! — Я понял, что скоро она будет биться головой об стол.

В комнате что-то задвигалось, переместилось и стихло.

— Вера Ивановна, — Боря нагнулся с врачебной небрежливостью к главбуху и с натугой оторвал поочередно руки, прятавшие красное, измятое лицо, — идите-ка вы домой. Хватит уже. Ради чего вы себя мучаете? Милая женщина, в данном случае вы ответственности никакой не несете. Пишите, Лариса Анатольевна. Вы что, оформлены приказом? Нет. Образование небольшое, верно? Бумаги подписывали не вникая, так? Что приносил генеральный, то и подписывали. А как по-другому? Он же генеральный. Фактически Чухарев принуждал вас, да? Он выполнял функции главного бухгалтера, а вы занимались *чисто канцелярской* работой. Видите, хорошо у нас получилось, — рассмеялся Боря. — А вы плакали. — На стол упал доставленный с улицы

паспорт. — Расчетного счета не открывали. Наличку возили в банк и клали...

— На счет генеральному. — Главбух схватила паспорт и согревала в руках.

— Ну и все! Лариса Анатольевна все запишет, даст подписать, и идите домой, никому вы ничего больше не должны. Господи!

Лариса Анатольевна быстро заполняла листы крупными буквами, я заглянул в зал — выносили вон тяжелые картонные коробки, замотанные скотчем, мониторы, кадки с цветами, снимали шторы, срывали календари со стен.

— У кого паспортные данные переписаны, свободны. С собой только личные вещи. Офис будет опечатан до окончания проверки. Это месяца два-три.

Сейф уже открыли. Чухарев пересел к стене. Из него вынули еще пару позвонков, он горбился, нависал над коленями. Но пытался говорить, не отрывая беспокойных глаз от пересчитывающих и упаковывающих рук, отвечал прерывисто, с непонятной отдышкой, ему казалось, если говорит — может что-то изменить, не добьют живого.

— Сорок четыре тысячи долларов. Чьи это деньги?

— Это деньги... моей... фирмы.

— С какой сделки получены денежные средства? Какие путевки продали? Где подтверждающие документы? Деньги — ничьи. Изымаются.

— Вы не имеете права!

— В суде объяснитесь. Договор на аренду помещения где?

— Только собирались заключить. Мы недавно заехали.

— Недавно? Да ты у нас уже четыре месяца на прослушке! Пишем: деньги за аренду не проводились. Ты еще и хозяина помещения подставил, мешок — по цепочке и он пойдет. Уставные документы где? В Москве фирма зарегистрирована?

— Да... Я даже не знаю... Документы на перерегистрации. В юридической фирме одной. Не помню названия. Мальчик от них какой-то приходил, все забрал. Сейчас не вспомню, как зовут. Деньги вы не должны забирать.

— По данным московской регистрационной палаты ваша фирма не зарегистрирована. В налоговой инспекции на учете не стоите. Так, что тут... Авиабилеты, сто тридцать четыре штуки. Четыре пачки загранпаспортов... Слушай, складывай так и печатай, завтра опишем. Тут их до хренищи.

— Я вас прошу, — вскинулся Чухарев и затряс руками, — эти группы вылетают послезавтра, люди планировали отдых. С детьми! Они все оплатили! Поймите, это невозможно! — Он все ждал, чтобы хоть кто-то к нему обернулся. — Что я им скажу?!

— По закону изымаются все бланки строгого учета. А паспорта надо пробить. Вдруг они ворованные. Ведь как бывает: паспорт есть, а человек давно умер.

— Я вас у-моляю. — У Чухарева не осталось сил держаться, глаза заблестели, заколыхалось горячее кисельное нутро. — Меня убьют. Я не смогу жить. Это не мои деньги. Я их должен. По-человечески отнестись... Я вас отблагодарю!

— Так надо было в соответствии с законодательством, — заплелся опять Миргородский и потряс исписанными страничками. — Бухгалтер ваша все описала. Что ж вы без контрольно-кассового аппарата? Заканчивайте.

Коробки выносили караваном, кабинет пустел, я подобрал со стола оловянного лыжника в зеленом маскхалате и сжал в кулаке. Константин Геннадьевич умчался руководить погрузкой. Чухарев лип к Боре и шептал только ему, не решаясь погладить плечо:

— У меня просто опыта мало. Я думал зарегистрироваться. Дайте месяц. Ровно один месяц. Я умею быть бла-

годарным. Хотел посмотреть, как пойдет. Смогу ли раскрутиться. Или остановиться. Я не мог рисковать — это не мои деньги, я вам клянусь. Взял под большой процент. Им не объяснишь. Меня убьют. Если эти группы не улетят, понимаете, мне не жить. Месяц — и я все оформлю, все заплачу. Я вам заплачу.

— Ну, здесь чистая сто семьдесят первая, незаконное предпринимательство, — с необъяснимым одобрением улыбнулся Боря. — Это уже гарантировано с отсидкой. Лет пять. На первый раз дадут три-четыре. Выпишите гражданину повестку на понедельник. Придется еще налоги государству заплатить, штраф и пени. Есть что-то в собственности? Квартира приватизирована? Но это как суд решит. А суд такие дела решает автоматом. Надо офис опечатывать. Берите вашу курточку.

Мы прошли мимо сдвинутых столов, по осколкам чайных чашек, горкам бумажного мусора, выброшенного из урн, и потушили свет.

Чухарев не отступал от Бори, он что-то улавливал ответное в блеске очков:

— Я ничего не понимаю. Если я не верну все деньги, меня убьют, вы понимаете? Клиенты должны послезавтра вылететь, они все заплатили, в чем они виноваты? Хотя бы паспорта и авиабилеты... Что я им скажу? Что мне им сказать? Вы скажите!!! — вдруг заорал он, и я испуганно оглянулся. — Я подам на вас в суд!

Боря пожал плечами:

— Надо было с контрольно-кассовым аппаратом.

Дверь опечатали, вниз все отправились почему-то бегом. Чухарев внезапно замолк, словно печать легла не только на дверь, он остался там, наверху, как сторож, и сел, по-моему, на ступеньку. Все разлетелись по машинам, Миргородский с наслаждением устроился в серебристый «Ауди»: подбросить?

Я сунул в карман маску и, не решив, куда теперь, испытывая мелкое удовольствие, как от убийства кома-

ра, остановился у театральных касс и разглядывал парусные флотилии салфеток на ресторанных столах через дорогу — салфетки торчали, как яблони, замотанные на зиму в мешки от заячьих зубов. Жалко, что нет фотоаппарата. Осень. Паучок цепляет мне на голову седые паутинки. И не успокоится, пока не оплетет всего. Остается сидеть и смотреть на проплывающие мимо корабли.

Чухарев уже пересек улицу, когда я заметил его. Он неприметно плакал — взъерошенный, неуместно загорелый человек; то поморщится, то потрет глаза, идет в бреду, виляя, видит меня не узнавая... Больно? а как ты мне? Обернулся на окна пятого этажа, свои окна, вздыхая так, словно забивал невидимые сваи, — конечно, привычная улица теперь кажется совершенно другой или, напротив, в точности прежней, и от этого еще страшнее. Никаких прав находиться тут у тебя больше нет, ты не живешь, тебя склевала бешеная курица, и ни о чем ты не сможешь больше думать дни, месяцы, недели, не сможешь спать, есть, остановить садистские, мучительные мысли... И запоздалая мудрость, *как надо было...* и безумные мечты найти сильного друга и спастись, и жутко отомстить именно этим, наглым, чтоб плакали они, — и зачем я при них плакал, и они *видели...* И страх, вот главное — страх: ты никогда не станешь прежним и не обнимешь свою беременную бабу в беззаботном покое, а теперь — беги... Чухарев ссутулился и рванул в переулок, думая, как много надо успеть, попытаться, смочь, хотя все, что ему посильно теперь, — исчезнуть. Беги, теперь ты там вместо меня, а я свободен от всего, кроме главного.

Море

На время работы по Большому Каменному мосту нужно снять квартиру. Я захлопнул атлас московских улиц и выбрал город Феодосию, конец весны. И полетел на «Як-42». Пассажиры с оттенком ужаса рассматривали

самолетик размером с пенал для карандашей. Забираться на борт пришлось по раскладной стремянке в пять ступенек в отверстие под хвостом. Когда дверь в кабину пилотов приоткрывалась, можно было, не вставая с места, протянуть руку и потрогать погон на рубашке командира корабля.

Я посматривал на снежную плотность облаков, не веря, что они не удержат, если на них прыгнуть.

Я летел хоронить свои тридцать семь. Они хорошо послужили мне и шли долго, прикрывая собой, но теперь кончились, и через шесть часов четырнадцать минут мне сравняется тридцать восемь. Уже немолодой мужчина бросит взгляд на свои морщинистые руки в триста втором номере гостиницы «Лидия». Лучше бы стал священником и плодил детей. Самолет снижался: крыши сараев, гаражей и домов, автомобили, россыпь могил и такой же россыпью — овечьи спины.

И когда я появился там и пошел по бесконечной улице Фелько, меня сразила безупречная тишина: редкие прохожие ступали без каблуков, густел воздух, по верху заборов змеилась колючая проволока, в восемь вечера Феодосия спала безмятежно. Тишина на огородах, садах, в сточных канавах тот запах, что хотелось признать морским, пьянящая тишина, нарушенная однажды пронесшейся над головою чайкой.

Я почему-то спустился к набережной, вместо того чтобы отправиться в гостиницу напрямую — здесь город распускался, как цветок в последний весенней день навстречу лету. Уже горели гирлянды в пустых кафе и барах, на привычных углах караулили передовые отряды армии таксистов, гремели безлюдные дискотеки, гуляли официанты кантри-бара, наряженные ковбоями. По набережной плотно валили люди, одетые по-осеннему, но с курортной жадностью глядя на встречных. Золотодобывающая драга черпала пока на холостом ходу, но ее уже включили, выставили мисочки с вареными креветками

и аппараты для определения роста и веса. Море дышало холодно, спокойно и радостно. Я шел не известным никому путником по другой земле.

Я заперся в номере почитать.

Начиная новую работу, я всегда читаю жития отцов.

Дела людей правды достается описывать особенным людям правды, тем, кому повезло уцелеть до старческого слабоумия, избежать профессиональных заболеваний рудокопов, описываемых неловкой скороговоркой на предпоследней странице: переведен в начальники шахты на Чукотке, уволен за дискредитацию органов, лишен воинского звания и уволен из органов, осужден на десять лет лишения свободы, исключен из партии, покончил с собой, приговорен к высшей мере наказания, умер на допросе, был арестован и после непродолжительного следствия расстрелян... «Наступил трудный период, связанный с недоверием к людям, особенно к тем, кто длительное время проживал за границей. Через полгода Муравкин был арестован органами НКВД. Дальнейшая его судьба неизвестна» — из восьми первых начальников внешней разведки семь расстреляны и один погиб в автомобильной катастрофе — как апостолы!

Тем, кто доплыл до берега («скончался Иван Андреевич Чичаев 15 ноября 1984 года в своей малогабаритной квартире в доме на Серпуховском Валу. За гробом покойного на алых подушечках несли его государственные награды — орден Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды»), в расплату пришлось поскрипеть перьями, заняться покраской паровоза, чтобы он казался тем, чем должен казаться, чтобы и дальше повез ребят, чья очередь придет заглядывать в адские топки. Я читал эти письма ради первых строк.

Кочегарам казалось неловким прямо приступать к диктовке, прежде чем перейти к стальному «инстанция

отклонила», «по поручению инстанции», «принято решение установить, скрытно задержать и переправить»; «в ходе допроса Даген категорически отрицал, что занимался шпионажем в пользу иностранного государства. А десять дней спустя он умер в результате падения с десяти этажа здания, где располагался его офис»; «погиб при невыясненных обстоятельствах: был найден в бессознательном состоянии с проломленной головой в одном из кинотеатров и спустя два дня после операции умер от пневмонии».

Для разгона требовалась что-то присочинить, и они разрешали себе пару праздных фраз «ни о чем» — и в этих необязательных словах сквозит ветер, пахнет сиренью, летят пушинки, несущие семя. Это всего лишь бесхитростный вымысел не умеющих красиво выдумывать людей, но, как случается часто, только в вымысле и осталось то, на что они не имели права, — та часть их жизни, которую без остатка перечеркнула смерть, — все, что не нужно; то есть почти все.

Это похоже на фотографии. Удобный способ хранить прошлое и успокоить себя — вот, альбомы стоят на полках. От захлебывающегося первого смеха на всесильных руках молодой мамы до оцепенелого молчания над гробом, из которого торчит пластмассовый нос, обложенный гвоздиками, с промежуточными портретными остановками на школьных дворах, залах бракосочетаний, надречных лугах и застольях. Живому человеку не из наших трудно остановиться и не пролистывать дальше: если увеличить глаза сфотографированного человека (качество даже первых фотографий девятнадцатого века позволяет произвести такую операцию), можно увидеть отразившийся в зрачках мир, комнаты, двери, вечно безликого фотографа, небо и горы — все, что видели они, когда еще жили. Понятно, на это трудно решиться, понятно, почему мне нравятся только первые абзацы. В них скрыта сила, что мне нужна.

«Стоял душный августовский вечер 1950 года. Прохождение в Тель-Авиве, словно сонные мухи, медленно передвигались по улицам. Пожалуй, единственным человеком во всем городе, который не замечал ни жары, ни духоты, был резидент советской внешней разведки в Израиле Владимир Иванович Вертипорох...»

«Летний день 1934 года был на исходе. Начальник Иностранного отдела ОГПУ А.Г.Артузов подошел к окну, задернул шторы и включил настольную лампу под зеленым абажуром...»

«Январь — не лучшее время года в Шанхае. Огромный город пронизывают холодные ветры с океана, нередко улицы города заливают дожди со снегом. В непогожий день января 1939 года советский разведчик Николай Тищенко вышел на улицу, плотно запахнув кожаный реглан...»

Последним вечером весны я вышел из такси у шлагбаума и прошел насквозь охраняемую автостоянку полоской черного асфальта меж автомобильных морд, уступая дорогу малолитражкам «Пицца на дом», — над входом в спортивно-оздоровительный комплекс горели цифры времени в черных табло, похожих на две кости домино.

На длинном, как причал, крыльце обнимались и прохаживались после тренировок кавказские мастера спорта, борцы с черными щетинистыми мордами, местное раздевалочное ворье, еще не научившееся смывать за собой в унитазе. У стеклянных дверей на входе веснушчатый мальчик просил прохожих добавить два рубля на неоглашаемую покупку. Он выходил на промысел третий год и заметно подрос за это время. Каждому, кто проходил безучастно, шипел в спину: «Ка-зел!»

Девушка — вот она, ждет, рядом женщина в синем фартуке давит сок из половинок апельсинов и грейпфрутов, — тяжеловесная девушка в черной кожаной куртке закутала плечи светлым коричневым шарфом.

Под моими губами вздрогнула прохладная душистая щека. По ступенькам в подвал, дежурная слепо подняла голову в полянке настольного электрического света, нарисовала фиолетовый крестик в разлинованной ведомости, приняла полторы тысячи рублей и, высунувшись из окошка, как из норы, выдала две простыни с указанием: седьмая.

Седьмая сауна. Я потрогал синюю и красную трубы и крутанул цветочек вентиля — в бассейн плевком ударили струи воды и запенились, выгибая зашипевшие спины.

— Раздевайся. — Я достал из рюкзака фотоаппарат и открыл объектив — линзы должны привыкнуть к разнице температур.

Девушка ходила за мной одетая, делая вид: все так интересно — парная, обитая потемневшими досками, массажная кушетка, стол для бильярда, бар... Задумчиво опустилась на диван.

Я поднял ее и принялся расстегивать пуговицы на юбке, она втянула живот. Сегодня как-то по-другому покрасила глаза.

Я раздевал ее заволновавшимися руками, девушка поворачивалась боком, спиной, поднимала руки, переступала через упавшую юбку. Запах подготовленного тела... Села, давая возможность заняться туфлями и очищением ног от чулочной кожуры, глаза мои закрывались сами собой. В технических паузах приходилось целоваться. Чем она мажет щеки?

Когда я взглядывал на нее, она запрокидывала голову и закатывала глаза. Постонать фантазии не хватало. Возможно, учебные фильмы смотрела, убирая звук, чтобы не разбудить родителей и бабушку.

Остались трусы — треугольной заплатой на широком лобке. Золотисто-серебряные, как фольга на моем любимом мороженом «Волшебный фонарь». Специально купила, а потом поворачивалась и приседала над уложен-

ным на пол зеркалом, вырывала лишние волоски... На лице девушки мелькнуло жалкое победоносное ожидание. Следовало что-то сказать.

— Ты очень красивая... Сними...

Она, сконфуженно склонив голову, скатала трусы вниз.

— Хорошо. Ты такая красивая. Отойди, пожалуйста, вон туда. Достаточно. Нет, не садись. А можешь вон туда залезть? И спиной повернись. Свободно встань, как тебе удобно. И еще повернись.

Покраснев от напряжения, она забралась на массажную кушетку, убрала волосы с лица и, танцевально расставив руки, крутанулась пару раз, раскачав огромные груди с большими коричневыми сосками. Я подошел ближе, рассматривая ее через видоискатель, ближе, дальше, спуская затвор.

Попискивала автофокусировка, я фотографировал бледные, с синеватыми нитками сосудов ноги с шершавыми на вид икрами, зад, натертый до малиновых пятен с кровавыми точками, темнеющую синеву и не знал, что еще попросить ее сделать.

И еще пару снимков, очень крупно — лица, старавшегося красиво замереть, просмотрел на дисплее все снятое, нажал кнопку со значком «корзина». «Erase all images?» — спросил фотоаппарат, — «Ok».

— Пойдем в бассейн.

Я завернул кран, и все стихло. Успокоилась, стала прозрачной теплая, легкая, словно несуществующая вода. В бассейне девушка, видно, что-то решив, сразу подобралась ближе и забралась на меня: руки на шею, ноги за спину. Я потыкался в мокрую слоистую плоть. Девушка выдохнула:

— Ох...

Мы качнулись. Я двигал ее вверх-вниз, как поршень убудочной какой-то ткацко-паровой машины, разгоняя волны по бортикам, и пялился на крохотное окно

в пластиковой раме под потолком — там наступала ночь. Я чувал только однообразное проникновение плоти в пресную, свободно раздавшуюся нору. Только неудобство и очень скоро — тяжесть. Особенно раздражали волны, которые я гонял, — громко чавкали в кафельные стены и возвращались мощными касаниями. Мокрые волосы девушки противно елозили по левому плечу, груди давили на живот комками жира. Так никогда... не кончится... Я освободил правую руку, потянул за веревку и вырвал черную пробку, затыкавшую слив. Но вода будет сходить так долго, что успею слохнуть. Повернуть ее, что ли, задом... Чтоб хоть слезла. Да ну ее на хрен!

И я сдернул с себя соевшее тело.

Девушка немедленно сказала:

— У-у, — обиженно вытянув губки.

— Здесь жарко.

Я постоял под душем.

— Подождите, — она тоже врубила душ и оказалась за моей спиной с прозрачным флаконом синего геля.

Выдавила лужицу в ладонь и неуверенно понесла к моим плечам, съехала на спину, вернулась на ключицы, но больше никуда, словно все остальное у меня отрезало тепловозом. И прятала взгляд. В полуночном кино делали так, и именно так она себе представляла многократно, а многократные утренние мечты в постели срастаются в материальную давящую силу и беременным чревом выпирают в реальность и не дают вздохнуть, пока не родят скучных детей. Девушка боялась не дожидаться следующего раза.

По коже сладковатое течение густой воды, напитанной тяжелой, мягкой пеной...

Я растерянно постоял, не зная, что теперь? — намыливать, что ли, ее? — скользнул рукой по мокрому животу под морозящим душем, прижал поросль на лобке, крутанул меж мягких стенок, похожих на диванное поролоно-

вое стеганое нутро; добавил с чувствительным для нее усилием – она вцепилась в мою руку...

Два душа с ревом, шелестом, водяным грохотом били в плиточный пол, я закрыл глаза, словно меня несла горячая река, поток... вот теперь что-то представить... спазм заглотнул, запнулся, задрожал и плеснул наружу первую больноватую судорогу...

– О чем вы сейчас думаете?

– Это тебя не спасет.

Я страдальчески ждал, а она одевалась, сушила волосы, с сокрушенными вздохами трогала перед зеркалом веки и ресницы, застегивала туфли, вдобавок попросила:

– Можно, я минуту посижу? – И после молчания, словно прочла где-то: – Со мной останутся ваши губы.

Руки.

– День. Два.

– Я буду помнить тебя всегда. Вы так не похожи на всех, кого я знала.

– Интересная же была у тебя жизнь.

– Я никогда не жила так... наполненно. Все время жду тебя. И всегда буду ждать. Когда вас долго нет, я плачу.

Я осторожно сжал ей ладонь, чтоб жизнь ее не хрустнула сразу.

Долго ловили машину, прошел дождь, осталась влажная тьма. Девушка пыталась стоять ко мне ближе, но так получалось, что я все время отступал.

– Это тебе на такси.

– У меня есть деньги.

Она решила стать сильной.

– Теперь еще через три месяца?

– Да нет, конечно. Я буду звонить.

– Я что-то делаю не так?

– Почему? Ты удивительно красивая и загадочная девушка. Мне с тобой очень хорошо.

— Почему мы тогда так редко видимся? Если я делаю что-то не так, вы скажите. Чтобы я знала. Чтоб на будущее знала. Чтоб потом делала все так.

Она просто не выговорила «с другими», и что-то кольнуло меня спицей в сердце. Я сказал водителю:

— Большая Очаковская. Двести рублей, — распахнул заднюю дверцу и бегло обнял девушку, опустившую лицо. — Доедешь — позвони.

В Феодосии я прочел материалы по Большому Каменному мосту, помечая карандашом возможные места вскрытия, и спустился поужинать в ресторан, в пустой зал. В баре толстая певица с икрами, как рояльные ножки, рассказывала двум туркам, что у нее нет любви и хочется погостить за границей. Тот из турков, кто по-русски почти не понимал, то неуверенно клал певице руку на жирный бок, то снимал, и она натужно хохотала.

Я узнал у портье расписание бассейна и взял ключи от «бизнес-центра», комнатки, где установили компьютер, подключенный к Интернету. Для спокойствия набил в «Поиске» Rambler'a «Большой Каменный мост» — больше двух тысяч упоминаний, гора. Из первой сотни вытащил ссылку, наугад. Газета «Совершенно секретно».

Открылась длинная статья про дом в Романовом переулке (в советские годы называвшемся улицей Грановского) — там жили маршалы и наркомы времен императора Сталина, а потом их дети и внуки.

Кусок статьи я прочитал. Подумал. Прочитал еще раз с беспокойным вниманием. Речь шла о месте на Большом Каменном мосту, где я проходил совсем недавно после пароходной прогулки. Но речь шла не только об этом месте. Я выделил — получилось шесть абзацев — и послал на печать:

«Эти дети могли носить в кармане пистолет. У руководителя авиапромышленности Шахурина, высокого, белобрысого мужика, был сын Володя пятнадцати лет. Парень влюбился в дочь дипломата Уманского, которого назначили послом в Мексику. Дочь звали Нина, тоже пятнадцать лет. Жили они в другом доме, «Доме на набережной», где квартиры были больше, где при входе в гостей не вцеплялись вахтеры, где от старых большевиков передалась жильцам привычка к честной бедности и чтению книжек.

Объяснялись Нина и Володя на Большом Каменном мосту, как раз посередине между домами, на лестнице, спускавшейся к Театру эстрады.

Или он просил ее не уезжать. Или приревновал. Или просто хвастался. Короче, девочку Шахурин-младший застрелил, наповал. И выстрелил в себя, умер, пожив еще день. Это было в 1943 году.

Весь дом клокотал: «Вот что сыночки начальничков себе позволяют».

Сталин сказал: «Волчата».

Мальчик вроде был неплохой, но сразу всем опротивел, хоронили Володку пышно, весь двор в венках, а кто-то говорит, что мать его тужила недолго: пошли гулянки, цыганские романсы на весь подъезд, отца репрессировали, мальчик лежит на Новодевичьем, девочка в урне, в стене, рядом ее отец и мать, разбившиеся на самолете в сорок пятом году».

Я посмотрел в окно, в ночь, в завывание автомобильных сигнализаций. Звезды сияли как чисто вымытые. Лег, потушил свет, в темноте подтянул к себе телефон, пытаюсь припомнить несколько цветных вещей, — не вышло ничего, красок нету. Ничего нет — дома, семьи, женщины, родителей, любимой работы. Хоть сдавай на права и покупай черную спортивную иномарку. Есть стакан воды и кусок хлеба. То есть все в полной готовности, можно начинать.

Невидимка

На песке от пребывания Константина Уманского остался короткий, прерывающийся след. Почти никто не захотел помнить погибшего отца красавицы, застреленной в тысяча девятьсот сорок третьем. Мы встретились с Гольцманом до завтрака, пока пляж не заполнили старухи и дети, и проползли буквально на коленях от отпечатка к отпечатку все эти сорок три года, пока волны не слизали их в обмылок размером с черточку, выдавленную в бетоне между цифрами 1902 и 1945.

— Еврей. Родом из Николаева, сын инженера. После революции оказался в Московском университете, но учился от силы год. Проявил исключительные лингвистические способности. Английский, немецкий, французский знал хорошо. Итальянский, испанский слабее. С ходу написал книжку о новом коммунистическом искусстве. Вот, к примеру, прочту тебе об одном персонаже: «И хотя Кандинский вследствие своего долгого пребывания за границей часто расценивается московским окружением как западный элемент, я нисколько не сомневаюсь в его чисто славянских корнях, в его по-восточному решительном стремлении вырваться из пут материального, в его чисто русской гуманности и всечеловечности».

Народный комиссар культуры Луначарский отправил семнадцатилетнего мальчика в Германию «для пропаганды новых форм искусства». Один дурак написал: мальчик «слыл в Москве известным искусствоведам». В Германии Уманский забыл, зачем ехал, превратился в сотрудника российского телеграфного агентства и тринадцать лет жил сладко: Вена, Рим, Женева, Париж, изредка навещающая социалистическое строительство.

С 1931 года он в Москве, заведующим отделом печати наркомата иностранных дел. Иностранным корреспондентам запоминается лютостью в цензуре: кто посмеет написать, что в СССР голод, не получит билеты на сен-

сационные судебные процессы первых «вредителей». Сопровождает в инспекциях западных литературных генералов – Фейхтвангера, Шоу, Барбюса, Уэллса. Приглянулся Сталину. «Не раз выступал переводчиком при тов. Сталине». Нарком иностранных дел Максим Литвинов называл Уманского «счастливая рука» – бумаги, что тот готовил, император подписывал без правок.

В апреле 1936-го Уманский в США, советником. Прошло два года – посол. Там его не любили. Некоторые историки считают, что в 1939/1940 годах посол выполнял обязанности резидента иностранного отдела НКВД. Отозван в начале войны, но не расстрелян. Два года фактически на почетной пенсии членом коллегии наркомата иностранных дел, и, наконец, возвышение – посол в Мексике, вылетает 4 июня 1943-го. Единственная легенда: вручая верительные грамоты президенту, Уманский пообещал – через полгода поговорим без переводчика. И в октябре уже произнес первую речь (мексиканцы не подозревали, что Уманский с юности учил испанский).

В Мексике посол Уманский превратился в «национального героя трудового народа». 25 января 1945 года он вылетел в Коста-Рику, самолет взорвался.

Историк Сизоненко выделил семь версий катастрофы:

1. Трагическая случайность. Пилот взлетел не вовремя, попал в струю разреженного воздуха, оставленную взлетевшими перед ними самолетом, и потерял скорость. Или пилот упустил контроль за машиной, не смог выровнять крен и при взлете зацепился шасси за ограждение взлетного поля.

2. Диверсия немецких агентов.

3. Акция американцев: остановить «коммунистическую угрозу» Латинской Америке.

4. Поляки. В Мексике в годы войны оказалось несколько сот поляков. Восстание в Варшаве, подготовленное «лондонскими» поляками, немцы утопили в крови,

и польская столица именно накануне вылета Уманского досталась Красной Армии, приведшей «московских» поляков. Агенты лондонского «правительства в изгнании» в ответ взорвали посла СССР.

5. Троцкисты, месть Сталину за убийство своего вождя. В подготовке покушения на личного врага императора Уманский мог участвовать — операцию готовили наши люди в США, вряд ли они располагались вдали от посольства. И точно, Уманский старался освободить безымянного ликвидатора из мексиканского застенка. Вдова Троцкого Наталья прямо указала: стараниями Уманского убийце привольно жилось в тюрьме.

6. Уманского убили мексиканские фашисты — враги СССР.

7. НКВД. Император готовился разгромить Антифашистский еврейский комитет. Связи Уманского с Михоэлсом и Фефером и его активная работа «по еврейской линии» в Америке и Мексике не могли остаться без внимания.

Гольцман нарисовал в блокноте всего лишь две фиолетовые птички и после длительного молчания уточнил:

— Это все, что в открытых источниках.

Он побрился, подстригся, достал из-под спуда легкий белый костюм и летние туфли с дырочками. В рабочем состоянии Александр Наумович выглядел всегда слегка испуганным человеком, услышавшим среди ночи незнакомый шорох.

— Вам не кажется странным, Александр Наумович, что Уманского никто не запомнил? За шестьдесят лет — ни одной публикации лично о нем. В дневниках, мемуарах, письмах, комментариях к письмам — ноль. Ни иностранцы — кого он там сопровождал? Ни Горький на своих обедах. Ни друзья — Маяковский, композитор Р-ов, Евгений Петров. Авангардисты — тоже ноль. И друзья промолчали, тот же Михаил Кольцов, а вроде дружили, как братья. Даже белая эмиграция... Мог бы

Бунин хоть пару едких строк... А ведь наш клиент — редчайшего обаяния человек. Видный дипломат. Загадочная гибель в цветущем возрасте. Да еще трагическая история красавицы дочери... Как это могло не запомниться?!

— Говорят, нашего клиента не любил Громыко. Он подчинялся Уманскому в Вашингтоне; когда стал министром, запретил его вспоминать.

— Неубедительно!

— У нас есть одна страница со взглядом на жизнь Уманского целиком. Ничего существенного. Примечательно только имя автора.

— Кто-то из репрессированных?

— Если бы! Эренбург. — Гольцман протянул мне ксерокс книжных страниц.

Эренбург Илья Григорьевич, депутат Верховного Совета СССР третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого созывов, лауреат двух Сталинских премий и международной Ленинской премии, вице-президент Всемирного Совета Мира, два ордена Ленина на пиджаке, написал несколько толстых романов, не нужных никому, и казался самым свободным в Союзе ССР.

Он служил стране победившего социализма и императору, когда надо казня, когда можно, спасая, при этом большую часть жизни пронаслаждавшись благоустроенностью буржуазных столиц — неправдоподобно легко пронзая «железный занавес» в поисках «материала» для творчества и отстаивания по инструкции интересов государства рабочих и крестьян в спорах с великанами, циклопами и чудовищами мировой культуры.

Означенный Эренбург приобрел громадную славу во время войны: убей немца! Подсудимые в Нюрнберге как по команде задрали головы, когда им сообщили: на балконе для зрителей появился *сам* Эренбург.

Свидетели описали Илью Григорьевича как «офицера связи» между Западом и Востоком, «сталинского при-

дворного лакея», «непревзойденного мастера жизни» и «ширму». Даже десятая часть свободы, полученной Эренбургом от Инстанции, гарантировала расстрел еще в 1934 году на сто процентов вне зависимости от результатов деятельности. И на десять тысяч процентов в тридцать седьмом. И каторгу в начале пятидесятых, когда Инстанция отрегулировала температуру национальной самооценки советских евреев. Подворачивалось множество и других подходящих лет и дел. И возможное «официерство», и вероятное осуществление кое-каких «связей» изменить здесь ничего не могло.

Но Эренбург беспрепятственно прожил свои неплохие семьдесят шесть, заплыв в будущее поглубже императора, и завещал трехтомные мемуары, в незначительной, намекающей частности — о кровавом императоре (свирепые редакторы не давали высказаться прямо!), в основном — о своей чистоте и дружбе (на равных и свысока) с нобелиатами и просто гениями, бегло признав, что не знает ответа на вопрос: «Так почему же Сталин вас не убил?».

Отсутствие достаточного объяснения (если не допускать душепродажи) оставило от правильной жизни Ильи Григорьевича, еще прижизненно называемого в газетах «совесть мира», надтреснутый, дребезжащий отзвук, скрывающий нечто, о чем лучше не знать.

То, что жизнь Уманского осмотрел только Эренбург, что-то означало.

Мемуары он назвал «Люди, годы, жизнь...». Все люди, запавшие Эренбургу в память, говорят одинаковыми бесцветными голосами, словно писал он по-французски, а после кого-то наняли переводчицу.

Он, старший, подружился с младшим, Уманским (разница в возрасте одиннадцать лет), в начале 1942 года, они встречались после работы каждую ночь, в два-три часа. Костя не походил на большинство людей своего круга. По молодости он не попадал в плеяду опального наркома

Максима Литвинова, но все прочее, включая происхождение, располагало его поблизости от Максима Максимовича. Не числился он и в «людях Молотова» — следующего наркома (*неуклюжее объяснение чему-то уклончивому, скользкому, раздражавшему, вероятно, многих...*), о прошлом говорил редко (*почему?*). Вот еще книга Уманского — «Новое русское искусство», изданная, оказывается, в Берлине по следующим персонам: Лентулов, Машков, Кончаловский, Сарьян, Розанова, Шагал, Малевич. И обобщение — любил поэзию, музыку, живопись, все увлекало его: симфонии Шостаковича, концерты Рахманинова, грибоедовская Москва, живопись Помпеи, первый лепет «мыслящих машин». В его номере в гостинице «Москва» на пятом этаже собирались адмирал Исаков, писатель Петров, дипломат Штейн, актер и режиссер Михоэлс, летчик Чухновский (*светские персонажи Империи, родители Еврейского антифашистского комитета. А где же жена и дочь? Когда же квартира в Доме правительства?*).

Редкая память и ненависть к чиновничьему духу запомнились Эренбургу, и далее он воспроизвел непротокольный голос Уманского, как бы отпечаток личности, и это единственная возможность услышать, даже в перепеве Ильи Григорьевича, что донеслось к нему сквозь двадцатилетнюю толщу льда, кроме собственного, отраженного временем голоса.

«Мы не понимаем, чем мы вправе гордиться, скрываем лучшее, заносчивы, как неуклюжие подростки, и при этом боимся, вдруг какой-нибудь шустрый иностранец пронюхает, что в Миргороде нет стиральных машин».

(Инокоры, кстати, ненавидели лично Костю за цензурный садизм, «Костя Уманский, новый цензор, улыбался всеми своими золотыми зубами и сверкал своими очками с толстыми стеклами... Я читал в его золотой улыбке: “Ты не нравишься мне, потому что я эгоцентричный советский

делец, но вот увидишь, меня повысят до комиссара”, а он должен был читать в моей улыбке: “Помпезный, маленький карьерист, пользующийся благами революции. Ненавидит меня потому, что я вижу его суть. Мелкий лавочник в за-коулках революции”», «В вежливом плетении интриг товарищ Уманский действовал с ловкостью и хитростью, про-ницательностью торговца, иронически по отношению к “мелким сошкам” и с подхалимством к вышестоящим, избирательно позволяя себе сибаритские черты...», «Долгое время он чесал свои длинные волосы и скрежетал зубами: “Но, мистер Лайонс, вы сказали, что 40 000 депортированы. Где вы взяли эту цифру?”».

«Снова неприятность: я предложил отступить от шаблона — и влетело... Первая страна социализма, а пуще всего боятся новшеств, инициативы» (так говорят мерз-лые овощи, тут подлинник не отличим от кухонной пошло-сти времен уступчивой борьбы за социализм с человеческим лицом).

Об американцах: «Способные дети. Порой умили-тельны, порой невыносимы... Европа разрушена, амери-канцы после победы будут командовать. Тот, кто платит музыкантам, тот заказывает танцы... Конечно, Гитлер не нравится розовошеким американцам: зачем жечь, если можно купить? Не судите об Америке по Рузвельту, он на десять голов выше своей партии» (если и сочинено, то наполовину).

О Пикассо, клиент восхищался Пикассо: «Я как-то упомянул его имя, на меня гаркнули, он, дескать, шарла-тан, издевается над капитализмом, живет за счет сканда-ла. Почитайте стихи Шекспира секретарю обкома (да видел ли он хоть одного?), который не знает английского языка, он скажет: “Сумбур вместо поэзии!” Помните отзыв Сталина об опере Р-ова? А еще есть Жданов... Все, чего они не понимают, для них заумь. А их вкусы обяза-тельны для всех» (это все, что волновало в дни Сталин-градской битвы двух обеспеченных мужчин, людей импера-

тора. Ни веры. Ни сомнений. Ни сокращенных временем друзей. Лишь осторожные официантские хохотки за спиной кушающих господ).

«Мне кажется, он родился под счастливой звездой».

Собираясь в Мексику, Уманский радовался: впереди новый мир, новые люди, там он сможет проявить «некоторую» инициативу!

Но вдруг — счастливая звезда упала «из-за трагической и нелепой случайности» (*любопытно, что Эренбург называет случайностью?*). «Подросток, товарищ по школе» убил его дочь, «после бурного объяснения застрелил ее и покончил с собой». Уманский обожал дочку, только на ней держалась его семейная жизнь. «Я знал, что есть в его жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой».

И вот неожиданная развязка драмы».

«Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне. Он едва мог говорить, сидел, опустив голову, прикрыв лицо руками... Несколько дней спустя он уехал в Мексику. Его жену (*Раису Михайловну*) увозили почти в бессознательном состоянии. Год спустя он писал мне: «Пережитое мною горе меня окончательно подкосило. Раиса Михайловна — инвалид, и состояние наше намного хуже, чем в тот день, когда мы с вами прощались. Как всегда, вы были правы и дали мне некоторые правильные советы, которых я — увы — не послушался».

Прежде чем поставить точку и Уманского забыть и покатить мемуары дальше, Эренбург развел руками: какие советы я дал? не помню я никаких советов.

...Вода чистая и гладкая. Соловьем заливается сирена на железнодорожном переезде. С севера входят в Феодосию поезда, и местные жители с довольным охотничьим видом ведут приезжих, согнутых под тяжестью чемоданов, по квартирам, как невольников, купленных

на рынке. Отдыхающие, несмотря на прохладу последних майских дней, упрямо подтягиваются на серый пляж — другого времени у них не будет. Чайки неожиданно плюхаются в воду. Девушки втыкают зонтики в гальку и раздеваются.

Мы сидели лицом к морю, чувствуя дыхание его и простор пустоты, и море сливалось далеко впереди с небом, как добрая, теплая вечность.

— Какие соображения, Александр Наумович?

— Аккуратный человек. Вопросов по нему много. Обстоятельства гибели дочери, похоже, никому не известны в подробностях. Что советовал Уманскому Эренбург? Получается, эти советы могли спасти Нине жизнь? Неясные повороты в биографии... Выясню, действительно ли Уманского знал Сталин. Взрыв самолета — это вообще... отдельная тема. Меня больше всего заинтересовало... — Гольцман оторвался от разглядывания моря и повернулся ко мне (напряженное, тяжелое лицо, ярко-голубые, до старческой прозрачности глаза). — Литвинов. Молотов. Громыко. Три министра. Вся внешняя политика Советского Союза. И каждый знал Костю. Громыко не любил и постарался, чтоб Уманского забыли. Литвинов и Молотов, как мы знаем, ненавидели друг друга. Но почему Молотов не тронул Уманского, когда Литвинова посадили под домашний арест и всех его людей репрессировали? И когда Литвинова вернули и отправили на смену именно Уманскому в Штаты, Костю отозвали, но — опять не тронули. И доверили через два года Мексику. Чей же он был человек? Почему мы начали с него?

— Отец и мать Шахурина дожили до старости, с той стороны мы кого-то застанем в живых. А жена Уманского погибла с ним в самолете в 1945 году; много ли осталось людей, видевших их живыми, — здесь надо спешить... Родители жертвы больше заинтересованы в расследовании, чем родители убийцы. Меня зацепило другое. Сума-

сшедший мальчик на вернисаже утверждал: Нину убили третьего июня. Уманский улетел в Мексику четвертого. Так безумно любил свою крошку, что не задержался, чтобы похоронить?! Бедный папа.

Мы поднялись.

— Это все надо проверять. Тебе Костя уже не нравится. Тяжело ему придется. Может, тебе будет любопытно. Вот что мы изъяли в архиве внешней политики, из дела №1300. Двести долларов стоило. Я расходы записываю.

Я вытряс из конверта двадцать две фотографии: тощий еврей с щелястой улыбкой, густая шевелюра; вот он на пароходе, забрался на верхотуру и расставил широко ноги под толстой трубой, что-то там из себя представляя; вот он уже обрюзг и заматерел, в профиль, с открытым лбом; а вот опять помоложе — приятное актерское лицо; с седеньким Бернардом Шоу у открытого авто, за спиной кремлевские башни; начесанный малыш Костя, щечки, высокие ботиночки, бадминтонная ракетка в белой лапке; а вот лицо покойника — на аэродроме в Мехико, долго добирался, но все Нина перед глазами... в группе иностранцев, обсевших как мухи Царь-колокол, четырнадцать человек, по левому краю фотографии наш человек в фуражке и галифе, единственный, кто в объектив не смотрит; жена у мертвого бетонного забора отвернулась от поля, усаженного мертвыми кактусами, дочь убили, и ей не хочется жить; мексиканские старухи с крестьянскими мослами у роскошных гробов жертв авиакатастрофы; мама т. Уманского — дородная тетя с мужским лицом; с Горьким и Уэллсом, в петлице, кажется, георгины и по цветку на столе перед каждым; речной берег, пятилетняя пышноволосая девочка идет по траве, подтягивая белые трусы, за ней счастливо жмурится отец и — я приостановился — две переснятые газетные вырезки с почти одинаковыми фотографиями за 13 апреля, понедельник, Вашингтон и штат Небраска, подписано что-то вроде «Константин Уманский, новый советник совет-

ского посольства, с маленькой дочерью Ниной запечатлен на борту лайнера «Париж» по прибытии в Нью-Йорк».

Предпоследнюю фотографию я подольше подержал в руках. Красивая девчушка в хорошем теплом пальтишке, беретка на затылке, прижалась к молодому красивому отцу, засунув руку за воротник его пальто, Уманский присел, и дочка словно повыше его ростом — светятся лица, совершенно одинаковые глаза смотрят в мир.

— Одинаковые глаза. И зубы.

— Вот еще одна фотография. Посмотри внимательней.

Уманский, нацепив очки, почти отвернувшись от фотографа, обеими руками крутит ручки настройки радиоприемника. Справа, похоже, балкон. То ли шторы, то ли обои. На крышке приемника портрет императора и кофейная чашка на блюде. Хорошо выглажен пиджак — стрелки видны...

— Портрет Сталина, — показал Гольцман. — Видишь, на нем что-то написано, внизу наискосок. Можно разобрать «т. Уманскому», а подпись и дата неразборчиво. Неужели Хозяин подписал ему свою фотографию?

— Надо узнать.

— И еще: написал ли мемуары Громыко, — размеренно произнес Гольцман. — Кстати, рассказ «Дама с собачкой», говорят, — любимый рассказ Сталина.

Ищейки и собаки

По телефону я дал объявление в крымской газете «Кафа»: «Организация купит оловянных солдатиков производства СССР. От пяти гривен». Затем я рассчитал, что посмотрю первые пятнадцать минут «Веселые и раздетые» и переключусь на прошлогодний «Манчестер Юнайтед» — «Болтон» в серии «Лучшие матчи премьер-лиги», а потом после ноля тридцати на местном телека-

нале наверняка начнут раздеваться. Еще оставалось со-рок минут, и я пролистал «Даму с собачкой» — рассказ про «будничный ужас жизни», как написано в предисловии. Каждую строчку пытался примерить на Уманского — как подростки моего времени подрисовывали усы, очки и битловские патлы членам Политбюро на газетной полосе.

У героя дочь двенадцати лет. Женили его рано. Жена постарела быстрее, чем он, и оказалась неизящной грозной дурой, домой ноги не несли. Сам он филолог, но служит в банке. И трахает потихонечку подходящих на стороне. Зацепил на курорте маленькую блондинку, муж у ней из немцев и «лакей». Она вернулась с курорта домой, а он что-то не может ее забыть. И находит. Я так страдаю, говорит она, я все время думаю о вас. Начали встречаться по гостиницам. И на пути в одну из них, провозжая дочь в гимназию, объясняя на ходу, почему зимой не бывает грома, он вдруг понимает, что живет двойной жизнью, что самое важное он вынужден прятать, на свету одна ложь. Походы с женой на юбилеи, работа в банке, споры в клубе — и так, наверное, догадывается он, у каждого. У каждого.

Оба плачут, что спрячутся как воры, немного я прочел подряд: «Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что это любовь изменила их обоих».

И туман в конце: что-нибудь придумаем. Чтоб больше не прятаться. Не разлучаться. Хотя не в рассказах с этого места и начинается страшное. Не совсем, правда, ясно,

куда денется дочь. Чехов, кажется, остался бездетным, дети казались ему несущественными деталями.

Непонятно, кого под эту глуповатую музыку мог вспоминать император? Не домработницу же Валентину с «ближней дачи», зачисленную нашими идиотами в «многолетнюю связь». Какую «созвучную драму» переживал накануне отъезда Уманский К.А.? В рассказе пустота, лишь призрак другой жизни, кажущейся твоей из-за недоступности; и сразу она, другая жизнь, теряет привлекательность, когда думаешь про долгожданное назначение и отъезд в теплую страну, омываемую Тихим океаном и Атлантическим, чистоту анкеты коммуниста-дипломата или – все-таки про рыдающую дочь, вздрагивающие плечи?

Уманский на глазах Эренбурга страдал, что не может развестись. Что значит его личное счастье жить не таясь с любимой женщиной, рассуждал он в слезах, если Нина останется с отставленной Раисой в Советском Союзе, в этой нищелищнице, потной и кирпичной советской действительности продуктовых карточек и поиска дров, не станет маленькой хозяйкой дворца советского посла в Такубайя, не полетит на каникулы в Штаты к подругам, не освоит верховую езду под руководством красавцев Генерального штаба Мексики; упустит роликовые коньки, рыбалки с яхты в океане, фотографии юной красавицы в газетах, белые платья на балах, прогулки в ночную пустыню, большой теннис и нейлоновые чулки, бассейны с голубой водой под апельсиновыми деревьями, китайские магазинчики на Сорок второй улице и круглосуточные кинотеатры, персонального водителя и массажистку, женись он на другой... И дочь останется с матерью, лишится привычной жизни – он сам приучал: Рим, Париж, Вашингтон...

Ему, человеку, что ловко и увертливо продлевал собственную жизнь в смертоносное время, в минуту самодовольства показалось: он сможет и еще, сможет всег-

да, *целиком* выстроить дальнейшее, самому выбирая *сужденное*. Костя закупил будущее Нины Уманской, дав справедливую цену: за любовь. Коммунисту казалось: ребята, что смотрят за миром, играют по понятиям, торгуют, как и все, это не сумасшедшие равномерно машут косой, не разбирая *что*, и сгребают скошенное в холмики.

Костя переживал впустую. Он купил дочери то, что не могло ей принадлежать, он ее убил. Он не развелся, Нина собралась в Мексику, и поэтому ей разворотили башку из пистолета. Вряд ли Уманский посчитал себя виновным, но, допуская, много страдал «как все могло быть по-другому», предчувствуя впереди одинокие десятилетия, но опять впустую: три трупа под фамилией *Umanski*, а не два в «жертвах авиакатастрофы» — вот все, что могло быть «по-другому».

Но это не называется драмой. Это вообще никак не называется, это в порядке вещей.

Я, включая телевизор и пока шла реклама — бах, бах, бах! — пытался подрисовать себя в эту историю, но я туда не вязался. Что за проблема — с кем спать? Я отношусь к женщинам как к собакам. В юности мечтал завести свою, и много раз получалось. Я люблю с ней гулять, рассказывая, как прошел день, или просто молча. И она всегда смотрит на меня так, словно все понимает. Мне так легко сделать ее счастливой, крикнув: «Ко мне!». Она всегда первой встречает у меня у дверей и полгода будет скучать, если я умру. Мне бывает приятно ее гладить, обнимать, и сердце иногда замирает, когда после разлуки она с разбега бросается лапами мне на грудь и лижет лицо. Я забочусь о ее щенках. Меня забавляет ее гоньба за кошками. Я злюсь, когда она бессмысленно лает среди ночи. Она все время норовит забраться в мою постель. Этого нельзя допускать. Спать я хочу один. Спать надо в пустыне, чтобы никто не дышал рядом. Чтобы хотя бы во сне — ты был на воле.

Врач тщательно и непонятно рисовала синей пастой, куда должна поворачиваться при гимнастике голова — стрелочки и дынька головы с треугольным носом.

— В бассейне первые два месяца надо плавать как ребенок, резвясь, — она продемонстрировала пару взмахов лебедушки из русского танца. Старший преподаватель кафедры неврологии. В конверте ее ожидала тысяча рублей.

— Не надо воспринимать трагически. Как вас зовут? Александр? Саша, надо просто помнить, что это у вас есть. Исключить осевые нагрузки. Никогда резко не поворачивать голову. Нельзя с постели вставать рывком! Не простужаться. Массаж хорошо. Физиотерапия. Через два года повторить ядерно-магнитный резонанс.

Саша, мы все привыкли с детства, что всегда здоровы, ничего не болит. А теперь настала пора постоянно заботиться о себе, поддерживать жизнедеятельность. Многим это даже нравится — ухаживать за собой, — она привычно улыбнулась. — Вы несомненно здоровый человек! Теперь вопросы.

— Я могу поднять ребенка и подбросить?

— Ну, поднять-то, может, и... Хотя, конечно, зависит, какого возраста ребенок и телосложения...

По больнице стаями гуляли студенты еврейской национальности, старухи шаркали подошвами, подвязанными веревочками к тапкам, в палате оказался дед с огромными желтыми ногтями на ногах, его в восемьдесят девять лет положили в больницу умирать, и так неудачно, затылком к окну — он видел все время меня и вел длительные разговоры, неторопливо и последовательно сводя с ума:

— Тебя как звать?

— Саша.

— Ты хороший человек. Я тебя люблю. В каком институте ты учишься?

— Я не учусь. Я торгую на рынке.

- На рынке?! А сколько же тебе лет?
 - Тридцать девять.
 - Тридцать девять?! А почему же у тебя такая большая... А ты замужем?
 - Нет, я женат.
 - А кто он?
 - Кто?
 - Твоя жена.
 - Человек.
 - А есть у тебя дети?
 - Есть, двое.
 - А кто он?
 - Сын и дочь.
 - А где ты работаешь?
 - На рынке.
 - На рынке?! Ты хороший человек. А как ты себя чувствуешь?
 - Хорошо.
 - Спасибо, а сколько тебе лет?
 - Тридцать девять.
 - Тридцать девять?! Ты пианист?
 - Нет.
 - А почему?
 - Я работаю на рынке.
 - А кем ты работаешь в консерватории?
- Я отшвырнул от себя подушку и перебил:
- А вы – кем работаете?
 - На рынке.

Я замолк. Он подождал и двинулся дальше в глубь моего мозга – с паяльником:

- Ты из какого города приехал?
- Из Москвы.
- И у нас город называется Москва!

В восемь закрыли столовую и к грузовому лифту волоком утащили бачки с помоями. В девять заперли душевую. Я выполз в коридор глянуть ночную смену, но

медсестры оказались без жоп. Я спросил. Ближайшая жопа дежурит во вторник. Вырубили телевизор и в коридоре погасили свет. Выгнали последнюю посетительницу — старуху-мать измученного педагогического вида. Плешивый, капризный сын жрал ее пенсию из промасленных кулков по двенадцать часов в сутки и задолбал персонал и соседей своей межпозвоночной грыжей, хотя все знали, что это рак. Проход к лифтам перегородили решеткой и заперли на замок. Я послал эсмэску «Люблю тебя» на девять номеров и отключил мобильник.

Посмотрел на февральскую черноту за окном — над незримыми просторами люберецких полей орошения, обещавших весной завонять, дрожаще мерцали огоньки Жулебина или Некрасовки — и бесшумно, на ощупь опустился на стул дежурной сестры, засветил лампу щелчком, отодвинул истории болезни, мятые листы и положил ладонь на горло телефонной трубке. Пока есть свободная минутка — надо повыдергивать траву, корешки, освободить кусок земли могильного размера, прежде чем мы начнем копать. Алло!

Ираида Ц у р к о: — К Нине Уманской я приходила домой. Даже не помню ее лица. Помню только: она позвала домработницу и велела посмотреть на часы и сказать, сколько времени, хотя часы стояли здесь же в комнате.

Татьяна Л и т в и н о в а: — Уманский вернулся в Москву в начале войны с женой и единственной дочерью Ниной (родители называли ее Тита), шестнадцатилетней красивой и обаятельной девушкой. Родители поместили ее в правительственную школу, где первое время, несмотря на заграничные наряды, она чувствовала себя Золушкой. Там на фоне строгости существовавшей школьной формы девицы соревновались чулками, кружевными воротниками, браслетами. Нине, которая

воспитывалась в демократических школьных традициях США, было непросто.

Артем Хмельницкий: — Нина зашла в класс. Дочка Молотова Светка ее знала — они расцеловались. Красавиц в классе хватало, но Уманская всем отличалась от наших: по-другому одета, по-другому ходит, другая прическа, носила не сапоги, а туфли на толстой подошве да еще нейлоновые чулки — мы вообще не могли понять, что у нее на ногах такое!

Неустановленное лицо, женщина: — Нина пришла не с начала учебного года. Блондинка, подкрашивала волосы, что было в ту пору чем-то сверхъестественным. И ужасно кривые ноги, колесо. Теперь-то я понимаю, такие ноги надо прятать. Очень красивая. Фотографии не могут передать ее красоту. Когда я вспоминаю своих сверстниц, горько думать: очень немногих можно было назвать хорошенькими... Смотрю на своих студенток и — все наоборот. А мы были такие неухоженные. Примитивная косметика. Бедная у многих одежда. Нина, конечно, очень выделялась.

Александр Аллилуев: — Была похожа на Дину Дурбин. Держалась как-то особняком...

Юлия Брышкова: — Нина держалась очень просто и стала предметом общего обожания. Угощала своим завтраком, разламывала на всех плитку шоколада.

Татьяна Куйбышева: — перезвоните через неделю, я немного приболела... Вы позвонили... Да, но вы знаете, я так много рассказала вам в прошлый раз — мне нечего добавить! Ничего не рассказала? А я ничего и не знаю! Приходила Нина к моей сестре в день смерти? Приходила. И все. *(Почему вы думаете, что это был именно день смерти?)* Потом случилась трагедия. Я не знаю, о чем они говорили, я в другой комнате была, у меня был маленький ребенок. Сестра упрашивала ее: не ходи, посиди, Нина отвечала — нет, мне надо. Это было утром. Больше не о чем говорить. Прошло шестьдесят лет. *(Как*

вы проводили свободное время?) Я ничего не знаю. (Как одевались ваши сверстницы?) Не могу сказать. (С кем вы дружили?) Я не помню. Я этого не знаю. Ничего не знаю! Вы задали мне так много вопросов, а ко мне сейчас придет врач. До свиданья!

Татьяна Гнедина (дочь диссидента Евгения Гнедина, он сменил Уманского в отделе печати народного комиссариата иностранных дел при Литвинове и после опалы наркома отсидел свое. Мемуары Гнедина вышли с предисловием академика Сахарова, краткое содержание: меня сильно били, и я все подписал): — Я знала историю о смерти от несчастной любви. И еще помнила, словно в тумане, удивительную девочку Агнес, совершенно невероятной артистической выправки, изысканную — и вот ее мама ведет нас ранним утром шестьдесят пять лет назад в дорогой, невероятно изысканный универмаг на Ляйпцигштрассе, туда, где жены дипломатов покупают шелковое белье, швейцар открывает перед нами двери, и Таня, обыкновенная советская девочка, теряется, а Агнес (боже мой, так вы говорите, она была младше меня на четыре года? Ей было шесть лет?!) с необыкновенным артистизмом проходит вперед, невозмутимо. Она генетически отличалась от окружающих. У нее были изысканные длинные волосы, а советских детей стригли коротко. Это воспоминание оказалось настолько нужным мне, что я хранила его столько лет, вы назвали имя, и эта вазочка сразу треснула в моих руках — Нина, возраст, смерть. Теперь мне понятно, такую девочку именно так и могли полюбить — до смерти. (Кто еще жив, кто помнит Уманского, его дочь и обстоятельства смерти Нины?) Обратитесь к Павлу Евгеньевичу Рубинину, сыну нашего посла в Бельгии. Он очень светский человек. Вам мог бы помочь биограф Литвинова Шейнис, но он умер. Книгу свою подарил мне с трогательной надписью, но перед смертью я разорвала с ним отношения, да. Семья Литвиновых? Я разорвала с ними отношения. Максим

Максимович никогда не делал поползновений помочь папе, а вот Эренбург, напротив, прислал отцу в лагерь в Казахстан трубку и галстук. Есть еще дочка Штейна, посла в Италии, Инна. Но я разорвала с ней отношения. Я всегда в ру отношения, да.

Рубинина Павла мы установили спустя восемь месяцев — в октябре. Сын императорского посла отсылал сильные годы в референтах физика Петра Капицы и теперь угасал хранителем его дома-музея, спал в гробу.

Я обогнул оштукатуренный желтым и белым, как и все ученые учреждения на улице Косыгина, институт физических проблем, и дорожка, наименованная естественнонаучными первыми встречными «под сорок пять градусов»: мимо зарослей и скелетов лавок вывела к двухэтажному особняку Капицы над высыхающим прудом. Дом разглядывал меня сквозь косматый плющ, как снайпер из стога сена, как русалка, всплывшая из-под мостков. Я поднялся по ступеням, заваленным кленовыми листьями, и прислушался — все тихо, клиент один.

Я показался любознательным и, сдерживая рвоту, принял две столовых ложки экскурсионной микстуры. Вот записи Капицы на столе, его очки. Коллекция колокольчиков. Медаль нобелевского лауреата. Медвежья шкура — с молодости Капица любил работать, лежа на шкуре. После процедур мы присели в гостиной и отдали должное организаторскому гению маршала Лаврентия Берии. Капица маршала ненавидел, но, как и все отцы русской А-бомбы, к умению члена Государственного комитета обороны, расстрелянного как английского шпиона, выстроить БОЛЬШОЕ ДЕЛО относился с почтением.

Я прибавил температуры. Почуяв теплый ветер по ногам, Рубинин (что-то седое, зачесанное наверх и неожиданно долговязое) высыпал из урны отца — вот, сын еврейского купца варшавского происхождения, выпу-

скник Сорбонны вступает в партию большевиков; переговоры Страны Советов, бухарский эмир, Кабул, Копенгаген, Анкара, Рим, какие-то таблички на дверях я пропустил; когда император взялся чистить ряды, нарком Литвинов четыре года не вызывал Рубинина домой, чтобы спасти; я знал: все это не имеет значения, сын посла, как часовой, хочет говорить только про охраняемый объект, только про посмертно преданную мать, про сопротивления судьбе и физиологическим процессам; я перемотал вперед пленку и нашел нужное место: так получилось, что отец приехал в дом отдыха НКВД в Нижнем Новгороде, там они и познакомились, мама — дочь управляющего домом отдыха, актриса, играла в провинциальных театрах... Когда отца после отставки Литвинова отозвали и уволили, маме пришлось много работать — она вышивала гербы и надписи на бархатных знаменах, но жили весело: вечеринки, Батулин, бас Большого театра, жена его арфистка Дулова... Я еще перемотал пленку до последнего усыхающего в тишину шепота:

— Мама погибла в эвакуации, в пожаре...

Он отстоял вахту, говорить больше нечего, отец, женившись на другой, перестал существовать, мы прощались.

— Кстати, ваша семья в тридцатые годы жила в доме НКВД в Хоромном переулке, дом два дробь шесть, на одной лестничной клетке с Константином Уманским... Что вы можете сказать про этого человека?

— Был такой. Но я не помню лица. Когда отца уволили, Уманский его обходил как прокажённого, так что... Отец мой молчал до смерти, но он все понимал, он еще до тюрьмы членов Политбюро называл бандитами.

Но не императора. Я подумал про девочку Нину, когда взялся за дверную ручку, чтобы поворотом ее сжечь Павла Евгеньевича до двухсот знаков в файле «Уманский—Нина», и спросил:

— А вы? Ваши сверстники?

Тень покивала с непредсказуемой горечью:

— Мы... Дети верили в советскую власть гораздо больше отцов. Нас подхватила и увлекла пропаганда, игра «Зарница», пионерские костры. А отцы молчали.

За двадцать четыре месяца мы нашли только двух семидесятилетних девочек, достоверно установленных как «подруги Нины Уманской». Первая — дочь начальница лечебно-санитарного управления Кремля, ни о чем не тоскуя, сидела бумажной букашкой в приемном отделении шестидесят седьмой горбольницы на улице Саяма Адила. При вскрытии черепа «душа класса» вспомнила лишь про разбитые ею сердца: сыновья члена Государственного комитета обороны Микояна, летчики (*они кружили над дачей отца, едва не сбивая крыльями верхушки сосен*), приемный сын императора Сергеев Артем (*проступает зима, закрытый каток для аристократов по адресу: Петровка, 38; каждый год 8 ноября, в день ее рождения, генерал Сергеев поздравлял из любых точек земного шара, где воевал и служил*)... когда я опаздывала в школу, водитель включал сирену... на свидание к папе из Куйбышева, куда эвакуировали нашу школу, меня доставляли на самолете.

При допросе с пристрастием призналась, что Сталин не производил на нее «кровавого впечатления», и вдруг попыталась ответом на непрозвучавший вопрос угадать мой *главный интерес*:

— Мы просто хорошо жили...

— Выпьем кофе?

Ухоженная, крашенная в черное женщина. Быстрая речь с заметной запинкой, когда точным английским словам приходилось, уважая происхождение собеседника, подбирать русские пары, страдавшие приблизительностью, — в эти мгновения она взмахивала руками, и

проницательный гость угадывал иноязычное детство, прячущееся за дипломом преподавателя английского языка. По телефону я обещал Эре Павловне разговор только про одноклассницу — дочери резидента советской разведки, известного в США как начальник сельскохозяйственного отдела советского павильона Всемирной выставки «П.П.Кларин», он же «Лука», хотелось заранее определить, куда будут долетать осветительные ракеты. Я глотком осушил кофейную чашку, Эра Павловна ожидала ученика в свою квартиру на Фрунзенской набережной. Ей нельзя было дать больше пятидесяти пяти, я думал: вот так бы выглядела Нина, если бы ей не выстрелили в голову.

— Уманский выглядел образцовым дипломатом — воспитан, эрудирован, элегантен, такие волнистые, красивые волосы. Раиса Михайловна Уманская была некрасива, но хорошо сложена. Самой некрасивой из жен советских дипломатов оказалась англичанка «мадам Литвинова» — просто лошадиное лицо, прямо мастодонт — крупная, высокая, плохо говорила по-русски.

Жили Уманские в посольстве, повариха-негритянка говорила «пирожки» с ударением на «о». Будущего министра Громыко я помню худым и черноволосым, жена его, Лидия Дмитриевна, небольшого роста, происхождения вроде из Рязани, смазливая, но совершенно необразованная, наши дипломаты хватались за головы, когда ей надо было давать интервью. Маме приходилось заучивать с ней ответы на ожидаемые вопросы. Журналисты спросили, велика ли их квартира, Лидия Дмитриевна ответила: в одной комнате едим, в другой спим.

Познакомились с Ниной и подружились в пионерском лагере для советских дипломатов — жили в одной комнате. Она рано оформилась, хорошая фигура, заплетала две русые косы.

Мама говорила: смотрите и запоминайте, самое большое богатство — это впечатления, на это денег не жалели.

Не сидели на макаронах, как некоторые! Не скупали серебро. Из богатств вывезли только пианино «Стейнвейн». Мы с Ниной любили бродвейские театры, большой теннис и крикет, катались на роликах в Центральном парке, очень увлекались комиксами про супермена.

Мы знали, что на Родине голод, продовольственные карточки, но очень скучали и рвались домой.

А потом они уехали, и мы не переписывались...

— Как вы узнали, что Нина погибла?

— Сначала я узнала о назначении Константина Александровича в Мексику и страшно обрадовалась — теперь-то увидимся! А следом эта страшная весть... О смерти на почве романтической и юношеской любви. Отца как раз перевели в Мехико-сити, и мы с мамой, возвращаясь в Москву, заехали его навестить. Раиса Михайловна приехала в ужасном состоянии, ее везли практически без сознания, на снотворных... Бесконечно повторяла: я приехала сюда только потому, что я жена посла и должна выполнить свой долг. Когда я вернусь в Союз, я жить не буду! Разбор вещей Нины стал для нее страшной пыткой. Родители решили не пускать меня на глаза несчастной матери, чтобы не напоминать об утрате — мы с Ниной немного похожи. Я единственный раз вышла на люди, когда в посольстве показывали фильм «Великий диктатор», и я знала, что Раисы Михайловны нет в зале. Но, оказалось, она, когда уже погасили свет, пришла и заняла место прямо за мной. И в середине фильма я сказала: «Как же Полетт Годар похожа на Нину!»

Раиса Михайловна молча встала и вышла из зала.

Насовывая черные кроссовки, подрабитые футболом, я спросил единственное, что меня слегка волновало:

— Говорят, в Москве Нина выглядела... так... Немного... высокомерной.

Эра Павловна отбила мячик без паузы:

— Это, наверное, так выглядело отчуждение от множества незнакомых людей. И неведомых обстоятельств.

Свидетели по существу

Беда, если не дотерпят до весны мои зимние ботинки. Я рассматривал их в метро. Обувь рабочего, строителя — соляные разводы, ветхие шнурки, вмятины и потертые шишки. Уже не оставишь в богатой прихожей. На левом присохла грязь березовым листиком. Сколько ни сковыриваешь, ни трешь о сугроб — появляется заново, и опять на левом.

Я подсчитал дни до весны. Я помечтал о рабочем кабинете с просторной приемной — секретарь по утрам приносит жасминовый чай «Выбор невесты» из чайного бутика на Гоголевском бульваре и отрывает лист в календаре «До весны осталось...». Надо смотреть вперед! Но там, впереди, нет оживших фотографий одного мальчика и его незабываемого мира, нет «белого налива», ледяной чистой воды, и девушек, и поцелуев в подъезде, и молодых родителей. Там. Там... Я вылез из радиальной «Октябрьской» и побежал за троллейбусом, и протиснулся поближе к кабине: один билет — и проверил себя: суббота?

Судя по тому, что «Народный музей “Дом на набережной”» открывался для посещения лишь дважды в неделю — в субботу и среду на два часа, — почти несуществующая частная жизнь вождей русской революции больше никого не интересовала. Лишь две жирные аспирантки, бесполое и англичанистые, молча и мрачно похоронными шажками переступали по трем большим комнатам, схватившись друг за дружку, — под музей отдали квартиру на первом этаже. Они оробело рассматривали предметы повседневного быта знатных людей русского племени, образцы одежды и кухонной утвари времен сталинской тирании, но всюду им почему-то мерещилась кровь, почерневшие, неотстирываемые брызги.

Я, не отвлекаясь на коврики, сабли и фарфор, прошел на бывшую кухню, где над картотеками жильцов кружи-

ли, каркали и поклевывали друг друга четыре музейные старухи.

— Извините, я хочу посмотреть все, что у вас есть по семье Константина Уманского.

Они смолкли и с усталой враждебностью слетелись вокруг меня.

— У нас вход бесплатный. Но принято что-нибудь покупать.

Я отсчитал мелочь и приобрел ч/б брошюру «Константин Уманский 1902–1945. Серия «Они жили в этом доме», на одной скрепке, восемь страниц формата сигаретной пачки с двумя фактическими ошибками в тексте.

— Зачем вам Уманский? Почему, например, не наши отцы?

Я коротко соврал про многотиражку института Латинской Америки, юбилейный номер, меня послали, я должен, кто, как не вы, — старухи пихнули вперед дежурную в красной безрукавке, и та пустилась пересказывать мемуары Эренбурга с чудовищными наростами к застрявшим в памяти крупицам, ежеминутно принуждая меня записывать.

Старухи не привыкли рассказывать, они показывали себя, им казалось более чем достаточным *представиться* с особым ударением на отчество и фамилию и своим наличием подтвердить: да, то великое происходило здесь. Они собирались два раза в неделю охранять свое золотое детство, память старых большевиков, людей на общей фотографии с Лениным, называя их «папа» и «мама», хранили время императора, упавшее в цене, и я смешил их своими картой, компасом, лопаткой. Где хранятся настоящие сокровища, знали только они, как знали и то, что эти сокровища никому не нужны, они надеялись — «пока». Спорить не о чем, секта не нуждалась в пополнении: мой дед колхозный плотник, а не нарком, я не жил в этом доме — и ни на что не имею права.

— Спасибо большое, — я дал волю легкому потрясению. — Такая судьба... Вы удивительно рассказываете. Сразу все оживает. Как все это вы только помните...

— Ничего удивительного, — в песчаный голос, несмотря на довольный смешок, не капнуло влаги. — Мы здесь жили.

— Да-а... А как умерла его дочь?

— Я ж вам сказала! Чем слушали?! На почве безответной любви.

Ах, да, да, я закрыл блокнот, готовясь поискать опоры в болотистой земле, и щелчком привел авторучку в нерабочее положение, расслабив пару мускулов на старушечьих масках:

— Ох, нашему поколению трудно разобраться... Столько домыслов, очернительства. Если бы не подвижники, как вы... Такого наговорят: то мальчик ее убил и сам жив остался, то их кто-то обоих убил... А прошло столько лет.

— Это вам Хмельницкий рассказал? — ядовито усмехнулась старуха поглавной. — Есть такая фотография — Ленин стоит с делегатами съезда, а рядом человек с перевязанной головой — это его отец. И сам Хмельницкий дурак такой же! Что двух лейтенантов охраны Кремля расстреляли по этому делу — говорил? Все врет! Елизавета Петровна, дайте ему.

— И что взрослый какой-то в школу приходил, ребят подговаривал и энкаведэи его искали потом и не нашли... — бубнила Елизавета Петровна. — А то, что было, жильцы наши написали, — и шлепнула на стол папку краеведческих вырезок.

Я оглох — свидетели по существу на русской земле только в бумагах, в жизни их нет. Я потрогал, погладил буквы, и кровь стукнула в мои пальцы.

СЦЕНА НА МОСТУ — 1 (житель дома):

«В тот (на самом деле — на следующий) весенний (летний) день Нина должна была улететь в США» (в Мексику).

«Нина посмеялась над этой просьбой (*остаться*) и, помахав ему на прощанье, стала спускаться по лестнице. И тогда Володя достал из кармана пистолет и выстрелил сначала в Нину, затем себе в висок... Володя умер в больнице на следующий день».

СЦЕНА НА МОСТУ – 2 (житель дома):

«– Ты останешься со мной.

– Дурак ты, дурак!

– Я тебя не пущу!»

СЦЕНА НА МОСТУ – 3 (житель дома):

«В старших классах между ними возникла трепетная, стыдливая, поглотившая их целиком любовь. Когда отец получил назначение в Мексику, Нина сказала об этом Володе.

– И ты уедешь? – еле вымолвил он, не представляя себе предстоящей разлуки.

Два дня (*между назначением и отъездом прошло не меньше полутора месяцев*) юноша уговаривал Нину остаться, но та была непреклонна. Накануне отъезда Володя позвонил ей и предложил встретиться на Большом Каменном мосту – месте их обычных встреч (*трудно поверить, влюбленные любят скверы и безлюдные переулки*), обе семьи жили неподалеку, в знаменитом доме на набережной (*неправда, Шахурины жили на улице Грановского, теперь Романов переулок*).

– Мы должны бежать, – говорил Володя. – Я все обдумал, поедем на Урал или в Сибирь, буду работать на военном заводе...

– Ни в какую Сибирь я не поеду, – заявила Нина. – Это бред, завтра я лечу с родителями в Мек-сику, – и отвернулась (*авторы в меру фантазии пытаются объяснить, почему Шахурин выстрелил в затылок*).

И тут он выхватил из кармана трофейный «вальтер» и нажал на курок. Грохнул выстрел, Нина упала. Следующую пулю он тут же пустил в себя...»

СЦЕНА НА МОСТУ – 4 (литератор, житель дома):

«О предстоящем убийстве многие догадывались (*почему?*). Володя слыл мальчиком безотлагательным, способным на любые крайние поступки» (*придумано спустя лет сорок, чтобы добавить психологической тонкости. Что еще можно присочинить задним числом про четырнадцатилетнего мальчика, разворотившего череп однокласснице?!*).

СЦЕНА НА МОСТУ – 5 (литератор, антисталинист):

«Не говоря ни слова, Володя начал судорожно расстегивать вельветовую куртку. От рывка верхняя пуговица отлетела в сторону. Распахнув полу, он вырвал из внутреннего кармана цеплявшийся за швы пистолет, блестящий на солнце вороненой сталью дула.

– Смотри – это «вальтер»! Он заряжен. Патрон в стволе. Если не согласишься остаться, будет плохо... прямо сейчас.

– Сумасшедший!!.. Идиот! Что ты рвешь мне душу!? Прекрати паясничать!

– Будешь так говорить – убью!..

– Попробуй... если можешь.

– Стой, кому говорю!! – жестко окликнул парень, увидев, что девушка повернулась к нему спиной и снова двинулась вниз.

Услышав окрик, она обернулась, и в этот момент раздался выстрел. В красном (*цвет писарчук выбирал с умыслом*) пиджачке, чуть ниже левой, уже успевшей сформироваться груди (*самое время обратить внимание на это*) взорвалась аккуратная дырочка, мгновенно окрасившаяся в бордовый, почти до черноты, цвет. Девушка еще успела удивленно взглянуть на дымок из дула и рухнула на ступеньки.

Сделав несколько резких шагов вниз по лестнице, подросток опустился перед ней на колени и пристально взглянул в открытые и уже безжизненные глаза.

— Нина! Ниночка! — он выронил из рук оружие, наклонился к ней, ухватил за плечи и затряс».

«Выронил из рук оружие... и затряс»... Я немного подумал еще про все эти блевотные взрывающиеся бордовые дырочки на красных пиджачках и дымки из блестящего вороненой сталью дула...

— Когда их нашли, пистолет мальчик держал в руке?

Спустя несколько мгновений я понял, что не услышал ответа, и слишком поздно поднял глаза — старухи успели переглянуться, мне показалось, что этот вопрос неприятен, недопустим, и я сам тотчас стал им неприятен, словно упомянул о близкой смерти, внучке-алкоголичке и ночном недержании мочи.

— А кто-нибудь своими глазами видел, как все это происходило?

Я уже не существовал. Закипал чайник, осталось печенье? — старухи отворачивались от погон, проступивших на моих плечах, от скрипа протокольного пера, и даже универсальное средство поощрения межчеловеческого общения — сто долларов США — не показали бы здесь своей животворящей силы.

Я потянулся за курткой:

— А где похоронены дети?

— Шахурин на Новодевичьем. Нина... Кажется, тоже? Елизавета Петровна!

— Так Уманский урну с Ниной прямо из крематория в аэропорт повез, она с ними и разбилась, когда летели в Мексику... Над Атлантическим океаном.

— Да что вы говорите, он через два года разбился! Когда в Коста-Рику летел...

— Ой, да я не знаю тогда. Не поймешь, что спрашивают, одно, другое...

— А Барышенкова и Галька Лозовская говорили, что Шахурина мать, Софья Мироновна, урну с Ниной к Володе в могилу захоронила...

Я совершил прощальный облет экспозиции: от примуса до чучела орла — одна из старух плелась за мной с необходимыми пояснениями, бульдозером сгребая меня на выход.

— А вот это? — указал я на высокую помочную тумбочку.

— Радиола. Уманский, кстати, из Америки привез.

И выдавила за порог. Я вздохнул: до свиданья.

Старуха — вот мы и одни — без всяких пауз, глядя мне в кадык, сообщила заключительные сведения:

— Хмельницкий всем говорит, что Константин Александрович привез сорок радиол и раздал нашим генералам. А вы ему не верьте. Я ничего не боюсь. Я прошла всю войну. Их убили. Просто сумели отвертеться, — и захлопнула дверь.

Я парализованно постоял и вдруг замерз, быстро выбрался из подъезда, аркой вышел на улицу и, вздрагивая от холода, сквозь метель и февральский безнадежный мрак побрел по Большому Каменному мосту до метро «Боровицкая». Только раз оглянулся на бывший Дом правительства, улица Серафимовича, 2, над которым огненным колесом с тремя спицами крутилась реклама «Мерседеса», но даже взгляда не бросил на лестницу, где Шахурин расстался с Уманской. Старуха могла сойти с ума, старуха — это не свидетель по существу, это неприятные мелочи.

Худшее, что с нами могло произойти, если у этого самоубийцы Ромео не нашли в руке пистолета.

И я на несколько вздохов забыл, что лечу навстречу неизбежной смерти. И поспешил по затоптанному снежному днищу подсвеченной рекламой тьмы.

Первая игуменья Новодевичьего монастыря Елена Девочкина похоронена в землю рядом с двумя своими

келейницами. Когда на колокольне бьет полночь, камень, накрывающий могилы, сваливается набок и женщины встают из гробов. Посмотрев в сторону дома, тепла родной подушки, на келью, давно невидимую обыкновенному глазу, мертвые кланяются четырем сторонам света, поднимаются на монастырскую стену и ходят по ней некоторое время, словно охрана. Девочкина выделяется золотым нагрудным крестом — он блестит, и мантия ее длиннее, чем у келейниц.

Это происходит именно светлыми ночами, но все-таки не каждую светлую ночь. Я уверен, монахини выходили из могил чаще, когда в Москве еще не было трех миллионов автомобилей, жители не встречали на картофельных полях сгусткообразных пришельцев с красных планет и не фотографировали с балконов огненные шары,двигающиеся по странной угловатой траектории со скоростью, в восемь раз превышающей звуковую, когда гвозди «чакры», «мантры», «клонирование» и «одновременно достигаемый мультиоргазм» еще не прибили людей к нашему времени, как бабочек и жуков в сувенирные коробочки.

Почва, глина Новодевичьего (назовем так условно, для выразительности; строго говоря, советское, «новое» кладбище засеяли на месте прудов, примыкающих к южной стене снаружи, вне монастыря) — подходящее место для пепла красавицы Уманской. Что еще Новодевичий монастырь, как не история разных девушек, вернее — конец их телесных историй.

Если взглянуть поверхностно, монастырь схож биографией с Большим Каменным мостом — совпадают дни рождения и расцвет при царевне Софье. Два века в Новодевичий селили вдовых цариц и невезучих царевен, сама Софья не увернулась и догорала здесь. Петр I, подозревая сестру в рассылке крамольных писем, повесил мятежных стрельцов на зубья монастырской стены напротив ее окон у Надпрудной башни — два раза по две-

сти человек, — чтобы царица крепко задумалась о продолжении почтовых романов.

В правление Ленина и императора в монастыре открыли «музей раскрепощения женщины», и могилы трех тысяч граждан, заслуживших похороны в монастырской ограде, распахали, не тронув сотню идеологически близких или безвредных; все остальные, как пишут в рифму и напевают самодеятельные поэты, пенсионеры-коммунисты, стали травой, росой и межзвездной пылью напрямую, без промежуточных лживых остановок.

Иконы монастыря, и в особенности фрески Смоленского собора, как указано в путеводителе, «утверждают тему «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать», — средневековая теория, смысл которой мне неизвестен.

Смотрящий

Не люблю кладбища, старые, новые, никакие — лазить среди оград...

У ворот каменного города у южной стены Новодевичьего меня ожидала торговля пластмассовыми цветами, пьяный самодеятельный экскурсовод маршрута «фигуристы-хоккеисты», два хохла с соломенными чубчиками, жалевшие двадцатку на схему.

— Браток, где могила Хрущева?

И за воротами — двадцать семь тысяч захоронений.

Я купил карту с мелкими, как на тюремной записке, буквами — моих клиентов среди двухсот востребованных публикой могил не оказалось. Я заслонила кассирше белый свет и улыбнулся омерзительно даже для самого себя.

Кассирша достала из сейфа толстую книгу в бережливой газетной обертке.

– Це, че, шэ, Ша... Шахурины, так – первый участок. Вам, значит, от ворот по центральной аллее... Вдоль первого партийного ряда. До аллеи военных, и все, что будет до стены и назад к секции «Коминтерн» – все ваше. Походите, самому можно найти. Знаете хоть, урной или трупом? Вы родственник? – Она подождала, что я убе- русь, и вздохнула, готовясь послать куда подальше пья- ного идиота.

– Я могу у вас еще что-нибудь купить. Вот эту книгу могу. Мне не нужны могилы. Мне нужен человек, кото- рый знает все.

На куске бумаги, выброшенном из окошка, под теле- фонным номером она написала «Кипнис»:

– Вот все у него и купите.

Обмен прошел беззвучно, сопровождаясь лишь жеста- ми и переменами в выражении глаз. Соломону Кипнису нравилось, что я быстро достал деньги и не спрашивал, почему за книгу о захоронениях такая цена. Тихий, лысо- ватый, скорбно-степенный исследователь Новодевичье- го кладбища удовлетворенно кивнул мне в прихожей хрущевки в Сокольниках и замер: он вдруг понял, что этим не кончится. Хотя я не походил на неприятность.

– Вы... что-то?..

– Нужна ваша консультация.

– Пройдите.

Я прервал землеройную работу – на столе Кипниса в комнатке (шахтном забое, келье) лежала развернутой газета «Завтра». Я бросил взгляд на первую полосу – там поместили одну из Главных фотографий. После приема в честь Победы император (единственный светлый мундир среди темной молодой широкогрудой массы, усыпанной орденской чешуей) сфотографировался со своими победоносными маршалами, генералами, адми- ралами – ряды страшной, завораживающей силы, теперь трудно поверить в ее существование.

– Потрясающе! Потрясающе! – повторял Кипнис, вслед за мной глянув на газету.

Под фотографией редакция поместила подпись «Наш актив». Я перевел глаза на вязаные носки Соломона Ефимовича, подшитые кожей, и не знал, что сказать. «Завтра» последовательно раскатывала «еврейский вопрос», колеблясь от геополитических высот до страстей коммунальной кухни.

– Потрясающая... концентрация людей, лежащих на Новодевичьем, вот это фото. Готовлю переиздание. Название уже придумал, только не знаю, удачное или нет. «Семь гектаров советской эпохи». Мне кажется, удачное. Это мое мнение. А я с ним считаюсь. Что вы хотели узнать? Вы, кажется, сказали по телефону – родственник Константина Александровича Уманского?

– Да.

– Последние родственники Уманского умерли сорок лет назад, я занимался этим вопросом.

Я споткнулся, но не поменял масть:

– Я двоюродный племянник, – мы улыбались друг другу по-волчьи, пастью, – Дмитрий Анатольевич Камышан. Я приехал из Львова.

– А-а, да-да. Я слышал про вас, – легко обрадовался Кипнис и шевельнул кое-какие записки на столе. – Ведь это вы передали фотографии дяди в харьковский музей Холокоста? Заслуженный учитель РСФСР..

– Точно.

– Инвалид второй группы. Семьдесят пять лет. А выглядите моложе... Я только не понял: почему музей Холокоста? Вы что же, верите, что вашего дядю устранил НКВД за связи с еврейским комитетом?

Кипнис еле дождался пенсии, чтобы ничто не отвлекло от изучения «новодевичьих» могил, больше его не интересовало ничего; даже государство отшатнулось и позволило безвредному червю протиснуться к мертвым; он ничего не боялся; присев за свой стол, он смотрел на

меня с безучастием профессионала или человека, живущего на покоренной вершине; он не представлял, насколько мы близко.

— Я интересуюсь ситуацией июня 1943 года. Шахурин и Уманская. У меня появились вопросы по вашей теме.

— В общих чертах я знаком с этой историей. Шахурин и Уманские похоронены на Новодевичьем. Что за вопросы?

— Девочку убили третьего июня во второй половине дня. Отец с матерью четвертого июня вылетели в Мексику. Получается, дочь они не хоронили. Кто хоронил? Где? Могла урна с прахом Нины оказаться в могиле Шахурина? Почему Нину сожгли так быстро? Вряд ли хватило времени, чтобы провести вскрытие тела по всей форме. Шахурин еще не умер, следствие только началось, а Нину уже сожгли. Зачем вообще девочку повезли в крематорий? Какая была необходимость жечь, если, конечно, Уманский не забрал урну в Мексику..

— Или если не было необходимости что-то скрыть, — скрипнул Кипнис. — Я заметил, вы рассматриваете эту историю под определенным углом.

— Некоторые люди... не верят, что на мосту все произошло так, как всем хорошо известно.

— Кто вы?

Прием у врача обязательно доходит до точки, когда врачу уже все ясно, но он продолжает: присядьте и вытяните руки вперед, нагнитесь и раздвиньте ягодицы, — следуя правилам до последнего пункта, и ты послушно продолжаешь показывать и отвечать избыточно подробно чистую правду, потому что с детства запомнил: иначе доктор не сможет помочь, а больше надеяться не на кого, — доверяешь изнанку, вываливаешь срам, откуда нам знать, что понадобится для спасения, — он сам выберет.

— У каждого события в прошлом есть смотрящий... Вот вы — смотрящий за Новодевичьем. А мы новые смотрящие по этой ситуации на мосту.

— Вы не один?

— У меня есть партнеры. Можно сказать, брат. Вернее, братья. Как бы семейный бизнес. Хотя можно сказать — я один. Еще один, — я показал на потолок, — пишет фон.

— Насколько я вас понимаю, сейчас у этих смертей имеется, как вы выражаетесь, смотрящий. Но вас по каким-то причинам это не устраивает. То есть речь идет о некоторым образом смене?

— В общем, да. Да.

— И вам... И тем, кто согласится вам помогать... будут противодействовать?

— Не знаю. Как пойдет. — И я скучно добавил: — Ну, в рамках естественного течения времени.

Должен ветер ударить в окно тополиной веткой, донестись раскат грома, луч света упасть на коричневую фотографию родителей — но ничего не произошло, два мальчика на пятом этаже продолжали меняться солдатами.

— Я вам позвоню, — сказал Кипнис.

Еще он сказал:

— Ничего удивительного нет, что ее сожгли. Время меняет способы захоронений. Сейчас на Новодевичьем три разряда: гробом в землю, подзахоронение урной в существующую могилу к близким и низший — урной в колумбарий. До революции разрядов насчитывалось семь. По первому, высшему — покойник сам правил лошадьми катафалка. Шутка. Вам не бросилось в глаза, что в стене, самой первой, там, где Дмитрий Ульянов, урнами покоятся люди, запросто заслужившие землю? Лепешинский, Ленгник, Шелгунов, Розмирович, Драбкина — старые большевики ленинского призыва. — Ничего мне эти имена не говорили. — Они что? Не могли получить землю? Легко! Но в тридцатые годы развернулась борьба за широкое распространение кремации. Покроем Советский Союз сетью колумбариев! Возникло даже ОРРИК — общество распространения крематориев

для содействия крематороидному строительству. Первые членские книжки общества послали Сталину, Молотову и Калинин. И когда умирали ленинцы, они даже своей смертью хотели утверждать новые принципы жизни — без поминок и панихид, не занимая плодородной земли. Жгли тогда всех. И детей.

Он говорил о смерти как о дачной знакомой, как говорили, наверное, о ней старые большевики, стальные люди, не считавшие трагедией свое личное отсутствие в будущем, смиравшиеся, как и все, но признававшие справедливость замены поколений и устранения обузы. Я стиснул губы, чтоб не наглотаться угольной пыли, чтоб не спросить Кипниса: вы гробом в землю? или на тележке в печь? Нам недолго осталось!

— Нину могли захоронить в могилу с убийцей. Я как-то гулял с вдовой Шнитке по кладбищу. Спросил: почему вы не захотели, чтобы мужа похоронили рядом со Свиридовым? Она так поморщилась: вы знаете, он уважал Свиридова как композитора, но его монархизм... И эти... националистические взгляды! Не хочу, чтобы они рядом лежали. А я посмеялся про себя: посмотри вокруг. Мимо кого мы идем? Палачи и жертвы! Тот же Трапезников и Капица. Великий физик и заведомо науки ЦК. Когда Трапезникова двигали в члены-корреспонденты академии, Капица противился всеми силами. Они в жизни рядом не сажались — ненависть! А вот умерли в один год и лежат рядом. Особо не повыбираешь... Спасибо, хоть кусочек незанятый нашли.

Кипнис мне позвонил через день. Шахурина Владимира, пятнадцати лет, сожгли мгновенно — 5 июня, и завтра выдали справку о смерти для захоронения. Командующий подземными этажами империи написал на ней: «Дайте указание директору Новодевичьего кладбища отвести участок для захоронения сына Шахурина, отведите место по усмотрению Шахурина». Боец помладше подписал: «Рядом с могилой Димитрова, размером

в пять метров». Размер означал, что мама-папа С.М. и А.И.Шахурины наметили лечь с сыном и выбрали приличного соседа — семилетний Митя Димитров, «сын Г.Димитрова, деятеля международного коммунистического движения и его второй жены», умер только что, и на него поставили невеселого мальчика из грязного камня: худой, белые гольфы, руки, сложенные на коленях, держат кепку, тонкие губы, сандалии, из нагрудного кармана косоворотки углом торчит платок — на Новодевичьем нет памятника страшней.

«Захоронить урну около могилы Шахурина» — завершила третья, чернорабочая рука, жутковато назвав пять метров земли могилой вполне живого, молодого, франтоватого министра авиапромышленности Советского Союза, императорского любимца.

Еще день и:

— В архиве нашлось письмо брата Уманского — Дмитрия. 29 мая 1945 года он обратился к заместителю Председателя Моссовета. «Прошу, чтобы урна с прахом Нины Уманской была захоронена там же, где захоронены ее родители. Можно было бы сделать нишу под плитой К.А.Уманского». Резолюция: «Предоставить нишу». Занятно, что Дмитрий предлагал подхоронить девочку именно к отцу. И справка прилагается о захоронении: «Уманская Нина, 14 лет. Новодевичье кладбище. 3 июня». Ее похоронили в день смерти, ровно через два года. И печать Московского крематория. Получается, ее не хоронили до смерти отца.

— Где урна стояла два года? Могла она быть в могиле Шахурина?

Кипнис равнодушно ответил:

— В документах не отражено. — Он отстрелялся, скучно с любителями. — Да... Я подумал, вам может показаться интересным... Шестнадцатого августа провести на кладбище полный день, — он заговорил вновь, но уже петляющим голосом, неуверенно засопев, слов-

но пробирался в темноте, растопырив руки, туда, куда не следовало.

— Зачем?

— Шестнадцатого августа у Нины Уманской день рождения.

— Я не смогу. Не хочу.

— Просто я припомнил... Поспрашивал... Говорят — в день рождения кто-то приносит на ее могилу цветы. А ведь прошло шестьдесят лет...

— И что?

— Это говорит о чем-то... Я подумал, родственников нет. — Говорил словно сквозь головную боль, переживая отрыв от надежных бумаг с печатями и архивных папок. — Это может делать только тот, кто ее любил. Возможно, тот, кого вы ищете.

Шестнадцатое августа. Простудить почки, просидев на каменной плите, жрать из кулька, отливать в кустах рябины, посматривая на объект сквозь ветки, выследить согбенную спину и спросить в изрубленный морщинами загрявок, засыпанный седым пухом: так это ты ее замочил?..

Я прочел объявление (вот здесь, фактически в центре Москвы, есть свободные ниши! всего за восемьдесят долларов) и спросил у тети в кожаном пальто дорогу в крематорий. Она что-то добавила вслед, я обернулся:

— Что?

— Подайте на жизнь.

Здесь, на Донском, смерть пострашнее, чем на Новодевичьем: низкие стены, как заборы, и все — все-все-все, сколько видишь, облицовано погребальными изразцами, не найдешь и двух одинаковых, разные же люди. Даты и крохотные овальные фотографии, словно зеркальца, ты идешь, они пускают лучики тебе в глаза, пытаешься зацепить; я кусал булку с изюмом, я почти бежал, стараясь оторваться от пустоты меж этих заборов, от просторной

этой тесноты, от гуши, прошел сквозь чулан, заставленный бочками с фасадной краской, прямо к конторке, к дремлющей ненавистной твари, крашеной и бесполой, — ей должны все, а плачущие родственники покойных особенно, — она подняла морду:

— Вы на замуровку?

Презрительно обнюхала тысячу рублей, упавшую ей с неба, и достала из железного шкафа журнал учета человеческого пепла с чернильным «1943» на корешке; раскрыла «июнь».

— Я не имею права вам ничего показывать.

И поэтому я разглядывал кверху ногами худые, заваленные на бок буквы: Нину жгли 4 июня, шестой по счету из двадцати двух человек, номер 4282; крематорий работал круглые сутки, можно предположить, что девочка поехала в печь утром, через шестнадцать-восемнадцать часов после смерти, для законного оформления не хватало бумаг и на полях зацепилась пометка «врач. закл?» Шахурин Владимир — на следующий день, четырнадцатым из тридцати, 4310, справка Краснопресненского ЗАГСа. Урна Шахурина выдана для захоронения. Урна Уманской — нет. Никакой Мексики.

— Куда деваются урны, которые не похоронили сразу?

— Стоят на выдаче праха.

— Что это? Комната такая?

— Ну, помещение.

— Сколько они стоят?

— Полгода. Если не приходят заинтересованные лица, ссыпаем в братскую могилу. В овраг.

— А во время войны?

— В войну хранили по два-три года. Ссыпать начали в сорок шестом.

Когда все живые вернулись к своим мертвым. Два года... Все, что осталось от Уманской, два года стояло «на выдаче праха» среди нескольких тысяч урн — почему? Чего ждали ее родители? Собственной смерти? Участка

земли? Отпуска? Мрамора для надгробия? Не важно, ее все равно нет?

Я встретил его спустя время — Кипнис шел меж могил; потеплело, и снег падал шепотками, узелками, лохмотьями, празднично и неправдоподобно — и небо не темнело при этом. Его сопровождали родственники местных покойников — мохеровые шарфы, очки в кривых оправках и кроликовые шапки. Кипнис внимательно взглянул на меня, не узнавая, но вычислив чужого, непохожего по взгляду: я как-то не так смотрел на живых.

Через три года я увидел в витрине переиздание его «Записок некрополиста» и купил, все вертел в руках, не мог понять — что такое не такое есть в этой книжке, хотя все, кажется, как было: фотография — автор широко улыбается, белая рубашка, не стесненная галстуком; посвящение «Светлой памяти Аллочки, моей незабвенной жены, посвящая эту книгу» — но что-то корябало меня. Еще раз осмотрел обложку и увидел новое.

Художник оформил обложку как могильную плиту — шурупы по углам. Под счастливой фотографией Кипниса кто-то поставил цифры 1919—2001, изменившие все. Некрополист на фото теперь улыбался так, словно наконец-то все в полном порядке, он там, где должен быть, у своих, он слился с миром, которым жил, исследования *здесь* закончены, и, с удовольствием повинуясь страсти, он продолжит копать с *той* стороны — так казалось мрази-оформителю, он не понимал, за что расправились со стариком.

Кипнис не хотел смерти, но, думаю я, кусок Новодевичьего оказался бы ему уместным вознаграждением за его галерную службу, однако скоты не оценили его прикованной гребли, а проплатить тем, кто торгует невозможным, было некому.

У меня мало книг, эта все время попадалась в руки.

Я просто не знал, куда ее деть. И ночью выбросил в мусоропровод.

Бухгалтерия

Секретарша приземлила поднос на стол — жасминовый чай, попяtilась до календарика «До весны осталось 16 дней» и оторвала листок — 15. Белая блузка. Потом что-нибудь придумаю с ее мордой. Еще я пью воду без газа со льдом «БонАква», «Эвиан», «Шишкин лес». Дюшес «Черноголовка». Печенье с маком, изюмом. Никакого ржанья с шоферами и музыки в приемной. В кабинет заходить с блокнотом. О назначенных встречах напоминать вечером накануне. Уборщица не должна двигать солдатиков.

Она задержалась посмотреть на дядю — я небрит, я друг подушки; когда не надо спать, я сижу в мягкой коже, рассматривая оловянных бойцов, можете подойти? Серия (в трех известных на сей день вариациях), условно названная «полковые музыканты» или «оркестр», выпускалась до конца пятидесятых (я имею честь принадлежать к сторонникам более позднего происхождения — шестидесятые) — геликон, труба, ротный барабан, фанфары; так выскальзывает из рук моих день и что-то проглатывает его там, внизу, чавкающим звуком. Вам удивительны повторы? Зачем собирать по несколько экземпляров каждого оркестранта? Одинаковыми мне кажутся люди, но солдат я могу различить, помогая пальцами глазам — погладьте, открывается миллиметровая разница в росте, подбородок чуть выше вздернут ремешком каски, вдруг гимнастерка сминается в три складки под ремнем, а вот у избранного повисает на бедре небольшая прямоугольная сумка, похожая на планшет. Краска, лак, узкая или широкая подставка — в производстве военной игрушки не соблюдалось единого верховного порядка, и это превращает коллекционирование солдатиков в бесконечное занятие, вот что ценю. Оборонные «почтовые ящики» Империи отливали солдат

в подсобках по собственному разумению, и никогда не узнать, кто, почему и когда решил насечь узор на боку барабана, а кто распорядился срубить погоны с плеч трубача, подсократить шаг и подрезать голенища у сапог, улучшая образец, относимый к началу тридцатых, — те, старшие, отличаются весом...

Закончил шептать и занялся чаем; дерьмо, конечно, но — жасмин, красивое название! Секретарша, предположив, что завод кончился и игрушка больше не зажужжит, осторожно сказала:

— К вам кассир. Из бухгалтерии. Можно ей зайти?

— Александр Васильевич, есть время подписать? Доверенность в банк, счета за аренду... Александр Васильич!!!

Я схватил обтянутую тканью тушу и завалил на себя — занавесом поползла кофта, открывая бледную пузатую кожу с синевато-желтыми синяками и росчерком аппендицитного шрама, качнулись жировые слои на боках; я расцепил бюстгальтерные многорядные когти и отлепил, словно присохшие, плотные кружевные чашки, выпуская груди, поползшие вниз; туша свалилась на колени под тяжестью моих направляющих рук (Хоть бы сказал что-нибудь, — повторяла она, выманивая ласку. — Ничего не сказал!); я сел поудобней и бессмысленно перебирал редкие пряжи на загривке, переселившись в ее пальцы — трогающие, сдвигающие, ощупывающие, держащие.

...Отвернувшись друг от друга, мы заправлялись и застегивались, остывая. Сквозь отчетливо бездонное омерзение я совестливо прошептал кассирше, выпроваживая:

— Оль, у тебя такие глаза красивые.

— У вас вон тоже... Такой большой и хороший.

Я втаптывал в ковровин сопливые лужицы и позорно вздрогнул от настигшего шороха — Алена, в длинной тонкошкурой шубе черного цвета, нависла над столом, едва не смахнув рукавом полковых музыкантов, и рассматривала меня из болезненного далека, как рожающую

в овражных лопухах собаку, — скулящие, уродливые, одинокие усилия на жалкой подстилке. Она не раздевалась, словно раздумывая, а не уйти ли ей прямо сейчас куда угодно, лишь бы отсюда, покачивалась на высоких каблуках, тонких, как рюмочные ножки, на носках сапог блестели какие-то стальные острые хреновины. Жирные малиновые губы, на наращенных ногтях по серебристо-розовому полю змеились цветочки, фиалки, маргаритки, лилии...

— У тебя зрачки расширены. Как у наркомана.

Она так дышала, словно в кабинете подванивало. Я протянул вихляющуюся руку к телефону.

— Не надо убивать секретаря, — сказала Алена. — Девочка сегодня первый день. Она пока не знает, что часто происходит в этом кабинете. И что даже любимых женщин нельзя запускать без звонка. Что у нас нового?

— Из живых остался только Дашкевич... Что ты принесла?

Алена выпустила из рук бумажный лист:

— А это то, что мне удалось узнать за последнее время. Почитай.

«Ты совсем меня не видишь, течешь дальше. Но жить без тебя — все равно что потерять линию жизни на ладони. Я не знаю, как я жила без тебя. Просто я люблю тебя так, что не передать».

Я постеснялся сгибать, рвать и выбрасывать листок. Делал вид, что в упоении перечитываю, соображая («Алена...», «Я не достоин такого, Алена...», «Мне нечего тебе дать...» — все, что говорится перед тем, как трахнуть и уволить), неужели придется подниматься из кресла и, глядя мимо, преодолевать три скучных шаркающих шага до пресного поцелуя.

— Так вот, последний, кто знал Уманского... В журнале «Иностранная литература» кем-то служит старик Юрий Дашкевич.

– Ты опять не веришь в себя. Зачем нам еще кого-то искать? Что тебя тревожит?

Я знал, что чувствую, но не мог ответить правдиво:

– Понимаешь... Холеный, успешный. Любовницы. Ценитель искусств. Императорский посол. Чудесно красивая дочь. Девочку убивает сын наркома, и несчастный отец разбивается... И вот такого – никто не заметил.

– И что это значит?

– Либо наш клиент холодная и расчетливая тварь. И не остался хоронить дочь... И за два года до гибели никому не рассказал, как ее убили... Либо он из наших, и душа его хранилась на Лубянке. И когда мы его возьмем, ничего не скажет. Ему просто вырезали язык, и он жил по-другому.

– Тогда давайте разрабатывать семью мальчика. Ты установил наблюдение за Шахуриным?

– Старику Дашкевичу я звонил трижды. Мне показалось, его испугали мои звонки. Первый раз он подозрительно расспрашивал меня, кто именно решил вспомнить Уманского. Второй раз сказал: приболел, звоните через месяц. Третий раз велел больше не звонить. Хотя я даже не успел сказать, что меня интересует Нина. Чего он боится?

И у нас нет ни одного свидетеля, видевшего влюбленных мертвыми на мосту.

Шахурин: результаты наружного наблюдения

Тогда они еще не знали, что старик Дашкевич стал бы промахом, жестокой ошибкой, провалом, если бы их действительно интересовало что-то по-настоящему, кроме Большого Каменного моста.

Все заместители знаменитого наркома авиапромышленности давно гнили в земле, дышал один – генерал-полковник Александр Николаевич Пономарев. Найдите его, посоветовал летчик-историк Мейзох, не знаю, пра-

вда, где он, я как-то выпустил его из виду. Через два месяца (Tuesday, april 09, 3:02:49 PM) в одной из квартир США прозвенел, провыл сигнал телефонного вызова, и я соврал ответившей женщине, кто я, и сказал правду, что мне нужно.

«Ты с Шахуриным знаком? — весело кричала женщина, фоном громыхал американский телевизор и лаяла собака; женщина рассмеялась видимой ей картине, и мне в трубку: — Ему через две недели девяносто один. Я-то моложе на шестнадцать с половиной лет. К нему дочь в комнату заходит, а он спрашивает: кто это пришел? Сейчас, попробуйте сами. — И снова: — С Шахуриным? Знаком? Восемь раз уже спросила... Попробуйте вы».

Я услышал слабоумный, подушечный голос, похожий на удивленный взгляд в телефонную трубку, и тупо сказал над Тихим или Атлантическим: «Шахурин». Там просипело: «Я о нем помню». «Что помните?» — «Давно было». Впряглась другая женщина: «ЧТО? ТЫ? ПОМНИШЬ О НЕМ?!» «О ком?» — «Папа! О ШАХУРИНЕ!» — «Я о Шахурине помню. Ну, был». Она покричала еще и устало отчиталась: «Говорит, министром был. Попал под какое-то следствие и погиб». Вдруг я услышал, как генерал-полковник внятно произнес: «Когда мы будем обедать?», она вскрикнула: «Папуль, на телевизор не нажимай!», — и я отключил телефон.

Понятно, я не первым зашел в пирамиду императорского слуги, ребята, работающие против нас, все успевают подчистить. Я ради приличия оглядел забетонированный пол и потрогал кирпичные стены.

Музей академии имени Жуковского: две статьи про наркома в многотиражной газете; вот совпадение — человек, знавший Шахурина шестьдесят лет, умер за две недели до вашего звонка.

Музей авиации и космонавтики: ничего нет. Только модель спутника, что Алексей Иванович подарил.

Комитет ветеранов войны: нет, никто его не помнит, неделю искали.

Ветеранская организация завода «Манометр»: секретарь партийной организации, работавший в юности с Шахуриным, умер полгода назад.

— Документы свои предъявите, пожалуйста.

Вышла дряхлеющая баба с двумя бородавками на щеке и отправилась искать ключи от хранилища, а я остался на лестничной клетке и смотрел сквозь заоконную решетку на мокрый, недолгий осенний снег, уже пробитый шагами, — там прыгали вороны и бегали белая и рыжая собаки. Я давно заметил, что сквозь решетку мир становится большим, равнодушным и прекрасным. И даже не притягивает, настолько недостижим — просто наслаждаешься непричастно, как долетевшим запахом далекого осеннего костра, девичьим смехом в соседнем купе, игрой пацанов на футбольном поле.

После лязгающих отпираний сейфовых дверок мне принесли, словно наследнику, все, что осталось от наркома Шахурина.

Нож, место создания — г. Златоуст; техника — позолота, гравировка, чернение. Дата создания: 1944. Зажигалка бензиновая, металл, пластмасса, место создания неизвестно.

Фото в белом кителе, МСПО Арбат, 40. 1932.

Фото с надписью «Дорогим Папочке и Мамочке, сердечный привет из Евпатории. Соня». Жenu наркома звали Соня. Штампик фотографа: Генрих Летичевский. Тел. Д 1-74-5. 19 6/V 37 — зелеными чернилами. Так, что там про жену, мать убийцы? Софья Мироновна. Учетная карточка члена КПСС №00034516. Умерла в апреле 1977 года. Партдокументы погашены Ждановским РК КПСС.

Год рождения 1908, еврейка. Родной язык — русский. В комсомоле с четырнадцати лет, в партии с восемнадцати. С шестнадцати лет на ткацкой фабрике аппретурици-

цей, размеряльщицей и настильщицей. Так, а кто она в период знакомства с Шахуриным? Студентка инженерно-технической академии — там, скорее всего, и познакомились. Потом, ух ты, директор производства в доме заключенных, швейные мастерские с перерывами на временную пенсию и болезни на полтора-два года. С начала войны не работала. Пока не погиб сын.

Да, князья тридцатых годов получали жену-еврейку с неотвратимостью положенного, как дачу, автомобиль и телефонный аппарат для связи с Кремлем, прозванный «вертушкой», — еврейки чем-то выделялись в истощенном эмиграцией женском культурном слое. Профессиональные антисемиты составили длинные таблицы родоплеменных связей императорских слуг (Бухарин, Молотов, Киров, Калинин, Рыков, Андреев, Поскребышев, Буденный, Яков Сталин и мн. др.), густо засадив их Полинами Абрамовнами, Аннами Мироновнами и Раисами Иосифовнами (урожденными Зунделевич), и перечеркали пересекающимися стрелками (евреек не хватало, и некоторые примерили не одну фамилию членов Совета Народных Комиссаров), разоблачая происки «мировой закулисы». Но предвоенные казни таблицу опустошили, а в войну император ввел моду на русских круглолицых и глупых домохозяек, бывших подавальщиц гарнизонных столовых и медсестер.

Что могу сказать, осмотрев тело?

Алексей Иванович Шахурин занимал комнату на четвертом этаже императорской власти, соседствуя с равновеликими «наркомаами ключевых отраслей». Выше жило «партийное руководство» (пять-семь человек), еще выше маршалы народного хозяйства (не более десятка) и всех выше — «узкое руководство» (император, Молотов, Маленков, — на тот момент — и Лаврентий Берия) — порядковый номер Шахурина в Империи располагался между 25 и 50.

Уманский хорошо если замыкал третью сотню.

Сознавал ли Володя Шахурин силу своей родовитости? Но что эта сила советского мальчика, этот «серпомолот» красивой девчонке, приехавшей из Вашингтона в нейлоновых чулках?

Прошли все сроки давности, отклеились и раскрошились печати «Совершенно секретно» с пыльных картонных папок, а жизнь Шахурина, как жизнь любого императорского сокола, как была, так и осталась сочетанием абсолютной прозрачности с абсолютной непроницаемостью. Отдал душу делу коммунистической партии, строил коммунизм на земном шаре, до смерти называл императора Отцом (даже после шести лет в одиночной камере по «делу авиаторов») — выполнил свое обязательство перед Империей, обещавшей ему (как и всем, кто признавал свою мнимую вину перед расстрелом) *что-то*, по силе сравнимое с бессмертием, — обязательство отдать ей, Империи, все и лично, вне железного марша, почти не существовать.

Мне оставалось «почти» — я разровнял на столе холмик добытого песка, вывел на нем пару латинских букв и прочертил зубчатую бороздку, сразу обнаружив главное.

Нарком умер 3 июля 1975 года.

Никто не слышал, чтобы он вспоминал сына. «Про сына они не говорили. Много говорили о цветах на могиле. Там всегда море цветов».

Я со злостью влепил по рыжеватой, холеной морде, по белым кителям: что так-то?! Разок бы пустил слезу! Заскучал бы о нерожденных внуках. Пробормотал бы: эх, Володька б сейчас, если бы жив... Сокрушался бы с товарищем-ветераном по пьяни: вот так и так это получилось, Иван Палыч, что ты будешь делать; и воспитывал-то я его правильно, а все одно душа не на месте, чую вину! Не уберег...

Хоть бы девочку мог пожалеть — Нина такая была, учились в одном классе, пару раз всего видел ее, красивая девчонка... Отец ее, Константин, помню, подошел на

похоронах... Глаз поднять не мог на него, сам плачу стою... Ах, Вовка, Вовка... Каждую ночь перед глазами встает!

С точки зрения учительницы начальных классов Шахурин должен был вспоминать сына. Тем более если мальчика убили. Если на имя единственного сына лег напрасный позор.

Но Шахурин молчал, как все. И это молчание, с точки зрения людей правды, могло скрывать все что угодно.

Мне оставалось протереть пальцы спиртом и достать лупу, чтобы рассмотреть малозначимые подробности состояния трупных тканей.

Отец — медник из села Михайловского, дважды раненный на Первой мировой и до гроба паявший медные трубки (нарком тем временем обедал с императором в Кремле) для гидравлических систем управления самолетом.

Сын до революции пахал с двенадцати лет учеником электроинженера в конторе Заблудовского, три года молотобойцем и фрезеровщиком на заводе «Манометр» (любил петь за работой); потом райком комсомола, инженерно-экономический институт, академия Жуковского (в те времена, когда Петровским дворцом на Ленинградском проспекте, отданным авиаторам, заканчивалась Москва), авиационные заводы и вдруг первый секретарь ярославского обкома, а через год — горьковского.

«Я всегда менял Кагановичей». В горьковском обкоме сменил Юлия Моисеевича, в наркомате авиапромышленности наследовал Михаилу Моисеевичу — тот называл «мордочкой» самолетный нос, в авиации не разбирался (все это и последующее, возможно, неправда) и руководил угрозами. Император возмутился: «Какой он нарком? Что он понимает в авиации? Сколько лет живет в России, а по-русски как следует говорить не научился!» — восторг рекордных перелетов через полюс и

небольших авиационных успехов начала испанской войны прошел, завиднелось могильное «мы не готовы». Сталин объявил третьему Кагановичу — Лазарю, тогда входившему в топ-25: «Твой брат связался с правыми». «Пусть судят, как полагается по закону», — шевельнулись железные губы (Нет, неправда! — хрипел в завещании столетний Лазарь, уже проржавев, — Я БОРОЛСЯ! я требовал очной ставки! все заводы построил брат, Шахурин пришел на готовое!). Отпущенный с первого допроса, Михаил Каганович, запомнившийся шумливостью и вниманием к отделке кабинета, вышел в коридор, достал пистолет и выстрелил себе в сердце. У имперской авиационной промышленности появился новый нарком. В календаре январь 1940 года, если кто-то следит за датами.

Алексей Иванович, как и Уманский, как двадцать пять тысяч лучших русских того времени, отливался по одной мерке «сталинского сокола»: «Отложив все свои дела, я взял лист бумаги, карандаш, сел за письменный стол и быстро, уверенно, впервые в жизни написал «Товарищ Сталин!». Звонит телефон, прибегает посыльный, скачет сын сторожихи на сельсоветской кобыле, ломается голос ординарца — в руке разворачивается телеграмма: вас вызывает товарищ Сталин, можете выехать немедленно? Летит самолет над дрожащими огоньками, быстро проходит железнодорожная ночь, летит мелкий щебень из-под колес автомобиля, «вся жизнь проходит перед глазами» — призванный просматривает на экране ночи: вонючая тряпка трактирного приказчика, погоняющая постреленка, зуботычина вахмистра на фронте, нищета матери, видение ЛЕНИНА, довольно скомканно и уклончиво про революционные годы (не все маршалы осмеливались признать, что встретили и проводили Октябрь и несколько следующих месяцев, а то и лет на позиции скорняка или писаря в заготконторе), подробней про учебу в гимнастерках, ступеньки рабочих мест, взлет с первой космической в 1937—1938-м... Да, трудно-

сти, но никаких убийств по две тысячи в сутки и исчезающих товарищей, просто минимум фамилий, и вот — утреннее спокойное лицо часового у Спасской башни, смутно, но обязательно — немолодой человек с необычно красным лицом в приемной (впоследствии оказалось — товарищ Поскребышев) и глуховатый голос божества (мало кто осмеливался в описании продвинуться дальше размеров кабинета и выше края сапог: «фигура среднего роста», «серый френч», «легкий светло-серый костюм военного покроя», «полувоенная форма», «наглухо застегнутая куртка», «шаровары защитного цвета», «мягкие черные сапоги без каблуков, какие обычно носят горцы на Кавказе», — но каждый: «В его левой руке дымилась трубка»). Товарищ, как вы смотрите на то, что мы хотим вам поручить, дело очень важное и новое для вас, но... Мы вас скоро вызовем, до свиданья. Прикосновение руки.

«Ушел я от Сталина как во сне».

Никто не мог объяснить, как это происходило. «Уже наступили сумерки, когда мы покидали Кремль, — пытался сохранить рассудок югослав Милован Джилас, ненавидевший императора. — Офицер, который сопровождал нас, явно уловил наше восхищение. В это время года в Москве бывает северное сияние... Все приняло фиолетовые краски и мерцание — нереальный мир, более красивый, чем тот, в котором мы жили...»

В Москве не бывает северных сияний.

И взмывали призванные в небо — из подполковников в главные маршалы артиллерии за три года: переговоры, посевные, авиационные моторы, смазка стволов, умные академики, тяжелые «ЗИМы», сознательные бойцы, героические труженики тыла, справедливость партийных органов, полное несуществование человека по имени Лаврентий Берия (без которого на самом деле в обороне и науке не обходилось ничего). И даже если посреди полета зиял семилетний тюремный срок, выби-

тые передние зубы и расстрелянные двоюродные и родные братья, то это бесследно скрывала толща безмерной благодарности судьбе за выпавшее счастье сделать то, что неплохо было бы повторить и молодежи.

Никакой любви. Никаких там детишек и карточных игр, родительских собраний, футбола, красивых баб, просмотров кинофильмов, застолий (лишь хрестоматийная стопка «За победу!» — ее почли долгом описать все, — получается, что они выпили за жизнь); никаких похоронок с фронта и старух в сожженных деревнях, разрухи и людоедства, никаких сирот павших и казненных товарищей... Не поднимая глаз от борозды, растворяясь в цитатах классиков марксизма-ленинизма, в послесловии буквально превращаясь в Программу Коммунистической Партии Советского Союза, они уходили, сильно изменившись в гробах, успев прошептать, пока съезжались крематорные ворота, самое главное — пару легенд про императора: хоть и обидел, хоть перестал звонить и вызывать, но в марте сорок шестого взял вдруг и — поставил стул в первый ряд маршалов на парадной фотосъемке в Георгиевском зале — и на этот стул меня молча усадил — своей рукой! — и что может быть выше? — прощайте, товарищи!

Молчание Шахурин вышло двумя изданиями под названием «Крылья победы» тиражом 1 000 000 экземпляров и содержало лишь три примера мелкого мемуарного воровства и старческой расслабленности. Например, бывший нарком особенно хвастался, что покончил с «текучкой кадров» на авиазаводах. Возможно, он просто забыл, что в день первого прогула рабочий не получал карточек на хлеб, наутро его вызывали в военкомат и первым эшелонам отправляли на фронт.

Четыреста оставшихся страниц удобно сокращаются до трех слов: *количество произведенных самолетов*. К июлю 1941 года пятьдесят самолетов в сутки! Через год император в Кремле показывал Черчиллю своих:

«Вот наш нарком авиапромышленности. Он отвечает за обеспечение фронта боевыми самолетами. И если он это не сделает, мы его повесим», — император показал, как затягивается на шее петля, и показал еще: а вот, видите, нарком весело смеется шутке. И нарком смеялся не шутке, а через тридцать лет вдруг отложил в сторону очки, потрогал натертую веревкой шею, приподнимая вздохом тяжелый от орденов пиджак, и, увидев меня в значительном отдалении, глухо сказал: «Рассчитываю на умение читателей увидеть за отдельными фразами нечто большее».

Вот только зачем это тебе, Алексей Иванович, рыжеватый, невысокий человек плотного телосложения? В таких случаях посланные неумолимые люди видят за отдельными фразами то, что надо, а не те тайные зарубки на столешнице, что отмечали количество трахнутых баб или арестованных сотрудником наркомата.

После выпаривания *количества произведенных самолетов* в донных отложениях просматривается хорошо сохранившаяся любовь к императору: доклады каждый день, приглашения отобедать, звонки в выходные, ближняя дача, дальняя, вот император говорит наркомам СССР: встречи с молодым Шахуриным приносят пользу лично мне (так говорил про многих, у многих кружились головы, а потом кружились головы их единственных сыновей с пистолетами).

Еще проглядывает желание красоваться. Вот на третий месяц войны Шахурин получает Звезду Героя Социалистического труда (№ 14) и через час, сознательно оставив золото на груди (и ведь не вычеркнул из книжки своей даже через тридцать лет «сознательно»), заваливает к императору (зная про него все: презрение к наградам, стоптанные валенки, смерть под старой вытертой шинелью) и, захлебываясь любовной дрожью, упивается криком Отца: «Нацепили всего на себя! может, вам только праздновать?! А работать некому?!»

Страсть к звездочкам, желание удобных квартир, массажных кушеток, так сказать, комфорта; завтракать и обедать дома, хвалиться приличным пальто на московской встрече союзников в верхах, а также: я первым из бауманских комсомольцев надел галстук, «на что требовалась определенная смелость», а всю коммунистическую личную историю передать единственным фактом: на XVIII съезд партии явился «одетым, как Утесов, в сиреневом костюме, белоснежная сорочка и модный галстук», и незабываемое счастье выделяться среди толстовок и гимнастеров прочих партийных воевод страшной предвойны.

Мне показалось: Уманский и Шахурин походили друг на друга чуть больше, чем походят друг на друга просто ровесники – надломившиеся в январе 1945 года мужчины невысокого роста, наевшие животы при сидячей работе, прославленные как любимцы императора, ценители роскошной жизни, рвущиеся вверх, имевшие по одному боготворимому ребенку и потерявшие детей в один день – 3 июня 1943 года.

Сразу за императором стояли трое, иногда меняясь местами, – Вячеслав Молотов, Лаврентий Берия и Анастас Микоян. Дольше всех прожил Молотов. Дряхлость одолела его волю, и великий человек выбрал в собеседники поэта Феликса Чуева и позволил записывать свои старческие, мелочные жалобы на прогулках по временам года.

Молотов ненавидел Литвинова, сменил его, когда стало ясно, что французы и англичане нас кинули, надо срочно договариваться с немцами. Немцы с евреем-наркомом говорить не будут. А Литвинов не понимал, что пакт с Гитлером – наше спасение... Про ненавистного Молотов, прогуливаясь, так сказал: «Литвинова держали послом в Штатах только потому, что его знал весь мир. Человек оказался гнилой. Совершенно враждебный нам. Хотя умница прекрасный, но ему не доверяли... Литви-

нов только случайно жив остался... Потом Литвинова отозвали и поставили этого... Уманского — он, конечно, такой несерьезный. Другого не было». Чуев перепутал: наоборот, Литвинов, вызванный из забвения, поехал в Штаты на место Уманского, но не важно, важно слово: несерьезный.

А в другой раз Молотов вспомнил Шахурину: за что его посадили? За то посадили, что без ведома Политбюро изъяли они один лонжерон из конструкции самолета для экономии металла — летчики начали разбиваться. «Наркомом был неплохим, особенно во время войны. Но по натуре — неглубокий человек».

Профессор Вилнис Сиполс, изучавший архив Молотова, записи бесед наркома, показал на допросе: «В записях Чуева много слов и выражений, Молотову не свойственных, а свойственных скорее «вояке» Чуеву, поклоннику армии и нашего великого прошлого. Молотов не выражался так прямолинейно и грубо».

Наверное. И все-таки: про Шахурину и Уманского великий человек сказал одинаково почти: несерьезный, неглубокий...

Но ведь не это имелось в виду, когда мы начинали?

Я положил рядом и сравнил строчка за строчкой два издания «Крыльев победы» (первое вышло в правление Брежнева, когда императора уже допускалось хвалить, но мимоходом и скупно, второе вышло в правление Горбачева, когда редакторы в кабинетах и на небесах умерли, и на место возвращалось вычеркнутое, и все попыталось принять изначальный вид) — удивительно, но у наркома отняли всего несколько строк.

В первом издании лишь однажды скользнуло «семья жила за городом», но во втором (и получается, каноническом) Шахурин трижды написал про жену.

Сына Владимира в своей вечной жизни он не оставил. Значит, жена. Спрашивать у нее.

Я оторвал бумажный лоскут, написал «Соня» и тупо посмотрел на четыре чернильные буквы. Софья Мионовна.

Отец и сын

Гольцман взглянул на последнее донесение, состоящее из женского имени, и пару минут ждал, пока я скажу первым:

— Один видный антисемит сообщил следствию, что до замужества Софья Шахуринна носила фамилию Вовси. Что она дочка Мирона Вовси, профессора из кремлевской больницы. Потом проходил по «делу врачей-отравителей»...

— Не соответствует действительности. Ее фамилия — Лурье.

И после приготовительного молчания:

— Мне, кажется, удалось договориться — тебя примет один... наш ветеран. Завтра. — Гольцман глотал кофе, измученно вздыхая: что за глыбу он отвалил с пещерного входа, кто сидит там среди мокриц и корешков над остывшей золой под наскальными росписями охоты на львов и оленей? — Только он давно ни с кем не говорил. Из дому уже несколько лет не выходит. Чувствует себя очень плохо. Лежит. Но голова ясная. Хотя в датах может напутать. Я сказал, что ты человек системы и что тебя послала система. Но, ты понимаешь, к нынешней системе у него свое отношение. У тебя будет пятнадцать минут. Он большой человек, но ты, не уточняя, кто он, задашь пару вопросов. С ним можешь говорить прямо. Но аккуратно. Не надо как ты любишь: а правда ли, что самолет Уманского взорвал НКВД? — Гольцман безжизненно улыбнулся. — Я не знаю, поможет ли он. Скажет только то, что считает нужным.

– Вы хотите сказать, что он сознательно будет вводить меня в заблуждение?

Гольцман зыркнул с суровым предостережением. Александру Наумовичу казалось – наш офис прослушивают. И всех повсюду прослушивают. С этим я соглашусь.

– Он скажет. Ты запомни. Потом мы вместе постараемся правильно понять.

Гольцман протянул мне два томика и отдельную книгу, ощетинившиеся зелеными закладками.

– Министр иностранных дел Советского Союза Андрей Андреевич Громыко. Мемуары и воспоминания сына. Больше у нас ничего не будет. Я планировал установить и опросить вдову Громыко, пока не умерла... Искали ее на дачах семьи в Перхушкове и Внукове, но наши источники сообщили, что у Лидии Дмитриевны прогрессирующий склероз, можно про нее забыть. Я приказал разыскать дочь через МГИМО, через отставников – работала там ученым секретарем, и муж там преподавал, кажется, этикет, Пирадов, что ли, фамилия, давно умер. Дочь на контакт не идет. Через своих детей передала: папа Уманского оценивал положительно.

Я просмотрел страницы, отмеченные закладками. Андрей Андреевич Громыко, известный врагам Империи как «великий немой» или «мистер нет», к тридцати годам дорос до кресла ученого секретаря института экономики и звания кандидата наук в области сельского хозяйства. Весной 1939 года, когда наркома Максима Литвинова отправили отдыхать на дачу под арест, а его плеяда разлетелась на пенсии, малозначимые должности и нары (за единственным многозначительным исключением по имени К.А.Уманский), Громыко совершил обыкновенный для тех лет соколиный взлет в американский отдел НКИДа (не зная английского, имея лишь опыт руководства педагогами сельской школы), а уже через полгода отправился с Уманским на флагмане итальянского флота

корабле «Рекс», впоследствии затопленном союзниками, — в помощь Уманскому? для присмотра за Уманским? на смену? — можно только гадать, что приказали новому секретарю посольства.

Все упоминания об Уманском в двухтомных мемуарах Громыко темны, суховаты и способны подтвердить любые подозрения.

«В Москву был вызван посол СССР в США Уманский, который, видимо, не вполне удовлетворял требованиям центра» *(а что ты думаешь сам спустя полвека, владея всеми архивами, что мешает сказать?!)*.

«Как я понял позже *(когда? при каких обстоятельствах? почему?)*, претензии к нему имелись и у Сталина, и у Молотова *(почему такое разделение?)*. И хотя Уманский в США возвратился, тем не менее по всему было видно, что его работа подходит к концу» *(ты ехал прямо на смену послу, но война внезапно воскресила Литвинова, и Уманского сменил не ты, а бывший нарком; ты еще два года присматривал теперь за Литвиновым и его ненавидел, а когда убрали и Литвинова и твоя очередь наконец-то дошла, президент Рузвельт написал императору: «Дядя Джо! Не могли бы вы объяснить, с какой целью вы заменили посла на почтовый ящик», — и император написал на полях синим карандашом довольное «Ха!»)*.

«К Уманскому со стороны официального аппарата Вашингтона проявлялось какое-то настороженное отношение» *(почему? в чем это выразилось?)*.

«Американская печать распространяла выпады, носившие «персональный характер» *(какие?)*.

«Вначале я считал, что это следствие какой-то личной неприязни кого-то в госдепартаменте» *(а потом? что ты узнал про Костю потом?! Что-то особое, если до сих пор боишься сказать?)*.

И Громыко смолк. Сокол назвал последнюю главу двухтомника «Партия идет с факелом Ленина», последними его словами стали: «Марксистско-ленинская наука

для меня всегда, в том числе и сегодня, была и остается законом в практической деятельности». И умер.

Но сын министра прямо написал, хоть и с чужих слов: «В Вашингтоне появился умный, но недостаточно коммуникабельный Уманский. К тому же за ним укрепились “слава” генерала НКВД».

– Где этот сын?

– Директор института Африки. Сидит на Кипре. Может, через пару месяцев заедет в Москву. Только он маленький совсем был, семь лет, младше Нины Уманской – что он может помнить?

Но мальчику что-то рассказывал папа.

Все люди вспоминают, но только некоторым приходится за это отвечать.

Я удивленно вздохнул и прошептал: «Палаццо». Институт Африки забрался в дом Тарасова, углом замыкающий Большой Патриарший переулок (сколько раз нам придется прочесывать вышеупомянутый переулок и следующие два, но кто тогда знал!); дом построил Иван Жолтовский, повторяя композицию палаццо в Тиене, идя по следу своего любимого Андреа Палладио.

Я подержал на языке неживое, цокающее «палаццо», глядя на узкие окна, на тяжелые глыбы. Угрюмый, обветренный дом. Никакого солнца на зеленых листьях. Только морские бури.

А.А. долго казалось, что наша встреча невозможна, но он переоценил возможности живых людей.

На окне приемной цветными стеклами выложили богородицу с чернокожим младенцем, араба с факелом и полуголого негра с автоматом ППШ. В витринах демонстрировались шляпы, тапки, коврики и музыкальный инструмент, похожий на миномет. Я перебрал книги на столике («Экономика развитого социализма», «Фронт национального освобождения Алжира», «Сражающаяся Африка»), заглянул во внутренний дворик – там в пол-

ной тишине шел снег, заноса фонтан и мертвые космы плюща, — и уставился в огромный, как пещера, камин: кто занимал эту комнату в доме Тарасова?

— У вас есть пятнадцать минут. Я так понимаю, для вас скорее важен факт встречи со мной, чем то, что я скажу.

Ах так! Вот и останешься таким, каким я тебя запомнил.

Он выдыхал на меня через стол запах старости. Толстощекий, занудливый, он говорил как слепец, не раскрывая глаз, и схватывался за висок, изображая припоминание; за спиной его стояли барабаны с бахромой и черный от времени пест в ступе.

...Жили мы в квартире посла на Шестнадцатой стрит, рядом со школой, во флигеле... Квартира в шесть комнат, три спальни, комната приемов. Большая прихожая... Американцы жили очень здорово, а мы с отцом ходили каждую неделю в кино. Вы книгу мою еще не читали о проблемах нового мышления? Подарить не могу — у меня ее нет. Поезжайте в институт международных отношений, в киоске там есть, поезжайте, купите и обязательно почитайте!

Отец пришел в наркомат в такое время, когда, сами знаете, смена шла большая... Уманский приходил к нам на квартиру на улице Чкалова, меня брал на колени, жена за ним повсюду, как... как уточка за селезнем! Отец Уманского уважал. И тот его уважал. Я вот не помню, знал ли Уманский по-английски? А вот Литвинова отец не воспринимал. И тот отца не воспринимал.

(Нина! — направлял я его. — Нина!!! — так что он вздрогнул.) Запомнил ее, особенно на каком-то приеме в посольстве. Очень веселились, сидели рядом, и она болтала. Вообще любила на себя обращать внимание.

Потом узнали, что сын какого-то военного, генерала, застрелил ее из ревности. Я впервые столкнулся с таким ужасным явлением, когда кто-то из тех, кого ты знал, убит.

(Ты помнишь, как погибли ее родители?) Отец с матерью говорили все время: какой-то рок навис над этой семьей. Рок. Они повторяли это слово. Хотя отец был материалист и верил в марксизм как в живое творческое учение, и марксизм изучал только по первоисточникам.

— Если позволите, еще буквально один уточняющий вопрос: вот вы написали, что про Уманского говорили в Америке, что он из НКВД...

— Вряд ли это правда... Этой темы я не хотел бы касаться. Когда мы становились дипломатами, мы давали присягу. Может быть, это кому-нибудь покажется смешным, но я считаю, что не должен делать вреда своей стране.

Я с отвращением отвернулся и вытер руки ветошью. Почуввав свободу, он потрусил за мной, поспешая: нормализация отношений с Китаем была испорчена идеологическими претензиями, в наших генералах сидел синдром 22 июня, если бы КПСС в шестидесятые года разрешила бы фракции, в Швеции нет бедных, у нас был социализм нечаевского толка, в США такие гетто, история — это не железная дорога, и нельзя судить прошлое нынешними законами (я в каждой паузе брезгливо вставлял: «Ну, спасибо, что нашли возможность со мною встретиться»), а вообще вы где работаете и какие вопросы ведете, вы не решаете вопросы собственности на землю в Одинцовском районе... Я выбрался на сухое место в приемной и выдохнул секретарше:

— Впустую потерянное время.

Она спокойно откликнулась:

— А вы чего ждали?

Все заснули, у меня не получается, долго, я ходил по себе, простукивая днище и холодные борта, за ними шуршала и плескалась вода... Я бы хотел, конечно, на прием, если бы такой доктор... Не узкий специалист,

а вообще... По всему. И очень хороший. Я бы вот... Например, я путаю слова. Я вчера вместо «пельмени» сказал «котлеты». Как-то речь иногда... отдельно от головы, ускользает — язык выбирает слова сам, будто я не все время теперь могу думать, отключаюсь. Иногда на вещах, если повернешься, посмотришь — вижу огоньки. И сразу гаснут. Раз! Погасли. Мне кажется, хуже слышу. Кажется, на левое. Двадцать три. Шестнадцать. Дед плохо слышал. Отец. Травма шейного отдела позвоночника, не вполне свободно поворачиваюсь всем корпусом. От операции отказался. Хотели вставить титановые пластины, две, но я отказался: полторы тысячи долларов. К мануальщикам не хожу. Сказали, очень мне полезно плавать на спине. Не хватает времени! Девять коронок на зубах. Стараюсь не запускать. Линзы однодневного ношения. Минус пять. В прошлом году первый раз была аллергия на цветение — никогда раньше не было. Проплапс митрального клапана. Грыжа пищевода. Киста в правой почке. Простатит. Недоразвитая нижняя челюсть. И еще, знаете, многое забываю, а сперва начал меньше видеть (на скошенном мною поле остаются косматые островки, а что именно в них — не вижу, и поле все теряется в тумане) — проходит день, и невозможно вспомнить, о чем ты думал.

Тревожит в основном вот что: почему никто не бежит по улицам и не кричит. Хотя люди куда-то все время деваются. Все люди куда-то все время деваются. Вот это меня тревожит. И никто не бежит и не кричит, как будто уйдут не все, не мы, но ведь люди уходят все, и на нас уже не рассчитывают; в телевизоре курят, моют головы, целуются и водят машины только молодые. Повышенная потливость. Обостренный рвотный рефлекс. Трубку я не могу глотать, чтоб глянуть, что внутри. А надо. Профилактика. А вам уже сказали, что все уходят? — без пощады, и самое главное: Я. Но почему-то никто не бежит и не кричит. Хотя кто-то *там* понимает. Что могут побежать. Ведь не зря — заметили? —

по радио вкрадчивые, ложно-участливые голоса просят граждан вовремя сообщать о лицах в пачкающей одежде нарушающих спокойствие; *там-то* понимают, что как только все поймут, все сразу начнут бегать по улицам и кричать... но как-то все *здесь* не понимают, я понимаю, но вот тоже — только не сплю. Но сплю плохо, давно. Плохо засыпаю.

Иногда болит затылок, вот тут, слева. Особенно во время близости с женщиной, травма шейного отдела позвоночника, видимо, затрудняет кровоток, зато справа компенсирует. Да нет, и зимой. Нет. Не замечал. Нет. У родителей не было. Прадед умер от воспаления легких. На постоялом дворе не хватило места, люди ехали со свадьбы, он лег на пол. Я. Ничего не буду пить. Хвойные ванны я пробовал. Я спортсмен. У меня хорошо тренированное сердце. Регулярная половая жизнь. Я никогда не волнуюсь, я давно не работаю, занимаюсь только собой. Семью мне заводить уже поздно. Нет, детям нужна нормальная семья, это поздно уже.

Я только хочу спать, как спал в детстве, просыпаясь и снова засыпая в утренней истоме, под дождь, метель, в нагретой солнцем постели, вздрагивая ресницами и засыпая, — вот так научиться не вскакивать, как только свет разлепит глаза, и ты мигом вспомнишь, что с тобой скоро сделают.

Дачник

Женщина, похожая на иностранку и не похожая на женщину, пошла вперед:

— Заодно я... лекарства, — тащила поднос с пузырьками и чашками, с легким неодобрением напомнив, что говорить можно недолго — поменьше вопросов! Я семенил за ней по обжитой, поделенной наследниками даче, не запоминая ничего от напряжения и свободы от вступив-

тельной лжи ответов на неизбежное: кто вы? как вы меня нашли? зачем вам это надо?

— Садитесь здесь, — она склонилась над великим мастером, балконным жильцом, я оказался лицом к лесу. Оттуда несло однообразное кипение птичьих голосов, а на балконе подсчитывались капли, искалась такая желтенькая капсула, пошевеливались темные руки в кровоподтеках от капельниц, и ложка исполняла свой долг, вызывая пузырчатое бульканье и клетотанье старческого горла, завершавшееся промакивающим прикосновением салфетки; сейчас женщина отодвинется, и я скажу...

Втайне от Гольцмана я полночи запоминал фотографии и учил имена людей правды, попавших на свет: комиссары госбезопасности, начальники отделов, руководители главков и управлений, резиденты — им давно полагалось умереть, но они жили волей какой-то высшей необходимости. Написав в царствование Никиты Хрущева на исходе десятилетних тюремных сроков «за пособничество Берии» бумажные мольбы Инстанции дозволить с учетом прежних заслуг (мы все-таки ликвидировали Троцкого... а создание атомной бомбы?) встретить дома вплотную приблизившуюся смерть, с приложением истории неизлечимых, дожевывающих их болезней в полторы страницы машинописного текста через один интервал, копии анализов и кардиограмм, они вышли. И жили еще полвека другими жизнями, и, избегая «пишущих» и суеты, смотрели с балкона в ожидании прилета сороки или беличьих перепрыжек.

— Пятнадцать минут. Категорически! — И женщина пропала, оставшись за моей спиной. Это ничего. Я никогда не бываю один.

Мастер, безрукий, холмом закутанный в серое одеяло по горло, созерцал апрельский ошалевший лес; наползающие друг на друга синеватые губы, похожие на дождевых червей, улыбались.

Я тоже обернулся на деревья, не заметил там ничего, может, какие-то тени? Поблуждал взглядом: раздавленные, мясистые уши в мшистой седой поросли, избитая пожеванная кожа, синие жилки в пористом носу, прогалы в желтых зубах... Узнать в мастере кого-то сразу оказалось делом безнадежным (*хоть бы звание пробить?*), надеюсь, мне засчитают только чистое время. Он улыбался. Кричать или не кричать? — я сделал громкость на «умеренно»:

— Константин Уманский. Вы? лично? его видели?

— Один раз. Зашел к Берии, у него сидит... Только вернулся из Америки. После Перл-Харбора, — он заговорил с щеголеватой отчетливостью, не повернув ко мне головы, упиваясь подзабытым ощущением собственной силы, приготовившись вылепить из меня нужную фигурку для закрепления нужных очертаний прошлого. (*Уже соврал, Уманский вернулся из Америки задолго до нападения японцев... Кто же?*) — Советовал: распустите Коминтерн... И не давить церковь. Тогда американцы помогут. Мы выполнили.

Сейчас ты запнешься.

— Он работал на НКВД?

Но без помехи играла записанная в студии музыка:

— Еще со времен работы в телеграфном агентстве. Американцы расшифровали... «Венона» — слышали про такую? Там Уманский «Редактор». (*Ну нет, американцам действительно удалось расшифровать тысячи сообщений разведки ГРУ, военно-морской разведки и письма НКВД, операция «Венона», но начали они свою убийственную работу, когда Уманский два года уже лежал неплотом на Новодевичьем! За что при жизни Костю считали генералом НКВД?*) Не дипломат в обычном смысле... И отозвали, чтоб он не раздражал... Использовали в сложных зондажах. Много заслуг. Установление конф-фиденциальных... с Гарри Гопкинсом. (*Так и Литвинов...*) Беседы с Хиссом (*так и Литвинов!*), — мастер с некоторым удо-

вольствием шевельнулся. — Хисса... в конце сороковых... в связях с нами. *(Так кого только не обвиняли в связях с советской разведкой в конце американских сороковых! Да кто ж ты?! Барковский? Павлов? Мукасей-«Зефир»?!)* Работал по чехам... С Бенешем. Но самую большую... в Мексике. После Тегерана... мы вдруг... мировая держава! А Мексика — это мостик в Латинскую Америку. Все деньги... через него... Колоссальная самостоятельность... в привлечении резидентуры... Часто наведывался в Штаты... Постоянно унижал Громыко. Просто издевался над ним. — Вдруг он замолчал, словно осознав, что говорил слишком быстро и не заполнил целиком отведенное время. И я тоже растерялся, и чтоб заполнить опасную тишину:

— Как он погиб?

— Самолет взорвался на взлете. Авиа... — потрудней ему стало говорить, — катастро...

— Резидентуру в Мексике возглавлял Василевский. Мне говорили, он большой специалист по диверсиям... И после гибели Уманского его сразу отозвали и повысили. Начальником военно-технической разведки...

— Хэх, как вы... Не он. Лев запрашивал разрешение... лететь с Уманским... Тем же самолетом. Ему отказали... — Слегка удивленно, но, стараясь не снизить монотонного темпа, старик разъяснял будущему. — В Мексике Лев работал неудачно: американцы его вычислили. Отвечал за освобождение Меркадера... Что Троцкого ликвидировал... Провалил! Нужно было в очень короткое время дать очень большую... взятку чиновнику... сидевшему на помилованиях... Время упустили. А местным боевикам Лев не поверил... А из Штатов пришла мощная телега о его разгуле... А из Мексики... совпало... телега от Дашкевича... что Лев... с какими-то бабами, — мастер неодобрительно прижмурился и сглотнул. — Привык... на широкую ногу еще в Париже — автомобили, особняки... И в этом они с Уманским... полное

понимание. Дружили. В личных отчетах Меркулову... друг друга хвалили.

— Кто это — Дашкевич?

Я взглянул на мастера безобидно, но он молчал вглухую.

— Вы встречали потом Василевского? Он вспоминал Уманского?

— Ну, пил он в людных местах. Не скрывался... Вообще Лев хвастливый был. Но аккуратный. Закрытый... Смерть Уманского вспоминал.

— Почему?

— Любил вспомнить. И все. — Мастер натужно повернул голову и попытался взглянуть куда-то поверх меня. В спину ткнула маленькая жесткая ладошка: вышло время.

— Что вы знаете про обстоятельства смерти дочери Уманского? — быстро проговорил я и поднялся уходить, понуждаемый змеиным шипением в ухо. Старик, увядая, засыпая, прошептал еще менее внятно:

— Да, да... Генерального прокуро... Бочкова сняли... Хотел замя... шахуринское дело... скомпрометировано... огромное количество... — и он заснул; просто сползлись и склеились распухшие веки.

— Что такого *особенного*? Ну — дети. Несчастливая любовь! — прокричал я, выдавливаемый с балкона челядью под бухтение «да что же это такое! вон как вы его довели! мы же договаривались!» — Извините, я не слышал! Можете повторить?! — Меня выводили другим путем мимо бронзового бюста посреди гостиной, мимо лосиных рогов, мимо «выпьете чаю?» Сырая, черная тропинка довела до ворот, я сел в машину и достал запищавший телефон. Гольцман.

— Да. Только что вышел. Что-то есть, упомянул Дашкевича. — Я заорал: — Я ничего не понял, я не понял, где он врал!

Не заметал ли он за Василевским следы и дело только в этом? И лишь выбравшись на Рублевку, отъехав,

поостыв, я разобрал, что старик попытался просипеть мне в ответ:

«Любовь ни при чем».

А что же?!

Лев Василевский, полковник, сверстник Уманского, резидент в Париже, командир диверсионной группы в Испании, руководил нелегалами, просвечивающими атомный проект США в образе первого секретаря посольства Л.П.Тарасова. По стечению счастливых обстоятельств он избег расстрела и тюрьмы: одного из лучших исполнителей Империи всего лишь исключили из партии «за связь с Берией». После реабилитации сделался литератором, автором полусотни книг и, в ряду других, перевел любимую книгу моего детства «Одиссея капитана Блада» (в соавторстве с Горским, резидентом в Лондоне); я, украсившись сединой, из книги не помню почти ничего: побег из тюрьмы, абордаж, штурм форта, прекрасная пленница.

Почему после тюрем, срывания погон за «серьезные нарушения социалистической законности» и «дискредитацию себя за время работы в органах», после хрущевских безумных сокращений, ненавидимых всеми родами войск, подземные гвардейцы императора тихими подводными чудовищами скользнули в сценарии кинолент. «Рассказы о Ленине», редакторство в «Международной книге», перевод авантюрных романов? Неужели черные и серые полянки клавишей печатных машинок оказались единственной землей, достойной их умения влезать в чужое обличье, их горьковатого знания особенности своего одинокого пути, навыка нахождения тайных пружин, таланта внушать людям то, что они *обязаны* запомнить по свободной воле? Никто не знает.

Я отбросил телефон и вдруг сквозь сосны, березы, обочины увидел убегающую тень — Дашкевич, Дашкевич! И моя башка загудела, как трансформаторный шкаф, — так вот он кто, Дашкевич, ветхая, упрямая ско-

тина на неясной должности в «Иностранной литературе»; то-то он испугался, когда я позвонил! Я шел, я бежал подземным переходом, с суровым недоверием вглядываясь в нищих, я томился в очереди в «Домодедово» на паспортный контроль и, повинувшись пограничнику, снял бейсболку с надписью «Российский футбольный союз» для лучшего сличения морды с паспортным фото, я катил в вонючем поезде на Луганск, припоминая радость угадывания приближающихся станций. Подкарауливание километровых столбиков, жадное вглядывание в чужую жизнь и мгновенное ее забвение — и я замер у магазинной витрины: сердце куриное, язык свиной, сердце утиное, филе грудки цыпленка, — разглядывал продающуюся рыбу, камбала похожа на грелку.. Завтра же брат Дашкевича. Брат в полдень, на рабочем месте, как только дотелепается до кабинета; несколько прямых вопросов, зажать в углу и запугать, чтоб забоялся сдохнуть без «скорой»... Я разглядел под носом «Музей авиации и космонавтики», заставил работать всех: кассира продать билет, гардеробщика проснуться и принять куртку, хранителя открывать залы и включать свет. Из подшивок вынимались давно известные следствию вырезки про Шахурина, я напряженно прочел «Ломоносов — изобретатель первого вертолета» и покосился на низкорослую куклу космонавта в кресле, страшно похожую на мертвого фараона, и, наконец, Гольцман позвонил:

— Твое предположение подтвердилось. Август 1944-го, журнал «Харперс мэгэзин», «Советские ухаживания за Латинской Америкой». Читаю: «Отделение Телеграфного агентства Советского Союза в Мехико, имеющее колоссальный штат, возглавляет Юрий Дашкевич, пятнадцать лет своей журналистской деятельности находящийся в контакте с секретными агентами ОГПУ в разных странах». Это он.

Утром мне нужен его адрес. Кто прописан. Соседи. Поставить одного человека возле дома, и пусть ведет до

редакции – там я встречу. В июле я сорвал и кусал одуванчиковый стебель, вспоминая забытые запахи жизни, и с удивлением обнаружил в середине его желтых густых лепестков еще какие-то пушистые закрученные вихры. (Похоже было на то, словно поднялся ветер, он шумел, как штормовое море, словно я жил в доме на берегу, и ветер врвался в окно, и море шумело громче), чуть затихал и обрывался резко совсем, а потом вспоминал и врвался ко мне опять, забрасывая на стены желтые квадраты автомобильного света – плотный, ледяной шум. Только это все равно не море. Если выйти на крыльцо, не будет запахов водорослей и соленой воды, зелени и тепла, они есть даже в самой холодной южной ночи, нет черноморской неправдивости жизни, когда все слишком ненадолго. Настолько, что бессмысленно запоминать названия улиц и имя-отчество старушки, торгующей творогом по утрам.

Теперь надо... Больше я ненавижу только бриться и стоять в очереди за билетом на одну поездку первого числа каждого месяца.

– Я так рада, что ты позвонил.

– Алена, у тебя завтра утром, кажется, будет работа. Между десятью и двенадцатью. Возьми удостоверение центра социальной помощи.

– Опять пожилой? Мне так надоело... Почему они ничего не помнят?

Скоро я не лягу, меня не отпустят; ничего даром! Я слез с дивана, беззвучно матерясь:

– После убийства Уманской прошло пятьдесят шесть лет. Я в сорок лет не помню, что было в двадцать, что говорили друзья после футбола. Они ничего не говорили! Слова умирают. Память вымирает. Хотя, к сожалению, не до конца. Тогда что мы можем требовать от стариков? Мы-то знаем, чем кончилось у Шахурина и Уманской, а они не знали... И не обратили внимания. Ничего, пусть хоть врут – все пойдет в дело!

Беда, что никто не видел детей мертвыми. Как лежали? Положение тел...

— Хочешь, я приеду? Приготовлю что-нибудь поесть. Хоть раз поужинаешь по-человечески...

Одно и то же, заунывный скрип засохшей древесины...

— Да нет, я уже поел. Лучше так приезжай.

— Я не в твоём вкусе.

— Нет у меня никакого вкуса. Когда любишь, разве смотришь на волосы, глаза, руки?

Мой вкус: высокие, толстожопые, с маленькой, гладко зачесанной головкой. Огромная грудь, короткая шея. И черные сапоги чуть ниже колена на среднем каблучке.

Она перешла, наверное, на балкон, подальше от спящего мужа, от ребенка, взяла сигарету — будет курить и глядеть на автодвижение по Фрунзенской! Ей не хочется спать, происходит самое главное в жизни, ради чего она дышит, — она вздохнула, радуясь своей силе:

— Я так не могу. Я не хочу стать просто очередной.

Я нашел пульт от телека и зажег пятую кнопку: ЦСКА — «Сатурн», в записи, середина второго тайма, уже 1:0, Русев на шестой минуте, ненавижу Русева, такой тупорылый, не понимаю, зачем такую дубину Ярцев брал в сборную... В «Сатурне» только один нормальный — Быстров. Ну, Есипов.

— Да нету никого больше. Ты же знаешь, что я кроме тебя никого не люблю, — я пересел к компьютеру, дощелкав мышкой до «Частные фотографии. Только для взрослых», «Хочу анальный секс. 1 час — 600 рублей», «Тетьа трахается с племянником. 150 фото и 25 минут видео».

Ее голос подтаял, намок, она шептала, наверное, зажмурившись:

— Хотя мне стало больно видеть какие-то вещи, которые, как я внушаю себе, должны оставлять меня равнодушными. Я терплю ежесекундную боль...

Я прошелся по именам: голая Лилия жрала какой-то паштет из одноразового корытца, выставив складчатый бок. Тощая рыжая Елена прижала к отсутствующей груди медвежонка. Дебильномордая Кристина намазала себе толстые круглые груди плотной пеной, напоминающей крем для бритья.

— Мне даже больше твои намерения. А не тогда, когда я о ком-то узнаю... А я все всегда узнаю о твоих... Ты думаешь, они молчат? Но ничто не мешает мне сделать то небольшое, что в моих силах, для одной твоей улыбки, свободной минуты, спокойного дня... Ты молчишь. Ты не веришь...

Света делала вид, что потягивает компот из белой чашки, а свободную руку запустила в расстегнутые шорты. Катя села белым дном на детские качели и растопырила ноги, показывая отсутствие трусов. «Влажные киски. Видео».

— Алена, я так мало могу тебе дать. Но я хочу тебе сказать, когда я думаю про тебя, ничего не страшно. Как хорошо, что ты есть на земле.

Алена рассмеялась, словно сдерживая слезы:

— Ну что ты, глупый... Ты дал мне весь мир. Ты лучшее, что у меня есть, даже если тебя у меня нет. Не надо ничего взамен.

«Я трахаюсь. А ты? Жми здесь!» Анжела. Ну вот хоть что-то.

Имя: Анжела. Город: Санкт-Петербург. Число фотографий: 16.

Фото 1. Сидит на гостиничной кровати, жилистые ладони расстегнули брюки, на пальце кольцо, впалый живот, видны ребра. Светлые волосы по плечам, рубашка спущена. Черный бюстгальтер с бантиком между чашек.

— Я так хочу, чтобы ты была счастлива.

Фото 2. Пересела боком, расстегнула бюстгальтер, за одну грудь держится рукой. Бледная нечистая морда, толстоносая. Хронический гайморит.

Фото 3. Обе груди повисли, куда-то спрятала бюстгальтер. Грудь небольшая, но, видно, плотная. Левый глаз либо распух, либо косит. Как-то пьяно смотрит. Рот не закрывается.

— Са-ша, — Алена выдохнула и помолчала, плачуще вздыхая, — ми-лый! Я же вижу — ты просто ищешь любовь. Кто-то обидел, напугал тебя очень давно, и ты решил, что любви нет. Но она есть. Я живу ею, дышу. Пойми, даже если на всем свете только один человек, который тебя любит, как я, до конца, то это уже огромное счастье. А я тебя люблю так... Я запираюсь в ванной, включаю воду и плачу от счастья, что ты есть. От боли, что не могу быть все время рядом... — Что ты молчишь? Тебе тяжело, родной. Я знаю, тебе так тяжело... Столько ты несешь в себе...

Фото 7. Снова натянула штаны. Только пальцем вытаскивала показать из-за пояса кружевную резинку трусов.

— Ты боишься привязанностей потому, что боишься расставаний, этой маленькой смерти. Но, милый мой, мы живем здесь, сейчас, и все, что мы чувствуем, — это настоящее. Только от нас зависит, сколько проживет любовь. Я буду любить тебя всегда, пока дышу. Даже если больше не позвонишь и не позовешь. И забудешь, как звали. Я буду тебе сниться. Буду оберегать тебя. Стану травой под твоими ногами. Устал ты от меня?

Фото 9. Села, выпрямилась, расставила ноги, показывая трусы, черные кружева. Красивая грудь.

Фото 10. Опять легла на бок и схватилась за груди. Осталось шесть фото. Так трусов и не снимет!

— Что ты... Ты единственная женщина, которую я хочу видеть рядом с собой каждый день, всегда и слышать каждое мгновенье... Но, я боюсь, дома там тебя потеряли... Беги спать, малыш...

Фото 11. Наконец! Задрала скрещенные ноги и, прямо уставившись в объектив, потянула вверх за веревочки и шнурочки трусы.

– Спокойной ночи, любимый.

Фото 12. Свалилась на бок, ноги зажали лобок, незагоревший лоскут внизу живота.

– Спокойной ночи, любимая...

– ...Почему ты не кладешь трубку?

– Ты первая.

– Нет, ты!

Фото 14. Завалилась назад, выставила пузо, хвалится криво выбритой дорожкой светлых волос. Ноги сомкнуты.

– Лучше ты.

– Хорошо. Давай я считаю до трех и кладем одновременно! Раз.

Фото 15. То же самое, только крупнее.

– Два. Три.

Фото 16. Упала, ну вот, навзничь, груди обмякли и расплылись в стороны, меж худых ляжек расклеились пирожком, слойкой натертые, мясистые, мягкие, припухшие... Я положил трубку, дождались гудков. Все...

Соня

Пока волки, по брюхо проваливаясь в снег, гнали к оврагу старого, изнемогающего Дашкевича, нашлось время посмотреть в окно, заметить, как сам собой собирается в щепотки тополиный пух на столе, и я заново почуял тревогу и даже страх: уже давно, с первых месяцев нашего пути, на ночевках, перед сном мне постоянно казалось: что-то еще. Обстоятельства гибели влюбленных подростков на Большом Каменном мосту 3 июня 1943 года скрывали что-то еще: темное, большое, каменное, что делало невозможным наше движение кратчайшим путем. Я успокаивал себя: там ничего нет, всего лишь «другое время» или «другие люди» – вещи, естественным образом не преодолимые...

Но подступали светлые июньские ночи, и невольно предчувствие ужаса возникло опять: *что-то* нас ждет там еще — я заставлял себя подняться с постели, пройти вперед по черному коридору, выставив подрагивающую руку в пустоту, и шарить: что? Это что-то не связано с личностью убийцы. Что-то рядом. Эту красивую историю неспроста никто не хотел вспоминать, ни один человек не согласился помочь, никто не говорил прямо. Что ж там еще?

В лучшем случае, бормотал я, промывая черешню в синей миске, это «что-то еще» — нить. Нам все равно пришлось бы потянуть за нитку, нанизавшую на себя все эти бусы, связавшую всех, и установить, чем причастен Филарет, строитель Большого Каменного моста, к взрыву самолета посла, направлявшегося из Мексики в Коста-Рику, — без нити Инстанция не согласует наше возвращение.

Но ночью, с омерзением вслушиваясь в спускающееся комариное нытье, я чуял: нет. *Это* — другое. Нас ждет что-то еще. Еще какие-то кости, придется нам долго идти, пока мы доделаем работу.

Я пытался не пропустить первый шорох, это «что-то еще» себя обязательно выдаст, попытавшись нас пожрать.

Соломон Сандлер, заместитель наркома авиапромышленности по тылу, разглядел в полувековой дали новгородный праздник и бледную девочку Таню — не танцевала, стояла в стороне. Помнится, Шахурин имел незаконнорожденную дочь, но по адресным базам Министерства внутренних дел Российской Федерации Татьяны Шахуриной не существовало.

Сандлер еще вспомнил: после тюрьмы Шахурин написал бумагу о своих ступеньках в ад. Все, кто читал, заливались слезами. Бумагу забрали братья. Пять братьев.

— Может быть, Соня, — шептал я. — Софья Мироновна Шахуринна, урожденная Лурье. Про Софью Мироновну все как-то плохо вспоминают...

— Вот и я плохо. — Девяностопятилетний Сандлер едва ли видел меня, он сросся с креслом. — Пользовалась своим положением. Собрала вокруг далеких от авиации людей — артистов! Брата директором завода на Урал пристроила, другого брата — директором треста в Москве. И одевалась пышно. Поразила нарядом на банкете в честь Победы...

Я увидел на столе очередного железного человека магнитофон. Неужели диктует мемуары?

— Я уже не могу читать. Поэтому мне приносят из все-российского общества слепых кассеты с записями классической литературы, я слушаю на аппарате.

Братьев Шахуринных нам досталось двое: Виктор и Сергей.

Сергей Иванович выглядел идеальной жертвой: младший в семье (не маразматик), преподает в Московском авиационном институте (не было), жил в семье наркома в момент трагедии (всему свидетель). Он снял трубку телефона в квартире на Патриарших прудах и услышал: его просят о встрече, есть основания предполагать, что Володя Шахурин не виноват в гибели Уманской, мы готовы содействовать утверждению исторической справедливости.

Я подождал, пока обрушатся пятьдесят прожитых лет, обнажив *тот самый день*, я дал ему обрадоваться, я изготавился наблюдать, как сила скрытой боли, гнет невысказанного *душу сейчас разорвет*, лопнет брюхо, но младший брат вдруг отдышливо прошелестел:

— А вы читали «Крылья победы»? Хорошо, что Алексея Ивановича помнят. Вы можете оставить свой телефон? Посоветуюсь с братом и перезвоню.

И не позвонил. Я не понял, что могло не срастись? — и через месяц заново набрал семь цифр. Он узнал, помнил, еще раз записал телефон.

— А вы читали книгу Алексея Ивановича? Там все написано. Вы сходите еще в Музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, там все есть, и встреча будет не нужна. Я плохо себя чувствую.

Софья Мироновна? Володя? Рукописи наркома? Любил ли он сына? Видели вы Нину у себя дома?

Младший брат больше не слышал, брезгливо заныли телефонные гудки, и я вдруг понял, что *там* от моего шороха почему-то шевельнулась, поползла и рухнула ледяная лавина, — братья, как гномы, затаились в своих норах, проглотив ключи от горы, надеясь сдохнуть скорее, чем мы их выковырнем. Молчать, молчание спасет, как спасало многих в имперские годы.

— Значит, убил все-таки Володя. И они это знают точно. Просто не хотят еще раз ворошить все это... — Секретарша в белой блузке оказалась рядом, проявляя способность к очевидным выводам.

Девочка просто не представляла, как наши предшественники умели пугать.

Через пятьдесят дней (в середине августа) младшему Шахурину позвонил девичий голос из «Московского комсомольца» — семнадцатилетний запинаящийся ангел. Все льют грязь на наше прошлое, а ведь наша великая история... герои, как брат ваш... я собираюсь про Алексея Иваныча... на целую полосу... когда мне подъехать, выберем вместе фотографии, а правда, что...

Гном записал ее рабочий и домашний и уполз советовать. Через пару недель девочка аукнула: ну что? Я столько уже успела прочесть про выдающегося организатора оборонной промышленности. Ей посоветовали изучить «Крылья победы» и обязательно сходить в музей на Поклонной горе — там есть все. И еще через пару недель: самочувствие худое, звонить больше не надо.

Прошло полгода, сто восемьдесят дней, и все, должно быть, забылось в однообразии старческих забот и надзо-

ра за учет льгот в квитках за квартплату. С.И.Шахури-ну молодежь крикнула: «Возьми трубку», и он пришаркал, чтоб услышать, что гнусавый, неторопливый аспирант из научно-исследовательского центра истории авиации в городе Жуковском только что закончил диссертацию об уникальном опыте организации перемещения производственных мощностей в Поволжье и Сибирь в 1941 году, — и, как вы понимаете, центральной фигурой моей работы является нарком... как пример высокоэффективного... чей вклад в победу еще недостаточно оценен... и, конечно же, не хотелось допустить каких-то мелких, нелепых неточностей, Сергею Ивановичу, как ученому, это должно быть особенно понятно... и, если бы нашлось десять минут хотя бы навскидку пролистать, хотя бы ключевые моменты... да, домашний телефон у меня есть, и на работе... «Крылья победы» знаю почти наизусть за годы исследований, в музее на Поклонке сфотографировался у стенда с наградами Алексея Ивановича... Так когда я смогу?

Через месяц ему ответили: никогда. Здоровья нет. А то вот дали один раз фото наркома в «Советскую Россию», а там перепутали подписи. Хотя тоже очень просили. Двадцать или тридцать лет назад.

Я подвигал солдатиков, последние приобретения («всадники» пятидесятых, производитель неизвестен, знаменосец, «всадник с шашкой», остался «всадник со знаменем», считается в наборе разных три, я-то числил их какими-то болгарками, смущали папахи, и попервой чуть не продал) — на пальцах остался дух металлической пыли; на вернисаже частый вопрос: почему не собираешь технику — не собираю, хотя мне нравятся корабли; танки из серии «1147—1947» бы купил...

Каста... Возможно, постучать должен свой — летчик-испытатель, писатель-документалист, герой Марк Галлай. Алена принесла с собой коробку конфет, но ей даже не предложили чаю.

«Я слышала, вы хорошо знали Шахурина?» — «Это провокация! Всего лишь крохотное дачное знакомство!» — «А про его сына...» — «Я ничего не знаю!» — «А про...» — «Ничего не помню! Даже не спрашивайте!» — «Как хоть он выглядел? Во что был одет?» — «Ничего не помню. Сам я был в летной форме, а в чем ходили другие, меня не интересовало!».

Алена убедительно заплакала: да что же это такое, никто ничего про героя, наркома, даже братья ни слова молодому поколению, какое-то издевательство, все бегают, словно про вора пытаюсь узнать... «Хорошо, — вскочил Галлай и объявил: — Иду звонить братьям. Они вас примут».

Вернулся и стыдливо развел руками: отказались. Но они всегда были такими. И не спрашивайте почему. До свиданья.

(Соня, хоть что-то, царянки его.) «А все-таки правда, что жена Шахурина летала на ночном бомбардировщике?»

«Жена Шахурина, — процедил Галлай, — была обыкновенная толстая еврейка».

Спустя год агенты установили пожилого племянника братьев, и он пришел на встречу в метро, тупо переспрашивая по телефону накануне: «А как я вас узнаю?» Я вручил ему ласковое письмо и список льстивых, мелочных вопросов: какие песни любил Алексей Иванович? как справлял дни рождения? как относился к футболу? а к хоккею? — ничего же страшного, вы убедите своих дядьев, что ничего страшного, внушал я ему и старался понравиться, специально побрился, а мы вас отблагодарим, это все для святого дела; не хотят встречаться, пусть хоть напишут. Через три недели племянник перезвонил: нет, они не хотят. Почему?! Нет.

Нет. Нет. Никогда.

Хорошо, братьев отложим. Но это ничего не изменит, Соню они не спрячут.

«Я помню все! Жили мы тогда в гостинице до 1931 года, швейцар дядя Яша отворял дверь в кафе-мороженом напротив через Тверскую, общий туалет... — и что за память у меня? Все помню! А как же называлась та гостиница во втором переулке от Моссовета? Отец мой — участник трех революций и комиссар чапаевской дивизии. Папа хорошо знал Ленина и посетил его после ранения с делегацией питерских рабочих и вручил первый портрет Карла Маркса, написанный художником-самоучкой. Поэтому в кабинет Ленина в музее семья наша ходила по пропуску, а как же называлась та гостиница?

Софья Мироновна... Она приходила в кремлевку, когда я там лежала, и приносила шоколад. Кому? Ну не мне же! В ком-то она была заинтересована. Гостиница, название такое... Мальчишка Шахурин остался жив, и отец спас его от суда — это я точно помню. Не так? Не надо обманывать! Нина Уманская? Была очень холеная. И дочка Кобулова была очень холеная, такие шубки... И Цурко... Но про них даже говорить не хочу — все врут. Мой муж Бичико служил в органах, дед его — отец Сталина, свадьбу играли в Заречье, я в зеленом платье из американской помощи — память у меня просто великолепная, а в музее все врут! И пусть врут».

«Папу часто вызывали петь в Кремль, иногда даже без аккомпаниатора, с одними нотами. Там он очень страдал из-за того, что не пил. В центральном госпитале после концерта всем раздали по огромному фужеру со спиртом и объявили тост: «За Родину! За Сталина!» Мама открыла дверь, папа сделал шаг, сказал: «Мне плохо» — и упал.

Я была пухлым ребенком, и Шахуриным нравилось смотреть, как я танцую.

Наши родители познакомились еще до войны на каком-то кремлевском приеме. Матери сошлись поближе в эвакуации в Куйбышеве. Но не подружись. Мама не признавала подруг, не любила навещать

приятельниц — отец терпеть не мог оставаться дома один. Поэтому со всеми — только поверхностные светские отношения.

Софья Мироновна одевалась вызывающе ярко, имела тонкие ноги, некрасивую фигуру и умела найти подход к любому человеку... Она помогала продуктами своим многочисленным родственникам, но не допускала их в свой салон, куда заходили Михоэлс, Ливанов, Козловский... Ее многие не любили за вызывающее поведение. Сталин на каком-то приеме спросил: кто эта фурия?.. Когда все случилось, я в Большом театре слушала «Травиату». Родители дома в тот вечер молчали, но выглядели озабоченными. Меня взяли к Шахуриным на квартиру проститься, мертвого Володю я не помню. Софья Мироновна вся желтого цвета, но вела себя сдержанно. Она считала, что у сына выдающиеся способности, и постоянным поклонением Володю... немного испортила. Рассказывали: на уроке он ни с того ни с сего ударил по лицу одноклассницу...»

«Софья Мироновна — ключевой человек в этой семье. Любопытная, властная, сильная, политически активная. Играла роль советника при муже, не желала ограничивать свои владения кухней. В одежде равнялась на жену Молотова — Жемчужина смущала дачных гостей просвечивающимся насквозь капроновым халатом и кончила известно чем».

«Обыкновенная местечковая еврейка с тонким носом! Бряцала на пианино, изображала важную даму, рассуждала о политике. Хвалилась своей близостью к Жемчужиной и, по-видимому, брала с нее пример» (*Полина Семеновна Жемчужина — бывшая работница табачной фабрики, не походила на образцовых жен императорских наркомов — домоседок, провинциалок, — управляла трестом «Товары для женщин», наркоматом рыбной промышленности — ее, единственную из женщин, допускали в ложу императора в театре*).

«Шахурина не соответствовала правилам времени. Появлялась в серьгах с брильянтами, сама водила четырехместный «кадиллак». То, что позволялось артисткам, считалось непозволительным для наркомовских жен — лишних денег не было, вернее показывать их нельзя».

«Почему-то она тянулась к Вере, жене секретаря московского горкома Щербакова. Своего сына Вера растила в советской простоте — он плавал кочегаром и масленщиком на пароходе, учился в военно-морской школе. Она с удивлением слушала рассказы Софьи Мироновны про необыкновенную одаренность Володи — мальчика растили как барина, преподавательницы приходили к нему на дом. Когда он пожелал в эвакуации учить испанский (английский, немецкий из школьной программы не подошел), Шахурина весь Куйбышев перевернула в поисках испанца! Всем уши прожужжала про необыкновенного сына. А ведь была омерзительная история, когда он ударил девочку на уроке, слышали про нее? Ударил просто так».

Родители С.М.Шахуриной съехались последний раз на Новодевичьем: к умершему в девяносто два года Мирону Ионовичу Лурье (лесопромышленник, служащий) подвезли с Дорогомиловского еврейского кладбища Лурье Елену Абрамовну, урожденную Березину, и еще шесть персон.

Я воткнул в песок саперную лопатку.

— Отец Софьи Мироновны — из брянских лесоторговцев. Дед по матери — Абрам Ильич — работал десятником на лесозаготовках. Я двоюродная сестра Софьи Мироновны, наши матери — родные сестры.

Мать моя так хотела учиться, что пробилась на выгучку к равнине, хотя евреи учат только мальчиков. В двенадцать лет ушла из дому учиться дальше, устроилась в школе уборщицей, жила в комнате с крысами, но училась, выбрали комсоргом, а в шестнадцать лет вышла за

двадцатипятилетнего Иосифа Абрамовича, прошедшего Гражданскую войну. Папа работал в НИИ гражданского флота, оттуда его и арестовали. Мама встала на осуждающем собрании: за мужа я ручаюсь! — и назавтра исчезла сама. Им дали по десять лет.

Остались мы, две сестры, семь и десять лет, с дедом и старой нянькой.

Нас никто не брал, все боялись. Шахуриных словно не существовало.

Осмелилась самая непутевая из сестер — Розалия по прозвищу Босячка, с загубленной судьбой: воевала в Гражданскую медсестрой, вышла замуж за телеграфиста, родила двойню — двойня умерла, вот она и забрала нас, поставила кровати в свою комнату-кишку длиной двенадцать метров, где у окна сидел шизофреник-муж и повторял: «Тише... слышите? за мной идут!»

Мама выросла в лагере в начальника планового отдела и боролась за повышение производительности труда заключенных, передала через удивленного ее успехами ревизора умную жалобу наверх и попала в негустую волну довоенных реабилитаций. Но сперва в конце тридцать девятого после двух инфарктов вернулся отец, а потом уже мама. Всю жизнь ей снился шестнадцатилетний мальчик-заключенный, внезапно запевший на работе «Ночь светла за рекой», — часовой убил его первым выстрелом.

Алексей Иванович Шахурин не любил ее воспоминаний, посмеивался: «Что? Никак забыть не можешь?»

Родители никогда при нас не вспоминали лагерь. Когда я обняла после разлуки отца, стало страшно: внутри у него при дыхании что-то сипело, гукало и свистело, словно там сворачивались и разворачивались меха испорченного баяна.

Вот тогда в нашей жизни возникли Соня и Леша Шахурины. Они притащили кремлевское медицинское светило Мирона Вовси, тот осмотрел отца и сказал: ему

нечем жить. Отец прожил еще четыре года на первом этаже в доме на Патриарших прудах, очень страдал, что каждый день видит на окнах решетки, и умер — добил четвертый инфаркт.

Софья Мироновна работала в швейном главке. Тоненькая была, но после родов располнела и полнела дальше еще...

— Нэлли Иосифовна, говорят, она всех раздражала своей внешностью... Мало хорошего говорят.

Тихая женщина взглянула с неожиданной твердостью:

— Нельзя осуждать ее за яркость! Вот такая она была. А почему должна таиться красивая женщина? Прятаться, бояться? Она старалась жить естественно и откровенно. А наряжались тогда все. Марфа Пешкова носила мерлушковые серые шубки. И Поскребышева — роскошные шубки. А Ашхен Лазаревна Микоян разве скромно одевалась? Просто у женщин сильна зависть...

Володя — необыкновенный мальчишка, не могу представить его взрослым. Легко учил языки, в Куйбышеве подходил к эвакуированным дипломатам, чтоб поупражняться в английском. Навестил в госпитале знаменитого Рубена Ибаррури — тот лечил раненую руку — и услышал от него песни испанских цыган. Сразу загорелся: учить испанский! Купил словарь и каждый день выписывал по сто слов и требовал, чтобы Нэл (он называл меня Нэл) проверяла, и я проверяла как каторжная.

Когда волновался, он заикался.

Нина Уманская — самая обыкновенная. Да еще в очках! Пепельные волосы. Но Володе очень нравилось, что она прекрасно знает язык.

В *тот* вечер позвонила домработница Дуся: с Володей беда, он в Первой градской. Мы с мамой выскочили на Садовое, раскинув руки поперек дороги, остановили троллейбус и на нем поехали в больницу.

На высокой кровати в пустой палате лежал Володя. На голове толстой шапкой были намотаны бинты. Он дышал. Врачи сказали, что если долго не придет в сознание — конец. Тут же черный Шахурин и обезумевшая Софья Мироновна. Страшно переживали, хотя в тех семьях и в те времена не открывали души. Никто не говорил: я люблю тебя.

Потом Володя лежал в гробу, и мне казалось — сейчас он встанет и скажет: здорово я над вами пошутил?

После ареста Алексея Ивановича Софья Мироновна поселилась у бездетного брата Ионы на Чистых прудах. Собирала передачи, а брат Алексея Ивановича Сергей — так вы звонили ему? — носил.

Вернулся седой, довольно крепкий на вид.

Мама первым делом задиристо спросила: «Ну что, Леша, а теперь ты — сможешь когда-нибудь *это* забыть?»

Две темы он не затрагивал никогда: сын и тюрьма. Лишь однажды, когда пришел навестить племянницу в инфекционном отделении кунцевской больницы и увидел квадратное, словно тюремное, окошко для передачи пищи и лекарств в двери бокса, вдруг так простонал: «Не могу это видеть...»

Тот, кто все видел

Не мог уснуть. Думал про Дашкевича. Думал про Уманского. Что я должен спросить. Не надо сразу пугать. Плохая ночь. Сразу вспоминаются ночи похуже. В том, что Эренбург написал о Константине Уманском (сгоряча мы пронеслись), — два неясных места. Уманский, страдая, пожертвовал счастьем любви ради спокойствия Нины, остался в семье. Но почему Эренбург спустя двадцать лет не назвал эту тайную любовь? Кто она? А вдруг и она была несвободна... Да еще член партийной организации и общественница... Хоть что-то Эренбург мог ска-

зять, например, «влюбился без ума в удивительную зеленоглазую девушку, познакомившись с ней совершенно случайно в летнем кафе театра имени Вахтангова, с артистами которого водил дружбу...». Но – не оставил зацепок.

И второе. Несчастный Костя напоминает Эренбургу из Мексики: вы давали мне верный совет, да я не воспользовался им – увы... Получается, совет мог спасти девочку от пули. Но Эренбург восклицает (если не врет): что же я советовал?

Не помню! Нас это не должно остановить...

Не получилось. До полудня Дашкевич не вышел из своего дома на Верхней Первомайской. В редакции «Иностранной литературы» наш агент установил: старик позвонил и отпросился. Плохое самочувствие.

Я собрался и полетел доказывать неотвратимость судьбы.

Боря в новых очках неизменно дешевого вида гулял по Верхней Первомайской в форме майора милиции, вживаясь в роль участкового, и пугал старушек, торгующих пучками морковки и зеленью, между нашими встречами проходило время, каждый раз он приглашал меня на день рождения.

– Как я рад, что тебя вижу. Хоть какое-то творчество и свобода, – замогильно начал Боря. – Хотя в конторе меня ценят. Предлагают генеральскую должность в Сочи. А вот у меня, кстати, день рождения. Полтинник! Завтра собираю друзей демократов-жидо-масонов, послезавтра друзей патриотов-коммунофашистов. Я себя чувствую на тридцать четыре года. Стометровку бегаю за десять секунд. Мышцы у меня упругие, жира нет. Женщину могу удовлетворить четыре раза. Сегодня пробовал. И вообще я счастлив, – закончил он со странными посторонними звуками в горле, словно подавляя рыдание.

— Дедушка не выходил. На этаже наш человек занимается исправлением лифта. Алена приехала, из машины не выходит. Меня послала матом. Кажется, поплакивает.

Я выдохнул вонючий воздух и скорым шагом подскокил к подъезду, набрал код, сверяясь с бумажным листком, и распахнул запищавшую дверь:

— Мы заходим, — вылезай из машины, тварь!

Алена открыла дверцу, отрицательно мотнула головой и крикнула что-то неясное, сквозь проезжающий автомобильный гул, типа: подойди, я не смогу. Надо.

— Что надо?! — заорал я.

— Поговорим!

— После поговорим!

Она выбралась из машины, отвернулась и нахохлилась: обними, пожалей.

— У тебя что, менструация?! — прошипел я, вцепился в нее и за руку поволок в подъезд, внутрь, на засыпанный рекламными листовками кафель, мимо ошарашенных хозяев пуделей и колясочных молодых матерей. Она хваталась за почтовые ящики и причитала сквозь забитую соплями глотку:

— Почему ты не можешь со мной поговорить? Почему я не могу знать правду? Я тебе по барабану, скажи? Скажи: ты мне по барабану! Тебе все равно, что со мной?! Я сейчас уеду.

— Алена, хватит, ладно? Шестой этаж. Шестьдесят девятая квартира. Юрий Дашкевич. Ты из центра социального обслуживания, не забыла документы? Что-нибудь про льготные лекарства, талоны на бесплатную стрижку, минут на...

— Зачем мы это делаем?! — Ноги ее подламывались, нечего таскаться на таких каблуках, так бы и вмазал по этой размалеванной морде! — Ты никогда ничего не объясняешь прямо... Я для тебя *никто*!

— Потом поговорим, не сейчас! Попьете чаю, пятнадцать минут, а потом позвонит Миргородский. Твоя зада-

ча — чтобы Дашкевич открыл дверь. Не уходи сразу, чтобы ему было спокойней, скажу, когда можно уходить...

— Я больше так не могу!!!

Я выволок ее на пожарную лестницу, подальше от лифтов.

— Что? Ну что?! Что случилось? — тряс я ее, как трясут березу, чтоб побольше свалилось майских жуков. Она скулила и отводила мои руки. — Ну, хорошо. Все. Прости меня. Просто ночь не спал. Все на нервах, извини. Все, все... Шестой этаж, квартира шестьдесят девять.

— Я не пойду!

— Алена, — я обнял ее и ткнулся губами в душистый, тошнотворный загривок. — Это очень важно для нашего дела. Этот человек может знать, почему взорвался самолет Уманского. Он может знать про Нину. Уманские улетели на следующий день после ее смерти, и все разговоры о том, кто убил, могли вестись только в Мексике. А из Мексики у нас остался один-единственный Дашкевич, все остальные умерли.

— Я не хочу больше.

— И если он бегал от нас, значит, что-то знает. Я тебя прошу.

Она вырвалась и красиво попятилась в обжитой бомжами угол, дежурно оскалясь выбеленными зубами, как скалятся в телесериалах.

— Зачем мы это делаем?

— Мы хотим узнать, кто убил Нину.

— Зачем?

— Вот сейчас, в эту минуту, это имеет хоть какое-то значение?!

— Теперь имеет! На кого мы работаем?

— На Кремль, — и я зажмурился от тоски. Все не вовремя. Надо гулять перед сном, тогда буду засыпать.

Она заткнулась, сделала собачьи глаза и поиграла губами, я осторожно притянул к себе длинное тело и поцеловал щеку, скулу, шею, висок, задержался на губах, шевель-

нующихся в ответ; теплые, из кожзаменителя, промтоварные, они разомкнулись, выпустив язык, противно ткнувшийся мне в десны, я опустил руки на костлявый зад, и она жадно засопела и потерлась о меня передком. Господи, да что ж не трахают их мужья!

— Не обижайся, зайчонок. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Как ты можешь меня бросить... Что останется от моей жизни, если ты уйдешь?

Она лизалась и плющила об меня давно откормившие груди, поднятые вверх галантерейными приспособлениями, — хотел же муж сделать ей силикон, так почему передумал?

— Ты должен знать. Я делаю все это только ради тебя. И мне очень тяжело. Хотела заехать забрать фотографии к тому старику, что с Урала. Дочь кричала: у него после разговора с вами инфаркт. В реанимации... И так плакала. Так называла меня...

— Это совпадение. Девяносто два года. Он и без тебя болел.

— Да. Да. Но ты попросил задать вопросы, неприятные ему. И я спрашивала. Он сразу плохо себя почувствовал и просил: закончим, придете еще. Но я знала: потом он откажется, и спрашивала, спрашивала. Я его заставляла, а он дома один, дочь в магазине. Он остался без защиты. Он не мог убежать.

Я посматривал за ее спину — там ждет Боря, — обманчиво-нескончаемое время шло, слезы высохали.

— Я хочу, чтоб ты знал, что любовь есть, — она ткнула пальчиком мне под ключицу. — Ты очень добрый, ты очень любишь людей, хоть и стараешься этого не показывать. Но я знаю.

— Спасибо тебе. Дашкевич — это очень важно.

— Я пошла, — вытерлась и раскрасилась.

— Он должен открыть нам дверь. Но до этого — хотя бы пятнадцать минут, чтобы он к тебе проникся, чтоб тепло пошло.

— Все будет хорошо.

Я позвонил Боре:

— Она поднимается. Мы начинаем.

Я топтался у лифтов, с фальшивым интересом впивался в доску объявлений, запорошенную самодельной рекламой. В подъезд вошла старуха и повернулась ко мне испуганной спиной, явно предполагая: набросится душить! Следом ввалился Миргородский, утирая преющий под фуражкой чуб:

— Да что она делает, дура?!

— Просто плохое настроение, — я глядел на часы, — я ее успокоил.

— Какое на хрен успокоил?! — завопил Боря. — Мне позвонили: она спускается! Она ножками спускается с шестого этажа! Сейчас будет здесь.

Я же приказал: пятнадцать минут.

Сейчас я что-нибудь придумаю, нельзя упустить; там, в квартире, у нее что-то не получилось, но другого раза мы ждать не будем, возьмем как получится. Ее отпускаем, ее не уговорить, потом порознь выходим на улицу, чтобы долго здесь не светиться, два часа переждем и поднимемся сами.

— Ей открыли дверь, она заходила, — бухтел Боря, — и вышла. Дура! Раскрылась. Вырядилась как проститутка, кто ж поверит, что она социальный работник! Они теперь никого не пустят, все, отбой! Уходим! Они же сейчас вызовут милицию... Да беги же за ней, спроси...

Я догонял Алену, худую спину. Буду ли я жалеть, если ее переедет поездом? нет; будет ли плакать она, если завтра кончусь я? — да, сильно и коротко.

— Ничего страшного. Не переживай. Я виноват. Не продумал сигнал, если пойдет что-то... не по плану. — Она не оборачивалась на мой успокаивающий голос. — Тебя там не обидели? Его нет дома? — И закричал: — Надо было цепляться! Пятнадцать минут! Я же объяснил, что мне это нужно!!!

— Он умер. Полтора часа назад. Я поеду. Моя очередь забирать Сережку из школы. Вечером позвони.

Я обернулся на дом на Верхней Первомайской — ветер донес запах лекарств, усталые причитания. Мы опоздали. Они его подчистили. Дашкевич знал... Я отворачивался, но дом окликал меня, как неслышно окликают нас потерянные вещи. Найти бы эту дверь с табличкой «Место сбора потерянных вещей», где хранится все: наручные часы с гравировкой «От командующего военно-транспортной авиацией», зубило из-под елки в детском саду, двадцать копеек за участие в ремонте дома деда Уколова, оловянная медсестра пятьдесят пятого года выпуска, мамин крестик... Он потерялся, все и началось, не вернуть, но важным кажется узнать, *как* теряются вещи, в какое мгновение; с людьми — с этими ясно, с людьми другой вопрос: куда? Все знают ответ, но спрашивают и спрашивают...

Я никогда не устаю, у меня всегда хорошее настроение, мне нравится много ходить и находиться в поиске, просто приятно посидеть на спиленном тополе посреди дня на зеленой улице. Я следил за парнем серого цвета — тот порхал по верхам крапивы, перехватывая бабочек и подбирая куски с самой земли, — его ждали на кленовой ветке четверо — все толще папы — и разевали рты с писком, как только он возвращался и тыкал добычу в выбранный рот, соблюдая известную лишь ему очередь.

Мы сидели с Борей дождливым днем на автобусной остановке с безмятежным безучастием бродяг, не имеющих денег на проезд. Наконец Миргородский сказал:

— Мы там... в рамках констатации смерти... опросили соседей Дашкевича, родственников. Архива нет. Ничего не вспоминал. Ничего не писал.

— Можно было и не спрашивать.

— На работе кто-то подслушал его разговор с ученым Серго Микояном. Сыном того самого. Микоян просил:

напишите все, что знаете, не носите в себе. Ведь и Абакумова, и Меркулова уже расстреляли. Их больше нет.

— Это ошибка.

— Дашкевич, конечно, не написал. Но — я проверил — Микоян занимается Латинской Америкой. Между прочим, изучал деятельность именно нашего клиента — Кости.

По траве к нам спешил Гольцман, едва не спотыкаясь, молодо покраснев, растрепав на ветру седины. Сейчас скажет: Володя жив, прописан у дочери в Кратове, инженер-путеец на пенсии. Мне начинало казаться: кончится этим — ну, говори...

— Мы нашли свидетеля. Он видел их мертвыми. Он жив.

Оказалось, в «Учительской газете» за 1996 год обнаружился жеваный пересказ любви Шахурина и Уманской с необязательным, бессмысленным до загадочности добавлением: сын наркома соцобеспечения Лев Шабуров видел, как мертвую Нину уносили с места убийства. Точка.

Через двое суток мы нашли телефон, адрес. Шабуров не успел умереть и попытался слабым голосом сообщить следствию, что не помнит ничего, но сдался перед неотвратимостью судьбы. Он долго колебался, где встречаться, не желая вести незнакомца в дом. Во дворе.

Я чистил зубы перед охотой и думал: а почему он должен запомнить этот день? Погоду? Ее волосы? Лицо милиционера? Положение тела? Прошло *пятьдесят девять лет*. Прошла его жизнь. Что я помню, допустим, про первую свою любовь? Да все помню, если тронуть. Но это ж не первая его любовь. И ведь не все живут, запоминая время так, словно намерены вернуться, не понимая, что прошлое не только безвозвратно, но и враждебно. Просто мир, которого больше не существует. Где мы — тень, застывшая на наших поступках, где трава не прогибается под тяжестью наших шагов.

...Он ждал у арки желтоватого дома одиннадцать по Ленинскому проспекту и испуганно смотрел на меня. Аккуратная рубашка, заправленная в наглаженные брюки. Чистые коричневые туфли. Седые волосы зачесаны назад. Выглядит алкоголиком пятидесяти лет. Но просто стар — семьдесят семь.

Где ваша машина? Нет машины. У вас нету машины? Нет машины. Мы увязли. Он попытался спланировать неведомое, так легче, твой план — ты хозяин; в мозгу его еще с вечера зародился и пророс следующий распорядок: сперва он покажет, где удобней припарковаться во дворе, а затем... Но — нет машины, и у него вылетело из головы, что намечено дальше. Я подпихнул его и повел аркой мимо курящих продавщиц магазина «Джипы» и дверей ателье свадебной моды; он обреченно шаркал впереди, я всматривался в затылок в красных трупных пятнах, в дряблые шишковатые руки — когда-нибудь у меня будут такие же.

Вокруг лавочек выгуливали ретриверов, шум Ленинского остался снаружи, газон поливали три одинаково пузатые работницы коммунального хозяйства.

— Как вы меня нашли?

Почему-то всем это интересно. Никто не верит, что когда-то это случится и с ним.

— Я не мог уснуть после разговора с вами (*я звонил в девять вечера*). Вся жизнь стояла перед глазами (*понятное дело, для чего ж мы еще*).

Чтобы дать ему расслабиться — отец, мать? Дрожащим голосом нарисовалась история блондинки, в тридцать восьмом, многозначительном, взлетевшей через Всесоюзный центральный совет профсоюзов и незначительный наркомат до заместителя безжалостного Шкирятова в комиссии партийного контроля. Отец командовал трестом «Сортсемовощ» — в пятьдесят пять лет его забрали в комиссары минометного полка, скончался от ран в Спас-Деминске Калужской области. У утопающего

начали подрагивать руки, он привычно прижал их коленями, его начинало клинить на именах.

Что вы видели своими глазами? Я был не один. Кто-то прибежал: Шахурина и Уманскую убили! *(Он сказал: убили. Значит, никто не видел момента выстрела, значит, первые подбежавшие не увидели у мальчика-самоубийцы в руке того самого «вальтера».)* Все побежали. На мосту стояли люди. И на земле стояли люди. На площадку не пускали никого. Нина лежала лицом вниз *(ты смотрел сверху, с моста)*, прямо на лестнице *(получается, в нее выстрелили, когда она спускалась или пыталась бежать)*, платье сильно задралось, и я подумал: какие у нее толстые ноги. *(Руки его затряслись уже несдержимо.)* На площадке стоял милиционер. В войну под мостом всегда дежурил милиционер... Какие толстые у Нины ноги, помню. Красивая. Еще дочь Петровского красивая была. Цурко красивая девка, раз заходил к ним домой. Самая модная была дочь Смушкевича, командующего ВВС, как же ее звали?

— Роза.

— Точно! О чем я говорил? Эрка Кузнецова, когда узнала, что Шахурин... не выжил, сказала: сволочь, так ему и надо.

— А пистолета у него в руке не нашли, — мимоходом заметил я, словно это было чем-то скучным, маловажным, пустым, выждал достаточное для него подтверждения время, толкнулся и прыгнул в чертову черную дыру вперед ногами. — Они ведь были на мосту не одни. Там же был и третий.

Шабуров устало помолчал, подождал и выдавил, слабо усмехнувшись собственному страху:

— Вы и про это знаете...

— Кто?

Говори! У тебя же в глазах шевелится это имя — копошится! Ты держишь его на языке — жжет! Ты же точно знаешь! Вмазать бы тебе по затылку! Чтобы выплюнул!

Он глотал, сопел, моргал.

И все кончилось. Раковина закрылась и упала на дно, провалившись в песок.

Он понял, что я его обманул.

Мы еще посидели, недовольные друг другом, мне пришла зажужжавшая эсэмэска: «Хочу, чтобы ты мой клитор стер в порошок», Шабуров тревожно шевельнулся:

— Это у вас... не записывает?

Значит, с ними по мосту... шел кто-то третий.

Я коротко разъяснил, что принимается и как стирается, до свидания, но он изо всей силы вцепился в последнего в своей жизни собеседника: у матери был брат в Лысьве, делал на заводе каски и котелки для Первой мировой, приговорили к смерти в пятнадцатом году, в семнадцатом освободили, а в восемнадцатом убили, мать ездила на опознание; книгу она написала — «Женщина большой силы» на английском языке, орден Трудового Красного Знамени у нее, номер 251; мы воровали книги репрессированных в Доме правительства, залезали прямо в грузовик, а боец боялся пальнуть — вдруг сын наркома? В книжке одной так и написано: «Левка Шабуров воровал книги», — он рассмеялся, довольный такой эпитафией. Я рывком оторвал его клешни, и Левка Шабуров с ясным шепотом осел под воду; шелохнувшись, вода сомкнулась над мальчишеской макушкой и разгладилась, стоило мне свернуть в арку.

Облака

Я старался больше не смотреть под ноги. Надо остановиться. Вскрытие начнем поперечным надрезом. Обаятельного посла никто не любил в США. Семья Уманских неспроста очутилась в Москве. Нину убили по какой-то другой причине.

Еще я рисовал облака.

В первом облаке я написал: «Третий на мосту, про него знают, но боятся называть».

В другом написал: «Третий, которого там никто не видел, но многие знают, что он там был».

В следующем: «Что он там делал? шел с ними? шел навстречу?»

И все зачеркнул. Зачем? Зачем? Зачем он унес пистолет? Или — если стрелял он, зачем выбросил «вальтер», вместо того чтобы вложить Володе в руку? Или, если он свидетель, почему не оставил, как было — в руке Шахурина?

Я поднял глаза от бумажных облаков. Свидетельница уже рассказывала про внучку, умная девчонка, работает в PR-агентстве, но нет у нее парня.

Борис Штейн, 1901 года рождения, крещеный еврей из Запорожья, Петербургский политех, пять языков, Империи служил в народном комиссариате иностранных дел, человек Литвинова, посол в Италии. Когда Литвинова смахнули, Штейна отозвали, но пощадили. В районе Профсоюзной мы обнаружили его дочь.

— Уманский красивый... Зеленые глаза. Две страсти у него... Одна — женщины. Непонятно, почему женился на Раисе. Любовницы... Балерина Лепешинская. Да и много прочих. Дочь Нина — свет в окошке в этой семье. Очаровательное дитя. Похожа на Костю, но что-то от Раисы. Такой же большой рот, но Раю он портил, а Нине добавлял обаяния. Костя пришел к нам после смерти дочери, я на него взглянуть боялась, так страшно он плакал и проклинал себя.

— Проклинал себя?

— Еще бы! Раиса после гибели дочери практически сошла с ума.

— Инна Борисовна, почему в Америке он вел себя так вызывающе?

Дочь Штейна после некоторого раздумья ответила прежде не открывавшуюся мне правду:

— Разве это зависело от него? Костя всегда был только таким, точно таким, каким позволяла ему быть партия, Сталин. Когда папу единственный раз в жизни, после возвращения из Финляндии, принял Сталин и *пожал* руку — я три дня не давала ее мыть. Рука коснулась божества! Отец все понимал про нашу жизнь, но ничего не объяснял, оберегая мою цельность. А когда умер Сталин — горько плакал. Мама возмутилась: дурак! Что ты плачешь? Умер тиран! Папа ответил: я оплакиваю свои идеалы.

Можно уходить. Я просмотрел протокол. Да, вот еще:

— Вы сказали, у Уманского две страсти... А вторая?

— Страсть к высшей власти.

— Да?

— Костя выбирал, в какую школу отдать дочь. Я училась в Италии в лицее, но в Москве папа отправил меня в самую обыкновенную школу. А Уманский искал полезных знакомств, хотя бы через дочь, к ней тянулись... Он ощущал себя на взлете, жаждал возвышения, новых постов... И он устроил Нину в *ту самую* школу. Хотя Эренбург ему советовал: Костя, не делай этого. И Уманский потом плакал у нас: почему я не послушался?!

Совет мог спасти Нину Уманскую, Эренбург через двадцать лет его не вспомнил.

— Страсть к высшей власти? Школа? — небольшую серую комнату налево от приемной занимал Гольцман. Газетные подшивки, вырезки и папки с протоколами да фотоархив. — А что это за особенная школа?

— Сто семьдесят пятая школа в Старопименовском переулке. Она и сейчас есть. Хочешь туда сходить?

— Сначала допрошу Уманского. Потом Америка. Хотя нужно обязательно узнать, почему Володя ударил на уроке девочку — возможно, это объяснит, почему другую девочку он убил.

— Вам звонила Алена Сергеевна.

Я попросил секретаршу закрыть рот, сделать чай и куда-нибудь деться.

Печенье, сахар... Всегда волнуешься. Грохот подкованной обуви по половицам — конвоир постучался, засунул голову в фуражке: разрешите? — и затащил за локоть Уманского с запрокинутой, как у слепца, головой, подсказывая:

— Левее, шаг вперед, — и приземляя на табурет: — Спокойно садимся. Спокойно сидим.

Уманский не видел меня. Он не видел никого. Карие глаза пусто, не моргая тонули в окружавшей его тьме. Он сидел сгорбившись, не обнаружив на сиденье спинки, — невысокий, шуплый, комплекция образца середины тридцатых годов, круглые очки. Изредка облизывал губы и открывал в утомленной гримасе золотозубый оскал, шевелился, чтобы переменить позу и поудобней уложить на коленях соединенные наручниками ладони. Ему оставили на голове большую кепку. Из кармана пиджака торчал белый уголок платка.

Я старался не заглядывать ему в лицо, я хлебал чай и изучал законные крыши — не Париж, конечно, не смотровая площадка «Самаритэна», — в приемной надрылся телефон, — но все равно видел: висок, щеку и скулу, всю левую сторону морды клиента сцапали багрово-синюшные травянистые узоры, словно он заснул на лугу, забыв положить ладошку под голову по детскому обычаю, и какая-то вминающая, сапоговая сила впечатала его голову — в землю.

— Я родился 14 мая 1902 года в Николаеве в семье инженера по машиностроению в фирме Изоскова. Отец Александр Александрович. Мать Тереза Абрамовна Гольштерн. Семья в 1907 году переехала в Москву, спустя шесть лет отец умер. После смерти отца семья сильно нуждалась (*надо как-то подчеркнуть близость к пролетариату*), и я подрабатывал репетитором. Окончил восьми-

классную гимназию и один год отучился в университете на отделении внешних сношений.

Политически оформился в пятнадцать лет после Февральской революции, участвуя в агитации за мир. Первое место работы — нарядчик в гараже Наркомата по военным и морским делам (*ведомство Троцкого, хорошее место для нужных знакомств*). Затем секретарь заведующего Центропечати. В тот период, поскольку прилично владел иностранными языками, был направлен ЦК в распоряжение Исполбюро Коминтерна, и в конце 1919 года меня послали на подпольную работу в Мюнхен (*сразу после падения Баварской республики? Сочинил Костя, спасая биографию, кто-то не прощал ему заграничных пиджаков*); по заданию австрийского ЦК открыл в Вене информационное агентство «РОСТА-Вена» для сообщений о польской войне (*вот, похоже на правду*), а в 1922 году сменил тов. Мих. Кольцова на должности зав. информбюро НКВД (*так ты хвастал, пока Кольцов числился лучшим пером императора, пока его не били на допросах*).

Вернувшись в Москву, я хотел перейти на учебу и был принят на историческое отделение ИКП (*что такое, типа «красная профессура»?*), однако долго и серьезно болел (*сладко жил и ленился*), отстал от учебы и вернулся к практической работе в тщетной надежде сочетать ее с дальнейшей учебой.

Переводил и записывал беседы тов. Сталина с Эмилем Людвигом (1931 год), Г. Уэлсом и Роем Говардом (1936) (*это и есть «не раз выступал переводчиком при тов. Сталине»?!*).

Десять лет публиковался анонимно и под псевдонимами. Выполнял партийные поручения и вел общественную работу. Уклона от линии партии у меня не было.

— *А строгий выговор в 1925 году?*

Это за неуплату членских взносов в течение четырех месяцев. Выговор сняли после прохождения проверки в 1936 году.

— Кто вас рекомендовал в партию?

Л.Н.Старк и Т.Ф.Малкин (фамилия и инициалы второго произнесены небрежно. Старк — «старый большевик», заместитель наркома почт и телеграфа, покровитель Есенина, служил дипломатом в Эстонии и двенадцать лет в Афганистане, тайно представляя Коминтерн в северных провинциях Индии; запомнился сложным характером и преследованием в служебной деятельности личных целей — расстрелян в 1938 году, а вот Малкин... Кто же это? Может быть, Б.Ф.Малков — начальник Центропечати, еще один «старый большевик», вхожий к Ленину, также покровитель Есенина, но особенно Маяковского; это секретарем Малкова работал Костя?).

Женат. Жена — Раиса Михайловна Шейнина, дочь приказчика в магазине готового платья Мондля Михаила Ароновича Шейнина и крестьянки Александры Леонтьевны Лавровой, умершей после родов.

Познакомились в Вене; ввиду смерти матери мою будущую супругу отец направил к своей сестре Марии Ленской в Австрию, она с шестнадцати лет работала конторщицей на шоколадной фабрике, после нашей свадьбы перешла на службу в полпредстве РСФСР в Вене (отличная жена для подпольщика!).

— У вас есть родственники за границей?

Имею брата по первому браку отца, Леонида Уманского, около пятидесяти лет, выехавшего в Америку в 1915 году в город (неразборчиво). С ним связи не поддерживаю.

— Ваша жена показала следствию, что ваша мать умерла в 1940 году.

Это... не совсем так. Не имею сведений. Если она жива, ей около шестидесяти пяти лет. Мать переехала в Австрию и находится на иждивении родственников, осевших там до Русско-японской войны. Связи с ней никакой не поддерживаю. Даже адреса не знаю (судьба еврейки в Третьем рейхе тебя не волнует?).

В Москве я жил: в гостинице «Люкс» (*«мы сидели на полу в душевой комнате, пили, играли джаз и беспутно проводили время»* — запомнил Костю в «Люксе» американец), Тверская, 13, — шесть лет; Хоромный переулок, 2/6; два года — Спиридоновка, 17; до 1942 года — в гостинице «Москва» (*почему не упомянул Дом правительства, куда — через мост — отправился проводить твою дочь Шахурин?*).

Дочь Нина.

За дачу ложных и неправильных сведений я предупрежден об ответственности.

— *Идите. Когда будет нужно, мы вас позовем.*

Почему тебя не оставили в Америке? Кто взорвал в Мексике? Безвредного, несерьезного? В сообщениях советской разведки Соединенные Штаты именовались «Страной», Мексика — «Деревней». Максима Литвинова называли Дед. Подлинный псевдоним Уманского остался неизвестен.

До войны рука Москвы только ощупывала Штаты, не охватывая, не сжимала и не держала континент; еще не требовались атомные секреты и цели для диверсантов в третьей мировой, разведчики пренебрегали конспирацией, агенты не скрывали симпатий к Империи, и только к середине сороковых, как аккуратно выразился один лубянский летописец, «эра вседозволенности подошла к концу».

Костя раздражал администрацию Рузвельта. Чем? Детскими встречами с профсоюзными лидерами типа Ли Пресснана, агента «группы Уэара» («встретился с соблюдением необходимых предосторожностей за городом», «Уманский, как это ему свойственно, «избавлялся от хвоста», комически полагая, что его передвижения имеют международное значение»)? Заботой о судьбе беглецов? Да и сколько там добежало — два, три...

Офицер военной разведки Александр Кривицкий (Самуил Гинзбург, Вальтер, Гроль, Валентин, Томас,

Мартин Лесснер) убежал от тридцать седьмого года и, зарабатывая на хлеб, выдал сто агентов (и нашего золотого самородка — шифровальщика Мага!). Из книжки «Я был агентом Сталина» все желающие узнали: советского посла Кривицкий знает с малолетства, Костя откосил от армии («зачем терять два года в казармах?»), стремится «убить двух зайцев»: по воле ОГПУ подслушивал разговоры в гостинице «Люкс» и «принадлежит к числу немногих коммунистов, кому удалось проникнуть за колючую проволоку, отделяющую прежнюю партию большевиков от новой. Он отлично преуспел в этом». Кривицкого нашли 8 февраля в гостинице «Bellevue» мертвым, и, видимо, это следовало считать самоубийством на почве нервного срыва.

Позже в Америке с дочерью и женой объявился полковник, носивший имя Александр Орлов (взамен поистрепавшихся Фельдбин, Никольский, Швед) — гений вербовки (учебник написал! «кембриджская пятерка» — его крестники), резидент в Испании (переправил в империю золото Испанской республики), девушки стрелялись от любви напротив его окон. Как-то в июле в испанский порт причалило советское судно, и человека, условно называемого Орлов, пригласил подняться на борт для незначительной беседы руководитель иностранного отдела НКВД с фамилией, начинающейся на букву Ш (и ему — недолго оставалось). Орлов понял (в Империи уже арестовали его зятя): на корабле приплыла за ним смерть — он ударился оземь и исчез, с дочерью и женой, прихватив шестьдесят тысяч долларов, отложенных на оперативную работу. Он, единственный из беглых, не пустился зарабатывать воспаленные мозги и свинцовую пулю обличениями кровавого чудовища и другими иудиными способами, а черкнул из Штатов императору и еще не расстрелянному наркому Ежову лично: если не будете меня искать и не тронете мать, я не раскрою агентуру и свет не коснется документов о наших испанских делах...

Император скомкал письмо и сказал: а, не трогайте эту мразь.

И «кембриджская пятерка» доработала свое и потрясла Англию побегами в Москву.

А Орлов спокойно дожил до 1973 года, меняя имена и скитаясь по маленьким городкам в пустынной местности, где каждый приезжий как на ладони. Но с удивительной регулярностью (уже много после войны) случайные американские прохожие вдруг обращались к нему по-русски: ну, как ты тут? Живешь помаленьку? Освоился? Ну, дай тебе Бог, живи пока... Но помни, что обещал. Мы-то все помним. Но и ты — ПОМНИ.

Конечно, без Кости не обошлись похороны иуды, Льва Троцкого. Выдавленный силой, не знающей слово «невозможно», из Норвегии, Троцкий переплыл в глухоманистую, страдающую левыми завихрениями Мексику — Мексика немедленно получила от советского правительства предложение вступить в самое выгодное совместное нефтяное дело в обмен на высылку вурдалака дальше, в сторону Южного полюса — согласны? Нет? Путешествие Льва Давидовича сквозь крематорий Пантеона Долорес в землю собственного сада стало неотвратимым. В Нью-Йорк прибыл один из лучших «исполнителей» императора Наум Эйтингон и возглавил на свету экспортно-импортную фирму, а во тьме — американско-мексиканскую резидентуру для проведения операции «Утка». Через пять месяцев утка крякнула, комнату Троцкого сквозь дверь изрешетили из автоматов, он спاسся под кроватью. Еще через пять месяцев Меркадер зарубил Троцкого ледорубом и сел в камеру без окон в мексиканской тюрьме, назвавшись канадским бизнесменом Фрэнком Джексоном. Его били два раза в день; в газетах печатали фото: узник моет в камере полы; узник молчал (двадцать лет), наши делали все, чтоб его вытащить, все, в чем мог проявить себя Костя. Рутина, ничего особенного.

Все изменила война и атомная бомба: нового резидента в США император уже напутствовал лично. Агенты влияния, четыре агентурные сети, база для нелегалов Василевского в Мексике, восемь сотрудников администрации Рузвельта, работавших на советскую разведку... но Уманского это уже не касалось, он долгим, кружным путем, в обход немецких подлодок в Атлантике плыл и летел уже в Москву, задумываясь, сколько проживет на родной земле, и с горечью припоминая свою недавнюю кокетливую мольбу Молотову: «Исполняется три года моего безвыездного пребывания в США. Хотя бы ради того, чтобы прикоснуться к советской жизни, на самый короткий срок, быстрым пароходом, без всяких задержек в Европе, получить ваши указания, урегулировать ряд практических дел...». И вот теперь сентябрь сорок первого, его отозвали для *разбора*, и он возвращался, чтобы прикоснуться к советской жизни, не зная, не станет ли это прикосновением револьверного дула к затылку.

Так, я продвинулся назад, всматриваясь в распаханное, чуя спиной все жарче адову топку. Шел человек дачной подмосковной местностью, в траве выше головы, крапиве, семена застревали в волосах, оглядываясь на призраки костлявых дачников с вилами, так подумал я и остановился, очнулся посреди исторической библиотеки. Но ведь нигде не указано «с дочерью и женой» — Уманского срочно отозвали в сентябре 1941 года, он возвратился один. Уже 2 октября, когда немцы приближались к Москве, а машины давили на улицах людей в непривычной темноте светомаскировки, он объяснял на совещании коноводам нашей пропаганды, как важно поднимать «еврейскую тему»; в ноябре его встречали в кабинете у Берии, а в декабре Эренбург видел его холостяцкое житье в гостинице «Москва» — и никто не пишет «с женой и дочерью». А где же Нина и Раиса Михайловна? И если их не было там сразу, выходит, девочку под пули привез не Уманский и в смерти Нины виноват кто-

то другой? Надо посмотреть, когда она появилась в школе, все эти воспоминания «в начале войны», «в середине учебного года» могут оказаться старческим враньем... На мгновенье, на миг в меня плеснулся радостный страх и откатил; где-то там, впереди, я словно видел уже очертания неизвестной пока, но существующей человеческой фигуры — очень скоро мы высветим ее. Так кто же их проводил? Неужели Громыко? Литвинов? Неустановленное лицо? Ревнивая жена потащилась следом за неистовым Костей? Я старался не загадывать, это же не игра, чтобы потом неприятно не удивляться или мелочно не упиваться собственной проницательностью...

Библиотечный день

По исторической библиотеке прохаживались седые интеллигенты в мешковатых джинсах, словно украденных у детей, из-под пиджаков торчали свитера; близоручие ловцы мелюзги лежали на газетных ржавых подшивках; иностранцам, плящимся в мерцающие ноутбуки, заказанную литературу холуйски доставляли к столу; аспирантки прикладывались к бутылочкам с водой и с шуршаньем доставали яблоки из целлофановых пакетов.

Для созерцания я отобрал рыжеватую девицу на высоких каблуках, в коротенькой клетчатой юбке, широкой, как пастушья шляпа, подол пружинисто подлетал при ходьбе — ходила она беспрерывно, звякая пряжками сапог, показывая то грудь, то зад. Двигалась девушка с легкой неловкостью, словно нечасто встает на каблуки, отсюда и вихлястая походка, и сутулость, внятно намекавшая на основательную тяжесть зада. Бедрa ее качало, как «дворники» на лобовом автомобильном стекле, бедра расталкивали незримых прохожих и широко раздавались, когда она присаживалась

к рыхлому большому товарищу в очках, с кучерявой, выглядевшей потной шевелюрой и черной мордой, что никогда не выбреешь дочиста, — она прилегала на товарища, и целовала в ухо, и обнимала крепко-накрепко, жмурясь в ответ на мой взгляд. Бедный парень, он даже в буфете одной рукой ломал вилкой котлеты с луком, а другой держал ее за бок... Я ждал, когда он подыметя и пойдет в туалет.

Через несколько дней в библиотеку он поехал один, а девушка осталась с дочкой на даче под Сергиевым Посадом. Я уснул водителя искать грибы в березовой посадке вдоль дороги, дочку понимающие соседи увели собирать малину и посмотреть кроликов. Ну и дача! Горячей воды нет, холодная — в бочке за летней кухней. Весь в поту, я подымался в мансарду, к кровати, занавешенной марлевыми полотнами от комариных нашествий, с недочитанной детской книжкой посреди перины.

— Милый! Я так тебя люблю.

Она возилась на мне, касаясь губ соленой и потной кожей, я невольно видел постаревшее от загара лицо с противным белесым пушком, сожженную спину в прыщах и красных волдырях, трогал редкие волосы под поперечным шрамом кесарева... груди остро провисли, как сардельки, я больше не мог, схватил их ладонями и вlepил обратно в грудную клетку, чтоб распухли, окрепли, помолодели, чтоб представить ее другой, чтоб скорее получилось, и подгоняюще заворочался сам, мокрая и хлюпая.

Ей нравилось обниматься, она облизывалась и подставляла губы, ворсистой свое лицо... давай я тебя покормлю, полью, вытру, принесу полотенце, почему ты такой грустный, милый; и опять подставляла губы и смеялась, из всего складывая вопрос: следующий раз — когда? И хотелось тотчас сказать: никогда! — но я знал, что через три месяца это сгладится и она стодится, и записывал телефон, дни рождения (а когда у дочки? имя потом

уточню), целовал в ответ на детское надувание губок: «У-у, я буду скучать»...

Сквозь руки и губы я пробивался на крыльцо, словно прорубаясь сквозь джунгли, срывая с плеч змеистые плети, смахивая с глаз волосяную паутину, уворачиваясь от тайных поглаживаний и банки экологически чистой смородины — поклевать в дороге. Она испуганно заглянула в мое лицо:

— Ты что, милый?

— Все хорошо, — и — сдохнуть! — на дороге рядом с водителем, на сухой, подсыпанной щебнем грунтовке стояла в белой маечке Алена, курила и ждала, рожая улыбку. Машину оставила в березовой тени.

— У тебя вдруг стало такое лицо... Как у ребенка, который нечаянно сделал кому-то больно. Как ты, любимый?

— Как мне сейчас может быть плохо? Ну что ты. Я так счастлив.

Девушка просияла и сцапала мою едва не отдернувшуюся руку:

— Я тебя провожу.

— Останься. А то придет дочь, а тебя нет!

Мало ли к кому я мог приезжать, не станет же она лизать меня на глазах у соседей.

— Идем, идем...

Мы вышли за калитку и побрели к воротам, держась за руки — нежность! — меж слив и вишен и густой малины, прущей сквозь заборы, я спрашивал и отвечал, я, напрягаясь, хихикал... Алена вдруг отвернулась и ушла прятаться в машину. У ворот, на старте мучения, я выдал:

— Ну...

Девушка таинственно оглянулась и с размаху обхватила меня:

— Я буду тебя ждать. Очень-очень. Тебе правда понравилось? Ты хоть немножко вспоминай обо мне.

Постонала, похныкала, потерлась и осталась у железных ворот садоводческого товарищества «Березки-4». Я посмотрел на своего ублюдка водителя. Он показал:

— Три подберезовика и один белый. И сыроежек тьма. И то я еще побоялся вглубь идти.

Сесть и уехать. Но я повел себя к твари в красной машине, к неумолимо распахнутой дверце, к свободному сиденью, гостеприимному, как стоматологическое ложе. — Я скажу: Алена, я тебе никогда ничего не обещал, пусть все это кончится, все равно будет смерть и сотрет все; все, что мне осталось, — немного покоя и доиграть в солдатики, не отрываясь на школьные четверти, не вскакивая помочь бабушке полить перец, — и мял штаны, стесняясь засунуть руку внутрь и почесать. Алена вдруг выглянула и приветливо кивнула, разогнав мучительные морщинки:

— Хочешь, отпустим водителя и я тебя довезу?

Мне совершенно этого не хочется. Не хочется тебя видеть, с тобой говорить, с тобой жить. Хочется, чтобы ты выскакивала только после нажатия кнопки. Отсасывала и задвигалась назад.

Она поднатужилась и засветилась, засияла выплаканными, задымленными глазами:

— Ты не брал телефон, а потом отключил. Я испугалась, что с тобой что-то случилось. Позвонила водителю, он объяснить ничего не может: съехали с шоссе, остановились, ушел... В офисе никто не знает, куда ты поехал, я думала: вдруг тебе понадобится помощь... Господи, какое счастье, что ты жив! — и Алена припала ко мне, чтобы хоть чем-то объяснить засочившиеся слезы. — Господи, это самое главное! — Она задыхалась, словно ей закладывал горло пружий от моей рубашки запах. — А когда я поняла, что с тобой все в порядке, знаешь, что я стала делать? Я стала вспоминать наши первые дни, нашу любовь, только хорошее — а у нас столько хорошего, на всю жизнь хватит...

Как ты улыбаешься. Как ты меня первый раз обнял. Помнишь, что ты сказал? Ты мне очень нужна, каждую минуту, если бы ты была маленькая, я бы носил тебя в нагрудном кармане... Как мы шли с тобой и летело белое перо, и ты сказал: запомни этот день... И я так стояла и думала: все у нас будет хорошо, все у нас будет хорошо! — И с каким-то злобным оттенком заключила: — Сашка, я так тебя люблю! — и вытерла слезы. — Все у нас будет. Правда?

— Правда.

— Садись быстрее.

Я присел и влез в дыру, где некуда вытянуть ноги, Алена нагнулась и схватила меня за шею, потыкалась сухими табачными губами, подержала, поперекаtywала что-то внутри и вдруг выпалила:

— Тебе надо спешить. Звонил Шахурин. Сергей Иванович Шахурин! И сказал, что будет говорить только с тобой.

Я обомлел. Пока запускал гудки телефон, я думал: что случилось? Что же там произошло за горным хребтом, на кладбище? Умер тот, кого они боялись? Неужели все сейчас и — закончится, нас впустят с понятиями, подымут люк, скрытый ковром из верблюжьей шерсти, вкрутят лампочку в патрон, и бедная наша действительность вдруг предстанет не такой, какой мы ее искали, в какую тыкались наши слепые кротовьи морды... Было все вот так, больше не изменить?

— Ал-ло. Да, — он выслушал осторожное мое имя и прошептал: — Я получил ваше письмо.

— Сергей Иванович! Может, это какое-то другое письмо? Я вам писал шесть лет назад.

— Ваше. Тут и телефон. Просто перебирал бумаги и нашел. Вы хотели встретиться, — цедились невероятное, кап-кап.

— Мы можем встретиться?

– А вы читали книгу Алексея Ивановича? Это хорошо. Вы не заходили в музей на Поклонной горе?

– Много раз. Там витрина с мундиром вашего брата. – Я нагнулся к едва заметной в траве противопехотной mine, я бросал крошки незримой плотве, я, сколько хватало, тянул, тянул раскладную руку-удочку-телескоп с угощением недоверчивой белке.

– В каком году? А? Что-то плохо слышно... А я зашел недавно – витрина пустая. Я говорю: как же так? Оказывается, ордена забрали на экспертизу, на подлинность.

– Когда мы сможем встретиться, поговорить про Алексея Ивановича?

– Давайте так... Себя неважно, правда, чувствую... Ведь многие писали, а сейчас как-то молодежь меньше... Хотя я заходил к генеральному конструктору завода «Сатурн». Память... Хорошо бы увековечить память.

Тогда это точно по адресу, к нам.

– Вы сможете завтра?

– Завтра...

– Четверг.

– Четверг..

– В шесть часов. *В шесть часов.*

– А вы проявили интерес к Алексею Иванычу...

– Где? Где мы увидимся?

– Я вечером выхожу посидеть... на лавочке. Вы сможете, если на лавочке?

– Где?!

– У пруда. Я активный участник борьбы... против реконструкции пруда. Лужков сказал, – шелестел он, дул седой ветерок, – вы преподали власти урок...

– Патриаршие пруды? На лавочке у Патриарших прудов? Завтра! В шесть часов! Где?

– Памятник Крылову...

Все! Я выдохнул, облизнулся, размял шею. Значит, там есть памятник Крылову. Все, все. Секретарша взле-

таюшей птицей мелькнула мимо меня и обернулась в дверях:

— Почему у вас все получается? Все, что вы хотите? Я так рада! Мы столько ждали, — и убежала; быстрые, веселые каблукы.

Кремлевские стены

И все бесполезно, они не могли добиться успеха, но не могли вернуться или просто ради отдыха постоять. Их не обманывали, просто молчали в ответ. Развалины, привезенные на инвалидных креслах, — замыкающее поколение Империи — отказывалось от заключительного слова. Почему?

Ради медицинского интереса и личного участия я тоже позвонил в пару дверей на Фрунзенской и Ленинградке.

— Я все время лежу. Я астматик. В той комнате — больная дочь, слышите — лежит неслышно. Мы ждем врача. Закройте, пожалуйста, форточки. Я про Шахурина... тако-ое знаю... — Наклонилась к моим выросшим ушам. — Не скажете никому? И никому не скажете, что я сказала? — И просипела: — Он убил одноклассницу. На мосту!

Я покосился в телевизор, где стреляли, убивали, но никто не раздевался.

— Я хочу написать книгу о своих четырех одноклассниках, пошедших на войну из Алупки. Еще мне посчастливилось быть знакомой с композитором. Его считали соперником Рахманинова, но он спился и стал аккомпаниатором. Название книги я уже придумала — «Имя и подвиг ваши известны». Но никто не хочет печатать.

Я хотел сообщить: вот только что прилетел из Крыма — Воронцовский дворец, ослик Яшка, над быв-

шей школой города Алупки висит флаг независимой Украины.

— Для себя пишите.

Она отрезала:

— Для себя не хочу, — и, поколебавшись, повелась, как и все: — Я покажу вам альбом, фотографии родителей.

Исторгнув все запасы фальшивого умиления, я спросил про императорского гвардейца, ближнего боярина душегубного партийного контроля:

— А что вам рассказывал отец?

— На пенсии он заболел и пролежал в постели восемнадцать лет. Отец ничего не рассказывал. Он умер за месяц до Брежнева и повторял: не говорите лишнего, берегитесь. И сам молчал.

Я возвращался в Крым. Нечаянно подпихивая коленями впереди стоящее авиапассажирское кресло, я задумался: а если б я знал наверняка, что набегом своим сожгу, сомну, изуродую их оставшиеся месяцы и недели, подрегулированную таблетками тишину их снов, привычную прощальную мелодию, покой орденоносной тяжести — повернул бы назад свою орду? Да нет, конечно, нет. Нет жалости. И много причин. Вот одна: правда железных людей высохла и отлакировалась, их покой и молчание уже неприступны. И мы год за годом осаждали город, что уже не существовал.

Возможно, думал я про красные кирпичи, теряя веру в себя в многомесячных попытках одолеть третью ступень пасьянса «Паук», возможно, это не случайно, так и задумывалось старшими: чтобы конверт «завещание» оказался пустым, чтобы последнюю указательную стрелу «казаков-разбойников» затерли, чтобы дети напрасно бегали по дачному участку в поисках последней записки с подсказкой, где клад, — но как у них получилось? как это сделалось над ними само?

Первыми встревожились наступившим безмолвием немцы, когда в апреле вокруг Берлина смыкалась крас-

ная клокочущая жижа и Гитлер кричал: «Я должен был так же, как и Сталин, расстрелять всех своих генералов!». Геббельс просиживал вечера над личными делами наркомов и маршалов Советского Союза, бесполезно вслушиваясь в биографические сведения и вглядываясь в немые рабоче-крестьянские лики: что же с ними сделалось? какой-то метеорит! И европейские обыватели, сдвинув на затылки панамки, наблюдали странное свечение на востоке, а охотники, добравшись через пятьдесят лет до эпицентра взрыва, находили только обелиски со звездой над массовыми захоронениями и каменные скульптуры с поднятой рукой — словно гораздо длильнее, длиннее и совершенней повторилось время Ивана Грозного, когда летописание оборвалось и от месяцев, лет сохранились только слепые от ужаса свидетельства «немцев», полоумные визги бежавших недобитков да поминальник, составленный перед смертью царем.

Рукописание собственных мыслей преодолевалось как искушение. Вожди перестали переписываться в середине тридцатых годов, когда наладилась телефонная связь, прекратились частые выезды на кавказские дачи — отстроились в Подмоскowie. Вожди и железные люди — никогда, с 1917 года, ни один (сотни, тысячи знавших грамоту русских душ, прежде путавших рукописную литературу и религию) — не посмели завести или продолжить дневник. Особенно боязливые катали ученические прописи, перебеляя домашние работы над ошибками, и равнялись на лондонского посла Майского — тот сам выслал почтой императору чучело когда-то повсеместно встречавшейся птицы: «Посылаю мой дневник вам. Делайте с ним, что хотите. С товарищеским приветом. И. Майский».

Потом довольно быстро начали исчезать основополагающие и сущностные *документы*, протоколы человеческих обсуждений на заседаниях за обеденным столом, и, наконец, свинцовый гроб наглухо запаялся изнутри —

император запретил записывать за собой. Максим Горький (его каменный профиль впереди Маяковского, напротив Пушкина и Толстого на фасадах школ-пятиэтажек) со слезами неясного происхождения прошептал про императора: «Мастер. И хозяин времени» (кажется, неточная запись, точку после «мастер» надо устранить) и наступило полное, как заключают историки и патологоанатомы, «письменное и устное молчание». Остались решения. Но исчезли мотивы. Но в полном порядке подкинули нам протоколы допросов, что никогда не высохнут от крови, как сказочная мокрень-трава — чем дольше сушишь, тем мокрей, в них живые, полные страдания голоса человекoв повторяют диктуемое Абсолютной Силой, что, конечно, избавляет нас от пошлых слезливых отступлений «мне больно!», криков «мама! мамочка!» и прочих малоценных шкурок и сухожилий, но уничтожает одиночное, забавное содержание этих человекoв.

Сказанные вслух слова оказались бессильны, а после уже не значили ничего. Родную, земляную, пахнущую молоком личную речь поцеловали в макушечку и выбросили из вагона на скоростном участке между станциями — она одичала, обобществилась и оскотинела в рамках газетных колонок и свинцовых рядов типографского шрифта; и всякие там трепеты нежных душ («Мне очень тяжело, Ваше императорское величество, что я являюсь причиной такого Вашего волнения. Я никогда не хотел огорчить Вас, и мне больно видеть, что принятое Вами решение вызывает в Вас такое волнение. С Вашего дозволения я пришел проститься с Вами и прошу Вас, по русскому обычаю, не поминать меня лихом. Если я чем-либо не угодил Вам, простите меня и поверьте тому, что я Вам служил всеми силами моего разума и всей моей безграничной преданностью») ликвидировались вместе с последним царем, сожжены, засыпаны известью, брошены в шахты.

Они боялись, толковало быдло, и — молчали, боялись «сталинского террора», рабье племя! Чего там — дрожали, что убьют... Лагерь, Лубянка, пуля, дети в приютах с клеймами на лбу... Но империя страха развалилась бы в 4 часа 22 минуты 22 июня 1941 года, еще до того, как Молотов после пыточной паузы и вздоха заставил себя произнести в радиомикрофон: «Советское правительство... и его глава товарищ Сталин... поручили мне сделать следующее заявление...» Неужели только страх?.. Как писал командарм Гай в письме, казавшемся ему *главным*: «В камере темно, да и слезы мешают писать...» Но так и немцы боялись гестапо, концлагеря, никто не хотел на мясницкие крюки, или качаться на рояльных струнах (как те ребята-взрыватели), или стреляться в родовом имении под присмотром генерала СС (как тот из пустыни), однако же по команде «не бояться» достали из полевых сумок дневники «восточного похода», где под различными датами записано: «фюрер совершает безумство за безумством» и «мы обречены»... А русские князья и дружинники, когда опустели лобные места, «стояли немые», в согласии промолчав сотню томов мемуаров, как и прежде надиктованных Абсолютной Силой, исправленных редакторами в офицерском звании. Где свидетельства? где воспоминания железного поколения? Как написал тридцать четыре года назад майор запаса Шилов: «Их труды, наверное, читают жены»... Мучаясь от забвения павших друзей, ненавидя Хрущева за сталинскую войну «по глобусу» и брежневскую мнимую полководческую славу, обесценившую ордена, не имея ни крохи веры в рай-ад, они валились в могилы молча, соответствуя формуле Лазаря Кагановича «Никому, ни о чем, никогда». Молчали и опальные, и победители. Генеральные конструкторы, маршалы, наркомы, секретари ЦК — никто не узнает, что видели железные люди там, там... за смертельной гранью — что мерцало им оттуда, какой немилосердный ад античных времен? Маршал

Голованов шептал жене, выдыхая последний воздух: «Мама, какая страшная жизнь», — женщине, девчонке, что вдруг поцеловала его сама возле парадного и вздрогнула от обиды и убежала, как только летчик спросил: «И много у вас было таких поцелуев?» А теперь она причитала: «Что ты? Что ты, почему ты так говоришь? Почему страшная жизнь?» — «Твое счастье, что ты этого не понимаешь».

Для ясности, чтобы избавить от сомнений, что заметные следов и тишина не *просто так*, нас подождали не постельные грелки и конюхи, а старшие — Молотов, Маленков, Ворошилов, Микоян, Каганович (да и Берия дотянул бы, кабы не расстреляли). Отмороженные, размятые ледником столетние люди бродили среди нас, писали и обдумывали что-то в своих скитах, ни разу не встретившись за тридцать лет проживания в соседних подъездах, «без слов», как раньше писали под карикатурами, — без слов, хмуро взглядывая на проходящих сантехников и двоюродных племянников. И как раньше, умирая, хрипели: «Попа...», так теперь когда пришла пора, они нацарапали иноческими клешнями: восстановите в партии! — и ничего кроме! — рассказав не больше мертвых, соблюдая уговор. За посмертными мемуарами Кагановича стояла, пуская жадные слюни, очередь и получила в лапы библейскую пачку бумаги со словами «Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и ее великий вождь Иосиф Виссарионович Сталин!», написанными 43 278 624 раза... Лишь единственный раз, после похорон жены, инфаркта и перед смертью, Маленков, открыв глаза, прошептал: в октябре 1941 все руководство покинуло Москву и он остался на хозяйстве один — фантастический пустяк, не подлежащий проверке по своей ничтожности, — и это все? После жертвоприношения, многомиллионного отсева, после рывка от собирания колосков к шарiku — искусственному спутнику Земли?!

Все наши карты и досье, расположение улиц, узлов связи и кровоснабжения, свычаи и обычаи осаждаемого города, переставшего существовать, сообщено детьми, ровесниками Вовы Шагурина, и является дезинформацией. Абсолютная Сила, велевшая отцам молчать, разрывала родовые традиции, веру в Бога, тысячекилометровые расстояния, семейные привязанности и даже (никакого «даже» — «и»!) любовь. Император, я уверен, и сам ужасался, читая письма: «Просит предоставить ему любую форму (по указанию ЦК) реабилитации. От себя вносит предложение разрешить ему лично расстрелять всех приговоренных к расстрелу по процессу, в том числе и свою бывшую жену. Опубликовать это в печати». Железные люди оставили не детей, а *потомство*.

Потомство, кто почестней, признавалось: мы ничего не знали, родители молчали, отец клал под подушку пистолет, мне обидно, когда папу называют палачом, — нечего вспомнить, кроме уроков французского на дому, кинозала на даче и тенниса в Серебряном Бору; отцы ни с кем не дружили (обычай дружить семьями появился, когда кончился свет, 5 марта 1953 года), а если доводилось «гостить», отцы прогуливались по дорожкам Горок (с прибавлением нескольких цифр), следом крались жены с бабскими рассуждениями, а замыкали дети с планами покорения миров. Отцы шли молча — не боясь собеседника, нет, а учитывая слабость человеческого существа, искривленную памятьливость, способность, открыв рот, отвлечься, ослабеть от грубого словца и зажить чем-то несущественным. Отцы, бредущие по садовой дорожке, ощущали себя звеньями цепи, могучими руками непонятно чего — они не принадлежали себе; в любое мгновение человек, гуляющий с тобой, мог оказаться врагом, но о нем не поручали что-то сообщить, так о чем же говорить? Ведь не о том же, что опоздала весна и как вытянулись дети...

Те из потомства, кого больно царапало клеймо «палач», забыв совесть, катали: «И если бы не сопротивление, которое исподволь, а то и открыто велось отцом против сталинских сатрапов, то не сохранить бы ему душу живую, не выйти после смерти деспота с теми выстрадавшими втайне при нем, поистине демократическими реформами, которые стали первым шагом к краху тоталитарного режима», — про человека, утвердившего автографом не одну тысячу расстрельных списков и задушившего бы сына подушкой за «деспот» и «сатрап».

Не сказав ничего, отцы позволили безнаказанно делать из себя все, что угодно, и сын Лаврентия Берии написал об отце обаятельную книгу: добродушный человек, преданный семьянин (фигурировавший на суде список из полутора сот любовниц — всего лишь прикрытые агентурной работы), политик, мечтавший, чтоб было поменьше крови, а помыслы и приказы его извращали — и все достаточно убедительно, опираясь на известные бумаги и неоспоримые факты.

Даже дочь императора, когда потребовались деньги: жрать что-то надо, одеваться, дитя кормить, я сама еще молодая и желания имею, — догулялась до того, что продала за доллары с груди нательный крестик с хорошим разгоном: «Я могу написать о своей жизни в доме с отцом в течение двадцати семи лет; о людях, которые были в этом доме или были к нему близки; о всем том, что нас окружало и составляло уклад жизни; о том, какие разные люди и какие разные стремления боролись в этом укладе». Ты это знаешь? ну, напиши! — а она давила, давила, жала из себя и смогла надоить лишь на тощую книжку пустот: три совместных обеда, две ссоры, несколько сплетен (после смерти отца мне рассказывали...), подробнейшее описание няни и собственной первой любви; еще бессильное разглядывание фотографий (ну хоть что-то вспомнить на продажу, вот! — «Киров в сорочке, в чувяках»), цитирование писем императора

к «Сетанке» младенческих времен и хлипкая, общая для потомства идея: Берия — вот кто во всем виноват, играл, как хотел, стареньким папой. Прожила она (как и все потомство, сверстники В.Шахурина и Н.Уманской) слепо, как глубоководная, пещерная рыба, погруженная в собственную сытную жизнь, не заметив войны и простонародья, утопая в пошлости: «...откуда это во мне такая любовь к России?», с прибавлением: «А мы варвары, каких не сыщешь нигде», с омерзительными прибаутками: «Разве быть честным, порядочным человеком в наше время — не подвиг?»

Один читатель-американец захлопнул книгу с разочарованным итогом: «По прочтении ее кремлевские стены не падут».

Вот. Вот это: они никогда не падут. Так все подстроено.

Дежурная по залу тихонько прочистила горло и попросила сдавать книги, кивнув на настенные часовые стрелки. Я поднялся и, складывая тяжелые, пыльные стопки, признавался себе: мы бессильны даже в установлении милицейских подробностей: десять минут агонии императора на кунцевской даче при шести (самое меньшее) совершеннолетних цепенеющих свидетелях не поддаются достоверному воспроизводству. Подзывал ли прощаться? кивал ли Булганину: «отойди»? задержал ли в длани пальцы Маленкова? Произнес или не произнес император, черт возьми, «Дз-з-зы...»? Бормотали: «Что они со мной сделали?». Целовал ли его «монстр», «палач», «хамелеон», «врожденный садист», «упырь», «один из самых знаменитых в истории злодеев» Берия? Бредил ли: «К Ильичу...»? Верно ли, что по-волчьи улыбнулся? Дал ли ему ложку бульона Ворошилов? отвернулся ли от Хрущева? обвинил ли в отравлении Молотова? Просил ли открыть двери: мне душно? Вообще — приходил ли в сознание? Да и кто там присутствовал поимен-

но? И наконец — откуда достовернейшие сведения, будто император, отходя, широко перекрестился на икону — откуда икона на кунцевской даче?! Ничего из этого (вообще из *всего этого*) не является тем, что случилось на самом деле.

Отказ от личной правды, отпечатка собственной пятки на мокром песке обернулся сверхъестественной душевнобольной покладистостью — сотни тысяч революционных бойцов подтверждали убогие, позорные, сочиненные дебилами обвинения, не сомневаясь, что подтверждают собственную смерть; подписывали все и показывали (кое-кто на гласном суде и при иностранной публике, подъехавшей глянуть на русскую корриду), расширяя размеры покоса, сообщая следствию новые имена. Никто не бежал с подложными документами в тайгу, не скрывался в скитах, не отстреливался, перебегая от окошка к окошку, вспомнив навыки подпольной работы и Гражданской войны; все (кроме редких самоубийц) всё знали и ничего не боялись; сидели и ждали забирающих шагов, чтобы все, что скажут, исполнить и сохранить свою причастность к Абсолютной Силе, дававшую им сильнейшее ощущение... чего? мне кажется — бессмертия. И только по недомыслию можно сказать, что прожили они в оковах. Они прожили со смыслом. Определенным им смыслом. И выпадение из него было бóльшим, чем смерть, — космической пылью, Абсолютным Небытием, а про *Абсолютное* империя дала им четкое представление.

Быдло знает — *пытки*, их просто запытали, били; слаб, животен человечиска, когда каблуком-то по пальцам и недельку не поспать... Но наступает мгновенье, когда трехминутный суд позади, когда между человеком и землей остается — ничто, клочок воздуха для не слышных никому слов, а они кричали: «Да здравствует Сталин!» И жестокосердый нарком Николай Иванович Ежов по пути *туда* запел «Интернационал», а несгибаемый Аба-

кумов после трех месяцев в кандалах в камере-холодильнике вскричал навстречу летящим пулям: «Я все напишу в Политбюро!» А Николай Иванович Бухарин, отправивший императору из камеры пятьдесят любовных писем (никому не дали так основательно подготовиться к смерти, обдумать ее), опустил руки и что же? «...Я пишу и плачу, мне уже ничего не нужно... Но я готовлюсь душевно к уходу от земной юдоли, и нет во мне по отношению к вам, и к партии, и ко всему делу ничего, кроме великой и безграничной любви». Не поверить в искренность его у кого хватит сил?

Один Зиновьев (по легенде) на пороге подвала вдруг поднял руки: «Услышь меня, Израиль, наш Бог есть Бог единый» — императору в лицах представляли эту сценку, и зрители смеялись до слез.

Сверхпроводимость — вот что они должны были исполнять и исполняли. Гони по цепи имперскую волю, не становись для нее преградой, а напротив, разгоняй и усиливай своим существом — это едино понимали и наркомы, и пехотинцы.

Ну, оставим; человеки, переставшие говорить свое и писать свое, видимо, и мыслят как-то иначе, в этом, я думаю, должны разобраться нейропсихиатры и социопедагоги. Меня и нас шибко коснулась другая их развившаяся мозговая особенность: сталинские соколы, железные люди разучились *запоминать*. Нельзя сказать: они не помнили ничего, — своей собственной жизни они не помнили.

Когда их начинали трясти, напоминать, старики и старухи морщились, словно что-то мелькало там, вон там перед их глазами с назойливостью лесной мошкары; они всматривались, вытирая засочившуюся влагу, всматривались, но — нет. Там их нет. Они себя не видят.

Ничтожное происшествие (убили, любовь, летом тышдцатьсотсороктретьего года) — вот что занимало нас, с их точки зрения. Первые годы я думал иногда: был

бы жив император... Позже понял: и он бы не вспомнил. Дела Уманской для него не существовало, про такое император говорил: «Это для баб».

Я бросил галерное весло, полистал еще газеты на выходе, оглядываясь на расходящихся студенток и аспиранток: на тусы, мерцавшие сквозь юбки, на груди, свободно раздваивающиеся на виду, на черные кружева, на весомое колыханье ягодиц. Газетное чтение полностью убедило меня в собственной никчемности. От библиотеки вниз, направо к метро «Китай-город», еще налево и вниз — я завернул в «Зарядье» на ближайший фильм, где раздевались; я часто заходил сюда и даже узнавал некоторых актрис: вот эта в «Порочных служанках» мелькала на задах, а в «Опасностях соблазна» уже за главную. Фильмы утоляли, словно утомляли, поменьше хотелось всех.

Билетерша надорвала и вернула билет, я скомкал его и выбросил в проходе между креслами (в зал всегда пробирался последним, как только гас свет), чтоб не оставить в кармане; вытащил из сумки бутылку выжатого апельсинового сока и выпил всю. Народу немного, я уже изучил публику: расставшиеся с надеждами женщины, приезжие, не знавшие куда себя деть, быдло с пьяной отрыжкой — я сидел один посреди ряда, смотрел на экран и ждал наступления момента, когда все бабы по разу разденутся и покажут себя со всех сторон. Обычно это происходило минут через сорок, я сразу вставал и уходил. Чтобы не столкнуться ни с кем на выходе, когда включают свет.

Куйбышев, Куйбышева

А - с в и д е т е л ь: Володя легко увлекал людей, особенно людей более низкого происхождения, кому полагалось легко увлекаться.

Б - с в и д е т е л ь: К Шахурину меня привозили как игрушку, я знал — мой долг по первому приглашению

ехать к нему на дачу. Мы учились в одном классе, отец мой работал заместителем наркома, но учитель математики Гурвиц (мы звали его Юлик) однажды внимательно взглянул на меня и произнес по-латыни: «То, что положено Юпитеру, то не положено быку», — и я понял свое место. Пошел учеником на авиазавод и не заикался о собственном мотоцикле. Когда у Володи и Ваню Микояна появились «Харлеи», отец мог бы и мне достать мотоцикл, но он крестьянским чутьем понимал свою меру и из всех привилегий пользовался одной — абонементом на два места на «Динамо».

Члена Политбюро от секретаря ЦК отделяла пропасть. Между наркомом и заместителем наркома — такая же пропасть. И такое же разделение, хоть и незримо, шло между детьми. Дело не в размерах квартир, а в чем-то более существенном.

Отец мой молчал до смерти, а все написанное — рвал.

Самое сильное впечатление моей жизни — парад первых реактивных самолетов. Над Красной площадью пронеслось пятнадцать «МиГов» и «ЯКов». На случай катастрофы неподалеку от праздничных трибун авиаконструкторов ждали машины с конвоем.

Володя — блондинистый, волнистые волосы, очень голубые глаза. Он слегка заикался.

А - с в и д е т е л ь: Притащил меня на чердак и показал на кирпичную стену: за ней есть клад! Давай! Ломами били, били, выламывали кирпичи — во-от такая дыра получилась, а за ней — нету клада, улица! Только спустились во двор, Алексей Иванович навстречу, и — не говоря ни слова, ничего еще не зная про дыру, просто увидев, что мы в пыли, со всего размаха отвесил сыну пощечину! А меня тотчас отправили домой.

Предварительная проверка 175-й школы установила лиц, предположительно являвшихся одноклассниками Шахурина В.: Лозовская Г., Барышенкова Юлия, Уманская,

Артем Рафаилович Хмельницкий, Кузнецов, Стрельцова, Хххххх, «Ленька» Реденс, Светлана Молотова, Бакулев, Барабанов, Хрулев (?), Кирпичников, Куйбышева, Г. Романов, Болотовский, Борисов Анат., Скрыбин Влад (?).

Директор школы: Леонова Ольга Федоровна, депутат Верховного Совета СССР, награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Звуч: Гроза (установлена только фамилия).

Классный руководитель: Бучнева Наталья Михайловна (Старопименовский пер., д. 5, кв. 21), на момент изучаемого события возраст сорок лет, считаем разработку членов семьи бесперспективной.

Учитель математики: Гурвиц Юлий Осипович (место-проживание — в доме, где располагается магазин «Педагогическая книга»), на момент изучаемого события возраст шестьдесят лет, считаем разработку членов семьи бесперспективной.

— Вы видели у Володи пистолет «вальтер»?

«Нет». «Я не видел». «Да ну... откуда?» «Я не помню».

В - с в и д е т е л ь: «При мне он стрелял на даче из мелкокалиберки и разгрохал изоляторы на столбе электропередач. Пистолета у него не было.

— Вы слышали, что Володя в школе ударил одноклассницу по лицу?

«Нет». «Нет». «Не знаю». «От вас услышал». «Нет, не ударил — убил, Уманскую убил...» «Нет».

Г - с в и д е т е л ь: Да, это было. Девочку звали Галя.

Д - с в и д е т е л ь: Он ударил Галю Куйбышеву на уроке географии. Володю вызвали отвечать тему «Города Поволжья», и он хорошо отвечал. Галя сказала: «Конечно, легко ему отвечать. Он окрестности Куйбышева хорошо изучил». Шахурин подошел и дал ей пощечину.

Е - с в и д е т е л ь: Все-таки, кажется, он ударил Галю на перемене. Но началось все разговором про Куйбышев, это точно.

– *Откуда Володя мог знать Куйбышев?*

– Куйбышев все знали. Школу эвакуировали туда в начале войны.

– *Вы считаете, он был психически неуравновешен?*

Август, заканчивается лето-агония 1941 года, Костя Уманский дорабатывает последние три недели в Вашингтоне, Куйбышев подготовлен сменить столицу – счастливицам показывают в заборную шелку особняк, ждущий императора, запомнилась красивая сестра-хозяйка с черными глазами; перевезены на волжские берега наркомат иностранных дел, Совинформбюро, авиазаводы, Большой театр и проклятая 175-я школа. Ее классы назывались по имени Главного Ученика: класс Светланы Сталиной, класс Ваню Микояна, класс Светланы Молотовой, класс Серго Микояна. В школе многие хотели учиться, но никто не хотел преподавать.

А Куйбышев... Дочери императора он не понравился: старый и грязный, нищие, беспризорники, «очень много хромых, слепых, кривобоких, косоногих, криворуких и прочих калек». Раненые солдаты не вызывали сочувствия, как и громадная река, остатки купеческих усадеб, все эти пароходики и разливы; город казался недобрый: «Вот, понаехали сюда всякие разряженные и расфуфыренные, так теперь Гитлер и сюда прилетит бомбить!» Куйбышев страдал: квартиры уплотняли подселениями, несколько домов выселили подчистую; разбухшие школы работали в четыре смены, последняя смена начиналась в восемь вечера, после третьего урока дети засыпали за партами; выросли цены, исчезли продукты, горожане ели котлеты из опилок, оладьи из картофельной кожуры, пили желудевый кофе с корнями одуванчиков и сдавали кровь для раненых. Ученики 175-й школы этого не заметили, Светлана Молотова написала папе и маме 16 августа 1941 года: «Нам дали замечательный особнячок, а за городом у нас замечательная дачка... Я ма-

ло написала потому, что нечего писать. Я живу очень хорошо».

Императора не интересовала 175-я школа, как и прочие личные моменты, не имеющие отношения к Будущему (даже к Вечности), но он ее ненавидел. Власть и деньги в империи не передавались по наследству, детям вождей приготовили общий паек и ничтожество. Подростки страшных фамилий должны носить залатанные брюки и заштопанные чулки и сидеть за партами с бывшими беспризорниками и детьми погибших революционеров, выросших в детдомах, — ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ. Но общие основания не выдержали, во-вторых, родительской любви, а во-первых, страха рядовых людей, нянюшек и гувернеров — им хотелось дышать и обеспечивать продуктами семьи, умереть от старости, положив лапы на макушки правнуков; им не хотелось оказаться в том смертоубийственном месте, где практика украдкой вдруг глушила теорию и бросалась прочь, хрустя мелким человеческим мусором, трагически проявившим принципиальность. Детей железных людей растили как золотых, они слились в 175-ю школу, на которую со страхом взирали все, и подруга второй жены императора Мария Анисимовна Сванидзе записала в отчаянии: «Обстановка создана идеальная... Ужас в том, что дети чувствуют привилегированность своего положения, и это губит их навеки... Они обречены на ничтожество из-за исключительности своего положения». Это одна из немногих второстепенных мыслей, приходивших на ум Марии Анисимовне; чаще всего (сколько бы ни исчезало родственников и друзей) она неподвижно думала о своей любви к императору, насколько «Иосифу» сейчас тяжело, за что сперва расстреляли мужа, зампреда Госбанка, а в 1942 году казнили ее, и мысли прекратились. Очередной уволенный из школы «за плохое воспитание» императорского сына педагог с двадцатилетним стажем страдающе писал императору правду: «...вопрос останется неразре-

шенным, пока не установится настоящая связь школы и семьи»; другой учитель признался: воспитывать детей в 175-й школе «в лучшем случае — бесполезно, а в худшем — опасно».

Владимир Шахурин учился в шестом классе (сезон 1941—1942 годов, Куйбышев, ныне Самара) — классе Светланы Молотовой. Местные учителя ходили пришибленные роскошью облика и свободой манер всей 175-й, но отказывались вести урок только в одном — шестом классе, там перехлестывало через край: дети боролись с неизбежным, с уготованной судьбой.

«Ребята не глупые, дисциплина ничего, — писала Светлана Молотова в тот же адрес, — но все-таки есть отчаянные мальчишки...»

Они сидели ближе всех к доске — приземистая Светлана и высокая Соня Стрельцова — на специальной парте: у Молотовой болел позвоночник, она носила корсет, и лечебная парта ездила с ней в Куйбышев и обратно. Стрельцова сопровождала Свету повсюду, она и охранник — тот ждал окончания уроков в пионерской комнате; когда подруги шли улицей Горького домой, следом двигались два неприметно внушительных товарища, вдоль тротуара, прикрывая шестиклассниц, ползла легковая машина, прохожие замирали.

Про появление безродной Сони в 175-й школе говорили: у Молотова погиб-разбился водитель Стрельцов (вполне возможно, спасая наркома), Вячеслав Михайлович и Полина Семеновна взяли девочку из жалости на прокорм и растят со своей, как родную. Вранье, конечно. Водитель не погибал и пережил дочь, убитую раком почки, — Соню взяли как щенка, она жила для того, чтобы Светочка не скучала, не общалась хрен знает с кем, — в одинаковых беличьих шубках, в пушистых шапочках с помпонами, одинаково закончив МГИМО, гуляли они парой, пока в закромах не вырастили и не отобрали для Светы сына авиаконструктора Илюшина,

не признали годным, — и Соню отпустили на волю (молодые развелись); перед смертью Стрельцова призналась: тяжело, мне все вот это... было очень тяжело.

Школьников возили в Москву повидаться с родителями на американской авиапомощи — бомбардировщиках «дугласах» на восемь мест. По ступенькам вниз (в тот день, когда немецкие бомбы нашли Большой театр, университет на Моховой и ЦК на Старой площади) дочь императора привели в подземную Ставку и оставили для производства семейного тепла. Она увидела отсутствующего отца. Он смотрел на карту, на русские армии, он спросил, не глядя на девочку, спросил такую, какой должна быть его дочь, — получается в пустоту:

— Ну. Как ты там? Подружилась с кем-нибудь из куйбышевцев?

— Нет. Нет, мы же отдельно. Мы же в специальной школе.

— Как? — Император гневался тяжело (как запомнили: быстро вскидывая глаза на виноватых), жалея силы заниматься еще и этим. — Специальную школу? Ишь, правительство! Москвичи приехали! Школу им отдельную подавай! — И погрозил: — У-у, проклятая каста!

Каста — вот поэтому Эренбург спасал Нину от 175-й школы, а горячий, обаятельный, жадный Костя впихнул дочь поближе к Свете Молотовой.

Ж - с в и д е т е л ь: Как и все еврейские мамы, Софья Мироновна хотела, чтобы сын учился музыке. Володя ходил к какой-то музыкантше на уроки, а потом сбежал с ее дочерью из дому, переправившись на лодке за Волгу, и устраивал свою семейную жизнь, пока его не разыскали. «Эта авантюристка хотела женить на себе моего Вовочку!» — кричала Софья Мироновна. Вам надо найти Юрку Коренблюма, если он жив, конечно, пил он будь здоров. Если найдете, передайте привет. Нет, встретиться с ним не стану, пусть помнит меня молодой».

Свидетель Коренблюм: «Моя настоящая фамилия Киришон (отец — Киришон, писал пьесы, его расстреляли 28 июля 1938 года по делу наркома Ягоды, какое-то время поиспользовав как внутрикамерную «наседку»; «Я спросил у ясеня...» — его песня), мать сменила фамилию и увезла детей от войны в Омск. Туда ей написала из Куйбышева беременная Джема Афиногенова. Я осталась одна, писала Джема, приезжай, вместе жить легче. Драматург Афиногенов, друг отца, оказался единственной жертвой бомбы, угодившей в ЦК. Его направляли в США на усиление пропаганды, он заехал в ЦК за документами и на выходе — погиб.

Мы приехали нищими, имели единственную ценность — старинный кофейный сервиз. Софья Мироновна Шахурина тут же выменяла его у нас на продукты. Я оказался в одном классе с Володей.

— Софья Мироновна знала вашу настоящую фамилию?

— Вычислить нетрудно: она имела обширные связи, особенно в «культурной» среде, но дружить позволяла. Володя, помню... совершенно белобрысый. Имел феноменальные способности к языкам: английский, немецкий, читал Гитлера, что-то из Геббельса с восхищением декламировал (*врет? советский мальчик... в страшном октябре 1941 года... книги Гитлера? восхищение?*).

— Вы слышали что-нибудь про его побег из дома?

— Еще бы! Так ведь и я (*врет?*) с ним бежал, и с этой... Наташей! Так он решил заставить родителей взять девочку в Москву. Нахапали продуктов, на пароме переправились через Волгу и переночевали в лесу. Нас искали чекисты, поднялась авиация в небо (*врет?*) — нашли и привезли обратно. Как раз к экзаменам. Я помню, учитель пришел к нам домой принимать экзамен. Ему предложили стакан чая и пирожное на блюде. А голод страшный. На всю жизнь я запомнил: учитель чай выпил, а пирожное, как полагается... не доел.

– Что стало с девочкой?

– После побега я видел ее только раз: по Смоленской площади она шла со скульптором Никогасяном, известным... гм, ценителем женской красоты. Она выросла в яркую, красивую женщину.

– Вы считаете, Шахурин страдал психическим заболеванием?

– Почему? Что вы имеете в виду?

– В шестом классе убежал из дома. В седьмом ударил по лицу Галю Куйбышеву, как выясняется, за то, что посмела рассказать его куйбышевские приключения. Убил Нину Уманскую, застрелился. Шизофреник.

– Не знаю... Возможно все, но... Был, конечно, какой-то сдвиг в отношении девочек. Но – такая жадность к обладанию всеми как-то сочеталась в нем с жаждой верности. Вы заметили, что у побега за Волгу, смешного поступка, и убийства, поступка страшного, – один мотив?

– Какой же это мотив?

– Он не желал расставаться с любимой.

З - с в и д е т е л ь: Я помню его: невысокий, светло-волос, коротко стрижен. Говорил медленно и четко.

Отцов наших расставили по местам, и мы знали, кому что положено. Володя – сын всего лишь наркома... Получается: третий разряд. Но он рвался выше, интересовался раскладом в Кремле. Просчитывал свой путь и предполагал, что будущее его зависит от успешного проведения задуманных интриг.

– Вы говорите про четырнадцатилетнего мальчика. Может быть, вы...

– Нет, именно так. Меня позвали к Шахуриным на дачу покататься на лыжах. Думал, разговоры пойдут о фильмах, девочках и учителях, а у него прям малое какое-то Политбюро: кто кого в школе ущемил, кто что затеял... И невероятно нервен...

– У него могли быть близкие отношения с Уманской?

– Близость с девочками? Вряд ли осуществима...

К Володе допускали ограниченный круг людей – в этом кругу Софья Мироновна контролировала без исключения *все*.

– Вы сказали «невероятно нервен»...

– Так я сказал. Но и другое скажу: при этом он рос мальчиком очень хладнокровным, контролировал свои поступки. Он... Хорошо, я признаюсь: он не мог убить себя.

– Даже от внезапного ужаса? Увидел, что я наделал, и...

– Даже от внезапного ужаса. Не мог. О, я вспомнил: любимое слово Володи – «организуем».

– Спасибо. Больше ничего не вспомните, Сергей Владимирович?

– Да нет, ничего такого, чтоб...

– Какие-то детали? Чрезвычайно важна каждая...

– Говорил с вами, а про себя думал: как же воспитывали нас американские ленты, трофейное кино! Римская история, романтические поступки... Трагическая любовь. Страсти! Отцы не вели дневников, а мы, между прочим, вели! письма писали, да-а...

– Володя вел дневник?

– Не знаю. Может быть, все может, хе-хе... Но какие-то тетрадки от матери прятал... Говорят, даже... будто когда... все вот это... и его нашли на мосту, из кармана какие-то бумаги торчали...

– Куда они делись?

– Ну, откуда мне знать. Органы, наверное, забрали.

– Письма?

– Как?

– Там были письма? Дневник?

– Я говорю: *не знаю*. Может, там и вообще ничего не было... А сочинили. А может, и список какой-нибудь...

– Список?

– Откуда мне знать. Володю я мертвым не видел.

– Вы – нет, но кто-то говорил... Что говорили тогда?

Список... Фамилии?

– Да вы меня прямо пытаете...

– Что Володя мог записывать?

– Все, что я знал, я вам все уже... и давайте будем закругляться...

– Прочитанные книги?

– Слушайте, я старый человек, я то, что знал, уже забываю. А вы хотите, чтоб я то, что не знал, вспомнил.

– Людей, приходивших домой? К Софье Мироновне?

– Лекарства пью и то – когда супруга напомнит.

– Девочки? Кто-то из школы? Кто с кем дружит?

– Ох, да не знаю!!! Все. Подошли уже мои аспиранты, так что... Спасибо за конфеты, кофе, хотя зря вы, конечно, потратились. Вряд ли я чем-нибудь вам помог...

– Что вам мешает сказать прямо?

– Да про что?! Я не знаю, про что! Вы сами выдумали что-то и теперь: список, список, список... Никакого списка! Всего доброго. Вот, между прочим, видите фото: мой отец открывает сессию Моссовета.

– Спасибо. Выздоровливайте.

– Вот это бы не худо, а то шум в голове, понимаете, шум... Вот тут справа, как пчелиный рой, а в левом – идут поезда, гудки, вот так – бу-у... бу-уу... Спать не дает... Измучил... И так – пострадало столько людей... Через этот список.

Убийца

Список вещей в дорогу («не забыть»), список попробованных женщин, список... Человек читает или пишет список, когда собирается что-то делать или понять, это бумага для будущего. Список игроков и солдат, покупок на рынке, свадебных гостей (кого с кем посадить), дней

рождения сотрудников в мае, «чего я хочу добиться в новом году» (ничего; если только получше засыпать и не трогать несовершеннолетних и верных жен, да и то недосягаемо)... Список документов, полученных для работы, сведений, не подлежащих разглашению, любимых песен, посещаемых сайтов, растений и животных Тульской области, занесенных в Красную книгу... Список «что я должен сделать для убийства Уманской Н.», и мне помогут вот эти поименные ребята, и родители их пострадают за плохое воспитание... и генеральный прокурор дернется замять... — ну, допустим, это уже *версия*. Список «родителей одноклассников — всех, кто может помочь семикласснику-полиглоту-фантазеру захватить Кремль» — версия два. Список... оружия? гомосексуальных приятелей? Список — из-за него пострадали другие; что-то таилось в нем сильное, такое, что мальчик сунул бумагу в карман в решающий день, чтоб прочесть смертельно красивой, нежной этой, кудрявой и кривоногой посольской дочке на мосту, и она удивится (испугается, полюбит, узнает) и в Мексику не уедет... Хотя все равно не уедет — ведь он взял с собой и пистолет... Список — презираю бумаги, торчащие из карманов мертвых людей, — возможно, ему уже после выстрелов подсунули пару листочков в карман, чтобы побыстрее и без последствий для окружающих объяснилось все, чтобы поймались все, чтобы и мы через шестьдесят лет насадились губою на крюк и повелись в подсак на невидимой леске с приземлением на сковороде.

...Вот он идет (институтские преподаватели представляются костлявыми и долговязыми), маленький старичок в кепке, ползет по мосткам, уложенным на строительную грязь, несет свернутую газету. Сергей Иванович Шахурин, наркомов брат, не человек — злой город: шесть лет моих ночных штурмов, подкопов, голодомора, мортир и катапульта, и море усталой ненависти;

а теперь вылез из норки и идет не озираясь, в дряхлой близорукости, видя только стены собственного мира, небольшого, как картонная хомячья коробка, где ему суждено доскрестись до последнего дня... Хоть кричи: отдай мое время! отдай мое сердце!.. Он шел как заведенный механизм: топ-топ-топ, еще издали приметив свободную лавочку, и внутри его что-то похрустывало и металлически пересыпалось, похожее на завядший букет, шуршащий по мусоропроводной глотке. И я сразу понял: пусто-пусто, лучше б мы его не нашли, остался б телефонным номером, надеждой, высоким и лобастым институтским... часовым семейных тайн, — достался б нам трупом, ничего бы, похоже, не изменилось... Хотя...

— А? Вы? Сядем давайте.

Он расстелил заготовленную газету на двоих, и мы сели лицом к Патриаршим прудам. Я засветил улыбку и затронул погодные условия, крепость внешнего вида исследуемого организма и детали окружающего ландшафта. На ландшафте наркомов брат включился:

— Я ведь активный участник борьбы против реконструкции прудов, — просипел он. — А вы читали книгу Алексея Ивановича «Крылья победы»? В музее на Поклонной горе отдельный стенд посвящен... Мундир видели? А я, — звук пропал, и он пару раз сглотнул, припоминая, где сейчас вот находится и что из себя представляет, — зашел... а витрина пустая! — Ошеломленно зыркнул на меня слезящимися бессмысленными осколками глаз. — А оказалось, говорят: ордена; мы забрали... как это, на подлинность что-то...

— На экспертизу.

Он облегченно кивнул и на волне благодарности доверчиво потянулся к моему уху:

— А вы знаете, что Алексей Иванович был в санатории Берия?

Я кивнул. Голосок его сочился, капал из-под задыхания:

— А мы ничего не знали. Все семь лет. Я носил передачи. Как-то сижу в приемной, вдруг подходит человек... Сказал: Алексей Иванович через неделю выйдет. Оказалось, Селезнев, его заместитель. Его первым выпустили. Он и сказал, что Алексей Иванович во внутренней тюрьме на Лубянке, все семь лет. А мы ничего не знали.

— Он что-то рассказывал? Про допросы? Про тюрьму? — с нажимающей отчетливостью спросил я.

— А мы ничего не знали. Алексей Иванович сказал: к этому вопросу мы не будем возвращаться никогда. Великий человек! Сталин к себе почти каждый день вызывал. Вы это знаете? В какие сроки эвакуацию провели... Конструкторы его уважали. Я тут зашел... генеральный конструктор завода «Сатурн»... говорит: дам денег на переиздание «Крыльев победы». А уже вышло три переиздания... Вы читали?

— Да.

Он не видел меня.

— Хотелось, чтобы добрая память осталась. Нас шесть было братьев, я один остался.

Вот почему ты выполз.

— А внукам как-то это... неинтересно. И детям. — И он затих в ледяном одиночестве предсмертия, соседствуя на лавочке с единственным известным ему земляком. Я без жалости, лишь в интересах усыпления заговорил, запел былины про Яковлева и Туполева, про злосчастный «Як-9», про командира эскадрильи свободных охотников, треснувшую стойку шасси и задержку вылета из Оренбурга опытного образца, про то, как отчаянно-глупо спикировало звено калмыка Зайцева на зенитную батарею, про пьяное коварство Васи Сталина и про то, как применялась дробеструйная обработка для местного уплотнения вертолетных лопастей, и наркомов брат в восторге лопотал, кивал, оживал и наконец прокудахтал:

— А встречаться... мы отказывались потому, что всех... интересовал только Володя... Только то, как его убили...

Все-таки убили.

— А это большая трагедия для семьи. Хороший был мальчик. Любил оперу. Все ходил арии напевал, — и он вдруг усмехнулся. Что-то там скользнуло перед его взором, на миг у изображения появилась резкость.

— Ваш брат Алексей Иванович, — затянул я с тоской, подмигивая пробегающей мимо разноцветной малышне, — не пытался как-то... восстановить справедливость?

— А мы ничего не знали. И Уманский считал, что это не Володя. А что сделаешь... Алексей Иванович привлек Шейнина для расследования. А ему сказали: что за расследование? Какое такое расследование? Ты хочешь тачки катать? И Алексей Иванович испугался... Алексей Иванович был в санатории Берия. Вы знали об этом? Вы были в музее на Поклонной горе? Там есть стенд... С парадным мундиром Алексея Ивановича. А я прихожу последний раз, а витрина — пустая! — он с ужасом запнулся. — Что такое? А оказывается, — облегченно хихикнул, — забрали ордена, делать... на подлинность...

— Экспертизу.

— Да. Я им говорю: хорошо бы увековечить память... Алексея Ивановича. Улицу назвать. Завод. Конструкторы его уважали. Мне генеральный конструктор «Сатурна» обещал: дам денег на переиздание... Вы читали «Крылья победы»?

Я поднялся с подстеленной газеты и двинулся вдоль ограды забетонированной ямы, называемой Патриаршими прудами, быстрее, быстрее, чтоб обогнать оклик, если старик меня окликнет; два месяца он еще звонил каждый день, а потом, я думаю, неспроста перестал.

Весь вечер (разболелся затылок) маялся: караулил «мотоциклиста 40–50-х» на «Молотке», — никакие,

конечно, не сороковые, но действительно из ранних, еще в черно-синем ЦАП-лаке, до повсеместного распространения «серебрянки», хотя и неизвестного происхождения (я склоняюсь к правоте меньшинства, указывающего на «Стальзавод»). Соревнуясь с уже заколебавшим сообщество «всюдуискателем», второй год скупавшим все и втридорога, мы начали с тысячи рублей и, накидывая по полтиннику, поднялись до полутора, но лот сняли с торгов. Скотина! Какая-нибудь знакомая, небось, позвонила хозяину и посулила сто евро; ничего, мотоциклов у меня таких два, и даже с пятиугольным сиденьем... В «Малолетках» на pupsik.ru не выложили свежую девку, только в «Позвони мне» новенькая Гела на двенадцати фотографиях пилила себе промежность витым телефонным шнуром... Знакомая, кстати, фамилия – кто такой Шейнин?

– Величина. Лев Романович. Начальник следственного отдела Прокуратуры Союза, – Гольцман погрузился в занудливые свои карточки, – гособвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе. Выполнял задания правительства в Турции и Иране. Писал. «Записки следователя», между прочим, гремели. Молодежь из-за одной этой книжки приходила в органы. Вот я тебе почитаю, один неравнодушный писал, демократ: «Шейнин – литератор, драматург, один из самых расторопных подручных Вышинского по политическим процессам тридцатых годов, включая процесс Бухарина. Энергичный, сметливый, болезненно мнительный, опасавшийся почему-то рака прямой кишки, то хладнокровный игрок, то суетливый делец и политикан, он весь в грехах, тайна сих грехов велика». Вот еще: умел вызывать у подследственного «странное поверхностное согласие с самыми нелепыми предположениями».

– Это значит... Это. Значит.

Историю о подростках, убитых разлукой на Большом Каменном мосту, паковала для хранения лучшая ищейка

империи (период 1930–1950), и если нам что-то не нравится в упаковке, то с той стороны...

— Ты не допускаешь, что Шейнин мог в этом случае действовать в интересах установления правды? — Гольцман следил за моими гримасами.

— Я думаю, кроме интересов правды там мешалась куча других интересов. И когда их согласовывали, правду могли затоптать. Да нет, нет пока ничего серьезного. Ни одного подтвержденного факта. Третий на мосту... Пропадавший пистолет... Их убили... Только слухи, воспоминания о воспоминаниях. Но все очень медленно. И все, что слышу про наших клиентов, как-то душит... Что-то там неприятное внутри...

— Солидарен, — кивнул скучный и легко нетрезвый Боря. — При опросе пять жителей Дома правительства добровольно, независимо друг от друга сообщили: и они слышали, что у Шахурина нашли какие-то страшные бумаги. Но никто сам не видел. Только одна престарелая беспартийная точно знает, что за бумаги нес мальчик, — Миргородский закусил улыбку. — Документы, протестующие против режима Сталина. А застрелил девочку потому, что та отказалась провезти их дипломатической почтой! Все сходится! — и Боря истерично захохотал, взвизгивая и утирая под очками словно распаренные веки, и затих. — Валить надо из этой сказки. Пока не поздно.

Через полчаса пустых слов и добавлений заварки Гольцман наконец спросил:

— А вот то лицо. Тот молодой человек. Тот предприниматель, что установил тебя в Измайлове.

— Чухарев.

— Чухарев. Он ведь что-то хотел. Пока его не остановили. Что с ним стало?

Мы с Борей молча смотрели на Гольцмана. Что с ним стало... Что становится со всеми. Потек водой. Лег песком.

— Я оцениваю ситуацию так: он планировал использовать нас в расследовании. Он опирался на какую-то информацию. Этой информацией мы пока не обладаем. Мы можем сберечь время, если найдем его и убедим поделиться информацией. Уже с других позиций.

Но... Но могли мы это сделать с самого начала, однако не сделали, боясь уклониться от курса и уйти в космос и, как и все, пропасть. Клиент, если перестаем работать втемную, может осознать свою жизнь и пойти за нами на мост. Инстанция не согласует.

— Тут есть риск, — гнул Гольцман, — но пора чем-то пожертвовать.

Пропал Миргородский, еще прошло время, наступила темнота, под фонарями мокро посверкивали тополиные листья.

— И вот еще, — сказал Гольцман. — Ты не прав. Подтвержденный факт у нас появился. Я тут все свел по Америке. И все сошлось. Имя первого убийцы. Нине не повезло.

— Кто?

— Рузвельт. Если бы он ее не тронул, жила бы девочка и сейчас.

И он пропал.

Я кивнул секретарше:

— Идите домой. Не надо ничего доделывать, собирайтесь и идите. — Я шел за обиженной спиной, гася лампы, вырывая клыкастые вилки из розеточных гнезд, из сети; с лопающим звуком гасли мониторы, задохнулся кондиционер и оторопелая дрожь пробрала холодильник, и теперь только из-за стекла доносился качельный вой и лязг грузового жука-навозника, опрокидывающего в глотку мусорные контейнеры. Я заперся на верхний, нижний и задвинул засов — в дверь сразу постучали. Я отпер все наоборот и отчитался:

— Я один.

Алена стояла посреди Москвы, далеко от встревоженного мужа и скучающего сына, в расчетливо подобранных элементах недавно купленной одежды, в запрелых от про-

бежной гонки трусах, пытаясь нащупать за порогом клочок суши, куда бы поместился узконосый сапог; губы тряслись.

— Скажи: ты ведь жалеешь, что у нас нет возможности видаться часто? — с задыхающейся злобой. — Тебе не хватает меня?

— Да.

— Ты вспоминаешь обо мне? Разговариваешь со мной, когда меня нет?

— Да.

— Я думаю о тебе все время, — ее словно рвало, сейчас ударит. — Скажи, ты бы мог прожить всю жизнь со мной, день за днем, если б сложилось все по-другому?

— Да.

— А хотел бы? Скажи, хотел бы? И чтобы любовь не кончилась?

— Да. Хотел.

— И сейчас? В настоящем времени?

— Да. Хочу. Я хочу.

— Чтобы что?

— Как ты сказала.

Она обмякла и неуверенно просияла; привстав на цыпочки, достала поцелуй, раскусила и разжевала «хочешь, я останусь?», «я подожду тебя и отвезу домой?», «хочешь погуляем?». Помялась, жалко заглядывая в душу сквозь глаза, и вечность спускалась по лестнице, замирая на каждой ступеньке, боясь не услышать «вернись». Я постарался потише и — закрыл дверь, замкнулся на все обороты, прошел в комнату, куда не доставала луна, и опустил на пол. Погасло все и слегка расступилось.

Америка

Макс Валлах родился в июле 1876 года и умер через семьдесят пять лет 31 декабря, прожив большую часть своей жизни не Мейер-Генох Мовшевичем Волах-Фин-

кельштейном, а Максимом Максимовичем Литвиновым, прозванным в партии Папаша или, по-газетному, «Сталинский знаменосец мира». Сын мелкого банковского служащего начал жить в исконно еврейской семье (город Белосток), выучился в хедере и достиг должности «бухгалтер-кассир»; всю жизнь помнил погромы, считал себя русским и, когда давил моль, приговаривал «пся крев!»; обожал маму, но никогда не вспоминал, потому что бросил ее, как и свое происхождение, оставив от прошлого только пачку писем родственников и любимое блюдо — жареную селедку, залитую яйцом, — жена убежала, затыкая нос.

Женился в сорок лет (смутно поминается несросшийся гражданский брак) на английской писательнице Айви Лоу, дочери полковника происхождением из венгерских евреев, племяннице Сиднея Д. Лоу, автора «Словаря английской истории», католичке, проповеднице свободной любви, женщине с лошадиным лицом.

Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия: ...Все Уманского любили и все его звали Костя. Умен, остер и обаятелен. Он младшим входил в «литвиновскую плеяду» — Суриц, Штейн, Рубинин, Стомоняков, Уманский — все они смотрели на отца как на учителя, зная его честность и неподкупность.

...Костя скорее богема, чем чиновник, хотя во время войны в нем изменилось многое (кроме бурной личной жизни) и он стал больше чиновником.

...Жена его скучная и занудливая, сильно Костю ревновала, догадываясь об изменах, и постоянно ныла: то ей нужен рефрижератор, то витамины... Встречая нас в гостиниой, предупреждала: будет просить денег — не давайте. Сам Костя мог пригласить позавтракать в ресторан, а в последний миг куда-то исчезал, и платить приходилось нам.

– Говорят, Уманский ухаживал за вами?

– За кем он только не ухаживал... Его обаяние распространялось на всех. Но романа у нас не было.

А вот каким увидел наркома иностранных дел на вершине (вот только что во Франции с размахом отгуляли юбилей – шестьдесят лет!) относительно пристрастный человек: «Максим Максимович в белейшем пиджаке и белейших брюках, сияющий, самодовольный, бодро и весело вышел из вагона-ресторана, оркестр оглушительно заиграл “Интернационал”». Так написал о М.М.Литвинове Ф.Ф.Раскольников, муж знаменитой барышни Рейснер, что командовал Балтийским флотом, вторглся в Персию... Один из баловней смуты – но мировая революция не пришла, и они отправились в могилы через малозначащие должности послов и директоров издательств. Раскольникова пригласили приехать из Болгарии в Империю отдохнуть для расстрела, и он бежал, и забрасывал императора письмами, и через два месяца после объявления вне закона умер в Ницце, не перенеся известия о заключении советско-германского пакта. (По другим версиям убит агентами НКВД, «выпал из окна».)

Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия: Как-то папа говорил по «вертушке» со Сталиным, и Миша спросил:

– Пап, ты вождь и он вождь. Почему вы с ним на «вы»?

– Потому, что не ношу смазных сапог и не хожу на охоту.

Императору потребовалась Америка, и Литвинов ему ее доставил. За установление дипломатических отношений с США император отдал наркому дачу в Фирсановке – отделывал с любовью для жены, но жена застрели-

лась, император не пришел на похороны (на самом деле пришел и рыдал так, что трясся гроб).

«Ермака за покорение Сибири удостоили шубы с царского плеча. Меня же Сталин одарил Фирсановкой».

А жене Литвинов сказал: это моя «Святая Елена».

Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия: Мама считала верхом гостеприимства приветствовать гостей: вот вам Бог, а вот порог! После приемов она жаловалась: у меня улыбка устала. Мама очень хотела, чтобы английский стал для нас родным, и мы пели на ночь английские песни. Хотя часто бойкотировали ее пожелания. Мы хотели быть как все. То, что у меня не было деревенской бабушки в платке и валенках, до сих пор воспринимается мною как лишение. Меня просили никому не рассказывать, что мы ездили в Париж и видели Эйфелеву башню. Но мы и так бы не рассказали.

Ловкий на язык Рузвельт убедил своих: с существованием русских следует смириться; с пьяными, безумными, узколобыми, земляными... поджигающими леса. Зачем он это... Зачем на равных распиливал землю с императором, англоязычным не понятно и по сию пору; что-то необъяснимое: оказался легковверен, вынудили немцы, легкомыслен и беззаботен, наивен и стремился к упрощениям; слишком уступчив, считал Сталина всего лишь подозрительным и надеялся его вовлечь в цивилизованную жизнь белых рубашек; ослабел накануне смерти и не смог противостоять напору красных... Как Рузвельт смог проглотить прошлое, разрывавшее всем глотки?.. Черчилль скулил, выл и не мог проглотить, маясь в кабине бомбардировщика, летя в Москву: «Я размышлял о своей миссии в этом угрюмом, зловещем большевистском государстве, которое настойчиво пытался сразу задушить при его рождении и которое считал... смертельным врагом свободы...» Только император знал, что

делать с прошлым, но, как всегда, устами переводчика, указал в другую сторону: «Премьер Сталин говорит, что все это относится к прошлому, а прошлое принадлежит Богу».

А кому принадлежало настоящее? Никто больше американцев не пострадал тогда, в начале, от безликости красных кирпичей; годами сидели в московских приемных и разглядывали комнатные растения в поисках одного хотя бы нормального, да попросту *живого*, способного услышать, понять вопрос, объяснить, что здесь происходит *на самом деле*, но — страшный сон — нескончаемо брели от худшего к худшему; император — «противоестественный человек», Литвинов — «упрямый в силу еврейского происхождения», «кажется, вообще лишен совести», Молотов «просто тупица» и «робот», Уманский «ходячее оскорбление», в Кремле заседает «главная банда». Американцам казалось, главное — *люди*. Американцы буквально с ума сходили от первого глотка русского воздуха: от чадающих примусов, исчезающих навсегда граждан с дипломатическими паспортами и ожидания разрешений; от продуктовых посылок, протыкаемых железными прутами на таможне, неработающей канализации, требования дешевых кредитов, не замечания законов и тысячелетних правил жизни народов с народами; от наружного наблюдения, от подкормки компартии США, от жестокости, от высокомерия и заготовки дров... Когда двенадцать американских дипломатов (с тремя собаками) покатали поездом Москва—Владивосток познаться с местом своего нового пребывания, они осатанели от бесконечности суши, от немых тарелок, мисок и очередей, от завистливых взглядов на станциях и молчания неоткрываемой земли; и люди правды бесстрастно подшивали страницы в историю их болезни: скучали, напился, напились, бросались из окна поезда, свалился с полки вместе со своей собакой на беременную жену воентехника первого ранга Каганова, а также

«обнажив свои половые органы, произвел мочеиспускание, загрязнив купе в присутствии педагога младших классов М.Беленькой»... Они ехали, ехали, а эта беспробудная и непонятная действительность никак не кончалась, отношения с русскими непонятным образом унижали: «Не какая-то неосведомленность заставляет нас ломать голову над загадкой России. Мы просто неспособны понять правду о России, когда видим ее» — угадал много после один тамошний дипломат (по фамилии на К).

Вот об этом, должно быть, часто думал Рузвельт. Русских президент не понимал. Император (до поры мало думавший об Америке) заметил этот мозговой изъян, но не торопился включать освещение, этим, в конце концов, можно пользоваться, и, разговаривая с русскими, Рузвельт продолжал блуждать среди пугал, чучел и теней. За обедом в Ялте президент оглянулся, словно потревоженный чьим-то боковым тяжелым взглядом, и спросил: а кто сидит за обеденным столом напротив Громыко (Андрей Андреевич использовался только в качестве ориентира). Император пригляделся и опознал: «А-а... Вот этот? Как же вы не знаете. Это наш Гиммлер». Напротив Громыко обедал Лаврентий Берия.

Первые ходы фигурами. Президент двинул в красную Орду, на остров людоедов Уильяма Буллита. Император ответил Трояновским, «старым большевиком».

Посла Буллита в Москве надули: с аэродрома волоком на банкет, в тепло-уют, на мягкие диваны, в кремлевскую квартиру маршала Ворошилова; закармливали, поили, его полюбил каждый, вечер и ночь его вращало и кружило розовым цветком посреди хоровода «главной банды»; ради него, американского гражданина, вдруг собрались все основные убийцы миллионов и особо отличившиеся маньяки мировой резни богатых, и все они до одного вдруг показались хмелеющему послу «умными, энергичными, опытными людьми», «удивительно проницатель-

ными», «с чувством юмора»; примечал он «красивые лбы», «чудесное самообладание» и «доброту», в хозяевах умилительно сквозила «забота о благосостоянии трудящихся»; ему подливали, из глубины сердца звучал следующий гост, и посол отчетливо понимал, упираясь затылком в ковер: *он*, именно он покорило собственным обаянием и обаянием американского процветания без исключения всех, и отныне *ему* предстоит взвешивать и определять судьбы мира вот с этими своими новыми друзьями, славными парнями, маршалами и наркоманами, акционерами одной шестой... Он вдыхал и выдыхал радуясь — невероятно удачное начало! Но вдруг полыхнул свет: прямо к нему двигался, не касаясь земли, император, живой, осязаемый, нестерпимо настоящий, огненным куском плоти, шаровой молнией, зависшей посреди гостиной, обдавая отпрянувшие лица подземным жаром, и хлынули слова. «Я хочу, чтобы вы поняли: в любое время, днем и ночью, если пожелаете встретиться со мной, дайте знать — я приму вас тотчас», — произнесло Высшее Существо, для которого до этой минуты *не существовало* никаких послосов никаких стран и никаких полномочий, но Буллит из США — существовал!

И не просто существовал — провожая гостя к дверям (не ради мертвых правил), император прошептал ему на ухо: что хочешь? что для тебя сделать? Да, я серьезно спрашиваю (прерывая ответные бляения: да я не решаюсь... да я стесняюсь... вы и так слишком добры), давай! без стеснений! желание есть? может, мечта какая? ни одна душа на свете (при чем здесь дипломатия? обижаешь! мы же друзья!) не дорога мне, как твоя, сделай *мне* одолжение — попроси! И мировая история трехцветной кошкой грелась у Буллита на коленях, и (хотя что-то трепыхнулось, что-то по-зимнему тронуло затылок: *не проси*; что-то такое подвсплыло в памяти черной корягой, предостережения чьи-то, инструкции принимающей стороны) он жахнул: да, есть одна вещь, которую я

хотел бы получить (точно так выразился американец — «я хотел бы получить») — дайте мне землю, пятнадцать акров земли на Воробьевых горах. (намечали там храм Христа), а мы отстроим там посольство Америки (признаться, с президентом на пару намечтали такое, присев на дорожку), и поплывет оно величественно над вашей стороной кусочком Америки (в стиле особняка Джефферсона, автора Декларации), в любую погоду видное отовсюду, выше всех, навсегда — в небе, над Москвой и Советским Союзом. Мне эту землю... Дайте!

«Она ваша», — сказал мастер и хозяин времени и земли.

И внезапно отвел протянутую для прощального пожатия ладонь, схватил голову Буллита обеими руками, и поцеловал посла всасос, и не отпускал, пока не добился ответного лобзания, и — отпустил. И надутый шарик полетел — обмирая, блаженствуя, всхлипывая и выписывающая пьяные кренделя, потев от тепла человеческих сердец, и с губ его слетало: «Невероятно... Невероятно!» Он так и ходил улицами, гостиничными коридорами, возился в постели, переворачивая подушку прохладной стороной, и не мог уснуть: вот *все это* только что произошло именно со мной, *это я*, я никогда не стану прежним, сверхприбыльное, фантастическое начало! — его распирала сила, он думал о равнинах Европы, его заботили Балканы, угрозы Японии, недолгая дружба Германии и Польши — Тихий океан! — овцеводы с нижнего Дуная (как выражался Бисмарк, но теперь другим великанам предстоит мирить цыган). Планету переполняло несделанное... Буллит разбудил секретаря: пиши! — и диктовал посреди ночи, прерывая собственные изумленные паузы: мой президент! Я только что из Кремля, добился поразительно многого, — и земля подрагивала под его ногами, шевелились волосы на макушке, и лампа до утра не гасла, словно в хижине первого миссионера, обожествленного туземцами владельца будильника и патефона.

Уильям Буллит, первый посол США, прожил в Империи еще три года. Больше тысячи дней.

После той первой ночи его ни разу не приглашали в Кремль. Он *ни разу* не говорил с императором (даже по телефону). *Ни разу* не видел его, и даже издали, даже на общем приеме — *ни разу*. Ни маршала Ворошилова. Ни «президента СССР» Михаила Калинина. И вообще — ни одного из своих новых друзей. Его забыли. Жизнь Буллита в Империи потеряла смысл, он не отражался в зеркалах, сквозь него проходили взгляды... Он стыдился первого своего ночного восторга, несовершенство своей жизни и порой, я уверен, задумывался: а *взаправду* ли все это случилось с ним? Ведь ни зарубки на дереве... Ни воронки от взрыва... Только надиктованное пьяными словами письмо. Буллит страдал. Он маялся. Невероятными усилиями он останавливал на себе свинцовые очи мелких служащих, и вознелюбил русских, и жил скучной жизнью клеточного попугая, кастрированного кота. Спасаясь от надвигающегося безумия, обучал красных кавалеристов игре в поло — обучение закончилось, как только командиру засветили мячом в башку. Раз в год на пятнадцать минут его принимал Молотов и зачитывал, еще глубже погружая рассудок посла во мрак, позапрошлогоднее «коммюнике», буква в букву. Посол приходил небритым. Внезапно взмахивал рукой, передвигал на столе не принадлежащие ему предметы. Душно расстегивал пуговицы, пытаясь прорвать пелену собственного несуществования, и, наконец, как-то выпалил, едва не заплакав: «Наше сотрудничество — маленькое и слабое растение, не надо мочиться на него». Молотов дочитал свое и — не подняв лобастой головы: «До свиданья».

Трояновскому же выпали в Америке тихие годы: взаимное возбуждение прошло, кредитов не будет, говорить не о чем, — но нужной Инстанции сверхпроводимости посол не показал: ему постоянно без разрешения что-то *казалось*, он не к месту употреблял «я думаю, что...» и

отсылал искренние *письма*, сохраняя в физиономии некоторую неповторимость; он нравился Рузвельту и советовался с водителем-негром, как распутать американо-советские затруднения (если не вранье, если не отголоски легенды о Рузвельте — будто бы тот оттачивал речи на простом маляре, подновлявшем Белый дом). Литвинову хотелось отправить в Америку из «плеяды», своего — и они с Трояновским сразились, как сражались в империи все — лицом к императору.

Литвинов: «...это не первый случай недисциплинированности Трояновского и игнорирования директив... Если Трояновскому вовремя не будет сделано внушение, то мы не ограждены от дальнейших крупных неприятностей с Америкой».

Трояновский кипящей смолой, с рассчитанной долей яда, с доимперской прямоотой, уже подзабытой императором: «Я знаю, что этот человек зол на меня до последних крайностей за то, что ЦК не согласился с его позицией по кандидатурам для полпредства. Свою злобу он теперь вымещает на мне. У него достаточно мелочности, чтобы доходить до обвинений... Вынужден ставить вопрос о моем отзыве отсюда... ибо я отдаю себе отчет, что Литвинова снять невозможно». Человек, который *мог все*, подчеркнул слова после «ибо», приказал: Литвинову не показывайте, а Трояновского я хочу послушать.

Полгода Трояновского слушали в Москве (единственную фразу: «надо искать точки соприкосновения») и отпустили слепым. Самолеты, океанские пароходы... посол шарил вокруг себя и шептал ближнему — советнику Сквирскому, как съездил, как принимали, ослеп, не вижу, что же дальше со мной... Сквирский не слушал, растерянно сказал: «А меня отзывают... На повышение. Полпредом в Афганистан», — и Трояновский наконец-то *увидел* махонький проблеск, что-то прорезывалось сквозь... Он уставился в пустоту, на место, очищенное от Сквирского, и не отрываясь смотрел, пока там не начали

проступить буквы «К...» — Константин Уманский, неизвестный ответ на вопрос, носимый в сердце каждым железным: гожусь ли я дальше жить?

Сквирский тоже заразился слепотой, все не мог успокоиться и наконец из Кабула написал старшим: знаете, я пятнадцать лет отработал в Америке, меня все так полюбили, знаете, как меня «беспрецедентно» (три раза употребил это умное слово) провожали: прием на пятьсот гостей, торжественные завтраки в мою честь, передовицы в нью-йоркских газетах, вы разве не читали телеграммы ТАСС о «проявлении неслыханной теплоты» (не молчите!!!)? Через полтора года его арестовали и расстреляли в начале войны, припомнив эсеровские корни; прожил пятьдесят четыре года, пухом ему земля.

Сквирского вычеркиваем — вводим Уманского. Рузвельт болезненно шурился на застеночное копошение и пересменку мутных фигур в русских сумерках и, уже раздражаясь от бессилия мозга, приказал: «Узнайте о нем побольше. Нам не следует оставаться пассивными». И почтовые голуби донесли: ответственный за ошейники из колючей проволоки для иностранной прессы, «золотые клыки», мы его ненавидим — вот кем пошел император.

«Мое назначение встречено поразительно хорошо, — доложил Уманский. — Я не ожидал. Опасался, что недруги напомнят о моих грехах по линии цензуры». А что другое он мог написать?

Трояновскому его смена, победитель показался человеком способным, но неглубоким.

Америка-2

И за краем света, где не конвертировалось ничего, однажды (но вот когда?) император нащупал и поднес бусинку к глазам и катнул между пальцами: узнайте о нем побольше. Объект десять лет печатался под псев-

донимами и анонимно, служил и *формировал сознание* гостям, и заросший дед-морозовской ватной сединой пациент Бернارد Шоу солнечно-нагрето жмурился под присмотром Уманского на вагонной подножке: «Глубокое утешение, сходя в могилу, знать, что мировая цивилизация будет спасена... В России я убедился, что коммунистическая система способна вывести человечество из кризиса и спасти от полной гибели». А голод? как же голод? Кто-то из смелых и не местных (или купленных и наученных) спросил: «А голод?» (В Поволжье ели людей). «Помилуйте, когда я приехал в Советский Союз, я съел самый сытный обед в своей жизни!» И паровозный гудок, и замахали руки с белыми манжетами.

Следующее достижение: пациента Герберта Уэллса пустили к императору (может быть, именно в тот день император взгляделся в невысокого, шуплого, щели меж золотых зубов, круглые очки, Уманского?).

К любимцу русских гимназистов, собирателю оловянных солдатиков Герберту Уэллсу приближалась смерть, и в оставшееся время он решил придумать план ежедневного счастья для населения Земли и для затравки поработать «почтальоном при почте амура двух гигантов». Император и Рузвельт доверят фантасту тайны души, и он понесет их над солеными пустынями Атлантики, подправляя, обогащая, переваривая, — трое (включая почтальона) дадут населению счастье, завершат начатое Христом... С выражением безмятежной скуки на лице император слушал-слушал (в переводе Уманского) планы мирового переустройства на началах справедливости, и вдруг совершенно бессвязно англичанин схватился за главное: «Иосиф Виссарионович, он спрашивает: что вы хотите передать Рузвельту?»

«Ничего».

Ничего.

После сдачи продукции, показав Уэллса, Уманский припорхал в языках пламени к Литвиновым (Максима Максимовича не застал) — переполняло. Айви Вальтеровна, английский легкомысленный мастодонт по прозвищу Мадам Литвинов, затеребила его (при восьмилетней дочери!): ну что? что? как он вам? ведь вы впервые? так близко, так долго (вот чего стоят архивные проститутки: «не раз выступал переводчиком при товарище Сталине»)... Кто? ну и кто же он?

— Фанатик, — якобы сказал Уманский.

— Чего? Фанатик чего? — стрекотала эта полоумная сорока.

— Диктатуры... — якобы протянул Уманский.

— Пролетариата? Диктатуры пролетариата или...

— Вот этого я еще не разобрал, — якобы признался Костя и странно потрогал собственное лицо — веки, брови, лоб (не присутствовавшие, но ведающие точно все, утверждают — Костя сказал не так: «Этого еще не знает никто»).

Он, анонимно-псевдонимная тень, английский и немецкий язык императора, мастер мягкими диванами, цветочными полянами, икрой и водкой вызывать нужные мысли, показал себя первый раз 13 декабря 1931 года — встреча с писателем Эмилем Людвигом (час пятьдесят) — и последний 1 марта 1936 года — беседа с опереточным «газетным магнатом из США» Роем Говардом (три с половиной). Мы пойдем на альтернативные выборы в Верховный Совет — подарил император очередному американскому идиоту сенсацию — и выбрал Уманского. Надписывая свое фото Говарду, он вдруг поднял глаза, в которых, отразившись, вздрогнул и пошел в бешеный рост человеческий эмбрион: «И вам подписать фото, товарищ Уманский?» — «Да. Да. Да. Конечно!»... И спустя месяц за спиной у посла Трояновского возник очередной литвиновский птенец — тот, что нравился всем и правильно думал, — и Трояновский потащил его в торбе за

спиной мучительные недели (чужой голос, чужие уши) и упрямо докладывал свое (а Уманский докладывал нужное: посла надо менять!), пока ему не сказали «хватит» и не поманили через страшно растущую Германию полужить за труды.

А Уманский отряхнулся и представился первым лицом; много спустя, когда уж началась война, ближний президента Гопкинс неожиданно вспомнил за столом Трояновского, «хорошего посла»: «...он понимал американцев, и американцы понимали его, всегда была возможность договориться» — вот так непрямо сказал он о том, каким не был никогда Костя.

Надписанное фото императора Костя вставил в серебряную рамку, раскрашенную под березовую ветку, и при фотографировании молодого дипломата при исполнении или в нечастые культурно проводимые мгновения отдыха оно, фото, почему-то всегда попадало в кадр.

Американцы не понимали личного несуществования русских. Им казалось, они не любят Уманского, а не любили они Империю, и Уманский, как и полагалось послу московитов, оттачивал иронию на «тупых» заместителях госсекретаря, заканчивал переговоры визгливыми скандалами, делал вид, что «твердость равнозначна грубости», мог себе позволить: кредитов не будет.

О чем они говорили (американский посол жаловался в Москве: *каждый день* ваш Уманский ходит и просит! ходит и просит! — Он ничего не просит, цедили ему, а *добивается выполнения*)? О сварочных машинах «федераль», конвенции об охране котиков, возмутительном задержании среди бела дня на улице советского гражданина Овакимяна под «фантастическим предлогом» (агент «Октан» «проявил малодушие», во время «приступа мучительного страха» явился в ФБР и сдал резидента); вели многотомную переписку по торговому вопросу (перевод тов. Вшивкова): в Америку везли спички, беличьей шкурки, сотни тысяч пучков бараньих кишок (нор-

мальный калмык и закавказские), козлину, щетину, барсучий волос (20 долларов за килограмм), икру, осетрину, белугу, центроуральскую, южноукраинскую и красную лисицу, восточного и западного осеннего сурка и особенно — тряпье (выдерживая конкуренцию с Румынией и Польшей). Я проснулся от изумления, обнаружив в именном указателе на «П» «Пилата Понтия, римского наместника Иудеи», между «советским авиаконструктором В.М.Петляковым» и Пихлак, «врио заведующего правовым отделом НКВД СССР», и устало полистал нужное место — оказалось, на банкете в торговой палате Уманский сказал: «Но если нашей стране и не грозит немедленная опасность, мы не можем смотреть как Пилат на теперешнюю европейскую ситуацию».

Даже говоря нужную неправду (к империи с двух сторон подступала война), Костя красовался, он три года пьянел, подзабыв о снегах. Его не вызывали в Кремль, учитель Литвинов берег до поры, держал подальше от братских могил и ночных расстрелов; но истекло — мы не могли уже смотреть как Пилат; Максим Максимович с нового 1939 года почуял: ему слабее пожимают руку — и среди глухой ночи вдруг со смятым смешком признался своей англичанке: «Неужели они пытаются договориться с Гитлером за моей спиной? Поверить не могу в такой идиотизм...». Словно у императора оставался выбор в игре «Лишь бы не я», когда все участники первыми хотели скормить Германии красных.

Это у Литвинова оставался выбор. Каждый вечер его подушка ложилась на заряженный пистолет, и первый, главнейший закон его квартиры в Доме правительства гласил: *нельзя стучаться к папе*, если папа ушел спать и заперся на ночь; стук означает — «пришли», он застрелится. Дочь забыла, забегалась как-то раз (и помнила затем вечно) и — *постучалась*.

Литвинов подождал.

И открыл дверь.

Но весной пришел день, когда через порог бывшей императорской дачи в Фирсановке переступили спешившиеся всадники, гасящие свет, — Молотов, Берия да Георгий Маленков, за окнами занимали позиции солдаты с петлицами НКВД. Литвинов не мог подняться, смотрел на гостей как на любимый киноэкран: вот как наступает...

«По натуре музыкант», поклонник оперы, он пока сидел в киевской одиночке, полюбил танцевать, любил и потом, хоть расплнел; с удовольствием носил мундиры, обожал бридж, делал зарядку, принимал холодные ванны; жена, Айви Вальтеровна, никогда не видела его небритым — через несколько лет после свадьбы он заболел и слег — только тогда обнаружила: у него, оказывается, рыжая борода! И жить не мог без кино, без Греты Гарбо, всюду первым делом в кинотеатры, особенно в Берлине, до свастики; позже (проездом, меняли паровоз) первый раз — не пошел, хотя Гитлер прислал адъютанта: если г-н нарком пожелает по обыкновению выйти в город для посещения кинематографа, власти рейха гарантируют ему, еврею, неприкосновенность. Муссолини чем-то еще впечатлил, какой-то властной организованностью, а Гитлера Максим Максимович презирал, брезговал.

Однако император не мог оставить Гитлера, мы не готовы воевать, пусть немцы займутся другими; но исчезать — еще не сейчас, объяснили Литвинову, 1 мая надо распято отстоять, пусть увидят живого, а уж после майских его раздавили на Пленуме — новый нарком Молотов закричал: «За дураков нас считаете?!» (да, именно Вячеслава Михайловича, именно дураком) — и согласно императорским обычаям главными кнутобойцами назначили друзей дома — маршалов Семена Буденного да Климента Ворошилова. И закровило, открылось мясо: что ж, ты «в вопросах подбора и воспитания кадров вел себя не вполне большевистски, держал на работе враждебных партии людей».

Под барабаны жертвоприношения Литвинова мучил стыд: в кабинете на Кузнецком идет обыск, беззащитная его изнанка. Не письма императору с просьбой об отставке стыдился он, а недоеденной плитки шоколада в ящике стола; еще он любил конфеты «трюфель», хранил до заплесневения, приученный тюрьмой к дисциплине, ел шоколад не сразу, а кусочек за кусочком.

Формулировка для печати обнадеживала — «в связи с собственным желанием», что означало жизнь («в связи с переходом на другую работу» означало смерть немного отсроченную; «как не справившегося», «как не оправдавшего доверия» означало немедленную смерть), но спасение выписывалось на одно лицо, сыну он сказал: «Вас обязательно возьмут». Сотрудников и друзей «обершпиона» арестовывали и пытали, полпредов отзывали, увольняли.

Айви Вальтеровна тем временем в Свердловске (теперь Екатеринбург) учила английскому языку (любила это, преподавала всем: офицерам Генерального штаба, физику Леоновичу, Раневской, психиатрам, домработнице, — сама мечтала сгладить в собственном русском акцент); Литвинов не нашел сил с ней говорить, и дочь шептала в телефонную трубку, а безумная англичанка кричала в ответ от Уральских гор: все знаю — «отставка с поста!» Газеты, правда, молчат, но слышала от знакомых — и бодрым голосом: у нас тут зачетная страда, правильно я выражаюсь?

— Тебе надо приехать, — мертвым голосом сказала дочь.

— Приехать? Я и собиралась приехать, но только после экзаменов, — немного удивилась англичанка.

Дочь устала, не знала, что говорить дальше, послушала и спросила в самом конце: не кажется ли тебе, что нам сейчас лучше быть всем вместе?

Англичанка недоуменно помолчала и без спешки взялась укладывать чемодан.

И Уманский (повторяя судьбу Трояновского) открыл чемодан, как собственный гроб, тронутый за плечо всегда ожидаемой и всегда внезапной телеграммой. Карьера не вышла, его пригласили в путешествие к сердцу земли с выходом в игольное ушко или крематорную трубу, и он ощупывал свою шкуру, как бы спасти, до последней шерстинки: позорный тесть — приказчик магазина готового платья, 1925 год — неуплаченные членские взносы, рекомендация в партию врага народа Старка, австрийское подполье, несмываемое — «сменил тов. Мих. Кольцова на должности», и то, что несомненно собираются указать в графе «причина смерти» — учитель, друг М.М.Литвинов. Ему казалось — вот и началось.

А началось раньше — близнец Кольцов (их путали) исчез для Уманского не бесследно. Лучшее императорское перо декабрьским вечером позвали под землю неприметные люди (брат приглашал к себе на чай с пирожными, но Кольцов побежал бульварами в ночной рабочий кабинет, оставив за спиной рукоплескания ЦДЛА: император попросил доложить писателям... и он — блестяще!.. И теперь — последнее время обносили чашей и что-то такое порывами он чуял — его не тронут!). Пять месяцев его били, пока Кольцов, как сотни тысяч до него, не признал все и, как забитое в кровь парнокопытное, направляемое пом. нач. следственной части НКВД капитаном госбезопасности Шварцманом, потянул по рельсам вагонетку к бездне; ему подкладывали в вагонетку новые костяки, про запас, еще гуляющих и пьющих на поверхности людей, литвиновских птенцов — и он повез всех, послушно прибавляя шаг.

«В 1932 году я сблизился с РАДЕКОМ, ШТЕЙНОМ, УМАНСКИМ И ГНЕДИНЫМ», и оказалось, что эта группа «энтузиастов советско-германской дружбы» «накопила важные связи с немцами» (Кольцову наступили на пальцы) — так и случилась «преступная шпионская связь, в которую я втянулся...».

«При некоторых разговорах на квартире УМАНСКОГО присутствовал американец – журналист ЛУИ ФИШЕР, близкий друг УМАНСКОГО, имел на УМАНСКОГО огромное влияние и общался с ним свысока. УМАНСКИЙ подчинялся его мнениям по всем политическим вопросам и не скрывал от него ничего...».

«Я (Кольцова ударили под дых), прямо говоря, был завербован РАДЕКОМ и передавал с 1932 по 1934 год шпионскую информацию при участии и содействии УМАНСКОГО...».

Нельзя сказать про Кольцова (как и про других), что его застали врасплох – железные люди знали, чего от них ждут. Нелегальная комиссия Политкомиссии Политсекретариата Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала напечатала секретный свод правил «Как коммунист должен держать себя перед следствием и судом», где следовало пролистать спасительную четвертую страницу («Некоторые арестованные коммунисты считают, что лучше на следствии дать какие-нибудь показания и потом на суде от них отказаться. Такой взгляд совершенно ошибочен и очень вреден»), чтобы навсегда остановиться на странице восьмой: «...Арестованный коммунист, обдумывая свой образ действий, должен прежде всего исходить из интересов партии и лишь потом строить планы, как легче ему отделаться от предъявленных следствием обвинений...».

Следователь Шварцман поднялся с табурета, отмерил шагами яму и выдал Кольцову лопату: «Заговорщицкая организация в Наркоминделе ставила своей задачей добиться сдвигов вправо... В ней состояли ЛИТВИНОВ, СУРИЦ, ПОТЕМКИН, МАЙСКИЙ, ШТЕЙН, УМАНСКИЙ...». Луи Фишер «состоял посредником при Литвинове», «подчинил себе УМАНСКОГО, давал указания в беспрекословной форме...».

Когда ему показывали *кого*, КОЛЬЦОВ каждому придумывал вину, шил, как платье из своего материала, но –

по фигуре, сочинял, но — правду. Разговор шел о настоящих, живых пока людях с работающей кровеносной системой, и он для правдоподобия рвал мясо из них, создавая вину на болотистой местности: молчал-молчал, но мог бы подумать → если бы подумал, думал бы так → думал именно так → давал понять → однажды проговорился → прямо сказал → постоянно говорил → желал = умышлял на императора. Для каждого правда пряталась лишь за одним делением этого спидометра (между крайними делениями от «молчал» до «умышлял»), но за *каким*? На что-то ведь он опирался! писатель же! что-то вдохновляло его! Задушевные беседы с друзьями, ночные, внезапные признания — до слез, наблюдения за дорогими людьми... и, выходит, Кольцов говорил про друзей *только правду*: «УМАНСКИЙ высказывал резкое недовольство и возводил клевету на политику ЦК партии... Он говорил, что более тесные связи с буржуазными государствами повлияют на внутренний уклад Советского Союза, будут способствовать изменению жизни...»; «ЛИТВИНОВ сказал, что новая Конституция в корне изменит политическую обстановку в стране... Наркомы и целые составы правительства будут ниспровергаться и вновь предлагаться с парламентской трибуны. С этой же трибуны мы с вами будем добиваться настоящей свободы...».

Предполагал ли Кольцов, что, показав в выпускном сочинении своих добрых знакомых с неожиданной стороны, сделает их мертвыми?

Готовился ли он беспокойными ночами к очным ставкам с ошарашенными, пахнущими домашними перинами друзьями, осаленными им, словно в детской игре «Чай-чай! Выручай!», — он сидел напротив неузнаваемым человеком с нереагирующими зрачками («Не Кольцов, совершенно другой человек, старик», как вспомнил *увидевший*, но вернувшийся на поверхность).

В двухстах метрах от кольцовских нар во внутренней тюрьме НКВД спал на кровати гостиницы «Москва» его

друг, отозванный из США Костя — ему еще только предстояло сделаться таким, чтоб никто его не узнавал. Днями он сидел в наркоматовских кабинетах, исчерпывающе полно отвечая на: «Ну, и как там у нас в Америке?», но на самом деле пытаюсь сказать одно: я не с Литвиновым, я с вами, я помогу, если надо топить, желаю иметь возможность доказать свою преданность императору и новому наркому — Молотову В.М.

Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия: — С маршалами Ворошиловым и Буденным мы дружили домами с тех пор, как попали в золотую клетку — в двести семей, обеспеченных полностью государством. Дружба заключалась во встречах за столом и жратве. Ворошилов ворчал: нет бильярда. Художники, с которыми я встречалась, считали Ворошилова гадом. Максим Максимович считал его обаятельным, добродушным сельским слесарем. А Буденный побаивался отца.

Я помню, мне пятнадцать лет, нужно в Москву. Буденный взялся меня подвезти на своем автомобиле, гладил мне руки: у тебя нет лошадки — я тебе подарю! Когда отвернулся и посмотрел в окно, я погладила его знаменитый ус. Он сделал вид, что не заметил.

Я встретила его после отставки отца и хотела броситься на шею: ведь это дядя Буденный! — он сделал вид, что не узнал. Он оказался трусом. Когда случайно увидел отца в коридоре кремлевской столовой, прилип к ближайшему подоконнику, помялся, выпалил: «Сквозняк. Простудиться боюсь», — и убежал.

Ворошилов, отхлестав Литвинова на Пленуме, протянул ему руку: «Вы же все понимаете...». И Литвинову эту руку пожал, ко всем предательствам он приготовился... Почему они делают так (дочь запомнила его размышления, да верно ли?) — они же этим не спасутся... Там все равно знают, с кем я дружил, это знание не сотрешь. Зна-

чит, они стараются *показать*, что боятся. Им кажется, император любит, когда боятся... Литвинов оправдывал всех. Кроме одного...

Из особняка на Спиридоновке Литвиновых переместили на подаренную императором дачу, под добродушный домашний арест. Два грузовика, присланные за вещами, пошли полупустыми — мебель оказалась казенной. Везли книги, одежду и два детских велосипеда, водитель с большим сочувствием беседовал дорогой с Таней Литвиновой, но с нажимом предложил забрать «на сохранение» велосипеды. Семью кормили, обслуживали; когда за глухим тускло-зеленым (его называли «правительственным») забором вместо трех машин охраны появилось восемь, бывший сталинский знаменосец мира последний раз позвонил по «вертушке». «Охраняем, — пояснил Лаврентий Берия, — Максим Максимович, вы себе цены не знаете!» — «Я-то знаю, а вот другие...». Берия положил трубку. Наутро во время завтрака через столовую, мимо жующих, в кабинет Литвинова прошли шесть мужчин в выглаженных зеленых комбинезонах и скоро вышли с кольцами проводов на плечах — дети рассмеялись и бросились посмотреть, как выглядит папин кабинет без телефона правительственной связи, и жизнь приняла правильный вид: муж-пенсионер брал уроки игры на рояле, скучал по сводкам телеграфных агентств и совершал совместные прогулки с детьми (два охранника в десяти шагах впереди и два — в десяти шагах сзади). На прогулки Литвинов брал таблетки сухого спирта, разводил в поле костерок и жег книги, подчищая на всякий случай библиотеку — сын Миша схватывал страницу и пробегал глазами, прежде чем отправить в огонь, дочь скучала — политика, какой-нибудь там Л.Д. Троцкий, ей, как она выразилась, «до лампочки». Дети жили по-прежнему — что изменилось? ничего не изменилось — только не приходят гости.

Америка-3

Болезненно семья отмечала: *первым* пришел отозванный из Италии и повисший на паутинке Штейн, и появлялся еще, но реже; ему простили: отважен в другом — Штейн опекал семью репрессированного друга. *Второй* появилась стенографистка Литвинова. Суриц, оставшийся без места, боялся, но приходил, Рубинина арестовали — не упрекнешь. В театре безымянная знакомая не побоялась подойти, Максим Максимович воскликнул: «О-о, вы храбрая женщина!», но Уманский не появился ни разу, с непонятным нажимом, со злорадным будто торжеством засвидетельствовал биограф наркома Шейнис.

Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия: После папиной отставки Костя первое время прилежно его посещал, а через месяц бросил. Бросили многие, но отступничество Уманского ранило Максима Максимовича больше всего. К этому предательству отец оказался не готов. Настолько оно противоречило образу, сложившемуся в нашем представлении... Богемный, смелый, открытый, разгульный человек... Вдруг — настоящее вероломство, не человек — железо! Оказался подлым и честолюбивым.

Вот — нужное, это император наверняка узнал. Молотов мог припомнить: бумаги Уманского император подписывал без правок. Это имело значение (как и признания Кольцова и многих других), но не настолько, чтобы отпустить Костю прежним: 15 октября Уманский ни жив ни мертв опустился на стул напротив императора (Литвинов уже почти полгода развлекался кострами в полях). Да еще Молотов там... Царила долгая, неестественная тишина. Наконец император распечатал уста: возвращайтесь в Америку. Ликование и

мускульная, испражняющаяся слабость спасенного оленя: да. Да!!!

Для виду поговорили еще про войну в Европе, возвращение Империи исконных земель. Уманский пропустил, даже не заметил, как случилось, что за столом оказался неприметный черноволосый человечек. Уманский задохнулся от возмущения, еще ведь не вышло даже протокольное время, еще далеко заключительные минуты, когда говорится главное, идущее от сердец, когда он сможет сказать взлелеянное, соседствующее со слезами... благодарность, государь! я очень понимаю... — и услышать прощающий отцовский ответ... Это же его время! Зачем? Ослепленно он поднял глаза на вечное полярное сияние.

«Познакомьтесь. Это ваш новый советник. Товарищ Громыко. Поедет с вами».

Уманский собрал силы и дружелюбно улыбнулся гримасой внезапной боли: вот и кончилось — его больше не будет. В начале первого ночи он навсегда покинул кабинет императора, волоча за собой нового товарища как прикованное чугунное ядро. Молотов остался, они говорили еще с императором до двух — о чем? Уманский, брэнча и звякая, поволок свою смерть, свое вычеркнутое будущее в сторону Белорусского вокзала, скуля: с какой отмщающей точностью судьба Трояновского досталась ему...

Косте оставалось размешать и допить горький осадок, прежде чем превратиться в отозванный мусор: договорившись с немцами, император что-то писал примирительное Рузвельту, но Империя вторглась в не понявшую своей пользы Финляндию (ей же предлагали хороший кусок земли!), американцы взяли сторону финнов, «моральное эмбарго» похоронило наши авиационные заказы, конгрессмены потребовали отозвать посла США из Москвы или прекратить высылать ему зарплату, и — Уманского перестали принимать; язвить стало не с кем.

Послу москвитов, сколько хватало голоса, оставалось хвалить успехи Красной Армии на Халхин-Голе в «пределах слышимости сотрудников германского посольства», отрицать союз с Англией и подчеркнуто верить в немецко-имперскую дружбу. Над раздавленной Францией, в прямой видимости 22 июня и Пёрл-Харбора, посол, подавляя зевки, выводил: «Товарищ Чувахин, посылаю вам череп ребенка неандертальца для профессора Хордлика» (а Хордлик на ближайшем конгрессе: «СССР – единственная надежда человечества!») – и хвастался хорошей жизнью глухонемых (113 тысяч) в Империи: «При социалистическом строе глухонемые впервые пользуются возможностью творчески проявить свои способности на разных участках социалистического строительства и заслужили доверие народа, который посылает этих глухонемых в органы власти». И только 1 марта 1941 года, когда Англия, по общему мнению, умирала под бомбежками, госсекретарь Уоллес вспомнил русского посла и с глазу на глаз («Я буду с вами совершенно откровенен, г-н посол. То, что вы сейчас узнаете...») передал «совершенно секретную и абсолютно достоверную информацию»: сначала Гитлер добьет Англию, Империю – после: Уманский (в Америке без этого мемуары не продаются) «смертельно побледнел», «молчал некоторое время», но: «справившись с собой», передал эту изготовленную немцами дезинформацию «первым лицам». Русские мемуары также невесело продаются без томатной крови – тот же самый куплет в исполнении музея еврейской истории: «Сообщение Уманского по авторитетности было на уровне сведений Зорге (*ложь*), уже принявшего (*ложь*) свою мученическую смерть... В конце войны (*ложь*) Уманский был вызван в Москву (*ложь*) для получения верительных грамот (*ложь*): в дополнение к обязанностям посла в США (*ложь*) он был назначен послом в Мексике. В аэропорту состоялись теплые проводы (*ложь*) заслуженного дипломата, само-

лет взлетел — и тут же рухнул. Погибли все (*ложь*). Это несомненно был полет *особого (пока неизвестно) назначения...*».

22 июня в США узнали, что паровоз взорвался, не дотянув до переправы. Цифры гибели и плена волокли за собой по шесть нулей, но русские умирали и дрались с первохристианским остервенением и упрямством; в дневниках генералов Гитлера к привычному самолюбованию начало примешиваться темное, брезгливое недоумение из-за неожиданной устойчивости земляных червей к перепадам температур. Андрей Андреевич Громыко получил долгожданную телеграмму и без сочувствия сообщил обрюзгшему от ожиданий худшего послу: «Вас отзывают», — Уманский тяжело приподнялся и *освободил место*, надеясь на пенсию, лишь бы не лагерь, не смерть.

Другой пенсионер, шестидесятипятилетний Литвинов, тоже понадеялся на войну и написал императору: работу, государь, *любое* назначение — и за обеденным столом мечтал руководить планомерной эвакуацией населения на Восток. Второе письмо отправил в институт гематологии: зачислите (и жену!) в доноры. Из института ему ответили с теплыми нотками в конверте, император не ответил, но начали долетать грозные раскаты: Максим Максимович, не могли бы вы... статью для иностранцев на Запад... Можете выступить по радио «туда», на английском? В том смысле, что — пора бы объединить силы союзникам. (Звуки становились все отчетливей, трески электрических разрядов слышней...) Кабинет в наркомате — займите, пожалуйста, что же вы без места?.. Литвинов проверял вступительные сочинения дипломатических курсов, выписывая особенные глупости в собственную коллекцию анекдотов («Предлагаю себя для выезда в воюющие страны для разбора причин, заставляющих их воевать»), — молния жახнула в него с привычной преображающей силой, и Литвинов очнулся

12 ноября на взлетно-посадочной полосе в Пензе, вылетая в Куйбышев и дальше — в Соединенные Штаты Америки — Чрезвычайным и Полномочным Послом Советского Союза. У начальника аэродрома, крившегося следом, желавшего, но не смевшего заговорить со знаменитым миротворцем, первым давшим определение агрессии, Литвинов, почуяв в себе прежнее железо, спросил: «Где здесь туалет?» «А у нас такого не бывает, — аэродромный начальник от смущения волчком крутанулся на месте. — А вы, Максим Максимович, с крылечка!» Литвинов рассмеялся. Первый раз (так ему запомнилось) за три года...

Империи, противостоявшей Европе, требовались танки, самолеты, автомобили, цветмет, бензин, сапоги, ту-шенка — все, что может дать Рузвельт, и в этот удар в этом крайне нужном направлении император вложил всю (как и всегда) невыносимую силу, и здесь годилось все в шестидесятипятилетней жизни М.М. Литвинова вдобавок к железной сути: личное знакомство, личная приязнь президента (Рузвельту грезился в опальном наркоте «западный образ мышления»), еврейство («Максим Литвинов принадлежит к национальности, стяжавшей себе славу на коммерческой арене») и даже чертова англичанка жена, дважды официально признанная в Вашингтоне самой безвкусно одевающейся женщиной года.

Литвинов, как все, на кого легли отблески императорского пламени, отпечатался не только в недостоверных документах, но и в легендах — в них правды побольше (то есть не «нет правды», а «почти нет»). Будто в далекие времена в эмиграции император под именем Ивановича устроил пьяную драку в лондонском пабе, а Литвинов от полиции спас... Будто жаловался Максим Максимович после революции Дзержинскому на безвинные аресты иностранцев, а тот: «Вот вам пропуск в тюрьму, допросите каждого и отпустите, кого найдете возможным»... Будто просил императора за близкого — Стомонякова:

«За этого человека я ручаюсь головой», а император: «Максим Максимович, вы очень добренький. А кто за вас поручится? Я Енукидзе тоже считал другом...». Будто на пленуме, где Литвинова хлестали маршалы — друзья дома, всего лишь один поднялся «против»: «Папаша был и остается честным революционером!» (император вспомнил кличку бывшего нелегала)... Будто в опале, в начале войны император увидел его на приеме для иностранцев: «Почему не во фраке?» — «Съела моль» (Литвинов все — от кальсон до галстуков — покупал за границей, только любимые домашние толстовки принимал из пошивочной наркоминдела, в ней и пришел). А еще рассказывали, что Молотов, вызвав для назначения, спросил: «На какую должность претендуешь?», а Литвинов, глотнув должное «тыканье», ответил: «На вашу» — и что первого человека, которого он, вызванный на решение судьбы, встретил в Кремле после нафталинового бездействия, звали Костя Уманский...

«Первый, кого...», «только переступив порог...». Из повестей для юношества и фильмов про любовь в легенды добавлял варенья первый биограф Литвинова Зиновий Шейнис (понятно: земляк, белостокские корни), но встречу саму *кто-то* ему былинно напел, рикошетом дошло от мертвого Литвинова или от мертвого Уманского, а Шейнис засопел, насупился и вшил в конце шестидесятых этот симпатичный лоскуток в свое одеяло — зачем? Усилиями министра Громыко Костю уже не помнили.

Кажется, Уманский заметил Литвинова вдруг и спускался по мраморным ступенькам, красному ковру без особой спешки, с обаятельной обычной улыбкой, почти не растерянной: может, Максим Максимович не знает, что императорский сокол Уманский уже раскольцован и не полетит, и напрасно прождал в Куйбышеве приказа о возвращении взъерошенный, выцветший, маленький человек с бездеятельным брюшком, алкавший власти,

отец маленькой красавицы, скомканный для отправки в мусорную корзину. Максим Максимович? в Кремле?! зачем? к кому? и у вас льдина перевернулась... Может быть, что-то для меня, если подвернется... Все простив... И первым протянулась его бескостная, выпотрошенная рука, рука человека, уже не сделанного из железа:

— Максим Максимович... Может быть, я заслуживаю амнистии? — Он все понимал, предавая, сознавал, на сколь малое может рассчитывать, но, в память прежнего Кости, милосердия...

— Зачем? — усмехнулся Литвинов; изголодался по играм с мышами, себе не отказал. — Ведь вы не преступили закон, — и двинулся своим коридором; а ты оставайся и надейся на тех, кто выкормил тебя таким.

И все-таки, почему первый литвиновский биограф, обложившись бумажками, изъеденными чернильным жучком, не известного никому Уманского не отпускал? Что он пытался осветить, вымысливая дикую сцену, какую-то безумную фреску, намалеванную из медного грошика чьей-то обмолвки: осенняя ночь, кабинет императора, император и Молотов (должно быть, немцы бомбят Москву, доносятся разрывы зенитных снарядов и завыванья сирен противовоздушной обороны), входит Литвинов. Вопросы государственной важности: отъезд в США, судьбы мира (...Чучело императора сжигали за окном биографа каждый день, но антисталинист-шестидесятник Шейнис не осмеливается святотатственно соврать, *что* и *как* мог бы сказать император, мнетя и мычит — и неожиданно пускается на позор сочинений — ради чего? — будто бы Литвинов с маниакальной увлеченностью (и лакейской развязностью!) лезет, нахрапом: «А что будет с Уманским?». Бывшему императорскому наркомму *не все равно*, на чье место идти, не хотел бы он стать причиной... своим возвышением попрасть кого-либо... да хотя бы и подлеца... Император, поправляя наклеенные усы, со старательным кавказским акцентом

успокаивает лекаря, вызванного отворить второй фронт: «Дадым ему какую-нибудь работу». «Уманский без работы не останется!» — вчитавшись в табличку суфлера, подхватывает добродушно Молотов. Но герой пионерской пьесы Литвинов со строгостью уточняет: «Значит, Уманский останется в Наркоминделе членом коллегии?» (Давайте, дескать, сейчас решать, это мое условие, а то я еще подумаю, стоит ли соглашаться, знаю я ваши «без работы не останется» — пойдет парень лес валить. И так?). «Да, членом коллегии», — с бессильным рычанием повинуетя оставленный без жертвы кровавый людоед, и занавес слизывает актеров...

Шейнис не застал Уманского. Ни разу в жизни не видел Литвинова. Откуда болезненно-личное, горячее до жалкого вымысла упорство первого и настоящего биографа Максима Максимовича в продлении жизненного соединения великого наркома с небольшим потерявшимся человеком К.А.У. — тот его предал, а Литвинов простил и спас? Тайна.

Уманского оставили членом коллегии Наркоминдела и с начала декабря опять доверили слежку за печатью — непочетная пенсия. Он, «виртуоз комбинаций», вернулся в Куйбышев пить водку с инокорами в «Гранд-отеле», ждть, падет ли Москва, и рассказывать новому другу Эренбургу про детское простодушие американцев, а Литвинов взлетел с куйбышевского аэродрома послужить императору в последний раз и все, что требовалось, сделал, как требовалось: «Когда он закончил официальную часть, ему была устроена овация, все поднялись, аплодируя оратору... Впервые я видел что-то подобное. Литвинов рубил сплеча, это был настоящий реализм», и на следующий день после Пёрл-Харбора, 8 декабря, встретился с Рузвельтом, распахнувшим ему объятия, человеком, который с загадочным, хитрым, несуществующим лично Литвиновым пытался дружить — Рузвельт до смерти (он умер с исчерпывающе ясным смыслом —

позируя художнику) так и не понял русских. А вот и Уманский в руках биографа прощально сверкает фонариком, в который раз высветив душевное величие безупречного старика: в Сан-Франциско Литвинова встречал специально прилетевший из Вашингтона Громыко, и вместо «здравствуйте!», разочарованный собственным промахом мимо посольского кресла, начал: «Наше посольство не имело зрелого руководителя. А теперь мы получили выдающегося руководителя». Литвинов кивнул и заметил: «Да? А во время встречи со мной товарищ Сталин высоко оценил деятельность моего предшественника Уманского». Громыко проглотил слюни и повел нового посла под локоток к ожидавшему самолету (в этом анекдотическом эпизоде подводно мерцает все-таки какая-то облепленная ракушками правда, хоть подлость нарочита, а фразы фальшивы; но анекдоты — любимый жанр Литвинова).

Фигуры расставили и двинули к смерти других. Нина Уманская так и не узнала: продержись она немного в Штатах, жила бы долго и не узнала младшего Шахурина, мальчика со странностями и способностями к языкам, — еще б *пару месяцев* счастливого лета, догулять каникулы и юркнуть в седьмой класс посольской школы. Зачем такая срочность, что за нужда выдернуть из-за парты ребенка и тащить месяц через Гавайские острова, в обход немецких подлодок, через Сингапур, Таиланд, Индию, Багдад и над персидскими плоскогорьями — ради чего? После нового года император вдруг потребует справку о Мексике и задумается тяжело, попутно припоминая: а ведь был, есть у нас такой Уманский — и останется девочка дожидаться отца, а потом вместе с ним — в Мехико-Сити, навсегда мимо 175-й школы... *Месяцок* бы еще протянуть, и — хватило... Но Рузвельт, но этот слепец, ботаник, прямодушный, блаженный душегуб, в мае 1942-го решил поговорить с русскими.

Год он смотрел из директорской ложи за далеким заревом — что там? А там стало ясно, что хоть немецкие армии текут на Сталинград и русские голодают, но Москва уже не сдана, и отступят в Сибирь, передохнут, но сдаться не будут, с русскими пора начинать разговоры.

И в США на железной птице приземлился Молотов; он волновался — первая встреча, как пойдет; он маялся и становился скало-гранитным лишь на мгновенья, когда появлялся Литвинов — посол корчил презрительные рожи и образцово скучал. Но, когда Литвинова отсылали, перед американским президентом снова сидел ранимый, искренний, такой же, как сам он (казалось Рузвельту), человек, ставшая вдруг понятной частица страшной императорской силы, поражавшая собеседников «неожиданной откровенностью и добротой». И Рузвельт сам волновался жутко, не мог подобрать слов, чтоб раздуть мелькнувший (грезилось ему) огонек человеческого тепла, так необходимого в самом начале переговоров. Они говорили, дергались, словно возились, шлепали в грязи, и переводчики подолгу спорили, что, собственно, вот только что прозвучало и в каком смысле было произнесено. Молотов шептал: все сложно, можем потерять Москву, Баку, Ростов. Рузвельт трогал раны: как с продуктами в Ленинграде? Молотов кривился от внутренней боли, от нестерпимой этой прямоты, идиотского желания ясности и кивал, кивал: да, есть трудности, особенно зимой (отмечалось людоедство — разве может Рузвельт понять? так не спрашивают!). Они взаимомучительно обедали, бросая друг на друга немые доброжелательные взгляды и чокаясь, и обед уже двинулся к концу, уже в прямой видимости надежды встать и наконец-то размяться, когда помощник Рузвельта Гопкинс, этот сын продавца конской сбруи, решил для разрядки атмосферы затеять разговор о чем-нибудь «вообще», но вот о чем? о чем?.. — на общую тему, о чем знали бы и хозяева,

и гости, светскую, что ли, беседу, про здоровье общих знакомых, передать привет, так с этими русскими тяжело, прямо гнетет... а... ну вот хотя бы:

— А что Уманский? Продолжает работать в телеграфном агентстве? — спросил Гопкинс, такой же полоумный, как и его президент, и утерся салфеткой, и, не дождав-шись скорого ответа, растерянно оглядел всех (Молотов, Рузвельт, переводчик Кросс и личный переводчик императора Павлов): что? а что я *такого* спросил?

Молотов не оживился. Он не верил в праздные разгово-ры. Он думал о злом смысле вопроса, заглядывая в себя, ощупывал головоломку: где? Если американский президент таким образом, через своего помощника, начинает обсуждение легендарной неуступчивости рус-ских в конце тридцатых годов... Или считает возможным затронуть... исчезновение отозванных дипломатов, тут уже и до вызволения из лагерей русских жен американ-ских граждан (небось, и список готов) недалеко шагать...

Молотов ответил с уклончивой сухостью:

— Работает в Наркоминделе, — без подробностей; и попытался угадать, к чему это... опередить. — Совет-ское правительство считало необходимым в новейшей обстановке заменить его более авторитетным лицом в качестве посла. — И довольно неуклюже (проглотят!): — Уманский был слишком молодым...

Рузвельт лукаво качнул головой (ему показалось: Молотов пошутил, человеческое *тепло*...). Прежде чем перейти к делам, может, еще несколько необязательных реплик, немного доброй иронии, что выманит новые объединяющие улыбки?

— ...И проявлял иногда чрезмерный энтузиазм. — Поставил чашку на скатерть: мы здесь люди свои и дело — все понимают, да? — не в молодости. И что тут добавить пустячное еще? продолжить, и что-то мелькну-ло перед глазами Рузвельта (очаровательное девичье лицо на рождественском приеме). А кстати... И, считая

гостя столь же открытым простым радостям беспечных разговоров, просто так проводимого времени, слабостям человеческой природы, этот ботаник, инвалидная коляска, слепой, самодовольный американец, не подозревающий палаческой сущности лучших побуждений, разинул пасть и так — от нечего делать — бессмысленно — пусто — пустотой перед задуманными значимыми... — *сказал!!!*

Рузвельт спросил:

— Знаете ли вы, что в Вашингтоне живут жена и дочь Уманского?

Американцы не понимали русских, немцы понимали.

Переговоры Рузвельта с Молотовым успешно прошли и закончились, немцы зимой не взяли Сталинград, фельдмаршал Паулюс, раздавивший за сорок дней готовую к вторжению Францию, в Сталинграде сдался в плен и через два часа, пытаясь заснуть на досках, вдруг сказал в студеной тьме адъютанту про кого-то из мельком увиденных людей правды: «Какие страшные глаза у того майора!» «Как и у всех в НКВД», — без раздумий откликнулся адъютант. Сделав шаг по русской земле, немцы поняли *всё*.

...Знаете ли вы, что в Вашингтоне живут жена и дочь Уманского?

Мог ли император и его вожди не знать что-то нужное про своих людей, включая детские прозвища и любимые песни?

Мог ли член Государственного комитета обороны, посланный императором, вообще чего-либо не знать — решалось многое! — на переговорах с президентом Америки?

Мог ли он сказать «не знаю», если действительно не знал?

...в Вашингтоне живут жена и дочь Уманского?

Молотов, набычившись, считал, складывал и делил про себя: получалось, что он, нарком Вячеслав Михай-

лович, 24 мая 1941 года выговаривал американскому послу Штейгарду (тот плакался, умолял: скоро война, выпустите семью!), с вежливым презрением к трусу: «Хватит истерик! Непонятны ваши опасения. Войны не будет. А вот наши нервы достаточно крепкие — своих жен из Москвы мы никуда отправлять не собираемся», — а теперь Рузвельт с тихой улыбочкой, таящей многое, сообщает гостю: жена и дочь советского посла уж скоро год как прячутся в США от войны, от голода, от Империи, где еще совсем недавно жилось хорошо — даже глухонемым! — но все время исчезали люди, так что и в лучшие годы семью не торопились возвращать назад, пока не прояснится судьба отозванного императорского сокола, — вот вам и крепкие нервы, да, Вячеслав Михайлович? Время, время, оно и вас, и нас делает мудрей. Надеюсь, мы начали понимать друг друга — ваше здоровье!

Рузвельт *сказал*.

Молотов без тепла посмотрел на американского президента.

И кивнул: да.

Да. Инстанция, как и всегда, знает, кто где. И про семью Уманского — тоже.

Всё, они пообедали; собеседники переместились в гостиную на мягкие диваны (Рузвельт ласкал Молотова: садитесь сюда, давайте поближе...). Гопкинс, оттолкнувшись от противного Уманского, перешел к рассуждениям: а знаете, почему американцы не любят Империю, а англичане любят? (А потому, что в Америке коммунисты, в основном евреи, люди суховатые и далекие от американского народа — составишь ли по ним представление о советских ценностях и глубине патриотизма русских?) А не бомбить ли нам, кстати, Румынию с сирийских аэродромов? Мы начали посылать бомбардировщики на Японию и, вы знаете, результатом довольны — они нащупали, наконец, нужный тон и — начались великие

переговоры, меняющие историю людей, и судьба Нины Уманской решилась.

Императору пришла телеграмма Молотова (вторая по счету, с изложением дополнительных договоренностей и перечнем затронутых президентом тем), пункт восьмой: «Рузвельт спросил, знаю ли я, что жена и дочь Уманского в Вашингтоне. Я подтвердил».

(В публикациях телеграммы далее стоят квадратные скобки, указывающие на текст, выпущенный цензурой по соображениям секретности.

Я не смог найти человека, видевшего телеграмму целиком.)

Император прочел телеграмму о неважном, понимая исчерпывающее *всё* и одновременно *все* решая, ресницы его дрогнули – 1 сентября 1943 года в седьмой класс 175-й школы пришла новенькая, у Светы Молотовой появилась еще одна подруга.

Уманский переехал из холостяцкого номера «Москвы» в Дом правительства у Большого Каменного моста и, наверное, после печального, обессиленного молчания (у тебя что-то случилось? скажи!) признался женщине, своей безумной (если верить Эренбургу) любви: «Мы не сможем теперь... как раньше. Приехали мои. Такие дела». Значит, и там что-то переменялось. Или переменится вскоре.

Рыбная ловля

Ночью резкий запах моря добивал далеко вглубь земли, утром я нырял в маске, летал над песочными полями – рачки тащили свои раковины по барханам, оставляя царапистые цепочки следов, как пустынные гонки «Париж–Дакар»; белели мертвые крабы панцири, а живые мигом утопали в песчаных вихрях, я вдогонку погружал ладонь – теплое дно, разглядывал водянистых,

сверкающих рыбок — довольно бессмысленное занятие и на первый взгляд, и на второй.

Трое суток в Феодосии шел дождь, я бродил по набережной один, с омерзением читал в телевизионных прогнозах «Екатеринбург +28», спасался от ливня в скорлупке телефонной будки; мимо в сторону вокзала подползали вагоны, пассажиры с ужасом смотрели на пузырящиеся лужи. Я толкнулся просохнуть в музей Грина на улице Ленина — хотите с экскурсоводом? оплачивайте за шестерых! Из-за ширм после седых и очкастых выглядываний вытолкали пожилую девушку с толстым носом, подземно бледной стародевной пористой мордой, и ослепшей рабочей лошадью она двинулась найденным маршрутом от кабинета до библиотеки, запев грампластинкой с шуршаниями и запинками, не слыша вопросов: восемь лет в этих двух комнатах близко от моря, печное отопление, темень, кушетка, настольная лампа, переделанная писателем из подсвечника, и еще два года в Старом Крыму, рак желудка и никакого моря, смерть в пятьдесят два года, презрение к хранению рукописей и писем... За нами погоней галдели сорок керченских школьников — ту же самую пластинку им проигрывало другое устройство: шел Грин по голодной улице и вдруг — увидел в магазинной витрине парусный корабль, и вдруг — солнце бросило прощальные лучи на паруса, окрасив алым, — и вдруг.. ну, и все остальное. Пластинка кончилась, я осмотрел грудные плоскости, синеватые икры, уродливую шею...

— Он верил в Бога?

Девушка растерянно почесалась, расправила на плечах платок.

— А что он думал про себя? Он боялся смерти? У него были друзья в Феодосии? Любил рыбалку? Чем занимался в жизни еще?

— Ничем, — девушка засопела. — Только писал, — и обозленно припомнила: — Восхищался Пушкиным!

– У вас есть время? Возьмем такси? Съездим в Старый Крым? Посмотрим могилу?

У нее покраснела кожа вокруг губ, как намордник, и она сказала в сторону другим, человечьим, страдающим голодом:

– Договоритесь с директором, – так, словно просила договориться насчет нее с Богом.

Я побродил вокруг Дома офицеров, снова вымок и пристроился на веранде самого роскошного в городе кафе «Алые паруса», наискось от музея – мне оставалась галерея Айвазовского, музей воздухоплавания и генуэзские башни в Карантине. Обслуживала косоглазая официантка, я ел в окружении бродячих псов, когда их шуганули, к моему столу выдвинулись две кошки. Я поманил старуху в дождевике, предлагавшую на перекрестке местную газету, и прикидывал, разглаживая пальцем рубрику «Объявления»: лучше дом в семьдесят пять метров на шести сотках в переулке Зерновском, рядом море, сорок тысяч \$, или в Береговом на улице Гагарина за пятнадцать тысяч \$ с торгом – заодно прицениваясь к фермерскому хозяйству на берегу моря с кошарой, индюшкой и семнадцатью индюшатами. Последнее объявление звучало зловеще: «*Бригада непьющих строителей выполнит отделочные работы*».

Я подумал о судьбе Грина, бильярдиста и потомка польских ссыльных. Не сидел в президиумах центральных комитетов, не гостил на дачах наркома госбезопасности... в черноморском захолустье... и мечтать не смел... что в Феодосии улица Грина, по стране «Алые паруса» и «Золотые цепи»: кафе, рестораны, бары, детские лагерь, лотереи, кварталы, агентства недвижимости, конфеты... Что пошлые музеи, пошлые кинофильмы, пошлые памятники героям – эти ребята помучили его никчемностью, нищетой и метастазами убили, не дали пройти по завоеванному городу – ни капли вечности... Не прочел междоусобных воспоминаний жен и любовниц, а я только и помню из него: идет по пристани, причалил пароход

или отчаливает пароход, и вдруг видит необыкновенную девушку, сидит на чемоданах, девушку в шляпе с широкими полями; он полюбит ее без ответа, переживет приключения, и она исчезнет, спасшись от кухонного фартука и диатезных попок, оставит стариться его одного, бродить по *тем* местам, и видеть за каждым деревом ее лицо, и слышать — голос...

Хлопнула дверь музея, на тротуаре замерла девушка-граммофон с толстым носом, ее первый раз за три года хоть кто-то позвал, близоруко осмотрелась и медленно пошла вверх по улице, вскрикивая спиной: догони меня! Жениться на работнице музея, изменить свою жизнь... Выращивать грецкий орех и миндаль. Открыть патриотический музей советской военной игрушки. Принять гражданство Украины... Я вернул глаза в газетное «Кого бояться в Крыму»: если вас укусит каракурт, вы стопроцентно умрете (кстати, укус безболезненный), противоядия не существует. Единственное спасение: зажечь одна за одной *д е с я т ь* спичек и в момент воспламенения серной головки тыкать пламенем в рану, яд разложится под воздействием высоких температур, — легче сдохнуть... пересел за стойку «Кофе-хаус» лицом к витрине, на углу Кутузовского и Третьего кольца.

Начало зимы радостно, есть в легшем снеге какая-то неубиваемая надежда. Я придерживал локтем толстый номер «Спорт-экспресса», ко мне присоседился лысеющий майор с рыжими ресницами и уложил на стойку руки с волосатыми запястьями.

— Ничего не заказывал, вас дождался. Что будете есть?

— Ох, Александр Васильевич, только-только плотно пообщался с семейным корпусом, — он погладил живот. — А вы? И я чай попью.

Принесли чайник, майор надолго закурил, с наигранным радушием детского офтальмолога я выслушал его рассказ про отличный фильм:

— Он погиб. Но как бы рождается снова. Но не в будущем, а в прошлом, — он согласился на мороженое, два шарика. — Революция, Александр Васильевич, это регресс. Это остановка локомотива! А политика — это все; мы с вами разговариваем — это политика. Снег лежит — политика! — И потише: — И то, что представители спецслужб идут во власть, это тоже политика, это знак!

Я уловил, что вечером он учит петь канареек, певческие школы.

— А к какой школе принадлежат ваши ученицы?

— Александр Васильевич, после крушения Советского Союза и развала советского строя певческие школы канареек оказались разделены государственными границами, и я...

Я больше не спрашивал, пусть вода стечет, и прел в жарких ботинках, следил, когда освободится туалет. Майор взялся за чайник, я переложил «Спорт-экспресс» на его сторону:

— Это я закрываю ноябрь.

— Благодарю! Повторюсь. Наши отношения, Александр Васильевич, для меня очень важны сами по себе. Без экономической составляющей. Мне просто приятно решать с вами вопросы. Содействовать отечественной науке. Я чувствую ваше понимание. И уважение, — серьезно смотрели на меня голубые глаза. — И отношение. А отношения — это главное. Они останутся всегда. Это, — он тихо положил ладонь на газету, — не главное. Значит, по последнему вопросу: дело Уманской вам не дадут.

— Почему?

Мне показалось: он не расслышал.

— Дело несекретное. Убили семиклассницу. Пятьдесят девять лет назад. Все родственники умерли.

Он нехотя ожил, пожал плечами и смурно смотрел за витрину, на заезжающие под землю огоньки.

— Не знаю. Формально, чтоб не допускать вторжения в личную жизнь. А так — не знаю... Я обратился. Они отказали. Не думаю, чтобы там что-то... Знаете, как у нас говорят: если дело не дают — значит, в нем ничего нет.

Я сходил в туалет и, скучно глядя на себя в зеркало, высушил руки.

— А вы сами-то дело видели?

— Да. Можно сказать: нет. Нет. Просто убедился, что оно есть. Практически не касался. У нас же, знаете, Александр Васильевич, не принято. Это вы, ученые, вольный народ. А мы... Занимаешься тем, что тебя касается.

— Сколько томов?

— Ну, — он убрал сигареты и поискал глазами часы на стенке, — четыре. Кажется. Следствие шло, мне показалось, в суженном режиме. Достаточно формально. Но — не знаю, не знаю, боюсь ввести в заблуждение. Короче, закон не позволяет ознакомить вас с делом. В архивном управлении есть у меня отношения, и ресурс... но — закон! Мы ведь государевы люди! Я не знаю, пригодится вам... Пишите, — он продиктовал шепотом с каких-то бумажных лохмотьев: — Дело р-788, июль—октябрь 1943 года. Военная коллегия 4н-012045/55. Пистолет «вальтер», номер 277841к. — Со страдальческим вздохом сжег шпартгалку в пепельнице. — Они мне как сказали: дашь дело, а потом весь Кавказ взвоят! — Он взял «Спорт-экспресс» обеими руками, как икону, и уложил в портфель. — Александр Васильевич, такая просьба, в следующий раз, если будет такая возможность, лучше в евро. Во избежание провокаций. А то, знаете, курс сейчас прыгает, чтоб не ходить, не менять... Ну — спасибо за чай! Успеть к программе «Время». Я как начинаю с девяти и — до полдвенадцатого! Погружаюсь в новостной поток: ОРТ, НТВ, «Вести», даже к телефону не подхожу. Супруга знает — с девяти меня не трогать! Столько информации сейчас...

Мы вышли на крыльцо, снежок, огни, и тепло пожали руки.

— А вы не могли бы рассмотреть возможность... На каких-то отдельных условиях, чтобы не нарушать закон, не трогать дело, а просто сделать выписку. Одну. Из протокола осмотра места происшествия. Меня интересует зафиксированное расположение трупов, положение гильз и расположение пятен крови от Шагурина. Можно схемой. Я думаю, смог бы найти, — и я пробормотал, — две тысячи евро. Для компенсации подбора.

— А-александр Васильевич, — проникновенно сказал майор и прижал свободную от портфеля ладонь к правой стороне груди, — не могу! Не могу! Надо искать другие выходы, — и показал куда-то над собой. — Но поверьте, в деле ничего нет.

Я быстро замерз и попытался угадать, куда он пойдет, чтобы повернуть в противоположную сторону: каждый раз мы встречались на новом месте.

— Я и читать не стал. Так, какие-то обрывки... К примеру, запомнил, не знаю, что вам это даст: на месте происшествия постовая Зинаида Степанчикова запомнила одну, — выделил голосом, — очень красивую женщину. Женщина плакала громче всех. И смотрела только на Уманскую. Всех растолкала, увидела ее, заплакала, сказала что-то вроде: «Костя!» — и быстро ушла. Так и не установили кто. Не родственница. Видимо, какой-то присутствовал личный момент. — И он словно прочел: — Хорошо одетая дама в сером плаще, шляпе и синих туфлях.

Мы простились, он досказал, вспоминаяще корябнув пальцами лоб:

— Брюнетка. Кусала пальцы!

Я успел, даже раньше; я попытался вычислить ее окна в панельном углу на Загородном шоссе, пока она отпускала серебристую «ауди» с федеральным пропуском, индийской родинкой торчащим посреди лобового стекла,

гавкала в ответ на холуйское «во сколько завтра?», шаги натруженных икр, за железными подъездными дверьми, куда не добирались соседские глаза, я ткнулся в горьковатую от пудры щеку и отобрал слоистые пачки бумаг — задание на дом, дела.

— Только вернулась из командировки. Видишь, как теперь дают задания: надо возбудить дело, Елена Юрьевна, но так, чтобы можно было потом развалить... У тебя что-то случилось? — Вздрагивал лифт. — Ты какой-то серый. Я все время думаю о том, что ты меня моложе... Тебе это не мешает? Нет? Проходи. Не смотри на беспорядок. Некогда убирать. Нет. Ты забыл. Я никогда не курила. У меня астма. Курит муж. А он у меня бывает... крутоват. Может Леночке, — она принужденно хохотнула, — и наподдать.

Я подождал, глядя в стеклянный короб с коллекцией веревочных узлов, распластанных как мертвые бабочки на зеленом сукне, слушая: полковничья зарплата, отдых на Корфу, презервативы в сумку сыну-первокурснику и нежелание иметь собаку при общем хорошем отношении к животным, — и обнял ее, прервав кофейные приготовления, уворачиваясь от сухих клюющих губ, словно шкаф раскачивая и налегая плечом, запихнул в комнату, выталкивая в прорези заплывавшие пуговицы, распуская зубастые молнии, запинаясь на стальных, злобных крючках.

— Не надо... Ну, погаси свет. Нечего там смотреть — прически я там не делаю! — Она вздохнула. — Подожди, подожди... Я весь день на ногах. И там у меня родители в комнате. Пойду скажу, чтоб не выходили.

Я встал, свалил с себя одежду, распахал до белого постель, побродил вдоль стен, включая и выключая свет. За окном еще снег. Положить ее на брюхо, приподнять зад и быстро-быстро-быстро, и отсюда!.. Телефон звонил и звонил, столько ждут только сумасшедшие и дети; я раскопал в тряпках карман и достал трубку.

- Алло.
- Да ты спишь! — уличающим детским голоском протянула Алена.
- Да. Уже лег. Уже свет потушил.
- Я сел и зажмурился.
- Ну ладно. Спи, — она подождала. — Я завтра позво-ню. — И тем же детским, дурашливым, сварливым голо-ском: — Ты не голодный?
- Нет. Я поел.
- И что же ты ел?
- Я поел.
- Ладно, ладно. Просто звоню сказать... — Она про-шептала: — Я. Тебя. Люблю.
- И я тебя люблю. — Я попытался расслышать, шипит ли еще в душе вода.
- Я тебе верю. Только не предавай меня. Пожалуйста. Если кончится любовь — сразу скажи.
- Она не кончится. Настоящая любовь не кончается. Она будет всегда. И на небе.
- Да. Я знаю. Я просто хочу чувствовать, что тебе это нужно.
- Мне это нужно.
- Ты часто меня обманываешь.
- Да ладно, кому я нужен...
- В комнату, отлив и помывшись, вернулась она, завер-нутая в белую мохнатую шкуру, и тихонько прикрыла дверь.
- Только не предавай меня больше! Мне очень боль-но.
- Хорошо.
- Она осторожно опустилась у меня за спиной, поглади-ла по голове, стала разминать шею, плечи, лопатки, иногда припадая и замирая губами на коже.
- Засыпай, любимый...
- Да. И ты.
- Мне еще долго не спать. Пусть тебе приснится море.

- Хорошо.
- Посылаю тебе поцелуй. Лови!
- Да.
- У тебя грустный голос. Ничего не случилось?
- Нет. До завтра.
- До завтра, любимый.

И раздавил кнопку, как ужалившее насекомое. Та спросила:

– С работы? – вцепилась и повалилась, сунув в мой рот пресный язык, со свежей отдушкой какой-то карамельки. Ничего не хотелось, я очищал, доставал наружу изжеванный целлюлитом зад, выпитые, низко потекшие к пузу груди, потрогал днище, заросшее переползающим на ноги мхом, мы кряхтели, ворочались, терлись, она растерянно и брезгливо трогала меня и опять начинала суетливо шлепать губами по животу и груди, бегло, словно метила землю, и трогала опять: нет? еще не готов? – я смотрел на шторы и вспоминал все забываемые узоры: лапчатые ромбы на ковре над родительской кроватью, похожие на многovesельные корабли завоевателей мира, на звездолеты коммунистической державы; сцепленные углы скелетной твари на линолеуме в приемной ненавистного стоматолога; оленьи узоры на свитере девушки, которой нет, вытопанные на снегу буквы, – и предчувствовал последний узор: угловатые повороты цементных бороздок меж кафельных плит, гудящие равномерно расположенные пятнышки на плафоне ламп дневного света, истертые буквы «кнопка вызова дежурной сестры»... «Потеряла квалификацию», – выдохнула она, и я тронул ее за плечо: «Перестань, не надо. Рукой». Она расселась, как над прополочной грядкой, пришептывая: «Милый мой, мальчик мой, успокойся, все хорошо». В духоте, сквозь паучью боль, распирающуюся слева, в затылке, я старался хоть что-то представить, перебить, заслонить, что не сдохну, как и все, я свалил ее и насел, разгоняясь до

бешеной частоты швейной машины, — протиснуться к выходу, из земли, — и, поймав опухшую, ненадежную плотность, впихнул, запихнул, затолкал пальцами — она сразу выгнулась поудобней, собираясь проехаться на спине в сторону рая, долгих удовольствий, в свою вечность, я коротко ткнулся раз, два, три, закричал, закашлялся и выдавил из себя какую-то тошнотворную росу, вздохнул с тоскливым воющим выдохом и упал рядом, пустым от всего, и в пустоте вечным долгом поглаживал ей тряпичную грудь, как гладят надоевшую собаку и руки после пахнут... «Милый мой, мальчик... Мой мужчина... Желанный мой, — все, что прочла, что сочинила, — ты же отдыхаешь у меня?». И попросила собственным голосом:

— Расскажи мне обо мне.

— Жила одна девочка, — меня словно включили. Немного и — сразу сваливать. — Родители научили ее главному: любить и прощать. И не зависеть от ветра. От дождя. От погоды, короче... оставаться. А она все время хотела жить у моря... Но никак не могла увидеть дорогу туда. И море никогда не видела. Море оставалось само по себе — она сама по себе. Жила, никому не открывалась. Вот так. И никто из тех, кто жил рядом, к морю не стремился. Даже не думал, что оно есть. Но девочка про море не забывала. Ей казалось: надо подождать и что-то изменится, ее заберут, — я помолчал, душа зевоту. — Жизнь ее сложилась непросто. Девочке пришлось быть сильной и очень много делать для слабых мужчин. Но для того, чтобы пойти к морю, нужна была какая-то другая сила. Не такая. Она не знала: какая, где ее взять? Шли годы, девочка всем... помогала. Девочка росла куда-то — в другую сторону, но смотрела все же на море. А оно — оставалось там...

— Саша, где же мне взять силы?!

Еще осталось постоять прижавшись, не видя, родить обязательные слова, пересчитать ступеньки и ткнуть чер-

ную кнопку, выпускающую с пищанием из подъезда, и разорвать адрес и код над пастью ближайшей урны. И еще (ненавижу!)...

— Алло. Да. ДА!

— Извини, пожалуйста, я, наверное, разбудила. Александр Наумович не может до тебя дозвониться — он нашел телефон Фишера. Я подумала, может, это срочно...

— Это не срочно.

— Я не знала. У тебя все в порядке? Ты дома?

— Я же сказал: дома! Я сплю, я дома! Где мне еще быть?!

— Не злись, пожалуйста, — Алена тихонько захныкала. — Я так перепугалась, позвонила на городской — ты не берешь трубку. Я думала, что-то случилось. Может, тебе плохо...

— Я просто заснул. Я сплю. Все! Хорошо! — и затряс неотключающийся мобильник, как школьный колокольчик над ухом, клади трубку, тварь!!!

Она подождала, она уныло спросила:

— Почему ты не брал городской? Я так долго звонила. Ты не отключал сигнал? Давай я тебе перезвоню — проверим.

— Телефон отключили. Потеряли какую-то мою квитанцию. Уже третий день. Хватит меня проверять! Господи, как я устал от этого гестапо!

— Я так испугалась. Я даже позвонила на телефонную станцию, там проверили номер — он работает.

— Не знаю, что там у них работает. Гудка нет. Может, что-то в подъезде. Ты можешь успокоиться на сегодня?

— А кто тебе сказал, что потеряли квитанцию?

— Алена, все! Хватит! Я дома! Я один, я с тобой, я тебя не предаю, — я забился в щель меж гаражей, ржавые стены, подальше от шоссе редкого рева, метельных завихрений. — Я дома. Успокойся. Дай мне поспать, у меня тяжелый день!

В трубке кончились слова и шорохи. Там, далеко, за подушками, шторами, балконными дверьми, прячась от ближних своих, кто-то тихонько рыдал, задирая слепое лицо к небу, перекусывая слезы, ударяясь плечами о стены, — я долго вслушивался, словно в канализационное бульканье, пока она не застонала, не забилась в припадочном бормотании.

— Алена. Милая. Ну, хватит — я дома. Я клянусь. Честное слово. Клянусь своим здоровьем, — она задыхалась, стоны, вдруг утробный вой!!! — Я дома. Успокойся... Хватит! Я один. Я... Клянусь здоровьем своих детей.

— Никогда так не говори, — быстро, насморочно откликнулась она сквозь сопли, ожив, разогнувшись. — Я тебя прошу.

— Ничем же другим тебя не прошибешь!!! Ты же вбила себе в голову, что я все время занят только одним!

— Лишь бы с тобой ничего не случилось. Как же я испугалась, — и она уже облегченно заплакала опять.

— Хватит, милая, хватит, ну, хватит...

Я ловил такси, провалился до щиколотки в лужу, и первая затормозившая машина окатила меня до пояса ледяной грязью. Я зачерпнул с крыши пирожок снега, я тер губы, я стирал чужое, жрал снег; хлюпая, вылез, прозевав свою арку, пропахал обочину и сел в сугроб — я сидел на дне стужи под воронами, готовясь разочаровать почуявшего поживу милиционера, спешившего с той стороны, и тер, стирал царапающимся снегом помаду, следы пудры, блески, запах и вкус животного лона; за домашней дверью, не включая света, нырнул в кафельный угол, где живут зубные щетки, нагнулся над ледяной пустотой с дыркой слива, и словно кто-то сказал из зеркала над головой: молодец, молодец... В кухонной тьме, под хруст отклеивающейся бумаги, рассматривая, как звенит телефон, как внутренним вздрагиванием зарождается звук, как синим вспыхивает окошко «Новые вызовы», с одного номера — восемнадцать.

– Прости. Теперь уже точно: в последний раз.

– Алло. Видишь, и телефон починили. Не зря ты на станцию зво...

– Я хочу, чтобы ты знал: я люблю тебя. И больше, чем сейчас, любить тебя не смогу. Главное – знай – ты не один. Не думай о смерти. Зачем думать о том, что все равно будет. Я многое могу тебе простить. Мне кажется... я прошу тебя, даже если ты убьешь человека. Я не думала раньше, что так смогу. Только если разлюбишь – скажи мне сразу. Я люблю тебя.

Я нашел нужный файл: Уманский обожал дочку, только на Нине держалась его семейная жизнь, но «я знал, что есть в его жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе “Дама с собачкой”».

И вот неожиданная развязка драмы».

Очень красивая брюнетка, плакавшая на Большом Каменном мосту над мертвой девочкой, но повторявшая почему-то: «Костя...». Сорок лет, трахал балерин и секретарш, «шармер большой», «фатоватый», от латинского *fatuus* – самодовольный, пошлый франт; хлыщ, щеголь... Вдруг узнал Большое Чувство. Пережил терзания. Страдал так, что пустотелый Эренбург употребил слово «драма». Уйти из семьи – а как же дочь? а как же любовь? Но ушел бы – и девочка осталась бы в Москве с брошенной матерью, и жила, я мог бы встретить ее в «Перекрестке» на Осеннем бульваре, с остатками былой... как принято говорить; но безымянная, красивая... оказалась не настолько необыкновенной, чтобы спасти, – девочку навсегда убили, любимый Костя остался в семье, а может, и не страдал, и трахал свою... планово, обыкновенно, и просто красовался перед Эренбургом для... и дама плакала на мосту оттого, что девочка мертва и препятствий больше нету, а все равно – она остается одна и разлюбить не может, плакала над собой: «Костя, Костя...»

– Александр Наумович, я хочу найти эту женщину.

– Доброй ночи. Хочешь сказать: найти ее могилу? Установить личность, предположительно любимую Уманским, шестьдесят один год назад? Давай порассуждаем: ты надеешься, что за тридцать шесть часов между убийством дочери и вылетом в Мексику наш клиент изыскал возможность между крематорием и аэродромом заехать к оставленной любовнице и поделился с ней предположениями о личности убийцы? Или ты думаешь, убила она?

– Неважно. Хотя мотив у нее был. Мне кажется, она – ключ. Если мы сумеем ее выцарапать, все сцепится между собой и мы сможем выбраться. Почему вы не спите?

– Только Машу проводил. Наготовила мне еды. Убралась.

– Кто это Маша?

– Маша – наш секретарь. Знаешь, очень теплый, светлый человек. Тебе надо быть помягче с ней.

– Хорошая жена вашему сыну.

– Я ему уже написал. Может, летом приедет. Она, правда, не хочет замуж. Как прошла встреча с нашим другом?

– Наш друг всего боится. Нам не дадут дело, но это мы знали и без него. Он пытался подсказать что-то важное. Два момента. И оба я не особенно понял. Он ведь не может по-людски говорить. Он говорит на их собачьем языке! Первое: дело открыто в июле и закрыто в октябре. Но это же хренотень: убили 3 июня. Почему возбудили дело через месяц? И зачем ясное самоубийство и убийство на почве любви расследовать четыре месяца и выносить приговор военной коллегией? Кому приговор? Оба мертвы. Какой?

– Значит, какое-то другое дело. Получается, дел – два. Он тебе говорил про второе. Если в первом Шахурин и Уманская, то во втором... кто?

– Тот, кто убил? Не знаю. Еще он пел: дело пустое, ничего нет, ля-ля, но, если огласить, весь Кавказ взвоет.

– Сведения, компрометирующие лиц кавказского происхождения? Еще живых? Родственников?

– Но среди разрабатываемых нами таких нет... Единственно, что я понял определенно: пистолет нашли, действительно «вальтер». Но эта скотина так и не сказал, где нашли. Получается какое-то нагромождение... Я не спал, башка тяжелая, все кажется не таким... но, может быть, и правда, там, внутри, на мосту – что-то другое? А? Вам, товарищ генерал-майор госбезопасности, что подсказывает оперативное чутье?

– Как ты хотел, мы пробили Фишера. Точнее, все, что от него осталось.

Когда следствие спросило: за что убить Уманского? – лучший друг, копия, почти брат Кольцов показал разбитым ртом: американский журналист Луи Фишер дружил, подчинил влиянию, называл «мой Костя»: «Мой Костя без меня беспризорный...», помыкал фактически, иностранец, тоже, кстати, посещал Испанию... и я озабочился существованием в Солнечной системе этой водомерки – Фишер с женой-немкой поселился на Софийской набережной, сына, чтобы задобрить местных, отдал в Красную Армию, и поэтому сына не выпускали («Хрен ли ты здесь клянчишь? – прошептал Литвинов. – Т а м проси»), Фишер заплакал т а м, жена Рузвельта сжалась и попросила посла Уманского: есть такой Фишер. У него есть сын. Отдайте его нам...

Походка выдавала в Фишере человека правды или купленную сволочь: «позиция» его ежедневно совпадала с письменными рекомендациями Наркомата иностранных дел (от безмятежного взгляда на прибытие американской делегации на конгресс Коминтерна до оправдания уголовного преследования за аборт); посол Буллит (и некоторые прочие официальные...) относился к Фишеру с глубоким недоверием, Троцкий называл «со-

ветской проституткой», публицист Климов именовал «старым троцкистом», а сатирики Ильф–Петров, вдруг растеряв зубы, отметили лишь «очень черные и очень добрые глаза». В последних строках книги жизни Фишер записался любовником писательницы в изгнании Берберовой, ледяной, поблескивающей тети, как-то не заметившей победы русского народа в Великой Отечественной войне в своих переездах по университетским городкам и обедах у туристского костра – она хвалила «время, проведенное с Луи», меланхолично заключив с оттенком «и это все благодаря мне»: «Скончался он прекрасной смертью, скоропостижно, во время нашей поездки на Багамские острова» – в раю; сдох, короче. Но мы выявили сына 1923 г. р., да еще советолога, да еще подававшего признаки жизни в 1999 году. Мог ли он помнить папиного друга Костю? дочь его Нину, дитя незабываемой красоты? Шестнадцатилетние юноши так восприимчивы... Если мы ухватим за хвост, если он еще не шмыгнул в землю – издатель не располагает его адресом, телефоном, все контакты через друга: Николай А. Троицкий, девяносто девять лет, белогвардеец или перебежчик.

Я позвонил утром и попал в середину ночи, я дождался глубокого вечера, пока гудел телефон, успел нарисовать крейсер с пятью пушками и заставил себя произнести из ночного города Москвы:

– Доброе утро.

Человек говорил медленно, в его словах можно было жить, прохаживаться, прилечь, как внутри подползающего к станции поезда.

– Фишер? Вам нужен Фишер. Но он не общается ни с кем. Фишер в тяжелом общем падении интереса. Только жена сдерживает его, в смысле движения еще глубже в этом направлении.

– Почему он не хочет вспоминать? Он чего-то боится?

– Он не то чтобы осторожен... но вам будет трудно договориться. А что вы хотите от него? Уманский? Не

знаю, не знаю... С кем Уманский был близок? Литвинов? И что же вы хотите от Фишера? Он отказался от прошлого. Переслал бумаги своего отца мне — там не встречается имя Уманский. Да-а, могла бы что-то сказать Берта Фишер, — в старческом шелесте вдруг протекло теплое, кровное течение того, что не стареет и менее всего заслуживает смерти, — но, к великому сожалению, Берты Фишер больше не существует. А сын ее сузил воспоминания до предела. Он несколько сократил свои воспоминания. Сказал мне: я даже пожертвовал общением с тобой... Чтобы не говорить о том, о чем я предпочитаю не говорить. И что же вы хотите от меня? Номер? Телефон. Но вам будет очень трудно. Я сейчас пойду за телефоном, почему нет? Память моя ведь тоже старая. Двигаюсь я медленно. Передам трубку жене и начну двигаться. Когда вы позвонили, я сидел и слушал «Голос Америки», вернее, «Голос России». Ну, хорошо. Я начинаю движение. — Началось молчание, и послышались уходящие, тяжело шаркающие шаги на другом континенте по коридору в сторону смерти.

Я немного подождал и почему-то положил трубку.

Бригада дяди Феди

Я прочел листовку «Оздоровление организма» на железной подъездной двери: «Знаете ли вы? Что в кишечнике каждого из нас находится десять килограммов запекшегося кала?», мы присели на украшенный сигаретными ожогами подоконник между пятым и шестым этажами.

— Мальчик наш Чухарев в лежке. Ни с кем не расплатился. Коммерс, что дал ему денег на бизнес, подогнал своих, — Боря показал на синюю «девятку» с грязными окнами, втиснувшуюся между качелями и тротуаром; на переднем сиденье, откинувшись, дремали туши. — Дом

обложили, уже четвертый месяц. Скоро начнут долбить. Как-то мне грустно все это...

— А что за люди? Черные?

— Мы их ошкурили во вторник. Выставили своих дэпээсников на маршруте: документы на стол, машина в розыске. Короче, бригада Федора Николаевича из Красногорска.

— А вообще?

— Вообще, они, получается, под Сашей Ташкентским. Если уж совсем «вообще», то под Дедушкой. Дерьмо они. — Глаза у Бори опять кровависто слезились, я подумал: самое плохое, что пьет он один, глядя в белую стену, когда некуда ехать. — У Чухарева маленький ребенок. Спит, я проверил, с часу до трех. Как раз сейчас. — И Миргородский, чтоб не разбудить, махнул рукой мимо звонка и нарастающе постучал согнутым пальцем в квартирный номер, утопленный в черный дерматин. — Получится, мальчика мы выковыряем, опросим, а они его прессанут. — И воскликнул с пьяной восторженностью на задверное пожилое вопрошание. — Раиса Федоровна, это Игорь! Это я вам звонил! Насчет квартиры!

Замок пережевывающе похрустел, и мать Чухарева застряла в дверной щели, как кусок погребального покрова, не дающий гробовой крышке сесть на место, вздрагивали и наползали друг на друга бесцветные, морщинистые губы, освежаясь промельком языка, Боря пропихивал ее, как баржу, вдоль коридора под марш:

— Телефон не спаренный? Договор с телефонным узлом можно посмотреть? Перепланировку не делали? Кто соседи? Слушайте, да вы сгорите на хер с такой проводкой! Балкон посмотрим? Спит? А я тихонько... А что по деньгам, Раиса Федоровна? А если оформление за наш счет?

В первой же комнате по левую руку я нашел ее. Жена Чухарева навалилась спиной на книжные полки: только уложила ребенка и заснула сама. Вскочила, в руках тряп-

ки для стирки, не успела добежать до ванной и прячется здесь. Она повела рукой: вот комната. Четырнадцать и восемь. Паркет. И уходите.

Незнакомая мордочка с бледными щеками. Ничего не осталось, время сожрало тот весенний размах, спросил: стоят ли в доме счетчики расхода воды? — и двинулся поближе, словно зацепить вид из окна — бывает ли солнце?

— Хорошая квартира. Почему решили продавать? — Я без жалости разглядывал чернеющий передний зуб, брызги туши на плохо промытом лице, отворачиваясь от ее личных запахов.

— Хотим поближе к природе, у нас маленькая... Подберем что-то за городом, с участком. Мама хочет грядки, цветы, — прочитала она невидимые буквы, что показывала ей злая доля.

— Муж не против?

— Муж в командировке. Но так — не против.

— Выбрали направление? Все что-то хвалят Зарайск, между Рязанкой и Каширкой.

Она дернула плечом, словно пытаясь погасить зазвеневшее в ухе: точно не решили, подумаем... Я подсказал со всего маху:

— В Мордвес, Тульской области. К сестре. На улицу Ленина. Там, думаете, не найдут? — И заорал: — Где муж?

Женщина покачалась и опустилась на низкую кровать, уткнувшись в тряпки. Но не заплакала.

— К нему есть два вопроса. Не деньги. Я оставлю телефон, в течение суток пусть позвонит. — Я покосился: завyla? давай, милая, и хихикнул: — Девочка спит ваша? Гуляете у пруда? С Леной и Наташей? Смотрю, нравится ей горка... Так смеялась вчера... Присматривайте за дочкой, Ксения Александровна. Знаете, какое бывает зверье... Чтоб потом не вешаться.

Она вскочила, собралась убежать, но запуталась, зашаталась, захрипела — забитая, изможденная мать:

– Мужа нет... – с каким-то отголоском, как в трубу, – он взял кредит. У него случились неприятности с налоговой. Он всем должен. Он уехал. Сказал, найдет деньги. Я не знаю, где он. Не звонит, – подышала и: – Все, что есть, мы и так отдадим. Продаем квартиру... Участок... – И, наконец, полилось: – *При чем здесь наш ребенок?!!* – Она кричала, стараясь погромче, соседям.

– Они вас не отпустят.

– А вы кто?

– Мы красная конница. Какая на хрен разница?

Миргородский просунулся с зычным:

– А мы с Раисой Федоровной чайку затеяли! – И замахнулся: – Ты чо мать пугаешь, с-сука?! Человек помочь тебе хочет... Где муж?!! Человек из главного управления по борьбе с бандитизмом... Сейчас уйдем, а ты у черножопых сосать будешь! – И прикрыл дверь.

Я отправил руку за удостоверением, клиентка потрясла невымытыми космами:

– Не надо. Я все равно не знаю, где он. Уходите. Ну, пожалуйста.

Вот здесь они жили, купили стол из ореха, заказали полки столяру с «Мосфильма», чтобы занимался... учился в Финансовой академии или академии ФСБ... чтоб получился кабинет... чтоб у ребенка была своя... Я опустился на вращающееся кресло хозяина – хозяина нет, – оставившись в середине созвездия рамок с семейно-родственным счастьем, – и встретил взгляд девочки с пухлым лицом с тонкими губами – Нину Уманскую.

– Сейчас я уйду. Больше не бойтесь. Все уже кончилось.

– Ничего уже не кончится. – Слезы текли так привычно, что она их не смахивала с лица.

– Вот эта девочка, Уманская. Говорят... как-то особо действовала на мужчин. Трудно представить, я не встречал красивых. Но ведь что-то заставило вашего супруга смотреть на ее лицо. Знаете, что ее убил Шахурин?

Она к чему-то приценилась и отсыпала мне первую порцию:

– Нину убил другой человек. Так считала ее сестра.

– Ну-у... Так, небось, Шахурины и напели, чтоб не оправдываться... за плохое воспитание!

Но – возможно, мы слишком пристально смотрим. Если тупо повторять хорошо знакомое слово, например «стол»: стол, стол или важно, важно, важно, – слово покажется бессмысленным. И страшным. Потому что может означать все что угодно. Так и в работе следствия: если слишком долго копать одно дело, покажется, что все – неправда. Я хотел добавить, что внутри – только смерть.

– Про сестру Уманской я ничего не слышал.

– Двоюродная сестра, Ирина. Дочь Дмитрия Уманского. Мы купили у нее квартиру. Она уехала в Венгрию на ПМЖ. Она много рассказывала мужу.

– А вам?

– Меньше. Нину она почти не помнит: забегала после школы, угощала конфетами, вот и все. Ирине очень хотелось доказать, что сестру убил не Шахурин. Восстановить справедливость. И муж хотел ей помочь, он нашел какого-то специалиста... Тут случилось с нами это... несчастье, а я вдобавок беременная... – Все еще надеялась на жалость.

Я крутанул стул и развернулся к ее вдовьей поникшей фигуре: соскучилась, о муже ей хотелось поговорить.

– Он у меня романтик. Романтики – они могут сделать жизнь настоящей. Не всю жизнь. Они берут кусочки мечты, детали и собирают из них кусочки настоящей жизни, такие машинки, механизмы, они двигаются сами и все меняют, и нас могут изменить. Он хотел развиваться в этом направлении – как раз фирма встала на ноги, у него появилось свободное время, первые деньги. Знаете, почему он взялся именно за Уманскую?

– Неважно.

— А мне важно! Я его люблю.

— Эта женщина, сестра, что в Венгрии, — что она говорила про смерть самого Уманского?

— Самолет зацепил колесами забор. Так бывает? Она считала: его убил НКВД.

Заканчивать с тобой, молодая мать... Я поднялся, она судорожно добавила, чтобы успеть:

— Но погибли не все.

— Да? И кто же?

— Одна женщина спаслась, — она отгораживалась от меня локтями и спешила, — Тройницкая. Или Троицкая. Секретарша. Никто ее не видел, никто с ней не говорил. Ее вывезли в Ленинград и спрятали.

Она взглянула на меня: интересно? важно? купите?

— А Ирина разыскала человека, который с Троицкой говорил! С Уманским погиб атташе по культуре, Вдовин. Вот его вдова видела Троицкую после всего... и с ней говорила. Вдовина не верила в официальную версию: мертвых никто не видел, родственникам показали фотографии черепов с выгоревшими глазами и раздали мешочки с остатками вещей. Ей достались обугленные часы и портсигар с сигаретой «Лаки Страйк». Еще ручка «паркер» со следами крови. Вдова считала: мужа доби́ли выстрелом в голову, и кровь из головы потекла вниз на пиджак. И еще расстреляли пилота, что тоже спасся. Ручку она потеряла позже на пароходе на канале «Волга—Дон»...

Я равнодушно уточнил:

— Что рассказала та женщина? Та, что якобы одна осталась жива?

— Что пол самолета *словно провалился*, она упала на куст и спаслась... В кинозале посольства крутили советские фильмы... «Два бойца», «Свинарка и пастух», но только по вечерам. А маленький сын Вдовиной бежал как-то днем по коридору и услышал: почему-то показывают кино. Прокрался внутрь. В темноте его никто не

заметил. В зале сидело всего несколько человек. Им показывали съемку с места катастрофы: разломанный самолет, бродят люди, ковыряются в обломках, кто-то поднял оторванную руку... Ирина помогла Вдовиной составить запросы в МИД, службу внешней разведки и Министерство обороны...

— И никаких следов этой пленки... — У мальчика погиб отец, унесла железная птица, мальчику могло присниться, и сам поверил лет через двадцать пять, маме рассказал. — Говорят... — и я запнулся, остановив взгляд на полках книг; урод собирал о Москве, античные истории о христианстве... Она сопела и ждала. — Уманский сильно любил. Одну женщину. Период, — я показал на руках, — от ноября 1941-го по конец мая 1943-го. Имеете, что показать?

Она сразу ответила:

— Нет.

— Есть мнение, что ваш супруг знает больше...

— Честное слово, я не знаю, где он. Он все отдаст. Соберет деньги и рассчитается, — по-накатанному клянчила она. — Ради ребенка! Я не обманываю...

— Те люди, что звонят и приходят. Они показывали вам какие-то документы? Договора, расписки?

Она с мукой вглядывалась в меня, словно пытаюсь узнать хоть одно знакомое слово в чужом языке!

— Забирать не буду. Можете показать ксерокопию. Или перескажите суть.

Она рискнула, от отчаяния сбежала за страшной бумагой, и мы вышли проститься в коридор. Нажравшийся плюшек Боря чмокал старушечьи вены и сокрушенно бормотал, постукивая в стены:

— Район-то нам очень подходит, но вот стены — сухая штукатурка, а там, небось, — засыпка? Не кирпич? Учтите, Раиса Федоровна, хоть не панелька, но — шестьдесят восьмого постройки... А балкончик? Небольшой! Район-то — да-а, экология... Но вот если б не 2420 за метр,

а 2340 — реалистичней, Раиса Федоровна, по деньгам! Мы звякнем, за нами ход.

Жена клиента не хотела становиться вдовой и давила из себя, перехватывая мой взгляд:

— Я вспомнила! Когда Нину убили, ее мать сошла с ума, Уманский от нее не отходил. Но тут позвонил телефон, и он взял трубку. Какая-то женщина спросила: когда мы сможем увидеться? Он сказал: не сегодня. И никогда. Может такое быть, что звонила *та* женщина?

Может.

— Еще! В Куйбышеве в эвакуации он по ком-то сильно скучал. И пожаловался брату: вот уехал такой-то и увез *ее* с собой. Смысл в том, что какой-то человек, ну, мужчина, наверное, уехал с его женщиной — а Уманский скучает по ней. Может быть — она?

На улице, на природе я замерз, сразу из тепла, надо было что-то под свитер... Автомобильные пятящиеся уступки, маневры дворника с корытом на колясочном скелете, детские игры в мяч — мешаем всем.

— Взял сто тысяч долларов под двадцать годовых, плюс пятьдесят один процент бизнеса. На год. Дал расписку.

— Мудак, — Миргородский с глубочайшим презрением. — В девяносто восьмом! Это надо быть таким долбоёбом! И они ему включили процент в день?

— Не знаю. Они выкатывают семье полмиллиона. Ты считаешь, насколько их реально сбить?

Боря откуда-то из космоса взглянул мне за спину, на синюю «девятку», словно на ней рисовались ему цифры:

— На полтинник можно попробовать.

Он не сказал: собью на полтинник, езжай занимайся оперативной деятельностью, пей чай в офисе с Гольцманом, живи там, не здесь, у этого подъезда ублюдков больше не будет, и Чухарев сможет выползти из лежки; он, куда-то отлетая, мялся:

– Может, не будешь... из-за какого-то... А если не вырулишь? Сам знаешь: свидетель, которого ищешь дольше всего, как правило, ничего не знает.

– Считаешь, будут растопыривать пальцы?

– Сколько там... Сотка? За сотку – будут. Слушай, сколько времени? Я тебе больше не нужен?

У меня уже подрагивали от холода ставшие пластмассовыми губы, я тер щетину, подбородок о воротник, содрогаясь от безумия ближайшего будущего, от дядифединой бригады, от смрада.

– Что им сказать?

– Ну.. Скажи, друг. Не говори, что родственник. Скажи, вот, узнал... Хочу как-то урегулировать. Выводите на тех, кто имеет право голоса. Если скажут, встреча в кафе на МКАД, скажи: не поеду, лес кругом. Лучше где-нибудь в центре.

И уже в спину совсем бросил, как плюнул:

– И не называй мужиками. Им это очень не нравится. Никак лучше не называй.

Z

Татьяна Л и т в и н о в а, Брайтон, Англия: Во время войны мы с мужем часто бывали у Кости в гостинице «Москва» – ходили принимать ванну. Помню, в одно из таких посещений он рассказал о встрече с Ворошиловым после отставки того в пользу Тимошенко. Ворошилов метался по комнате, как тигр. Хватался за голову и каждую свою инвективу против Хозяина заключал: «Ладно, после войны разберемся». Костя часто слышал такие обещания от разных лиц.

Когда приехали Раиса Михайловна и Нина, Уманские перебрались в Дом правительства, и «банно-прачечные» походы продолжились туда. Мы сплетничали с полным взаимным доверием, через Костю иногда приходили

письма от родителей из Америки. Однажды Костя сказал про папу: «Старик сошел с ума. Его ответы на телеграммы Сталина — сплошная обструкция».

С работы он иногда звонил поздно ночью, около двух, и мы вскакивали и, проклиная Уманского, ташились к телефону, дрожа, по нетопленной квартире на Первой Мещанской, где по углам проступал иней. Костя звонил развеять скуку. Чиновники проводили в своих кабинетах ночи напролет на случай, если Хозяин позвонит. Это правило не касалось только моего отца. Говорили: со Сталиным может спорить только Литвинов. И Микоян.

— *Вы думаете, Уманский мог по-настоящему полюбить?*

— Заводил романы направо-налево... Большого чувства я в его жизни не видела. Он бы никогда не оставил семью. Моя мама имела на него большое влияние, они много разговаривали...

Мы жили очень изолированно и не задумывались о морали. Однажды мы с Мишей залезли в стол к отцу и нашли картинки обнаженных женщин и не поняли, зачем они. Потом вернули на место, отец всегда все замечал, даже мелочи. Он не любил открытых дверей. Когда я заходила к нему в кабинет, папа говорил: стой — и я возвращалась закрыть дверь. Подходила к столу, опять: стой, ничего нельзя трогать. Мы с Мишей, конечно, шарили в его столе, но потом все аккуратно, до миллиметра складывали обратно. Мы искали конфеты и всегда находили их в ящиках. Однажды обнаружили уже заплесневелые трюфели и очень жалели.

Папа был обжорой. Он был толст. Любил окунать зеленый лук в сметану, в соль и есть с черным хлебом с маслом и огурцами, всегда очищенными от кожуры и разрезанными вдоль.

Раз, вернувшись с прогулки, Миша с удивлением рассказал маме, как совсем большие дяди глядели в щель между деревянными досками женской купальни на

Москва-реке. Я не рассказала маме, что одним из этих больших дядей был мой папа.

Мы просто жили. В отношениях присутствовала некая свобода. Никто не делал ни из чего трагедии.

Как-то Уманский и Кольцов позвали нас на дачу к Воловичам, к чекистам. Папа абсолютно не принимал чекистов, нас бы ни за что не отпустили, будь он дома. Я поехала: там атмосфера роскоши и декаданса, дачи тогда еще редкость. Нам дачу Сталин подарил, а Воловичи построили *сами!* Красивый дом, богатая обстановка, множество книг, очевидно, конфискованных, танцы в полумраке — выходит на свет лампы Ефимов, брат Кольцова, а на щеке у него след губной помады — такая обстановка свободы... Мне это очень импонировало.

Оставалась дочь Эренбурга — Ирина Ильинична, что-то она могла... про *ту* женщину — раз в неделю я просил ее о встрече, она отвечала: перезвоните еще — задыхающимся голосом, пока не назначила четверг. Четверг. В три. Метро «Аэропорт».

Душеприказчиком писателя числился г-н Константин Х. Уваров — отставной доцент института транспорта держал на заброшенной дороге монополию «Личность Эренбурга», однажды уверовав, что «...истина — одна. Важно пробиться к ней через толщу лет». Наследник архива, комментатор восьмитомника, разбиратель почерка из города Питера, мы его нашли. Я вяло восхитился служению мощам, соврал о своих целях и после анестезии тронул нерв:

— У вас есть письма Уманского к Эренбургу?

— Несколько! Представляет интерес лишь одно: Константин Александрович пишет Илье Григорьевичу из Мексики в очень подавленном состоянии. Жалеет, что не послушался его совета — какого? Жалуется, что жена не может смириться с потерей дочери, да и он сам немногим

лучше... Все это вы сможете прочесть в январе будущего года во втором томе переписки, я его готовлю...

— Та женщина... из-за которой Уманский страдал, как в «Даме с собачкой»... Вам известно, кто она?

Г-н замаялся или напрягся на том конце телефонной нити, что-то не нравилось ему в просителе. Я не выспался, заикался, бубнил, я мало походил на аспиранта, и он переспросил:

— А вы? Знаете?

— Да, — двинул я наугад, здесь мы проиграли.

— И кто? — спросил г-н торжествуяще, поднимая меня за шиворот для обозрения почтенной публике.

— Сейчас не могу назвать ее имя. — Есть люди, вызывающие ненависть с первого телефонного квака. — Константин Харитонович, для моих исследований нужны все письма Уманского к Эренбургу. Я понимаю, вы несете определенные затраты... Хотел бы вам предложить, — ненадолго задержался, — по пятьдесят долларов за каждое письмо. Когда я смогу забрать ксерокопии?

— В январе будущего года, — торжествовал! — Во втором томе вы сможете прочесть все. Вам *придется* дожидаться книги. И купить. И уяснить: не все меряется на деньги. — Трубка загудела. Минут десять я думал пробить издательство, изъять верстку, но что он может знать? что-то он может знать? И еще фантастическая идея увлекала меня:

— Алло. Александр Наумович, нужно узнать, когда Литвинова отозвали из Штатов. Точнее, какого числа он прилетел в Москву. И еще, вы слышите, совсем хорошо, если удастся выяснить, кто еще прилетел с Литвиновым. Попробуйте!

На вокзале мы ходили взад-вперед следом за старухой — та предлагала газеты недельной давности и «Огонек», еще большей. Из вагона вышел проводник со шрамом на щеке и татуировкой на ладони.

— Почему вы не едите мяса?

— Потому что мясо — это трупы, — на все у нее готов пустой, зализанный ответ, и сладко думалось, что еще пять-десять... и все перестанет быть, и я спущусь в подземный переход, словно уже чужой палаткам с бледными куриными ногами и вечным «набором в дорогу» в прозрачном пакете: яйцо, изогнутый кусок колбасы, хлеб и помидор.

Проводник велел заходить: время. Она перешагнула в тамбур и онемела, получив на прощанье поцелуй мимо накрашенного, вдруг ищущего рта; чтобы успеть, одеяльно натянув на себя шутку повыше, она сказала:

— В общем, так: я буду любить вас вечно.

Я кивнул, проводник уморился ждать и закрыл дверь; девушка осталась за двойным грязным стеклом, а я смотрел минуту в голову поезда, минуту — в хвост, за ее спиной виднелась тетя, делающая знаки кому-то за моей спиной, я иногда всматривался в девушку и улыбался, и она тотчас старалась улыбаться в ответ, чтоб не пропустить взгляд, чтоб не пропал он впустую; у соседних вагонов прощались, приплясывая, складывая из пальцев конверты, телефонные трубки, сердечки, — ничего из этого не мог я взять для себя; через мгновение все тронется — как? — и все, во что я сейчас погружен, останется в памяти как предшествовавшее расставанию. И, поняв это, я сразу стал замечать, как много на вокзале звуков: гудки тепловозов, загадочные железные стуки, паровые вздохи невидимых механизмов, — я угадывал звук, что положит начало разлуке, и не мог — кто-то еще добежал, на ходу доставая паспорта и билеты. Бесшумно снялись, наконец, вагоны, и я облегченно взглянул на отработанное, на нее, — она уже не врала и не улыбалась, она пропадала, пропала, а я еще улыбался в чужие вагоны, словно она могла видеть и будет видеть меня до ночи; пока не смою с себя железнодорожное расписание, она еще будет ехать, я лишь наутро проснусь на свободе — она

дома, и на следующий день забуду ее, а через пару недель начну вспоминать тело, тело не уедет... Поворот – секретарша оказалась за моей спиной, на тонких каблуках, потрясенной от чего-то зрительницей: извините, я понимаю, что вам сейчас не до работы, господи, всегда я не вовремя, думала, это важно, простите меня!.. На ноябрьском ветрище, в синем апреле, на горстках песка, изъязвившего лед, по мокрому от майских дождей перрону грохотали багажные тележки и жирноплечие скоты в майках-борцовках звенели ключами, напевая: «Та-акси, так-си недорого...», на опустевшей платформе воробьи столпились над сердобольной горбушкой, собрав в кучу пушистые затылки... С утешающим взмахом руки, не догадываясь сделать вид, что подошла вот только:

– Хотела предупредить, у вас на завтра...

– Я помню. Ирина Ильинична Эренбург. В три часа.

Секретарша судорогами запихивала за ухо пряди и хваталась за серьгу.

– Хотите сказать, ее больше нет?

– Да. Да, да... – секретарша уткнулась в ладонь. – Так ужасно! Вам сейчас и так – так тяжело! Она умерла.

– Ничего необыкновенного. Все время кто-то умирает.

Гольцман внимательно посмотрел, с кем я вернулся в офис.

– Литвинова отозвали в начале апреля 1943-го, шестнадцатого приземлился в Москве. Добирался через Африку – союзники уже завершили уничтожение группировки Роммеля. Не знаю, на чем основывалось твое предположение... И в чем его смысл. Но ты оказался прав – Литвинов вернулся не один.

– И не с женой.

Гольцман недовольно подтвердил:

– И не с женой. Айви Вальтеровна задержалась в Штатах. С ним вернулся секретарь. В проездных документах,

я попросил товарищей по ветеранским делам глянуть, пол не указан. Есть пометки о сделанных прививках: от чумы и холеры.

— Я думаю, он вернулся с красивой женщиной. Той, что плакала на мосту. Той, что мы ищем.

Гольцман погасил верхний свет, включил радио и пересел поближе. В начале первого ночи на улице цвели фонари, мы сидели у радио — в сумраке светились зеленые цифры частот — и слушали песни.

— Жена Чухарева выдала нам уравнение. В конце октября — начале ноября в Куйбышеве Костя жаловался: уехал X, увез Z. Вряд ли бы он горевал, если бы X увез Z в Москву. В Москву каждый день летают самолеты... А куда ее еще могли увезти? На фронт? В Сибирь? Неправдоподобно. Не стоит усложнять: X этот — кто-то из старых знакомых. Уманский второй месяц в стране, эвакуация, он не успел завести новых знакомств, а старые связи ясны — дипломаты. Допустим. Но тогда мы вспоминаем, что 12 ноября из Куйбышева в Штаты на смену Косте вылетел Литвинов. Это событие рушило карьеру... Но с Литвиновым могла улететь и Z, следом за карьерой рушилась — любовь! Если мы не ошибаемся. Проверка. Из уравнения, оставленного Эренбургом, мы знаем: любовную драму Уманский переживал накануне отлета в Мексику: апрель-май, четвертого июня у него вылет. Следовательно, Z, если это Z, должна вернуться к этому времени из США. Вы только что это подтвердили. Секретарь Литвинова вернулась 16 апреля, у них оставалось сорок девять дней на объяснения, случки, отсасывания и слезы. Эренбург правильно учуял: друг горит, влюбленные только встретились, а уже расставаться — *мало времени*, надо все быстро решать, на всю жизнь!

— Возможно, это совпадения.

— Конечно, — и я поднял глаза на застывшую в дверях секретаршу. — Производят впечатление именно совпадения, условно называемые судьбой.

— Мы установим личность секретаря Литвинова, — Гольцман зашуршал страницами тетрадки, куда вносил имена и координаты затронутых. — Дочь Литвинова живет в Англии. Сын, Михаил Максимович, — на Фрунзенской набережной в Москве.

— Если это она... какая-то особенная женщина — непонятно: зачем хотела встретиться с Уманским, когда убили Нину... Конечно, пособолезновать... А по существу? Дочь ушла. Препятствий больше нет. *Теперь* мы будем вместе, любимый? Не сегодня. И никогда.

Я знал: Гольцмана не обнадеживал поход за несуществовавшей красавицей, ему хотелось откапывать мальчика, сожженного в Донском и закопанного урной рядом с каменным пионером М. Димитровым; надо просто расслышать, тем более что многое на поверхности (кроме вероятной шизофрении и губительного маминого обожания): имперская жестокость — война, подвальные расстрелы, «дикие нравы» НКВД, кавказцы, обсевшие власть и привыкшие резать горла, — вот мальчик (подсказывают психотерапевты) и *впитал*; но следовало продумать, что происходит с каждым мальчиком в четырнадцать лет, учеником 175-й проклятой школы, в 1943 году.

Историк Эйдельман, кратко прославленный в последней трети прошлого века, также поучаствовал в забеге: «Во время войны Сталин совершил невиданное в мире действие (а если учесть, что у страны были военные и восстановительные заботы, колоссальные жертвы — то шаг совершенно фантастический). Одним мановением пера десятки тысяч школ были разделены на мужские и женские; говорили, что причиной тому послужило убийство на почве любви и ревности дочери дипломата Уманского сыном министра Шахурина. Разделение предполагало, что отныне любви и ревности не будет».

Эйдельману не годилась шинельная правда — император разделил в середине лета школы, чтобы растить из

мальчиков солдат, — писарю хотелось покрасивше, да и в тирана плюнуть лишний раз: отменил любовь и ревность! — но по правде — в 175-й школе мальчиков и девочек разделили сразу после Нового года, задолго до Большого Каменного моста. И что же происходило с мальчиком? Как сказал прохожий, бывавший в тех местах и в то время, «произошла активизация половых отношений в подростковой среде»: девочки отдалились и недостижимы теперь, на уроки танцев приглашают красавиц из соседней школы — волнение, в прежних и свежих «романах» разбухает тело, жировые отложения, оволосение лобков, щекотно скользит в складках кожи... Тогда Империя, казалось бы, подравнялась («братья и сестры» — сказал император в микрофон), но в ту же зиму мальчики проклятой 175-й, напротив, *бешено разделились* не только по титулам не присутствующих дома отцов, но и по *возможностям* — у кого больше, кто круче, *показать себя бабам*.

Для пополнения мужских классов добавили простолюдинов из 636-й в Успенском переулке, вставшей на ремонт, — жены императорских соколов под водительством Жемчужиной П.С. собрали новеньким поношенное шмотье, и кому-то счастливо выпадал великолепный бостоновый костюм серого цвета, а кто-то до пятнадцати лет продолжил маяться в единственной куртке ручного бабушкиного изготовления, пока богатый дядя не подарил отрез на костюм — и страдал мальчик всю жизнь, всю свою жизнь, всю жизнь, и когда ездил на «Чайке», и когда сидел в ЦК КПСС, и когда подыхал в Барвихе дважды Героем Соцтруда, а все забыть не мог своей куртки. Как же болело *тогда!*

В четырнадцать лет (как говорят санаторно-курортные медики) мальчики *острее* всего чувствуют свою *ущербность*. Зимой 1943 года, когда под Сталинградом солдаты Империи со звериным остервенением *решали все*, а дети простолюдинов стояли за токарными станками, делали снаряды, в обеденный перерыв гоняя голу-

бей, а школьники получали в день пятьдесят граммов черного хлеба и одну конфету, в старших классах 175-й школы воцарилась, как выразился один педераст, *анормия*, отсутствие всяческих норм. И книжные мальчишки Серго Микоян да Володя Шахурин *острее всех* почували свою ущербность в тени франтов, любителей оперетт, владельцев лимузинов, сыновей дебелих кавказских мамаш, не забывающих даже на похороны надеть золото и выкрасить губы. Возможно, Володя Шахурин не дожил до Владимира Алексеевича потому, что внезапно и ужасно ощутил себя ничтожеством, увидел себя глазами удивительной американистой девочки в нейлоновых чулках — *никем*, асфальтовой тенью; и на последнее свидание сунул в карман пистолет — хоть чем-то поразить...

Я лупился в пустое и чистое пространство, Гольцман складывал бумаги на ночь в железный ящик. Он не держал на столе пепельниц, рамок с улыбающимися родственниками, серебряных ножигов для вспарывания конвертов или железных солдат с температурой плавления 327 градусов Цельсия (шестьдесят частей олова на сорок долей свинца); он объяснял: на допросе подследственный не должен получить возможность определить психологические особенности хозяина кабинета, в особенности понять, что ему дорого, куда можно ударить. Оставался последний вопрос, жестоко обращенный к старику:

— Как же он не боялся себя убить? Мальчишки больше всего боятся смерти в четырнадцать лет, — я зажмурился, вглядываясь в точку, оставшуюся далеко позади.

— Следственная практика твоего наблюдения не подтверждает, — прошелестел Гольцман. Пора заканчивать день. — Порог принятия решения о суициде у мальчиков и девочек очень низкий. Дети не в состоянии осознать, что смерть — это всё... Ни игрушек. Ни подружек. Им кажется — все всегда впереди. Смерти для них фактически не существует. Ничего плохого случиться не может.

Есть желание попутать, привлечь внимание. Самоубийства подростков происходят именно вдруг. Вряд ли он планировал, — Гольцман резко поднялся. — Решение принимается быстро и претворяется в жизнь практически сразу.

Шахурин мог себя убить. Но сперва выстрелил в девочку.

А и Б

Опять не мог уснуть, не идет сон. Открывал балкон, закрывал балкон, читал про гидромассажные ванны: форсунка, регулируемая сила струй, — слушая подвывающие соседки-астматички. Дочь ее закричала: «Мама, хватит!» и костяным щелчком включила свет, мама боится умереть ночью и завывает в два часа каждую ночь долгие годы.

Александр Наумович Гольцман, это я замечаю, задерживается в конторе до ночи, читает материалы дела, а больше разговаривает с секретаршей, хотя ночь, потом вызывает такси, «Волгу», татуированную телефонными номерами (как добирается она?). Они устраиваются в комнате налево от приемной, в железном шкафу там архив, и пьют чай. Два раза Гольцман уже рассмеялся, он рассказывает секретарше про свою Регину, вкрапляя в рассказ детскую жизнь, цену на воду с сиропом, что сказал экзаменатор в Курском железнодорожном техникуме, как первый трамвай прогремел по Большому Каменному мосту. Должно быть, открывает доступную простолюдинам картину расчищаемых нами событий, следы бывших людей — они определились и застыли. Над ними течет вода, они трескаются, как камешки, и волна ворочает их с боку на бок. Я признаю: они умерли, но более сильным доводом для следствия является то, что все наши клиенты существовали на самом деле.

Секретарша выходила с чайником за водой и каждый раз предлагала: «Александр Васильевич, будете с нами?» Я отказывался и ждал, когда привыкнет и перестанет звать, когда и она устанет, когда отступится и она... Подъехала машина, хлопнули дверцы, прощающиеся голоса...

Я лежал, ворочаясь с боку на бок: ничего не думай, отодвигай все, — до внезапного звонка: «Здравствуйте, это Ирина из Новосибирска, вы смотрели фильм «Персона» Ингмара Бергмана?» — «Я? Нет. Сейчас показывают?» (Где пульт?) — «Да нет. Просто я вспомнила. Там одна медсестра все время разговаривает с больной женщиной. А на самом деле эта женщина разговаривает с медсестрой. И проигрывает в разговоре варианты своей жизни — свои отношения с мужем, прошлое, дети. И трудно понять, где реальность. Вот для чего я избрала вас и между нами случилось... — Она вопросительно помолчала. — Алло? Вы слышите? Ничего не изменилось после той ночи?» — «Нет». — «Больше всего я боялась, что вы скажете: теперь мы стали по-настоящему близки».

Она звонила ночью, чтобы меньше платить за межгород, я проспал утро и полдня ходил по мертвому, рассыпающемуся городу. Шел и глядел на двух сорок: они прыгали друг за дружкой, то сваливая на бок свои длинные хвосты, то распушив их при полете резной лопаткой, — нет, не будет мне вестей. В траве лежала спрятанная удочка, лягушка поблескивала, как сгнивший мартовский листок. На том конце троллейбуса поднялась девушка, высокая, пахучая, в длинном черном пальто, я смотрел на тонкое ее запястье под троллейбусным поручнем — все, что оставила мне весна, а вблизи она оказалась идиотом, подростком мужского пола.

Я нюхал следы и метки: куда теперь? С первой еще не заросло, еще противно, рано; пока ждал ее на «Октябрьской» в центре зала, встретил вторую; пять дней звонил, страшась: вдруг Алене попадет на глаза телефонная

книга, раздавленная на одной странице; по пути в контору заходил в магазин к третьей, она налепила себе под нарисованную бровь три стеклянных камешка, и когда нагибалась, из штанов вылезали красно-кружевные трусы, натянутые до подмышек; вечерами каждый вечер звонила четвертая из «Говорит Москва»: «Вы сказали «а», почему вы не говорите «б»? с пятой мы обнимались на бревне в детском городке; шестая позвонила, когда уложила дочь, я сорвался и поехал, мучаясь: отключать телефон? не отключать телефон? где я, если не дома?

...Я маялся в парикмахерском кресле, засыпая от ножничных перепархиваний по волосам. «Вы женаты?» — «Да». — «На ком?» — «На одной старухе», то есть: время мое освещено с караульных вышек и простреливается, а «чувства» превратились в работу: отмучился и до следующего раза.

За пазухой у «стилистки» колыхалось желе, во рту многовато зубов, они перли наружу, и под подбородком солидный жирок, как у любой естественно грудастой бабы; прошептала: «Я стригу и на дому»... Летом, на дому, меня угощала ее мать, сообщая украдкой: «Да она у нас и шьет, и готовит... И соленья, и варенья», — и ушла в ночную смену. Мы прошлись по Ленинскому за сигаретами и купили арбуз. Она быстро постригла в ванной, любимый водил электропоезда в Новгородской области, там имелись некие временные препятствия родоплеменного свойства, до свадьбы они договорились дать друг другу свободу, но рассказывать честно, сколько раз, с кем. Хочешь, я покажу тебе, в чем хожу, когда остаюсь одна дома? Я опустил в коридоре на кожаный пенек, пока шипел душ: лишь бы не голая; она вынесла жирный живот с пупом, глубоко вбитым под узел курортно завязанной рубашки, мы дотолкались до кровати, слепо шаря и находя на проводах и стенах кнопки, клавиши, выключающие свет, она улеглась, расстегивая и снимая, потерла колено о колено и развалилась пошире. Я погладил

жестковатый ветерок внизу живота, спрятал глаза, выключил, мрак, не имеющий цвета, такого цвета, должно быть, дневной сон, смерть, — и видел теперь губами, языком, участками привлеченной кожи, раздвигая плотские наплывы, протискиваясь внутрь, как в намордник, как в дыхательную маску...

— Тебя хорошо подстригли.

И еще черней. Я закрыл папку с показаниями быдла и, обогнув Алену по максимальной дуге, в третий раз в туалете втер мыло в щетину и губы, смывал горячим и мылил опять, прополоскал рот, вытерся и внюхался в руки: что-то все равно оставалось, смоят только недели...

— Будешь чай? Скажи секретарю. Что ж не позвонила, что заедешь? Мне уже скоро уходить...

— Тот же мастер стриг?

— Нет.

— Тот заболел? — она как-то неприятно всматривалась в меня.

— Я не там стригся. Ездил в архив внешней политики, по Уманскому, и зашел рядом. Алена, надо лететь кому-то в Англию, устанавливать дочь Литвинова... Она баба непростая, трудно ей объяснить, кто мы и что нам....

— Какой-то салон?

— Да нет, простая парикмахерская. Тебе что нужно — телефон?! Адрес? — я отворачивался, и закрывался ладонями, и пылал.

— У тебя блеска на щеке.

— Что, опять?! Я ведь только что! На твоих глазах! Ходил умываться! Какая блеска?! Это от мыла!

— А почему ты не вызвал машину, чтобы ехать в архив?

— На Арбат быстрее на метро. И хотелось пройтись, — я швырнул телефонную трубку, брызнувшую пластмассовыми злыми зубами. — Хватит за мной следить!

Она пригнулась и по-детски закрылась руками: я в домике, — убежала в туалет и повыла под включенную воду.

В конторе на долгое мгновение все стихло, секретарша не брала электрически журчащий телефон.

— Я так соскучилась. Когда мы увидимся?

Есть долгожданный легкий ответ: никогда, я не хочу.

— Я без машины, — и как школьница: — Пойдем погуляем, такая погода хорошая.

Есть такой же легкий ответ: денься куда-нибудь, я не хочу, пусть это будет кто-то другой.

И, держась за руки, по тротуарам Красноармейской улицы — сидели продавщицы пирожков, накрыв свои алюминиевые лотки марлевыми покрывалами, как покойников, картонки с чернильным «изумительные огурцы», «бесподобные грибы», в поставленной на кирпичи ванной продавали живую рыбу, и нищие таджики побирались на подстеленных клеенках и крестились левой рукой, получив от негра монетку. Я вспомнил, какой бывает теплый ветер весной, и пытался вспомнить, как пахнет неасфальтовая земля.

— Должен лететь ты. Ты должен увидеть мир. Литвинова живет в Брайтоне, там есть море. Хочешь, я что-нибудь придумаю и поедем вдвоем, — и она прижалась ко мне, даже ахнув от забрезжившего счастья. — Знаешь, Миргородский сказал, что человек становится тем, чем он должен быть, если только попадает в историю сам. Или мы его туда сопровождаем. Боря сказал: конвоируем. Ты согласен?

— Не знаю.

Кусочки неги, закрытые глаза в Петровском парке... мы обнялись, осень, стояли деревьями, и собаководы проводили шавок по нашим ногам, и сумки ждали на лавке за спиной, склонившись друг к другу. По аллеям шаркала карусель курсантского бега академии ВВС, разминался взвод, замедляясь и растягиваясь в батальон с равнением налево, на нас, она шептала мне в горло перед расставанием (и поедет домой уже не с виной, а только неловкостью, быстро прилипая к другой коже,

к другой себе: я — дома; придет, и сын запрыгает от радости: что принесла? ничего — спасибо!):

— Я должна понять, почему это происходит со мной. Стало самым главным...

Одурела от декретного заточения... Или муж завел нежную девушку и забыл... Или от скуки, от прихоти «кого-то еще», но не до конца, но это *само* охватывает и доводит до конца... Или хочешь погоняться за призраками юности, пока зад не истреблен, пока не истлела кожа, обновить, бесстыдно подождать свою молодость — *еще раз*, забывшись, словно — не было ничего: ни детей, ни морщин, ни свадеб, не согласившись с временем и похоронным порядком вещей... Я дышал в ее висок, и она улыбнулась так сияюще, услышав неслышный ответ, что я в любую секунду ждал рыданий.

Поцеловались и расселись по такси.

— А вот это кресло Айви Вальтеровны.

Большое, выше головы, с орлиными головами в подлокотниках; у ног моих прыгал ирландский терьер. Невестка Литвинова (не готов, ничего не знаю про нее) ожидала вопрос, сын Литвинова звуков не издавал. Испугал меня: постоял секунду в дверях и растерянно вышел вон. Позже мы установили: образованный, здоровый, просто т а к о й. Я сразу подумал: больше его никогда не увижу.

Я сделал вид, что все интересно, и выжидал момент для удара когтями.

— А мы жили... Влюблялись... Растили детей. Это жизнь. Всюду жизнь. Одна моя знакомая побывала в Освенциме, у нее номер на руке. Ей определили работу в газовые камеры: разбирать вещи, люди несли самое лучшее с собой — и вещи оставались. Так она с подругами наряжалась в чужие платья и устраивала танцы, хотя назавтра могли отправиться следом в камеры и — в печь. А наша жизнь — членов семей руководства — была хоро-

ша, но жестко predetermined: школа, институт, семья, работа, пенсия...

Я отметил, что смерть она не назвала. Словно на поплавок, уставилась куда-то далеко «туда», я без замаха ударил:

— Литвинов летел в Америку один? Кто-то еще, кроме Айви Вальтеровны?

Она откликнулась послушно:

— Секретарь. Анастасия Владимировна Петрова.

Имя это не исчезнет уже никогда.

— У Петровой оставалась дома семья? Дети?

— Кажется... Она поначалу была замужем за сыном Цурко, наркома продовольствия. А потом перешла к его родному брату, что было м о в е т о н. Дети... Дочь Ираида, кажется, от второго Цурко. И сын — дитя любви. Дефективный, но она старалась его воспитать, дать образование, которое и здоровые-то не получают, водила в музеи, театр...

Не девочка... сороковник на момент описываемых... Жива ли дочь? Хоть здесь мы их перегоним?

— Откуда она взялась?

— Я не помню. Одно время работала в Лиге наций машинисткой. Оттуда?

— Красивая?

— Очень интересная. Очень необычного типа, почти монашеского. Очень тихая, русское лицо, скромно одевалась. Почти не пользовалась косметикой. Волосы зачесывала гладко назад, закалывала в пучок, носила на пробор. Невероятно сдержанная, — и ударила в ответ, выбравшись из своих сплошных, тревожащих меня «очень»: — Но была такая б е л ь ф а м.

Я помялся. Но некуда деваться. Стóбит перенести на недельку, и опять кто-то сохнет.

— Ее любил Уманский?

Старая, выбеленная женщина подумала, говорить ли, что-то перебрала в ладанке за пазухой и отдала не все:

— Не один Уманский пал ее жертвой. Она вызывала романтические стремления у мужчин. Выглядела строгой, но, видимо, обладала какой-то негромкой, но сильнейшей... — неожиданно убедительно выговорила, — сексуальностью. **Ф а м ф а т а л ь**. Множество людей были ею покорены, — она отмерила следующую порцию. — Некоторые были ее любовниками, — и вытряхнула на ладонь остатние крошки: — Уманский не раз предлагал ей выйти замуж.

Фам фаталь

Женева, начало тридцатых, конференция по разоружению, первый зафиксированный нами контакт Литвинова и Уманского — и рядом машинистка, секретарь А.В.Петрова? и завязалось тогда? Я вернулся с порога — а фото? Мы обязательно вернем. Ее фотографии нет, старая женщина не спросила, почему она нас так заинтересовала, ей не казалось это удивительным; Настя Петрова, Цурко, А.В., получавшая все, что хотела, за минусом сына-дебила и девочки Нины, также необыкновенно красивой; когда захотелось окончательно замуж за одного из последних любимых, девочка помешала, девочку так вовремя убили, но не спасло...

Я дал отдышаться и подзабыть и позвонил, расчетливо застав Михаила Максимовича Литвинова дома одного. Что ж он-то смолчал?

Фамилия «Петрова» наркомовского сына не обрадовала:

— Ничего сказать не могу. Не красавица, это преувеличение, — вяло, настороженно, соскальзывая в беспamięтство, — просто интересная женщина. А Уманский? Просто милый и симпатичный человек. Он уехал на Кубу, там и произошло несчастье с его дочерью.

— С кем Петрова дружила? Кто может знать ее жизнь?

— Она умерла много десятилетий назад, — и закончил неожиданно молодо и удовлетворенно: — Все, кто ее знал, уже давно на том свете.

Я бешено крутанул ручки настроек: что у нас есть? Почти ничего. По домовая книга прописанные по ул. Серафимовича, 2, кв. 306 ПЕТРОВА Анастасия Владимировна (1902 г. р.), ЦУРКО Ираида Петровна (1928 г. р.), ПЕТРОВ Василий Петрович (1937 г. р.) (больной, получается, сын), переезд в кв. 499 (25-й подъезд)... Музей Дома правительства — «работала доцентом кафедры английского языка Высших курсов иностранных языков при МИДе. Умерла в 1984 году». Ираида Петровна, дочь, жива, телефон не отвечает, опрос соседей: временно за границей... Интернет: оказывается, А.В. Петрова написала «Самоучитель английского языка» (восемь изданий), соавтор Большого англо-русского словаря (в двух и трех томах)... Отсеяны Анастасия Петрова из Москвы, преподаватель английского языка, победитель конкурса «Педагоги XXI века», и Настя Петрова, бывшая сотрудница КГБ, героиня компьютерной игры, за ней охотится Интерпол... Полное собрание сочинений В.И.Ленина: «Перемирие еще не подписано. Положение без перемен. На остальные вопросы вам ответит Петров из Наркоминдела» — февраль 1918 года. Не родственники ли? мертвые не двигаются, не оставляют следов. Дети Цурко, о черт! — *пять* родных и *трое* приемных, четыре брата: Дмитрий, Петр, Вадим и Всеволод. Да выберите двоих подходящих по годам, братья-мужья, потом считаем, кто женился первым.

Петр, «самоотверженный и бесстрашный», девушки на танцах гордились таким партнером, в семнадцать лет вступил в партию, охранял Ленина, сильная близорукость (носил очки), в лютой продрозверстке участвовал как агитатор (а чем ты, самоотверженный и героический, занимался двадцать лет до войны?). В 1941 году ушел

в московское народное ополчение, командовал батареей сорокапятков, ранен в обе ноги у Спас-Деменска, при выходе из окружения попал в плен.

12 апреля 1942 года умер от голода в концлагере в Молодечно. Похоронить отдельно не разрешили. Бросили в братскую могилу, куда свалили еще шестьсот человек, расстрелянных за рытье подкопа.

Другу твердил: «Костя! Костя, если останешься жив, заезжай в Москву, говори моим детям, что я не забыл о них, что скоро вернусь», — зачем он хотел оставить детям надежду? продлить напрасным ожиданием свою жизнь? И почему «детям», множественное число? Дочь Ираида Петровна — одна штука; телефон Ираиды еще молчит (минуло три недели), ждем.

Митя, Дмитрий, старше на год, в партии с шестнадцати лет. Доброволец Красной гвардии. Громил атамана Дутова. В составе ЧОНа участвовал в подавлении мятежа левых эсеров. В подполье на Украине. Сидел в тюрьме у гайдамаков, воевал с батькой Махно. Закончил курсы краскомов тяжелой артиллерии. Как коммуниста, знающего иностранные языки (откуда же?), мобилизуют в Народный комиссариат иностранных дел (вот где А.В.Петрова могла его зацепить сильнейшей своей сексуальностью), секретарь генконсульства в Финляндии, Японии, Китае — примерно понятно, чем он мог там заниматься после подполья и ЧОНа, но вдруг и здесь необъяснимый поворот: в двадцать семь лет оказывается рядовым кавалерийского батальона, курсантом школы имени ВЦИК — что-то случилось.

Армия, два года в Испании, орден Боевого Красного Знамени, военная академия, командует полком против танков Гудериана на шоссе Минск—Слуцк. При выходе из окружения приказал подчиненным рассредоточиться. Остался вдвоем с товарищем, попросил лодочника переправить на другой берег и довольно символично расплатился именными часами — лодочник доставил команди-

ров прямо к немцам. И молчок — расстреляли, что ли? Откуда, кстати, известно про лодочника?

— Ты прочитал?! — Боря утром не брал телефон, опоздал, и похмельно подванивал, и почти кричал на меня по дороге, в подъезде (опять мы на Серафимовича) и лифте, на лестнице. — Ты смотрел биографии Цурко? Это же чистая оперетта! Дети героя на льдине! Это же мифы малых народностей Севера! Стой! Куда мы идем?!

— Чего ты хочешь? — Я надеялся, что в подъездах бывшего Дома правительства нет видеонаблюдения, я отворачивался от вони. — По делу.

— Я хочу работать по *делу*! — обиженно взмыл. — Меня начала пугать эта история. Все *не так*! Нам показывают, а я знаю: все — не так, — рубил ладонью, как разделочная машина. — И все давно умерли. И многих убили. Хотя некоторые мертвые еще ходят. Мы третий год движемся вроде по прямой кратчайшей, а получается вокруг чего-то еще, *совсем другого*! Не на что опереться — одни открытые двери, а за ними еще одни открытые двери, а там еще двери — ты слушаешь меня!?

— Двери.

— И за каждой дверью убегает тень, очень быстро — прыск! — убежала. Я перестал понимать, что мы ищем. Им, — Миргородский сделал неопределенный жест, — хочется, чтобы мы занимались девчонкой, а нам уже как бы по хрену, кто ее убил, да? Мы идем на прорыв? Так понимаю? Наверное, так нужно, тебе решать, но — я не представляю, как мы все сложим... Но! — Боря вскрикнул, заводя себя. — Я заметил: как только ты вычислил эту бабу, стало в десять раз темнее! Все, чего она коснулась, просто расплзается в наших руках. И Уманский, и авиакатастрофа... и эти тридцать три брата с биографиями, и сын дебил, Ираида... и Большой англо-русский... и эта брюнетка на мосту... Заманит и утопит твоя Настя. И ни одного ее фото, заметь, — тебя не настора-

живает? А меня — очень. Хочешь, я тебе правду одну скажу? Скоро и ты забоишься! И ты ее сперва придумал себе, как игрушку, какую-то сверхскоростную и многоцелевую суперблядь на воздушной подушке, что могла бы все связать, а она вдруг и оказалась там, где ты поставил крестик на карте. Взяла и — оказалась. Именно такая. И даже больше — и ты одурел, ты решил, что наше непонятное *что-то* на мосту эта баба и есть, то, что *кроме* убийства, что *над* убийством и что *в* убийстве, что на ней все завязано... И только ей Костя сказал, кто убил Нину, сказал и улетел, и взорвался, а она запомнила и пересказала своим...

— Она не могла не запомнить! Нина перевернула ее жизнь!

— А я тебе другое скажу, — Миргородский поозирался, вспоминая, куда собирался вырулить. — Никуда она нас не выведет. Все, чего она коснулась, принимает необратимый вид, зависает навсегда. И мы запутаемся. И пропадем — вот куда!

— Я понял, — я подвел его к двери и ткнул в звонок. Боря сокрушенно качал головой, когда в двери закашлялись замки, я прошептал ему очертания роли: — Цурко, Марианна Александровна. Внучка наркома. Племянница — тех. Братьев. Одинока. Хромает.

— Проходите. Оботрите обувь. Сапоги поставьте на комод, а то щенок достанет, — за ней таскался косматый чау-чау, похожий на мягкую мебель с начесанной проститутской гривой. — Его оставили на улице в корзинке с одеяльцем, флаконом собачьего шампуня и специальными палочками — чтоб было что погрызть, когда начнут резаться зубы. Присядем.

Образ ее совершенно стерся, хотя я почти уверен, что седина гладко зачесана к затылку и заколота, и очки, учительница на пенсии. Мы, как троечники на переэкзаменовке, украдкой переглядываясь и сконфуженно подталкивая друг дружку, подсели к пустому столу.

– Прежде чем мы начнем разговор, – строго улыбнулась она, то есть разговор-то мы обязательно начнем, вы только обманите меня для начала, – я должна понять, с каких позиций вы интересуетесь личностью наркома Цурко... Не собираетесь ли лить воду на мельницу тех писаек, кто сомневается, что нарком продовольствия и торговли Цурко падал в голодные обмороки на заседаниях Совнаркома, и предлагают ради очернения опубликовать нормы довольствия жителей Кремля, переименовать обратно в Алешки город Цурковск на Украине и отменить обзорную экскурсию «На теплоходе на родину наркома»?

– Неужели вы думаете, что биография вашего деда, первого председателя Госплана, может дать хоть малейшей повод для сомнений в его высочайшем моральном облике? – горько усмехнулся Боря. – Даже пристрастному взгляду не удастся обнаружить хоть что-то, что может бросить даже крохотную тень... Марианна Александровна! Кружок «Познай свое Отечество», что мы с коллегой, – он брезгливо показал на меня, – создали для школьников Саратова, совсем не просто так начинает свою деятельность с изучения личности А.Д.Цурко, – Миргородский развел руками. – С кого ж тогда еще начинать? Семь топонимических объектов названы его именем!

Она облегченно рассмеялась:

– А то меня пытаются журналисты: неужели вам дедушка так ничего и не оставил? А он показал на Конституцию РСФСР: вот мое завещание! В пятьдесят семь лет умер. Наверное, Сталин помог умереть. – И ушла включить чайник. Потянулись часы...

– Семья наша большая... Похоронены на Новодевичьем – восемь человек в одной могиле. Сам Цурко в кремлевской стене. Я долго добивалась, чтобы мать к нему подзахоронить. Дважды Горбачеву писала, платила за хранение урны на Донском – тайно от меня проверили

моральный уровень мамы, но, к счастью, институт марксизма-ленинизма дал положительное заключение, вот — смотрите фотографии... — Березы, утянутые дамы, крылечки усадеб, господа в котелках, мальчики в матросках на деревянных конях, лобастые гимназисты в длинных шинелях, лошади, телеги, лысые куклы, на некоторых фото, словно белые ногти, вырезанные лица «врагов народа»; известные фото, лица вырезаны по центру, а все равно вспомнить не могу, кто на этом месте — люди правды добились своего. — Вот мама, — на лавочке, в коротеньком платье, так похожа на мою дочь; а фотографии показывает хромая старуха, отдавшая все силы, чтоб вмуровать маму в кремлевскую стену. — Столько было детей, столько внуков... А вы знаете, у внуков наркома нет ни одного ребенка... Как оборвалось. Только у Ираиды была девочка, Оля.

Я отметил «была», Боря по-ловецки подобрался, залил в себя чай болезненными лекарственными глотками, переждал «Мы жили большой семьей до тридцатого года в Кремле в трехэтажном доме на Коммунистической улице, над нами семья М., ужасно невоспитанные дети — летели игрушки из окон. Улица имела пустынный вид, все больше встречались заслуженные вдовы — Дзержинская, Орджоникидзе, потом переехали в Дом правительства, квартира 311, 16-й подъезд, пятый этаж...» — и мимоходом зашел на цель:

— А Ираида, вы сказали, это дочка... э-э?

— Петра. Вот он.

Мы вцепились в фотографию размером с социалистическую поздравительную открытку — в кремлевской квартире наркома гости в три ряда, человек тридцать, я осматривал женские лица — что-то особенное должно быть, я сразу узнаю ее...

— Петр слева внизу, в очках. Рыжеватый. Какой-то чужой ребенок у него на руках. Делегацию принимают.

— А был еще брат... э-э, Дмитрий, что ли?

— Вот, справа внизу, — что-то подтаяло в ней, — блондин с серыми глазами — это Дмитрий. На певца Лемешева похож. Семейная черта — припухлость возле глаз. — И добавила: — Сыновья имели сильные натуры и нежные души.

— А как сложилась судьба Дмитрия? — быстро спросил Боря, решив копать там, где помягче.

— Дослужился до полковника. Из Испании привез куклу, шеголял в испанском костюме. А в тридцать восемь лет, перед самой войной, вдруг женился на двадцатидвухлетней, — она с омерзением выговорила, — бабе. Оказалась стервой. И разменяла семейную квартиру. Мы ее ненавидим.

— А до этой женщины Дмитрий... не был женат? — с обреченностью наспех обученного сапера попробовал почву Миргородский и брякнул: — На Петровой.

— На Петровой? Да, успел жениться и на Петровой. Откуда он ее взял, неизвестно. Вроде бы привез из Китая. Интеллигентная такая женщина. Тетя Тася. На похоронах ее столько послов собралось. Нет, фотографии ее у меня не сохранились. Хотя много было... Куда-то подевались. Она стала потом женой Петра, и они продолжали жить в одной квартире, но уже все было так спокойно, что никто неловкости не замечал.

Как заметил видный русский педагог Симон Соловейчик, если ученик заканчивает отвечать, а учитель молчит, в шестидесяти случаях из ста ученик находит кое-что добавить.

— А перед войной у тети Таси и Петра что-то произошло. У него родилась внебрачная дочь Маша. Он ушел на фронт и погиб. У нее от какого-то немца из Коминтерна, Вендта, родился внебрачный сын, дебил. Немца репрессировали. Она уехала в Америку, Ираиду с братом отправила к нянюшке в Рязань. Судьба Дмитрия осталась неизвестной. Какой-то человек прислал письмо, что они попали в окружение. Мы пытались узнать, но будто кто-

то, — она закатила глаза на руководство, — посоветовал: лучше не пытайтесь. И вот квартира осталась в руках этой стервы, его молодой жены. — И повторила: — Мы ее ненавидим.

Мы замечали следы еще полчаса, и, только втыкаясь в обувь, Боря еще раз шагнул *туда*:

— А тот мальчик, сын Петровой и немца, где он теперь?

— В интернате. И, конечно, никого не помнит, не узнает.

— Спасибо, — и я тоже решил наудачу: — А вы ничего не слышали про дипломата Уманского, он жил в вашем доме, на первом этаже...

— Да, он был вхож в семью. Знаком с тетей Тасей. — Ей казалось, что мы уходили, она ослабела и продолжила, сама не понимая зачем. — Знаком. И даже очень.

Я чуял себя полутонной авиабомбой, летящей точно в пароходную трубу. Немец Вендт, Венд? Вент? — переспрашивать неудобно.

В пятницу утром я промчался по красной линии от «Университета» до «Красных Ворот» и с добрыми предчувствиями поднялся на второй этаж объединенного архива ЗАГСа г. Москвы; накатал заявление заведующей кратко и сильно: «дипломат Анастасия Владимировна Петрова, автор словарей и самоучителей английского языка», «сохранить память незаслуженно забытого ветерана МИДа».

У девушки на приеме населения еще мерцало в глазах что-то человеческое, девушка с розовыми щеками и нежными губами пошевелила этими губами и открыла шкаф за своей спиной — я увидел полки, забытые папками «Рождение», папками «Смерти» и папками «Браки», — по стрелочке «Регистрация браков» — по коридору направо порхали самые дружные парочки на свете, не нашла и отвела меня в недра, где за кодовым замком сидело суще-

ство заведующей по фамилии Козляник (в заявлении я написал «Козлец») — из тех, что ненавидит мужчин, детей, свое бесплодие, службу, целый свет из-за того, что подчиненная пришла в такой же серой кофте.

— Что вы хотели?

— Мне нужно знать, регистрировала-ли брак Анастасия Владимировна Петрова в 1937 году, чтобы установить личность мужа. И свидетельство о рождении ее сына Петрова Василия Петровича.

— Эти сведения составляют личную тайну. Их охраняет закон. Мы не можем вам их открыть.

— Только вы можете помочь, все родственники умерли...

— Принесите нам справки, что все они умерли. Обращайтесь в дирекцию единого заказчика по месту жительства...

— Разрешите мне сказать?

С безмерным равнодушием:

— Да.

— Может кто-то посмотреть свидетельство о рождении мальчика, не показывая его мне, и сказать лишь одно: записан ли там отец или стоит прочерк. Только это. Вы очень поможете.

— Нет. Сегодня вы придете, завтра сосед придет. Мы таких сведений не предоставляем.

Мразь, равнодушная скотина, каких таких сведений?! Записан ли отец в свидетельство о рождении олигофрена, которому шестьдесят пять лет, если он жив! Надо было сразу предложить деньги, думает, мне нужна квартира душевнобольного, шептал я, отступая мимо дворца бракосочетаний, — к подъезду подкатывали старые «мерседесы», на передних сиденьях сидели свидетели с алой лентой через плечо, такие серьезные, словно на них ленты пулеметные. Я позвонил Гольцману: что там?

— В картотеке Коминтерна Вендта, Венда и похожих... не значится. Среди нелегалов — тоже. Из репрессированных установлен Вендт Владимир Владимирович, 1892

года рождения, уроженец Латвии, механик. Арестован в июне 1938-го, расстрелян по приговору тройки УНКВД, статья 58, части 10, 11.

— Думаете, он?

— Еще Бруно Вендт, радист, член Коммунистической партии Германии. Окончил в Москве курсы радистов, Петрова могла преподавать ему английский. Член разведгруппы Зорге в Японии. В 1936 году отозван в Союз. Дальнейшая судьба неизвестна.

Еще и радист группы Зорге. Человек в наушниках в токийском подвале. Мы смотрим во тьму. И как это всегда бывает, сразу появляются Вендты, Венты, Фенды, весь мир состоит из них, и все подходящие — все проживали в Москве в тридцать шестом — тридцать восьмом, репрессировались и могли...

Значит, Ираида Цурко сдала брата-дебила в интернат, расчистила место для жизни, мамы нет, водить по музеям некому, в данную минуту проживает за границей — вот же он, важнейший вопрос, словно кто-то окликнул и показал глазами: туда! ТУДА — я сорвался к дочери Штейна, посла в Италии, рыдавшего, когда умер император: «Я оплакиваю свои идеалы».

— Петрова? Я помню. Нет, это не девичья ее фамилия. О Петровой говорили взхлеб: какая женщина! У нее было столько мужчин... Ой, сколько у нас с вами пальцев!

Двадцать.

— И Гнедин был в нее влюблен. И Штейн. И Рубинин! Но она мне показалась *совершенно неинтересной*. Невысокая, с очень тонким лицом. Широкие бедра — я этого не люблю, но умница, ничего не скажешь. Сын от немецкого коммуниста, красоты необыкновенной. Дебил. За связь с немцем ее исключили из партии прямо во время беременности.

— Литвинов, когда они уезжали в США, знал, что Уманский влюблен в Петрову?

– Да, и очень подсмеивался над Константином Александровичем.

– Такой странный, может быть, вопрос... Почему Петрова жила... вот так: от брата к брату, дальше... Она что-то искала? Какой-то материальный уровень?

– Она не искала власти и богатства, – дочь посла взглянула на меня с бессильным сочувствием. – Просто бывают такие женщины.

Остался *тот самый вопрос*.

– Инна Борисовна, я прочитал биографию Литвинова...

– Шейнис написал.

– Да. В книге есть два места, где зачем-то появляется Уманский, и так... довольно подробно описано. Но Шейнис не застал ни Уманского, ни Литвинова...

– Только Петрова могла рассказать. Я знаю, они встречались, Шейнис записал ее воспоминания.

Свобода половой любви

Мы пробили Шейнисов. Там все умерли, архив исчез, потомки отвечали быдловато. Во вторник 14 февраля, в десять пятнадцать я собрал всех, и Боря зачитал:

– Разыскиваем женщину 1902 года рождения. Анастасия Владимировна Петрова. Может, девичья фамилия. Или до Цурко побывала замужем за Петровым. На дипломатической службе сошлась с Дмитрием Цурко. Перешла к его брату Петру. Дочь Ираида от Петра. Роман с немцем Вендтом не позднее 1937 года. Рождение сына, дебила, от немца. Мальчик записан как Василий Петрович Петров. Одновременно, – Миргородский слегка раскраснелся, – или последовательно – связь с неопределенным количеством мужчин. С высокой степенью вероятности можем предполагать в их числе дипломатов различного ранга. Один из них – Уманский К.А. – не-

однократно просил женщину выйти за него замуж, и один раз, вторая половина апреля и весь май 1943-го, она, судя по всему, выражала готовность это предложение принять. Все, что у нас есть на вчерашний вечер. Давайте расставим их и поиграем?

— Она его не любила, — Алена говорила только мне, я опустил глаза. — Костя звал ее замуж? Не раз. Петрова соглашается именно весной сорок третьего. Потому что два года хорошо пожила в Штатах и захотела хорошо пожить в Мексике еще несколько лет. А не торчать в Союзе и мучиться с дебилом. Холодный расчет. С другой стороны, если Уманский знаком с ней больше десяти лет, то совершенно точно знал, с кем она спала еще...

— Ну, может, страсть! — всплеснул руками Боря, пряча усмешку. — Знал, да! И пользовался в очередь! И ждал, ждал счастья однажды заполучить в безраздельное пользование. И Голливуд показывал такие примеры! Получил и сам отказался — на хрен надо? А ей сказал: страдаю, но развестись не могу, из-за дочери. Что скажут современники? Александр Наумович!

— Я думаю... Мы должны учесть. Петрова в своей личной жизни являлась своего рода зеркальным отражением самого Уманского. Возможно, поэтому он хорошо понимал ее и она его понимала. Они могли друг другу простить... Кроме того, мы не можем почувствовать время, их время, чем дышали... Они ведь выросли в годы, когда призывали разрушить семьи... Создали коммуны — десятки тысяч... Что в тех коммунах происходило по ночам, знало только ГПУ. Книжки Коллонтай о свободе половой любви... Их поведение нельзя объяснять только личной распущенностью...

— Или природными наклонностями, — вставил я.

— Допустим. Но если два человека в зрелом возрасте все-таки испытали глубокое чувство и страдали от того, что не могут быть вместе, это их... как-то... — Гольцман нарисовал загогулину в своих записях и взглянул на

меня. — Но я так понимаю, появилось что-то еще? Что случилось за ночь?

— Совсем нового ничего. Я тут просто почитал немного, под другим углом зрения... Первая биография Литвинова, что написал Шейнис. Нормальная советская книга. Но все, что касается нашего клиента, изложено странно. Это мы сразу заметили. К Шейнису появились вопросы. Но биограф давно умер, и жена биографа недавно умерла. Вопросы остались. — Следователи сидели молчком, рассматривая мою наружность. — К чему вообще упомянут Уманский? Человека забыли, сорок лет никто нигде не вспоминал, в написанной биографии Литвинова Уманский не играет даже ничтожной роли. Но его вписали, поверх всего. То есть проявилось какое-то личное отношение. Чье? Шейнис не видел ни Литвинова, ни Уманского, но личное отношение в написанном присутствует. Если все сложить, то отношение такое: очень заинтересованное внимание, прячущееся за осуждение. И это настолько важно для автора, что даже главную сцену биографии — Сталин и Молотов принимают Литвинова в Кремле, достают из помойки и направляют в Штаты — Шейнис описал так, словно смыслом этой встречи стало другое: Литвинов делает все, чтобы сохранить Уманскому свободу и жизнь, ничто другое, если верить биографии, старика не волнует. Но это же бред! Что Шейнис хочет доказать? Что так за Уманского переживает? Да и при чем здесь сам Шейнис?

— Давай-давай, — сказал Боря, — я тебя предупреждал.

— Шейнис писал с чьих-то слов. Дочь Штейна показала, что он встречался с Петровой, про Уманского и Литвинова рассказывала она. Выходит, Шейнис перенес невольно в биографию Литвинова ее интонации, ее отношение, ее *личный мотив*, хотя сам мог и не понимать, в чем он заключался.

Следователи не молчали, кто-то спросил: ну и в чем?

— Сейчас станет понятно. Я прочту неправду, мы однажды читали, но теперь это надо услышать как ее голос — первое, что к нам донеслось достоверно, лично от Таси. Сидят втроем: Сталин, Молотов, Литвинов. Вдруг Литвинов задает невероятный вопрос: а что будет с Уманским? Подстроено так: Литвинов ставит условие — я сделаю важнейшую для нашей победы работу в Америке, за это пощадите Уманского, больше ничего не прошу. Сталин: дадим ему какую-нибудь работу. Молотов: Уманский без дела не останется. Вожди растеряны, уклоняются от обещаний, они пробивают, насколько для Литвинова это важно. Но для Литвинова — так хочет, выходит, Тася — важнее ничего нет, и он, рискуя только что вытянутым выигрышным билетом, прессует: значит, Уманский останется в Наркоминделе, членом коллегии? — прямо *диктует*, куда Уманского назначить, это его цена. Почему Тася придумала эту должность? Она знала, кем назначили Уманского на самом деле, и ей было важно представить: это не милость Сталина, это Литвинов устроил. То есть не только жизнью, но даже должностью ее Костя обязан самоотверженному старику. Да, членом коллегии — это говорит Сталин, не нарком, это Тася придумала для правдоподобия. Молотов не мог решать; *уступить* или нет, решал только Сталин. Вот и все. Больше, по ее желанию, Сталину, Молотову и Литвинову в октябре 1941 года поговорить было не о чем. Она хотела, чтобы в истории все осталось именно так, как она зачем-то придумала. Но, закончив плести сеть, продиктовав Шейнису, как написать, Тася почувяла горечь от того, что в *той*, прошедшей жизни она присутствовала всюду, но никто из этого времени ее не видит, ничего не останется от нее, теперь уже старой женщины. Несвойственная слабость овладела ею, и вдруг она добавила: напишите вот еще что. Литвинов: кого я могу взять с собой? Закончив с Уманским, Литвинов берется за свое кровное, что болит лично у него, свое последнее жела-

ние. Он спрашивает не про жену, с этим и так ясно, он спрашивает про нее, Петрову. И Сталин мог спокойно ответить без единого уточняющего вопроса: берите кого хотите — лишь в единственном случае...

— Если у него была информация, о ком пойдет речь, — подсказал Гольцман.

— Да. Да. Обыкновенная женщина бы продолжила: он меня и взял. А Тася смолкла, ей хватило того, что Сталин про нее знал... И Шейнис невольно замолчал, хотя логичней было продолжить, кого же выбрал при такой свободе Литвинов. Мотив Петровой теперь открыт. — Я заткнулся, уж больно дрожал голос.

— Она оправдывалась!

Секретарша, притаившаяся в дверях, сама смутилась от своего вопля и прихлопнула рот ладонью. Алена безобразно вздрогнула от неожиданности, обернулась, пролаяла:

— Закройте дверь! Это не ваше дело! — Поискала одобрения у всех, судорожно достала сигарету и обернулась опять: — Машенька, ради бога простите, вы просто нас напугали... Прошу вас, не делайте так больше, ох... — Погладила под левой грудью, и заставила себя рассмеяться, и закурила, украдкой оглядываясь, словно пытаюсь поймать, что же изменилось в кабинете.

Миргородский бесцветно порассматривал меня, как подымающиеся со дна реки пузырьки, кому-то сокрушенно кивнул за окном, выхватил из вазы яблоко и вгрызся в него так, что заблестел подбородок, брызги летели на стол. Гольцман закончил рисовать стрелочки и прямоугольники, привычно загораживаясь ладонью, спрятал бумаги в папку, папку завязал, в кабинете он ее опечатает, и ушел сказать секретарше что-нибудь ободряющее, пробубнив нечто похожее на «соображения доложу» или «скорей погляжу».

Моя недостижимая мечта — уходить с работы одному.

Боря непрожеванно спросил:

– С Португалией смотрел? Педерасты! Вот тебе и твой Смертин. Провоцировали они его! Поедешь отсыпаться?

– Пусть водитель идет в машину. – Секретарша ответила «я поняла» и отключилась. Я разорвал донесение и заглянул под стол в поисках урны – уборщица все время задвигает в разные углы, постоянно бросаю мимо.

– Давай я тебя подвезу. – Не услышав ответа, Алена сгорбилась и жалко позвала: – Миргородский, ми-ильный! Только вы здесь добрый. Объясните и мне. Что случилось с этой Тасей?

– Она оправдывалась! – огрызок просто вылетел из Бориной пасти. – Ты не поняла?! Костя ей впаривал: люблю, а жениться не могу – дочку жалко. И дочь, как по заказу, убили. Она Косте: бедный ты... жалко девочку, но теперь – женишься? Как же ему вывернуться? Да только так: а что ж ты, милая, осенью сорок первого за меня не шла, тогда нам никто не мешал и дочка торчала в Штатах? И ты была свободна, и я сидел в Куйбышеве и ждал назначения... или что расстреляют. А ты повернулась и улетела с Литвиновым, тогда не захотела, кто ж за такого пойдет?! А я страдал, у меня, может быть, сердечная мышца разрывалась. И вот она, наша Тася, через Шейниса и отвечает, может, сразу не нашлась, пока летел, пока взрывался, уже потом додумала и отвечает: как ты смеешь сравнивать себя с Максимом Максимовичем? Литвинов спас тебя, Костя! Ты учителя предал, а он простил... Сталина не побоялся, это он ради меня, как ты не понимаешь?! Какая на хрен Мексика тебе бы светила, если бы не я, любимый... Не тебе, милый, меня упрекать... Вот это она и твердила.

– Она... – Алена не сообразила, чем продолжить, но Миргородский пьяными зигзагами и без посторонней помощи двигался к своей цели:

– Спала с Литвиновым. С народным комиссаром иностранных дел Советского Союза. Не только! Как считает наше руководство, она его *любила*. Ты не поняла?

— Но это... Боря, Литвинову в сорок первом году было *шестьдесят пять* лет!

— И что? Я тоже подсчитал. Значит, потенцию сохранил. А что, многие трахают секретарш — это очень удобно. Но сильно запутывает нашу дорожку... Все, чего касается эта... А вы знаете, что супруге Литвинова, этой англичанке, свихнувшейся на свободной любви, очень нравилось беседовать индивидуально с Ниной Уманской? Чему могла ее научить? Желаю здравствовать.

Алена присела передо мной на пол в тошнотворную кинематографическую позу:

— Это... неправда?

— Ты же знаешь, что правда.

— Нет, я не знаю. Я не верю, — она что-то промокнула в глазах. — Вы так не можете так уверенно, через шестьдесят лет, вот так вскрывать чужую жизнь...

— Дело именно в том, что мы — все можем. Я поехал.

— Я тебя довезу?

— Я хочу один.

Она онемела, покачала ослепшей от боли головой: да, да, конечно, я понимаю, — и показала: иди, пока, — и завыла за спиной пухнувшим горлом, рассчитав быть услышанной, пока я двигаюсь к дверям, делая акцент на «д-дура...» — вдох, на выдохе с подъемом: как-кая же я дура... — и стон, до лифтового лязганья; потом или сразу заткнется, или вскочит и побежит следом.

Теоретик и практик свободы половой любви Александра Коллонтай послужила Империи послом в Мексике и с Литвиновым дружила по гроб; всех детей Коллонтай предлагала передавать из семьи в ясли и интернаты — дети, таким образом, с младенчества получают навыки общежития и не отвлекут родителей от труда и половых отношений.

Надо, писала она, заботиться о главном, чтобы налицо был сон в летнюю ночь, влюбленность, крылатость —

вот в чем праздник жизни. Безразлично в кого. Но влюбленность. Надо «ходить на крыльях». Пусть это будет два-три дня, пусть это будут годы — зависит от силы, обмана, самообмана. Я против аскетизма, писала она, желаю жадно вбирать жизнь во всех ее проявлениях. Понимание? Да оно невозможно! Нужен поход против «поглощения чужой личности»! В любви нужен самообман, часто взаимный.

Татьяна Л и т в и н о в а, Брайтон, Англия: Пакостное и счастливое наше детство.

Мы смотрели демонстрацию с трибуны дипломатического корпуса Мавзолея, и я не понимала, почему внизу давятся люди, когда здесь, наверху, так много места. Я слышала о классовом расслоении, нищете и, не понимая, уже многое приняла.

Дома нас не наказывали. Однажды, развлекаясь, мы сознательно затопили семейство истопника Антона — они жили в подвале. Спрятались и смотрели, как прибывает вода. Если мы дружили с простыми людьми и те жаловались на жизнь, отец считал, что просто нам попались злостные неудачники. Мама оставалась аполитична, занималась творчеством и не читала газет.

Благодаря британско-спартанскому воспитанию стол наш был лишен разносолов и кондитерских лакомств. Завтракали мы раньше всех, но всегда любили приходиться на завтрак к родителям. Мы забегали в спальню, и я замечала, что когда-то кровати родителей разделяла тумбочка, а когда-то нет.

Почти все вечера у мамы занимали приемы или сопровождение знатных иностранцев на «Лебединое озеро». Утренний подъем — мы вставали в семь — был ей особенно невмоготу. Вот она сидит перед открытым ящиком комода, пытаюсь извлечь из него для каждого из нас по целой паре чулок. Носки, штанишки, лифчики, на которых почти всегда не хватало пуговиц, клубясь и

цепляясь друг за друга, выползают из ящика — мама кладет голову на все это расползание и вдруг, словно она сделалась мной, плачет: «Глупая мама! Дурная мама!»

Миша подошел к ней и обнял: «Мама не дурная, мама просто устала».

Мама — живая, веселая, откровенная, голос — гибкий, веселый, модулированный. Свежая кожа лица, прохладные узкие ладони, овальные гладкие ногти на длинных пальцах, густые черные волосы и карие глаза, то матовые, то вспыхивающие радостью всякий раз, что они обращались к нам.

Мои чувства к отцу напрочь и безнадежно переплелись с деньгами и благами. Как я маялась всякий раз, когда он возвращался из Женевы! Я радовалась ему, но как бы он не подумал, что я радуюсь из-за прекрасных вещей, которые он каждый раз привозит.

Когда я в двадцать лет потеряла невинность, у меня мелькнула странная мысль: имею ли я право продолжать жить на папином иждивении.

Просить денег неудобно. У мамы их нет, а у папы? Мы решили, что папа жмот, а он просто совершенно не разбирался в деньгах — ему не приходилось ими пользоваться: паек привозили домой, вся обслуга в доме во главе с прикрепленным шофером находилась на государственном жаловании. На премьеры в театры присылали билеты, в консерватории мы имели право бесплатного прохода в ложу правительства — без нас она пустовала. На мамини вечерние туалеты также выделялась казенная сумма.

Папа все равно считал маму расточительной. Мама направила ему Мишу с сообщением: мужа-скряги превращают жен в мотовок. Через минуту Миша вернулся и с важностью огласил ответ: жены-мотовки делают из мужей скряг!

Когда в одну из послевоенных сталинских девальваций папа вышел из кабинета и мрачно сказал: «Мы разо-

рены», мама всплеснула руками, засмеялась и радостно воскликнула: «Совсем как у Троллопа!»

По словам мамы, во время ухаживания отец сказал ей: «Русская девушка за поцелуй отдаст все».

Мама принципиально выступала за свободную любовь, у нее завязывались романы, менялись поклонники...

Я не помню, когда я впервые увидела Петрову. У меня такое впечатление, что она присутствовала в нашей жизни всегда. Чуть что: надо спросить Петрову! Она всегда все знала. Не сказать, что красавица. Иконное, длинное лицо, близко посаженные глаза. Всегда забранные волосы. Не полная, невысокого роста. В ней отчетливо прослеживалась еврейская кровь. Вела себя как партийная дама, держалась строго. Со вкусом одевалась. Отца она обожала.

Действительно, роковая женщина – это предание семьи. У нее были романы, и немало, по слухам. Но некоторые придумывались специально, чтобы все думали, что она чья-то проститутка, а не отца.

С мамой она была очень откровенна, рассказывала о своих увлечениях. Однажды спросила: «Знаете, почему меня любят мужчины? Потому, что я с каждым разная».

Спустя два года я опять прослушал запись показаний и в этом месте ощутил сильнейшее раздражение.

Вот еще раз: «Знаете, почему меня любят мужчины? Потому что я с каждым разная».

Я не понимаю. Что это значит? Или свидетельница ослабела по старости и переврала, или Петрова на самом деле сказала глупость из тех, что печатают в женских журналах: я умею быть разной для своего любимого. Или она хотела сказать, что умеет меняться, обновлять шкуру и для каждого сезона ей нужен новый мужчина? Или фокус ее вот: любая замужняя, принадлежащая кому-то женщина – это причаливший корабль, полностью

открытая и освоенная земля; ты можешь смотреть на чужую женщину и думать: вот *такая* могла быть моей, вот это самое мог бы и я трахать, — а Петрова своими изгибами давала клиенту понять: нет, о том, что видишь сейчас, можешь забыть, то, что я отдаю нынешнему, — это только ему, с тобой я буду другая. Так? Или мы никогда не сможем понять тебя, Тася?

Рыба карп

Двое суток густо валил снег, машины еле ползли, и я засыпал под удары бури в окно.

— Борис Антонович, как бы вы хотели встретить Новый год?

Боря зажмурился, распахнуто зевнул и выдохнул:

— Один.

— Так отвечают все мужчины.

Секретарша подготовилась, но так и не осмелилась спросить меня и злилась на себя за малодушие. Я собрался уходить.

— Эй!

Она оглянулась на свист летящей на нее бетонной плиты.

— Не помню, как вас зовут, — погромче, чтоб и Гольцману донеслось, — но то, что вы видите на этом месте, — я ткнул пальцем под ключицу, — всего лишь сто пятьдесят четвертое концертное исполнение. Больше на этом месте ничего нет. Только липкая бумага для мелких насекомых. — Она рассматривала свои ладони, неприязненно отвернувшиеся друг от друга на клавиатуре, и горбилась. — Ради этого размениваться не стоит.

— Спасибо, что предупредили. И все равно на этом месте я вижу вас. Хотя вы никогда не бываете настоящим.

— Меня нет. Есть самый короткий путь к несчастью.

¹¹ Каменный мост

— Как только я увидела вас, первое, что захотела, — согреть. — Она заставила себя легко рассмеяться, словно очнувшись. — Если это все, что вы делаете сейчас... чтобы спать со мной, то изощренность вызывает уважение.

Встретив год, я посмотрел за окно на утреннюю пустыню первого января, на неузнаваемый, по-дневному освещенный город — все пропали, по улицам не двигалось ничего, только дворник с тележкой, медленный и страшный, как последний царь земли, — осторожно толкал тележку перед собой, словно коляску с мертвым ребенком. Я пошел, наслаждаясь плохим настроением, — змеей протянулись следы по запорошенному асфальту; вдруг снег ленточкой потек на землю с ветки, я задрал голову — там переступала ворона. Сквозь дворы я пересек трамвайную линию и через парк, пропахший вкусным шашлычным дымком, по льду пруда, с ужасом посматривая на сарай под табличкой «Школа закаливания и зимнего плавания» (трепещущая на ветру полосатая лента огораживала огромную синюшную полынью — в ней плескалась толстая баба), поднялся на берег и через дырку в ограде вылез на Тимирязевскую улицу — на встречу шел лысоватый папа с непокрытой головой, на отлете держа початую пивную бутылку, и дочь — девочка по-монашески глубоко насунула капюшон пальтишка, в руке ее качалась круглая жестянка с новогодним подарком. Мне для опознания побибикали, и я просунул на заднее сиденье битых «жигулей» седьмой модели, понюхал атмосферу и опустил окошко — Миргородский приехал пьяным. Путано и молча мы выбрались на Бульварное кольцо и повернули налево, на Цветной, мимо «Он-клиник», где я сдавал кровь, проверяясь на СПИД, почти до самого угла.

— Как меняются люди! — Боря остановился. Он вырядился в камуфляжное рыбацкое барахло, на переднем сиденье торчал ледовый бур. — Значит, так. Вперед,

и идешь по Садовому налево. Там два ресторана: «Сыр» и «Маркет». Твой – «Маркет», там у них привязка. Ты слышишь меня, командир? Как меняются, говорю, люди! Звоню Гордееву, у него дежурство, нормальный парень, работал опером в универмаге «Московский». Целый подполковник! Говорю: триста долларов. Делать ничего не надо. Просто взял автомат, взял машину, подъехал в форме и постоял на углу у ресторана «Маркет». Выходить из машины не надо. Триста долларов! – Миргородский дразняще показал кому-то три пальца. – Так он мобильник отключил и смотал из отделения – на весь день... Большой на всю голову. А как ему было надо – кто два часа стоял с помповиком в пожарном шкафе?

Я старался не торопиться, шел вдоль Садового в горку, морщась от щекотных прикосновений снежинок, резиновую нес невыспавшуюся голову: обдумай как; но в голове ничего не задерживалось, стужа ничему не оставила места, и мне. Только бы успеть остановиться до первых слов, постоять, чтоб прошло запыхание, и два глубоких «вдох-выдох», и встряхнуть руки от локтя вниз – напряжение и страх копятя от локтя к пальцам, учил меня один гипнотизер при шапочном знакомстве. Зато про день этот можно больше не думать – он настал, и через час пройдет, повспоминается и забудется, и потом я даже улыбнусь, как детским стоматологическим страхом того, кто остался далеко отсюда жить моей жизнью.

Ресторан я угадал издали – неизбежный шестисотый «мерседес» со стосороковым кузовом лизал асфальт дымком напротив стеклянного входа; на глазах бандерлогов неудобно встряхивать руками и останавливаться, могли запомнить лицо... Я зацепился на входе за стойку с рекламным дерьмом и пролистал – вдох-выдох – пару глянцевого журналов и слишком несолидно, быстро кивнул (не суетись!) на вопрос размалеванной короткой юбки:

– Вас ожидают?

Я отряхнул снег с синей вязаной шапки, побил ее о ладонь (руками от локтя вниз) и потопал, очищая ботинки, жалея уборщиц. Вот она, манящая наманикюренная рука... Я не оглянулся, но увидел, что на крыльцо поднялись темные люди и один беззвучно пошел следом, меня подгоняя, — проходом меж пустых столов и глухо зашторенных окон за ширмы с райскими птицами. Человек в серой водолазке под черным пиджаком улыбнулся мне, показав и кусок желтого металла в уголке улыбки. Лохматые брови, обожженное лицо, извивающаяся морда с нашлапкой начесанной на бок седины, похож на алкоголика-тренера заводской секции самбо — дядя Федя по фамилии Панкратов. Меня подтолкнули вперед, и вывернувшийся из-за спины пузатый, щекастый, лысолобый ублюдок с вопросительными глазками бросил на свободный стул барсетку и прогундел:

— Извини. Чтоб мы тут на равных, — прохлопал мои карманы, живот, подмышки, голени, бока и постоял, раскачиваясь рядом, нелегко дыша, наливаясь угрожающей силой (что-то забытое, из детства, заглодело и обессиливаете прихватило в животе), и нехотя отошел занять место в зрительном ряду: протянул ноги в поблескивающих брюках, из-под которых торчали клювами носки туфель, и сцепил лапы на кожаном брюхе.

Официантка с китайскими глазами принесла залитое багровыми приправами что-то с отдельно выложенным рыбьим хвостом и головой.

— Карп! — похвастался дядя Федя. — Видишь, китайцы готовят — ни одной кости! — и взялся за палочки и через минуту мучительно поперхнулся, вскочил и ушел кашлять за ширму. Вернулся с раскаленным лицом и дальше глотал пищу с настороженным вниманием, словно вслушиваясь, как она преодолевает горло. Официантка, ослепшая в мою сторону, подносила тарелки. Сесть мне? Или подать голос?

— А-а, Николаич! А мы тут закусить немного. — Дядя Федя заулыбался, по-собачьи угнувшись, и привстал, собрав щепоткой полы пиджака вместе, и ублюдок живо приподнялся — еще одна туша просипела, ткнулась в объятия дяди Феди, сбросила на стол два моби́льника, скинула пиджак; замер столбом, припоминаяще прикрыл глазки, и зашевелились губы — молился! Загорелое несвежее лицо, прямой пшеничный чубчик, по-детски растопыренные уши, золото на запонках, часах, на груди... Он покрутил головой, продолжая шептать, и вдруг перекрестился — и все перекрестились, и даже у меня дернулась рука. Николаич перекрестил еду и упал за стол, бросив толстые локти на скатерть; бесцветные, безумные глаза; от него растекалась какая-то спешка и ярость. Ну, я подтянул к себе ближний стул — сядем, и сиротски потеревил шапку.

— Николаич, не возражаешь, я... карма? — робко спросил дядя Федя и вдруг подмигнул мне. Ублюдок двинул на мой угол чайную чашку, я потянулся, но — нет, рука заплясала.

— А что, Николаич, я считаю, все правильно, так и должно быть! А как по-другому! — дядя Федя, клоунски преувеличенно поднимая бровищи, вскочил и закрестился. — Как сказал Серафим Саровский! Воззрю токмо на кроткаго! И молчаливаго! И трепещущаго! — Плюхнулся на место, заново подмигнул мне сразу двумя глазами и ковырнул карма.

— Хотел встретиться с дядей Федей? Вот дядя Федя, — показал мне ублюдок. — Меня зовут Павлик, — и сосредоточенно замолчал, чтобы запомнить имя.

Дядя Федя закашлялся, пряча смех, слюняво втянул воздух сквозь зубы и повторил:

— Павлик. Ну, че, ребята, поговорим?

— У меня есть друг. Хочу ему помочь. Всю жизнь прятаться не будешь, — только эти слова я и подготовил.

— А че, Николаич, я считаю, правильно, — загорячился дядя Федя. — Они друзья, по жизни вместе идут! Как мы! Потому что на многое в жизни смотрят одинаково. Потому что есть у них мужские принципы. И все время вместе! Может быть, с армии! А может быть, с яслей. Или по девкам вместе ходили? Или по спорту. Вы не боролись, нет? Только заправду? — И он хрипло захохотал и неожиданно затараторил с рвущейся слезой, ударяя кулаком себе в середину груди: — А теперь другу трудно! Плохо! Попал хороший, может быть, человек в беду — ну, кто ему подмогнет? Отца нет, мать пожилой человек, всю жизнь отдала сыну, что, Николаич, может мать?! Если только с внучкой помочь, когда есть силы... Цветы полить. Один друг может понять. Он может прийти на помощь, — поднял руку и почти прокричал: — Бескороыстно! — И пробормотал, возвращаясь к карпу: — Пускай, пусть он, пусть другой друг, пусть вообще чужой человек, но — добрый! — нам-то какая разница, мы согласны, правильно, Николаич?

— Я знаю, у вас есть вопросы к моему другу, — голос без предупреждения сорвался в какой-то мальчишеский писк. — В чем там дело? Как это можно решить?

— Ты че, сука, решать приехал? — ублюдок сорвался с места. — Пусть деньги дает! Пусть заносит бабулеты! — Мазнул ладонью по моему лбу, словно смахивая комара, нагнулся и заорал вонюче, упершись и пристукивая в мою грудь кулаком: — Ты знаешь, сколько он нам должен?! Он, крыса, спрятался и тебя прислал? Он чего ждет? Он чего ждет?! — и замахнулся! Руки мои сами собой взлетели к лицу.

— Да нормальный парень пришел, — убежденно сказал дядя Федя. — Правда, Николаич? Да ладно тебе... *Павлик...* мы так поговорим. Пришел *решить вопрос*. И я считаю, правильно. Друг не может — он берет на себя, сам решит. А как иначе? — Он важно развел руками. — Вот это дружба и есть.

Ублюдок звероподобно повглядывался в меня и откатился. Я поднял оброненную шапку, чистые у них полы, с моих ног натекло.

— Ну и ребят надо понять! Там что получилось? Там вот что получилось, Николаич, — дядя Федя разгладил по столу бумажку. — Вот друг его, Чухарев — это Чухарев ваш друг? — ну вот, привлекает, берет в долг у Паперно В.С. сто тысяч. Американских долларов, Николаич! Да я в жизни такой суммы не видел! А с двенадцати лет работаю. А вот тут так прямо написано: сто! На год. Под двадцать процентов. И расписался. Знаете его подпись? Видно отсюда? Его? Ну вот. Это ксерокс. Но и настоящая у нас, эт-та, есть. А сам пропал. Куда дел деньги? Непонятно! На себя столько не истратишь, если только на баб, верно, Николаич? Денег нет. И Чухарева нет. Паперно убытки. Паперно плачет, дети его плачут: хотим кушать! Мы должны помочь своему партнеру. Паперно долг нам продает — ему хорошо, деньги к нему вернулись, теперь нам плохо. — Дядя Федя прошептал: — У нас же бизнес. Мы же бизнесмены. — И спрятал бумагу в карман. — Решить вопрос вашего друга просто — возвращайте сумму. И скорей. — Он нахмурился и мультипликационным голосом пробасил: — Мы терпим убытки, — и рассмеялся, дергая щеками и морща лоб.

— Ты посчитал, сколько нам должен?! — Ублюдок остановился точно за моей спиной, сейчас огреет чем-то тяжелым вдоль хребта. — Ты знаешь наши правила. Один день — один процент. Пятьсот штук. Неси деньги!

— У вас же... подтверждающие документы... Так понимаю, у него фирма... но возникли проблемы... Если дать время, он может что-то наладить. Или через суд...

Ублюдок быстро нагнулся и пыхнул в ухо:

— Тебя как зовут? — и действительно подождал ответа. — Ты че?! — И рванул стул из-под меня, я грохнулся и покрабьи отпятился в угол, вскочил, чуть не свалив ширму, — ублюдок подпрыгнул вплотную, подпихивал плечом

к стене и завизжал. — Ты че сюда говорить приехал? Пусть деньги отдает! Или сам отдай! У тебя есть что, квартира, дом? Пойдем посмотрим, — дергал меня за руки клещами. — На чем ты приехал? Машину отдашь!!! Ты знаешь, скока денег ушло, чтобы у дома его пасти?! Квартирой ответишь! Паспорт давай! Звони! Чтобы паспорт везли! Где твой телефон?! — И раз костяшками пальцев по губам!

Я вырвался... нет, он отпустил.

— Мне говорили, вы серьезные люди... Я у Вячеслава Петровича вчера спросил, он сказал: не мелочь, уважаемые люди.

Дядя Федя восторженно прижмурился, взглянув на моргнувшего Николаича, раздвинул лопатистые ладони, словно обозначая размер пойманной рыбы, и заговорил, ласково посматривая в отгороженное пространство, как в корзину с котятками:

— А что делать? Как по-другому? Такие друзья, как у тебя, на каждом шагу. Взял деньги у Паперно и пропал. Что за люди — развести и разорвать! Верно, Николаич? Пидармоты. Только и молимся за творящих нам напасти. Прости меня, господи, — ошупываяще перекрестился и хихикнул. — Вот и приходится: где словами, — и опять слюняво потянул в себя воздух, — а где ломами. Слово надо держать. Взял — отдай. Не получилось по бизнесу — бывает. Пусть у друзей займет, квартиру продает. У мира помощи попросит... А что это мы все говорим? Мы да мы. А вот вы — скажите! — И разулыбался так, что глаза утонули в замаслившемся лице.

Ублюдок вернулся на место, бормоча различимо «потом поговорим...», «я т-тебе...», «зарою...», я двинул свой стул вперед, как шахматную фигуру, подсел и выпил тепловатый горчайший чай — весь.

— У меня есть пятьдесят тысяч. Отдаю, и закройте этот вопрос.

— Ты че, за лохов нас держишь?! — опять пружинкой подскочил ублюдок. — Николаич, что мы с ним гово-

рим?! Ты за кого нас принимаешь? Копейка в копейку!
По счетчику!

Я зацепил в хлебнице ломтик черного с семечками и мелко, мышцы укусил, чтобы хватило на подольше, и потолкал языком — опухает губа?

— Так мы не разойдемся, — дядя Федя сделал морду грозной и картонно неподвижной и устоял далеко за мою спину: что-то там нехорошее, уже решенное для меня... — Я думал: пришел серьезный, взрослый. Понимает, куда пришел. А тут... — он оглянулся на Николаича, — даже не знаю, как ты отсюда вырулишь, человек... — И нагнулся ближе ко мне и тихохонько сказал: — Так нельзя. Нельзя даже думать, что можешь нас опустить. Пятьсот штук. Откуда? Послушай, какое мне дело? Я, что ль, брал эти деньги? А? Квартиру пусть продает, матери квартиру приватизирует и продает, участок, пусть едут все в коммуналку на три метра — но отдаст все. Мое слово. А мое слово, тебе должны были сказать, дорого стоит. Он ждет? Он дождется, — И обморочно прошелестел: — Чтоб матери по башке трубой дали? Чтоб девка его без ног осталась?

— Понимаете...

Он вмазал вдруг рукой по столу и рывкнул:

— Я понимаю, когда вынимаю!!! Он — должен.

Отдышаться...

— Пятьдесят я могу, — и зачем-то добавил, жалко приложив ладонь к груди (зря!): — У меня больше нет.

— Поедешь с нами. Покажешь, где он, — вдруг прошепелявил Николаич, но не шелохнулся.

Дядя Федя исполнил глазами «что я говорил? я ж тебя предупреждал!», ублюдок вцепился в воротник и потянул: давай-давай.

— Попробуйте. — Еще чуть-чуть, вот это перевалить. — Вон тут у вас какие шайбы за меня цепляются. Я не знаю, где Чухарев. Мне по хрену он. Я семью его хочу вырвать. Но только если я... Выйдут на вас в три секунды.

И Вячеслав Петрович за это вас не похвалит. Это я обещаю. И Виктор Михайлович тоже. Они говорили, вы серьезные.

А скоро я пойду, кончится снег и потеплеет, мгновенно пройдет еще один глоток моей бессмысленной потной жизни, и умру, и от меня ничего не останется... Я вспомнил маму.

— Вы будете еще что-нибудь? — официантка заглянула и исчезла, шурша халатом.

— Он брал сумму у Паперно? Брал. И отдаст. Пятьсот штук.

Теперь уже молчал я. Они ждали. Пусть скажут первыми. Не вытерпел:

— Реально — вот полтинник у меня есть. Если договоримся — я завтра решу этот вопрос.

— Мы так не договоримся.

— А нет — долбитесь сколько хотите, ищите его. Денег у него нет. Это я точно знаю. А кто-то есть за границей. Сорвется и свалит.

— Ну, не так уж просто, — гадко усмехнулся дядя Федя, — чтоб уйти.

— Все равно — денег у него нет, — уморился я. Подняться и надеть, что ли, шапку... — Убьете, а денег все равно не будет.

— Убить легко. — Ублюдок отцепился, но так и шарилась где-то у меня по тылам. — Просить еще будет, чтобы скорее убили.

— Вы серьезные бизнесмены. Так мне сказали уважаемые люди. У вас консервный завод в Красногорске. Салон красоты. Заправки. Шесть тонаров на Южке... — Немного еще вот в эти пустые глазки, под пшеничный чуб. — Ну что вы возитесь с этим сраным бараном? Ну, лоханулся ваш клиент Паперно. Так он для вас баран, и вы его стрижете. У вас сто таких баранов! — Что это я кричу? — Я, чисто, пришел помочь человеку... Он мне дорог.

Они словно чего-то ждали, какого-то звонка, сигнальной ракеты. Лая караульной собаки.

— Ладно. И так уже попали, — Николаич смежил веки, откинулся, словно подставлял щеки под солнце, и зашептал молитву.

— Попали, Николаич! Я чуял! Помнишь, я сразу тебе сказал: попали! — подхватил дядя Федя и живо развернул расписку. — Сколько он там... Сотку? Давай-ка вот что — с сотки нам семьдесят пригони и — забыли. Тридцать процентов сбросим. Блин, таких уродов земля рождает... Семьдесят. И то, — он погрознул, — только потому, что парень ты авторитетный.

— Был бы дурак — зарыли, — разъяснил ублюдок.

— А мы надавим на Паперно. Верно, Николаич? И он нам десятку двинет. Да?

— Нет, — и я попросил: — Вы бы уложились в полтинник со своим интересом.

— Но это не разговор! Это не разговор, правильно, Николаич? — Дядя Федя подскочил ко мне и затоптался в каком-то чумном танце. — Тебе друга жалко? Да тебе друга не жалко! Лучше есть красную икру, чем червей кормить.

— Он же залег, козлина! — пустился в пляс вокруг меня и ублюдок. — А ты тут стоишь!

— Мы даже убивать его не будем. Его жизнь убьет! Ну?

— Я хотел как лучше, — выдал я. — Полтинник.

— Ну, тогда нет разговора, понял? К согласию мы не пришли. У тебя есть кому за тебя бицепсы качать? Как ты отсюда уйдешь? Ты отсюда не уйдешь!

— Извините, — я оглянулся на выход. — Я хотел, чтобы всем было нормально. Я пойду.

— Пойду! — сверкнул глазом дядя Федя. — Пойдет он. У тебя полтинник. Деньги твои?

— Мои.

— Какой у тебя бизнес? Если есть бизнес, значит, есть вопросы. Какие у тебя вопросы? Мы вопросы решим, работу сделаем, двадцатник откинешь — и в расчете.

– Нет у меня работы. Только пятьдесят тысяч.

Дядя Федя выматерился и посмотрел на люстру, словно за поддержкой, Николаич дочитал молитву, опять покрутил головой – может, борется с остеохондрозом? – и капнул:

– Ладно.

– Ладно! – Дядя Федя смял расписку и завопил: – Какого хрена мы занимаемся этой херней?!

– Да это Паперно подогнал такую херню, – запалился следом ублюдок.

– Такая херня! Ну, что мы тут сидим?! – не унимался дядя Федя.

– Такое говно! Мы в говне. Поедем трахнем этого урода!

– Да он у меня теперь каждый день сосать будет, – добавил Николаич.

– Поедем его душить! – Дядя Федя озирался в поисках верхней одежды. – Да он нас подставил!

– Парень-то твой нормальный, не козлина! – Ублюдок меня приобнял.

– Знаешь, Николаич, а Паперно – ба-арчук, – заметил вдруг дядя Федя. – С новорусскими такими замашками... Ишь, молодой, а деньги любит. Сам не работает, только проценты стрижет, – дядя Федя словно позабыл про меня. – Ты, Николаич, сразу все понял, а я все сижу, сижу и чую: что-то здесь не так... И сейчас, как ты сказал, только догнал. Там что получилось? Парню, вот его другу, Паперно все обрубил и стрелки на него перевел. Парень, вот его друг, толковый бизнес-план принес, я читал, Николаич, ничего не понял, но видно, что толковый, а Паперно ему денег под охрнительный процент, да еще и контрольный пакет. Парень, его друг, и не вытянул, и сам еще свои деньги вложил, а все пропало. Это, чисто, нереально было, Николаич! А для Паперно это ж инвестиция, а он рисковать не захотел и нас подставил!

— Такая херня! — прислушался ублюдок. — Да мы его по земле волочить будем!

— Ладно. Ладно, все нормально, — дядя Федя махал мне успокаивающе и прощально. — Полтинник завтра тащи. Мы приведем нашего барана, придавим его, а ты своего друга притаскивай. Нормально, Николаич? Нормально.

— Нормально, — я натянул шапку, — но друга не будет. Я его сам хрен найду.

Музыка и танцы стихли, в разочарованной тишине дядя Федя поцыкал, пошмыгал, глотнул сопли, подмигнул мне. И кивнул: да. Да.

— Я отдаю деньги. Паперно отдает мне оригинал расписки. И пишет бумагу, что финансовых претензий к Чухареву не имеет. Бумагу я забираю с собой.

— Напишет, — дядя Федя делано подобиделся. — Ты че, нам не веришь?

— Вам верю. Но сам боюсь забыть — надо записать.

На улице потеплело, я шагал, не разбираясь, наполняясь гриппозной ломотой, наполняясь необлегчающим облегчением, как с похорон, подальше от главных улиц и черных автомобилей. Как бы я хотел жить? Фотографировать птиц на головах у памятников, чтобы случались неудачные дни — и долго простоял на пустыре, напротив белой стены громадного общежития: тысяча заледеневших пустых прямоугольных окон, белые пересечения межпанельных стыков — и посреди этого кладбища красной каплей застрял на форточке запасливый пакет — на него я и смотрел. Пройдет время, и — когда человек говорит «пройдет время, и...», он хочет немедленно перенестись туда, где это время уже прошло, да хоть в последние дни лета... И я двинулся к зоопарку, купил пончиков с сахарной пудрой, взялся отгонять пчелу, но вспомнил — она последняя, пусть. Вдоль древесного ствола скользила бабочка, у входа оркестр гремел «Москва, звонят колокола!». Рыси спали на последнем солнцепеке, по-кошачьи

вывернувшись белопушистым брюхом к небу, страусы сидели на холодной московской траве, дети сосали леденцы петушками, бросали щипки булки лебедям-попрошкам и дразнили кабана Пумбой. «Лянь, леопард! Какая шкурка поизящней! Бабушка, купим леопарда!» — «Молчи, тут кот не прокормишь». — «Мама сказала, что тут можно посмотреть крокодила». — «Будем надеяться, он не голоден».

Толпа немо стояла у бассейна, толком не зная, что же сейчас должно мутной тенью проплыть, дети готовились отпрянуть на шаг, провинциальная тетка подталкивала вперед сына: «Гляди, гляди, сейчас проплывет... Кит, что ли?» Надо попробовать в деле секретаршу... Дать двести долларов и отправить в архив внешней политики — биография Таси и биография Дмитрия Цурко, первой, по моим подсчетам, ее жертвы. Паровозом доставил фам фаталь в Кремль из Китая для следующей пересадки; блондин, красавец с загадочным перепадом в карьере, женился перед войной на безымянной стерве, летом тысяча девятьсот сорок первого года отдал лодочнику на переправе часы и исчез. А стерву все ненавидят.

Личные листки

— А где фотография?

— С анкеты Анастасии Владимировны кто-то отклеил фото.

Черт!!! Посмотрим. Но у нее получилось. За двести долларов мы получили отпечатки жизни, я заставил себя посмотреть первым Дмитрия и полоснул его наскоро от кадыка до паха: мелкие, аккуратные буквы, безликий почерк, а вот подпись — рисуя такие завитки, сын народного комиссара двадцати лет непросто осознает свою персону; личный листок ответственного работника НКВД «без права публикации», родился 29 декабря (ста-

рого стиля), 1900 года, г. Херсон, литературно не владеет ни одним языком (мы не сомневались, что в Китай тебя пристроили папины друзья), мать бывшая дворянка, сословия отца точно не знаю (наркомовский сынок, мог себе позволить), «семья испытывала большие материальные затруднения», а ты, значит, «учился, живя на иждивении родителей», основная профессия — нет, в семнадцать лет вступил в Уфе в Красную гвардию, «был в штабе ея» (а мы так и думали, что подполье на Украине, тюрьма у гайдамаков и битвы с батькой Махно — это песни), «прошу зачислить меня на жалованье в качестве секретаря канцелярии Народного Комиссариата Иностранных Дел», домашний адрес: Кремль, Кавалергардский (или Кавалерский) корпус (воевать никто не хочет), да еще из партии вычистили за вялость, две неслабые рекомендации золотку — полпред в Германии, Унтер ден Лиден, 7, Крестинский (расстрелян): ручаюсь, «абсолютно преданный и надежный человек», Ян Берзин (расстрелян), полпред в Англии, начальник разведуправления: «абсолютно надежен и заслуживает полного доверия»; послужил дежурным секретарем, посидел в приемных Карахана и Чичерина, а затем Карахан (пижон — белые брюки, синие пиджаки), любитель двухместного паккарда, проживавший с любовницей-балериной в особняке в Смольном переулке, пристроил тебя в миссию в Японию, после в Китай, там большой теннис и радости животного существования, фам фаталь и буржуазные удовольствия, а к двадцати семи годам, не имея ни образования, ни заслуг, ничего, кроме пустоватых серых глаз и домашнего адреса в Кремле, жалким референтом подотдела публичного права ты сел и написал: «Вследствие некоторых обстоятельств личного характера я считаю для себя необходимым переменить род своих занятий. Ввиду этого прошу Вашего распоряжения об откомандировании меня из экономическо-правового отдела, ровно как и из Народного Комиссариата вообще».

Что случилось? Смотрим дату – 23 июля 1927 года – сходится: ты *внезапно* узнал, что Настя Петрова, вывезенная из Китая любовь, страсть, на пятом месяце беременности от твоего брата Петра, и ничего не изменится в ее жизни, почти; просто поменяет комнату в квартире, да еще службу в одном комиссариате, и *все знают*, а тут на подходе или *уже* в действии М.М.Литвинов... Что-то сильно тебя изумило в себе самом, какое-то чувство внезапного омерзения или отчаяния, и ты решил измениться, попросить у заведующих лист для еще одной биографии – и начал. Но больше десяти лет еще писал «холост» в нужной графе, пока не встретил стерву, – так долго жгла и не отпускала Тася.

Я подозвал Гольцмана и Борю, и мы нетерпеливым скоком ринулись к следующей каталке, и я откинул простыню с прекрасного...

Партбилет №00131681. Пол женский.

Я родилась в мае 1902 года в Москве.

Всю жизнь жила в Москве. В детстве на Красносельской, возле моста. Затем в Сытинском переулке и Малом Златоустинском. Шесть лет в Кремле. Номеров не помню. Сейчас мой адрес: улица Серафимовича, д. 2, кв. 36.

Телефон В 16740.

В детстве носила фамилию Флам по отцу. Отец Владимир Павлович Флам, 1870 года рождения, юрисконсульт, умер в 1936 году. Мать Софья Александровна Топольская, проживает в Ермолаевском переулке в Москве, д. 18, кв. 13, в разводе с отцом с 1908 года, до революции работала машинисткой, продавщицей, последняя работа – газета «Вечерняя Москва». Брат Топольский Кирилл Владимирович 1904 г. р., студент, умер в Москве в 1924 году.

Я закончила гимназию, пять месяцев служила конторщицей в «Центропечати» и весной 1919 года уехала

в Пензенскую губернию, стенографистка Керенского укома. В семнадцать лет вступила в партию. В комсомоле не состояла. В августе 1920 добровольно ушла на фронт, в боях не участвовала — делопроизводитель штаба Первой Польской Красной Армии, после войны — стенографистка на курсах ВЧК и у товарища Войкова.

Летом 1923 года выехала в Китай, где работала в полпредстве до лета 1925-го. Затем год стенографисткой у т. Литвинова и три года в его секретариате. Училась в институте востоковедения, но не закончила по семейным обстоятельствам. Сдала экстерном за институт иностранных языков. Две поездки в Женеву. Еще — в Глазго к работавшему там мужу. В издательстве иностранных рабочих редактировала переводы сочинений Ленина и Сталина. Член парткома.

В конце 1936 года после ареста одного из руководителей издательства меня вывели из партбюро за отсутствие бдительности. Впоследствии он был освобожден и реабилитирован. Но мне пришлось уволиться и заняться преподавательской работой, пока мое «дело» отпало. Три раза избиралась секретарем партийной организации в заочном институте иностранных языков, написала учебник. Выезжала в США секретарем посла.

Вдова. Мой муж был в московском ополчении, попал в руки немцев под Ельней и погиб 14 апреля 1942 года. Двадцать пять лет доцентом кафедры английского языка. В 77 лет я ушла на пенсию и прожила еще пять пенсионером союзного значения. Рост *сто шестьдесят четыре*, глаза карие, волосы черно-седые, особых примет нет.

Орден «Знак Почета» и шесть медалей — юбилейные и «За доблестный труд в Отечественной войне».

Знак «50 лет пребывания в КПСС».

Все? Все. Это не она. Ребята здорово все почистили.

— Это не она, — я отшвырнул бумажки. — Здесь даже не ясно, почему она Петрова. Александр Наумович!

Но откликнулся обозленный Миргородский:

— А что такое? Чего ты ждал?! Как только исчезли все ее фото...

И каждый еще пораздумывал о чем-то, мне казалось — о женщине. Флам. Топольская. Цурко. Петрова.

— Я не считаю, что мы не продвинулись, — аккуратно сказал Гольцман. — Обратите внимание на поворот в биографии: девушка в семнадцать лет уезжает из Москвы в Пензенскую губернию, в Керенск... Ведь не для того, чтобы работать стенографисткой в укоме партии? Учитывая ее э-э... последующую биографию, мы можем предположить: она ехала за мужчиной. Или — с мужчиной. Петрова, если первым был некий Петров, надо искать в Керенске, в укоме партии. И теперь понятно: немец Вендт, отец больного мальчика, работал вместе с Петровой в издательстве иностранных рабочих.

— Ну и отлично! — Боря прихлопнул в ладоши. — Мы возьмем немца. Мы откопаем, соберем по костям стерву Дмитрия Цурко — уж ей-то Петрова должна быть известна! Найдем, наконец, эту Ираиду, дочь...

— Еще у Петра от второго брака, кажется, дочь, — подсказал Гольцман.

— И ее! Родилась перед войной, жива! Съездим в Лондон к дочке Литвинова... Кто, кстати, поедет в Лондон? Но — пусть он скажет прямо сейчас: что он хочет найти?!!

— Живого человека! Она прожила восемьдесят два года и умерла с ясной головой. Всего двадцать лет назад! Я уже в армии служил. Я ее мог видеть. Ты мог*видеть. Александр Наумович вообще...

— Что искать? Что мы ищем?!

— Свидетеля! Петрова не могла всю жизнь молчать. Кому-то она однажды села и рассказала — всю свою жизнь. Старухи любят вспоминать одно и то же! С кем-то сидела на кухне раз в месяц, пила чай и долдонила: я любила Костю, он меня любил, но не развелся из-за дочери, Нину убили... А убили ее *так*... Петрова — *един-*

ственный заинтересованный свидетель. Она могла видеть место преступления...

— А-а, да ладно, — отмахнулся Миргородский, — мы будем год трахаться с этой Тасей только потому, что ты считаешь — все из-за нее. Ухожу на задание. Кто едет в Лондон?

— Я хочу еще тебе сказать, что по-еврейски означает ее фамилия — Флам, — Гольцман словно боялся оглашать некоторые сведения при Боре. — Флам означает «огонь».

Месяц слезки, позвонил Боря:

— Пиши. У Петра Цурко имелся двоюродный брат Олевинский. Вот к его жене Петр и ушел от Таси. Специализировался, урод, по женам братьев. Зина ее звали. Певица хора Большого театра. В музее Дома правительства сказали: Зина и Петрова о-очень дружили. Певица родила Петру девочку Машу. Мария Петровна только что приехала из Штатов. Но скоро опять уедет. Ждет тебя завтра. Давай. Между прочим, доктор химических наук. Идеальный слушатель рассказов на кухне. — Я дописал адрес — опять Серафимовича, не пытаюсь понять: во что же я верю.

Но я точно надеялся, переступая порог еще одной бездетной квартиры семейства Цурко и здороваясь с приятной женщиной — из нее заметно торчала стальная арматура, и в глазах отсвечивали глыбы льда. Но тут высунулось очередное домашнее животное — толстый кот помоечной породы по имени Пурш. И я испугался, что допрос продлится недолго.

— Ну, отец мой был веселый, жизнерадостный. Любил поесть, выпить и приударить за женщинами. За какую работу ни брался, всюду быстро рос. Из-за туберкулеза не пошел по военной линии.

Дмитрий женился перед войной на неприятной женщине, мне не хочется о ней говорить. И от него остался сын Александр, копия, кстати, первого мужа моей мамы,

все в семье грешили на него и не верили, что он от Дмитрия. Но у него тоже нет детей.

— Только у Ираиды была дочь, Ольга, — проявил я внимание к семейным обстоятельствам.

Доктор химических наук неприятно взглянула на меня и после томительной паузы осведомилась:

— Что вас, собственно, интересует? Петрова? Очень умная. Очень необыкновенная. Незаурядная женщина. Общаться с ней невероятно приятно. Любили вместе с матерью вспоминать отца — делить уже нечего, это признак незаурядных женщин. — И окончательно замолчала. Это все, что она знала.

— Что она любила вспоминать из своего прошлого?

— О прошлом не рассказывала ничего. Раз вспомнила, как Дзержинский в молодости за коленки хватал. Больше я ничего не слышала.

Я задал еще двадцать вопросов (Уманский, дочь Уманского, Большой Каменный мост), получив нераздумывающие «нет», «никогда не говорила», «я и не знала».

— Да, вот еще: когда она летела с Литвиновым в США, то видела взрывы Пёрл-Харбора. Фото? — Она отлучилась и принесла древнюю сумку из белой кожи с поцарапанными металлическими уголками. — Вот нашла после вашего звонка все, что осталось. Давайте посмотрим...

У нее не хватило любопытства разобрать реликвии до моего прихода, и теперь дочь Петра и хористки Зины, как продавец-ручник, выкладывала узором на стол, в таком отдалении, чтобы я даже не думал протягивать руки, диплом Петровой (почему не у Ираиды?), свидетельство о защите диссертации, две трудовые книжки, похоронку на Петра Цурко (ты не знала, что в этой сумке похоронка отца?), чей-то крестик в коробочке с надписью «Ветеран труда», бархатный мешочек (бисером вышит вензель ВФ и дата 1884)...

— Не знаю, что это...

Это, милая, инициалы Тасиного отца — Владимир Флам. Что-то подарили ему на четырнадцать лет или около, может быть, на совершеннолетие, бармицву? Мальчик вырос и обязан исполнять заповеди Торы. А может, будущий юрисконсультант на «пятерки» закончил в гимназии год...

Часы с плетеной веревочкой вместо ремешка, заграничные, еще часы — без ремешка, «Победа»; ключи, номера телефонов, записанные на бумажных лоскутах... Я сидел напротив пожилой суровой женщины и думал, какими бессмысленными покажутся эти чутунные скрепы — сберкнижки, свидетельства о рождении, коробочки с орденами, — когда настанет пора собираться в последнюю поездку — ничего не понадобится, кроме крестика, и то не спасет, и волосы будет теребить холодный железнодорожный ветер.

— Нет, видите, ни фотографий, ни писем, — химик все покидала назад и ушла прятать сумку, а я быстро схватил с края стола и разгладил на ладони забытый, вырезанный овалом кусок коричневой клеенки с двумя дырочками по краям для шнурка; номер написан химическим карандашом на изнанке — 26 — и буквы: «роддом Грауэрмана Анаст. Влади. Петрова, мальчик» — привязали на ножку новорожденному сыну; вот что Тася считала необходимым хранить всю жизнь — сын.

— Как же вы можете объяснить такую скрытность Петровой? Каждому человеку ведь свойственно излить...

Я добился, она взорвалась:

— Не забывайте — она жила с Васей, с сумасшедшим сыном! С окончания войны до смерти. Почти сорок лет она жила с сумасшедшим сыном. И замуж из-за него не вышла.

Когда уезжала в Штаты, мальчик казался здоровым. Вернулась — уже больной, за полтора года! После походов по врачам сказала: я не смогу сделать его здоровым, но я сделаю его счастливым. И всю свою жизнь положила.

Интеллект у Васи остался на уровне пятилетнего ребенка. Мог съесть пробку из фольги от кефирной бутылки. Но хорошая память, занимался музыкой, ноты читал, хотя слушать, как он играет, было невозможно. Внешне? Среднего роста, довольно красивое лицо, но сумасшедшие глаза человека не красят! Полноватый, много ел, ограничивать его не имело смысла. Если мылся в ванной, заканчивал, лишь смылив кусок мыла без остатка. Временами спокоен, временами неспокоен; тогда подлечивали, но было страшно.

Моя мама уговаривала Анастасию Владимировну сдать Васю в интернат. Но она с порога: нет, даже не заговаривайте со мной об этом. Даже отпускала его гулять одного. В день пожара в гостинице «Россия» — помните скандал на всю Москву? — Вася шел по Большому Каменному мосту и барабанил палкой по перилам. Его забрала милиция. Потребовалось множество усилий, чтобы его отыскать и вернуть.

Разрешала ему далеко заплывать, когда отдыхала в Прибалтике. Ей сказали однажды: уж очень далеко заплыл и что-то не возвращается. Анастасия Владимировна ответила: что будет — то будет.

Все несла на своих плечах. Когда ослабла, наняла женщину, Анну Ивановну, та хорошо ладила с Васей, пела с ним на кухне и обкрадывала семью. Мама моя возмущалась: Таська, она же ворует у тебя простыни! А Анастасия Владимировна терпела: где еще найдешь сиделку, чтобы хорошо ладила с Васей?

— Как она умерла?

— Ушла на пенсию. До последнего сидела за столом, работала над двухтомным словарем Гальперина и трехтомным Апресяна, никаких признаков склеротичности. Вернулась в церковь, ходила в храм на Якиманке.

Перед смертью соборовалась. Не боялась, сказала: я скоро увижу Митю и Петю. Моя мама требовала от Ираиды: никогда, никогда, никогда не обещай, что возь-

мешь Васю к себе, даже если мать будет требовать на смертном одре, не обещай того, что не сделаешь. — Ираида промолчала, и Анастасия Владимировна, конечно, поняла, что его ждет...

Что еще помню... Говорила: я не выношу партийных собраний. Сажусь в первый ряд и сплю с открытыми глазами. Если ночью не спалось — вставала и работала. Или раскладывала пасьянс. Вот, кстати, ее кресло — легкое, удобное.

Не любила домашние заботы, не любила говорить о Васе, не любила о болезнях и ничего никогда лично о себе. Книги, кино — это пожалуйста. До свиданья.

Я просмотрел последние донесения и отдал, но секретарша не уходила.

— Что?

— С утра два раза звонила Алена Сергеевна.

— Да.

— Еще хотела сказать... Я решила... Чтобы помочь, связалась с Вадинском.

— Что это?

— Город, бывший Керенск, Пензенской области, куда уезжала Петрова работать из Москвы. Я посидела в воскресенье в архиве, выписала всех, кто мог работать с Петровой в уюме партии. Председатель Воронин, потом Буздес, он же редактор газеты «Красная деревня». Еще Шуваев, Соколов, Туманов или Туманова, Суздальцев из Совнархоза, Серебряков — член уисполкома, председатель Совнархоза, Пронькин, Шаландин, Майоров — председатель городской организации ВКП(б), и еще Петр Купреянович Валов, бывший предуполкома, исключен за пьянство в селе Шеино. В уюме Петровых нет. Зато среди коммунистов губернии двенадцать Петровых, я еще, думаю, туда...

— Как вас зовут?

— Маша.

– А по отчеству?

– Мария Николаевна.

– Мария Николаевна, не надо дурью маяться. Надо делать только то, что я говорю. У вас есть загранпаспорт?

– Да.

– Езжайте в Англию к Татьяне Литвиновой. Найдите ее телефон, подружитесь, попроситесь в гости. Боря подскажет, под какой легендой...

– Спасибо большое, – голос ее качнуло волнение. – Я вас не подведу!

– Что это она такая счастливая? – Алена окинула взглядом мой стол, лицо, особенно губы, монитор – не смотрю ли почту, телефон – нет ли сообщений, обошла и навалилась на спину, нюхая, нет ли чужого запаха, и прошептала в шею: – Господи, как же я соскучилась... – Еще с минуту мурлыкала, лизала шею и терлась, чтобы встал и потискал. – Любимый. Милый... – Отправила руку с алыми когтями мне за пазуху и с омерзительным стоном: – О-о, как у тебя здесь горячо. Какое же это счастье – быть рядом.

Боря театрально покашлял за дверью, побрякал ручкой и заглянул:

– Не помешаю, ребята? Закрывать надо.

– Нет, Миргородский, это не то, что ты подумал, довольно зычно, на всю контору: – Мы обсуждаем... – и не убрала своих лап, так жарко и лежала на мне, как вонючий тулуп, и терлась грудью.

– Заработал телефон у Ираиды Цурко – она приехала. Я с ней говорил.

Я трусливо молчал. Тасина дочь. Всю жизнь с матерью. На кого же еще надеяться. Неужели и она в этой повальной молчаливой болезни?

– Что я могу сказать тебе, товарищ командир... Тетю не раскусишь: фотографий мамы нет, писем мама не писала, дневник не вела, архив отсутствует. Наш интерес к Петровой ее не растрогал. Что бы я ни пел. Может быть так, чтобы

Ираида маму ненавидела? А теперь просто хочет забыть? Холодная, холодная, жесткая... Если нормальному человеку скажешь: расскажите про свою маму — он обязательно заплачет и поведется... Она — нет. На фамилии Уманский, Литвинов, Вендт не реагирует — ничего не знаю, два раза видела издали и мельком. Встретаться отказалась.

Я сделал вид, что все ожидал и предвидел, Боря усмехнулся моей дешевой невозмутимости.

— Но. Она согласна один раз поговорить по телефону. С условием, что больше никто никогда не позвонит. Через пятнадцать минут я тебя соединю. Я сказал: мы собираем воспоминания о дипломатах, работавших в США, к семидесятилетию установления дипотношений. Мне кажется, она не поверила.

— Алло.

— Я думала про вас и поняла: вам трудно врубиться в наше время. Мы жили совсем по-другому. Встретилась с одноклассниками через много лет и вдруг поняла: Марина — еврейка, а Шамиль татарин.

Я помню, как поднималась по лестнице пешком — лифт не работал — и тыкала пальцем в бумажные кружочки на дверях — все квартиры опечатаны, всех арестовали. Запомнила этот день навсегда потому, что пришла домой и заболела скарлатиной. В школу идти боялась — кто еще из класса не придет?

Я родилась тридцать первого декабря в 11.30 в роддоме Грауэрмана. Первая внучка советских наркомов. Деда встретили аплодисментами на заседании правительства, а дома няня уронила сервиз, дед воскликнул: не печальтесь, Дуняша, это к счастью!

Имя мне придумала мама. Дед не участвовал. Мне еще повезло. Одного мальчика в доме звали Красный Пролетарий.

— Что вы знаете про родителей Анастасии Владимировны?

— Отец, вы знаете, юрист. Брат трагически погиб. Бросился или попал под трамвай. Бабушка моя жила в Афанасьевском переулке, когда дом сломали для строительства цековского дома, переехала на какую-то Парковую, оттуда разменялась в Брюсов переулок рядом с церковью — была очень набожна. Знала множество языков, ходила в Ленинскую библиотеку и переводила для меня романы Дюма (по-русски издавали только «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо»), сама печатала и переплетала. И сама писала женские романы. Работала машинисткой и Сталина ненавидела: постоянный страх опечаток. А Хрущева очень любила. Рядом с иконой держала его портрет, вырезанный из «Правды». Говорила: я сперва туда помолюсь, а потом сюда. Она умерла под сто лет. Когда впадала в маразм, ее приводили к Анастасии Владимировне, и бабушка просветлялась.

От нее осталось ощущение стремительности: сейчас я сбегаю за хлебом!

— Сначала ваша мама вышла замуж за Дмитрия, потом за Петра...

— Дмитрий познакомился с Анастасией Владимировной в Китае, но брака они не регистрировали. На мне был помешан — какая-то ненормальная любовь. Даже подозревали, что я его дочка. Помню, приехал после Испании: Ираидушка, давай я тебе почитаю. А я теперь сама читаю! Папа работал по линии «Внешторга», ездил в Англию, последние годы в «Заготпродуктснабе». На войну ушел добровольцем, хоть и белобилетник.

Рослый, как и все Цурко. Дома почти не бывал. Я знала, что у отца с матерью разлад, очень это переживала, они не подозревали — я очень скрытная.

Семья была большая и веселая. Играли в маджонг. Проигравший завертывался в простыню, спускался в подъезд и спрашивал у дежурного чекиста: который час?

— Откуда такие точные сведения о гибели Петра и Дмитрия?

– После войны, отсидев еще в нашем лагере, нас разыскал невысокий, похожий на татарина человек. С неделю пожил у нас и все рассказал матери про папу...

О смерти Дмитрия мы получали сведения с самых разных сторон. Двадцать лет назад у нашего приятеля сломалась машина, и его вез на тросе какой-то человек. На перекуре он и признался, что командиром его был Дмитрий Цурко, и видел он его последний раз раненым.

В биографию Дмитрия – это я вам очень твердо советую – вы особо не вникайте.

– Помните Литвинова?

– Максим Максимович запомнился очень живым. Я похвалила фильм «Подвиг разведчика» – потряс меня. Он хохотал до слез и стонал: «Ираидушка, ты шутишь! Ты не можешь так считать!»

– С кем вы остались, когда Анастасия Владимировна работала в Америке?

– До войны мама работала в издательстве. Когда посадили директора, уволили и ее, она ушла на фабрику делать зонтики. С нами жила очень преданная няня – Евдокия Филипповна Зулаева, на всю войну мы остались с ней в поселке Свободный под Рязанью. Мама приехала перед отъездом в Штаты на ближайшую станцию Сасово и привезла зимние вещи. Осенью сорок первого приехал человек: получен приказ – если немцы приблизятся, взять лошадь и вывезти вас в безопасное место.

Голодно жили, мамины посылки с едой не приходили, присланные вещи оказывались малы. Я работала в колхозе, косила, жала.

Когда она вернулась, квартиры нас уже лишили, – разменяла молодая жена Дмитрия, – дали комнату с соседями. Заехал нянин сын, мама хлопотала за него и пристроила на флот, и похвастался: «Ираида-то ваша стала красивая. Руки – во! Ноги – во! А то прежде-то ходила деликатная». Мама тотчас выправила нам пропуск в Москву и перевезла.

Няне в благодарность построила новый дом. Няню побаивалась. Няня очень властная и всем заправляла в доме. Мама хозяйничать не умела.

— Что вы можете сказать про свою маму?

— Громыко не любила. Как-то в Америке воскликнула: такое мог придумать только такой дурак, как Громыко; обернулась — он стоит за спиной. Когда Литвинов ушел на пенсию, ее перевели помощницей к заместителю министра Гусеву. Она, единственная женщина в Министерстве иностранных дел, имела ранг секретаря первого класса. Но с Гусевым ей оказалось так плохо, что она перевелась в американский отдел, написала диссертацию и пошла преподавать. Защиту диссертации считала самым бессмысленным делом в своей жизни. Английское произношение у нее неважное...

Хорошо плавала, за лето сбрасывала три-четыре килограмма.

Дома не принято повышать голос, но мама очень строгая. «Мама, а что значит это английское слово?» — «А ты смотрела в словаре?». Если я пообещала прийти в двенадцать домой, я должна прийти в двенадцать.

Когда у меня появились седые волосы, она сказала: немедленно крась, никому не показывай седины. Не повторяй моей ошибки.

Нет, она не твердолобая коммунистка. Тем более учитывая ее религиозность...

Она однажды мне сказала: ты знаешь, я не очень могу позволить себе привязаться к Оле, Оля — это моя дочь, потому что есть Вася.

— О себе...

— Я работала в ООН и много времени проводила на переговорах по разоружению — Хельсинки, Вена, Женева. Вы можете отметить: Горбачев наградил меня орденом, а Ельцин отметил в приказе и дал денежную премию. Поощрял и Громыко, даже зная, чья я дочь.

Но я человек в себе. Мама совершенно не знала моей жизни.

Когда я сказала, почему развожусь, для нее это был шок.

Ее отпевали в больнице, тогда уже разрешалось. Похоронили на Ваганьково, недалеко от церкви. Участок захапали родственники, пришлось им платить, чтоб похоронить. «Я уже хочу умереть. У меня такое унижительное заболевание (рак прямой кишки), я устала от самой себя». Она сказала это абсолютно спокойно и с полной уверенностью добавила: «Я всех очень давно не видела. Я увижу всех».

Я ничего не знаю из того, что вы спрашивали. Я помню только то, что касается лично меня. Я даже на улице по сторонам не смотрю.

— Все ваши родственники как-то недобро поминают жену Дмитрия...

— Она лишила нас квартиры, лет восемнадцать ей тогда было... Валентина Ивановна Ромодановская такая... Ничего плохого говорить не стану. Только скажу: невероятно красива была, матовая, необыкновенная кожа... Работала, кажется, раскрасчицей тканей. Всего доброго.

Миргородский отключил диктофон и отдал секретарше — скачать для архива. Мне он сказал:

— Я уверен: твоя Тася точно такая же — холодная, сухая. Доила мужиков и вычесывала только свою шкуру. И никого в себя не пускала, и никогда не плакала. А ты заметил, как мадам аккуратно про единоутробного Васю: был, был... А куда делся? Кто ж в интернат брата вез? Ну, что? Будем искать раскрасчицу тканей? Блин, и опять красавица! О чем думаешь?

Я думал: вот странная семья Цурко. Плодились по восемь детей, да еще брали приемных, фотографировались семьей в три ряда в кремлевской квартире — и вдруг обрезало, одновременно, в проклятом, что ли, поколе-

нии — ни один ни одного не родил. Только Ираида — девочку Олю. Осталась от всей громадной ветвистой коммунистической семьи, десятков красивых людей одна — девочка Оля. Но странно: мы не нашли до сих пор следов ее существования, а мать только что говорила про нее таким голосом, словно девочки давно нет.

— А вы, Александр Наумович, что думаете про церковь на Якиманке? — спросил я. — Ведь получается, перед смертью ее исповедали... А?

Я что, уже остался один?

На покое

Апрель лучше, мартовская зима выматывает. Я решил пожить в Феодосии, поскорее увидеть зеленые искры, древесные порезы, кровоточащие зеленой кровью, зеленые, богомольно сложенные персты липких первых листьев, но в Симферополе оказалось минус три при шквальном ветре, шел снег, таксист ругал татар, а я с надеждой вглядывался в темные горы, в каждую оттаявшую плешь на дороге — улицы Феодосии пахли печным дымом, во тьме светились корабли, сквозь тепловозные гудки шумным вздохом иногда доносилось море, лежал глубокий снег, не пробитый тропинками, по заледеневшей набережной ползли одинокие бомжеватые фигуры в сторону, противоположную жилой. Куда бы я ни заходил — всюду оказывался один. Зашел в кино — для меня открыли кассу, разбудили механика, включили свет в фойе, сделали попкорн: какое кино смотреть будете?

Церковь Иоанна Воина на Большой Якиманке стоит в получасе быстрой ходьбы молодыми ногами от Дома правительства — Тася Флам, ставшая пенсионеркой союзного значения Петровой, добиралась, я думаю, троллейбусом туда, а обратно, если оставались силы и появлялось настроение прогуляться по весне, спускалась

к набережной и двигалась вдоль воды. Я, соблюдая приличия, постоял напротив мутных букв «собственно храм представляет собой двухсветный четверик, перекрытый высоким сомкнутым... динамику нарастания масс и пластическую выразительность силуэта...» — и заслонил свет бледнощекой старушке за церковным прилавком, и просунул хорошо различимую пятисотку в начищенный бачок для жертвы.

— Батюшка в храме?

Она вызвала из недр что-то молодое и длинноволосое, попутно пояснив: у батюшки четверо детей, добирается из Подмосковья, если что-то закажете — деньги лучше отдать ему в руки.

— Кто служил в храме до 1984 года?

— Отец Василий. Он на покое...

— Он жив? Но в сознании? У вас есть его телефон? Давайте ему позвоним. Нет, лучше сегодня, сейчас.

Долго они отказывались (что значит, нет у меня настроения, снег надоел!), я принял трубку, скрепленную изолентой, и выдохнул в микрофонное ситечко на тот свет:

— Вспомните, пожалуйста, среди ваших прихожан в начале восьмидесятых была одна удивительная женщина Анастасия Владимировна Петрова, посольский работник... Учила английскому языку... Жила на Серафимовича... Возможно, вы соборовали ее, зимой...

Одышливый голос, трудно приподнятый на подушках к ответу, честно вспоминал, сквозь заросли седины перебирая не страшившийся советской власти актив, четверть века, женские имена, словно вчера... нет... Я без огорчения вернул трубку, поднял воротник, достал перчатки и быстро вышел, отталкивая двери кулаками и отворачиваясь от убогих.

Наутро задул страшный ветер и заново полетел снег. Завтракал в кафе с камином под песню «Чайхана, чайха-

на, кто чай не пьет, тому хана», обставленный обогревателями, — ноги леденели, спина дымилась.

На огромном заснеженном рынке торговал единственный человек — зелеными яблоками. Оборванные афиши. Бродячие собаки. Но на пляже все-таки виден мокрый песок, усыпанный битым стеклом и скрюченными корнями колючек. В море плавала пара лебедей, подплывала за хлебом. Море качало зеленоватые волны — тяжелая, прозрачная, обманчиво летняя вода, — на дне проступали языки песка меж темных водорослевых облаков. Я искал памятные с лета заливчики для захода в воду — так в чертах старухи ищешь... В интернет-кафе толстая девушка дотюкивает двумя указательными «следующий раз напишу через неделю» и бьет «транслейт» — с русского на английский; я двигаюсь следом, туда, где она снимает дубленку, размещается за стойкой отеля «Манго», здоровенная девушка, и смотрит из-под челки на постояльцев так, словно трахается из интереса; небольшая понурая головка с лисьим носом, меж рук продаются две чудовищные головатые груди, скрывая даже пузо, пушистое лицо. Вечером она сидела, безнадежно уставившись в дамскую книгу в мягком переплете.

— Массаж делаете?

— Я администратор, а не служба сервиса. — Она устало качнула головой: нет.

— А эротический?

Она подняла морду и уставилась на меня так, что стало понятно: *это* она мучительно обдумывала ночами и днями, испуленно. Вы после дежурства домой? Нет, дом в Севастополе. Иду отсыпаться в номер. В какой? В пятьсот двадцать пятый. Значит, в восемь утра в пятьсот двадцать пятом? Полдевятого, сначала я позавтракаю — она закрепляюще позвонила в номер. В Севастополе живу на первом этаже, под окнами вечно толпятся, хотят увидеть меня голой, засыпаю с газовым баллончиком в руке, учусь на программиста... слышишь, музыка

играет, такая эротическая... я так не люблю мужчин, которые говорят: *я хочу тебя*, а так мне говорит каждый... люблю плавать в море по ночам безо всего, с вами первым так говорю, прическа там у меня «елочка», с прической мне нравится экспериментировать... многое люблю, целоваться люблю безумно, поцелуи в шею очень нравятся, оральный люблю, и когда сама, и когда мне... вы так на меня посмотрели, что я чуть сознание не потеряла, особенно запахи возбуждают – волнующая субстанция чувственной любви! – ты хочешь? а как я хочу!.. подождите, отвечу на звонок... – шелковое белье люблю, атласное, сделать ванну с пеной и лежать, я буду танцевать для тебя и раздеваться, обожаю танцы, обожаю все, что дает мне проявить свою сексуальность... Фотографирование? Это табу, я должна знать, что вы сделаете с этими фотографиями, мне один скульптор говорил: буду лепить вас, но сначала разденься... Вы еще не хотите спать? я не могу спать голой, потому что нежная кожа, я очень возбуждаюсь. (После обеда Алена не писала, отчего ощущалось какое-то неудобство, незавершенность дня, непрочность жизни. Я попутно настукал *«Любимая. Весь день много работал. Но все время рядом – ты»*, и не успокаивался, пока не загорелось *«Милый! Укладывала мелкого и уснула сама. Очень переживаю за тебя. Страшно скучаю. Береги себя. Ты моя жизнь. Я никогда тебя не предаю»*.) А так я готова – в любых позах...

Теперь можно спать, но спать мешали часы, едва слышные механические вгрызания: если заметил – уже не уснуть. Я поднялся и вынес часы в ванную. Лег, укрылся теплее – под окном завывала противоугонка, и я подумал про судьбу тел, как страшна могила: придавленность, безвоздушность... А вдруг глаза продолжают видеть, и волосы радостно пустятся в рост, а вдруг коже щекотен и болезнен буравящий натиск червей и тьмы – я вскочил, сбросил одеяло и закричал, быстро утихнув до

стона... повертелся, оживил телевизор — в нем никто не раздевался, лежал и ждал утра, конца...

В пятьсот двадцать пятый я побоялся постучать громче, подумал уходить, но:

— А-а... Вы? С добрым утром, а я так... придремала, — она заковыляла вглубь, переваливая жир, жопа такая огромная, что шла где-то рядом, спадали спортивные штаны, она помялась, словно я что-то принес, должен оставить и уйти: пенсию, бандероль под роспись, — чумное, невыспавшееся, нечувствительное тело, неподвижность страшного сна... Я присел... она привалилась на кровать боком и прибавила телевизору звук.

— Не холодно? Выключила обогреватель, а то он новый — ставишь на полную, так краской начинает пахнуть, чувствуете? — она зевнула. — С дежурства...

Мы внимательно посмотрели последовательно рекламе собачьего корма, средства для мытья посуды, препарата для поддержания уровня кальция в организме и крема для упругости кожи — ни одного названия. Надо как-то двигаться, утром это... как катить камень.

Чтоб не видеть мохнатого лица, пушистого подбородка, потерся о спину, понюхал волосы.

— Там сериал шел... Хотите, на музыку переключу, а то все реклама...

Пульт шлепнулся на пол, я перевалил через сугроб мяса, зажмурился и ткнулся губами в теплое, сухое, стиснутое, в угол, чтоб не всосать зазиявшую родинку с торчащими волосками. Вслепую я расчищал низ, но она всерьез, не играючи удерживала трусы, широкие, старушечьи, свободные, словно лопнула резинка, и пофыркивала, как от щекотки; я мял огромные, резиновой крепости бедра — она вцепилась наручниками в мои запястья: остановись — и отвернулась. Мы разлепились со вздохом, и она, вздыбившись, вернула на исходную штаны, свалилась на бок и плаксиво задышала.

— Что случилось?

Полежали.

— Тебе плохо? — Я дотянулся до ее ладони пожать и погладить. — Ну что ты, милая?

— Надо не так.

— А как надо?

— В книжках почитай, как надо! — Раздраженная, тварь; книги я читал, но книги — это книги.

Когда болит затылок и нет удобного положения, мобильник звонит, да еще вставать и валить... Я потащил ее руку к себе, вставить ей в кулак — потрогай, вот он, она отдернулась брезгливо, как только поняла, вся сжалась... Я — молнией! — расстегнул сбрую у нее на спине, перекатил брюхом вверх, рывком задрал майку и схватил губами пресный сосок — самое скучное дело на свете... опять позвонил мобильник... коленкой пытался раздвинуть ей ноги, она держала обеими руками, как мама велела, трусы и лежала тушей... Позвонил мобильник, прошла по коридору уборщица, подергала ручку соседнего номера и звякнула дужкой ведра. Ну, для очистки совести... Она опять, уже с коротким рыданием, перехватила руку, пружинившую на животе, я выпустил изо рта чужую кожу, закрыл телеса тряпней и благодарно пробормотал, застегивая штаны:

— Ты такая красивая...

Она катнулась ко мне, прижалась и прокисше зашептала:

— Да! Да! Возьми меня! Войди в меня, — слабея, раскрываясь, разбросав руки, — сделай это! — Вдруг приникла и бросилась разглаживать ладонями мне лоб. — Мой милый! Желанный мой! Бери меня! А то все уже смеются: так и ходишь в девках? — Задрала майку, пряча забагровевшее до кровавости лицо, и негромко заплакала, сжавшись от предчувствия боли.

Я полежал немного рядом, поднялся и ушел, она осталась лежать как лодка...

Или не так: я распахнул дверь кабинета — уходи тогда на хрен! — а там стояла Алена — но это ничего, пройдет

время и... пройдет с лифтовыми шорохом и потряхиванием.

— Я... ухажу. Я просто устала. Я больше не могу терпеть эту грязь, — сказала Алена, — начинай меня запоминать, любимый.

Она особенно подкрасилась для этой миллион раз представленной сцены, дрожащие руки топила в карманах, она старалась выговорить *все*, пока не переполнятся глаза, и надеялась, что ей не придется договорить *все*. Могла бы по телефону, могла бы написать, еще лучше — не говоря ни слова, без этой вот падали.

— Я... хочу тебе сказать... — Проводит до ночи, измучает семью и с утра начнет слать СМС, с прощающих переидя в умоляющие, позвонит (одни рыданиям в трубке), заедет на бесконечную минутку забрать вещи и расчетливо встретится в дверях: проводишь меня? — и воткнется в тебя за первым углом — никто не ударит лижущую собаку. — Я очень хочу... чтобы ты был счастлив. Чтобы ты не был один. И ты... Будь, пожалуйста, счастлив. И ты будешь. Я в это верю всей своею душой. Всеми своими силами! И ты верь. Милый мой, дорогой человек, — и она взглянула в пол, оставив место для «что случилось?», «да ты с ума сошла!», «ну, прости!», «я не могу без тебя!». — И помни: если даже всего лишь один человек на свете тебя любит всю жизнь и никогда не предаст, ты не один. Такой человек у тебя есть. Прощай. — Я начал считать, на «восемнадцать» в медленном-медленном исполнении дверь выпустила человека.

— Все как ты хотел, — и Боря прошептал: — Сработало!

Нельзя назвать это физическое ощущение приятным, но ведь не боль, чем другим назвать, пока не прошло время.

— Приходила жена Чухарева! Клиент выполз из щели. Плакала: вы спасли нашу семью. Столько денег... И при-

несла подарок, — лист бумаги плясал у Бори в руках. — Все, что клиент знал по делу Уманской. Получи.

6 класс

МИКОЯН Серго

7 класс

БАКУЛЕВ Петр

БАРАБАНОВ Леонид

XXXXXX Хxxxxx

КИРПИЧНИКОВ Феликс

РЕДЕНС Леонид

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Артем

8 класс

МИКОЯН Ваню

— Прочитал? Через полтора месяца после гибели Шагурина и Уманской арестовали восемь мальчиков из 175-й школы. Через полтора месяца! Майор из ФСБ не врал: дело начато в июле. Полгода их держали в тюрьме, а потом сослали в отдаленные районы. Тебе интересно знать, что за мальчики? Сейчас-сейчас. Александр Наумович!

— Барабанов — сын помощника Микояна. Хмельницкий — сын адъютанта по особым поручениям маршала Ворошилова. Бакулев — сын главного хирурга Советского Союза. По мнению охраны, из врачей Сталин доверял только Бакулеву, даже в ложу Большого театра с собой брал. Кирпичников — сын заместителя Берии. Реденс — сын Реденса, из НКВД, на тот момент уже расстрелянного. Ну, и Серго и Ваню — сыновья Микояна, члена ГКО... — Скорей бы кончилось это, перестали сыпаться под ноги мусорные факты, имена, говорил с тихой, ласковой настойчивостью, словно зимним утром пора вставать. — Понимаешь? Картина складывается такая... К июлю сорок третьего один из старших сыновей Микояна уже погиб на фронте, а

в Москве арестовывают двух младших детей, Серго вообще шестиклассник — тринадцать лет! Берут Леонида Реденса — по отцу только Реденс, а по матери Аллилуев, племянник Сталина! На поверхности два важных вывода: решение об аресте *таких* мальчиков в *такое* время мог принять только один человек...

— Я слышу.

— И второе: мальчики совершили что-то такое, что заставило Сталина лично... — теперь Гольцман говорил молодо и задорно. — И это «что-то» не история неразделенной любви. Или — не только история любви.

— Мы у цели, — объявил Боря, — Петрову можно забыть. Мальчиков устанавливаем и брать.

Я разглядывал восемь имен и ничего не видел. Четвертая фамилия:

— А Хххххх Хххххх... Он-то как здесь очутился?

— Говорят, Алена Сергеевна увольняется? Довел девку. Незаменимый человек была в оперативной работе... Жаль. Только что же такого они сделали с Уманской? Трахали ее, что ли, по кругу? И почему их арестовали только через месяц? Дальше без Алены? Что будешь делать?

Дмитрий Цурко — вот у кого болело. Перевести из Китая стенографистку в Кремль, открыть, завоевать и оказаться слепцом, обменным фондом, ступенькой, обкраденным братом, и наблюдать дальнейшее течение — к немцам, послам, наркомам, десяткам неизвестных; до седых висков оставаться одному и прятаться от боли в казарме, от раскрасчицы тканей с нежной кожей — первым делом, словно отомстив за боль, та разменяла квартиру семьи, и оставшихся без гнезда поразило бесплодие... Раскрасчице девушке Вале перед войной совсем немного лет — один процент, что жива.

Раскрасчица тканей

Отставная стерва-красавица восьмидесяти трех лет, Валентина Ивановна, приболев на новый год, но окрепнув, ожидала меня, лежа на диване в красной кофте, приподняв голову двумя подушками, укрывшись пледом. На пальцах тяжело сверкали два перстня, на придвинутом столике молчал транзистор. Чалма на седых волосах и крупные очки превращали ее в черепаху. Я немножко ее сдул.

— Он служил в отряде Яковлева, знаменитого чекиста! Охранял поезд с царем. Но это я только после его смерти узнала. У Чичерина секретарем, в Испании — помощником военного атташе. Врачи называли его Аполлон — великолепное телосложение. Узнала его случайно. Жизнь несладкая моя... Я ведь дочь репрессированного. Уманский бесцеремонный человек! А Петрова скверная, много зла сделала Литвиновым. Дмитрием все пользовались. Особенно его деньгами. Я ничего не знаю... Мы так мало прожили, я не успела подробно расспросить.

И она сдалась. В тишине что-то заскреблось. Я обернулся, чтобы увидеть подоконник и голубя, но скреблось в дальнем углу, там, где выгибала шею лампа и нагревала стенку стеклянного ящика.

Вокруг меня скакал и приседал сомнительный Цурко-сын — рыжеватый шестидесятилетний подросток, пучеглазый и пустой. Что мне нужно? что меня интересует прежде всего?

— Как умер ваш муж? Все говорят какими-то намеками...

— Чем он занимался в армии, остается тайной (*перетерпеть все, что прогнусавит сын*). — Судя по всему, — доверительно склонился, — ГРУ. Но после взятия Прибалтики хотел уволиться в запас. Отца зажимали! Не давали звания. Почему? Из-за деда, из-за наркома! Деда же умертвили фактически сталинские палачи, не мог он

умереть от воспаления легких, он же был здоровый! И я уверен, Сталин указал: Цурко после смерти не вспоминать. Елена Дмитриевна Стасова как-то в частной компании проговорила: Сталин дела *ненавидел*. А Цурко такой, спорил — *с Лениным!* — по вопросам культурной политики!

Я взглянул на раскрасчицу тканей: а ты?

— Неизвестная судьба... Шли из окружения в окружение... Шли под Могилевом.

Сын подскочил:

— Да я уверен: отец погиб в наших лагерях! Как офицера, побывавшего в плену, его забрали. Или! Оставили разведчиком в тылу! — Безумный возникал слева! выныривал, выпрыгивал справа! — Адьютант его, он сейчас жив, под Новозыбковым где-то, говорит: из немецкого лагеря их отпустили в гражданском. С какими-то документами!

— А с сердцем у него было плохо, — задумчиво сказала Валентина Ивановна. Я пересел поближе и с повадками священника нагнулся над телом:

— Вы раскрасчица тканей?

— Я художница! — Она приподнялась, как кобра; властным и резковатым голосом: — Но сменила много занятий. А в то время работала конструктором по электромонтажу металлургических заводов, а жила через Большой Каменный мост, улица Малая Знаменская, в одном доме с правнуком Пушкина. Бабушка — купчиха, владела домом на Таганке и долей в колбасной фабрике — умерла от горя в восемнадцатом году, мама умерла после моего рождения от испанки. Отца арестовали в тридцать четвертом... попал на шахты в Новокузнецке, потом вроде перевели в бухгалтерию, но умер от заворота кишок. Мачехе повезло — она не регистрировалась с отцом, зато на ней висели две племянницы — брата мачехи и его жену расстреляли...

— Дмитрий был женат — до вас?

Глухо и недовольно она признала:

— Очень недолго.

— Как вы познакомились?

— В тридцать девятом году. В моем дворе жил Колька Келлер, я помогала ему чертежи чертить. Все уши прожужжал про Митю, что приехал из Испании, и позвал в гости к Пете. А Петя первый парень на деревне — бесшабашный, любил компании, дома не ночевал, имел две семьи (вторую жену увел у двоюродного брата, вместе в преферанс играли) и ни об одной не заботился. А брат ему помогал... Когда они вдвоем жили — посуду грязную в раковину сложат, кипятком обдадут — и до лампочки. Когда я у них жила, Петя без конца просил: Валентина, не дадите ли мне чайку? Не дадите ли мне сахарку?

Мы с Колькой чертежи закончили и пошли в гости.

— Как вы были одеты?

— Как? Русая коса. Юбка, жакет. Немного посидели за столом... А где же Митя? Да вот он, мне показали. А я-то думала: если военный, то обязательно в форме! Деревня я была, «с Урала»! Компания шумная, разговор за столом развязный, а Митя молчал и крутил радиолу, что привез из Франции, — его через Францию вывозили из Испании после ранения в голову — пришлось трепанацию... Из-за ранения ему дали только орден Боевого Красного Знамени, а орден Ленина и Звезда Героя достались Родимцеву. И слава Богу, присваивал-то Штерн, и всех, кому присвоил, после его расстрела и посадили.

Тут еще приехал приятель из Англии, опоздал, ему налили штрафную, он поскользнулся в туалете, сломал ребро, его вытаскивали. Митя схватил флакон духов дать ему понюхать, чтоб пришел в себя, и выронил. Весь флакон вылил на меня! Он до сих пор, тот флакон, сохранился, — она дрогнувшей рукой показала куда-то мне за спину. — И ушел. Я: Петь, а где Митя? Встала и пошла за ним. Сама. И больше не ушла.

— Какая у него была комната? — куда ты за ним пришла.

— В одной комнате жил Петр, в небольшой. В другой Петрова. В третьей ее дети с прислугой. В четвертой — Дмитрий. Нескладная такая комната, — она, словно впервые, примерилась к ней будущей хозяйкой, — сорок пять метров. Висела картина — львы. Тахта, кровать деревянная и кресло, что Ленин дедушке подарил. Письменный стол. Мы на нем на юг уехали. Продали и на деньги эти поехали. Шкафы. Шифоньер — в музей отдала. Еще была стенка с оружием и портрет Суворова. Когда сын родился, мы заняли еще и столовую — не помещались. Тоже такую... нескладную.

Я понял, что ташу пустую сеть, и ждал, когда пройдет приличный кусок времени, понукая: а дальше-то что было?

— Я чертила у Новодевичьего, мы встречались на Пре-чистенке или на Крымской площади и все гуляли, гуляли... Такое время — март, апрель, май... Когда сделал предложение? — Она задумалась. — В письмах... Не помню! Где расписывались? Да нигде! Просто переехала к ним жить, да и все.

А в ЗАГС уже пошли в феврале, он приехал ненадолго, бежали пешком, мороз, помню, нос у него белый...

— Вы не сомневались, выходя замуж за человека вдвое старше вас? Большое сердце, трепанация...

Раскрасчица зыркнула на меня сквозь окуляры:

— Да я рада была... До потери сознательности.

...Уходил в девять, приходил в час ночи. Каким он был? Мог быть веселым. Для него главным словом было...

— Обязанность! — и сын испуганно глянул на маму.

— Нет. *Романтика*. Как сказала Фотиева, секретарь Ленина: из всей семьи выделялся только Митя. Слишком серьезный.

А для семьи он — дойная корова. Жил на стипендию; когда учился в академии, все деньги — в семью, а сам

носил сапоги со шпорами, на обыкновенные денег не хватало. Его сослуживцы даже проверяли, — заговорила она таинственно, — подкладывали ему деньги в казарме на видное место, а номера записывали. А он — никогда не брал! Когда Митя в Испании служил, семья получала его зарплату.

— Так надо ж было кому-то получать, — осторожно вставил сын и ссутулился от крика:

— Можно было на счете оставлять!

Когда командовал полком, жил в казарме, спал на столе у себя в кабинете, ел в общей столовой. Только перед войной домик дали, он в письмах все мне расписывал. — Она похвалилась: — Письма я все сохранила и не показываю никому. Я и приехала к нему в Речицу под Гомель, не захотела жить с его родными...

Трепетал перед сыном. Ждал войну. Пусть лучше я отвоюю, чем Саша.

Сыну в годик присвоил звание ефрейтора, на коня сажал, собирался форму шить. И бурка у сына была...

Я подождал, но она не собиралась плакать. Оставалось уточнить существенную деталь:

— Он никогда не говорил, за что он вас полюбил.

— Нет. Сам удивлялся: за что ты меня полюбила?

— Все хотел спросить: что у вас там скребется в углу?

— Там у меня черепаха.

Сын вышел домучить меня к дверям:

— Тут приезжали испанцы. Я рассказал, чей я сын. Они знаете, что сказали? Они сказали: о-о-о! Сказали: снимаем шляпы перед таким человеком! А я собрал двоюродных сестер, — он гостеприимно очертил руками окружность, — и сказал: бабоньки, а все-таки я у вас главный, я глава клана! А они, — он выпучил глаза, — перестали со мной разговаривать!

Так она хранит конверты... Письма... Все, что подлинное осталось от Дмитрия Цурко, от самой себя, от Таси Петровой, неизвестное правдивое что-то, и не показыва-

ет никому, но, как любил повторять следователь по особо важным делам прокуратуры Советского Союза Александр Шпеер, нет ничего страшнее машины дознания. Особенно когда надо убедить человека расстаться с неотъемлемой частью собственной жизни (я зажег маленький свет, на который вылезли погреться обе ручные руки в синеватых жилах, мозолистых буграх и редкой шерсти. Почитаем).

9 апреля. Москва

Голубчик мой милый, вчера я пришел домой растаявшим от нежности к Вам (*они пока еще ходят на свидания*). Ни читать, ни работать я не стал, а завалился спать и, прежде чем уснуть, вспоминал Вас, Ваше милое, дорогое лицо и пожалел, что мало пробыл с Вами. Целую Вас нежно, моя милая и родная. Скучаю без Вас каждую минуту. Ваш Д.

20 апреля. Москва

Меня иногда подолгу одолевают мучительные колебания по поводу наших отношений (*так всегда и бывает*). Это не колебания неуверенности или малодушия, это понимание того (*хочется бросить и страшно потерять*), что если бы нам почему-либо пришлось расстаться, то мне пришлось бы затратить на это слишком много душевных сил. Но я совершенно не хочу, чтобы так случилось.

Все лучшее, что осталось во мне, — все это Ваше и принадлежит Вам полностью (*вот все и сказал*).

24 мая. Сочи

Если бы ты сейчас была здесь — твоей целомудренности угрожала бы большая опасность (*уехал в санаторий, не сказав главных слов, хорошее питание, жаркие постели, хочется трахаться, а кажется: разгорается любовь — и ты наряжаешь ее, как елку, своими придумками...*). Прижать тебя всю, всю к себе, целовать твой рот, твою ми-

лую, милую, милую, милую нежную грудь (*все показала перед отъездом, застолбила участок*), смотреть в твое побледневшее лицо, в потемневшие глаза, чувствовать тебя, как часть самого себя, тысячу раз перецеловать твои маленькие розовые уши, шею, глаза...

К моменту получения этого письма ты уже, вероятно, была у врача, да и двадцать пятый день уже пройдет к этому времени (*и даже так! хитрая девка...*) — жду от тебя самых подробных сообщений...

26 мая. Сочи

Дорогая моя Валюша!

Если ты бросишь меня, я уже никогда не смогу полюбить кого-нибудь так же, как тебя (*обезумел*).

P.S. Меня вдруг пронзила дикая ревнивая мысль: ты написала, что верна мне потому, что очень устаешь и нигде не бываешь. И ни слова не сказала, что верна мне потому, что любишь (*а кому ты писал? ты писал самому себе!*). Я бросился к своим письмам, перечел их и не нашел ни слова о том, что любишь меня. Только раз ты называешь меня любимым и один раз говоришь «хочется любить тебя» — а хочется обычно того, чего нет. Вот это здорово! А я расписываюсь в своих *чувствах!* Помоги мне разобраться в этом.

28 мая. Сочи

Ничего я не хочу больше, чем говорить с тобой, целовать, гладить твои волосы и опять целовать и целовать тебя. Мы с тобой шли бы к морю слушать прибой или в горы — там масса зелени, цветов, пахнет свежим сеном, летают светлячки — ты подумай только, радость моя (*сорок лет, красный командир, как же любил он Петрову! что говорил ей молодым еще голосом в китайских стенах и полупустынях, в садике при посольстве, на теннисных кортах — и как быстро надоел!*), бродить с тобой по этим местам, держать за руку.

Как странно сложилась наша любовь (*встала и пошла за ним в комнату*), Валюша!

Сначала простая заинтересованность, потом поцелуи, они пришли раньше влюбленности (*Уложила... Не надо так говорить, пожалуйста, вдруг из тьмы сказала секретарша, Боря, или пускай идет отсюда на хрен или молчит*), потом все растущее чувство (за себя, во всяком случае, ручаюсь) — я так тоскую без тебя.

Целую тебя от всего сердца, твой Д.

P.S. Извини, что пишу мелко. Нет бумаги, этот лист я опять вырвал из книги.

29 мая. Сочи

Дорогая Валюша! Я не считаю, конечно, что на всякую фразу в моих письмах ты должна отвечать. Но вопросом может считаться и фраза, которая не заканчивается вопросительным знаком. В моих письмах был один, если не бояться громких выражений, крик души, и не услышать от тебя ни слова в ответ было бы немного грустно (*вот ты и задумался первый раз о причинах ее глухоты...*).

Насел фоторепортер ТАСС, обещал тиснуть в местную газету «орденоносцев на отдыхе». Между прочим — при съемках наши девушки (я сидел на лестнице ниже них) заявили, что у меня голова седая и что я уже старик. Поздравляю тебя с выбором!

Местный прекрасный пол считает меня «очень интересным», а две представительницы его готовы хоть сейчас пасть жертвами моей страсти (одна очень недурна — голубоглазая, блондинка с рельефным бюстом и осиной талией (*вот и трахал бы ее, вот бы и трахал, а теперь она старуха или сдохла давно!*)), но я — ноль внимания, и никого мне не надо, кроме дорогой, славной Валюши, которую люблю и за редкие письма которой так сержусь.

Твой Д.Ц.

1 июня. Сочи

Дорогая и родная моя Валюша (*вломила за «осиную талию» и «рельефный бюст»?*)! Будем помнить только одно — мы любим друг друга, мы будем жить вместе (*готов, и с ужасом будешь ждать ответа*) и никогда не будем разлучаться.

Прости, что причинил тебе страдания, не со зла, не умышленно... иногда не справляются мои нервы и выбивают из колеи.

2 июня. Сочи

Валюша, я не понимаю, получила ли ты мое письмо, в котором я вполне определенно предлагаю тебе «руку и сердце» (*она не врубилась!*) и открываю тебе двери моей скромной обители (*не поймет, для нее ваша квартира — хоромы!*)?

Глупая ты моя (*второй проблеск сознания*), дорогая дурочка, имей обыкновение отвечать хоть на некоторые самые конкретные мои вопросы.

Целую и обнимаю родную подруженьку 10000000000000000000000000000000 (*двадцать шесть нолей*) раз и не плачь больше, родная моя. Читая твоё художественное описание всхлипываний, я чуть было сам не пустил слезу! Если б ты знала, Валя, какого сентиментального идиота ты выбрала себе в спутники жизни!

Заботиться о тебе для меня непреодолимая потребность. Когда я получил твоё пресловутое письмо об ожиданиях, я все время жил под впечатлением его! Твоя фраза о том, что быть в этом положении тебе трудно без меня, показалась какой-то особенно трогательной и милой (*любой другой заметил бы шантаж*).

3 июня. Сочи

Так вот, прелестное дитя мое, время скачет семимильными шагами (*читает западный роман и обезьянничает интонацию, как всякая впечатлительная натура*), через

семь дней я уже выезжаю отсюда в Москву для того, чтобы отнять у тебя всю нежность и ласку, которые живут в твоём сердце двадцатилетней влюбленной (*понеслось*). Ты, которой скоро будет принадлежать милое имя жены моей, никогда не должна отрекаться от нежной страсти Возлюбленной (я знаю, ты не любишь слово – любовница (*еще бы, только замуж*), пусть даже с большой буквы), ибо та жена, которая в объятьях мужа не кипит сама этой страстью и не рождает в нём её, скоро увидит, как тухнет и гаснет ни с чем не сравнимая радость обладания любимым.

Будет ли у нас так, что даже одно воспоминание о таких днях, месяцах, годах будет озарять нашу дальнейшую жизнь?

Жизнь ужасно жестока в своей прямолинейности: разве ты можешь с уверенностью сказать, что, когда придет время, которое со всей несомненностью сделает меня раньше, чем тебя (разве это будет странным при нашей разнице в годах?), увы, безоружным (*вот о чем ты задумался, меняя свою судьбу*), ты, молодая женщина, примиришься с этим и не будешь искать тайно или явно где-то на стороне того, для чего все мы живем (*вот они, книжки Коллонтай о крылатом Эросе*), без чего нет этой жизни? Разве я сам, мучаясь и страдая от этого, найду в себе жестокость отказать тебе в понимании (*хочется ему услышать: так никогда не случится, любимый!*)? Разве я сам, с другой стороны, найду в себе силы примириться с этим и разве я могу быть спокойным, видя, что ты во имя какого-то долга (*«какого-то долга!» Кто тебя этому научил – книги о свободной любви, революция, Тася Петрова?*) сдерживаешь себя и тоже страдаешь от этого?

А иногда я не могу отделаться от первых смутных впечатлений о тебе – ты представляешься мне очень трезвой (*ну, наконец-то!*), слегка сухой, и я, где-то в глубине души, в смущении чувствую, что не знаю тебя.

7 июня. Сочи

Ты пока еще не очень часто рассыпала передо мной перлы своей мудрости (*выглядишь конченой дурой*), но я в достаточной мере верю своей интуиции, чтобы видеть: это для тебя вовсе не было бы безуспешным. Нет, я определенно не имею оснований роптать на свой выбор – бог миловал, ибо может быть хуже: всю жизнь прожить бок о бок с круглой дурой (*все, что тебе предстоит!*).

Я писал о том, что хочу перетащить тебя жить к себе, а ты молчишь (*что-то там про «скромную обитель»?* *Она это пропустила, ей нужна полная ясность: когда перевозить вещи? какой шифоньер ее?*). Изучаешь вопрос? Но ведь «официальную информацию» ты уже получила от меня! (Не сердись, голубчик мой, это ведь шутка. Я боюсь теперь тебя (*это только начало, гнуть будет через колено!*)).

Мне так радостно представлять свою комнату с тобой: ты будешь спать на моей кровати, а я на диване (буду ждать, однако, приглашений в гости), я очищу тебе место для работы на своем столе, ящики в нем – для тебя, шифоньерка вообще будет в твоём распоряжении, а твои платья я повешу в шкаф рядом с костюмами и буду умиляться, глядя на них. Командуй в комнате всю (*да она разменяет вашу квартиру, разгонит семью*): переставляй и передвигай, используя меня как грубую физическую силу. И изгоняй из комнаты ее несомненный мужской дух.

28 июня. (*съездил в Москву, сошелся и – к месту назначения.*) *Неопределенное место*

Пишу тебе во время небольшого перерыва в полевых занятиях. Лежу в тени вишен на берегу озера в типичном украинском «садожке». Греет солнце, чуть дует ветер, глаза слипаются от желания заснуть, кругом зелень, цветы и прочая благодать. Часто вспоминаю тебя, мой голубчик. Уже соскучился по тебе. Не думай, пожалуй-

ста, что я забыл тебя и изменился в своем отношении к тебе.

17 ноября. Западная Белоруссия (армия вступила на землю, что называлась Восточной Польшей)

Очень рад, что Валентин Платонович (*кто это?*) внимателен к тебе. Вот тебе случай оказать ему услугу: сообщи о моем скором приезде в Москву на 10–12 дней. Будешь писать, постарайся обойтись без ошибок – орфографических, грамматических и др., дура ты моя, неграмотная и дорогая (*а кто же проверял ее прежние письма? грамотная подруга? соседка-учительница?*)!

Не издевайся над покупкой для тебя туфель №38. Я их не покупал, а мне они достались из трофейного имущества, причем к моему приходу осталась только одна пара №38. До сих пор не был еще в Брест-Литовске. Может быть, завтра там буду и куплю что-нибудь из того, что ты хочешь (*прислала список*).

Прошло еще два месяца.

18 января. Новозыбков

Обязательно сходи к врачам (*игра сделана, она беременна*) и с исчерпывающей подробностью напиши мне об этом.

Хотел написать сегодня всем – Тасе (*вот она появилась, пишет бывшей жене до сих пор*), Пете, Валентину Платоновичу (*да кто это? глянуть в Интернете всех Валентинов Платоновичей, нет никого*), но в комнате так холодно, что просто не могу – пишу и дую на озябшие пальцы. Береги себя – ты обязательно должна родить мне чудо-сына.

23 января. Новозыбков

Проснулся я рано, разбуженный радио (живу в одной из комнат нашего клуба), играли Шопена, негромко и с

душой – так приятно было слушать знакомую вещь. Во время болезненного состояния как-то особенно текут мысли. Днем, когда от меня ушли люди, я встал с постели и подошел к окну. По странной ассоциации я вдруг вспомнил тебя (помнишь нашу маленькую ссору в Кобрине), когда ты, уткнувшись лицом в печку, плакала?

Господи, Валюша, какой острой жалостью, какой бесконечной нежностью к тебе наполнился я вдруг. Я вынул твою карточку, стал смотреть на нее и вслух говорить: моя дорогая Валюша, моя милая жена.

Извини за почерк – пишу лежа в постели. Всем привет. Каждому (*и Тасе*) хотел написать, но днем мешали, а сейчас устал и разболелась голова.

29 января. Новозыбков

Моя родная, любимая жена. Как ясно я вижу всю твою чистоту, душевное благородство, порядочность (*дома, в родной квартире начинаются неясные движения, незарегистрированная жена закрепилась на плацдарме долгожданной беременностью и готовит решающее наступление – по всем направлениям прошлого и настоящего сразу; все ощетинились, а я, бедная сирота, теперь одна...*), я очень-очень ценю тебя. Ты такая бескорыстная, скромная, благожелательная, что многие могут тебе позавидовать.

6 февраля. Новозыбков

Где ты живешь сейчас? Я так понимаю тебя, когда ты пишешь, что тебе тяжело у нас одной (*артиллерия – в бой!*), и так мне больно и грустно за тебя...

Я вижу и чувствую (*в каждом письме беременная женщина хвалит себя, святая посреди волчьей стаи*) всю твою чистоту и преданность, мне дороги твои бескорыщность, честность, твоя милая, доверчивая и доброжелательная душа. Все мои прошлые сомнения (*когда еще не ослеп*) давно и навсегда оставили меня.

Как часто я думаю о будущем нашем дорогом малыше, и такая радость охватывает меня при мыслях, что есть мне теперь кому отдать свою дружбу, любовь, нежность (*а вот и слюни*), я больше не одинок, и у меня есть своя личная жизнь, я кому-то нужен и дорог, есть у меня мой (*а будут и мои*) близкий, родной и любимый человек.

Мне представляется раннее летнее утро в Москве; я иду по улицам спящего города, никого нет, в воздухе тишина и спокойствие — ни трамваев, ни пешеходов, солнце еще не всходило, но уже светло, тишина и покой. Я перехожу Большой Каменный мост (*вот еще одна стрелка, движемся правильно*) над дымящейся Москва-рекой — пахнет листьями от бульваров, от реки тянет свежестью, блестит политый асфальт на мостовой, — вхожу домой, открываю дверь в нашу комнату; в нее через закрытые занавески уже проглядывает свет, какой-то невыразимо милый, чистый аромат, который присущ детским, наполняет ее... В кровати (на месте стола около тахты) спит маленький белоголовый сынишка — закинув сжатые маленькие кулачки на подушку, на большой кровати спишь ты — оба вы дышите ровно, спокойно: в комнате мир — помнишь чью-то песенку? «...в голубой далекой спальне ваш ребенок опочил; тихо вылез карлик маленький и часы остановил»?

Письма мне никто не шлет и я никому не пишу, кроме тебя. Никак не соберусь ответить Ираидушке. Скажи ей, что я скоро напишу. У нас настали холода, а сегодня сыро. Поцелуй за меня Васеньку и Ираидушку, я их, дорогих дурачков, очень люблю.

Привет всем.

16 февраля. Новозыбков

В нашу годовщину (11-го) — первую (*всего лишь год!*) (но ведь не последнюю?) обнимаю тебя. Память об этом дне и о другом дне, записанном на кровати, всегда живет во мне.

Обидно и грустно мне читать то (*бьет все в одну точку*), что пишешь о Тасе и Пете. Тася очень сухой (*что я говорил, восклицает Боря*) и не очень притязательный человек. Петя беззаботен и невнимателен, а я для них и для детей сделал очень много и всегда по искреннему влечению сердца. Я не думаю, что они так ведут себя из-за плохого отношения к тебе. Но обидно, что они настолько невнимательны. Я так никогда не вел себя по отношению к ним. Но это скоро кончится.

20 апреля. Новозыбков

Я часто представляю нашего сынишку в том возрасте, когда дети уже начинают ходить. Он, по-зимнему одетый для гулянья, толстый, неповоротливый, с растопыренными от накрученных на него одежд руками, стоит, прислонившись спиной и головой к спинке кровати и со смущением смотрит на Васю (*еще не дебил*) — тот стоит рядом и тоже смотрит.

Как он бежит по комнате, хватая тебя за юбку, бормочет что-то вроде «мама», а сам, дурачок, всего-то ростом до твоих колен, как же я тоскую по вам... Как надоело мне болтаться все время одному!

24 апреля. Новозыбков

Меня глубоко растрогали твои слова о том, что, несмотря на плохое отношение к Тасе, ты хорошо относишься к Ираиде и Васе — да я это и сам видел. Спасибо тебе, моя Валюша, этим ты облегчила мне сердце — оно всегда беспокоится за них, моих дорогих дурачков, и показала благородство и чистоту твоего сердца, чуждого мелочным счетам и черствости. Больше всего я всегда буду любить своего ребенка и тебя, но Вася и Ираида (а особенно Ираида) (*особенно Ираида...*) много места занимают в моем сердце (*это она тебе очень скоро припомнит!*).

Тася написала мне одно письмо. Что же ты ищешь простое слово в Большой советской энциклопедии?

Терапия — значит лечение (*что ты там когда-то писал про круглую дуру? Кому ты писал про Стендаля, офицера французской конницы*).

29 апреля. Новозыбков

Валюша моя, стоит ли повторять (*получил за Ираиду и Васю?*), что тебя и детеныша нашего я всегда буду любить больше всех? Детка, не нервничай, вся жизнь моя сосредоточена в будущем младенце — могу ли я любить его меньше кого-нибудь?

Я люблю Ираиду и Васю, Ираиду особенно, ибо она скрасила многие годы моего тяжелого одиночества; и я буду ее любить (*еще не все отдал, цепляется еще*), но разве это значит, что мой ребенок, моя плоть и кровь — будет для меня на втором плане?

9 июня. Новозыбков (на роды клиент не попадает, отпуска отменены, армия готовится к вторжению в Прибалтику)

Родная моя, помни всегда, что ты и Саша — самые любимые, самые близкие люди мне на свете. Я тоскую по вас, моим дорогим и ненаглядным. Я люблю тебя, мой дорогой дружок, и люблю Сашеньку, моего долгожданного дорогого сынишку. Вы оба — вся моя жизнь.

19 июня. Прибалтика

Вчера прошли по европейским улицам Вильно, и вновь русская военная песня огласила улицы города. А сейчас, в литовском лесу, наш оркестр играет танго и «Сирень цветет» — и на сердце сладко и грустно.

28 июля. Новозыбков

Несколько раз перечитывал твое последнее письмо — господи, Валюша, если бы ты всегда так писала! Так ты видна по-настоящему в этом письме — без упреков, без нытья, без стонов (*а обычно упреки, нытье и стоны*). Ведь

все это не твой стиль! И ты, когда пишешь так, как и следует писать, такая милая, привлекательная, хорошая (*а обычно ты тошнотворная, злобная...*) — радость читать такие письма.

Мне кажется, что, когда Сашенька вырастет, он будет называть тебя «мамуленька», а меня «папуля». Конечно (*нрзб*), каким он будет сейчас, тем более это (*нрзб*) потому, что за всяким предположением будет скрыто (*нрзб*) чтобы он был таким, как хочется. Важно, чтобы он не был таким глупым, как мама! Да?

29 июля. Новозыбков

Сегодня получил днем твою посылку. Спасибо тебе за нее. Все получил, как и просил. Когда я нес ее к себе домой, я думал: «Что стоило бы написать мне и вложить письмо в ящик? Впрочем, не напишет. В прошлых посылках тоже не было писем». Когда же я увидел, что мыло завернуто в какую-то писанинку, я подумал с удивлением и нежностью: «Написала все-таки!» А когда увидел, что там написано только «крепко целую, Валя», я не удержался и сказал: «Эх, дура Валька!»

Вот ты, значит, дура. Целую тебя еще раз, моя дорогая дурочка.

9 сентября. Новозыбков

Насчет домработницы я согласен с тобой, надо подождать до моего приезда. Что же касается «девчонки», то в том, может, и есть свой резон, но и она не сможет готовить обед, и тебе придется самой заниматься этим, что вряд ли интересно. Кстати, Валюша (не сердись только — это я говорю, что называется, любя), не совсем мне нравится тон твоих слов о «девчонке»: «можно выругать», «можно выгнать» — все это как-то неприятно звучит. Я понимаю, что это просто манера выражаться (*какая на хрен манера, это ее суть!*), что среди этих девчонок есть и лентяйки, но сам тон меня

как-то огорчил — какой-то он непростой, так могла бы сказать «старая барыня на вате»!

Почему-то я подумал, что если бы были живы папа и мама, они никому не позволили относиться к тебе так, как относится Тася.

13 ноября. Речица (клиент после отпуска вернулся к месту прохождения)

Дорогой Петя, пишу тебе по тому же вопросу, по которому мы беседовали с тобой перед моим отъездом. Дома у нас происходит отвратительная взаимогрызня, и в этом смысле я имею к тебе большую претензию. События развиваются столь скандальным образом потому, что ты самоустранился и не сказал своего слова, которое должно было прозвучать решающим образом.

Я не хочу разбирать ни истории, ни психологии этой старой распри, которая идет между Валею и Тасей. Правоту или неправоту сторон в данном случае определяет не то, кто первым наступил другому на мозоль (хотя я не сомневаюсь, что пальма первенства принадлежит Тасе). Все — от давнишней и обоюдной антипатии двух сторон друг к другу, ломать голову не над чем.

Дело не в том, кто виноват, я собрался написать тебе по совершенно другим поводам.

Первый повод — это моя претензия к тебе за то, что ты властным и жестким словом не стал хозяином положения и позволил страстям развиваться. Второй повод несколько сложнее, и понять его можно, так сказать, в исторической перспективе.

На мою лично долю выпадает одно — выбирать, с кем я в этой междоусобице. Вовсе не обязательно идти одним из двух путей: или с Валею, или с Тасей, однако я должен признаться тебе, Петя, со всею горечью и душевной болью, что я близок к тому варианту, который предполагает полный переход на сторону Вали вплоть до окончательного навсегда разрыва с вами. Я еще не встал на этот

путь, я только близок к нему, но близость эта очень велика. Причина — в вас самих. Я буду говорить сейчас о том, о чем можно говорить (если можно) только раз в жизни, в минуту откровенности, которая не дается легко (*так, тихо! дайте ему сказать!*).

Я говорю это, Петя, пройдя через большие душевные мучения, которые начисляются годами, и немалыми. К своим сорока годам я настолько много испытал, настолько вырос и закалил себя, что правота того, о чем я сейчас буду говорить, — для меня несомненна.

Я считаю, я бесконечно уверен, что душевно я всеми вами (в основном — тобой и Тасей) обобран, обкраден до нитки. Мной не руководит склонность к преувеличению — над этим выражением я давно и долго думал, с ним я сжился давно. Всю свою жизнь я проходил среди вас одиноким и для вас самих не... (*тут старуха вымарала ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СТРОКИ!!!*) ...и поняла ли Тася во всей своей жалкой мелочности, какую бесконечную боль доставила мне (шедшему в свое время пусть на невольный, но все-таки конфликт с мамой из-за Ираиды (*да что там с Ираидой?*)), всю любовь отдавшему ее дочери, да и сыну, тем, что в ответ на Валины упреки Ираиде, что она не пишет мне, выносившему ее на руках, Ираида ответила: «А кто ему велел? Его никто не просил!»

Горькие слова эти — не Ираидины, она подхватила их в общих настроениях домашней склоки, с детской чуткостью она поняла направление симпатий и антипатий. А кто знает, что для меня значила и продолжает значить Ираида (*вот опять*), поймет мои чувства при этом известии.

Я вспоминаю, как в редкие и теперь непонятные для меня минуты душевного «просветления» Тася плача целовала мне руки, говорила: ты святой. А теперь, в знак понимания того, что я делал (если не считать, что дело — это только то, за что платят) для ее детей — и в момент тяжелых болезней Ираиды, и в момент Тасиной тяжелой

одиноким беременностью, и после рождения Васи, — оказала Тася хоть миллионную долю — я не говорю любви — а просто внимания моему сыну? Нет, ей руководит отвращение к Вале, самой ей никогда не понять, что я тоже особых симпатий не чувствовал к Вендту, однако ни сын его, ни сама Тася не почувствовали этого.

Слишком много горечи накопили все прошедшие годы — чего стоит отказ нам с тобой от еды дома, Тасина скупость на всякие мелочи вплоть до ваксы и т. д. Да ты и сам никогда особенно не блистал проявлением интереса и чуткости ко мне.

Увлеченный ходом своей жизни, ты не очень часто думал обо мне: бывали случаи, что ты считал меня бра-том-неудачником.

Были тяжелые для меня морально, физически и материально годы моего комвзводства. Ты и Тася, живя то в Москве, то в Лондоне, мало замечали меня. Тасю раздражала моя «солдатская грубость», это раздражение она могла показать в обществе, я для тебя проходил стороной. Был я не особенно хорошо одет, жил самостоятельной штюпкой — помню горький случай, когда ты приехал из Лондона на короткое время и опять скоро уехал, но чемоданы с костюмами и бельем не оставил дома, а сдал на хранение тете Соне — там надежнее! У тебя даже и мысли не было помочь мне одеться. Разве я так же отнесся к тебе, когда ты очутился в таком же положении, остался без работы? Я сказал: мои вещи — твои.

Теперь у меня есть жена и сын, живу я невольно на две квартиры, что очень дорого, ты сейчас получаешь, наверное, не меньше меня — разве ты вспомнил, что пора выкупать заложенные тобой мои облигации? Разве ты предложил мне не платить за квартиру в Москве — ведь я полтора года твоего пребывания в Батуме не возлагал на тебя подобных тяжестей?

Все страшным образом соединились единым фронтом против Вали, у всех моя жена не в почете. «Граж-

данская война» дома привела к тому, что я без боли в сердце не могу думать о московских делах, перестал спать, похудел — измучился до последней степени.

Но я ставлю перед собой весь этот вопрос в следующем разрезе: только за отношение к твоей дочери и обоим Тасиным детям вы оба должны, обязаны были идти на многое, даже на уступки, чтобы создать нормальные моральные условия жизни моей жене и моему ребенку. К этому вас обязывает чувство долга перед своей честью и передо мной. Если вы это не можете и не хотите делать (пусть даже Валя во многом виновата, пусть она сама во многом была бестактна), совместная жизнь Вали и Таси невозможна. Раз так — я целиком перехожу на сторону Вали. Потому, что она моя жена и мать моего сына. Потому, что судьей ее качеств и ее отношения ко мне могу быть только я сам. Потому, что она дала мне и любовь, и внимание, и ласку, и заботу, и понимание. Потому, что всего этого я от вас никогда не получал и не получаю. Потому, что с вами я опять буду (нрзб) одинок.

Если вы не хотите, чтобы все это случилось, сломите себя и создайте немедленный перелом в отношениях и обязательно со знаками внешнего внимания к Вале (вот как требует она!). Я считаю, что вы оба — неоплатные должники передо мной. Если ж для вас этот путь неприемлем — будем расходиться. Я окончательно измучился в тревогах за наш дом и его жизнь, я стал больным человеком. Мои привязанности останутся к вам неизменными, но тогда я пойму, что оплатить мои счета вам нечем.

Вот что я хотел сказать тебе, Петя. Доведи об этом до сведения Таси и всех, кого хочешь, и ответь мне. Я очень устал, сейчас поздно: м. б. я (зачеркнуто старухой, никаких там «м. б.» — все именно так!!!).

Привет всем. Митя.

Июль 1941 года. Могилев (внимание, последнее письмо от живого)

Я был в боях и опасности, но сейчас благополучен и вне опасности.

У нас еще нет своего почтового адреса, не могу сообщить тебе, куда писать. Я очень сожалею об этом, т. к. тревожусь за тебя и Сашеньку, не имея о вас известий.

Родная ты моя Валюша, я тебя люблю всей душой и бесконечно тревожусь за тебя и Сашеньку. Вы самые дорогие и близкие мне люди, жизни без которых я себе не представляю.

Как внезапно началась эта война, которая разлучила нас. Я утешаю себя мыслью, что на случай необходимости в Москве есть кому помочь и поддержать тебя. Помни и думай обо мне, моя родная, напоминай обо мне Сашеньке, научи его говорить «папа». Целую и обнимаю вас крепко, мои любимые и дорогие. Ваш Д.

Всем большой привет.

Сквозь мое законное отражение проезжали ночные машины, секретарша тихо плакала:

— Ужасно жалко его... всю жизнь один. Никому не нужен! Он так ее любил. Ему некого больше любить. Ему никого больше не досталось. — И высохла. — Зачем вам это? Вы не сделаете ему ничего плохого? Отпустите его! Его все и так мучили...

Выгнать ее!.. Ну, Гольцман... У нас не богадельня, все получают зарплату!

— Кроме того, что на поверхности, — Гольцман говорил не мне — секретарше, — обращает на себя внимание одна деталь. В письме брату он ни разу не пишет про Ираиду «твоя дочь». Видите, как он выразился — «отношение к твоей дочери и обоим Тасиным детям». Получается, «твоя дочь» — это Мария, внебрачная, а Ираида тогда... — и он обиженно ссутулился.

Благодарю, интересно, да какая на хрен разница, с кем еще трахалась Петрова и кто на самом деле зачал первую внучку советского правительства.

— Что вы с этим делаете? — Ко мне секретарша вопросов никогда не имела.

— Ну, хорошо. — Боря отечески подсел к ней и попытался поймать девичью заплаканную руку. — Раз тебе скоро лететь в Лондон, я объясню, как мы рабо-отаем, — убаюкивал он, — как у нас так все хорошо получа-ается. Ты тоже этому нау-учишься, для этого необязательно много двигаться — мы имеем дело с мертвыми...

Конечно, они умерли. Но в нашем предприятии более сильной позицией является то, что они существовали *на самом деле*. Хотя в это обыкновенному человеку невозможно поверить. Решим вместе какой-нибудь простой пример на сложение. Какой-нибудь без ответа. А, ну вот: задержанная Анастасия Петрова. По отцу она Флам, огонь. Замуж вышла за Цурко. Почему же она Петрова? Давай решать? Петров. В наборе Большого Каменного моста нет человека с такой фамилией. Но есть человек по имени Петр! Редчайшей привлекательности девушка девятнадцати лет вернулась с польского фронта — мы не взяли Варшаву, это вопрос будущего — и сразу оказалась стенографисткой товарища Войкова Петра, партийная кличка Петрусь. Ему тридцать два, красавец, учился в Женеве, в Россию прибыл с Лениным в том самом оп-ломбированном вагоне, член коллегии Наркомвнешторга — могла она его пропустить? Ясно, нет. Прибавь все, что мы знаем про Тасю, — могла она еще и полюбить Войкова? Да стопроцентно! Могла ли она взять русский псевдоним вместо еврейской фамилии отца и дворянской фамилии матери? Конечно! Все так делали. Вот она и стала Петровой в память о любимом Войкове, когда его убили в Польше.

Я чуть не рассмеялся: вот урод.

— Еще не все! Войков отметился в председателях городской думы Екатеринбурга — ты понимаешь, он уча-

ствовал в убийстве императорской семьи! Он же химик, вот и достал кислоту для растворения останков. И, кстати, я вот сейчас вспомнил — по свидетельствам очевидцев, он-то и снял с пальца императрицы знаменитый перстень. Мог ли он подарить его любимой девушке?..

— Не надо впутывать императорскую семью!

Боря взглянул на меня, как на скота, и продолжил таинственным шепотом:

— А скажи-ка, мне кажется или кто-то еще из задержанных касался венценосных жертв большевистского террора?

— Дмитрий.

— Умница! Дмитрий Цурко охранял императорскую семью в составе отряда чекиста Яковлева, а может, кто знает, и участвовал в казни. Но одно знаем точно: Войков и Дмитрий хорошо знакомы, Войков с восемнадцатого года работал в наркомате продовольствия с Цурко-отцом, и Тася — наверное! — познакомилась с Дмитрием не в Китае, а еще в Москве, ее передали из рук в руки. Именно Войков отправил в Пекин сперва ее, а через три месяца вдогонку — Дмитрия. Сравни анкеты — там же все ясно! Скорее всего, я убежден — Войков избавлялся... От девушки, назвавшейся твоим именем, жди чего угодно! А для верности заслал следом влюбленного в Тасю сентиментального Диму... А если учесть, что вот этот, — Боря ткнул пальцем в мою сторону, — проживает на станции «Войковская», улица Новопетровская, 14, то вот все и сложилось. А? Что ж молчите? Вы должны сказать, что ничего не поняли, — и Боря расхохотался.

...На вечер купил диск «Желтая Эммануэль», и зря, — чуть ли не шестидесятых годов, знаменитая впоследствии блондинка Илона Сталер, еще с собственными скромными грудями и черной копной внизу, совокупления показывают сквозь плохо прозрачные занавески или садовые решетки; худая китаянка лежит на пожилom парне и шепчет: «Люби меня, Джорджи! Всей силой

любви», — а когда он уснул, вспорола себе живот и опять улеглась сверху. Лучше б взял «Медсестры-скромницы» с негротянками и трансами!

Фамилии-отчества

Лет по семьдесят — живы ли мальчики? Прожили своё в тени отцов, никто не знает их норок. Я расставил на столешнице восемь оловянных фигурок.

Отцов семь. Барабанов — почти ничего, даже инициалов, «сидел в приемной Анастаса Ивановича Микояна», «очень живой», полный, невысокого роста, добрый малый и протак, нуль, по Ххххххх — можно собрать книжную полку. Станислав Реденс, сын сапожника из Западного края, комиссар государственной безопасности 1 ранга, легендарный племянник Дзержинского, женился на доброй Анне Сергеевне, старшей сестре императорской супруги самоубийцы Нади. Реденс обедал с императором в семейном кругу, губил людей во имя... Крымские зачистки, голод на Украине, подписи, утверждающие многотысячные смерти в Белоруссии; по приказу времени стал польским шпионом и 12 февраля получил свое в том лучшем виде, что доставался лишь генералам и вождям: из камеры во двор внутренней тюрьмы, выезд в «черном воронке» на Малую Лубянку, и через площадь Дзержинского (говорили, кстати, что Дзержинский скончался у Реденса на руках) до Ильинки, во двор страшного дома 23 (рядом с аптекой); по черной лестнице конвейер подымал их на второй этаж на бессонные глаза Военной коллегии Верховного суда Советского Союза — ровно на столько секунд, чтобы послушать приговор, — по лестнице их направляли в подвал, и дежурный комендант стрелял в затылок.

С правой, еще теплой, поджатой ноги снимали обувь и на большой палец бечевкой приматывали фанерную

бирку с номером, намалеванным чернильным карандашом (есть ли сейчас химические карандаши? в моем прошлом они существовали), — имя больше не требовалось. Жена Реденса — прошло несколько лет — отправилась в ссылку терять рассудок, младший сын написал книгу о величии императора и засилье сионистов, а со старшим, Леонидом, мы еще сыграем в «поищем и найдем».

Что мы знаем про Петра Ивановича Кирпичникова, зама члена ГКО «по вопросам вооружений», заместителя Берии? Присвоил «хорьх» немецкого посла Шуленбурга, сына назвал в честь Дзержинского — Феликс; мог ли зам, мошка просить Берию за сына? Или спросить: что хоть там натворил мой оболтус? Нет, молчал, страдал и ждал, как бы самого не убили в этом перевертыше. Обычно сперва — родителей, а потом детей, а здесь отцы готовились следом, лежали на бессонных ложах: что он там, наш, наговорит...

Предатель, гад, перебежчик Резун, подписавший свои книги «Суворов», с ненавистью проследил биографию «Руды» — Рафаэла Павловича Хмельницкого с баснословными подробностями — сам Руда врал или сын Артемчик, первый фантазер школы 175? С древности адьютант наркома Ворошилова «по особым поручениям», получил в подарок от императора (вот оно!) «парабеллум» с гравировкой «*Моему другу Руде от Сталина*» и восьмиместный «паккард». Повредив хребет (с Ворошиловым спасался от бомбежки на дрезине), Хмельницкий покинул фронт и развернул в парке имени Горького выставку образцов трофейного оружия, взяв в руки душепогубительное распределение легковых автомобилей побежденных армий. Сына опознали среди живых музейные старухи Дома правительства — семидесятилетний Артемчик кричал: где моя фамилия на мраморной доске жильцов — жертв сталинского произвола (за что же ты сидел, Артем?). Мог ли Руда просить Ворошилова? Маршал — единственный, кто говорил императору «ты»,

остальных давно убили. Но конница Ворошилова с пиками молодецки полегла еще в финскую, Ленинград и Волховский фронт умножили позор маршала на десять, ему, чтобы не расстрелять перед строем с оторванными погонами, выделили должность тыловой крысы. Стал бы он скрестись: «Коба...» ради...

Мог Бакулев? Главный хирург; уроженец села Успенское сидел за одной партой и пел в церковном хоре с Поскребышевым, тенью императора; за бильярдным столом подружился с коммунистическими аристократами: начальником тыла Хрулевым, адмиралом Кузнецовым, Василием Сталиным да Власиком, воеводой императорской охраны, — было к кому постучаться... Наверное, да. Но все-таки — *нет*. Кто он такой? Врач, холуй, врачей хватает, какая могла быть признательность за вчерашние истории болезней, он по жизни обязан... Нет, папа Бакулев не стучался и не кашлял в смущении в сенях... Что у нас на него? Удержался от вступления в партию (а то «сделаете из меня министра»), третья хирургия Третьей градской, в молодости жил бедно, подрабатывал игрой на бильярде в трактирах, сын спал в бельевой корзине — где он?

Микоян — и только — что-то мог, глубокой ночью, в императорском кабинете, улучив... после «обсуждений», отточив за месяц страданий, стерилизовав, отпарив, обескровив, высушив, перебрав на свету, откатав до бисерной сухости смертельно опасные слова, произнести задрожавшими... отец! один мой сын полег под Сталинградом, и двое — в тюрьме, школьники, Иосиф Виссарионович, ученики, восьми- и шестиклассник... Спросить (просить он не мог) спросил, что-то ему ответили, но вряд ли кого-то спас, а только показал: я слаб, железный не весь, еще есть во мне... живое. Как там сказал купленный нами в ФСБ? Если дело открыть, *Кавказ взвлет* — вот про кого, уголок мозаики готов, все камешки легли на место.

На полях бесчисленных воспоминаний микояновского клана лишь однажды мелькнул черный плащ: «Дети пошли гулять на речку. И не вернулись. Так Берия мстил Микояну», — и замолчали. Хотя при Хрущеве бы и развить, и вовсе бы уже вывернуться в последние царствования, когда верхние конечности Микояна по локти окунули в кровь. Тут бы сыновьям и сказать: это неправда! папа не виноват! Ведь и мы — как это? — испили в составе народа, так сказать, из этой... и нас, короче, не обошло! нас, даже малых детей... пожрал этот, кровавый, тьфу! да как его... а! — молох тоталитаризма! — но шести- и восьмиклассник немо промолчали, словно храня *позор*, и все вокруг промолчали, словно — *тайный* позор.

Да что ж там такое поместилось внутри, рядом с убитой Ниной, опять думал я над бумагами, ощущая охотничье-жертвенный холодок вдоль позвоночника от шеи к летящему хвосту-гону. Что про них? Серго по ученой части, изучал зачем-то жизнь и деятельность Уманского К. А Вано — генерал-лейтенант в конструкторском бюро у дяди; отношения в семье, по свидетельствам разных там, отличались пустотой: обязательные соединения за обедом, никто не перечит отцу, самая большая угроза матери: «Я скажу папе!», нет ничего страшнее отцовского гнева... Микоянчики исполняли *все* свои несдержанные желания, жили шумно и широко. Алексей Микоян запутался в любовях, отец отобрал пропуск в Кремль и закатывался: «Я его разжалую! Из генералов — в лейтенанты! В Сибирь сошлю!!!» — но сходило с рук, *все всегда сходило с рук*. Кроме того, единственного раза, когда на них вдруг взглянул император. Свидетель припомнил: в телевизоре в передаче про кремлевских пустоцветных детей Серго Микоян упомянул вдруг про Шахурин и покрутил рукой у седого виска: «Сумасшедший!» Но — не продолжил: из-за него меня посадили и еще семерых...

Я собирался спать, когда позвонил Гольцман.

— Я попросил наших людей посмотреть базы МВД. С высокой степенью вероятности можно сказать, что Баранов, Хххххх и Кирпичников мертвы. Живые — пятеро.

Но это мы еще посмотрим.

Уже на диване, под одеялом, потушив свет, я подумал про Вендта, немецкого коммуниста — и его Петрова «очень любила». Если немца не казнили, неужели ни разочка не захотелось ему увидеть сына? Должно быть, нет; с дебилом остается только мать. И все же: не жить в одной комнате, так увидеть, привезти немецкую игрушку из Германской Демократической Республики, пояснить, отчего вечером солнце уходит спать, — провести медленной рукой по пахучей макушке инвалидного своего жалкого бессмертия, бесконечного страшного сна, беззвучно припасть на прощанье к Петровой, давя на щеках слезы: держись... Или хоть написать «вышли фото нашего...». Роковую женщину он мог разлюбить, за измены возненавидеть, она на допросе могла спасти свою шкуру и немца топить, но мальчик Вася... Я подумал, как ему теперь в интернате над манной и гречневой кашей, привязывают ли ремнями, чтобы персонал отдохнул?.. Я пластался на жестком матрасе, прихваченный этими ремнями, как багаж, в запахе собственного пота, мне всегда жарко... гудели плафоны на высоком потолке, лучше заснуть, я никогда не засыпаю днем... ложится легче, если не гневаться, если не биться, если никто не подойдет и потуже не затянет ремни, ударив по морде раз! и два! — словно украдкой... если о чем-то задуматься, чтобы не думать всегда одно: «вот пройдет время», не наблюдать, как улиточно время ползет... еще хорошо, когда ты не один и кто-то подает разный голос, когда в соприкосновениях кожи щекочущие не прорастает пот и ты много разного можешь: полежать, склонив голову направо, потом полежать, склонив голову налево, а потом *видеть* жаркие пятна на изнанке века, а еще — *не* видеть ничего, сделать ночь... Если бы! Но меня привя-

зывали так, чтоб я видел только окно, наполненное сиреневой и пыльной пустотой, чтоб не проник в голову голос, читающий мне понятное по отдельным словам и непонятное в целом. Уж лучше впитывать коридорные звуки и выращивать из них жизнь: «На ужин!» — и ползущее шарканье гада, покрытого чешуей шлепанцев, бахил и тапок, металлические искры разбора ложек-вилочек из лотка, костяной стук тарелок, горбатые передвижки стульев, телевизионный ветер — чуть ближе донесся, чуть дальше — вот и еще сколько-то прошло, если еще у меня были где-то стрелки или наглядный песок, проглотил, как-то устал, прожил свое и стал телезрителем, прожил в полном бездействии, замороженный картиной приближающейся смерти, словно привели, велели тут пока обождать и оставили, и пусто ждешь, когда придут старшие и заберут...

Алена рывком распахнула дверь (я все-таки почувствовал техническое облегчение — следствию часто нужны привлекательные женские персонажи), одетая в белый весенний короткий плащ, осветлив волосы, отравив длинные ноги в загорелых колготках, она подбежала и повалилась на меня:

— Любимый! — Удивительная способность все перетерпеть! зализать в углу, плакать не здесь, прижалась и потерялась сильней, с чувственным стоном, ей кажется, что женщины — моя слабость и надо просто самой ее утешать, освоить проститутские приемы и делать вид, что всегда хочется, и я приручусь, и будем ходить об руку до масштабного инсульта, когда появится возможность припомнить все, перед тем как перевалить мусор через оградку. — Любимый! — целовала, задыхаясь, словно за ней гнались. — Любимый мой! — и долго сидела рядом, припоминаясь касаясь пальцами моего лица, как слепая. — Знаешь, последнее время я часто представляю себе одну картину, — она красиво погляде-

ла в сторону, где эта картина немедленно зажглась. — Небольшая квартира в одну комнату. Или дощатый домик в Подмоскowie. За чистым, вымытым окном видны ветки цветущей яблони. У окна стоит твой стол, шкафы с книгами, альбомами, разложены карты, ты работаешь... Я тихонько вожусь на кухне, я тебе не мешаю... Потом захожу, обнимаю тебя, снимаю яблочные лепестки с волос... вот так: пора обедать. За обедом ты рассказываешь все, что у тебя на душе, — я все-все принимаю, я всегда рядом. А потом ухожу забрать Сережку из школы, вечером ты мне звонишь, говоришь, как жил без меня. Мы желаем друг другу спокойной ночи, и я прихожу опять утром, рано-рано, когда ты еще спишь... И целую тебя вот сюда, в висок: доброе утро... Милый... Ты знаешь, я поняла, что для счастья очень немного надо: молоко, черный хлеб, чтобы ты был рядом... Я бы тебе родила, я крепкая. Я бы даже бросила курить... Ты хотел бы так? — Она достала зубастые клещи в кровавых пятнах и приготовилась.

— Да. Да.

— Как же я тебя люблю... — И прижалась опять, я сдувал с лица ее душистые прядки, смотрел в потолок и ждал; это кончится.

Разбудили мухи и крики на дворе. Я муторно посидел в перинах: сегодня собирают на мельницу обоз? — подпоясался, натянул сапоги с подковками и вышел галереей на заднее крыльцо, распугав голубей, обсевших перила, — на меня никто не оглянулся. Все: хмелевские мужики, нанятые возить зерно, Александр Наумович, вцепившийся в амбарную книгу, кухарки, по пояс высунувшиеся из девичьей, приковывавший из каретного сарая кучер — все наблюдали, как кошмарно пьяный Борис Антонович Миргородский в пылающей кумачовой рубашке с торчащим из-за шивороты ценником прохаживается, враскорячку приседая и ударяя ладонью об ладонь, вокруг безмолвного и скорбного человека, в коем я не

сразу опознал Чухарева, нашего клиента, — он растерял загар, поджухла победоносная молодость.

— Вишь ты! — заметил Боря меня и показал на гостя. — Пришел братец наниматься! С вами, говорит, хочу работать. Нет, брат, — и мотнул башкой, — изделия очковой оптики возврату не подлежат!

Я умылся у бочки и, отмахиваясь сломленной березовой веточкой от налетевших с пасеки пчел, прошел к столу под навес — Алена уже выставила миску с вареной картошкой, кувшин с молоком, — взял ломоть хлеба и обернулся. Боря надрывался.

— А чем можешь доказать свое существование?! Знаешь, чем мы занимаемся? И никаких денег! Жизнь свою потратишь абсолютно бесплатно. И ничего интересного! Мы-то занимаемся только правдой. И не торгуем. И потому занимательностью не разбавляем! А правда — скучна-а... — и Боря с омерзением поглядел на свои цепкие пальцы, — всего лишь — настоящая жизнь людишек... Хотя при нашем занятии время перестает иметь значение. Но все равно — скукота! Если видеть то, что было на самом деле, — и Боря искательно погрузил обе руки в карманы.

— Пусть завтра приходит к десяти, — велел я и отвернулся. Сейчас все смолкнут, народ потянется по делам, кучер привалится к темным дубовым бревнам и задремлет в тени соломенной крыши, Боря и Гольцман подсядут завтракать... Меня передернуло раздражение.

Алена спросила:

— Зачем ты его взял? Зачем он тебе? — повторила она с нарастанием, с заострившейся мордой — на моем телефоне подряд зажглись три эсэмэски.

— Да нормально. — Боря подмигнул кому-то невидимому. — Пусть будет оперативный работник. Пусть бега-ет.

— Все равно это неправда, — у Алены дрогнули губы. — Чухарев должен был вас узнать. Тебя он видел на рынке

в Измайлове. Борю запомнил в своем офисе. Он должен был все понять. Что ты не торгуешь старьем. Что Боря не работает в налоговой полиции. Что теперь ему понятно, зачем вы сломали ему жизнь! А он молчал, будто никогда вас вообще не видел! — И она взглянула на каждого отдельным отчаянным взглядом.

— А че сказать-то? Ты бы сказала, че сказать, он бы и сказал. — И Боря пробормотал в мою сторону: — Так ничего ей и не объяснил?

— Давайте до завтра.

— Я тебя подвезу?

В машине она схватила меня и долго целовала, прерываясь, чтобы осмотреть губы: не выступило ли хоть несколько слов, мне еще пришла эсэмэска, я воровато прочитал, пробубнив: «От сестры», и отключил мобильник. Мы поехали зло и быстро, она покусывала губы. Как объяснить. Как я это понимаю. Когда-то мне хотелось знать все. И спасительно объяснять все, как хочет ребенок. Тебе приснился черный колодец, ты захлебывался и тонул — но это ничего не предвещает, ты всего лишь уткнулся лицом в подушку, затруднилось дыхание, прекратился доступ кислорода в клетки головного мозга. А если человек, едва не умерев, рассказывает, что взлетел к потолку и видел свое распростертое тело, хлопочущих докторов, трехэтажный корпус старой больницы у детского парка, город, тянущийся вдоль дороги на Москву, равнинную землю, осенние рощи и помчался по сияющему тоннелю к папе и маме, хоть их давно нет, — и в этом нет ничего удивительного, мой маленький друг. Такой человек всего лишь страдает нарколепсией, иммунная система у него поражает собственные клетки — специфические нейроны орексина.

Но потом я стал замечать, что таится в светлом и солнечном знании всего, понял, что не смогу всего знать, не хватит человеческих сил, не смог и не смогу, но мне необходимо — пусть будет *кто-то*, кто *все* знает: и поче-

му снится черный колодец, и кто стучал в учебной роте, где собираются потерянные вещи, где наши родители, как им там, скучает ли она по мне, кто я и как там было на самом деле, что думал царь на холме и где навсегда спрятан ключ — лишь бы он один такой где-то был. Хоть так. Так хотя бы.

На самом деле

Старший помощник прокурора СССР, лучший сыщик империи и автор захватывающих детективов Лев Романович Шейнин первое следствие по делу Уманской—Шахурина провел бесшумно и быстро: детей сожгли, Уманские вылетели в Мексику, директор школы Леонова, учителя и несколько одноклассников дали показания о плохом воспитании и подростковой любви. Дело закрыли, пепел Шахурина зарыли на Новодевичьем, несгораемые останки Нины на полтора года легли в керамической посуде «на выдаче праха» Донского крематория; седьмой класс 175-й школы выехал на воспитательные сельскохозяйственные работы в совхоз «Поля орошения» в Люблино — собирали овощи и клубнику, пололи свеклу; в город отпускали на выходные — помыться.

Школьники не выполнили план, но их не ругали и даже выдали по сорок килограммов овощей. Потом произошло неустановленное «что-то», и восемь мальчиков арестовали, всех (кроме младшего) в один день, — живые из них до сих пор спорят: в субботу или в воскресенье.

Вано исчез с дачи. Семья обзванивала морги, больницы: сбила машина? а где тогда велосипед? — милиция прочесывала овраги; а может, утонул? нет, все-таки сбила машина! — пока на дачу не позвонил сам глава семейства незнакомым голосом: *не надо волноваться*, Вано арестован...

Хмельницкого по телефону вызвала Галька Лозовская: пошли на американский фильм «Сестра его дворецкого». Я смотрел, но за компанию с тобой схожу. Тогда встречаемся у главного входа в «Ударник». Артемчик подошел к главному входу, близко к тротуару проехала «эмка», и больше Хмельницкого никто не видел...

Вдова хирурга Бакулева (немного мы разминулись с ней, месяц как умерла) записала в памятный листок: «Девять мальчиков арестовали на улицах города, ничего не сообщив родителям. Среди них оказался и наш сын Петя», — не девять, сколько точно, не знал никто.

Петя собирался в ванную, но подошел к телефону, бабушка подозвала.

«Выходи. Надо поговорить». Хулиганье какое-то... Он бросил трубку.

Опять звонок — из домоуправления: срочно зайдите, пожалуйста, надо проверить счета. Петю — только вышел из подъезда — подхватили умелые руки, и легковушка-колесница лихо тронулась с места, показав разворотом через две полосы оживленного движения свою принадлежность Силе. Он осмелился лишь на одно: «Сообщите родителям» — и на первом допросе потерял сознание...

Бакулев метался — надеюсь все же, утопления в реке хирург боялся больше, чем ареста и ухода следом на дно всей семьи — и позвонил начальнику санупра Кремля, отцу той самой красавицы и души класса (мы ее взяли потом в приемном отделении 67-й горбольницы уже выцветшим никем и слушали про старину: закрытый каток на Петровке, женихи качали над папиной дачей самолетными крылами). Бакулев бормотал через телефонный провод: пропал сын, просто бесследно, а я рано утром оперирую генерала НКВД и теперь не знаю как — руки буквально трясутся, смогу ли, там случай довольно тяжелый, угроза жизни, боюсь, не смогу; доктор давал им *срок* — до утра, пытаюсь играть теми, кто не проигрывает... В шесть утра начсанупр позвонил (ты же хотел): все в

порядке — твой сын арестован. Спокойно иди, оперируй...

Леонид Реденс, по родственным связям бесспорно приходившийся императору племянником, в майке, рубашке, бриджах и сандалиях на босу ногу отправился в гости на новую квартиру Васи Сталина, девятый подъезд, пятый этаж, глянуть, как идет ремонт, — двоюродный брат лежал пластом, превозмогая фронттовую рану (подорвался реактивным снарядом, занимаясь глушением рыбы). У подъезда Реденс заметил машину, и какой-то ласковый некто заговорил, и говорил, и говорил, журчал: а ну-ка, подойди сюда, да поближе! не бойся ты, садись в машину, садись-садись, ты с нами поедешь... Он, этот дружелюбный, липкий некто, говорил и дальше, по дороге и замолчал только тогда, когда с императорского племянника сняли ремень, вытащили шнурки, забрали отпечатки пальцев и игрушечно полыхнула фотографическая вспышка, впечатав Реденса в лубянские соты.

Обезумевшая мать Анна Сергеевна звонила повсюду: ищите сына! И смолкла, услышав ответ: *он у нас...*

Через две недели после этого Серго Микоян окопался за воротами дачи, шестиклассник в коротких штанах и рубашке с коротким рукавом. Подкатила черная «эмка», вышел знакомый чекист (играли вместе в домино и учил стрелять из пистолета в тире): «Слушай, давай доскочим до Москвы, привезем твоего брата» — и поехали. Серго первый раз в жизни увидел, как распахиваются ворота Лубянки, закрытые всегда.

Матери арестованных собирались поближе к вершине — у Ашхен Лазаревны: та отводила доверенных в спальню и шептала: «Один погиб под Сталинградом. Двое воюют. И — двое сидят» — и (напрасно надеясь, что никто не знает и не читает потом стенограмм) бегала тайком в Новодевичий монастырь для гаданий на картах и занятий спиритизмом у бывшего придворного поэта

Садовского и его сожительницы, бывшей фрейлины императрицы.

Анастас Микоян занес ногу над бездной и *спросил*. «Берия разберется», — равнодушно ответил император, и больше разговора на этом свете быть не могло.

За что их могли арестовать? Почему только мальчиков? Братья Микояны не учились с Ниной Уманской — почему они? Почему через полгода отпустили, но сослали? Почему ни один из них — никогда никому — не сказал ни слова о своем аресте? Важные вопросы, нужные ответы, и тем не менее: их арестовали только через полтора месяца... — я не заметил, вырвалось вслух, пассажиры маршрутного такси обернулись.

Между первым и вторым делом что-то случилось. Кто-то не поверил, что Нину убил Шахурин.

И все-таки... Если убрать семь фамилий, с дочерью ловкача Кости могли (должны) подружиться именно они, братья, а не Шахурин. Чтоб побыстрее вынырнуть, Уманский не внял Эренбургу и пожертвовал дочь в 175-ю школу: зацепить Светлану Сталину (но надежды мало, выпускной класс), Светлану Молотову (одноклассница и лучшая подруга) и Микоянов — вот кого Костя ловил на живца.

Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия: Но вскоре Нину там приняли. Костя с упоением рассказывал, как сыновья Микояна на мотоциклах чуть ли не с пулеметами провожали ее на дачу Молотова — с дочерью наркома она подружилась. Впрочем, дружба оказалась типично кремлевской — иногда ее вдруг не приглашали...

К нам с братом в студенчестве прикрепили домработницу Дусю. В прошлом она работала у Микоянов, а в будущем стала младшим лейтенантом КГБ. Как-то мы с Мишей попросили нас разбудить. Она постучалась утром в комнату и разбудила. Я сказала «спасибо», Дуся вдруг расплакалась. Оказалось, когда она будила

Микоянов, в нее бросали сапогом. Стол она поначалу накрывала чуть ли не газетой. Дуся, ну как же вы раньше работали? Там что, ничего не стелили? Она ответила: да что вы, Танечка!

— В субботу улетаю в Англию, — это вошла секретарша. Она не захватила блокнот и села без приглашения напротив. После напрасного ожидания добавила: — Литвинова живет в Брайтоне. Это морской курорт на южном побережье. Множество развлечений на пирсе.

— Что вам не ясно?

— Все ясно. — Она равнодушно перечислила: — Готовиться к беседе, писать каждый вечер отчеты, выходить на связь. Большой Каменный мост. Обстоятельства гибели подростков. Личность Уманского. Главная цель — Анастасия Петрова. Вы ее любите?

Я натужно засмеялся и хмыкнул, так и не решив, что сказать.

— Может быть, узнаете себя в Шахурине?

— Ну нет. Сумасшедший семиклассник... Полиглот!

Забрел Боря, вздохнул и опустился на пол, привалившись к стене:

— О-хо-хо-хо-хо-о... Агент вылетает в Великобританию. Список вопросов при ней. Прикрытие разработано. Диктофон. Валюта. Маршруты отхода... — Он дернулся что-то у меня спросить, но передумал. — Девушка, до свиданья! Не уходит... — И он страдальчески понурился.

— Как жизнь, Боря?

— Да хорошо моя жизнь... Но тяжело. Что-то мешает жить. А вот что? Одна надежда на Божий промысел... — Он вытащил из урны под моим столом журнал и посмотрел на обложку — пожилая блондинка с металлической коронкой на переднем зубе пытается засунуть в рот два члена бутербродом — и горестно покачал головой: — А-а, так это мистическое издание. Выпускается с ритуальными целями. Если хочешь знать, для меня каждый киоск,

торгующий такими журналами, — это фашистский дзот! Только еще страшней. Потому что его нельзя подавить. А? Что-то ты так многозначительно скрываешь свою реакцию? — Он уходил, грозя секретарше: — Не слушай его! Ни слова — заткни уши! Поняла?

Облака, пыльный ветер, необъяснимый ветер весны... Желтые цветы протыкают сгнившую траву на откосах дорог, течение автомобилей... Однообразное кипение птичьих голосов...

— От вас все зависит, девушка.

Я расчистил сцену, добавил света и замер в некотором отдалении от нее, мешали руки. Секретарша сидела, подавшись вперед, как ветеран настольных работ, не поднимая глаз — так ждут у кабинета врача, имея основания опасаться.

— Куйбышев. Начало войны. В Куйбышев эвакуированы наркоматы, центральные учреждения, заводы, госпитали... Театры. На улицах много калек. Из магазинов пропали продукты, в изобилии только кофе. Но работают рынки.

Все наши герои пересекаются вдруг в этой географической точке в течение *трех недель* — с 16 октября по 9 ноября. Шахурин прилетает в двадцатых числах вместе с Молотовым и Микояном. Их сопровождает эскорт истребителей. Молотов весь полет молча читает Чехова.

Старший Шахурин сутками на авиазаводах. Софья Мироновна занята светской жизнью на даче с эвакуированными аристократками. Володя и восемь интересующих нас мальчиков учатся — 175-ю школу разместили отдельно, не подмешивая к местным.

Литвинов поселяется в остатке купеческих времен — «Гранд-отеле», где квартирует Большой театр; председатель комитета по делам искусств Храпченко подкармливает балерин, и вокруг его апартаментов складываются сладостные истории... Поверили? Нет, на самом деле Литвинов жил на улице Фрунзе, углом выходящей

к памятнику Чапаеву, в пяти минутах ходьбы от городского сада. В его комнатах нет ничего, кроме стола, шкафа и кровати с продавленными пружинами.

В Куйбышев приезжает Петрова — красивая вдова с пожилой матерью, двумя детьми, гувернанткой и няней. Я думаю, в действительности Петрова приехала одна. И больше верю тем, кто утверждает, что с Литвиновым они жили в одной квартире прямо над квартирой Рова — композитор заканчивает Седьмую симфонию, его вывезли из блокадного Ленинграда, разрешив взять с собой только восемь килограмм багажа, а вывезти мать и сестру обещали, но не смогли. Что Ров делает в истории Большого Каменного моста? Пока неизвестно.

Прибавляется Уманский. «Жил через дорогу от Литвинова» — это одни. «Пил водку с инокорами в Гранд-отеле» — другие. Неоспоримо: победительный заграничный мужчина, радиолы, хорошие пиджаки, автограф Сталина на фото в рамке «под березу». — Я помолчал и глухо добавил: — Но не может скрыть своего смятения. Уманский не понимает, почему его отозвали. Каждый день, каждый день ждет приказа лететь назад. Ему тяжело, давно не жил в Империи. Он с юности *никогда подолгу не жил в Империи*. А ещё война: карточки на хлеб. Клопы. Отхожие места. Плохо струганые доски. Не с кем поговорить о Пикассо. Он начинает подозревать — плохое... Он же германский шпион, как показал его лучший друг Кольцов... И тогда Уманский оборачивается. И смотрит — в свои тридцать девять лет. На свой путь, семью. Друзей. Коммунистический Интернационал. Мать, забытую в Австро-Венгрии... Что он там видит, Тася? Ничего, что показалось бы прочным и могло спасти. И тогда он вдруг понимает, *зачем* он вернулся, *зачем* все это происходит с ним... Костя понимает: все справедливо, он жил скверно, он лгал, предал учителя, бросал женщин, искал сытости... Плохо служил императору, раз началась война и гибнет Империя... Но у него есть воз-

возможность спастись. Есть в его жизни, Костя вдруг понимает, единственная женщина, которую он по-настоящему любил. И все рушится, может быть, только для того, чтобы показать ему — вот она, вот настоящее, только это. Иди к ней. Другой возможности спастись не будет. Скоро старость и смерть... Он это чувствует удивительно сильно, — я прочертил носком ботинка линию перед собой. — Это позиция Уманского.

Я прошелся за спиной секретарши, и та выпрямилась, словно ожидая прикосновения.

— Теперь ты — Петрова. Тридцать девять лет, широкие бедра. Невероятная сексуальность. Баснословная красота... Между тем двое детей на руках, мать, няня. Дмитрий Цурко пропал без вести. Петр Цурко пропал без вести. Немец Вендт сидит. В квартире властвует стерва Валентина — вот теперь она расплатится за все унижения, у нее маленький сын от красного командира, а кто теперь ты?! Хочется тебе жить с подстреленным? Уманский завтра сядет и умрет или до пенсии будет по архивной пыли тащиться замзавсектором шестого отдела девятого главка и до инсультных времен трахать секретарш, потому что на актрис уже не будет денег. У него нет даже квартиры! — Я заорал в ее вздрогнувший затылок и стих. — А Максим Максимыча твоего принимает император! Он, может быть, в наркомы опять. Это спасение — вырваться на *несколько лет!* Пока доберетесь, осмотритесь, пока война, пока отзовут — *годы и годы...* Из нищеты, из страха! Ходить в вечерних платьях, кататься на пикники в открытых автомобилях, спихнуть в рязанскую деревню детей и снова стать молодой, шутить с членами Политбюро! Это твоя позиция.

Я словно взвесил два камешка на руках и переместился к дверям:

— И есть еще одна позиция — земля. Решающий разговор, встречи, постели, прогулки, крик — все происходит в страшные дни, — немцы, кажется, неостановимо прут на

Москву. И в любой день может случиться то, что изменит судьбу сотен миллионов, и все твои, мои желания, страсти — все, понимаешь, «под немцами» окажется пылью, ненужной даже нам самим, лишь бы выжить, пропитаться... Мы это очень хорошо понимаем и торопимся успеть, выхватить, унести и сожрать поскорей свой кусочек счастья — да?! Это позиция земли — все ждут. Получается — общее ожидание и пожар. Каждый час — все ждут. Приказа, вылета, победы, катастрофы... Того, что мне скажешь...

Страшно захотелось пить, просто жгло горло.

— А с виду выглядело так. — Я поманил свидетельницу из дома престарелых:

«Я была свидетельницей каких-то ее разговоров с Костей. Он из Америки привез в Куйбышев грандиозный сундук, чемодан с колоссальным количеством нарядов и бросил к ногам Петровой. Но она осталась непреклонной. Какое-то время назад она отвечала ему взаимностью. Но не теперь».

— Вот видишь, — и я с досадой взмахнул рукой. — Такой ты человек.

— Ну, во-первых, я знала тебе цену. — Секретарша облегченно пошевелинулась, словно фотограф разрешил ей переменить позу и отдохнуть, и заговорила скрипуче, старушечье. — Ты поверхностный, легкомысленный человек... Как про тебя говорили — фат! В Куйбышеве у тебя одно настроение, а завтра будет другое...

Я вдруг задохнулся, выталкивал слова из горла, стараюсь удержать слезы:

— Я был готов бросить своих... Взять тебя... Твоих детей. Зная все, что с тобой было, всех, с кем у тебя было... Мы же разговаривали раньше? Разговаривали? Обязательно разговаривали... И ты говорила: может быть. *Может быть!* Я тебя люблю. Ни с кем так. Ты — единственная. Я мог бы перемениться...

— И хочу сказать... — Она поднялась. — Нарисовал мою позицию, свою... А в Куйбышеве ждал будущего еще

один. Ты забываешь Литвинова. В Куйбышеве я любила его. И любила так, что казалось — навсегда.

— Только ради теплых уборных! Старика! А моя убитая дочь?..

Я потер щеки руками, подумал о счастье, посмотрел по сторонам, и счастье воплотилось для меня в литровой бутылке свежавыжатого апельсинового сока, ждущей в холодильнике.

— Где ваша любовь, Анастасия Владимировна? Вообще, это умеете? Прошло полтора года, Москва, еще один несуществующий город. Вы вернулись из Соединенных Штатов со своим возлюбленным...

— За полтора года я могла разочароваться переменитьсь и многое понять, — скороговоркой.

— Как, как? *Разочароваться*? Вы летели через Африку, в проездных документах указывали «секретарь» — женщина на борту — к несчастью... Литвинова ожидал малозначащий пост... Но вам, любимая моя, хотелось чего-то другого, если не видя меня *полтора года*...

— Мы могли переписываться...

— Получив сына дебила...

— В апреле я могла еще не знать, что Вася болен.

— Вы прилетели и: а теперь можешь взять меня — готова! — последую за тобой на край света — в Мексику. Супруга посла встречает гостей на ступеньках Дворца графини в Такубайя!

— Но ведь и ты...

— Я мог понять за полтора года, что значит для меня жена...

— Безумная и безобразная Раиса, предавал на каждом шагу...

— Прежде всего — дочь...

— Еще бы — столько полезных знакомств через нее!

— Я жил ради Нины — ты знаешь, что она значила для меня!

– Ага. Особенно, что значил новый пост! Просто не хотелось возиться с разводом – Молотову бы это не понравилось...

– Эренбург написал: «пережил драму»...

– Что еще мог написать твой друг? Что ты попользовался от скуки и на прощанье полюбившей тебя женщиной? Что, как всегда, не упустил ничего?!

– Я действительно любил тебя, Тася. – Я подождал. – Но я безумно любил Нину. – Не дождался. – Вы должны сказать: а когда Нину убили, что помешало?.. А я бы ответил: не мог оставить заболевшую от горя жену... Вместе мы – вспоминали... Мне показалось, что в смерти Нины виноват я... И чтоб как-то... я все должен теперь отдать Раисе... Может быть, когда-нибудь потом, думал я, еще через время... В другом городе. Мы встретимся с тобой на мосту и будем гулять вечерами, соединив узловатые, сухие руки, обтянутые змеиной кожей... Будем заботиться друг о друге... Будем радоваться... И скучать, если друг без друга хотя бы час... Будем разговаривать, и ты будешь много смеяться... Ведь для чего-то все это настало в нашей жизни, что-то держало нас, хотя мимо прошло столько судеб и тел, а мы вдвоем как-то... сцепились. Может быть, я даже писал тебе об этом из Мексики. Но потом почему-то взорвался самолет, и Нина нас с Раисой дождалась. Ее так долго не хоронили, словно кто-то знал, что у нас с тобой ничего не получится... И я стал плитой на стене Покровской башни, номер двадцать семь на схеме Новодевичьего монастыря. В ней сейчас лекторий на десять-пятнадцать мест.

Секретарша неожиданно подняла глаза и всмотрелась в меня, словно пыталась застать издевательскую улыбку.

– Инструктаж закончен. Теперь вы знаете, что искать в Брайтоне.

– Я постараюсь стать такой, как вы. Хотя мне неприятно узнавать все... так.

До свидания.

— Я попробовала. Упросила Александра Наумовича показать мне бумаги. Я пыталась увидеть Уманского и Петрову. Сидела, сидела и смотрела до ночи, словно в стену. А потом положила зачем-то рядом их анкеты и вдруг — я словно увидела какой-то слабый свет, с той стороны... Словно камни легли неплотно, но это можно заметить только ночью. Мне повезло. Анкеты пересеклись в одном времени и одном месте. Вы не обратили на это внимания потому, что это стоит в самом начале, сразу после революции. В шестнадцать лет Петрова работала конторщицей в «Центропечати». Уманский, семнадцать лет, работал там же — секретарем председателя правления. Он ее увидел, и она его увидела. Это значит, их истории намного больше лет. Это значит, как вы любите выражаться, с высокой степенью достоверности мы можем предположить, что они пережили вдвоем первую любовь и все, что было потом — Куйбышев и Москва, — лишь попытки перешагнуть через все последующее, все постороннее, что нагромоздилось, — и вернуться.

— Это многое объясняет, но ничего не делает понятным.

Плохие приметы

Заболела голова, я едва досидел допросы, предчувствуя опухоль головного мозга и облысение после химиотерапии, ощущая себя скомканным листом, на котором хотели что-то написать, но перебрали ошибок. Алена устрашающе молчала, отлучаясь плакать в туалет и опять принося мне под нос землистую злобноглазую морду — у тебя что, парализовало мать? ребенка переехало самосвалом?

— Плохо себя чувствуешь? (Не жди меня, вали домой к семье! Покопалась опять в моем телефоне? взломала почту? обыскала стол? и то, что искала, — нашла!?)

– Нет, ничего, – словно нет сил говорить. И бегло: – Маша полетела в Лондон? Быстро она, хваткая девочка, молодец. Полетишь к ней? Тебе вроде не нравились худые. Рада за тебя. Я много раз говорила: мне все равно, с кем ты и сколько. Только не заразись. – Она с омерзительным хрипом поохотала. – Уже фотографировал ее? Все показала?

– Закрой рот!

Грохнула дверь, просыпав штукатурную крошку.

Боря приехал с Чухаревым (я стирал приходящие эсэмэски: *«Кто дал тебе право мучить меня? Я живой человек!»*), Чухарев протягивал Гольцману фото из бумажника: жена, жена и он, жена, ребенок и он, жена у окна.

– Она у меня красивая... В жизни еще лучше, – упоенно разливался он. – У меня все правильно получилось. Мужчине надо жениться, когда он нагуляется.

– А женщине? – Боря обернулся на меня (*«Ты молчишь? Значит, так будет всегда?»*).

– А женщине не надо гулять. Пусть дома сидит, – Чухарев оглядел всех перед важным объявлением. – Мы с женой познакомились двадцать четвертого сентября, а поженились двадцать четвертого ноября. Вот – звонит, – и он безмятежно улыбнулся. – Домой зовет. (*«Значит, так будет всегда». «Для тебя ничего не существует». «Ты всегда будешь обманывать»*)

– Это хорошо, – я словно пересиливал зубную боль, большую голову, грохот камнедробильного агрегата, кабацкую песню, – совет да любовь. А если чего-то не будет хватать, можно и добавить.

– Я не собираюсь ничего добавлять, – горячо сказал Чухарев и выставил для защиты все, что имел: – Мы вместе уже семь лет. И все идет хорошо. (*«Я тебе не нужна?» «Ты можешь просто ответить: нет?» «Зачем мне жить?»*)

– Представляю, как она тебе надоела.

У меня болит голова.

Пришло еще одно сообщение, я стер его, не читая, и отключил телефон.

Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия. После гитлеровского нападения на Советский Союз отцу сделалось особенно тошно, и он отправил письмо Сталину, просил любого назначения. Ему выделили кабинет в НКВД – без машинистки! – и дали помощницей Петрову. До войны она то пропадала на несколько месяцев, то появлялась – в то страшное время многие спасали жизнь тем, что не ночевали дома, – чтоб не застали при аресте.

Отец отправил маму в эвакуацию, в Куйбышев, мама переписывалась с Петровой и получила открытку: у меня новый любовник. Никогда не догадаетесь, кто. Она писала об отце.

Мне кажется, их роман начался от папиного одиночества. Он ведь ничего не мог где-то иметь на стороне. Он был ужасно одинок, считал, что отнял у детей мать (настоящая мать должна проводить время с детьми, дома, а не порхать по приемам и гулять с инокорами), он чувствовал свою вину в смерти сына – младенец умер от воспаления легких в Осло. Папа понимал: свое одиночество он создал сам.

В Куйбышев Анастасия Владимировна приехала с отцом. Он объяснил маме, что не мог отказать: Петрова бросилась в ноги и умоляла взять с собой.

Вообще, родители уже не спали вместе, но все же если бы мама узнала правду до поездки, я думаю, она бы осталась.

Они уезжали в Америку троим. Тегеран, Багдад, Калькутта, Бангкок, Сингапур, Гавайские острова... В пути мама заподозрила что-то неладное и спросила Петрову в лоб: ты что же, предательница?... Анастасия Владимировна с тою же прямою ответила: да.

В Штатах мама сразу уехала в Нью-Йорк и оставалась там, даже когда отец и Петрова вернулись в Москву.

А Тася въехала в посольство, на место, нагретое Уманским, и семидесятилетние американцы, письменно просившие принять их в Красную Армию, изобретатели

острозаточенных орудий для уничтожения парашютистов, застрявших в ветвях, начали получать сдержанно благодарственные письма за подписью «А. Петрова, секретарь посла», и на мертвых, задушенных посольских бумагах появились ее домашние, спокойные росчерки «ММ доложено»... Я завязал тесемками папку «Петрова А.В.» и заехал на Серафимовича проститься с раскрасчицей тканей Валентиной, стервой с прекрасной матовой кожей, старухой в чалме.

Сын отсутствовал, уверившись в моей бесполезности и безвредности, черепаха не сдохла, но, оставшись со мной один на один, старуха учуяла какой-то погребной холодок.

— Письма куда-то делись от мужа, — пожаловалась она. — Куда я их дела? Только мы с вами поговорили...

— Письма найдутся. — (Завтра пакет достанет из-под дивана женщина, приходящая убирать.)

— А мужем Петровой стал немецкий еврей Вендт из Коминтерна. А вы знаете, что она сама еврейка по отцу — Флам? У мальчика ее последняя, крайняя степень идиотизма. В пять лет забежал в комнату, схватил Сашку за уши и как стал трясти! Я говорю: Ваську вашего буду запирать. Она сначала не понимала, что больной он. Уже потом спохватилась. Все Цурко переженились на еврейках, они меня не любили. Петрова все враждовала с Зиной, а против меня объединились. Брат у Петровой повесился, а внучка отравилась — напилась таблеток от любви к Владиславу Р-ову — непорядочный он. Похоронили ее на Ваганьково.

Вот почему у Таси умер брат молодым. Вот куда подевалась девочка Оля, вот зачем здесь Р-ов.

— Уманский? Да я терпеть его не могла! Ходил он к Петровой, влюблен был в нее. У нас несколько розеток, а телефон один. Он прямо за телефоном заходил не спрашивая — наглый! Я даже Мите в письмах жаловалась, он отвечал — потерпи, скоро получит назначение и уедет. А Уманский привез ей из Америки чемоданы...

— С нарядами?

Полоснула злым взглядом:

— Ну не с кирпичами же.

Я все жевал: единственная внучка Цурко, единственная возможность будущего...

— Да, как вы простились с мужем?

— В выходные решили отдохнуть, в лес поедem, за грибами. Вдруг звонок — в штаб. Вернулся расстроенный — тебе надо ехать в Москву, а я на маневры. Я уперлась: не поеду, и раньше были маневры, а я оставалась. Повезли нас на станцию, раз в неделю ходил прямой до Москвы. Начштаба провозился с багажом, и мы опоздали, да еще ребенок отравился, жарко очень, что-то съел. Когда вернулись, Митя даже в лице изменился от злости. Отправил на следующий день перекладными. Я сына занесла в вагон и вышла. Он мне сказал: Валюш, ты только не плачь, а то я сам заплачу. Двадцать первого июня мы были уже в Москве.

— Фотографии можно посмотреть?

— Я не фотографировалась с ним, плохая примета. Если сфотографироваться вместе, суждено недолго прожить. И все равно — не получилось, — она рассказывала уже самой себе, я пожимал дверную ручку и нетерпеливо кивал; мимо паузы не промахнусь, сбегу. — Приехали, нам Петр даже денег не дал. Уехали в эвакуацию в Тюмень. Петрова пересылала мне письма и аттестат. Поняла, что Митя пропал, когда деньги перестали приходить, да еще вычли за три месяца, с января по март. Правда, я догадалась сына на пенсию деда перевести.

Вернулась, а в нашей квартире дирижер Александров живет. Выучилась шить и стала портнихой, заболела — получила группу. Митю искала в архивах партизанского движения, вдруг он под фамилией матери скрывался? Ходила в партактив, документы крада и даже кое-что продала, — блеснула она победно. — Кому?! Секрет!

Судились мы из-за квартиры, потому как говорили, что Саша не Митин сын. Как это не Митин? Мы тут с

Сашей всегда жили. Еще когда ему голову пробрили и ждал нас еще перелом позвоночника. Мы тут жили, в восемнадцатом подъезде, еще когда на моих глазах убили Уманскую... Я на балконе стояла. Их трое шло по мосту, школьников-то... И что-то полаялись — на моих глазах! Жена маршала Конева знала, что убил Микоян. А свалили на Шахурину.

Маразм. Убил Шахурин.

Я положил палец на кнопку звонка и убрал — постучаться? Я не хотел возвращаться, давно разучился, но еще секунд тридцать стоял у двери, всматриваясь в простодушный рыбий глазок — в дверную дырку старуха могла увидеть слепого, прислушивающегося человека; нет, старухе нечего добавить, выпустим ее...

— Ты еще ничего не знаешь? У нас неприятности, — Гольцман трагически помолчал, думая, что меня может расстроить «в лондонском аэропорту при заходе на посадку в сложных метеоусловиях»... — Тот человек, новый...

— Чухарев.

— Что ты взял на работу... каким-то образом... получил доступ к последним донесениям, — Гольцман перевел дух. — И решил самостоятельно взять старшего Микояна.

— Идиот! Баран! Скотина! — орал Боря с поразившей меня искренностью, для красоты сбивая бумаги и канцелярские принадлежности на пол. — Уб-а-людок!

У Чухарева дергался рот, но он молчал. Я сделал Боре звук потише («Кто тебе разрешил? Кто тебе, чмо, ставил такую задачу?! Мы не на тебя работаем! Мы не тебя четыре года копаем!»), хлопнул в ладоши:

— На меня посмотри.

— Я думал попробовать найти номер, его телефон. И нашел. Потом думаю, позвоню проверить... А он вдруг взял трубку...

— Заткнись, — это Боре. — Что ты ему сказал?

— Что я...

– Дословно!

– Здравствуйте, извините, что я вас потревожил, меня зовут... Мы занимаемся расследованием убийства Володи Шахурина и Уманской, не будет ли у вас возможности встретиться, чтобы ответить на несколько...

– Он повесил трубку.

– Он сказал: «Мразь!» И повесил трубку.

– Ноль, – показал Боря на убогого в полной тишине. – Никаких способностей к оперативной работе.

Я прошел к себе в кабинет.

– Зачем ты показала ему последние донесения?

– Я думала, он работает с нами, – с холодной быстротой ответила Алена, собирая барахло в сумочку. – А где ты был вчера? Я звонила.

– Я потом тебе расскажу в деталях. Когда придумаю побольше правдоподобных подробностей. Мне надо поговорить с Александром Наумовичем.

Через пару нервных мгновений мы остались с ним вдвоем.

– Знаете, Александр Наумович, я не верю, что старуха видела своими глазами, как их убивали и кто стрелял. С балкона. Ей просто хочется жить и быть нужной. Но совершенно точно, что по мосту они шли вдвоем и третий, про которого все знают и молчат, – Ваню. Сошлось.

– Тебе это не нравится?

– Видите, как вовремя они нам его подсунули? А мы-то думаем, как связать арестованных школьников с Большим Каменным...

– Я напишу письмо, – втиснулся Чухарев. – Узнаю адрес и положу в почтовый ящик. Он послал меня сгоряча и теперь жалеет. Он будет говорить.

– Иди отсюда! Александр Наумович, все?

– Нами установлены два человека, имеющие что-то сказать по арестам школьников, обоим за шестьдесят. Внук Хрушева, видимо, по семейным преданиям, пока-

зал: их арестовали за неосознанность — знали, что Шахурин готовится убить, и не донесли. И второй, — протянул порыжевший газетный лист, «Строительная газета», — старший брат Степан Микоян.

В никому не нужной газете («Репрессии не обошли стороной нашу семью»), старческими челюстями прожевывалась «трагическая, с невыясненными мотивами история», и вдруг необъяснимый перескок — арестован шестнадцатилетний брат Ваню, потом Серго. Допрашивал зловещий Шейнин. Его сменил кровавый Володзиевский.

— Лев Емельянович, — следил за переползанием моего указательного пальца Гольцман. — Фигура. Комиссар госбезопасности. Генерал-лейтенант. Расстрелян по делу Берии.

То есть палач и садист начал шить невинному подростку дело из «*ребячьих игр в войну*»; «сильно мучили допросами, не давали спать», но про пытки ничего нет; сослали на год в Таджикистан.

— Что означает «ребячьи игры в войну»? При чем здесь Нина?

— Дальше почитай.

И все прошло и начало зарастать, но в страшном 1949 году император, не забывавший ничего, вдруг заглянул в нутро Микояна, вытащил его влажную, дрожащую душу и разгладил на жесткой ладони.

— Анастас, — только близким и перед смертью, я уверен, рассказывал Микоян, как внезапно и ужасно спросил вдруг его император, и показывал к а к, особым голосом — «Анастас!» — А где *те* твои дети?

Те, что заигрались в войну. Серго в институте. Ваню в академии; тут нечего добавить.

— А достойны ли они учиться в советских вузах?

Вопрос требовал ответа, и несколько неподвижных недель Микоян ждал ответа, не тесна ли его детям жизнь, есть ли им еще местечко.

Игроки

Степан Микоян на глазах следствия появился старичком (так и хочется добавить — седоусым, щеточка под носом) в коричневой дубленке, маленький, как мальчик, — ждал на проходной неизвестного авиапредприятия (когда я еду в Шереметьево, мне кажется, я всякий раз узнаю забор в начале Ленинградского шоссе по правую руку, цилиндрический фасад, невысокий и голубой, хотя прошли годы). У него не оказалось места для приема гостей, и мы сели на продавленные стулья, сбитые по три, напротив закутка с табличкой «Касса» над окошком — когда мимо проходили местные, Степан Анастасович использовал шепот.

Я рассматривал пригоршню пепла, остатки — а когда-то горбоносый невеликий старичок заведовал жизнью и пробуждал людскую дрожь папиной фамилией. Одна старая женщина сказала: самое сильное впечатление в моей жизни — в лифт ко мне вошел Степан Микоян, и у меня захватило дух, я вижу *его* рядом, нечеловеческую красоту, мы доехали, он вышел, я не могла двинуться с места и вдыхала — запах его одеколона!

— Что все это значит? — И я сразу поверил, когда он сказал:

— Ваню никогда никому не рассказывал, почему его арестовали. И я не спрашивал. Говорят, они играли в войну. Я больше ничего не знаю. В нашей семье об этом молчали — и мать, и отец. Вы думаете, арест моего брата как-то связан с убийством Уманской?

Первым среди авиационной профессуры нашелся Петя Бакулев, сын главного хирурга империи, не так давно схоронивший мать. Чухарев, исправляя непоправимое, слог в слог зачитал с бумаги лживую и вкрадчивую речь, замолкая для получения ответов, и отключил телефон:

— Он согласился.

— И помни, — напутствовал трезвый Боря, — людей не надо спрашивать много. Для одного человека есть всего несколько вопросов, ответы на которые имеют значение. Это не связано с тем, часто ли человек думал о том, чем мы интересуемся, или вообще не вспоминал до твоего появления. Это просто случайные попадания. Надо угадать. Если спросишь меньше, он забудет сказать, если пережмешь — будет врать и сам поверит. Что тебя смущает, братишка?

— Он не удивился. — Да, а вот я бы на месте Бакулева охренил. — Он словно знал, что за ним кто-то должен прийти.

Выпал снег, сразу много, пушистыми ломтями по ветвям. Дети скатывали в рулоны снежный ковер, открывая зеленую грязноватую изнанку. Светилось солнце на сосулечных каплях. По-весеннему обманчиво раскрывались синие просторы, студено лежала тяжелая вода тропаревских прудов, от мостков вела тропинка наверх к лестнице спорткомплекса «Олимпийской деревни — 80» — на ней неизвестный убил на прошлой неделе выстрелом в голову кавказца лет тридцати—тридцати пяти, коридор с тремя квартирными дверьми отгораживала от лестницы решетка. Прежде чем отпереть ее, седой и морщинистый мальчик одно мгновение рассматривал Чухарева сквозь железные прутья, словно жил в тюрьме.

— Что скажете про Нину?

— Спокойная, симпатичная, аккуратно одетая девочка. Добрая. Фигурка ничего себе — она ведь всегда хорошо питалась!

— Вы считаете своего друга Шахурин сумасшедшим?

— Володя странноватый мальчик. Он хотел произвести впечатление и многое напускал на себя. «Если я приду к власти, я пройду по улице Горького, за мной будет идти батальон и играть марш!» Так он мечтал. Мог сказать: «Ох, сегодня родители идут в гости, положу

перед собою заряженный пистолет и буду скучать в одиночестве за столом...»

— У него был пистолет? «Вальтер»?

— Я не помню. Пистолеты носили многие мальчишки нашей школы... Я знал, что Володя пылко влюблен в Нину, но ее родителям это не нравилось. Когда ему хотелось вызвать Нину из дома, то звонил я, из автомата за две копейки, представлялся родителям, а ей говорил: вообще-то тут рядом со мной приятель, и передавал трубку Володе. Она отвечала ему непрямо, намеками, чтобы родители не поняли. В школе он вообще к Нине не подходил, чтоб не задразнили, что втюрился. Сильное такое чувство...

— Вы думаете, у них... между ними случалась физическая близость?

— Вряд ли. Софья Мироновна следила за каждым его шагом и в доме всеми командовала — плотная такая, интересная, яркая шатенка. Носила кожаное пальто. В гости девочки мальчишек не приглашали. Если только на даче... Софья Мироновна считала нужным, чтобы Володя дружил с одноклассниками и приглашал ребят к себе на Николину Гору — коньки, лыжи... Но Нина не ездила к ним. Целовались, может...

— Во что вы играли?

— Как и все мальчишки — в войну. Придумывали себе организации, воинские звания. Писали приказы. Самым завидным казалось носить на пиджаке американский военный значок. Играли, чтобы произвести впечатление на девочек. Картинно ссорились, один доставал ствол, второй... Друзья с криками кидались разнимать — девочки ахали!

— За что вас арестовали?

— Все заварила Софья Мироновна. Когда все случилось, на мосту, она возмутилась: как же так, все ребята хорошие, а мой Володя плохой? И позвонила Сталину. Он сказал: всыпать подлецам!

Когда вот это... с Ниной... я собрал всех: ребята, мы играли. Теперь, когда начнут допрашивать всех из класса, обязательно что-то всплывет. Поэтому все бумаги, что остались от Володи, надо уничтожить. И ничего никому не говорить.

— Вам кто-то посоветовал так сделать?

Пауза.

— Нет. Моя собственная инициатива. И все пообещали мне, но... Давайте заканчивать. Я устал.

— Что-нибудь слышали про обстоятельства гибели Уманского?

— Вам, наверное, уже кто-то сказал: моя мама работала рентгенологом в Кремлевке. В пятидесятых годах она разговаривала с пациенткой, летевшей на том самолете. Та уцелела потому, что, когда самолет развалился, ее кресло упало на куст. Больше ничего.

— Что-нибудь связывало Уманского и Р-ова?

— Дружили. И жили, кажется, по соседству. Но почему вас это интересует?

Чухарев вышел, остановился и посмотрел на город с восемнадцатого этажа, на потный, мутный город, заплатки крыш, мокрую траву и тропинки, на улице засмотрелся сквозь витрину на высокую продавщицу и завернул в магазин, купил два пирожка с яблоками, оставив после себя груды дымящихся развалин, унося в кармане зачем-то записанный на пробитом чеке телефонный номер, — на миг почувствовал себя счастливым, молодым; ехал в метро, ел пирожок, просматривал протокол своего первого допроса, хмуро поглядывая на входящих. Напротив женщина с серьезным видом читала книгу «Рак — тактика исцеления». Во что же, черт возьми, *такое* они играли?

Тему Хмельницкого в школе запомнили фантазером и вруном. «Не верь, не верь», — шептал Чухарев напутствие Миргородского, входя в подъезд панельного дома в пять этажей в районе Черемушки. Долговязый сын адью-

танта маршала Ворошилова и доброй женщины Веры Ивановны Кучкановой-Хмельницкой провел гостя на кухню и, не присев, вдруг грохнул ладонью по столу:

— А из какого пистолета убили Нину?!

— Из «вальтера».

— А чей же это был пистолет? — прошептал Хмельницкий, глумливо разлепив губы. — Не все ты знаешь, да? Не все у тебя складывается, — и скрипуче занял табурет; он был смешлив и счастлив: нашелся человек, который будет почтительно слушать и выполнять команды — вот чего не хватало ему, Артему Рафаиловичу, всю взрослую жизнь.

— И у вас был пистолет? (Ничему не буду верить!)

— Докладываю вам на ухо: маузер! Правда, не новый. Мальчикам нашего класса официально полагалось оружие. Знаешь, как рассказывал математик Юлик Гурвиц: прихожу на урок, а все мальчишки сидят локти на стол: кинжал со свастикой под одной рукой, пистолет под другой. Поворачиваюсь спиной написать на доске тему урока и трясусь: а вдруг пальнут в спину! — И расхохотался — доволен!

— А во что вы играли?

— В войну. В Чапаева не играли, — голос его высох и выцвел. — Дрались корпусами от зажигательных бомб — знаешь, как палицы русских богатырей. Разделимся: дивизия «Рейх» против дивизии НКВД, дивизия «Мертвая голова» на дивизию сибирских гвардейцев и — бьемся. Хочешь, фотографию покажу? — Артем Рафаилович отгребал от неприятной темы. — Нина на выставке образцов трофейного вооружения в Парке культуры и отдыха (по набережной прямо до колеса обозрения выставка, выставка...) — вот академик Щусев, маршал Воронов, полковник Сахаров Борис Сергеевич, Нина...

— А девочки с вами играли?

— Ни одной, — пробормотал он без удовольствия и снова перескочил грядку. — Уманский, помню, жил

в номере 550 гостиницы «Москва», а потом переехал в четвертый подъезд Дома правительства, первый этаж, с утра до утра работал... А мать Нины думала по-английски, что сказать, а потом переводила на русский, дружила с моей матерью, мать-то мне и открыла... — седой Артемчик нагнулся к Чухареву на выдохе, — Нина была беременная. — И потряс головой: да-да-да...

— А следователю вы это сказали? — безжалостно спросил Чухарев.

— Отец велел говорить только точные факты. А когда уж меня самого арестовали и шили антисоветчину, до того ли... — И узник сталинизма скорбно приподнял брови. — Докладываю вам на ухо: сию готовлюсь к экзаменам, вдруг звонок — Раиса Уманская: Нину убили! Побежали на мост, а там уже пусто, поглазели на площадку сверху и ушли...

— Как ваши родители узнали, что вас арестовали?

— Сталин сам отцу объявил! — с лету отбил Хмельницкий. — А освобождал меня лично Лаврентий Павлович Берия. Шум-то поднялся какой... Учителей поувольняли, три смежных класса разогнали по соседним школам. Всю жизнь мне этим арестом в глаза тыкали, — вырвалась у него вдруг жалобная правда. — Я бы уже адмиралом...

— Говорят, Володя уделял повышенное внимание девочкам...

— Не помню его сексуально озабоченным. Разговоров в классе, кто на кого глаз положил, ходило много, они с Ниной тесно общались, но не более...

— Почему вас арестовали?

— Мне надо ехать зарплату получать, — Артем Рафаилович засобирался, куртка, сапоги, и привалился тесно к Чухареву во тьме прихожей. — Должен сам понимать. При большом желании, — в полном безмолвии он моргал, моргал, копя силы, — С-с-ст...н-на, — имени он не произнес, Чухарев потом догадался, что означало это

шипение и свист, — нам... убить — ничего не стоило! Он же ходил в наш дом.

— Убить? А за что вам-то его убивать?

— Отомстить!

Чухарев задал все вопросы из шпаргалки, но, чтоб не молчать, выпалил от себя:

— Почему вы после... этого никогда не встречались — все вместе и никогда не рассказывали про... это?

— С нас взяли подписку о неразглашении. — Хмельницкий взвесил и добавил еще пару гирек: — И обязательство не встречаться. Тридцать лет!

Во дворе Хмельницкий сообщил, что работает в автосервисе и прилично зарабатывает. Купил машину. «Вольво». Новую. За сорок две тысячи долларов. С бронированными стеклами. Чухарев уважительно молчал, приглядывался к припорошенным снегом иномаркам, решившись напроситься доехать до метро, но Хмельницкий пошагал вместе с ним на троллейбусную остановку, и до метро «Профсоюзная» они ехали, стоя в переполненном троллейбусе.

На «Киевской» Чухарев поднялся на поверхность земли и опять ехал на троллейбусе, уже по весне, высунувшись из окошка, — хорошо ехать вдоль набережной, подставляя лицо ветру, поглядывая на задумчивую светловолосую девушку у окна, чують забытый запах речной воды и видеть, как листья у фонарей отсвечивают золотом.

Самого младшего, Серго Микояна, боялись спугнуть, Ваню мог предупредить брата; выслеживали долго — его нет в Москве, его нет в России, а что вы хотели... Чухарев, детально соврав, что готовит экспозицию музея 175-й школы, оставил номер своего телефона дочери клиента, и через месяц Серго позвонил.

В доме на Рублевском шоссе худой и некогда высокий хозяин, волосы образуют то, что прежде называли бы копной, расплачивался с мастером, менявшим дверь:

— Ах да, я ведь должен вам еще за доставку. Ну, допустим, сто пятьдесят рублей — этого хватит?

— Ну, хватит. Я хотел у вас попросить автограф, хотя бы на листе чистой бумаги, моей дочери. Ей девятнадцать лет. Я сказал: ты знаешь такую фамилию — Микоян? И она что-то вспомнила!

— Сейчас, найду какую-нибудь открытку... сколько, вы говорите, лет? Ей писать?

— Напишите «Юле».

Чухарев присел к низкому столику и разглядывал кресло-качалку, ветки вербы в высоком кувшине, африканский барабан с двумя колотушками. Повертел в руках огромную раковину, приложил к уху, заглянул внутрь, обнаружив надпись «А.И.Микояну от рыбаков СРТ-Р-9000 “Омар”, Гавана, 25.11.62 года»; под люстрой висели на проволочках расплющенные серебряные ложки и вилки, зубцами вверх и от движения воздуха покачивались и грустно звенели.

— Мы жили в Кремле, напротив Троицких ворот, — наученный телевидением клиент сам знал, что следует говорить, — Коммунистическая, дом 3, напротив гаража особого назначения. На месте нашего дома стоит Кремлевский Дворец съездов. — Он слегка заикался, заики трудные места преодолевают на выдохе, и Чухарев ждал, распахивая блокнот синими бороздами, ободряюще поддакивал и кивал. — Отца видели в шесть часов вечера: он приезжал обедать. Никого ни разу не ударил. Казался мягким, но страшно строгим. Однажды четыре месяца отец не разговаривал со мной, когда я... так сказать, э-э... неточно выразился о результатах своей переэкзаменовки при окончании восьмого класса. Что вы спросили?

— Про Шахурина.

— Э-э, сумасшедший, патологический тип! Собирал нас, ходил по углам, кивал и твердил куда-то в пустоту: слабый не имеет права на жизнь! Слабый должен умереть! — Клиент приподнялся и показал, как ходил сумасшедший, и так резко взмахнул руками, что задел тор-

шер. — Начитался Гитлера! Он же прекрасно знал немецкий... А потом этот ужас с Ниной. Сталину доложили, он велел: надо наказать. А кого наказывать? Мы и попали...

— Знаете, я слышал, что, когда Шахурин убивал Уманскую и себя, совсем рядом на мосту был еще один человек.

Клиент впервые обнаружил, что на него смотрят не телевизионные камеры и не безмозглые дочери установщика дверей. Он взгляделся в существо, сидящее за его столом, и дважды попытался принять более удобную позу.

— Ваш брат, — с наслаждением подсказал Чухарев.

— Ваню? Ваню. Ваню прибежал домой — руки трясутся, зубы стучат. — Клиент заговорил, морщась, словно припоминая сон. — «Я был на мосту! Видел последствия». Шахурин сказал ему: иди, ты будешь лишним... Ваню обернулся: они оба лежат.

Чухарева волной приподняла чудовищная сила, разгоняющая кровь, и понесла на стену, и он, сам заикаясь, позорно ломающимся голосом словно пролаял невероятно что, словно подсказал кто-то, словно когти полезли из-под его ногтей:

— Зачем он забрал пистолет?! «Вальтер».

— Как?— плутал дрогнувший от прямого попадания клиент. — Ну, Володя сам сперва попросил пистолет, чтоб припугнуть... Чтоб не уезжала. Конечно, глупо Ваню поступил, что дал с обоймой. А Шахурин его прогнал: иди, иди... Ваню обернулся — они оба лежат... Схватил пистолет и удрал.

— А некоторые говорят, что Ваню и убил обоих. Из своего пистолета.

Клиент мученически вздохнул, кивнул и выдавил слабым голосом:

— Да. Софья Мироновна, мать Шахурина, так считала. Что Ваню убил обоих. Из ревности. — И слишком поздно спросил: — Простите, я запомнил — кто вы?

Следовало ответить — бич Божий, Чухарев уже собрался исчезнуть.

— Как вы думаете, Шахурин или ваш отец могли напрямую попросить Сталина за детей?

— Исключено. О личном эти люди не говорили никогда.

Как ты там меня назвал? Мразь? Генерал-лейтенант, не выросший в результате темных событий из восьмиклассника; и все твои друзья по летним работам в совхозе «Поля орошения» засиделись в ребятах, пока не пришли мы; сейчас постареете — мы вас отпустим... Отдал на мосту пистолет сумасшедшему другу пугнуть красивую девочку, забыл вынуть обойму, и вроде ушел, но как-то недалеко, а потом вернулся к двум дергающимся, истекающим... схватил пистолет и убежал, и зубы стучали от страха... и ничего не похоже на правду... А мы тебе добавим фронтального света, ты еще будешь закрываться рукой и вглядываться, кто это там спрашивает из-за солнца, ты все это еще объяснишь, а потом мы тебе расскажем, как все на самом деле... и дадим подписать... У Чухарева подрагивали руки, впервые он испытал это сладострастие вытягивания рыбы — сумел и теперь *вровень* с другими; он двигался среди простолюдинов, бумажных оцифрованных людей, биографий, фото на документы, интимных снимков, имущественных споров и нестыковок в показаниях, не волнуясь больше об одежде и пище, — наполненный тою неподсудною силой, что возносит невзрачного человека, когда тот приподнимает полосатую ленту, оцепляющую место, где жизнь показала суть, бегло показывает удостоверение постовому, и в одно дыхание все понимают: *вот* — и все покорятся ему, сделают, как он скажет, никто не осилит его ношу — представить и доказать, как там на самом деле, оставив самое донное знание при себе из великой только жалости к людям... Чухареву хотелось рвануть в контору с ошеломляющими вестями, но Москва показалась незнакомой — она предстала завоеван-

ной землей, принадлежащей ему и немногим таким же; ему не хотелось славы — условием обретенной силы была невидимость, — ему хотелось забрасывать сети еще, ворочать камни, ночевать на работе.

Заглянул в переполненный молодостью гуманитарный корпус МГУ и прогулялся вдоль книжных лотков, задумываясь, крадясь следом за бледными богинями, — и вдруг ему стало грустно, что молодость прошла, не утешало, что у богинь молодость тоже пройдет, — богини вечны, у них нет лиц, а есть весеннее победное цветение — они будут всегда.

Чухарев остановился у доски объявлений равнодушно почитать чужую жизнь, девушка подошла и встала за его спиной и запела что-то, — он боялся оглянуться, — слышно и уверенно напевала, красивым голосом; по ступенькам сбежал парень и ее увел.

Что-то еще, острое, появилось в городе, в его жизни; в автобусе он загляделся на плотные, ровные ноги девочки — сидела, выставив из-под сумки голые ноги, полноватые выше колена, а если встанет и повернется спиной, станут видны едва заметные поперечные складочки на сгибе под коленями, — ноги, не успевшие загореть, словно сделанные не из кожи, костей и мяса, а из чего-то съедобного, прохладного, мороженого и тяжелого, невесомого; уже ставшие родными — и вдруг выскакивают из автобуса вон, хоть закричать: не уходи! Ну а дальше? Ведь не скажешь: я нужен тебе?

Ведь он знает давно запах, вкус и ощупь, так что нечего рваться, остается смотреть на летние ноги и подолаы, ловя счастливый миг, когда помощник ветер задирает края плащам и мигает узкий снежный лучик незагорелой плоти.

— Почему ты всех отдал Чухареву, а с Реденсом хочешь встретиться сам?

Реденса настигли в высотном доме на Котельнической набережной. Мы с Гольцманом накануне подъехали

посмотреть подъезд и двор, потом от «Иллюзиона» поднялись на Швивую горку, пока Александр Наумович не устал, и спустились вниз. Бывал я в этих местах, в угловом двухэтажном доме, где принимаются звонки о смерти со всей Москвы и делается заказ на выезд агента и простые гробы. Реденса, принципиально не носившего фамилию матери (а был бы еще один Аллилуев), брали последним, он сопротивлялся дольше — год, целый год, четыре захода разными голосами, боялся я, что умрет. Леонид Станиславович, вкрадчиво сказал ему Гольцман, играя заведующего архивом организации ветеранов Министерства иностранных дел, мы опросили уже всех ваших одноклассников, и все, не сговариваясь, не то чтобы обвиняют вас, но... и кому, как не вам, ответить на слабость чужой памяти... а то ведь готовятся публикации... а у вас внуки... И Реденс купился — все они словно ждали нашего прихода, счастливые и несчастные оттого, что еще нужны.

— Мальчики пусты, Александр Наумович, — никто, кроме Ваню, ничего не знает про убийство Уманской: услышали от родителей, прибежали, тел не застали, кровь кто-то засыпал песком. — Но почему же они не виделись столько лет? Неужели оттого, что кто-то из них предал их игры и они до сих не знают кто? Сломал жизнь, а были бы адмиралами и квартиры имели бы получше, так им кажется... Не признают своей жизни. Чужую носили из-за идиота Шахурина!

— Ты должен учесть: дети, а допрашивали их мастера. Сколько они навалили друг на друга на очных ставках — им просто стыдно взглянуть...

— Вот, — я остановился и ухмыльнулся холодным, внимательным глазам седого, изящно-дряхлого Гольцмана. — Стыдно! Они стыдятся своей игры. Ни один не сказал прямо — *во что* играли, как это связано с Ниной... Не могли же их взять за хранение оружия — взяли бы Микояна, но арестовано *восемь*, и слухи про какие-то найденные списки...

— Ты просто ждешь, что наш агент в Англии получит информацию, которая все изменит.

— Покажет нам выход. Там, где вижу его я.

— Хочешь мое мнение? Не жди. Петрова — красивая женщина, и только. А наш секретарь — хорошая девочка. А из Чухарева будет толк. А школьников сдал скорее всего Реденс — из восьмерых он самый уязвимый: расстрелян отец, Сталин недолюбливал его мать. Как только Бакулев потребовал: поклянитесь, что никогда никому... Реденс мигом понял, чем кончатся тайные клятвы, встал и — побежал... Поговори с ним.

— Проходите! А это мой внук Василий...

Внук, названный, как я предположил, в честь императорского сына, сидел за компьютером в наушниках.

— Собачка наша...

Такса Джина, через двадцать минут ее порвал ротвейлер, и мне пришлось прийти через неделю.

— Сядем...

Старые креслица.

— Я приехал в Москву в конце 1938 года из Алма-Аты после ареста отца. Квартиру опечатали, но ее смог оформить на себя дед. Не называйте наш дом Домом на набережной, мы все его знали как Дом правительства.

С началом войны я оказался в Сочи со Светланой Сталиной и женой Якова Юлией, потом машинами — Сухуми, Батуми, Тбилиси; жили в гостинице с Хосе Диасом, секретарем испанской компартии, слышали про такого, Хосе Диаса? А про моего отца писал в книге воспоминаний полярник Папанин. Вы слышали про такого, Папанина? Через Баку в Красноводск, потом Ташкент и вагон-салон до Куйбышева — в середине ноября, и прямиком в школу. Подружился сразу с Серго.

Увлекались только пиротехникой, начинали порохом и взрывали баллончики из-под углекислоты, а оружие

было мечтой каждого мальчишки! Но боевой пистолет имел только Ваню.

Я же нашел на свалке остов пистолета, залил свинцом и ходил с этой игрушкой. Серго раздобыл мелкокалиберный револьвер, стартовый. Чтобы опробовать, забрались на чердак соседнего со школой дома и в темноте нажали курок — выстрела нет. Серго повертел пистолет, подергал курок и — выстрелил себе прямо в ладонь! Ашхен подозревала, что выстрелил из своей свинцовой болванки я. Она все недостатки сыновей списывала на плохое окружение. Серго заикался — так она всем говорила, что заикаться его мой брат Александр научил.

С многочисленными микоянчиками я еще больше сдружился на даче Горки-2 в Зубалове. Они жили шумно: выкрали из дома коменданта винтовку, отпилили ствол и, когда беззащитный Микоян выезжал со двора (машина охраны ожидала за наружными воротами), пальнули в воздух с башни усадьбы! Чекисты забегали как сумасшедшие, думали, покушение!

Как-то зашли в гости к Молотовым, Вячеслав Михайлович вдруг церемонно усадил всех обедать и объявил: пусть теперь каждый скажет тост! Светлана Сталина сказала кратко и красиво. Я очень смешался: ну, не могу. Ты не стесняйся, сказал Молотов, скажи просто: за котлеты! И тех, кто их уважает!

(«Смотри, какое солнце на улице, любимый! Все время думаю про тебя. Но ты не зазнавайся».)

— Вы чувствовали себя обделенным рядом с ними?

— Знаете, время такое... У каждого кого-то близкого арестовывали. Вот и нашего отца арестовали. Но я в душе не верил, что он враг. Тем более мать считала: он жив — и всех будоражила своими поисками. И самое главное: все в нашей жизни зависело от отношения Сталина. А Сталин к нам отнесся хорошо.

Вот Джонику Сванидзе — умный очень мальчик, стонился наших игр — пришлось тяжело. Отца расстреля-

ли, мать расстреляли, остался в комнате в коммуналке, с чужой няней и сильно бедствовал. Со мной не сравнить.

— Некоторые ваши друзья называют Шахурину сумасшедшим...

— Политика — у Шахурина был такой бзик... У каждого свой бзик. Вот, например, моему брату всюду мерещатся евреи. Кстати, вы знаете, что отец Хмельницкого представлялся Рудольфом Павловичем? Хотя на самом деле звали его Рафаил.

А Володя о политике говорил без конца. Они шли с Серго по Тверской и размахивали руками: вот когда мы придем к власти...

— И что они собирались сделать?

— Я не помню. Я приходил в гости, он показывал мне «Майн кампф», он читал «Гитлер говорит», другие немецкие книги, а меня больше интересовали машины. Алексея Иваныча Шахурина возил «грэхэм», необычная машина для тех дней. Я любил технику, меня больше ничего не интересовало, а Володя просто изнывал от желания к Нине. Ужасно сексуально озабочен! Захлебывался: прихожу я к ней домой, а она в одном халатике — *в одном халатике!*

— Думаете, говорил правду?

Старик смолк, потом упрямо повторил:

— Ну просто жаждал ее! Как узнал, что Нина уезжает, твердил: убью ее! Убью!!! Я себя винил: как же я все это слышал и не заявил? Прямо навязчивая идея!

— А зачем хотел убить? Как-то объяснял?

Реденс опять замолчал и недовольно пробормотал:

— Никак не объяснял. Он сразу в меня вцепился и сделал доверенным лицом. Часто рассказывал, как сбежал с девочкой на остров в Куйбышеве. В феврале отдал на хранение свои дневники и свою переписку с Бакулевым — они же командовали в нашей игре! Он боялся, что бумаги найдет мать, Софья Мироновна постоянно шарילה по углам, держала под контролем каждое его движение.

— И вы отдали их...

— Потому что считал своим долгом! Я сам не знал, что отдавал! Мы шли на похороны Володи, и мать говорила: ты хоть почитай сначала то, что несешь, а я не читал, да, я пришел в квартиру и отдал Шахурину. Алексей Иванович ушел в кабинет, почитал и вышел в-о-от с такими глазами!

(«Любимый, я знаю, что тебе сейчас очень плохо, невыносимо. Но знай — я все время с тобой, я рядом, ты не один. Чем мне помочь моему мальчику? Любимый, не молчи!»)

Ночью я вышел дышать под фонари — черный пляж, черное море, жутко спуститься по ступенькам в тьму на песок, и я остался сверху и стоял, навалившись брюхом на ограду, и вдруг разглядел наши два лежака — почему-то только два наших лежака не убрали, и они остались там, внизу, у меня под ногами, точно так соединившись углом, как я поставил их утром, занимая место; я нависал над ними, словно над могилами, всматривался в море и смаргивал слезы... В дальнем кабинете опять горел свет.

— Чухарев чрезвычайно усердно трудится, — Гольцман уморился меня ждать и душил зевки, — не выгонишь. Жена звонит через каждые полчаса.

— А он уже начал на нее покрикивать: не мешай мне работать! И бросает трубку. И он прав, дорогой Александр Наумович... Но почему все-таки Ваню? Он и так мне не нравится.

— Ты не веришь?

— Верю, верю... Беременная девочка убита по приказу тайной организации сексуально озабоченных подростков, готовивших покушение на Сталина. Бред какой-то.

— Плохое настроение?

Похороны почти не запомнились. Нину хоронили убого и страшно, в открытом гробу, члены ГКО, наркомы, послы и члены ЦК не приехали, Уманский вел себя сдержанно, подходил и каждому грозил учительским

пальцем: «Только не плакать», и напоминал: не проговоритесь, Раиса Михайловна должна думать, что Нину сбил автомобиль, дочь ударилась виском о камень мостовой. Кому-то показалось, что детей намеренно пригласили немного — видеть учеников 175-й школы Уманскому было невыносимо.

Раиса Михайловна, когда ее отрывали от гроба, сняла с мертвой руки своей девочки часы, в память, и надела на свою руку.

Отца и мать покойницы привез в крематорий Руда Хмельницкий на двенадцатицилиндровом темно-синем «паккарде» (всего в империи их ездило два, вторым владел Василий Сталин, но тут существенное расхождение — другой источник свидетельствует: «паккардов» с бронированными стеклами имелось в наличии все-таки поболее двух единиц, но полагались они только членам Политбюро, а Вася именно в июне сорок третьего ездил попеременно на «виллисе» и канадском «грэхэме». Руда-Рудольф-Рафаил Хмельницкий повелел шоферу: «Иван, все, что ты увидишь или услышишь, должно утонуть в этой машине»; этим же «паккардом» или этим же чем-то Уманские уехали из крематория в аэропорт, сам так решил или подсказал кто (приятель Кобулов Б. замминистра НКВД): хорони и беги, пока не начались допросы, пока не начали показывать на тебя (дочь-то в Америке подразложилась, не будешь же отрицать); слезами ее не вернешь, слышь? — спасай Раису, если не хочешь хоронить ее следом, хватай приказ о назначении и лети, и, может быть, тебя из Мексики не достанут.

Все дети хорошо запомнили ноги Раисы Михайловны — ее волоком тащили к машине, ноги чертили две плавные непересекающиеся линии по дорожке, ведущей к Донскому крематорию.

(«Я совсем одна. Ты не представляешь всего моего положения, как тяжело мне, невыносимо. Именно сегодня мне так нужно хотя бы слово от тебя, умоляю!»)

Жгли Володю и Нину в один день, утром (на самом деле — нет). Софья Мироновна, напротив, желала видеть всех, давая понять: стыдиться ей нечего, сын *не убивал*. Обзвонила каждого, класс отставил занятия и отправился на улицу Грановского к богатому гробу — мальчик, проявлявший удивительные способности к иностранным языкам, лежал в цветах, укрытый пышными покровами. Софья Мироновна перемещалась промеж с продуманным трагизмом (а вот сын Кирсона, мальчик Коренблом, запомнил: полумертвой лежала ничком на тахте, одна в маленькой комнате, у него хватило ума только пролепетать: «Да вы не расстраивайтесь *так*, Софья Мироновна»), Бакулева обняла на пороге: Петя! — и повлекла к гробу, словно дорогого гостя к накрытому столу. Еще один друг, мальчик Кузнецов Юра, — его как щеночка доставляли Володе на дачу, чтоб вместе побежали, — запомнил: в день похорон его мучил понос.

Кое-кто заметил, что Реденс пришел с матерью и нес что-то бумажное в руках, и каждый ношу увидел по-своему и поспешил назвать следствию: *папка, конверт, тетрадь, списки*; каждый сочинял, богатый знанием последствий — дескать, видели мы судьбу, все на наших глазах, и мы, мы тоже участники, а не однолетняя листва.

(«Мы еще есть? Только одно слово! Мы еще вместе?»)

Словно учуяв гарь, посреди утра я бросился звонить — путаясь в именах, отводя колючие ветки: сменила телефон, занята, не с кем оставить дочь, сижу и смотрю на Эгейское море, буду двадцать третьего и сразу напишу, я же на даче — ты забыл? вне зоны доступа сети, я сегодня работаю, как раз вчера думала о тебе, давай завтра (течет, не успеет накраситься и выбрить подмышки, дома ремонт, обещала помочь сестре с рефератом), на следующей неделе могу, а сегодня давай лучше в театр или просто погуляем, такая весна, ми-илый... я иду на день рождения, идем со мной? — тратя свое единственное... на

блеванное: подожди, я перейду к другому телефону... ну, как твои дела? что у тебя нового? что долго так не звонил? можешь меня набрать через полчаса, я освобожусь, и мы с тобой подробней поболтаем... Сверни на что-то другое, сегодня не выйдет, пусть другой день, — но свернуть не мог, долбил, нагреваясь, пока не забрезжило: попробую, хотя... если успеем до пяти, ты хотя бы заранее... я перезвоню, если не смогу, если не звоню, выезжай, но побыстрее, чтобы успеть до пяти, ты правда хочешь? выезжай, нет, пятнадцать минут жди и, если не звоню, выезжай — и что-то радостное поблескивало в телефонном голосе, брызгал сверкающий сок, я смахивал бумаги по ящикам (а если сейчас позвонит? нет!), детским преувеличенным почерком переносил из тайных... на бумажный клочок улицу, подъездный код и этаж, чтобы не тратить время на ненужное — успеть до пяти... Я отъеду, Александр Наумович.

Гольцман вдруг проворно поднялся и вздохнул, он не любил выскальзывать из кабинета, не опечатав папки, не заперев сейф, — Алена ворвалась бессонная, несвежая, вымотанная дорогой, попахивая потом сквозь резкие покупные запахи, и вцепилась:

— Господи, ты жив! Жив! — голосила она. — Ты жив... Как же ты меня напугал! — И захныкала: — Я из аэропорта, сразу к тебе — что ж ты молчал, любимый?! — Запрокинула лицо и пресно всосалась в губы, в любимой манере елозя грудной сбруей по мне и стопами изображая голод (успеть до пяти!). — Милый, желанный мой... — (Я держал ее за лопатки и дышал ртом.) — Давай сбежим куда-нибудь... К тебе... В сауну... Я больше не могу без тебя...

— Мне надо ехать. Надо срочно опросить свидетеля. Алена, — я чуть встряхнул ее, отклеил. — Я должен успеть до пяти.

— Нет, сегодня только я, ты все успеешь завтра, — жадно впивалась и даже неловко, косым движением махнула рукой по мне: от живота вниз. — Каждую ночь ты

мне снился. — Я разобрал, что она продышала: — Я хочу тебя...

— Пока тебя не было, тут у нас... Важная встреча... Алена!!!

— Никуда тебя не отпущу сегодня. Ты можешь *ради меня*, один раз что-то — ради меня... Один раз, — она повела перед собой тощим указательным пальцем с алым когтем.

— Я живу ради тебя. Не обижайся, милая... — Хоть бы кто-то зашел! — Мне нельзя опаздывать.

— Пожалуйста, — и она завыла. — Ну, пожалуйста!!!

— Я не могу! Я должен успеть до пяти! Дай мне жить! Работа — самое главное в моей жизни!

И толкнул ее с дороги, но она репейником цеплялась за рукава:

— Я поеду с тобой, а потом мы... куда-нибудь... Посижу тихо. Посижу в уголке. Буду записывать. Так соскучилась по тебе. Ты хоть немного вспоминал? Скажи: я тебе нужна, хоть немного?

— Ну что ты будешь, прямо с дороги... Я приеду вечером к твоему дому, ходим в парке.

— Ну, *пожалуйста*, — прыгала она, — поеду с тобой. Я на допросы всегда ездила с тобой.

— Не сегодня. Свидетель не станет говорить...

— Да я не отпущу больше тебя — *ты можешь это понять?* — Она вскрикнула и отцепилась — так вмазал я кулаком по столу, и моя любимая единственная ручка, черная с золотыми ободками, — об стену! об пол! разлетелся колпачок с золотым клювом и чернильные брызги... Что еще сделать? что еще сделать?! стулом в окно? сдохнуть?!

— Ты-ты-ты-ты-ты-и-и, — пропел Боря и, как слепой, неуверенно прошаркал на середину кабинета. — Ты-ты-ты-ты-ты-и-и, — и шлепнул мне на стол какую-то херню на пружинке с английским флагом. — Секретарша привезла. Ни про кого не забыла! Ты-ты-ты-ты-ты-и-и... — И востор-

женно воскликнул: — А я собачку взял, Алена Сергеевна, — Боря потянулся, — овчарочку! Три дня гуляли. А позавчера супруга моя говорит: а что-то собака ваша, Борис Антонович, приволакивает задние ноги? Пригляделся — действительн... Есть такой момент! Зачем мне переднеприводная собака? Отвез я ее, — мурлыкал Боря, — по Каширке, тут недалеко... Вывел на поводке, взял за ошейником покрепче и топориком-то и успокоил, и... — Боря воровато оглянулся и сделал гребущее движение ногой, — щебенкой так сверху нагарнул, а там дорогу строят, сверху ляжет асфальт и побегут автомобили... До свидания.

— Давай я хоть отвезу тебя. Давай? Ну, пожалуйста.

— Ну, давай (о боже!). Как ты отдохнула?

Она кивнула: отдохнула — и смотрела на дорогу, улыбаясь, прикусывая губы. Я вертел адрес в руках, и жег меня стыд за чернильную ручку — подарил человек, служила честно столько лет, тепло пальцев, родная вещь, два переезда, терял в Минске в гостинице, вернулся с вокзала и нашел... Дурак! — А-а-а, будет другая... Но такой уже не будет, и такого, как я, не будет, еще один кирпич в одинокую...

— Ты прости меня, — попросила Алена, — больше не повторится. Набросилась на тебя, бедного...

— Да я...

— Я все понимаю, милый. Просто соскучилась. Напридумывала себе. Ты меня любишь? Правда? Ты не опаздываешь? Мы правильно едем?

— Ни разу там не был, это ж первый раз, — врал я, и с натугой, хотя она, казалось, почти не слушала меня. — Бабка, живет одна, глухая. Неделю уговаривали через племянницу... А в пять к ней врач... Работала в НКВД, у Кобулова. Представляешь, одна невероятная идея появилась. Даже говорить не буду, пока бабку не опрошу. — Почему «бабка»? не мое слово! — Касается Петровой... Подожди, вот Севастопольский проспект... Какой это дом? Быстро доехали.

– Посидим немного? – Она утомленно привалилась ко мне, но ненадолго, словно что-то вспомнила, потянулась и поцеловала в шею; осталось немного потерпеть; она засопела и заглянула в глаза. – Пойдем на заднее сиденье? Пойдем? Ну, пойдем... У нас же есть с тобой пять минуточек.

– Алена, – приходилось целовать и гладить кожу, песочное, сухое терпение.

– Ну, пойдем, – гнусавила она и закатывала глаза, играя в другую, – или я буду приставать к тебе прямо здесь.

Я притянул ее к себе сильно, обхватил и держал, пока она не ослабела, не перестала шевелиться, замерла, словно вслушиваясь в два сердцебиения, – два человека в машине под начинающимся дождем, – я трогал губами ее макушку и ждал, пока пройдет достаточное время.

– Надо идти. Я пойду.

– Подождать тебя?

– Откуда же я знаю, на сколько... Слушай, ты же еще дома не была – поезжай!

– Я пробегусь тут по магазинам.

– Я могу добраться до дома сам? Алена, честное слово!

– Приедешь вечером? Я сегодня одна. Сережка ночует у бабушки. – Про мужа она не говорила никогда.

– Позвоню, когда освобожусь. Расскажу, чем кончилось.

– Только не отключай телефон.

Я с наслаждением вырвался на воздух, в собственные шаги, в движение, облизывая губы, трогая нос – делаю все, что я делаю, когда на меня смотрят, и преувеличенно изображая, что ищу дом, сверяясь с бумажкой, чтобы не оглядываться: уехала? – а оглянуться тогда, когда уже никого нет...

– Готовы пельмени, будешь?

Я сразу пошел под душ, крикнув за дверь: точно до пяти никто не придет? — а может, и придет, все может — мне не нравилось целовать в губы. Сами совокупления, происходившие после обеда, оставляли ощущение сальности, ощущение жира, ощущение мяса и предвкушение вляпаться, но я жил в те безумные, стремительные... когда хотелось, и не видел... лишь бы она не напоминала о себе; мешали ее глаза, но она и не смотрела — встречала у порога в жирной помаде, под юбкой новые трусы. Ходила ли она под душ? Кожа никогда не пахла мыльной чистотой и не сохраняла недавний жар горячей воды. Из-за кухонного стола, теряя полотенце, огибая стол в гостиной — в комнату направо, на аэродромную кровать, откинув алую подушку сердечком. Хотелось полежать в покое, но она чмокнула два раза в грудь и в живот, как тепловатой, резиновой присоской, и положила колено на пах, я подполз, борясь с пельменной отрыжкой. Мы ползали друг по другу, мой телефон все-таки зазвонил, в джинсах, на вешалке в ванной, она брезгливо лизнула: «Ты такой вкусный...» и полезла на меня, я выгибался рывками, но никак не мог.. она с рождения не брилась там, и я тупо путался в жестковатых космах, пока она весело не сказала: «Сама!» На лице ее качалось слепострадательное выражение, она вслушивалась в себя, пытаясь полностью и побыстрее накормить свое тело...

«Хочешь кофе?» Лежали, гладились, ужасно, что и после не ходит под душ, то же самое полотенце, она странно смотрела, как я вытираюсь, застегиваю ремень, говорю что-то, как сахарный кубик задрожал вдруг в руках — про мою жизнь, — но мне нечего рассказывать про свою жизнь, ее уже почти нет. В прихожей (мы успели до пяти) она вдруг тихо проговорила, поцеловав в глаза — бегло, щекотно:

— Давай я рожу от тебя мальчика. Будет у меня Феденька.

Вот оно.

Стер телефонный номер, выбросил адрес, где всегда кормили, в картонную коробку под ноги консержке, номер дома, где всегда могли, когда не мог никто, и поэтому ей не звонили почти никогда, только в последнюю очередь, и после пяти кто-то приходил с работы... распространенное имя и неизвестное — остальное все, а может, и дом тот уже сломали... ни за что... я пожалею.

Ночью (все равно не спал) позвонил Гольцман: нашелся немец Вендт, отец дебила.

— Ночь, Александр Наумович, почему вы не спите?

— Слушал пленки из Лондона. Наш человек вернулся.

Немые

Сын мясника (а я, кстати, правнук мясника), а по сведениям, уточненным за двести долларов, сын мелкого торговца, **ВЕНДТ ЭРИХ РИХАРДОВИЧ** родился 29 августа 1902 года в Лейпциге. Работал наборщиком в типографии и в шестнадцать лет вступил в коммунистический молодежный союз. Арестовывался за подготовку переворота. Спасаясь от преследований, в июне 1931 года выехал в Москву. Возглавил издательское товарищество иностранных рабочих (на самом деле — зампред правления); контрольным редактором издательства числилась Тася Петрова — редактировала переводы Ленина и Сталина, в частности «Марксизм и национально-колониальный вопрос», и заседала в парткоме. В августе тридцать шестого Вендта арестовали за шпионаж в пользу Германии и исключили из Коммунистической партии Германии. Беременную (срок небольшой, две-три недели, я так посчитал, не больше, ей бы аборт; выходит, пожалела... или надеялась?) Тасю вывели из парткома из-за отсутствия бдительности, еще повезло — следующим летом «по делу Пятницкого — Кнорина»

арестовали председателя правления издательства Бела Куна, сокола императора, прославленного чисткой Крыма от контрреволюционного элемента, в первый день чистки расстреляли 1634 человека. Первого июля начался самый памятный день в его жизни — допрашивали двадцать пять часов кряду, заставляя стоять на одной ноге. Когда терял сознание и падал — обливали холодной водой. Он назвал многих. Крепса, заведующего издательством, расстреляли 25 октября (Куна мучили еще два года); если бы Петрова не вылетела раньше, Кун утащил бы и ее за черную реку.

Два года НКВД занимался Вендтом в саратовской тюрьме, 13 июля отпустили за недоказанность обвинения и восстановили в партии; после пакта с немцами дали поучить школьников в захолустье родному языку, а с началом войны депортировали с поволжскими немцами в Красноярский край — рабочим, помощником бухгалтер в совхозе «Маяк»; потом поверили, и пять лет он переводил на радио (виделся ли с Тасей? знал ли сына?), а в сорок седьмом вернулся в Германию и дожил свое ровно и плавно; дослужился до замминистра культуры (приезжал ли в Москву, писал ли любимой?) и тихо умер весной шестьдесят пятого, отметившись в двух малотиражных справочниках как участник переговоров с сенатом Западного Берлина о допущении поездок к родственникам в Восточный Берлин на Рождество.

Внезапно я подумал о другом:

— Где его дело?

— В архиве Саратовского УФСБ. Не дают. Нужна доверенность от родственников.

— Сейчас вы скажете, что после Петровой у Вендта не было никого...

— После — да. До — просматривается жена. Лотте Кюн, Шарлотта. Партия направила ее в 1935 году секретарем к Вальтеру Ульбрихту в представительство в Париже. И она... она, в общем, сблизилась с Ульбрихтом. В личном плане. Но числилась еще женой Вендта. После его

ареста Шарлотту проверила международная контрольная комиссия Коминтерна и вынесла выговор по партийной линии. Ульбрихт на ней женился, Шарлотта Кюн — его третья жена.

— Получается, что...

— Да, жена Вендта — то ли он ее бросил ради Петровой, то ли она его оставила — стала первой леди ГДР и умерла недавно, в марте 2002 года, девяноста девяти лет. Доживала затворницей, ни с кем не общалась. Боролась за эмансипацию женщин.

— Может быть, дети?

— Своих детей не родили, взяли двухлетнюю девочку из украинского детского дома. Дочь Беата, как там они пишут, проявляла зависимость от алкоголя, скончалась в 1991 году при невыясненных обстоятельствах. На первом допросе Вендт показал: его семья — брат Курт, проживает в Берлине, адрес неизвестен, брат Фриц, адреса не имеется, сестра Иоганна, замужняя, проживала в Берлине, точного адреса не имеется, и жена — Петрова Анастасия Владимировна, улица Серафимовича, Дом правительства, кв 311. Неясно, зачем он назвал Тасю, если брак не зарегистрирован... — Гольцман подождал-подождал и устало спросил: — Зачем тебе его дело? — Он еще подождал и горько продолжил: — Так ты хочешь знать, что про него говорила Петрова... Ты думаешь, топила Вендта и спасала себя... — он предлагал мне лгать еще, хоть немного.

— Да нет, нет, конечно, — глухая неприязнь, похожая на основательную ревность, распустилась во мне и душила. — Нет, — сбился я на хрип, это я отчего-то волнуюсь, но она ж не первая, такая страшная и скучная жизнь, все спрямляет, всем надо кушать и крышу над головой, всегда под руку подворачиваются маленькие дети, им ничего не объяснишь, им надо приносить и класть что-то в клюв ежедневно. — Я только хотел посмотреть, как называли ее в материалах дела... «Берта»? «Англичанка»? Агент «Огнева»? Агент «Огнева» сообщает...

– Ты... – Гольцман не добавил «дурак», «сумасшедшая скотина», безнадежно обтекаемый старик прошелестел, словно кому-то я сделал больно на его глазах, словно что-то болезненное делали с ним: – Ты думаешь, Петрова – секретный сотрудник НКВД?

– А вы так не думаете?

Он споткнулся, взвешивая, говорить ли правду и что есть правда, и:

– Нет.

И погромче:

– Нет. Что тебя так раздражает? Ты слышишь? – Он думал, что вырубился телефон. – Алло?

– Александр Наумович, – и он сразу смолк, – я вот тут подумал-подумал над нашими делами, да и отправил на прошлой неделе запрос в службу внешней разведки от юных краеведов... Не проходит ли по их делам Петрова Анастасия Владимировна, она же Флам. – Старик уже знал, что ответить, но вмертвую молчал, избражая смятение, оставив мне шорохи межзвездной пыли. – Нет, Александр Наумович, на нашу клиентку у них – ничего.

– Вот видишь.

– Но они написали, что за последние три месяца это второй запрос по Петровой-Флам, и тоже с нашего адреса.

Где-то там, ночью, в пустой квартире на углу Ленинского и Университетского, старик прикрыл ладонью глаза, вздохнул и сказал:

– Я хотел всего лишь... проверить...

– Вы тоже вдруг увидели, что Тася из наших. Что на ее жизнь следует посмотреть по-другому.

– Нет. Просто хотел проверить.

– И мне ничего не сказали. Сами учили: никому нельзя верить. А что же вы не запросили архив ФСБ? А потому, что знаете – агентов иностранного отдела НКВД не раскрывает. Никогда. Тем более – агентов Второго управ-

ления. Я думаю, и вы так думаете, числилась-то она в контрразведке... Только почему вы решили, что мне будет больно... что красивая Тася не только любила многих, но еще и... — И больше не попало подходящих слов от боли. Ну и что, что с того, что как-то она *так* действовала на мужчин, никогда не говорила о прошлом, холодна и строга? Все — потеряли ее фотографии, не осталось следа, одна внучка. И та отравилась.

— Я так не думаю, — для самого себя потверже сказал Гольцман. — Ты всех подозреваешь. Ты не высыпаешься. Дай ей возможность обойти все это и прожить... Тася могла и не коснуться.

И я хочу. Я почему-то хочу оставить ее там, где мы ее поселили, выследив и окружив, чтоб не выполняла заданий при признаниях, первых прикосновениях губ и впоследствии на простынях, в спальнях дачных домов, в душевых, воровских перерывах между диктовками, роняя стенографические блокноты, прислушиваясь к звукам в приемной, натянуто улыбаясь стареющим женам, украдкой подбирая с пола оторванные пуговицы и заново принимаемая рабочий вид: где мы там остановились?.. чтоб не затрагивала невзначай в разговоре с объектом нужные темы, не заполняла убористым почерком в неделю раз...

— Вспомните анкету. Ее изучили и взяли: больше года — стенографисткой ВЧК. Там ее наши и прихватили покрепче. В Китай не могли послать случайного... Конечно, перерывы на беременности и семейную жизнь, но выскочить она уже не могла. Год — секретарь-референт посольства в Англии, тоже понятно. В издательстве иностранных рабочих она кто?

— Редактор.

— Да? Это она в автобиографии сорок третьего года написала: контрольный редактор. А в партбилете — зав секретной частью. Ясно? Что видим дальше? Мужа — а ведь получается муж! Вендт на допросе назвал ее женой, значит, не *всего лишь* залетела! — арестовывают,

как немецкого шпиона, а ее, — я усмехнулся и покачал головой, словно кто-то мог меня видеть, кроме нее, — ее даже из партии не исключили! Наши ее прикрыли и отвели — зонтики шить... И пригодилась! Литвинова одного бы не отпустили — обиженный, жена-англичанка, мало ли куда вывернет, да еще в сорок первом — готовый премьер-министр свободной России! Петрова же — по всем статьям, Александр Наумович! — спит с «объектом», дети под Рязанью в заложниках, секретарь — все контакты под контролем. Не Литвинов ее у Сталина просил, — все делала, чтоб мы так думали, — наоборот, достали с фабрики и подставили: да вы же знакомы! вы же вместе работали, в Женеве! помните, Тася? А Литвинов отказаться не мог, хотя все понимал; по голове гладил и косу ей расплетал, вставлял, если мог еще, но все понимал... А потом, кем она там после войны... Замдиректора инокурсов МИДа! Кого вы там готовили, вы должны помнить! Как раз годы, когда послы исполняли обязанности резидентов...

Гольцману словно стало невмоготу, просяще он сказал:

— Я. Не верю. Я тебе не верю.

— А я посмотрел список агентов из советских граждан на связи с резидентурой в Нью-Йорке, чья личность не установлена до сих пор... Так вот, на связи у Семенова в начале сороковых группа: Эврика, Борн, Андреев, а четвертый агент Тася — не наша ли?!

— Они не могли дать ей такой прозрачный псевдоним.

— Вы кому это говорите? А Голоса кто назвал Звуком? А Бухарцева Эмиром? А Уманский — Редактор?

— Я не верю.

— А во что вы верите? В любовь? В воскрешение из мертвых? Во что, кроме правды?! Что швею послали работать секретарем посла в Штаты в тот же месяц, когда ее мужа сослали в Красноярск как сомнительного немца? В Союзе больше не нашлось секретарш с толстой жопой?

— Извините, — пикнуло, загудело, и все пропали.

Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия: Из Америки отец приехал постаревший, полюбивший, без привычной жестокости. Привез мне немного одежды. Выказывал заботливость, если ехал куда, спрашивал: что купить? Он поселился в Доме правительства в большой квартире под балериной Ольгой Лепешинской с окнами на Кремль. Он, я с мужем и двумя детьми и две домработницы – лейтенанты НКВД. У отца пятидесятиметровый кабинет, маму ждала столь же огромная комната с альковом. Отец спросил, не буду ли я против, если Петрова поживет у нас. Мама давно написала мне про свои открытия, сделанные по пути в Америку. Я ответила: твоя квартира, тебе решать. Мама страшно обижалась, что я так ответила. Но я тогда всего не понимала до конца. Максим Максимович и Петрова так и жили у нас до приезда мамы.

– *Вы помните, как выглядела Анастасия Владимировна?*

– Казалась строгой партийной дамой. Только в нашей квартире, я видела, она кокетничала с отцом, друг друга похлопывали, пощипывали. Это выглядело пошлыми ужимками.

– *С кем она дружила?*

– У Петровой не было друзей. Только любовники, сотрудники. И мы.

– *Вы думаете, она была связана с НКВД?*

– Не знаю, не знаю... Может быть. Но Анастасия Владимировна, конечно, стремилась не к власти, а к отцу... Она очень любила его, искренне... Твердо хотела, чтоб Максим Максимович оставил Айви Вальтеровну и женился на ней. Но он так же твердо этого не хотел.

– *Почему? **

– Потому что любил маму. В Америке у них произошел разговор, и отец умолял не бросать его. Он очень любил и ценил маму, а она была свободолобива, у них случались серьезные охлаждения, они сепарировались. Трудно сказать, кто из них прав. В отношениях папы

и мамы отсутствовала мелкая светская фальшь, они уважали друг друга. Но Айви Вальтеровна в старости сказала мне: с мужчинами так не поступают, как поступала я.

— *Как Максим Максимович на самом деле относился к Петровой?*

— Как-то мы с отцом говорили о ней, я привела слова одного английского писателя: если женщина не может быть с одним мужчиной, то ей нужно бесконечно много мужчин. Он сказал: да. И добавил: вообще я не пойму — она институтка или комсомолка.

— *И все-таки: рядом с вашим отцом она находилась по заданию НКВД?*

— Тогда все могло быть. Но отцу она была предана. И очень горевала, когда он умер. Пришла и сказала: на имя отца в голландском банке лежит двадцать одна тысяча долларов. Напишите заместителю министра иностранных дел, вам надо попробовать получить эти деньги.

— *Петрова была несчастна?*

— Не знаю. Я просто не задумывалась об этом. Ты много спрашиваешь про Петрову... Но это было не самое страшное. Страхное случилось прежде, до войны, когда Айви Вальтеровна взяла в дом юную девчушку, «ласковое теля», сделала приемной дочерью. Девочка хорошо знала английский, ко всем ластилась, и так потихоньку-потихоньку Максим Максимович начал с ней жить, сошелся, а потом выдал замуж за начальника охраны. Мама сама виновата. Ну кто приводит в дом секс-бомбу?

Щелчок! Гольцман выключил запись и взглянул на нас с Борей с выражением «все свободны»; не выпуская диктофона из обеих рук, он неопределенно сказал:

— Как видишь...

— Разве это все?

— Осталась одна пленка. Хронологически последняя. Возможно, не имеет смысла ее слушать. Она целиком по теме, которую источник обозначил в конце...

— Что Литвинов трахал приемную дочь? У Петровой еще одна счастливая соперница? — Боря обернулся ко мне: — Мы и ее будем искать?

Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия: Мне одиннадцать лет, я уехала в пионерлагерь, мама осталась на лето одна в доме у Красных Ворот. Однажды она выглянула с балкона и увидела девочку необыкновенной красоты — девочка сидела и читала английскую книгу. Age you English? Yes. Мама обрадовалась, появился хоть кто-то, с кем можно говорить по-английски. Зине исполнилось тринадцать.

Ее отец, поляк Витольд Буяновский, талантливый рабочий, эмигрировал в Англию, Зина выросла там и училась в католической школе. Физически развита и чувственна не по годам. Когда она заявила родной матери, что хочет иметь много детей, та устроила ей скандал и отвела на медицинское обследование.

Первый вопрос, который мне задала Зина: что самое ужасное было в твоей жизни? О самом ужасном мы читали только в газетах. Мы научили ее мату, и она стала своим человеком. Миша, конечно, с ходу влюбился в нее и страшно издевался: проведет черту во дворе — не смей переступать! Дрались они жутко.

Папа чурался ее первое время, но потом вместе с мамой начал жалеть: бедная девочка! С такой внешностью рано выскочит замуж! Вечно все к ней пристают! С матерью тяжелые отношения... И Зина начала постоянно торчать у нас, мама предложила ее удочерить и попросила меня пустить в свою комнату.

Отец Зины очень болезненно переживал увод дочери от живых родителей, грозился подать жалобу в партком, но его арестовали и посадили. Мать также попыталась преследовать дочку за отступничество. Сама Зина оставалась равнодушной ко всему происходящему, она вообще была какая-то одноклеточная...

Об отношениях отца и Зины мама догадалась, когда отец, уезжая в санаторий, сказал, что берет Зину с собой. Я радовалась, я ненавидела санаторий. Мама удивлялась, потом возмущалась: почему не с Таней? почему не Мишу? — вот тогда и произошел окончательный разговор у родителей. После мама показала мне листочек бумаги, весь исписанный автографами отца: «М.Литвинов», «М.Литвинов», «М.Литвинов»... Отец так нервничал во время объяснения, что расписывался без конца на листке бумаги, попавшем под руку.

Уже ничего не изменить...

Папа пытался устроить ее жизнь, брал повсюду на встречи, но все напрасно. У нее завязался роман с охранником, и довольно долгий. Максим Максимович, когда узнал, сильно расстроился и поставил на Зине крест, хотел отлепить ее от семьи, его жег стыд — с охранником! — он считал себя опозоренным.

Ее ужасное замужество принесло немало хлопот. Ведь он доносил на нашу семью, да и вообще — какой-то охранник! А Зина стала прямо-таки навязчивой. Когда в Москве не хватало продуктов, у них стол ломился — столько она выклянчивала у отца! Поступила в мединститут, на операциях стояла в браслетах — ужасно некультурная! Когда нужно переезжать — в ультимативной форме требовала машину. И у нее получалось. Как-то я сидела и плакала: не осталось целых чулок! — отец выделял тридцать рублей на месяц. Она увидела мои слезы, пошла и выбила у отца *сто рублей!* И ей никто не указ: решила рожать в нашей семье и приехала, вытворяла черт-те что!

Ну, ладно, довольно, что ты расскажешь мне о себе? Тот человек, который тебя послал... На которого ты работаешь... Ты его что — любишь?

Гольцман неловко, как по горячему утыгу, ударил по диктофону, и с хрустом полез за кассетой, и застыл, решив не прятать кассету, пока я не отвернусь.

Я макнулся лицом в какую-то жаркую воду и вскочил: пусть поскорее все кончится.

— Мы знаем, как ее зовут: Зинаида Витольдовна Буяновская. Мы знаем, где она училась: медицинский институт... Я ухожу.

— Ни хрена не Витольдовна, — и Миргородский собрался уходить, — если ее удочерили.

Мы двинулись вон из конторы, заглядывая в щели; Чухарев гнулся над протоколами допросов мальчиков: сошел с ума, слепец, не выгонишь домой, как там его жена...

— Как там твоя жена? Да ты сиди, сиди, — важничал Боря. — Вижу — стараешься. Молодец! Но жену не забывай. Работа в разведке ставит под удар прежде всего семью. Как твое направление? Доложи.

— Прорабатываю подходы к Микояну. Изучаю ближайшее окружение.

— Грамотно. Молодец, молодец. — Боря вдруг передернулся и содрал кожу с лица, и спросил другим голосом, с отчетливой угрозой: — А зачем?

Чухарев потрогал карандаш, подлокотники, поискал подсказки на моей морде и объяснил, как умел:

— Чтобы путем получения дополнительных данных установить степень причастности его к событиям на Большом Каменном мосту.

— На хрена? — И Борю тяжело качнуло.

Чухарев надулся и встал, вывернул ладони, словно показывая: пусто.

— На хрена? И так ясно, что папа отмазал.

— Вы так думаете, Борис Антонович?

— Мы это докажем, — Боря смотрел на него печально и строго.

— Я... Я просто не предполагал, — Чухарев в смятении покосился на бумаги, вмиг утратившие какой-либо смысл.

— Легко, — Боря слезящимися глазами глядел куда-то в будущие недели, в следующий квартал, в свое место на

кладбище, сжимая покрепче правый кулак. Чухарев попятился, даже он почувал, что его ударят. — А что ты будешь делать дальше?

Чухарев онемел и, загораживаясь, потрогал заблестевший лоб.

— Будет жить. Продолжит жить, — доложил кому-то Боря. — И Ваню продолжит жить. А потом по одному все сойдем. Теперь ты знаешь, что тебя ждет. Мы тебя предупредили. Собирайся, и пошел за нами.

На улицах собирали елки, ходили Деда Морозы с белыми бородами, громада МИДа висела черным облаком над домами низкорослого Арбата, снег валил коровьими ресницами, мы прошли дальше, и над головами показалось незнакомое небо с черными дымами, кусочками синего — небо, еще не скрытое холодноватой тяжестью двух монеток, дубовой доской, красным сукном, двумя метрами глины, — как жаль, что все это случайно, нет ничего, кроме бессмысленности вселенной, совпадений атомов и молекул, нет смысла в не встрече с потерянным человеком, в красивом почерке, в замирании сердца от первой метели, в окнах, жестокости; вчера мальчик лежал в детском саду на лавке и смотрел в небо, в облака и думал: я особенный, я это вижу — и ничего, все прошло; еще бы убедить себя в том, что мальчика нет, он есть, и знание это нет сил объяснить сокращением сердечной мышцы и лживой деятельностью отделов головного мозга.

— Поведешь машину, — мы грузились в тесное тепло, — улица Маросейка. Остановишься напротив Девяткина переулка.

Чухарев сел за руль; ехали молча, словно ночью через реку. Клиент ждал — наш лысоватый майор, хранитель государственных тайн ФСБ РФ, двадцать два года в погонах, метался по тротуару, словно подошвы жгло, и пот капал с рыжих бровей; увидел нужный номер — машина! — чуть не шагнул под троллейбус, всплеснув ненужными руками — первый раз вижу его без портфеля, —

сдерживаясь, чтоб не подбежать: пугало, что в машине густовато народа, он мечтал один на один.

– Помигай фарами. И открой ему дверь.

– Здравствуй, – майор засунулся под бок Боре, хихикнул, – не всех, правда, знаю. – И зажмурился, выдавив влагу: – Нервы...

– Это наши люди. Езжай на Садовое. – Я разглядывал тротуарных баб, Боря страшно молчал, потом вдруг что-то вспомнил:

– Иван! Все, что ты услышишь, должно умереть в этой машине.

– Александр Василич, я так внепланово... – Майор искал хоть какой-то опоры в кошмаре и упрямо тянулся ко мне: знакомое лицо, пили кофе, ты же не убьешь?! – Помощь нужна! Вдруг кого-то знаете, кто решает... такие... разные вопросы, по линии органов внутренних дел?! У вас столько знакомых. Ситуация срочная сложилась. Мне не к кому... Есть к кому, но с этим – не могу! Всю жизнь может сломать! Все! Служба, жизнь и семья... – ему понравилось слово. – Сломать. Никогда не думал... Я никогда не думал... что так – можно сломать. Я готов сразу, какие-то материальные... понести, в разумных... Да любые деньги!!!

– Расскажи мне, – завывающе сказал Боря, не поворачиваясь к несчастному, – а какой у тебя выбор?

– Шантаж со стороны одной... – В единственной заготовленной фразе в этом месте стояло «проститутки», но последнее слово застряло в мозгу из соображений объективной реальности.

– Давно ее знаешь, – Миргородский спрашивал так, словно утверждал.

– Два, два с половиной... три года, – майор обрадовался, что больше не надо говорить самому, только отвечать, только честно.

– Встречались у нее дома.

– Да. Так. Почти всегда.

- Видеонаблюдение в квартире есть?
- Да откуда?
- Обычное дело.
- В голову не приходило, честное слово!
- Деньги давал?
- Ну, не то...
- Подкидывал по три сотни, нерегулярно. Делал малоценные подарки.
- Да, примерно... Нет. Полушубок подарил.
- Кто-нибудь из твоей конторы ее трахал?
- Как раз хочу сказать... *Два или три* раза... Или – ограниченное количество раз, системы, честное слово, не было – ходили в сауну, и там, там отдыхали несколько моих... ну, не друзей, но... Я не могу! Я ни в коем случае не могу назвать! И никто не должен... Ни в коем случае!
- Что хочет?
- У нас в управлении новогодний вечер, рано закончилось, все – по домам, а я решил – к ней, вдруг говорит...
- Сколько лет?
- А? Мне? Ей? Не знаю. Тридцать семь.
- Половой акт в тот вечер имел место?
- Да. Сначала – да. Потом говорит: милый, – майор нашел необходимым изобразить женский голос, стараюсь, подпуская педерастической вульгарности и жадного жара, – давай купим гнездышко для наших встреч... Я его украшу, там будет уютно, нам уже пора...
- Раньше разговор был?
- Так, не всерьез. Она так, затрагивала: а вот хорошо бы гнездышко свое, чтоб какая-то надежность... Свой дом. Ты бы приходил и отдыхал у меня.
- Ты что говорил? На это что говорил?
- Ну... Что... Хорошо бы. Да. Но еще не время, надо подождать, моих доходов не хватает, пока... В перспективе что-то, может... Год-два, больше... – Майор закричал: – Я ничего никогда не обещал!!!
- Ну.

— Что?.. А. А вчера она — как-то вот настойчиво, как-то вот: я уже не девочка, *проходит жизнь*, хоть свой угол... Заладила: угол свой, что-то свое, хоть что-то свое в жизни! мы столько мечтали вместе, ты, мы... И не собьешь ее, прямо вцепилась, — майор сделал из рук хищные когтистые лапы. — Мне уже на дачу ехать, жена звонит, просто — хоть бы уйти... Говорю: давай после праздников, после старого Нового года. Хотя бы. После старого Нового года сядем и обсудим — так сказал... Прикинем.

— Знает, как тебя зовут? И где работаешь? Телефон служебный знает? Паспорт могла посмотреть, когда мыться ходил? Ясно. Чем кончилось?

— Цепляется и не отпускает! Я уже не выдержал и отрубил по-мужски: милая, я не готов! Не готов! А она... Она вдруг: а я... про тебя! И с кем в сауне... Дура! Думает, я испугаюсь! Давай *сто восемьдесят тысяч* долларов, и мне хватит. Завтра!

— Ты.

— Я... Я... Честно говоря, как-то... Извините, мужики, вы — мужики, поймете, короче, — он потряс правой ручкой, — вмазал ей, вот так, по харе блядской — ра-азок! И уехал. Но вернулся. Говорю, — тихонько сказал, как пароль, — полтинник. Она: за столько я могу только дома однушку купить, не в Москве. И я не одна... Я говорю: давай, *шестьдесят* только тебе, и ничего никому. Она: нет, я не могу, я им должна. Сто восемьдесят. Можно сто, и через месяц — восемьдесят. Ну а если семьдесят пять? Стал ее упрашивать, чтоб как-то загладить... Прощенье попросил! А ехать надо на дачу, жена звонит, звонит...

— Трахал ее в презервативе? Вчера?

— Да.

— В жопу не трахал?

— Нет. Нет!

— В рот?

— Ну, так, немного...

— В презервативе?

- Нет, а вот потом, когда...
- Презерватив ты выбрасывал?
- Не я, она, наверное... Внимания не обращал.
- Синяк на лице от удара остался?
- Не знаю, кажется... Я уехал, просто уехал! Думал:

надо выспаться, она успокоится. Думал: сегодня поеду к ней, еще поговорим, хотя бы по телефону... Пять штук приготовил... Ночевал на даче, а утром – уже звонят соседи! Приезжала милиция, и на работу звонила милиция – написала заявление, что изнасиловал! Своим говорю, какая-то шутка, что-то перепутали, еду в милицию, а позвонил вам... Как вам?.. – спросил он словно у самого себя и затих, как ребенок, чтобы услышать лучше спасительные отцовские шаги, мечтая об одном: чтобы не прекращались эти равнодушные, но все-таки имеющие какую-то цель вопросы; но Боря с омерзением молчал, словно узнал все, и теперь ясно, и не поправишь, и сонно взглядывал на меня, будто пытаюсь понять, где на Садовом майора надо высадить. – Уволить, конечно, уволят... Но если узнает дочь... – майор заплакал, неожиданно, невольно, не понимая, откуда взялось, смахивая капли с лица как что-то постороннее, как дождь. – Думал нанять адвоката. Вы думаете, нужен адвокат? – и замолчал, сдох.

Я досчитал про себя до двадцати шести, сдерживаясь: и-и-раз, и-и-два... Давай, Боря.

Чухарев вдруг взглянул на меня так, словно у него что-то сверлило в голове, словно необходимо прервать невыносимый звук, стон и вздох зарезанной свиньи.

– Дочка, значит, – удовлетворенно заметил Боря. – Для ребенка, конечно, это – страшная – психологическая – травма!

Майор по-собачьи просяще выгнулся в мою сторону: пусть это будет наше общее дело:

– Она же не одна. Сама сказала: я не одна. Значит, у нее в милиции кто-то есть, если бы выйти на них... И занести им – полтинник могу сразу. Из бизнеса могу

вынуть. Если не приду сегодня в милицию... они могут ночью приехать? Куда мне идти?! Вдруг на дачу едут?! Я же не могу бегать... Я офицер, — и зарыдал уже по-настоящему, заскулил, сокрушенно потряхивая лысиной, зажевав складками морду.

— Куда? — буркнул я распахнувшему дверцу Чухареву. — Сиди. Учись.

— Где живет твоя... Таня?

— Да. Таня зовут.

Боря сам ответил:

— В Лосиноостровском. На северо-востоке. — И размеренно проговорил: — Какие там тяжелые люди работают в милиции! — И ко мне: — Как? Я не знаю. Тяжело там очень. Будем решать? Точно? Подумал? — И майору: — Госбезопасность, тебе вопрос задавали: нужно дело из архива?

Майор замер, быстро-быстро повспоминал и вспомнил:

— Я же сразу сказал! Не ко мне! Я не в архивном управлении...

— Я не услышал: когда будет дело?

— Если бы зависело от меня!!! Единственная возможность — доверенность от родственников.

— Срок давности истек, секретность снята. Ты не можешь отксерить двести страниц? Что ты вообще можешь? Что мы с ним разговариваем?! Иди!

Майор хватал Борину отпихивающую руку:

— В деле есть некоторые личные моменты, личная тайна... Давайте решим на коммерческой...

— Какая тайна? Тебя дома менты ждут.

— Да оно же не у меня в столе! — майор срывался на визг. — Я же не вор, я из ФСБ, я могу только то, что за деньги!!! Любую цифру. Только назовите ее!

— Слушай, — Боря устало — его тошнило — тронул меня. — Пусть идет. И мы поедem, а?

— А если будут звонить из милиции?! Что мне говорить?

— Это наш вопрос?

— Я отдам все. Продам дачу. Участок. В течение месяца — закрою. Мне только — цену вопроса. Назовите цифру!

Боря словно что-то вспомнил:

— Слушай. Слушай, ну что — деньги? Все деньги, деньги... Мы же русские, то есть россияне. Мы же за правду... Понимаем: не потянешь дело — ладно. Неси обвинительное заключение. Всего две страницы. Мы твой вопрос решим в любом случае — ты же за правду страдаешь! — но и ты постарайся, хорошо, мой друг? — Боря хлопнул майора по пропотевшему плечу, не отпуская с лица враждебно-презрительного выражения.

— Все равно: доверенность от родственников...

— Слушай, две страницы... Ну, я не знаю, найди каких-нибудь родственников, своих подключи. Твой вопрос — ты решаешь.

— У меня допуска нет.

— А ты оформи. Договорились?

— Я не знаю! Я просто не знаю! Ничего что-то не соображу... Нужен запрос, запрос... Однокурсник из прокуратуры в комиссии по реабилитации... через него как-то запросить... Будто дело на реабилитацию?

— За неделю сделай.

— Он дачу строит. Значит, средства нужны. Но надо будет как-то мотивировать... Десятку зарядить. Жадный... Как объяснить?

— Что-нибудь объясни.

— У меня с собой десять тысяч евро, пятисотками. Послезавтра могу еще двадцать, с партнеров соберу. Сколько потребуется всего?

— Да пошел ты... У нас мужские, проверенные отношения... Какие деньги? Обвинительное заключение. Позвонишь, когда будет. Иди домой.

— А мой?

— Что?

- Ну, мой вопрос.
- Мы же обо всем договорились. Ты идешь за обвинительным заключением, мы едем и решаем твой вопрос.
- То есть... А как я?... Что мне делать?
- Ничего. Живи.
- То есть сейчас не идти в милицию?
- Зачем?
- Но позвонить?
- Не надо.
- А что делать? Какие мои действия?
- Я же сказал: живи, иди домой. К дочке.
- Мне вам вечером позвонить?
- Будет обвинительное заключение – звони.
- Нет, в смысле спросить, как у вас закончилось, получилось или...
- Все уже закончилось.
- Простите... Я, к сожалению, не расслышал, как вас зовут.. То есть я правильно понял: сейчас *просто идти домой?*
- Да.
- А если милиция возле дома?
- Не будет там ее.
- То есть я просто... Понимаете, я дома буду через двадцать—двадцать пять минут, и вы успеете... как-то за это время...
- Да.
- А может так получиться, что тех людей, с которыми вы... будете решать, вдруг не окажется на месте?
- Они на месте.
- А на службе что мне сказать?
- Да что хочешь, – Боря напел, – Таня, Танечка... Танюша!

Майор в смятении, с мукой повернулся ко мне; я никого не жалею, я просто от скуки кивнул: да – и в глаза майора капнуло и цветком распустилось тепло, шелестел:

– Скажу: искали однофамильца... И дома. Что-то скажу. Дочка на даче. Пойду?

– Сделай за неделку. Давай.

– А вот той, женщине... Ей позвонить? Наверное, лучше не звонить. Ну, с Богом... Я вам очень признателен, Александр Васильевич, – он уже выбрался и говорил, согнувшись, в автомобильную пещеру. – Чем могу, я всегда готов... Я добро помню, великое добро! Если все-таки какие-то затраты возникнут, я компенсирую. Большое вам спасибо! – Майор прижимал ладонью место, под которым билось его сердце, и смотрел прямо в глаза: верить? Ветер его студил, он уже стоял на земле, и пучина его отпустила. – Мужики! Честное слово – я вам обязан. Ребята, ну, давайте, удачи вам! – помахал и неуверенно двинулся к метро, веря, все же веря – жив!

– Куда ехать? – схватился Чухарев.

– Да никуда не ехать.

– Видишь, – сказал Боря, – ты говорил, майор больше не может. А человек всегда может еще больше. Ты вот никого не любишь. А надо любить. И верить в людей. И тогда они смогут больше. А хорошая Танька! Не девочка, а упругая, дырочка такая... тугая... Смотрел вчера в пять футбол? За кого болел?

С тех пор как киевское «Динамо» откололось с частью нашей земли, я болею за «Локомотив» в память о железнодорожном прошлом отца. Еще в премьер-лиге я болею против бразильцев, за бедные команды, где побольше местных, за белую форму и за тех, кто проигрывает. Я не люблю Радимова и всех подобных, кто подбегает пихнуть судью в грудь, мне нравится Семак – работяга и скромный парень; вчера смотрел вторую половину второго тайма (еще всегда болею за сборную) – Япония и Хорватия скатали самый скучный матч на чемпионате – стоя, да они же на ничью, сказал Боря, ну, хорошо, хорваты, допустим, на ничью, им последнюю играть с австралийцами, но у австралийцев уже три очка, вот им-то как раз

в последнем матче можно опереться на 0:0, и не факт, что хорваты... а японцы — им-то чего ловить, они последнюю играют с Бразилией, а они все, сказал Боря, против Бразилии выходят на ватных ногах, а как там Олич? Олич бегал, сказал я, открывался, но думал, кажется, только о покупателях на трибуне, нет, а ты видел, как тренер хорватов, Кранчар, уточнил Боря, да, улыбался за пять минут до конца — представляешь, выходит, ему все нравилось! 0:0 с Японией, будет еще говорить: вот забей мы пенальти... Боря спросил:

— Слушай, а сколько в футболе очков дают за каждый забитый гол?

— Ты че?! Три очка дают за победу. Голы просто считают.

— Хочешь сказать, если забьют пять голов, так и будет 5:0? Ни хрена себе. А в каком же виде спорта за каждый гол три очка? Наверное, в хоккее. Слушай, а вот когда судья достает из кармана что-то желтое, что это означает? Ты пошел? До завтра!

Союз друзей до гроба

На Большом Каменном мосту — меня заносило теперь сюда, куда бы ни шел, — я хотел осмотреть площадку на лестнице, тот самый спуск к набережной, к Театру эстрады, но пошел противоположным тротуаром и остановился напротив Кремля.

Я люблю смотреть на Кремль, как и все, кто вырос в наших местах; смотреть на Кремль с дрейфующих льдин, с виселичных табуреток, из кабин, классов, кабинетных окон, диванов и камер в ту сторону, откуда куранты, где самая яркая звезда, где не наступает ночь. Я смотрел на Кремль, опираясь на камень, — за спиной тянулись влюбленные, уязвимые для зла, и пешие туристы, под мост вонзались прогулочные корабли, с них пьяные махали руками,

летел пух и растворялся в бессмысленном небе — и только с этой точки обзора — башни стояли как солдаты — появлялся смысл. Я смотрел на башни, зубцы и стены, на главное все — какая-то окончательная справедливость русских стояла на кремлевском холме, окруженная красным кирпичом, и ничего общего не имела ни со мной и ни с правдой человеческих слабых устройств, и с детства я знал: *никаких воздаяний* — ветер, ветер мял речную воду — я смотрел на Кремль и чувствовал его равнодушие и занятость бóльшим, чем земные дела, и его недобрую памятьливость — все должны — и всегда, и сейчас, зная про Кремль, а теперь часто видя его, — я никогда не чувствовал страха, я даже забывал смертный страх, когда видел Кремль и слышал Спасскую башню — я никогда не один, за меня отомстят; пусть Кремль не может пока признать всех своих своими — так надо, но то, что останется от нас, — обязательно найдут и перезахоронят под залпы, поплывут ордена на красных подушечных кочках — есть место, где про нас знают все, запомнят и вернут, а мы — здесь — отстоим до конца, мы все сделаем, как должно.

...Мне показалось: я должен вернуться. Сторож дежурил новый — прежнего уволили; прежний выпил водки на открытие чемпионата мира по футболу и глубокой ночью вышел покурить, забыв ключи на столе; дверь хлопнулась, он проблеял посреди ночи в телефон единственному доброму человеку — Гольцману: у меня там включенный обогреватель... Новый сторож не сразу узнал меня и, не до конца веря своим глазам, поплелся по пятам, недоверчиво и нехотя отдав ключи.

— Идите, отдыхайте. Я поработаю, скажу, когда буду уходить.

Он, раскаляя меня, постоял и уполз в каморку на входе, а я включил компьютер, чтобы что-то гудело, и посидел, успокаивая дыхание, до мелочей вслушиваясь в сторожину жизнь: шелестнула газета и легла поудобней, буркнул подвинутый стул, забила ложка в чашечном колоколе,

предваряя стеснительный прихлеб, и — вечная мерзлота... Лечь бы ему на диван в коридоре и спать!.. Я сидел, сидел, сидел, и — вдруг: он спасительно включил телевизор и погрузил голову в хрипящие новостные помои — можно! Я бесшумно поднялся и прокрался к кабинету Гольцмана, воровски раскладывая на ладони ключи — какой? — и выткнул, и мучил замок, подпихивая дверь плечом и озираясь: не опечатана? нет ли какой тайной нитки? Ключи не подходили. Или я в горячке запутался и пропустил нужный? Или крутить в другую сторону? Не спешить и по новой — по одному и уже в другую сторону. Я застигнуто оглянулся на сгустившийся воздух — сторож, седой и сутулый, стоял за моей спиной.

— Сделать вам чай? — спросил он строго, словно о чем-то другом.

— Где ключи от этого кабинета?

И убедительно соврать *зачем*: сломан компьютер, отрубился Интернет, забыта нужная, не придуманная еще вещь, что-то... Почему я должен объяснять сторожу?! Я плачу ему, он живет на мои деньги, я ему господин!

— Ваш... Наумыч мне ключей не оставляет, — сторож смотрел на меня, как хозяин сожженного дома на проезжающего верхом по главной улице оккупанта, и добавил обидчиво: — Один из всех.

Зря, все зря. Я вздохнул:

— А уборщица? Как же попадает уборщица?

Удивленный чем-то сторож пробормотал:

— Да. Уборщица... У нее на связке должны быть. — И не шелохнулся.

— Давайте ключи уборщицы. Они у вас? Вот эти? Дайте, я сам, я посмотрю... Куда вы звоните?

— Пусть Наумыч скажет, какой его ключ, что перебирать-то...

— Не надо! Я знаю какой. Спасибо, отдохайте. — Я отвернулся и ушел, сразу же вернувшись прыжком, бешеным... — Я же сказал: не звонить!

Он вздрогнул и выпустил трубку.

— Я что, невнятно сказал? Находитесь на работе и выполняйте указания генерального директора, я вам плачу за это! Зачем вы звонили? Что непонятно?!

— Домой. Хотел... У внучки экзамен.

— Гольцмана не беспокоить. Пусть отдыхает! Домой позвоните, когда я уйду! — Я, сшибая углы, вернулся в приемную и с первого втыка угадал ключ. Свет; я запомнил расположение бумаг на столе, скрепок, карандашей, расстояние до отодвинутого кресла и выкатывал ящики до упора, запуская ладони под папки, обшаривая края: ничего, ничего, ничего — неужели в сейфе? Я осмотрел стеллажи и подоконник, подергал сейф за нержавеющей ручку, вернулся за стол, рассматривая строгое расположение блокнотов, заполненного важными делами календаря, — мог и оставить на виду, если догадался, что приду искать, — на столе, в столе, нет, значит, сейф. Безнадежно. Я вернул сторожу ключи, велел помалкивать и в пятнадцать минут посмотрел все обновления на любимом arbuzzik.com, особенно «Красивые. Грубое порно» и «Девки в сперме», кому бы позвонить; стану старым — разберусь на столе, выброшу бумажки и буду глядеться в собственное отражение в столешнице. Я отключил все, что гудело, и дождался, пока погаснут все мирно-зеленые и красные зрачки: протоколы допросов по краям стола, переписку с архивом внешней политики — на тумбу, в папке «Срочно!» — распечатки сайта «Советская военная игрушка» — ненавистный «всюдуискатель» занудливо описывал собственную коллекцию 74-миллиметровых, увязнув в датировке командира-«столбика» — 1978? 1977? Даже «повара» где-то купил и выложил, чтоб меня позлить! И с добавкой, что в прошлую субботу взял в Измайлове *семьдесят семь штук* (из них *семнадцать* — сороковых годов!) по *сорок рублей* штука — врет? — так фото выложил, чтоб добить, и точно: у «музыканта с малой трубой» задран носок сапога — сороковые!

...Диктофон в стол, я проверяюще щелкнул, и диктофон в раззявившейся пасти открыл кассету! Вот куда спрятал хитроумный Гольцман!

Точно работая пальцами во тьме, я проматывал куски, давая еще подышать чужой жизни («Папа пытался устроить ее жизнь, брал повсюду на встречи...», «...он доносил на нашу семью, да и вообще — какой-то охранник! А Зина стала прямо-таки навязчивой...»), пока не нашел то, что не дали дослушать.

Я приготовился.

«Ну, ладно, довольно, что ты расскажешь мне о себе? Тот человек, который тебя послал... На которого ты работаешь... Ты его что — любишь?» — Я слушал... время пошуршало, порожним переползая дальше, еще... щелчок! — запись кончилась.

Похоже, та не ответила, могла кивнуть, могла качнуть головой «нет», могла промолчать из вежливости на английском побережье, а теперь, допустим, я встречу ее случайно где-нибудь у текущей воды и сразу приветственно придержу за локти, и коснусь губами щеки, и вот встретились, и мы беззаботно пойдём — у нее окажется свободным время, без школьного «можно я провожу?», а когда до конторы останется два угла и двести метров, я вдруг остановлюсь: «Вы ко мне хорошо относитесь?» Она испуганно поднимет глаза: «Зачем вы спрашиваете? Вы же все знаете...» — «Сделайте для меня одно доброе дело. Жизнь моя и без того трудна...» — «Я поняла. Никто не узнает, что мы виделись».

— Здравствуйте, — я столкнулся с секретаршей посреди «Октябрьской» кольцевой; она изменилась, а может, такая и есть на воле, видимся только в конторе. — Вас кто-то ждет? Есть немного времени? — На эскалаторе вверх я стал за ее спиной и качнулся вперед, погрузив губы в ее волосы и на мгновение поприжался, выговаривая роль. — Вы такая красивая сегодня... Что с вами случилось? — И грустно замолчал, напоминая о тяжести

пути избранных, осталось поговорить о солдатах и смерти, а потом спросить, есть ли у нее фотографии в купальнике. Или без.

На Крымской набережной продавали картины — и хорошо пахло разогретым деревом рам, художники с дублеными лицами, стриженные и бородатые, точили короткие резак, кто равнодушно и прожженно поглядывая на интересующихся, а кто волнуясь, как волнуется собака, когда находят покупатели на ее шенков; душноватый запах краски, картины: сталинские шпильки, церкви, монастыри, толстогрудые девушки лежа и сидя, сирень и пионы, копии — темные городки Бенилюкса, горные кручи, моря с парусниками, а больше всего леса и проселочные дороги, немного кубиков и черточек, множество кисок и чуть меньше собак; прошли дальше — там в «парке скульптур» мрачные грузины пилили мрамор, а еще дальше стояли скульптуры, собравшиеся кучей, словно группа отдыхающих в доме престарелых: Ленины, мрачные, как пенсионер, идущий на прием в префектуру, Сталин с отбитым носом, заплеванный, ссохшийся Дзержинский, пол-Брежнева, мерзнувший Свердлов с поднятым воротником, Калинина посадили в тень — всех многозначительно обнесли колочей проволокой и обставили концлагерными фонарями с неизбежным «Здесь была Люся».

Она идет рядом. И я вспомнил ощущение, а ведь уже попрощался с ним. Когда смотришь издали на незнакомую, на красивую девушку, что завораживает всех, и не принадлежит обыкновенной жизни, и меняет улицу, по которой ступает, меняет погоду, комнату, в которой она бывает, где бы ни появилась... Уже на пороге школы ясно, пришла на уроки или больна: при ней все другие и все другое, город становится другим, когда она уезжает на лето, и жизнь невыносима; на нее боишься поднять глаза, у нее нет родинок и запахов, она не ест, не спит, не встает по утрам растрепанной, а если и спит, то как-то по-другому... И вот когда эта девушка обрушива-

ется совершенно случайно на тебя, слова ее обращены к тебе, ее глаза впервые останавливаются на твоём невыразительном лице, узнает твоё имя и даже пару раз выговаривает его, и вот уже идет рядом, согласуя свои шаги с твоими, приходит на встречу, куда предложил ты (у драмтеатра), во сколько выбрала сама, но *к тебе*, — вот тогда возникает это ощущение, что смешно назвать радостью, эта твоя свершившаяся жизнь, бессмертие; ты идешь рядом с ней — и не веришь, и, значит, все и другое, что поменьше, может сбыться (типа коммунизма или олимпийского золота); ты идешь, она со мной, первые общие шаги, плотные, волнующие цифры написанного на куске бумаги номера ее телефона, адрес — *ее рукой*, номер дома, квартира, этаж... и горько, что навсегда не удержишь, сразу согласен — не навсегда, пока... она, как и жизнь, *пока...* но пока она еще здесь и можно полететь, поддерживая ее за локоть при пересечении дороги... И чуял я это раза полтора, а скольких потом пытался провести по этим же рельсам, пытаюсь расслышать отголоски того, вот того, что нельзя вернуть и возвращать.

— Я готова к новому заданию. Я могу много работать. Буду в паре с Александром Наумовичем. Вы ничего не замечаете, но ему тяжело. Пожилым людям весной не хватает сил, он устает, но старается, чтобы никто этого не заметил. Записала его к терапевту, пусть выпишут витамины — месяц уговаривала! Как ребенок. В Англии я — все правильно?..

Напряжение в голосе: похвали, теперь ты должен; ее смутило, что я промолчал.

— Борис Антонович сказал: вы обязательно пошлете меня в психоневрологический интернат говорить с больным, с тем стариком, сыном Петровой, Васей, как только мы его найдем... Ну, что может вспомнить инвалид? Я уверена, он давно уже умер. А Миргородский пугает меня нарочно, что дебилы живучи и особенно идут на

общение с девушками, которые, это он сказал, пробуждают сексуальный интерес. Можно это буду не я?

Мы уже дошли до конторы, все вроде использовал, что настрогал.

— А кого я могу еще послать? Алену Сергеевну? — Я пожал секретарше локоть, не посмотрев в лицо: из окна конторы рассматривала меня Алена и дернулась задвинуть штору, но передумала и помахала ладошкой с напряженно растопыренными пальцами. — Может, и не потребуется. Мы еще не все попробовали. Сперва найдем ласковую девочку Зину. Если сможем.

Спустя два месяца Зину нашли.

Бывшая завкафедрой иностранных языков в каком-то советском месте, дочь подполковника Елизаветы Зарубиной-Горской-Розенцвейг, гениальной вербовщицы, удивительно умевшей изменять свою внешность, и не менее знаменитого отца, известного в США как дипломат невысокого ранга, Василия Зубилина, застигнутая телефонным звонком в редкий приезд на русскую землю, холодно выслушала нашу легенду и вдруг потеплела на «приемная дочь Литвинова»:

— Я ее знала. Ее фамилия Левашова. Она умерла.

И все потянутые за ниточку повторяли: ее уже нет давно. Но Зинаида Максимовна Левашова добивала в одиночестве девятый десяток, искореженная артритом, и подползала к телефону за двадцать шесть секунд, только звоните ей подольше.

— Я позвонил, — едва мы переступили порог конторы, Чухарев показал мне телефонную трубку, — уже третий раз.

Секретарша осталась неподалеку от моего плеча, словно хотела подольше быть рядом. Алена так и стояла у окна, никого не высматривала, просто стояла.

— Сказала: пятьдесят лет работала диктором на радио. У нее склероз. Сказала: прекрасную книгу о Литвинове написал Шейнис. Лучше про Литвинова не скажешь.

– Дашь телефон вот ей, если не умеешь работать, – Боря указал на секретаршу и таинственно обошел комнату по кругу, наряженный в пятнистую охотничью куртку.

– Сказала: ждала меня два дня. Хотя мы не договаривались о встрече. И теперь устала слышать мою фамилию. И ничего говорить не будет. Сказала: я старая, больная женщина. И бросила трубку.

– А с девочкой подружится. Предложит английским позаниматься. Отдай телефон, чайник!

Алена повернулась лично ко мне:

– Скажи, а ты хоть когда-нибудь кого-нибудь любил? – постояла, собралась и ушла.

– Все сюда! Александр Наумыч! – Боря судорожно вытащил из-под куртки пару отксеренных страниц. – Есть! Майор принес обвинительное заключение. – Боря тошнотворно помолчал. – Мальчишки играли в немцев!

«1943 года, декабря 18 дня, мы, Народный Комиссар Государственной Безопасности Союза ССР тов. Меркулов и Прокурор Союза ССР тов. Горшенин, рассмотрев материалы расследования в отношении арестованных МИКОЯНА Вано, МИКОЯНА Серго, БАРАБАНОВА Леонида, ХХХХХХХ Ххххххх, БАКУЛЕВА Петра, РЕДЕНСА Леонида, ХМЕЛЬНИЦКОГО Артема и КИРПИЧНИКОВА Феликса,

НАШЛИ: в конце 1942 года и в начале 1943 года ученик 7-го класса 175 школы гор. Москвы Шахурин Владимир предложил некоторым из своих товарищей по школе создать тайную организацию. Вначале организация носила характер игры, но затем под влиянием Шахурина Владимира, начитавшегося переводов фашистских книжек, выродилась в явно антисоветскую организацию. Участники организации в своих беседах восхваляли немецко-фашистскую армию и немецко-фашистских лидеров. Участникам организации были присвоены звания, заимствованные

у немецких фашистов, “рейхсфюрер”, “фельдфюрер” и “фельдмаршал”, а сама организация была названа “Четвертая империя”. В беседах между собой участники организации обсуждали вопросы о способах ведения пропаганды, направленной к подрыву советского строя, о свержении после войны Советской власти.

Некоторые из участников организации предавались любовным развлечениям, заводя “романы” с девочками. В итоге всей этой уголовщины и морального разложения создалась обстановка, приведшая к тому, что 3-го июня с. г. руководитель организации Владимир Шахурин на романтической почве убил из револьвера, принадлежавшего Ваню Микояну, свою знакомую ученицу той же школы Уманскую Нину, после чего застрелился сам.

Сообщники Шахурина Владимира, понимая антисоветский характер организации “Четвертая империя”, никому не сигнализировали о существовании организации и сохраняли ее в тайне, а Микоян Ваню не сообщил о факте убийства Шахуриным Нины Уманской.

Поведение участников организации тем более преступно, что оно имело место в условиях Великой Отечественной войны, когда весь советский народ напрягает свои силы в борьбе с немецким фашизмом.

Считаем необходимым... выслать из гор. Москвы в разные города Сибири, Урала и Средней Азии сроком на один год под поручительство родителей... срок высылки считать со дня освобождения из-под стражи.

Народный комиссар государственной безопасности Союза ССР Меркулов. Прокурор Союза ССР Горшенин».

Вот во что они играли.

— Вот почему не рассказывают и все валят на сумасшедшего Шахурина. — И Боря признал: — Зря мы... майора. По Уманской в этом документе — ничего. Хотя, —

Боря словно подмигнул мне, — товарищ Чухарев, как повашему, почему Микоян не остался на мосту? Не звал помощь к раненому другу. Убежал. И, как теперь нам известно, никому ничего не сказал.

Чухарев молчал, ожидая от Миргородского чудес.

— А-а... Оттого, что «вальтер» его. И мальчик испугался папы. И мальчик, неокрепшая психика, вдруг увидел агонию двух прекрасных существ, девочку с развороченной башкой, задралась юбка... И бросился бежать, не разбирая дороги... Так его научили сказать следователю Шейнину. И следователь не смог спросить у сына члена ГКО... А я бы спросил: ну, испугался, ужаснулся, но прошел час, прошел день, ночь проспал, чего ж ты утром не успокоился и не пришел... И самое-то главное, милок, если так испугался, как хватило духу разжать еще живому Шахурину Володе руку и забрать пистолет?

— А если он не забирал! — вскочил Чухарев. — Если он сам стрелял и в Нину, и в Володю и убежал потому, что надеялся, что его никто не видел...

— Умник, Чухарев! Но парню не повезло. Кто-то их увидел на мосту — *втроем*. Но почему стрелял? Ревность? Какая ревность... И что же нам теперь делать? Нужно смотреть место происшествия, свидетелей опросить. Нужна доверенность от мальчиков. А теперь ясно, что доверенностей ни мальчики, ни родственники... фашистов... не дадут. Никогда.

Я прошел за Александром Наумовичем в кабинет и буднично спросил: как вы там, сходили к терапевту? Гольцман, словно окруженный внезапным неуютом, случайными обстоятельствами — их надо пережить, заспать:

— Впустую ходил. Дали направление на анализ крови: общий и биохимию. И на УЗИ внутренних органов.

— А что врач сказал? Он вас посмотрел?

— Сказал: желтые склеры.

— Что это?

— Вот здесь, в глазах — это называется склеры. И учащенный пульс. Спросил: гепатитом не болели? Желтухой. Вроде не болел. А в детстве — кто знает. У мамы не спросишь. Регина все знала.

— Вас самого что беспокоит?

— Ничего, — с тоской произнес он. — Это Маша в меня вцепилась, ей кажется, что я похудел! Ну, иногда здесь, в животе, схватывает. Так это и раньше... Да нет, все ерунда. Только времени жалко. Обследуюсь, хуже не будет. Ты думаешь, наша девочка возьмет Зину Левашову? Ох, крученая, мне кажется, эта Зина...

— Разрешите? Написал Микояну, хотел почитать... — Это Чухарев, измученный и мятый. — «Вано Анастасович, пишет вам аспирант исторического факультета Московского университета... Хочу предупредить: я все знаю о вашей роли в убийстве Нины Уманской, встречался с Реденсом, Хмельницким и Бакулевым, вашими братьями Степаном и Серго... Настоятельной необходимости в нашей встрече я не вижу, встреча — это именно ваш последний шанс что-то изменить...»

...Они создали тайную организацию для захвата власти, играли в фашистов и все записывали. Ты понимаешь, все объясняется немного погодя — отцы сделались железными и потеряли язык, личную жизнь, вознеслись и пошли по воздуху, не оставляя чернильных следов, но дети краскомов, ученики безнаказанной 175-й школы росли так, как оставалось им расти: не боялись лагерей, милиционеров и голода, отправляли честные письма, не зная цензуры, вели без утайки дневники, обезьянничали нравами из трофейных лент по древнеримской истории — герои побеждают и возвышаются над чернью, играли в очевидную им взрослую жизнь подпольщиков — с документами. Дети любили документы: Дочь императора с малолетства писала не стихи о солнышке, а указы и крепила кнопками у входа в столовую рядом с телефон-

ным аппаратом, а в «секретарях» у нее ходили Лазарь Каганович, Молотов да Киров и сам император. И первая тайная организация возникла не в седьмом, а классом старше — Скрыбин (ходил в кубанке, племянник Молотова), Ваню Микоян и проходивший уже по нашему делу авиационный мальчик Кузнецов придумали «Союз друзей до гроба», составили список участников и завели шифр, но Молотов случайно обнаружил и прекратил, а «Четвертая империя» таилась до времени...

Почему они собирались захватить власть? Что им еще оставалось, потомству, — только то, что сделали отцы: война должна закончиться победой, великой победой, после *такой* войны должно произойти что-то такое... Всех должны воскресить или хотя бы чем-то оправдать каждую могилу... что-то такое, что происходит всегда в конце времен, что заставило Ивана Грозного сесть и тяжело вспомнить поименно задушенных, удушенных, утопленных, посаженных на кол, закопанных живьем, отравленных, изрубленных в мелочь, забитых железными палками, затравленных собаками, взорванных порохом, изжаренных на сковороде, застреленных, сваренных в кипятке, изрезанных живьем на куски — до безымянных младенцев, затолканных под лед... Это чуяли все, чуял и император, раздумывая: не раздавать ли бесплатно хлеб? Времена кончались, мечты царей исполнены, проливы наши — дел не осталось, русские на вершине; куда ни повернись — только вниз, осталось вымирать... Потомству не оставляли лучшего будущего — лучше некуда, все, что у них было, дал император и отцы; но император уйдет в землю, отцы — на персональную пенсию союзного значения и будут молчать, не ропща на скудность пайка, благодаря партию, что не убили, подписывая мемуары; по наследству опасно передадутся дачи, машины, вклады, алмазные камни в уши, но только не слава, не власть, не подданство Абсолютной Силе... Будущее учеников 175-й, мотогонщиков, ухажеров и дачных

стрелков, виделось даже из седьмого класса: сладко есть-пить, кататься на трофейных иномарках, жениться на маршалских дочерях и — спиваться и растираться в ничтожество окончательностью и совершенством не своих деяний, не выбраться из тени отцов и стать кем-то «собой», а не «сыном наркома», имея единственной заслугой фамилию, родство, и завяты, устроив внуков куда-нибудь поближе к дипслужбе, к проклятым долларам, и докучать соседям по даче: отец — святой, и вы вспомните еще императора... Они — не Яков Сталин, пропавший в концлагере, а Вася Сталин — двадцатичетырехлетний генерал, хулиган, шалопай, пьяница и покровитель футболистов. И если Шахурин Володя хотел другой судьбы, он должен был собрать стаю верных и выгрызть свой век — взять власть, научиться повелевать прахом, человеческой однородной в общем-то массой, подняться на *идею* — как Гитлер — колдовски, и мальчик внимательно читал — что он мог читать? — «Майн кампф» и «Гитлер говорит» Раушнинга; возможно, свидетели не врут и мальчик блистательно знал немецкий, но эти книги захлеб... не только семиклассники. Для соколов императора их выпустили на русском — лучшие люди империи и Германии с болезненным вниманием внезапно обнаружившихся и до одури непохожих родственников (*Третий Рейх, Третий Рим*) все эти годы всматривались в чудотворные деяния друг друга, и отец Шахурина, беззаботно оставив книгу в незапертом домашнем кабинете, пересказывал — императору! — подробнейшие описания фюрера, Геринга, Геббельса и близких, занесенные дочерью американского посла в Берлине Мартой в книгу «Из окна посольства» (а позже Марта случайно полюбила веселого, красивого парня, и он завербовал ее в иностранный отдел НКВД, в агентынаводчики), и удивился: император, оказывается, уже эту книгу внимательнейше прочел... А Молотов писал жене: «Полинька, милая. Пишу тебе кратко, т. к. никак не могу расправиться с завалом дел. К тому же ночью в воскресе-

ные на несколько часов оторвался для чтения Раушнинга “Титлер говорит”...

Но почему дети взяли фашистские звания? Почему, когда страна, истекая кровью... ненавидя... Но как признался еще один выпускник 175-й школы: внешний вид фашистов даже в наших очерняющих пропагандистских фильмах не шел в сравнение с обмотками и мешковатыми шинелями русских солдат, оборванцев, дикарей — в победоносных, страшных элегантных фашистах виделось жестокое, мужское начало. Андрей Сергеев в книге полувоспоминаний «Омнибус» написал: «Поражают воображение величественные слова: Мотопехота, Мессершмит, Юнкерс-88, Фокке-Вульф, штурмбанфюрер, дивизия “Мертвая голова”»... Сергеев жил в сорок третьем году обыкновенным восьмилетним мальчишкой с московской улицы, но и его подхватило и протащило очарование «рыцарской» фашистской мощи. Так как же красота врагов, красота и культурная прочность цивилизованной жизни, горячих ванн и исполняемых расписаний трогала и дурманила мальчиков 175-й, живших высоко от своей земли в ошущении: все им обязаны.

Чухарев уже давно покидал контору последним и оставившись у газетного лотка, накрытого в дождь клеенкой, покупая «Завтра» или «Новую газету». Грязная, огромная продавщица, еще и утолщенная свитерами, передавая сдачу, придерживала его ладонь теплыми пальцами и показывала в улыбке неожиданно белые зубы. Испытав позорное, сладкое обмирание, он спешил вниз по Грохольскому переулку на Комсомольскую или вверх — на Сухаревскую; этой зимой и весной, заполненной охотничьей, шахтерской работой, ему платили три тысячи долларов в месяц, и в контору он спешил, едва не переходя на бег, не выспался, не отдыхал, не видел дочь, почти не разговаривал с женой, он понял, что человек, если верит в себя, если его слегка подучить, может многое делать с другими... Вдруг он

почувствовал: в жизни его появилась и росла тяга к *другим* женским телам, чужой плоти, и эта тяга размножала его пути, и он не задумываясь шел этими путями — быстро, словно за делом, ходил вдоль Садового, всматриваясь во встречных, высаживался на незнакомых станциях метро, разглядывал официанток и продавщиц, оглядывался на размашистые походки и голые ноги, словно что-то искал и пытался узнать... К жене ни один из этих путей не вел, и об этом он не думал, просто не мог с этим ничего поделать, странно было бы искать неясное это в жене. Как она могла утолить то, что не пробуждала? Он говорил про себя: мне плохо, он не говорил «я страдаю» — говорил: мне тяжело. Ему хотелось жалости. Так не было раньше, но стало так не внезапно, что казалось ему, это было и раньше, но словно теперь Чухарева повернули в этот угол лицом и он не мог отвести глаз — ничего, кроме этого, не осталось, не утоляла даже работа.

Оставалось терпеть, оставалось надеяться, что это весна, прощание с молодостью, первичное оголение теплых дней, непривычная свобода от зарабатывания денег и ставшее притягательным бродяжничество по многолюдным... Пройдет, он возьмет отпуск, уедет в лес, в физический труд, в усталость, станет гонять за дочерью на велосипеде, поливать яблони, копать, читать на ночь сказки, засыпая над последними строчками, и вылечится: наличествовало лекарство еще — близость с женой; сразу *после* казалось — отпустило, а ничего и нет, все *это* — приятная ненужность, *это* не может мучить, после грязного, лохматого соприкосновения со скользкими кудряшками уже не требовалось больше ничего — вечер, половину следующего дня он даже на одетых встречных красивых видел эту лохматость, и его подташнивало от легко и точно представимой чужой кожи, подкожного жира, одинакового провисания сырых, вялых грудей, освобождаемых от стискивающего белья, — не хотелось ничего, но быстро проходило — до следующего раза, до близости с женой, когда в остатки последней минуты перед

опустошением проскальзывал ужасный миг, когда *хотелось всех*, и даже тех, кто вызывал тошноту, и тех знакомых, и неизвестных еще тех, и мельком виденных, но следом опять наступало отчуждение, и он падал, как в мелкую воду, в спасительную мысль: как же мало и ничтожно то, что так мучит меня, вот это все... Ему никогда не хотелось домой, дома плохо, дом — старость и смерть, там нет выхода, ему хотелось молодости и свободы — ему казалось: он разминулся с молодостью, не оценил, мало побыл, еще можно побежать назад и добрать — он чувствовал, как мировая тенденция распада обычной семьи безвыходно ворочается в тесноте его обычной семьи, и знал, что по правилам рода ему предстояло пахать, пахать, пахать и сдохнуть за плугом.

Зачем люди женятся? Чтоб не варить самому пельмени. Чтоб не стирать. Чтобы кто-то ждал после работы, спросил: как спал? — и дышал рядом.

Девушка

— Левашова согласилась пустить меня в квартиру. Завтра. Я сказала, что работаю в социальном отделе управы и разношу подарки ветеранам ко Дню Победы. Очень стыдно обманывать. Можно я возьму деньги и куплю ей чайник, что быстро нагревает? Вы любите кино?

Идиотский вопрос.

— Может быть, мы ходим в кино?

Мне не хочется. Мне не интересно. У меня много работы. Я тебе не обязан. Ты не отсасываешь в кино.

— Сходим. — Что ты красномордо застыла с трясущими руками, возьми хоть какие-то бумаги, сейчас ворвется Алена. — Выходите и медленно идите в сторону Сухаревки. Я вас догоню.

...Алена презрительно смотрела в окно.

— Я попробую договориться с Левашовой, с вашей секс-бомбой?

— Нет.

— Почему? С ней уже договорились? Почему не я? Почему «так получилось» — я была на месте и не отключала телефон. Не знаешь? А кто знает? Само получилось? Я еще работаю с вами? Каковы теперь мои обязанности? Что значит «ничего не изменилось» — *все изменилось!* Просто приходить и получать зарплату? Подпиши, пожалуйста.

— Четвертое заявление об уходе? Могла бы оставить секретарю.

— Не обижайся. Просто у меня есть своя жизнь. Мне предложили работу. Я прошла три собеседования и с первого раза сдала тесты.

— Мерчендайзером? Торговым представителем в регионах?

Она взмахнула рукой: а, знаю наизусть и не ждала другого! — повертела подписанную бумагу: куда? — и все-таки склонилась для холодного поцелуя и прошептала сквозь подкатывающие слезы:

— Так надо. Так будет лучше нам. Я должна попробовать. — И добавила из американских кинолент: — Я люблю тебя.

Я пожил в пустом кабинете, подвигав нелюбимых брянских морячков, ранние — грузные, грубые, словно лепили дети, особенно гранатометчик с расплюснутым лицом; я рассматривал развалины: вот теперь все? нет, не все — так не кончается, больно и не жалко, захочу ли я увидеть ее? Я вручил сторожу ключи и спустился по лестнице (мы квартировали над автосалоном), предполагая в худшем случае встретить за стеклянными дверьми замерзшую собаку. Так и есть: Алена стояла отвернувшись, уже, наверное, давно изображая поиски в сумочке чего-то запропастившегося и заготовив удивление: а, это ты...

— Я думала, ты уехал, машины нет. Пойдешь до метро?

— Я пойду один.

Алена всевидяще всмотрелась вниз — до «Комсомольской», вверх — до «Сухаревской» и обнаружила то, что

должно, ненавидяще сверкнула глазами, сгорбилась и ушла от меня шагом, напоминающим бег. Давно не заходил в кино, «Алмаз» на Шаболовке, так все изменилось — очереди в кассу, на некоторые сеансы «билеты проданы», множество блондинок с острыми коленками, шумные, матерящиеся мальчики в спущенных штанах, смуглая и губастая девка в отсутствующей юбке насыпала попкорн, измученно всматриваясь поверх клиентов. Нас пустили заранее в пустой зал — две минуты я изучал кресло: шестеренки и моторы опускают спинку, поднимают ноги, как у зубного врача. Секретарша вдруг тронула меня за локоть сильным, искренним прикосновением:

— Почему Алена Сергеевна не хочет у нас работать? Из-за меня?

— Я открою тебе тайну. Просто у нее дряблый зад — бесформенный, ни маленький, ни большой, ни рыхлый. Просто никакой. А я специализируюсь на толстых задницах. Это единственное, что мне интересно по-настоящему. Я могу вас взять на подмену, если хотите. Но мне вас жалко!

— Я поняла. У меня просто недостаточно толстый зад.

Сгустили свет, и загрохотала реклама, я, спотыкаясь, отправился на выход, взял у смуглой девки с попкорном номер телефона и вышел на воздух, на вытертый зеленый коврик, расстеленный до проезжей части, в конце коврика ожидало желтое такси, и я поехал через Мосфильмовскую, читая эсэмэски: «Приезжай в гости», «Хочу захлебнуться тобой». Осталась ли в холодильнике вода? Кошка сидела в форточке, свесив лапу, узнала меня и спрыгнула в комнату — встречать. В подъездной полутьме полистал на подоконнике у мусоропровода книги, выложенные на выброс, — все про сложный крой одежды, — и отпер дверь; есть ничего не хотелось, говорить ни с кем не хотелось; как это люди ходят в кино? Нагрел воды в ведре, сполоснулся, открыл окно настежь, бросил на диван простыню, подушку и одеяло, разделся,

прочитал три страницы «Советская разведка в Америке» В.В.Познякова, погасил свет, и кошка прыгнула мне в ноги.

... — Литвиновых тут показывали по телевизору. Миша вот так вот сидит, головой опирается, все говорит Флора, а он только: да, да, да. Инсульт, что ли? У нее должна быть нормальная пенсия. А у него военная пенсия? Мне Петрова рассказывала: Миша кончил авиационный техникум, пошел в мехмат, а тут война, Куйбышев, и его забрали в военную воздушную школу, но Петрова говорит: ни на какой войне не воевал — его убрали в центр, как только начинался бой. Он даже не нюхал, что такое война! А по документам — участник.

— *Как вы попали в эту семью?*

— Я приехала из Англии и жила как раз в доме дипломатов у Красных Ворот. Хоромный тупик, вы знаете? Серый такой дом, как тогда было модно — по немецкому типу. И Дивильковский там жил, и Нойман, и Карахан, пижон ужасный, и Уманский. На третьем этаже — Стомоняковы. Рубинин на пятом. Литвиновы на четвертом. Мама, Айви Вальтеровна, слышала, что мы с сестрой все время говорим по-английски. Я ненавидела свою сестру, девять лет разницы, ничего общего нету. Я в Англии в теннис хочу поиграть, а коляска на мне, не отойти. Я ее возненавидела! Даже не разговариваем.

И моя мать сказала: тут одна англичанка звонит и все время просит, чтоб ты зашла. «Что я пойду к взрослой женщине?» — «Сходи. Неудобно».

Я очень скучала, я пыталась Москву узнать — Мясницкую, Садовую, Басманную, Сухаревская башня еще была, но только не вечером, потому что лично ко мне вечно мужики приставали. Книг нет, газет нет, в какой двор ни зайди — всюду воняет. Никто не ездит на велосипеде.

От скуки отправилась к англичанке. Встретила с восторгом! Наконец! Наконец! Разговорчивая, обаятельная,

очень может привлечь. «Я одна, муж в Женеве, дети в лагере», и в ночной рубашке; поймала на удочку: «Газеты хочешь читать — приходи, я получаю, и книги волшебные бери». Она одинокая, болтливая, интересная, глаза выразительные — и так меня затянула. Звонит: приходи на чай, будут гости из Англии, я и топала с первого на четвертый.

В сентябре Максим Максимович приехал, он после Женевы заезжал лечиться в Мариенбад. Я не понимала: кто он? Что он? Что такое «нарком»? Китайская грамота. За ним Таня приехала, и мы сдружились. А Мишка все матом любил ругаться. Папе жаловалась, маме жаловалась, ничего не помогало. И меня за косу драл. Как пройдет мимо, так за косу тащит. В один день рассвирипела, попалась какая-то палка под руку — как трахнула ему по голове! До сих пор помню этот звук. Отстал. Не пожаловался. Вредный был по всей нашей жизни. Мы с Таней вымыться хотим вечером, можем вдвоем встать под душ. А этот стервец наливает ванну: я буду мыться! Ляжет, час-полтора лежит, читает книжку. Выходит — чистая вода, даже не намылился. Дразнить любил. Каждую зиму мама одного его отправляла в санаторий — любимчик!

— *Сколько вам было?*

— Четырнадцать лет. Потом я оставалась у них на ночь по выходным, у моих-то комната в коммунальной квартире на всех. А потом Литвиновы переехали на Спиридоновку, сперва во флигель, я приехала туда в гости, и мама тут же распорядилась: вот это Мишина комната, а здесь вы будете с Татьяной спать — так я вошла в семью. Когда папе исполнилось шестьдесят, Сталин ему «кадиллак» подарил, голубой, как у Чкалова, но у Чкалова «паккард»... И нас переселили в морозовский особняк — комнаты огромные, по восемьдесят метров, дуб, мы заняли весь верхний этаж.

— *Ваша девичья фамилия Буяновская?*

— Моя девичья фамилия не имеет никакого отношения... Я даже отчество сменила. Настало время получать паспорт, Максим Максимович решил: «Надо твою мать вызвать, мы переговорим. Девочка, ты ничего не понимаешь, тебе лучше сменить фамилию. Неизвестно, что будет». А что будет? Отца уже в Мурманске арестовали и расстреляли как шпиона. Я ничего не понимала. Я как овца. Не привыкла ни к чему. Литвиновы единственные, с кем общалась.

Я позвонила матери: знаешь, с тобой хотят поговорить. О чем? Я не знаю, просто поговорить. Я не присутствовала. О чем-то поговорили. Мать ушла. Я так ее и не видела.

Максим Максимович говорит: «Вот теперь ты будешь Зинаида Максимовна Литвинова. Так лучше».

Так меня спасли, таких историй много — меняли детям фамилии, увозили за Урал, потрясающее время! И все руководство почему-то взяло приемных детей: у Сталина, Калинина, Орджоникидзе... У Рудзутака была приемная дочь... Или племянница? Ее заслали в глубокую Сибирь. Она без конца писала Швернику, потом еще кому-то на «Ш», я забыла. Никакого ответа. Микояну, Калинину написала. Они все ее знали. Нет ответа. И тогда она послала только свое фото — без всяких слов. И тут же ее из лагеря забрали, вернули имущество, квартиру дали. Потрясающее время!

— *Ваши новые родители...*

— О-о, они совсем разные люди... Папа любил танцевать. На всех приемах! И со мной даже. Привозил из-за границы много пластинок. Танцы — это движение, движение, мы по два часа гуляли и летом, и зимой, я на лыжи его поставила, хоть немножко, но ходил и редко падал. Решительный, твердый очень человек.

В десять утра как штык выезжал на работу. В пять часов как штык ехал обедать в кремлевскую столовую и получал на ужин паек: французскую булку, икру — все нам доставалось.

Приходил, сразу спрашивал: кто дома? Сразу обходил все комнаты, в кабинете снимал китель, надевал кофту с треугольными пуговицами и ложился на диван: «Я должен пятьдесят минут поспать». Вечером выходил к ужину.

Мама жила своей жизнью. С папой они дружили, но не имели ничего общего. Ей скучно было. Прихожу: она в постели. «Вставай, вставай, нельзя лежать!» — одевала ее в красивый узбекский халат, заставляла завтракать. Переводила с английского она много, но все равно скучала. Муж уехал на работу, дети ушли в школы — что делать? Дружила только с американцами, тогда много приезжало советских американцев. А папа это не одобрял: «Пойми, я не могу к себе в дом приглашать иностранцев!» Хозяйством не занималась. Мне кажется, за всю жизнь даже чая не поставила на плиту. Все делала женщина Афанасьева, что жила при кухне.

Все вместе встречались только за ужином. Так всю жизнь и прожили.

— *Почему между ними не было любви?*

— Мамина мама в семьдесят лет имела любовника и дочь поучала: каждая женщина должна иметь любовника. Наверное, это влияло.

Так получилось, что школу мама не кончила, нянчила сводную сестру, устроилась в какую-то контору переписывать цифры: «Я умирала от этой работы», через культурную подругу Филис познакомилась с русскими большевиками в Лондоне. А большевики жили скучно, ждали революции и думали: еще ой как не скоро. И вот под таким влиянием — папе под сорок, семьи нет, революции нет, она — англичанка, певучая и жизнерадостная, — что-то у них там и завязалось... А еще она помогала ему с переводами писем. Папа часто повторял: как она мне помогала, как она мне помогала. А потом у него вдруг вырвалось: «И как же она изменилась, когда мы приехали в Москву».

Я не поняла, что он имел в виду.

Но я поняла, что ей нечего было делать в Москве. И она создала свой мир и поселилась в нем: любила на выставки ходить, тянулась больше к абстрактному, в модерн. Р-овым увлекалась, он тогда только появился, завела любовников. Я этого не знала, от Уманского мне здорово попадало.

— *Вы знали Константина Уманского?*

— Он заведовал отделом печати, и все мамины любовники инокоры шли через него. Она брала с собой американского корреспондента и везла на дачу. Звонит Уманский: «Зина, ты в своем уме?» — «А что я сделала?» — «Почему ты разрешаешь маме возить иностранцев одной на дачу? Ты что, ничего не знаешь?» — «Понятия не имею. Откуда мне знать?»

Помню случай. Воздвиженку знаешь? Там Президиум ЦК, чуть дальше кремлевская больница, а на углу магазин, где продавали старые книги, — хороший там дядька был, все запрещенное давал нам с Татьяной, и мы рылись, рылись: Есенин, Блок, Белый, Хлебников... не важно, потом все это ликвидировали. И однажды мама взяла меня на Воздвиженку: «Идем в гости». Она, я, Уманский и один корреспондент, Кеннет его звали. Поднялись на третий или четвертый этаж, Костя открыл своим ключом, сели, поговорили немножко. Тут Костя встает и толкает меня в бок: «Ну, Зина, мы уходим». — «А мама?» — «Это тебя не касается». И мы ушли, а мама с Кеннетом остались. А оказалось это место — гостиница НКВД!

Еще один иностранец приехал как турист — Джок. И мама к нему привязалась, и на квартиру к нему ходила. Папа несколько раз делал ей втык, чтоб в нашем доме Джок не появлялся, поэтому, если иностранец засиживался допоздна и приходил папа, я прятала Джока в шкаф.

А папа кричал маме много раз: «Я не могу их убедить, что ты ничего не знаешь!!! Они-то думают, что я что-то тебе говорю о работе!»

И вот однажды мама приехала к Джоку, а его нет. Исчез. Какие-то люди за ним пришли, велели собрать вещи и увели. Знакомые австрийские коммунисты в тот день оказались на Белорусском вокзале и видели, как Джок в сопровождении штатских шел по перрону — и его посадили на поезд.

Наверное, папа попросил, чтобы Джока убрали. Он сказал: «Мама не понимает, какую мне роет яму».

— *Что изменилось в вашей жизни после отставки Литвинова?*

— Первого мая мы ходили на демонстрацию и, как все порядочные люди, уехали на дачу. Третьего вернулись в Москву, я вернулась из института, и где-то в четыре часа — биб! — гудок папиного автомобиля. Что случилось? Он же должен сейчас ехать в кремлевскую столовую. Заболел? Ничего не понимаю. Выхожу на лестницу: папа поднимается. Входит, открывает свою комнату, кладет портфель: «Можешь меня поздравить. Я больше не нарком».

На пленуме его расчихвостили, только один человек выступил в защиту. Сталин. Поэтому папу не тронули. Несмотря на то что считали евреем. А он себя евреем не считал. Возмущался: я иврит знаю? В синагогу хожу? Книги священные я читаю? Какой же я еврей?! Он очень переживал, когда его называли евреем.

И продолжили мы жить, как прежде: за квартиру не платили, за питание не платили — все присылали: от фруктов до икры. Ездили на дачу, словно ничего не случилось, но на даче начались распри: кто куда — у Тани встречи с молодыми людьми, бросила школу, занялась живописью, Мише хочется на концерт... Все разошлись.

Кончилось тем, что я с папой вечерами на даче оставалась одна — такая я приученная и домашняя. Как кошка. Вечно дома сидела. Если в театр, то с папой. А у него пневмония ужасная, кашлял над туалетом до

рвоты. А рядом только я. Я ему горячее молоко делала, чтоб без пенок.

— *Некоторые говорят, он любил вас...*

— ...Ни к чему это. Он, конечно, ко мне тепло относился. Может быть, за мое внимание. Баловал. Это я согласна. Шоколад привозил швейцарский. А я с Татьяной поделюсь. Когда Татьяна переключилась на живопись, папа возмутился сильно и пригласил Грабаря посмотреть: есть талант? Грабарь ничего особенно не сказал. Папа перестал Татьяне деньги давать. Я возмутилась: «Это жестоко! Как же она на трамвае поедет, на автобусе?» — «Пусть мама ей дает!» Это был его способ отыграться. «Школу не кончила, а кидается в живопись!»

Мы гуляли. Он сказал: «Я надеюсь, что если меня заберут... Я на вас надеюсь». — «Что надеешься?» — «Что не выдадите. Не подпишете то, что нужно. Но если маму заберут — мы все пропадем». — «Почему ты так к маме относишься?» — «Потому, что она все подпишет. Ей все равно».

Он всегда ходил, любил ходить, и в кармане — кольт, вот такой. А в портфеле у него в кобуре вот такой наган. «Почему ты это носишь?» — «На всякий случай. Я живьем им не отдамся». Он попросил меня найти человека, кто бы прочистил наган, и я не придумала ничего умнее, чем попросить начальника папиной охраны Левашова...

У папы не было охраны. Потом, когда начал часто ездить, появился латыш. Латыша посадили, и появился Левашов. Производил интеллигентное впечатление. И у нас роман закрутился, Левашов обаятельный, харизматический, в университетском городе вырос, Томске. Так отличался от всех энкавэдэшников...

Папа мне твердил: «Ты глупая и наивная! Он специально подослан докладывать, что у нас в семье творится!» Я смеялась: «Папа, ну что он может сказать? Что ты танцуешь под патефон? Что ты рад, что не работаешь?»

Что целый день сидишь без дела? И ходишь гулять до столовой?»

— *Уманского вспоминают как красавца, все его любили... И дочь, говорят, красавица...*

— Сексапильный. Он и за нами с Таней ухаживал, лез в постель. Прием в особняке, кончился ужин, он поднялся ко мне в комнату. Я его выставила. Он — в следующую комнату, к Тане. И все это так невзначай: ой, я ошибся дверью...

А девочка, дочка: не столько красавица, сколько у нее были изумительные курчавые локоны.

— *Говорят, Уманский ухаживал за Петровой...*

— Петрова! Вообще — странная женщина! Непонятно, откуда взялась. Ее лицо — сфинкс. Я не видела ни разу, чтобы она хотя бы раз улыбнулась. Смуглая, изящная. Такая типичная коммунистка. Бывало, месяцами мы ее не видели, а потом она появлялась. Я подозревала, что она связана с НКВД. Откуда она появилась? Сперва у папы секретарь был на «дэ», бывший дипкуррьер. Потом секретарь на «эль», из комсомола, сын большевика, но его посадили. Потом Козловский, но папа послал его в Бельгию, чтобы спасти от ареста. И появилась Петрова.

Официально числилась в издательстве, а связь держала с энкавэдэями. И каким-то образом ее взяли в Наркоминдел, и она зацепилась. Звонила и говорила папе: я к вам приеду на дачу! Я слышала, мама сказала папе: «Я не знаю, что делать, она навязывается. Не могу же я каждый день говорить: не приезжайте!»

Роман у нее с Уманским был. Но романы у нее со многими были.

— *И с Литвиновым?*

— Я не могу это говорить. И отрицать не могу.

Папа мечтал, чтобы я стала врачом. Но из-за замужества институт полетел, хотя сдала все экзамены, кроме хирургии.

Я вышла замуж за Левашова, началась война. Мама, Флора и Павлик уехали в Куйбышев, а я с мужем далеко в Сибирь, за Новосибирск, в деревню. Я на восьмом месяце беременности, у меня день рождения 15 октября, и у меня бзик — хочу день рождения отметить в Москве! Все меня отговаривали, муж сказал: не умно, но я показала документы, чья я дочь, и мне тут же дали билет.

Еду в странном полупустом вагоне, без матрасов, без света, проводники в перчатках, все пассажиры из НКВД: дублинка, ремень, наган, непонятные разговоры — «на Большой земле, на Большой земле»... Партизаны, что ли? Началась бомбежка — они из вагона попрыгали, я, конечно, осталась. Они вернулись, а с ними ехал врач: «Как вы могли остаться? В таком положении? Зачем вы едете?» — «Какая разница, где погибнуть — тут или там?»

С вокзала звоню папе: «Я приехала!»

Он гробовым голосом: «Что ты сделала... Немцы под Москвой!» — «Неужели?» — «Мы ведь уезжаем в Америку через Куйбышев». — «А я приехала на день рождения!» — «Сумасшедшая».

Он прислал к Ярославскому вокзалу машину, и я приехала к нему в кремлевскую столовую. «Что ты сделала? Москва эвакуирована, не сегодня завтра мы должны уехать...» А мне не страшно! Ни от сирены, ни от бомбежки. Я в бомбоубежище ни разу не пошла!

Мы поехали в Куйбышев, папа как-то виновато говорит: «Ты не возражаешь, если с нами Петрова поедет?» Для меня это обычное явление, так она присосалась, я только подумала: «Где же ее сын?» Она появилась на вокзале, мы ехали с охраной, в пустом вагоне безо всяких удобств. Только три ящика продуктов, чтобы кормить охрану.

Едем. «Пап, а что Петрова будет в Куйбышеве делать?» Он так тихо и спокойно отвечает: «Она с нами поедет в Вашингтон. Оформил секретарем. Мама велела ей за мной смотреть, когда уезжала в Куйбышев. Вот она и взяла надо мной шефство».

Поедет и поедет, но я заметила, когда пыталась уснуть, что в папином купе все время горит свет. И я встала и прокралась со своим животом, смотрю: он там лежит. А она сидит рядом.

— Айви Вальтеровна переживала из-за отношений Максима Максимовича и Петровой?

— Ничего, ничего...

Вопросы на ответы

«25 июля. Мать была актрисой, а последнее время работает электротехником в артели “Промремонт”».

В начале июня я зашел в школу и услышал, что Володя Шахурин и Нина Уманская якобы несколько дней назад были убиты у Большого Каменного моста. Кем убиты? Не знаю».

Кто-то составил план *воспитания* и начал по плану. Первые три дня мальчикам приносили баланду с кильками, а потом откармливали как на убой.

«Болотовский рассказал, что С.М.Шахурин говорила, что *были кем-то убиты* и ей неприятно, что некоторые ученики нашей школы говорят, будто бы Володя застрелил Нину и после покончил жизнь самоубийством».

Днем они читали. Серго Микоян упивался Достоевским и «Приключениями Рокамболя», обнаружив, что, как и Рокамболь, томится в камере 413. Хмельницкий сидел в 91-й, хорошей камере с унитазом и умывальником, и ждал тележки из библиотеки — за полгода они прочли больше, чем за прошедшую и последующую жизнь. Реденсу сосед по камере представился кинемехаником Мастерковым (якобы арестовали за сгоревший

кинопроектор), Мастерков пересказывал фильмы, соскальзывая к: «А может, кто подучил вас в эти... игры?», исчезал на побывки, возвращаясь с хорошим куском сливочного масла. Допрашивали ночью.

«Володе нравились методы работы ордена иезуитов: обман, хитрость, интриги. Особенно нравилось изречение: младший член должен быть трупом в руках старшего. Хотели назвать организацию “Орден иезуитов XX века”, но заспорили. Создали руководящий чрезвычайный совет. Иностранный отдел возглавил Реденс, агитацию и пропаганду — Хмельницкий, вооружение и финансы — Барабанов. Шахурин — вождь, рейхсфюрер. Ваню — шеф и покровитель. Собирали по десять рублей в месяц. Для каких целей собирали денежные средства? Деньги для приобретения оружия для своих дивизий. У Шахурина имелся испорченный пистолет “бульдог”, пугач “вальтер” и большой нож. У Микояна Серго небольшой пятизарядный револьвер или пугач, у Кирпичникова старый штык и нож».

Реденс не доставал ногами до пола, на первом допросе следователь вдруг сказал, отвлекшись от стального полета ему в душу: «Ты уже большой, а ногами болтаешь...»

...С ними говорили лучшие мастера предсмертной беседы Империи. Знаменитый Шейнин, сыщик с монограммой, — даже ненавидящие, описывая его, не обходились без «интеллигентнейший», выходец из многочисленной еврейской семьи, одной из четырех приведенных в революцию агитацией лично Кагановича. (Мальчишки не боялись только Шейнина: он улыбался. Серго Микоян на всю жизнь запомнил лживую истину: если на допросе улыбаются — ты выйдешь.) Богдан Кобулов, замнаркома НКВД, приятель Уманского, так запомнившийся себе-

седнику из тех немногих, кто после разговора с Кобуловым прожил дольше недели: «крупная голова, полное лицо человека, любящего поесть и выпить, глаза навыкате, большие волосатые руки и короткие, кривые ноги». Дочь Кобулова — за это благодарны все и что-то небольшое простили папе — не сторонилась родственников арестованных и казненных, не отводила при встрече глаз. Страшный, высокий и красивый Лев Емельянович Володзиевский, одно из чудовищ Лаврентия Берии, ходил из угла в угол — ему потом доверили вскрывать гнойник разгула Васи Сталина в ВВС Московского округа.

Больше всех мальчики боялись генерал-лейтенанта Сазыкина. Николай Степанович не улыбался, мрачный. У всех людей правды мальчики, игравшие в фашистов, вызывали омерзение, но только Сазыкин его не скрывал. Почему? Скорее всего потому, что, послужив наркомом госбезопасности Молдавии, но еще не занявшись атомной бомбой, в то лето Николай Степанович не только неотлучно находился при Берии, но и возглавлял Четвертое управление, секретно-политическое, изучая ржавчину железных людей: похоть, порочные наклонности, пьянство, барство, присваивание блестящих безделушек — все, что следовало знать императору, — подустал от низости и не считал нужным улыбаться этим...

«Немецкие книги В.Шахурин получал от Ваню тайно от родителей. По чьему совету читал? Не знаю. Говорил, что ему нравятся некоторые принципы Гитлера. Врага надо принять ласково и предложить отравленную конфетку. Говорил: когда подрастем, займем руководящие посты и будем проводить свою политику. Какую?

Володя видел себя сперва дипломатом, а потом диктатором и стремился к достижению господства дипломатическими и военными путями. Из немцев создадим

армию для завоевания других государств. Из Франции устроим кафешантан. Главное — собирать сторонников».

Если выкованные из железа бывшие наркомы госбезопасности на следствии становились воском, то семиклассники, восьмиклассник и шестиклассник представляли собой набор пластилина «Зоопарк» — из них можно вылепить все. Но следствие, следуя плану воспитания, *все* не хотело, лишь вяло и поверхностно царапало: а не руководил ли вашими играми взрослый, какой-нибудь заезжий американец?

Реденс выгораживал себя и топил остальных, требуя очных ставок (и ставки проводили), лишь бы выбраться вот туда, за лубянское окно, где так отчетливо видны круглые, добрые окна «Гастронома». Серго стыдили: твой брат погиб, второй сражается, а ты — играешь в *фьюрера*! Серго заплакал, а поплакав, спросил, взглянув на вспышки за окном: «Москву бомбят?» Нет, хмуро ответили ему, как чужому, это салюты. Москва салютует победе на Курской дуге. Ты разве не знаешь?

«Володя планировал прийти к власти с помощью Японии, которая даст оружие и взамен получит Дальний Восток.

Любимая фраза его: “Когда мы придем к власти”. Планировал построить виллы в Австралии и других частях света.

Показал мне на карте остров в Индийском океане — здесь будет наше государство! И сказал: “Куда же мне девать папашу? Что ж, отведу ему какую-нибудь дачу. Пусть живет”.

Говорил, введет частную торговлю и частную собственность, откроет роскошные рестораны с музыкой и танцами, фешенебельные кинотеатры, и каждый будет делать то, что хочет.

В чем состояла практическая деятельность вашей организации “Четвертая империя”?

Мы перестреливались из рогаток».

Допросы кончились. Наступила тишина. О смерти мальчики не думали. Это они помнят точно.

— Хватит. Я все равно там ничего не вижу, — и я зажмурился, чтобы сберечь глаза от ударившего света; мы выехали с Борей на платную рыбалку электричкой в сторону Апрелевки, обсаженные живыми людьми. — Их план понятен. Мальчики повторяют подсказки следователей — Япония даст оружие и взамен получит Дальний Восток! Все — для императора, понятным ему языком. Чтоб не тронул отцов.

— Все вешают на Шахурина. На мертвого, — буркнул Боря.

— Заметь — ни слова про Нину. Большой Каменный мост — их слабое место. Надеются, император поверит в несчастную любовь, кавказец, горячая кровь — должен поверить: будь моей или убью! Боря, отсюда мы ни хрена не увидим. Надо ехать на место происшествия. В третье июня.

— А доверенность? — Боря лулгал семечки и плевал шелуху в газетный кулек, свернутый рупором. — Мальчики не дадут.

— В обвинительном заключении восемь человек. Мы взяли только пятерых.

— А остальных уже нет: Барабанов, Хххххх, Кирпичников. А что мы знаем про них? Я считаю, — Боря нагнулся ко мне, перекрикивая ручную голосистую торговлю, — надо купить вход. Выходить на серьезного человека в ФСБ. И заносить котлету. Штук сто зеленых. А Наумыч против! Говорит, на входе *правило* должно соблюдаться. А по правилу кто-то сам должен пустить. Или Наумыч уходит. Только кто нас пустит? — И Боря тронул за рукав разносчицу, заливавшуюся в проходе: «Каркадэ из лепестков суданской розы! Любимый чай фараонов!» — Так фараоны — это ж милиционеры! — И вгрызся в худощавого соседа с горбатым носом: — Ты откуда?

– Из Москвы.

– Не, вообще откуда?

– Из Грузии, – без охоты признался мужик.

– Откуда из Грузии? Потти? У меня друг был заместитель председателя парламента Абхазии. Все, говорил, у него будет. Убили его, когда война началась. А мать у него сто два года прожила. Уже вторые зубы начали расти. Он был мингрел.

– Это хароши...

– Война зачем-то, – и Боря вздохнул, – убивают друг друга. А надо жить!

– Канешь.

Боря хрустнул семечкой и налег на грузина тесней:

– На заказ едешь? Убивать кого? Нет? А нож есть? Какой же грузин без ножа? – И обернулся через проход к лежащей собаке, порода колли. – Дай лапу. Ну, дай лапу! Ну-ка, дай лапу!

– Мужчина, я прививку от бешенства не делала.

Боря ударил себя свободным кулаком в грудь и заплакал:

– Меня не укусит. Она чует, что я по жизни – собака!

Возвращаться пришлось одному; за щупающими лучами фонариков к станции брели горбатые от рюкзаков люди в безвозмездном сопровождении бродячих собак, разгоняя по округе скрип и посвист тяжело груженых тележек. Все дачники несли цветы, словно на похороны. Люди поднимались гуськом на платформу и замирали в утробной тьме, словно дожидаясь очереди родиться, пока не появился электровозный растущий ослепляющий глаз, – в луче электровоза завиднелся пар человеческого дыхания изо ртов и дымок от брошенной на рельсы сигареты.

Странно смотрелись эти же лица уже на вагонном свету; я отвернулся к законным огням на переездах и опознавал встречные поезда: Москва–Симферополь, второй Москва–Симферополь, жуткий Москва–Ейск

стоял рядом три минуты, а потом тронулся и потащил мимо пустые вагоны, разбитые стекла и одинокую фигуру, бугром легшую под два одеяла.

В городе девушки в синих фартуках доили почтовые ящики. Люди в белых заплатках шли от травмопункта. Пошел снег. Человек ничего не может сделать с ветром. Временем. Морем. С «пошел снег», «падает снег». С самим собой. Может себя сломать. Но не сломаться не может.

Я остановился у рыбной витрины: форель без головы, кижуч с головой, лимонема, нототения (тушка), путассу, гренадер, минтай индивидуальной заморозки... Дорога вытягивала из-под утренних трамваев розовые от рассвета рельсы, как две нитки. По щиколотку в мокром снегу я обернулся — девушка в трамвае с черными длинными ровными волосами, в очках, говорит по телефону, вот так двигаются ее глаза за стеклами очков, так поднимаются брови в поддержку сказанного — провинциальная красавица с обычным девизом «Всеми попользоваться и никому не дать»; я иду домой, тунгусский метеорит падает спать. Только выброшу мусор. Ведь есть где-то место, где копится мой мусор. Письмо с перечислением выброшенного за последние триста дней — ничего страшней по почте человек получить не может.

— Это я.

Я вздрогнул — Алена сидела на подоконнике. Всегда, когда я захожу в свой подъезд, мне кажется, что сейчас меня встретят.

— Пустишь меня к себе? Давай опоздаем на работу. Я просто посижу. Ты ляжешь поспать, а я сяду рядом и тихонечко буду гладить твои волосы, целовать глаза... Сварю кофе.

Хорошо. В туалет у тебя я могу сходить? Хочу в туалет! Дай мне ключи. Дай мне ключи! Я сама открою. Пусти меня!!! В чем дело? Не трогай меня. Тебя что — кто-то ждет?! Ты не один живешь?! Кто там?!!

— Там никого нет.

Их отпустили перед Новым годом. Точно день — двадцать второе декабря — запомнил только фантазер Тема Хмельницкий: через три года, день в день, его маму посадили на десять лет, и отец сказал: «Я не буду вмешиваться», словно *мог*, но долг не позволил. Почему выпустили, не отмерили лет по пять (за одну фашистскую листовку в кармане черные люди получали десять лет — автоматом) — никто не узнает. Слышали — к императору в кабинет зашли любимцы, молодцы, красавцы адмирал Кузнецов и маршал артиллерии Воронов (они баловали кремлевских детей — большой теннис и яхтенные прогулки): товарищ Сталин, сделайте *нам* подарок на *свой* день рождения — отпустите мальчиков! Сволочи вы, сказал Сталин, и ваши дети — сволочи. И отпустил. Неправда.

Сосед Реденса, «киномеханик», давно скучал и много спал. «У меня такое ощущение, что сегодня в твоём деле что-то двинется», — раздалось: собирайся с вещами!

На первом этаже Реденс увидел мать. Она рассмотрела отъезжего сына и удивленно повернулась к Кобулову: ну и ну... Мальчику ткнули в бумаги: расписывайся, тут и тут. «А если я не распишусь?» — вдруг шевельнулся он. «Молчи!» — закричала мать. И он расписался. И теперь, когда все погасло, исполнен план, «нет вопросов» и можно расходиться, мать Реденса, Анна Сергеевна (в тюрьме ее сведут с ума), с крепким характером и безумной добротой, вдруг полезла через оркестровую яму на сцену, где разбирали декорации, и приняла прошловековую позу из какой-то переводной пьесы (ей-богу, ясно, почему сестра покойной жены так раздражала императора!): «А теперь. Когда у вас больше нет вопросов, у меня к *вам* есть вопрос! Как себя вел мой сын? Подлец он или нет? Ведь он честный советский юноша? Я забираю у вас сына, и мне это необходимо знать!» Все нормально, нормально, сумасшедшую отгеснили к лестнице, и занавес напоз на сцену, Лубянка выплюнула родственников императора, и они отправились на трамвайную остановку.

Реденса выслали в Омск, отправили поездом, первый Новый год — не дома, из репродукторов каждой станции звучал новый гимн — только что приняли.

Серго велели: собери вещи, и последний раз провели тюремным коридором мимо деревянных будочек — в них прятали идущих навстречу, чтобы заключенные не виделись. В комнате у стола с хрестоматийным зеленым сукном ему сунули бумаги: подпишись, участвовал в фашистской организации, раскаиваюсь, прошу об освобождении. Я не буду подписывать! Я ни в чем *таким* не участвовал! Да ладно, зевнули ему, это формальность такая, вот за стеной тебя мать и брат ждут. В соседней комнате, за приоткрытой дверью звучали голоса, не местные, свободные голоса без кокарды, но и нет, не родные — Серго не узнавал, обмирая: сейчас подпишешь — схватят и уведут в камеру, уже навсегда. Но подписал.

В соседней комнате его обняли мать и Ваню. Дома гостили армянские родственники, и Серго с порога объявил:

— А я сидел в 413-й камере. Как Рокамболь! — и вдруг увидел на гостях только что возвращенные в армию погоны. — Погоны? Как в царской армии?!

— Молчи! — вскричал дядя. — Мало тебе?

Выбирали из Сибири и Средней Азии и выбрали Сталинабад: на приеме у Микояна как раз оказался Курбанов, председатель таджикского правительства, он приготовил двухкомнатную квартиру — в ней безвылазно Серго и отбыл свое. Бакулев поехал к родственникам в Гурьев, Ваню Микоян подмаршировал к отцу: «Я ни в чем не виноват». — «Знаю. Если бы был виноват, убил бы», и пропал, оставив в документах красивый след «командирован на фронт обслуживать самолеты воюющих братьев».

Мальчиков не выпускали из виду. Подавали документы в институты, — документы без объяснений возвращали на домашний адрес.

Хирург Бакулев переживал за сына и подал на реабилитацию — без ответа. Умер император, позвонили из Верховного суда и подозвали к телефону именно Петю: вы оправданы — и без пощады добавили: больше в такие игры не играйте! Следователь Шейнин подружился с Бакулевыми, заходил в гости, мягко подшучивал над Петей; умер в один день с хирургом, их и положили рядом, а потом, по мере поступления, подхоронили жен.

Реденс дернулся в МЭИ, мать заранее отправилась в ректору и получила: с такой судимостью только на электромеханический факультет — но не удержался и там, когда арестовали мать. Много спустя Реденс все-таки выучился — строитель! — и через год после смерти императора получил три официальные бумаги: ваш отец расстрелян необоснованно, ваша мать репрессирована необоснованно, вы осуждены необоснованно.

Кирпичников окончил МВТУ и защитил диссертацию в институте металлургического машиностроения, дома молчал, его прозвали «тихушник».

Никогда больше не встречались. Реденс один раз мельком издали видел Кирпичникова и один раз столкнулся на автосервисе с Хмельницким.

— Что у нас по трем мертвым мальчикам? Я же просил!

Чухарев положил шпалами три узкие полоски бумаги, нарезанные из рекламной листовки «Двухзвенная плавающая машина ГТМ — 4901»:

— У Кирпичникова по базе МВД остался сын — Александр Феликсович. Прописан: улица Марии Ульяновой, дом 9, квартира 39. Телефон не отвечает, звоню две недели. Ххххххх числится пропавшим без вести с 2001 года. Родственников по базе нет. Зато у Барабанова¹ есть сын Александр, и даже жива супруга — Нина Гедеоновна, Ростовская набережная, дом 8, квартира 142, — и Чухарев пожевал что-то несказанное, коротко взглянув на Гольцмана.

— Ну, супер. Начинай с Барабанова.

– В базе есть пометка, что... или сам Барабанов, или его жена... наши люди. И если мы вызовем у нее подозрение – нас будут пробивать.

– Слушай, какая мне на хрен разница! Твое дело договориться о встрече! Кем хочешь представляйся. Для доверенности нужен один человек – племянник, сестра, внук, – можешь это сделать?!

Чухарев убрался обижаться и пахать; ничего хорошего, уже по имени – Нина Гедеоновна – все понятно!

– Александр Наумович, были у врача?

– В среду пойду. Кровь сдал и сходил на УЗИ.

– И что?

– Кровь не знаю, а на УЗИ... – Гольцман помолчал. – Долго так смотрел. Повернитесь на бок. На другой бок. Задержите дыхание. Результаты отдаст врачу. – И еще помолчал. – Но сказал: изменения в печени есть. Может, возрастные? И этот спросил, не болел ли гепатитом.

– Провериться все равно надо.

Гольцман поднялся, словно не слыша меня:

– Собираешься в третье июня?

– Какой у нас выход? Все молчат. Пойдем вместе.

3 июня (начало)

Все поступившие доносы утверждают – «среди бела дня», но Нина Уманская умерла июньским вечером, почти неотличимым по «белизне» от дня. Только что по Москве пустили двухэтажные троллейбусы с открытыми верхними площадками, и два маршрута катили по Большому Каменному мосту; троллейбусы и редкие прохожие – в сорок третьем году люди не прогуливались без производственной надобности в близости от Кремля, а лестницей к набережной, к Театру эстрады так вообще мало кто пользовался – место событий оказалось пустынным, только Дом правительства смотрел во все

окна. Первое, что сочинили: девочке пустили разрывную в затылок, обыкновенная пуля досталась Шахурину — нет, пули одинаковые.

Т р о я н о в с к и й: «Мы занимали две комнаты в “Москве”. Третьего июня Нина забежала попрощаться, попрощалась и ушла. Днем зашел Константин Александрович, и как раз, чтобы его застать, позвонила Нина. Она предупредила, что задержится, “не беспокойся”. Уманский позволил: “Ну, если мальчик тебя проводит, можешь погулять еще. *Только не ходи одна*”».

В л а д и м и р А л л и л у е в: «Я играл с ребятами во дворе и вдруг услышал два выстрела. Кинулись посмотреть, но тела уже увезли. Но тетя моя успела увидеть».

Л е о н и д Р е д е н с: «И я прибежал в тот день на лестницу, но увидел только пятна крови».

Б а р ы ш е н к о в а: «И я там была».

О л ь г а Т и м о ш е н к о: «По дороге из школы узнала: этот придурок застрелил себя и Нину».

П е т р Б а к у л е в: «Мне позвонила мама с работы: ты знаешь, что случилось? Вечером отец сказал: бесполезное дело, скорее всего скончается. Пуля прошла от виска до виска. Если выживет, то останется инвалидом».

В а д и м К о ж и н о в: «Я, как и многие, приносил цветы на лестницу...»

Н е к т о (*пугается в показаниях*): «Дело шло к весне, я в очередной раз направлялась к Уманским отнести письмо родителям (Константин Александрович получил назначение послом на Кубу и чуть ли не на следующий день должен был вылетать). На Большом Каменном мосту я встретила брата Уманского (кажется, он работал в радиокомитете). У него посинели губы, и сквозь них он бормотал непонятные слова. Чтò-то вроде “Нё может быть... Тита... Костя...”». Нину в семье называли Тита. Следом бежала вдова Луначарского Розенель, тоже невменяема: “Не ходите туда! Там красивая девушка на асфальте, но этого не может быть...”»

Здесь у меня провал памяти. Мне кажется, я своими глазами видела “красивую девушку на асфальте”, ее рассыпавшиеся каштановые волосы. Но я думаю — это аффект».

Н е к т о-2: «В квартире совершенно безумный Костя. Рая, его жена, находилась в это время на даче, и Костя передал ей, что произошла автомобильная катастрофа, и внушал всем (люди подходили): не проговоритесь!»

Н е к т о-3: «Раису Михайловну увели из дома, чтобы сменить обстановку, и доставили в номер к Трояновским в полной прострации. Она лежала на кровати неподвижно, как скатанный ковер. Вызванный врач попросил сына Трояновского от нее не отходить. Туда же пришла Полина Семеновна Молотова. Уманский заглянул проведать жену и быстро ушел посоветоваться с Шейниным. Вернулся со странной фразой на устах: “*Когда поговоришь с умным человеком — совсем другое дело*”. Возможно, он советовался: отменять вылет или остаться. Я не знаю, что могла означать эта фраза».

Н е к т о-4: «Когда Константин Александрович зашел к нам после смерти Нины, он выглядел страшно — плакал, себя проклинал, я на него глаз поднять не могла. Раиса после смерти дочери практически сошла с ума. На память о дочери она взяла часы и всегда носила их на руке».

Н е к т о-5: «Он повторял Эренбургу: “Ну почему я не послушался вашего совета?!” А тот не мог понять: какого совета?»

Н е к т о-6: «Софья Мироновна пластом лежала на кровати». Она считала, что произошедшее — дело рук немецкой разведки. Шахурин казался совершенно спокойным и ходил по квартире. Шейнин как-то сказал в конце рабочего дня: Шахурин требует, чтобы дело признали политическим, а это всего лишь результаты плохого воспитания».

Все испугались — родители 175-й школы, «проклятой касты», как выразился император, сцепились на час-два три локтями вокруг лестничной площадки, испачканной кровью и посыпанной песком, пока постовые еще звонили своим начальникам в райотделы, пока не подъехал НКВД, пока Берия или Абакумов не попросили своих «...этот вопрос поглубже»; придумать, как представить императору, чтоб спасти то, что еще можно спасти, чтоб земля не расползлась и не съела всех, кто рядом. Лев Шейнин, всего лишь умный, правильно понявший задачу инструмент, скальпель, повар, подъехал, когда ему уже сказали, что стряпать: безумная любовь, страсть, Иосиф Виссарионович, девку положил из «вальтера» наповал и себе — от виска до виска.

Они рассчитывали: у императора стрелялся сын, жена императора покончила с собой (и тоже из «вальтера») — они так приготовили, и император должен съесть, пойматься еще потому, что — *дети*; император и его близкие словно не знали, что делать с детьми, им не хотелось возни, в Москве насчитывали шестьсот подростков-бандитов, детский писатель Чуковский (в мае, трех недель не прошло) умолял старших «основать возможно больше трудовых колоний с суровым военным режимом» для школьников начальных классов, а то ведь *необъяснимо* почему растут ворье и убийцы; маршал Ворошилов, взволнованно прохаживаясь по кабинетному простору, описал императору, Молотову и Калинин, как девятилетний мальчик чуть не зарезал сына зампрокурора Москвы и вслух выразил волнующий всех вопрос: «Я не понимаю, почему этих мерзавцев не расстреливать?»; император своей рукой ужесточил постановление (готовил Вышинский, помянем, так сказать, юриста): расстреливать мерзавцев с *двенадцати* лет. Императора не могло удивить, что ученики лучшей школы стреляют друг в друга из пистолетов — дети! И еще (предполагали все) он должен *пове-*

стись на любовь — любовь не признавал заслуживающей императорского внимания, «это для баб», но сталкивался с ней в самых неожиданных местах — трех месяцев не прошло, как вмазал десятикласснице дочери две размашистые пощечины за: «А я люблю его!», за нежное чувство, осторожно пробужденное и выращенное сорокалетним драматургом Каплером, решившим сходить за жар-птицей кратчайшим путем. Император вытребовал для чтения и оценки любовную переписку, и в страшном бессилии хоть что-то изменить, ведомом каждому отцу, человек, двигавший к жизни или в противоположную сторону.. миллионы, с любовью — *не мог ничего*; роняя конверты с голубками и целовальным бредом, хрипел за помощью к единственной на свете, способной утешить: «Подумай, няня, до чего дошла! Идет такая война, а она занята...» — и мужицким словом! Дочери не мог простить — идет *такая* война, — но 3 июня (так они, заинтересованные, рассчитали) ему пришлось узнать: *этим* занята не только дочь его, придется смириться — смирись! — и он не стал бы вникать (тоже угадали), потому что, как верно написала расстрелянная за год (и сыну Джонику пришлось несладко) до 3 июня Мария Анисимовна Сванидзе, подруга императоровой жены, «для Иосифа было бы ударом знать все во всех подробностях...»; вот на что уповали: император не захочет *знать все во всех подробностях*, это под силу только тому, кто пишется с большой буквы: «Он устает, ему хочется дома уюта и покоя среди детей. И вдруг надоедать ему со всеми дрызгами детской...»

Поэтому он только и сказал: волчата. С оттенком удивления. Или отчаяния. Или... Никто не запомнил. Говорил так?

Кому выпало обслужить, сверяясь с записями в официантском блокноте?

3 июня к Сталину заходили Молотов и Берия — еще не о чем.

4 июня — Берия, нарком госбезопасности Меркулов (первые детали) и герой-снайпер Людмила Павлюченко — она проехала с успехом по Америке — как принимали простые американцы?

5 июня — думаю, основным блюдом императора угощали именно в этот день (умер Володя, улетел Уманский, Шейнис написал сказку). В 22:35 зашел Микоян. Через пять минут император вызвал начальника главного управления военной контрразведки СМЕРШ Абакумова. Вместе они говорили час. Первым вышел Абакумов и через пятнадцать минут — в полночь — вышел Микоян, «он порешал свой вопрос», как научились говорить много позже русские люди.

Шахурин, несчастный Шахурин, любитель красивых галстуков и собственных портретов, закопавший в Новодевичьем керамическую банку с прахом единственного сына, зашел 9 июня — вот ему красная цена! — и сидел, усердно трудясь на совещании с одиннадцатью участниками двенадцатым, показывая: главное — победить в войне с немецко-фашистскими захватчиками, все остальное — несуществующие подробности. И, должно быть, улыбаясь, где требовалось, Микояну, заседавшему тут же, но к императору сидевшему много ближе; и заходил к императору 10, 14, 15 июня — дни, когда он мог еще осмелиться или ожидать (и бояться) сочувственного (или укоряющего) вопроса: «Я слышал, ваш сын...» (спросит его император, потерявший сына в концлагере, отец народа храбрых мальчиков, погибавших в партизанских отрядах, взрывавших мосты), но — ни разу с глазу на глаз.

Точка — 15 мая. Директор 175-й школы Леонова «от имени коллектива» поздравила императора с «окончанием Вашей дочерью Светланой курса средней школы с аттестатом отличника», но не спасло — уволили. И никого не спасло; малые, взявшиеся сочинить, забыли Софью Мироновну Шахурину, прозванную сыном «черный бомбардировщик», — мать знала *свою* правду, крича-

ла от боли и ослепла и не видела ничьих раскладов, схем и желаний еще пожить, Лубянской площади и Колымы с ладьями перевозчиков. Софья Мироновна, нелепая толстуха, носившая вызывающие шляпы и собиравшая фарфор, защищала детеныша, свою кровь, птенца, младенческую прядку – все, что осталось, хотя бы добрую память о нем, звук, и когда испугавшийся Реденс под конвоем мамы доставил на квартиру наркома бумаги «Четвертой империи», одна Софья Мироновна догадалась, как можно использовать игры в свастику: вернуть взор императора на Большой Каменный мост! Правду пришлось шить заново, уже другим (первым делом уволили генерального прокурора) – дырявую, сидевшую мешком правду, в нее уже никто не поверил, а немногие узнали наконец *все как есть* про появившуюся в империи плесень и подвесили причастных глубоководных на невидимую леску; и настало мгновение, когда император вдруг произнес: «Анастас, а где те твои дети?», и Микоян хапал жабрами воздух. Вот и кончилось. Лопаются глаза. Кончена жизнь.

Алена жалко сказала: никуда не ходим. Давай в цирк. Дрессировщик Забелкин таскал на руках паралитика крокодила – у крокодила не закрывалась пасть, словно деревяшкой расперли или от жары. Жена дрессировщика совала лицо меж крокодильих челюстей. Затем Забелкин молча тягал на руках удавов и питонов. Я думал про мать дрессировщика, представляла ли она, растя сына, что он будет зарабатывать на жизнь ношением скользких гадов. Незанятые гады поблескивали на манеже, как шнурки из ртути.

В перерыве зритель-японец дважды обошел туалет, держа на весу вымытые руки, в поисках сушилки или бумажного полотенца.

Во втором отделении Забелкин надел синюю шляпу с золотой лентой и работал без клетки с изможденными

тиграми и львами. Совал в пасти куски мяса, похожие на комки арбузной плоти. Львы и тигры катались на шаре и ложились матрасами под дрессировщика.

Последними вышли пыльные слоны под руководством Дурова и весело побили мячики в народ. Из нагрудного кармана Дурова торчал белоснежный платок, большой, как наволочка.

Нельзя сказать: мы приблизились, мы опустились глубоко, количество мертвых ограничено, они перестают говорить, что-то знает Ваню — но его не разведем, все знает Петрова, но Софья Топольская и Владимир Флам родили девочку в России в немое время, и время отучило ее говорить по душам, открывать душу, облегчать душу, очищать душу, изливать душу; Тася и при соборовании, я предполагаю, отделалась общими словами батюшке из церкви Иоанна Воина. От Петровой осталась единственная внучка, единственный человек из Цурко, горячий, не затянутый льдами, но девочка отравилась от любви — нам больше не с кем говорить, пора становиться на их точку зрения. Большой Каменный мост третьего июня мы должны увидеть сами.

— С кем ты разговариваешь? Я же вижу... — Мы брели с Аленой вверх до Пушкинской вдоль бульваров и находились совсем недалеко от весны, и если днем, в ясную погоду выйти на открытую землю и посмотреть далеко в ту сторону, откуда весна, — кажется, словно уже видишь ее за белыми домами и черными ветками, чувствуешь ее запах в ветре, плотный, летучий запах сырой земли.

— Я ничего не вижу. Нужна доверенность.

— Доверенность делает Чухарев? Хочешь, помогу ему? Он висит целыми днями в порносайтах. Ты знаешь, сколько ты платишь за Интернет?

— У нас есть паспортные данные и адрес сына Кирпичникова, сына Барабанова... Пишем доверенность от их имени, даем нотариусу сто долларов...

– Херня, – сказал Боря, вычищая магаданскую корюшку, – ФСБ пробьет доверенность, прозвонит...

– Телефон молчит.

– А если дозвонятся? Да любой нотариус, увидев в «куда» – ФСБ, скатает твою сотку в трубочку, смажет вазелином и ритмичными поступательными движениями засадит ее тебе в прямую кишку. Это уголовное дело! Ты что, не понял правило? Живой человек, понимая, что делает, должен сказать: я согласен. Тогда мы войдем. Сделай так. Не сделаешь – на хрен ты нам нужен?

...Телефон Кирпичникова на улице Марии Ульяновой не отвечал. Чухарев набрал Нину Гедеоновну Барабанову, заранее зная, как будет.

– Алло. Да. А с кем вы еще разговаривали? И с Реденсом? Оставьте мне ваш телефон, я вам позвоню. Это служебный или домашний? А домашний можно записать? Как ваша фамилия?

– Алло. Да. Я помню. А что вам нужно? Мы ничего не помним. Фото моего мужа нет. Просто не сохранились. Кем работал? Ну, ездил по стране. Военный. Нет, у него есть сестра. Нет, я позвоню ей сама. Если она захочет, то позвонит вам. Оставьте свой телефон. Ах да, я его уже записывала...

– Алло. Да. Я помню, вы звонили в прошлом месяце. Вы знаете, пока ничего не могу вам сказать. И сестра тоже. А с кем вы еще говорили? И с Ирочкой Бусаловой? Ин-те-ресно-о... Можете дать ее телефон? Вы же с ней встречались. По вашим словам. Записываю.

– Алло. Да, мы договаривались, но я ничего не вспомнила. И сестра моего покойного мужа – тоже ничего не вспомнила. А, еще раз, что вас, собственно, интересует? Нет, он не общался ни с кем. И после той... истории изменил круг общения. А про Нину Уманскую подробно рассказал в телепередаче Серго Микоян...

– Он не рассказал ничего!

— На мой взгляд, — страшной паузой она давала ему многое понять, — даже много лишнего. Оставалось двое — по Ххххххх не находилось даже адреса, телефон Кирпичникова — без изменений — молчал: пустая квартира?

Ясным днем Чухарев отправился на Марию Ульянову. Дом девять.

Светило солнце. Он вошел в сырой и льдистый двор и деловитым несуетливым шагом двинулся вдоль дома, считая подъезды. Второй. Вовремя подъехала с прогулки молодая мать и впустила его в подъезд — помогал занести коляску. Чухарев поднялся на второй этаж.

Подход к квартирам тридцать девять и сорок скрывала капитальная железная дверь с капитальным железным замочиком. Две кнопки звонка. На верхнюю наклеен клоч лейкопластыря с чернильным 39. Нижняя чистая.

Чухарев постоял. И вслушался. Из-за двери доносились какие-то кухонные звуки. Он нажал верхнюю кнопку. Звонка не услышал и вдавил кнопку сильнее — вдруг там, за железом, тотчас отворилась дверь квартиры тридцать девять, три месяца (и еще сегодня утром) не отвечавшей на звонки, и к двери, железу, проткнутому рыбьим глазком, по домашнему тапочко прошлепало... Чухарев почувал распускающуюся огненную силу, к горлу подтекло вступительное «здравствуйте, я...»; встал ровнее, просительное и доброе выражение лица, уверенность... Шаги удалились, и дверь квартиры заперли — все стихло.

Посмотрел в глазок и ушел? Совпало — выходили из квартиры сорок выставить коробку из-под пылесоса, чтоб утром выбросить на помойку по пути на автобус? Чухарев опять позвонил в тридцать девять. Опять. В два раза дольше — опять. Ничего не происходило. Он достал мобильник и позвонил в квартиру по телефону — не берут. Уперся пальцем в кнопку сороковой квартиры. Ничего. Все-таки выходили из тридцать девятой. Кого боится жилец? Почему не подходит к телефону? Чухарев

подождал у лифта — вдруг соседи напротив вызовут милицию, стоит черный человек и ждет. Спустился к мусоропроводу и посидел в засаде на подоконнике, сам стыдясь своей затеи. Никто не вышел. Побродил туда-сюда у подъезда, подстерегая жильцов.

— Вы не знаете кого-нибудь из тридцать девятой квартиры?

Мужик с потрепанной мордой взглянул на Чухарева с ужасом. Да, так теперь будет все время казаться. Когда ищешь, уже не бывает случайных прохожих и посторонних людей — у каждого *роль*. Из подъезда вышла девушка.

— А вы?..

Испуганно отвернулась и ушла.

Чухарев не мог себя удержать и сделал то, за что учителя не похвалили бы: остановился и, задрав голову, уставился в окна тридцать девятой квартиры — смотрел в упор, заинтересованно приподнимаясь на носки: посмотрите, не надо бояться, — вдруг кто-то выглянет с безопасной высоты: что хотел-то?

Окно открыто. Соседнее треснуто, и трещина залеплена скотчем. Алкоголик? Беспробудно? Нужны деньги? Кинуть камушком в окно? Чухарев отвернулся и пошел со двора. Завтра вернусь. Как же его выковырять... Есть же старшие по подъезду, список их имеется в районной управе — должны каждого жильца знать, особенно пьющего... — или вот еще что можно... Попросить Алену Сергеевну. Красивая девушка звонит в дверь. Ей-то откроют.

Ich hatte einen Kameraden

Сперва сугробы обросли грязно-серебристой щетиной, и днем на солнце с мышинным шорохом или неясным уханьем с карнизов падал снег, затем встали на исцарапанных черных газонах зеленые пузатые мешки для мусора и меж ними прыгали худые вороны, и тогда

взметнула свои сабельки трава — веселая весенняя конница. Я стоял внутри своего имени среди людей, замерших у пешеходного перехода скорбно, как похоронные гости, и с удовольствием чихал. Старик рядом двумя руками держал эскимо, и когда пытался его укусить, руки начинали трястись. Машины ехали, пока зеленый глаз светофора не положил невидимый предел.

Это был двор на краю Москвы, за какой-то эстакадой — какая-нибудь 5-я Магистральная улица; город устал растекаться и кончился красным кирпичным домом в четыре этажа, отгороженным от кольцевой дороги рядами гаражей. Я присел на лавку среди валиков тополиного пуха, окруженный лоскутами рыбной чешуи и зазубренными скелетами воблы, и разглядывал пергаменты, висевшие на балконных веревках. Дети собирались в песочницах. Выходили бледные, худые женщины с белой дряблой кожей, в атласных халатах с разрезами глубже здравого смысла, стояли автомобили неразличимой марки, укутанные тряпками, как мумии фараонов, ожидая воскресения, бегал черный терьер и его вяло окликала задастая хозяйка, кралась белая кошка вдоль дома, на углу валялись мелкие перья растерзанного голубя, и ясно — до осени им валяться. На земле, где не росла трава, стоял ржавый остов вагона.

Я вспоминал, как волновался в эти страшные минуты когда-то, пока не отворится волшебная дверь и хлопнет — иди; джинсы с низкой талией открывали бледную спину с поперечными синеватыми прожилками. Я посмотрел на пушок над верхней губой, окруживший родинку, на комки туши на слипшихся ресницах, на густо напудренные щеки и почувствовал сладкое прикосновение слюны к небу.

В Парке культуры и отдыха (так ли называется он сейчас?) я вел ее проторенным маршрутом до колеса обозрения, ни от кого не в силах скрыть свою скуку от запаха шашлыков, кроваво-красных пластмассовых стульев и сто-

лов, аттракционных зазывал, загорелых лиц служителей колеса обозрения, заученно повторявших «голову поосторожней!». Сперва начали повторяться слова, язык скудел, спекался в набор ласковых слов, рассказы стеклись в один повторяющийся рассказ, бормотанье, срабатывала машина, проходя контрольные метки «у тебя холодные руки», «надо же, немного поговорили, а словно знакомы давно», «а ты женат?»; потом начали повторяться места: женщины не приносили новых мест, а приводили в старые, словно ложились в чужую постель, в чужие очертания, в нагретое, подчиняясь изгибам положенного, опробованного русла. Потом смерть подошла поближе — начали повторяться тела, позы, слова после соития, после боя, и жизнь после — все сгладилось в безжизненность надгробного покрова — и он лишился и того, ради чего и затевался этот поход: больше не цепляло, и не держало, и не обещало согреть на больничной койке в те несколько дней-недель мимолетных «до» конца, не цепляться же за глаза детей! — он не находил нужного, и теперь уже не мог нужное даже представить, других, другие обстоятельства, закрыв глаза с ненужными, — не сильны оказались эти представления. Что же получалось? Не надо было воевать? Терпеть и ждать, не сдвигаясь с места? Но он попробовал, и уже поздно. Но ведь где-то это осталось. Во сне, подумал он, ведь однажды он почувствовал это во сне, именно так, как искал, как впервые — несмелая надежда, восторг, счастье первого проникновения, нежная, полусонная острота с кем-то, он даже не задумывался с кем, но с кем-то невыносимо родным — женой. Но это получилось всего лишь раз. Во сне. И очень давно. Но так у всех, и ничего особенного.

— Вы здесь часто? Заходишь по выходным на карусели?

Он (я) душил зевки и припадал головой на ее половине разговора (влюбленные говорят по очереди) к жаркой и липкой стене и, вздрагивая, просыпался — со сном разладилось, ночами с открытыми глазами наблюдаю при-

ближение смерти, а каждое утро в контору... А кем вы работаете? да вон тем-то; любите свою работу? да вы, понимаете... а почему не смотрите мне в глаза? В глаза человеку можешь смотреть, если только у тебя есть фуражка с лакированным козырьком, — так говорит Боря.

— А я прошлое лето с подругой... Денег нет, а покататься хочется. В тире пострелять. Подходили к мужикам: покатайте нас. А мы потом с вами поедем. А вечером сбежали... Знаешь, как страшно — возьмемся за руки и летим сквозь кусты.

И я представил себе, обмякая и бодрясь, как они бежали, продираясь, за туалетными кабинками, по газонам, задыхаясь от смеха и ужаса, босиком, избавившись от каблучков, и даже не взглянул ей за спину, где она курортной керамикой по полочкам расставляла свою жизнь, как все, что придется принять тому, кем я никогда не стану: с тринадцати лет клеила коробки на Красногорском заводе фотоаппаратов, безработная мать, сестру отправляли на лето в лагерь, чтоб обходилась дешевле, в гости никто не приходил — в квартирном коридоре в сумеречном состоянии два года пролежал дед, накануне инсульта он попросил переставить кровать в коридор — в комнате ему страшно. У отца «в другой семье» родилась девочка-инвалид; когда отец приходил навещать прежнюю семью, мать выгоняла его из квартиры — они стояли посреди станции «Строгино», он плакал, и девятилетняя девочка говорила ему: мы все равно будем вместе, нас никто не разлучит, вас с мамой я люблю поровну, — а теперь не видятся почти.

Мы купили и использовали достаточное количество билетов и прочувствовали ряд случайных прикосновений; уже поздно, вам далеко добираться, может быть...

— Мы поедем к вам домой?

Я удивился: домой... Хотя почему, должен быть у меня не только адрес. Должен быть какой-то дом. Место, где сплю и открываю холодильник, где ждет меня кошка.

— Там есть халат. Можете надеть, — а я остался на кухне и ждал ее тела, и пил холодную воду, уронив в раковину стакан. Неприятно. Она думает: специально шумит. По телевизору бред. Если посижу еще минут пять, она уснет. Жалко просунул голову в дверь: не спите? Едва расслышал правдивое: вот-вот усну. Окно вам не открыть? Неясно, во тьме она лежала, вытянувшись наискось дивана. Не надо. Если не будете засыпать, приходите — еще поговорим, проблеял. И прикрыл дверь, словно скрыться от позора.

Разделся и лег, теребил ненужную газету. Ясно же сказала: сейчас уснет. Разве придет сама? Да нет. Ляжешь и будешь слушать, как бухает сердце. И не уснешь.

Она распахнула дверь и боком, неловко застыла. Я пришла. Если бы сейчас не пришла — уснула. Садитесь. Ложитесь. Прилегла, гася беспокойные движения губ. Погасил свет. Какой сегодня счастливый день. Долгий, счастливый день. Поискал губы, глаза, отстранялась. Плыло. Несколько слов, губы, глаза, ответные движения, длинные губы, нежность, мраком сделанное прекрасным лицо, сумерками, пояс на халате, груди с гладкими сосками, которые только губы могут найти, раздавшийся стан, бедра, узкие, волнующие колени, удивительно мягкие плечи, глубокая воронка пупка, бритая промежность, он царапал губы, щеки, мякоть — в ней словно прорываются незримые русла и брызжет сок, и, охотно повинуюсь, поглаживает ладонями свои груди и выгибается мостом... когда ты поняла, что я... что ты... ты так посмотрел на меня... а что тебя привлекло во мне... ее жалко намазанные глаза, тебе приятно?— ее руки еле, слабо держатся за шею, невесомо лежат на спине, не понимают. Рывком поднял и поставил к стене, прижал, накрутил волосы на руку и дергал, согнул набок, схватил под коленку, вцепился и грубо задрал ей ногу, она сопела, держала равновесие и молчала... бросил на кровать, смял грудь, она молчала, руки ее

шевелились бессмысленными, умирающими судорогами, не трогая его и убегая, если что-то встречалось на пути, и глаз не открывала... хлестанул ей по щекам — раз! два! перехватил и ее рукой ударил себя — и (прости...) целовал, долго, изнуряюще ласкал, и она вдруг замолкла, по-детски повернулась на бок, подтянула колени к животу и уже засыпала (отчетливо произнеся: «Мне кажется, вы хотите, чтобы я сейчас встала и ушла. Но мне на работу завтра к одиннадцати»), иногда размыкая ресницы, голосили противоугонные сирены, заводились предутренние собаки, залопотала патрульная машина: «В доме, где сберкасса!» — она спала. Я рано встал, вымылся, она спала и спала и встала рывком, когда уже было поздно. У тебя такое лицо, я тебя таким боюсь. Мне надо идти, ты, когда соберешься, просто захлопни дверь. Я могу пойти с тобой? Нет. Можно я останусь? Нет. У тебя вчера было плохое настроение? Нет, так... Остался осадок. Почему? Из-за халата. Надела чужой халат. Зачем-то выложила все из карманов, на стиральную машину. Позвонишь? Конечно. Мне есть за что сказать тебе «спасибо». Она вздохнула: просто у меня опыт вот такой — и показала толщину школьного букваря, в нем часто предлагали составить рассказ по картинке; опыт нулевой, повторила она. Все хорошо.

Я поменял в сберкассе валюту и сидел на лавке, ширмой развернув «Спорт-экспресс»: все кончилось, больше ее не будет, нечистый лоб и неакkuratные брови, запах пота — и это забуду; перестал понимать строчки и, как в юности в электричке, засыпал над газетой. Сколько? Час, наверное, прошел, хватит, чтоб собраться и уйти, набрал подъездный код и тоскливо оглянулся на бегущие шаги: стоит привести собаку домой и... Но это Алена, высохшая, чернолицая, и вывалила, словно под ноги из подола:

— Я развелась.

И зажмурилась, по-ведьмински схавав меня, решив отыграть положенное на ступеньках, я протиснул ее в подъезд и там сочувственно погладил, думая: прошел же час? ей оставалось в душ и высушить волосы. Алена уверенно подталкивала меня по ступенькам к двери.

В коридоре погашен свет, и стало легче, я задышал, нет девичьего рюкзака, исчезла заколка, нет туфель, гостевые тапки стоят аккуратной парой, заправлена постель — я тащил ее на кухню, чашки вымыты — все! Сразу стало легко. Алена заходила: любимый, любимый, мой родной, неужели мы будем вместе — досчитаю до двадцати шести и скажу: надо на работу — я обнимал ее и ворочал, как куклу, избегая губ, и — вдруг увидел: дверь в ванную ограничена острыми щелями электрического света; взмокли ладони — *пусть она забыла выключить свет!!!* — но дверь отворилась и живая, настоящая девушка, влажные волосы, показала мне свои вроде бы запыленные туфли:

— У тебя нет какой-нибудь тряпочки?

— Вы себя плохо чувствуете? — собственная затея показала Чухареву идиотизмом, Алена Сергеевна приехала изрыдавшаяся до синевы, как с похорон, — и где короткая юбка, где голые ноги в сто тринадцать сантиметров?

— Что должна сделать?

— В квартире тридцать девять, вон, где разбито стекло...

— Пальцем не показывайте.

— ...прописан сын Кирпичникова, в квартире кто-то есть, но когда я...

— Что я должна сделать?

Да послать бы ее...

— Подняться на второй этаж! Позвонить в тридцать девятую квартиру! Встать напротив глазка! Спросит: кто? — что-то ответить. Если Кирпичников откроет, зацепиться, и через пятнадцать минут поднимусь я. — И он сунул ей

бумажку с подъездным кодом. Вперед! — пусть постучат каблучки. И не успел окоченеть под метелью в Центральной России, посматривая на разбитое окно (и у меня дома разбито окно), — Алена уже вышла — ей не открыли, ушла, выбросив в урну скомканную бумажку на ходу.

Можно и так сказать: Чухарев остался один — что теперь? Кто же им даст доверенность? Шерстить Москву в поисках потомства умершего, выбывшего и без вести пропавшего Ххххххх, и положить листок в почтовый ящик тридцать девятой квартиры — старшая по подъезду, когда ее нашли и подарили банку кофе «Чибо» за сто шестьдесят рублей, сообщила: в квартире кто-то появляется изредка, она не знает кто, но почту вынимают. «Просьба передать эту информацию в квартире 39. В связи с оформлением экспозиции музея 175-й школы (Старопименовский переулок) мы разыскиваем родственников Феликса Кирпичникова. По нашим данным, по адресу: улица Марии Ульяновой, д. 9., проживает сын Феликса Кирпичникова — Александр Феликсович. Если это так, уважаемый Александр Феликсович, просьба связаться с нами по телефону 431-91-61 или 431-91-60 — Чухарев, инициалы, мы будем вам очень благодарны за помощь».

Полетел снег, обращаясь дождем и назад; зря я в туфлях, и умру в ноябре.

На автобусной остановке под выцветшим и засохшим крылышком козырька мы стояли с Борей. У него дергалось лицо, и правый глаз подкатился к переносице уже на постоянной основе. Я стеснительно не знал, куда смотреть, он понял и стал боком, подставив правильный глаз, и кричал; утренние хмурые лица оглядывались из-под зонтов.

— Мандаринами решил торговать! В наше время! Если человек хочет заработать много денег — он заработает! Кругом столько работы! Только работай! Пусть у меня

инфаркт был... Мандарины — скоропортящийся... — Вдруг замолчал, и я запоздало понял — он шепчет: — ...Мафия кругом.

— Почему так тихо говоришь? Боря?!!

— Подслушают, — опасливо закатывал разные глаза Боря; нахохлился, боясь оглянуться, и заново завопил: — Я почему с тобой разговариваю? Чтобы легкие развивать, чтобы бронхи обогатить кислородом! Чтобы продышаться!

— Да кто нас подслушает?! Смотри — стоим на улице, автобусы ходят..

— Они подслушают... Мафия, — едва угадываемо выдыхал Боря. — Я только тебе удивляюсь: как тебе удалось сохраниться? Да что мы тратим время? Ты знаешь, что Памела Андерс развелась?!

Мы разошлись и незнакомо постояли по углам остановки, пережидая пару автобусов; я провожал глазами толстозадые юбки и подбородочный жирок, Боря убедительно изучал расписание движения, осторожно бороздя застекленную карту указательным пальцем, словно рисуя на любимом спящем лице.

— Не знаю, что делать без доверенности. Если бы у нас был дневник мальчика...

— Что тебе даст дневник? — Боря прикрывался газетой.

— Он мог описывать в нем свои отношения с Ниной, планы тайной организации... И особенно — Ваню Микояна.

Боря презрительно сощурился, отошел и вернулся, отрицательно поведя головой: нет.

— Что может писать в дневнике мальчик? Только про футбол и велосипеды, — пробормотал он, когда мы случайно пососедействовали в автобусе. — Почитай дневник. Сам убедишься.

— Да откуда я его, на хрен, возьму?!

Боря помолчал пару остановок, пропуская, уступая и меняясь местами:

— Случайно.

— Что?

— Давай сделаем так: дневник случайно попадает в твои руки. Почему мы должны все объяснять? Пусть у нас хоть что-то получится само собой! — Он, скрывая раздражение, вылез из автобуса и отправился тротуаром вперед по движению, взмахивая руками: вперед! и назад! — словно сушил руки, но это какое-то дыхательное упражнение китайцев.

И внезапно, без новой причины, я почувал себя плохо — словно пахнуло из будущего. Я подумал про судьбу, про власть *случайностей*, силу неловких движений на непоправимое мгновение расцепившихся рук и влажности кафельного пола, хрупкости шейки бедра, могущество незаметно подтаявшего льда на весенней рыбалке и ботинок, вдруг распутивших усы, и спотыканья о шнурки, давшее много последствий, обнаруженных много позже томографом, а в полном объеме только патологоанатомом, про коварство сквозняков на взмокших от танцев молодых рубахах и булыжников, незрими мослами выпирающими из ночной грунтовки; про огромные возможности неверно записанной цифры в телефонном номере, гриппа, перенесенного на ногах, неправильно рассчитанного времени до поезда, переведенных не вовремя или вовремя не переведенных стрелок, про трагическую сущность затерянных клочков бумаги с записанными сведениями, страшную необходимость которых обнаруживаешь внезапно, или не записанных вовсе (как я не догадался спросить? не думал, что буду помнить ее всю жизнь, а как теперь отыщешь?) — а еще забуксовавшие машины, задремавшие сторожа своих близких, долго ехавшие «скорые помощи», называемые когда-то «каретами», забытые лекарства, трехсуточные снегопады, не давшие пробиться к обещанному холмику, и поэтому похоронили прямо у входа, где смогли расчистить, — мама, прости.

...Меня провели по ледяной улице куда-то вниз от старого здания КГБ на Лубянке, и шли, мне показалось, *долго* и свернули в подъезд, обсаженный табличками («Администрация высотных зданий», «Журнал “Электросвязь”» — что успел), поднялись на второй этаж до «Читальный зал» — обыкновенный круглый звонок, меня пустили в место, где хранилась правда. Я смотрел: лак на дешевом паркете, пыльные подоконники, кадки с цветами. Фикусы. Устаревшая наружная электропроводка. Узкие ковровые дорожки между столами. Дешевые картины русской природы на бумажных носителях. Часы, тикающие над затылком.

Тянуло спать. Я рисовал чернильные холмики. Сейчас со мной может произойти все что угодно. Что?

— Вот его дневник. Бред сивой кобылы. А вот, — охраняющий правду слепой энкавэдэшник пошевелил клеенным в тонкую тетрадку листком, — его или ее отец излагает свой взгляд на этот... э-э, инцидент...

Уходи, не трогай этих людей. Это мое.

Я ощупал: тетрадки оказалось две. И обе тонкие, черт возьми, очень! Первая — самодельный школьный дневник. Вторую он озаглавил «Записки».

В «задано» — «история итальянского возрождения» — учили советские шестиклассники осенью сорок первого года (что учил в шестом я? жестокосердное крепостничество и рост революционных настроений крестьянских масс? Кондратий Булавин? Разин Степан?), или Шахурин прихвастнул перед куйбышевскими простаками?

Дальше он вдарил записывать немецкие стихи, много переписал, старался. Я листал, листал и замер — одно из стихотворений называлось «Мехико». Город, куда собиралась улететь Нина. Случайное скорее всего совпадение. Попадание. О чем стихи? Лишь в некоторых я разобрал автора — Гейне. В томах немецкой, одобренной империей поэзии (включающих сонеты «Партия» и «Безработный») стихотворения «Мехико» я не обнаружил. В четырех томах

Гейне обнаружилось лишь одно исключительно длинное произведение про войну испанцев с ацтеками, названное «Вицлипуцли», по имени кровожадного божества, лютое-да, что-то там «Страшный день прошел. Настала / Бредовая ночь триумфа...». Оттягивая все, что суждено, я еще полистал Гейне насквозь, пытаясь угадать, что мог переписать Владимир Шахурин в тетрадь, что мог автор Гейне написать про шестиклассника, который убежал из Куйбышева с любимой девочкой, перешел в седьмой, окончил и застрелился или был убит, я пытался читать глазами мальчика, хотя они все равно оставались моими глазами... вот это?

Бежим! Ты будешь мне женой!
Мы отдохнем в краю чужом.
В моей любви ты обретешь
И родину, и отчий дом.
А не пойдешь — я здесь умру,
И ты останешься одна,
И будет отчий дом чужим,
Как чужедальняя страна.

И выполненное задание по алгебре, наискось перечеркнутое красным карандашом. Больше в первой тетради мальчик ничего не написал.

Я отбросил прожеванное и бережно раскрыл «Записки», если чему-то и суждено, то — здесь, и шагнул внутрь, под судорожные строки Шахурина-отца, аркой выгибающиеся над входом в основное содержание: все, *абсолютно все*, что вы прочтете тут (торопился отец, потея, сразу всем — от неизвестного лейтенанта НКВД до членов ГКО, императора — до кого дойдет, защищая только свою шкуру, — от сына уже крематорная летучая пыль, да кто там ее видел... «Записки» испугавшийся мальчик Реденс преподнес отцу только на похороны), *все — это выдуманно*, Володя написал это разом, в один присест, все сочинил про осень 1941 года, «чтобы пока-

зять ребятам, какой Володя бывает...», все это неправда... Я бы поспорил с тобой, малорослый любитель пения Алексей Иваныч, бывший нарком авиапромышленности (два ордена Ленина, орден Кутузова I степени, орден Суворова I степени и проч.), о правде, о реальности и подлинности вымыслов, о том, что на самом деле движет юным, старым, — но уже нет времени, пока для нас держат проход в минных полях...

Эпиграфом мальчик вывел: «Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все грандиозное здание из хитростей и замыслов. Вот что я называю жизнью...»

Мне сразу показалось, что когда-то, в ранних сериях, это я уже слышал или читал — письменная, вылизанная речь, вслух не скажешь, что это за мусор? но, торопясь, отпихнул ногой; надо вбить, когда вернемся, в Интернет и выяснить, откуда это дерьмо... Ну!

Говори сам.

«Мы эвакуировались в Куйбышев. Здесь есть сумасшедший дом. Все обитатели его считают, что живут в Париже».

«Завтра еду в Энгельс, чтобы познакомиться с какой-нибудь немочкой».

«Ни с кем не познакомился, не было удобного случая, но немочки шармант — почти все».

20 сентября. Появляется немочка, «белокурая, с синими глазами, Зоя», следом *22 сентября:* «Сегодня впервые бомбардировали Москву. Довольно странно себя чувствую...» (*«Бомбардировали» и манерное многоточие... и дата первой бомбежки Москвы — как запомнил, если сочинял через год?*)

29 сентября. «Зашли к Зое (по-немецки ее зовут Зенита). Я не верю, что меня могла постигнуть неудача».

«Вся ее веселость мигом исчезла, взгляд выражал обычную в таких случаях грусть.

Я сжал ее руку — она ответила мне таким же пожатием. Начало было сделано».

«На обратном пути, на даче встретил Валю — в первый раз вижу, чтобы деревенские девушки были так красивы. Она, положив мне руки на плечи, прямо сказала: “Что зря время на разговоры терять — действуйте — время военное!” Я не заставил себя просить дважды». *(Тринадцать лет! примерно все понятно.)* 5 августа. *(Почему? ведь только что сентябрь...)*

6 августа. *(Почему он повернул в лето?)* «Катался на лодке с Ирой». «Сегодня была большая победа». «Из ее очаровательных глазок выкатились две слезинки (как в романах г. Воскресенского)». *(Воскресенский Михаил, сын священника, по прозвищу «замоскворецкий Вальтер Скотт», умер в 1867 году, а живьем чутко улавливал запросы читателя «среднего состояния», «писун толкучего рынка», его любили, и в романах его (сорок томов) «целые груды страстей, законных и противозаконных, события верхом на событиях», демонические герои, чувствительно возвышенный слог — кто давал Володе книги Воскресенского? Софья Мироновна, нанимавшая культурную службу, или выхватил откуда-то «как в романах г. Воскресенского» и вставил.)* «Странно, — сказала она медленно и задумчиво, — мы никогда не говорили об этом, и вдруг.. Так неожиданно...»

Лучшим ответом был новый поцелуй!

All right!»

10 августа. «Поехал к Зените. Солнце казалось мне “Солнцем Аустерлица”. “Мы странно встретились и странно разойдемся”. (Дурочка! Она верит в «любовь»!)

«Лишь вечером мне было не по себе, когда я поймал по радио песню “Ich hatte einen Kameraden”» *(по-немецки переводится как «Был у меня товарищ...», «товарищ» в смысле «однополчанин», по какому это радио пионер*

заслушивал боевые немецкие песни, когда наши солдаты сотнями тысяч героически гибли на западной границе?!).

«Занимаюсь психологическими этюдами с некоей Милицей, Клавой, Галей, Мартой и Нелли». «Начал читать по-французски “Нотр Дам” – но чувствую, что забыл порядочно». *(И остается все меньше и меньше исписанных страниц! Неужели пусто?!)*

«Звонила маман: “Марш в убежище!”»

10 сентября. «Приехал в Москву Хосе Диас *(где-то мелькал уже у нас этот испанский мальчик...)* – папаша *(как он про наркома для посторонних глаз, «папаша», «маман», что по морде получал от папы, не пишет!)* привез его к нам к обеду *(ты в Куйбышеве или в Москве?)*. Диас обещал мне передать беллетристику на испанском».

12 октября. «Подрался с Юрой. Он говорит, что Москва не устоит – разве это русский дух?» *(Юра – это Коренблюм, сын расстрелянного Кириона, не боялся мальчик говорить лишнее, видимо, не один он так говорил в Куйбышеве в сорок первом. Не один, выходит, император вспомнил в сорок первом «русский дух»...)*

Вот. Ему понравилась одноклассница Куйбышева Галя *(в городе Куйбышеве, дочь, племянница Куйбышева? ей он потом врезал на уроке географии в Москве, чтобы поменьше трепалась про побег, к ней заходила перед смертью Уманская Нина), и в Куйбышеву влюбился его товарищ, Романов. Володя двинулся непрямо (тут я задумался: два мальчика и одна девочка, неужели все повторится?) и набросал план: «Я хочу скорой завязки. Я познакомлюсь с ней как посредник, сам смеющийся над поступками своего товарища, находя, что он по-детски нелепый. Посмотрим, что будет. Я, как всегда, уверен в победе».* И цифра 6. Ноября, что ли?

«Сегодня Галя получила записку. “Галя! Я хочу вам многое сказать, и т. к. это очень срочно, то с вами переговорит мой друг – Шахурин Володя, т. к. я, к сожалению, сегодня не имею этой возможности. Г.Романов.

Ответьте сегодня знаком, придете ли к 8:30 к памятнику Ленина»».

(Но в восемь тридцать вечера в ноябре крошечная ночь, вот сейчас ноябрь и шесть вечера за окном — так вообще ни хрена не видно! Может, они учились во вторую смену? Уже делают знак: пора уходить, да, заканчиваю...)

«На следующей перемене с очаровательной улыбочкой кивнула мне головой. Держу Романова все время при себе, чтобы чего-нибудь не вышло.

В 8:15 подошел к назначенному месту и спрятался *(ну и соврал бы про пронизывающий ветер с Волги...)*.

У меня невольно забилося сердце».

Девочка пришла, он извинился за опоздание, описал страсть своего друга, «искусно выставляя его растяпой», напросился проводить; она: а я тут рядом живу — а он «опытно» подхватил: тем лучше, у меня мало времени на проводы.

«В продолжение всего этого я внимательно наблюдал за ней и увидел, что победил.

Наконец я слегка наклонил голову в знак того, что мысль моя закончена, и поблагодарил ее “за оказанную мне честь говорить с ней”».

«И взяв ее под руку, совсем несмышленную, повел ее в сторону, которую она мне указала».

У дома он отыграл финал: «Гаяля... Неужели... Это все...»

«Она не могла уже скрыть своего волнения: “Нет, нет!.. Только не конец!”

Еще один город пал перед силой нашего оружия». Буквы закончились.

— Сдавайте документы, пожалуйста.

— Да. Извините. — Такие вел дневники и отдал на хранение Реденсу: прочти и раструди по классу; «списки» трахнутых; опять прыгающей рукой вписывает отец: «11 июня 1941 года моя жена Софья Мироновна, ее сестра Анна Мироновна и приятельница С.М.Рахиль

Григорьевна Гуревич приехали в Саратов, настроение было очень патриотичное. Жили на даче под Саратовом, не выезжая в город». За что ты оправдываешься, железный человек, — твой мальчик погиб — и перед кем ты плачешь? «Володя был талантливый, очень хороший, послушный мальчик, но это не котировалось в московской школе, в кругу его товарищей, и он оставался дома таким же мальчиком, а для ребят выдумывал всякие небылицы, стыдясь своего хорошего поведения» — убил не он, шепчет нарком, ищите рядом... «Во время прилета в Москву в 1941-м семья жила в наркомате и Володя отдельно от Софьи Мироновны никогда не был».

Мрак

В ноябре (обещают теплую зиму) дождь, я шел и шел, вниз по городу, леденя, сдувая с губ дождевые капли, бессмысленно поглядывая на мобильник: ноль звонков, ноль сообщений, 17:42, 17:43 — перебежал Петровку и вонзился под флаги в бесшумное тепло отеля «Марриотт», словно привычно — не озираясь, не сбавляя хода для разговора с бритолобой охраной и ряжеными швейцарами, прямо и направо за кадки с цветами, где представители высшей расы, поблескивая золотом и стеклом на запястьях, обсаженные неестественно оживленными переводчицами с загорелыми коленками, несли к губам белые чашки, — я поблуждал, будто кого-то высматривая, меж круглых столов — и все смолкли так, что захотелось негромко сказать «Аллах акбар!» и сунуть руку под куртку... Не здесь — еще направо под арку — Боря сидел в отдельном зале, в твердом, словно картонном, полосатом костюме, тесно соединившись плечами с двумя загорелыми педерастами со стекляшками на глазах. Боря рисовал им цифры на салфетках, показывая то два пальца, то три, не узнавая меня, но торжествующе поднял глаза.

— Там ничего нет. Только список прочитанных книг. Может быть, этого мальчика никогда и не было на самом деле?

Боре хотелось спросить: мог ли начитаться и убить (сейчас бы спросили: обколоться и убить)? Начитаться и убить. Из настоящего пистолета в затылок настоящей девочке, а потом, рассмотрев брызги мозга и дергающиеся ноги насекомого, послушав свинячий хрип-стон, засадить себе в висок, даже не вытащив руки из кармана. Нет, этого я не понял. Важно ли это в истории Большого Каменного моста?

Закрыв дело, люди правды оглянулись на голос, что позовет всех. Шейнин еще выступил на Нюрнбергском процессе обвинителем от Советского Союза (позже люди с воспалением мозга писали: палач обвинял палачей!). Когда случайный грузовик переехал главу Еврейского комитета Михоэлса, друга Уманского, еврейская общественность, не понимавшая запросов настоящего времени, сгоряча требовала не только переименовать Малую Бронную в улицу Михоэлса, но и — независимого расследования! (читал император в донесениях), и чтоб вел его лучший сыщик Шейнин (а многие шептали, что расследование это независимо и самодеятельно уже ведется); и Льву Романовичу это самоубийственно льстило ровно до декабря 1949 года, когда его отправили в отставку по детско-юношеским каким-то причинам — «любит приукрасить», «гоняется за сенсациями»; он (мало кто быстро трезвел в послевоенные три-четыре года) еще в запале не согласился возглавить институт криминалистики и получил Сталинскую премию за «Встречу на Эльбе», но в пятидесятом году товарищи по чернильному перу заметили в Шейнине космополитизм и неизжитый еврейский национализм, Лев Романович поскользнулся и, коротко проехав по льду, ухнул в прорубь, и на первых допросах не нашел в себе сил отказаться от главенства в «группе националистических драматургов» и от того, что однажды утром на даче, в конце мая, он подальше отошел от

дома, долго стоял один среди цветущих яблонь под вечным, неммым небом и, трижды оглянувшись по сторонам, вдруг тихо пробормотал неожиданные для старого кровавого партийца слова: а хорошо бы уехать в Израиль и дожить хотя бы последние годы без страха... Сокамерникам он запомнился скуповатым. Как и нарком Шахурин, кстати.

Цепляясь, каргая когтями лед, сбрасывая ботинки, хрипя, Шейнин не отрицал мелочи: разговоры, настроения, «еврейское засилье», но друг и соавтор его Маклярский М.Б. чугушной чушкой тащил за собой на дно, признавая «заговор», да еще «подполье» и «связь с Америкой»: соучастники насмерть бились на очных ставках каждый за свою ложь, но государь император умер, время поменялось — их освободили в один день, и одновременно они вышли за ворота, взяли машину и по пути домой (есть такая легенда) договорились писать сценарий «Ночной патруль», а в 1967 году Шейнин умер (кажется, 11 мая) от сердечного приступа, хотя на сердце не жаловался никогда.

Похоронив императора, самый одаренный из его апостолов маршал Берия, узнавший про дело мальчиков 175-й школы *всё*, потянулся к власти, но 26 июня его арестовали и живо расстреляли за «покровительство агентам империалистических разведок», «капитулянтство и моральное разложение». Правда или нет, что расстреляли Берию по скорому и безумному суду или судили (как считают) двойника, а оригинал покروшили из крупнокалиберных пулеметов при штурме особняка на Кудринской, — но факт, что по «делу» маршала казнили еще двух следователей по делу «Четвертой империи» — Богдана Кобулова и Льва Емельяновича Володзиевского.

Уцелел и пожил подольше один — сын крестьянина Николай Степанович Сазыкин (или СО-зыкин, как кому нравится), его всего лишь лишили звания генерал-лейтенанта и после некоторого раздумья исключили из партии; он немного попреподавал соратникам и ушел зарабатывать пенсию в минсредмаш и умер в 1975 году (кто-то

говорит в январе 1985-го). Однажды, столкнувшись в булочной с Серго Микояном, взглянул, как всегда, мрачно и — ни слова, пошел мимо по своим делам. Лишили ли его двух орденов Ленина? Или несли за гробом?

Темнеет рано, в половине четвертого дня словно начинается ночь, вползает серыми, мглистыми языками, хотя тепло обмануло почки сирени; я сразу потерял одну из своих радостей — субботу на барахолке, не сильно упираясь: потеряется все... Может, тебе не ехать? ты хочешь, чтобы я не ехала с тобой, милый? хочешь один? что-то случилось? (Пихнуть бы, от жары и щекотного приваливания чужого тела.) Нет, я просто... Таскаться под дождем... Замерзнешь. Барахолка — что там интересного. Таскаться по грязи. Мне все интересно, что тебе интересно, и подпрыгивала, и в ладоши: едем! — Ты, тварь, забыла, что тебе не восемнадцать лет. На пустыре у платформы Марк, на пересечении Московской кольцевой и железной дороги Савеловского направления, торговали пожилыми вещами сволочи, не зарабатывающие на аренду клочка блошиного рынка в Измайлове; по грязи мы беглым зигзагом обошли длинные прилавки с проигрывателями, иконами и самоварами и деревянными медведями — ничего: только осточертевшие морячки Ленинградского карбюраторного да «воин с мечом» с отломанным мечом из «Донского похода», что выпускал тульский «Арсенал»; начался дождь, и вихлястой тропинкой двинулись в заросли ивы, где забывался дождь, где продавали с земли, с целлофановых простыней, не спасая товар от дождя — нечего спасать... я не мог успокоиться, шел на поводке, подгоняемый чужой волей... Все больше мятая, покойницкая одежда, белье давно состарившихся детей, плоски, прищепки, занавесочные кольца, зеркальца, портсигары с бельевыми резинками, скрепляющими отсутствующие папиросы, и все, что можно сделать из пластмассы... Книги — «Все о бульдогах», «Водка и Сталин», ну да, или «Шестнадцать способов обходиться без

туалетной бумаги», «Двухголовая женщина опять беременна»; я жадно озирался на голоса — «наличие цинка обуславливает ее, как латунное олово», Алена шла за мной след в след, оберегая черные блестящие сапожки, старалась чем-то восхищаться, присаживалась посмотреть, потрогать и показать мне, так, она заметила, делали другие, должно мне нравиться — и улыбалась; когда я вижу улыбающуюся мне женщину, становится тревожно на душе. Куда она дела ребенка? В детях создателям фильмов про желающих трахаться людей нет никакой нужды. Дети только мешаются. Дети раздражают.

— У тебя такой есть солдатик? Почему ты собираешь только железных?

Большая часть русского языка и абсолютно все объяснения вызывают у меня омерзение. Мы петлями, огибая лужи, обошли все, и я удивился: так быстро — и остановились у провала в бетонном заборе, сквозь него люди пробирались к платформе; здесь почему-то дежурил милиционер, и Алена обняла меня со счастливой, душистой легкостью — и мент посматривал на красивую нарядную девку — ничего. Долго ничего не бывает. Даже вечность проходит быстро. Ну что еще? Что мне остается? Буду любить кошек и сирень.

— Что завтра?

— Пойду на работу.

— В воскресенье? Хочешь, пойдем вместе?

— Пойду один.

— А кто еще работает по воскресеньям? Гольцман приходит?

— Успокойся. Секретарша не работает по воскресеньям.

— Я просто спросила. Что здесь такого? Что ты сразу злишься?

Все теперь быстрее, ничего не остается — только идти домой, дорогу до подъезда теперь ненавижу; меж киосков жареного мяса, на остановочной лавке спала изби-

тая женщина, белокурый парик съехал, открывая седой солдатский чубчик.

— Как будем праздновать мой день рождения, а? — мяукала и все висла на мне. — Думай! Думай, что мне подарить, — и присасывалась, ни разу не забыла покусить, будто всегда хочет, будто не терпится домой. — А как будем праздновать твой день рождения? Что бы ты хотел, ми-иный?

Что бы я хотел: у дома отдать ей сумку — ты поднимайся, а я дойду до угла и куплю черешни — больше никогда в жизни она его не видела.

Алена идет в ванную всегда последней, вроде: как хочешь, хочешь, сначала я? — но последней всегда она и моется, готовится два часа, включая и выключая воду; пузырьки, шорохи, прысканья, обитаемая тишина, лязг двери — и торжественно вступает, вонючая, как парфюмерный магазин, распустив космы, всегда в новом белье — ты в этих трусах спать собралась?! И лживо так, по-детски шепотом: «Ты спишь?» — каждый вечер она находит повод во тьме похихикать. Эти лезущие в рот поцелуи и случайные руки, лапающие член.

Отдай время ожиданию. Она отвалится, неслышно слышно поплачет, искренне зевнет и засопит, а я останусь, страшась *не так* шевельнуться; взорваться, и — так ты не спишь?! я же говорила: сразу разбуди, если не засыпаешь! ну, иди ко мне, сейчас я тебя усыплю... мерзкий смех. Может, я не сплю потому, что душно? Открыть окно. Или — не тот бок? Переклониться — так всегда ее задеваешь, не обойти, всюду ее руки, ее куски, упустишь свой закуток, и она сразу подкатывается бревном, тяжелая, безглазая — только дети спят доверчиво. Ночь увеличивает звуки, урод снизу по пятницам рыдает и блюет в своей ванной и тварь какая-то его утешает, вскрикивает астматичка сверху; телевизоры, обрушения трубной воды; не часто и не поздно, когда я еще лежу один и только готовлюсь терпеть и ждать, девочка с этажа повыше,

а может, не девочка, но весело топают каблукы, садится за клавишные и хвастает умением приехавшему погостить деду, выучив то, что поближе седым, выстукивает: лю-би-мы го-рад... мо-же-спать... спать-спа-кой...на...

Когда кончатся начищенные пастой зубы и слюнявые языки, слезы, демонстрации счастья и визгливые доказательства оргазма и она уснет, рядом остается человеческое тело. Когда женщина начинает жить в условиях неволи, она покрывается мхом и шерстью, она быстро утрачивает пол и превращается в кого-то, но живет очень долго при этом, существенно дольше мужчин.

Я пробовал подниматься и уползать на кухню читать «Семилетнюю войну» Н.Коробкова (1940 год, Госвоениздат Наркомата Обороны), опровергающую утверждения Шуленбурга, Прейсса, Гушбера, Оллеха, Штура, Газенкампа, Ранке, Шефера, Брюкнера, Фитцум-фон-Экштедта, Онкена, Арнета, Вагнера, Германа, Раумера, Корфа, Дункера, Нодэ, Беера, Гейгеля, Шварца, Козера, Бернгарди, Дельбрюка, Меринга, Фольца, Гинце, Бернея и др., что русская армия елизаветинских времен представляла собой полуварварское войско с полускифскими методами войны, но букочки так все похожи друг на друга... Я разворачиваю карты боевых действий (Цорндорф, Фрейберг), когда-то я знал наизусть все полуострова на карте в пионерской комнате, все больше красного и розового, «социалистический выбор», барабан, труба, Сергей Лазо в паровозной топке, на кухню обязательно приходит она процедуру повторить; нельзя двигаться. Незаметно я привык представлять секретаршу, как-то незаметно получилось, хотя ничего странного нет, человеку надо подумать о ком-то перед сном, чтоб хоть немного звал завтрашний день, — *какой* секретарша придет завтра? Трудно прожить без «в кого-то влюбиться», уже не осталось ничего впереди, кроме смерти, вот и подбираешь с глиняного пола последнюю шелуху. Взял ее на работу Гольцман, я не сразу заметил в первое время, сидит девушка, худая спина, прямая, за компьютером, новый

голос — вот она звонит мне: вы будете сегодня? Вы сегодня красивая. Спасибо. Она всегда молчала, если спрашивал не о работе, — Алена постаралась, не раз обрезавшись в кровь на всем, что обычно бывает со всеми, и девочке объяснив, если ты, конечно, не хочешь глотать сперму и вылететь отсюда с еще липкими губами.

В первое время. Ни разу — ни словом, ничем секретарша не давала ему понять, что хочет оказаться поближе, задержаться подольше, хотя должна была: если он захотел, значит, сразу должно сбываться.

Пальцы соприкоснулись раз или два, когда она приносила полную кофейную чашку.

В первое время, когда контора еще пуста, расспрашивал: кто ваши родители. Секретарша коротко отвечала, покусывая печенье. Они развелись, когда мне исполнилось... Ваша мама тоже красавица? Да, бегло кивнула секретарша.

Когда все думали, что нет на работе и не бегала вдоль проволоки Алена, оберегая добычу, из приемной доносился свободный и веселый голос незнакомой высокой девушки, словно захлебывающийся жизнью, — она становилась секретаршей только при нем.

Это началось в первое время, а во второе обманывал себя: пусть помогает следствию, у нее, кажется, способности, чтобы не признать: ты просто хочешь видеть ее почаще — теперь она приходила каждую ночь и слушала его и отвечала то, на что не смел надеяться, и они опускались на какие-то простыни, как в воду, — он словно шарил пальцами в темноте, и сейчас, когда человеку предстоит спать, а потом остаться без родителей и после пыток исчезнуть, ему казалось, что он хочет близости не с ее мохнатой слизью, не с ее ногами. Плечами. Тонким и бледным телом. Не просто воткнуть, а пожирающей, самоубийственной близости целиком — так давно не хотелось, невероятно, чем секретарша, девушка, трогает меня, человека с седыми волосами? Хочу ли, чтобы она оказалась доступной?

Что я буду делать дальше? Буду просто смотреть с безопасного расстояния. Примечать, что редко носит юбки. И не носит юбки выше колена. Всегда плотные колготки — или родинки, или шерсть на ногах. Я не мог представить ее трусы, ее маленькие и скорее всего скромные, жалкие груди, и как там между ног, словно не важно, а самое большое, что хотел, — идти с ней среди дубов, слышать голос, обращенный к тебе, переводить за руку через... ну, пусть там осень, лужи, гнилые листья и однажды обнять, ткнувшись губами в шагнувшее навстречу... Только не раниться. Чтобы далекая и совершенно не нужная тебе девушка-секретарь, бесполезный человек, вдруг не сделала тебе очень больно.

Алена вскочила и громко отправилась на кухню — если ей плохо, все должны завывать! Я выждал положенное, и обстоятельства и задолженности отконвоировали меня следом. Она подставилась, упираясь лбом в окно, пляясь в дождик, — а ты погладь меня; но широкий подоконник, фиалки в горшках, банки с солеными огурцами и лужа, нацеженная холодильником... Она побарахталась в шторе и привидением сгребастала меня. И вой.

Само это кончиться не могло, я обнял, но не хватило, погладил, она не успокоится, пока не раздвинет ноги, — ей кажется, так прочней, только это спасет... Что? что? что ты плачешь? — Алена всматривалась в меня безумными глазами и трясла, я все это уже видел по телевизору — тысячу раз! — ничего настоящего, лишь бы сожрать!

— Вдруг поняла: я бросила мужа. Я бросила мужа! Нет. Ты не виноват. Но я бросила мужа. Я так хотела. Я сама. Но я только сейчас поняла, что это значит: бросить мужа. Я больше не увижу его спящим.

Дальше пойдет по нарастающей, раз в неделю, потом через день, уже не только ночью... Потом ей покажется, она увидела выход: ребенок! Ведь ты же любишь меня? Так ты не любишь меня?

Она похныкала, мы посидели, не включая света, я потер ей грудь сквозь скользкую ткань, Алена застонала и сползла на пол. Тридцатидвухлетняя женщина отдавливала колени на кухонной каменной неподогреваемой плитке и терла губами мне главное место, отводя космы к затылку и заводя вверх глаза: так пишут в полезных советах — возбуждает взгляд прямо в глаза, еще полезно добавить: «Такой большой! Такой вкусный!» Она сотрет губы в кровь, и мы сдохнем здесь, слушая, как волнуется и утихает холодильник. В каком-то тупике, жаркой могиле, младенческих пеленах я зажмурился и, как всегда, безнадежно двинулся по коридору меж залитых малиновым обожженным сиянием голых телес (хоть одно нужное лицо!), заглядывая в комнаты общежития, за ненадежные стенки из наброшенных на бельевые веревки одеял, съемные квартиры матерей-одиночек, принимающих только субботними утрами, когда дочь забирает бабушка, я ловил за руки и поворачивал к свету: ты? — нажимал, как выключатель, щупал волосню: подействует? а в другой одежде, нет?! а кто был с большой грудью? у кого чавкал зад? кто там сосал в застрявшем лифте, умело нажав сразу на две соседние кнопки? кто тер себя алым ногтем и мазал по груди сперму, и кричал в душе, когда горячая вода попадала туда, куда ее направляли, — и чуть было не прошел мимо — отшатнувшаяся тонкая... секретарша, смутная, словно заспанная, пахнувшая каким-то постельным теплом, ночная сорочка, что-то обыкновенное белое на тонких плечах... она постояла и вдруг припала с ясной решимостью ко мне, прижавшись внутренне теплой, будоражащей тяжестью оказавшегося крепким узкого тела, — я замер, обняв ее, и вдыхал, вдыхал ее, пил, колючая вода потекла изнутри и расперла горло, и она была такой, как я думал, и больше еще, и у меня щипало в глазах, что это все же случилось и тут же начнет кончаться, все девушки — это всего лишь волшебные двери в помойку, в них нельзя застрять, приходится сразу

же двигаться дальше, но сейчас, но пока... я чуть не плакал, я злился на себя, не зная, что сказать, что надо говорить, она легко вздохнула и, словно вспомнив что-то, присела, словно за потерянными ключами — неужели?! — и неслышно, словно я не имел никакого отношения к тому, что она делает сейчас, с каким-то состраданием и осторожностью она коснулась меня губами, я даже не чувствовал ее губ, попадая плотью в маленькое, ласковое, шевелящееся тепло и понимая: там — она, это — она, это делает — она, это значит, что она... не в силах задержаться, словно летя с горы, в запахе сирени, мокрых тополиных почек, дождевой весенней земли, вырастая — я простонал стиснутым ртом и с радостной мукой выпустил, выпускал из себя все, что держало меня когтями, и смерть поменяла затекшие руки, на мгновение оставив меня налегке... Алена инвалидно повозилась на полу, потирая колени, выпрямилась и с заметным булькнувшим усилием сглотнула — она же любит меня! и приготовилась слушать — ну?

— Спасибо тебе большое. Я так счастлив.

— Не благодари, — улыбнулась она, — ты же знаешь, я сама этого всегда хочу. Твой дружок — это просто чудо! — все, как рекомендовали, шептала она и счастливо улыбалась: отмучилась. И в эти мгновения я точно, как надеялась она, никого не хочу и не могу, теперь меня отпустят поспать... разбудил городской телефон, Алена сунула его мне под щеку, по-хозяйски посмотрев в определитель: кто — и выдохнула ротовой послесонной перекисью имя — того, кто радостно звонил. А может быть, прошло несколько ночей — и все они получались одинаковые: все хуже.

Чухарев вопил: оставил письмо Кирпичникову в почтовый ящик! шансов никаких! А вечером вчера, когда Чухарев залег в кресло стоматологии и доктор Карнаухова легла буквально на него, потирая подбородком ему лоб! — Кирпичников позвонил! Он позво-

нил! Он живет в Германии. Он послезавтра уезжает в Германию, но когда Чухарев спросил: когда можете встретиться, Александр Феликсович ответил: да в любое время начиная с этой минуты!!! Можно я пойду с вами? Пожалуйста! Да, еще: Кирпичников сам собирал материал по этому делу и все покажет, а может быть, и отдаст, продаст!

Я покидал в папку несколько фотографий Нины Уманской для разогрева клиента, охотники добыли зверя, нашел белый лист; пока я писал, Алена стояла за спиной. Сейчас обнимет. Как бы наша общая радость.

«Я, МИРГОРОДСКИЙ Борис Антонович, после получения доверенности от КИРПИЧНИКОВА Александра Феликсовича на ознакомление с материалами дела р-788 в архиве ФСБ РФ обязуюсь не упоминать членов семьи КИРПИЧНИКОВА Александра Феликсовича в материалах экспозиции музея 175-й школы без его согласия, а также не разглашать факты биографии КИРПИЧНИКОВЫХ ни при каких обстоятельствах». Главное, чтобы в доверенности Кирпичникова были паспортные данные.

— Идем брать Кирпичникова. Скажем: дайте разрешение. А мы не тронем вашего отца. Долларов сто можно пообещать. Самое большее пятьсот.

— И она тоже пойдет? Чтобы клиента отвлекать. Голыми коленками. А я — побудь дома, приготовь праздничный обед?

— Мы идем с Борей.

— Теперь все? Кирпичников подпишет доверенность. Вы третьего июня ходите на Большой Каменный мост. Узнаете, кто стрелял в Нину... И все кончится. В этом деле, — плакать она, кажется, не собиралась. — Ты ее сразу уволишь?

— Ты думаешь, мне нужно только одно...

— Нет, я начинаю думать, что тебе даже этого не надо. Что тебе надо? — Помолчала. — Ты не боишься остаться

один? — Еще помолчала. — Чего ты боишься? — И не надеялась, что отвечу. — Кирпичников последний, кто мог бы дать доверенность. Просто не могу понять, что бы ты делал, если бы вы его не установили.

Что бы я делал — зашел бы с другой стороны. Тот, кто застрелил подростка Уманскую, не согласился с отмеренным, выделенным, с положенным... Император почувал жажду, раскаляющую изнутри имперскую броню, выложившую на мост трупы семиклассников, «волчата!», жажда — *ржавчина* его железного, соколиного племени, они перевалили вершину — войну — и увидели впереди, сразу за неблизкой победой, свой *закат*: после моря манной каши во вставные челюсти и бессмысленной борьбы с пролежнями — в Кремлевскую стену, под стены Новодевичьего, за железные закопченные ворота, конвейером, на утлой лодке в красной пене подушечек с золотыми каплями орденов, без всяких там отпеваний и предсмертных хрипов: «Попá!» В железных словно кончился завод, в них, еще молодых, заскреблись угробными вздрагиваниями материнские песни, набухли крохи мелкобуржуазного чернозема под ногтями, кровь наполнилась теперь уже чужеземным шепотом батюшки-матушки, ноги опутали корни происхождения, ничего не поделаешь, в какой-то малозаметный (если б не убили Нину) миг им захотелось (хоть немного) пожить *обыкновенно, слабо* — простреленная голова Уманской, девочки, носившей американские чулки, императора не волновала, но на ее убийство императору пришлось ответить многим — всем.

Чубчик кучерявый

Наступало «послевойны». Империи вдруг показалось: завоевано нечто большее, чем получено; железными и чернью овладели *желания*; император думал: давать хлеб бесплатно. В Огареве, в бывшем имении генерал-

губернатора великого князя Сергея Александровича, в доме «раннего модерна» (да есть ли такие?) летними выходными собиралась знать: секретари Московского комитета коммунистической партии, секретари ВЦСПС (кому надо, знает *кто*), бояре и дьяки Мосообрисвета и Моссовета: домино, волейбол, металы городки или осваивали, равняясь на первого секретаря МГК Щербакова, большой теннис, обедали семейно, за общим столом, и С.М.Шахурин, за год до того похоронившая сына, захав в Огарево по пути с дачи (еще год до Победы), вдруг воскликнула в общем скоплении: как же так, победа близка, а мы до сих пор так... бедно живем! Так неустроено. Пора как-то налаживать быт... Соответствующий нам... Особняки строить.

Эти опаляющие своей правдивостью слова произнесла Софья Мироновна, прославленная спекуляцией продуктами из запасов хозяйственного управления Наркомата авиапромышленности и страстью к фарфору. Садясь ужинать в гостях, Шахурин первым делом переворачивала тарелку и заглядывала ей «в задницу»: что за сервис? Пополнения коллекции объясняла однообразно, ничего не изобретая: я помогаю продуктами брату, и он (тоже Миронович) из благодарности подарил мне вот и этот замечательный сервис.

Шахуриной (показание заинтересованного лица, доверия — ноль) велели *замолчать*: столько народа в Москве живет в бараках! Но — я думаю — всех поразило, как радостно-*тревожно* в летнем воздухе прозвучала их яростная, затаенная жажда, произнесена, словно родилась — и растет; одна осмелилась и остальным — *можно*. Да что «госпожа министерша», если дочь императора бредила теми же дубовыми дверьми с золотыми ручками и бесшумной прислугой: «Людам хочется счастья, эгоистического счастья... Хочется, чтобы жизнь стала европейской, наконец-то, и для России...»; если генерал-полковники в присутствии жен и адъютантов говорили:

«Впоследствии народ должен делиться на “избранных”, которые, как и их потомство, должны руководить и занимать ведущее положение в обществе, и “неизбранных”, которые должны только работать». Все видели свое будущее не *по плану, не планово*, как мальчик Шахурин, не коммунизм; земного рая не вышло, как в игре: *давайте заново разделимся!*

А.И.Шахурин — простая душа! — так и не поняв, почему потерял сына, на обустройство новой квартиры мобилизовал лучших краснодеревщиков наркомата (тех, что восстанавливали кабинет императора в ЦК после попадания авиабомбы в день, когда император прорычал про ненавистную 175-ю школу: «У-у, каста!»). Уже не стеснялись: зимний сад, бассейн, массажная метров в сорок (примерно, я видел только половину квартиры и один раз), два этажа, подчиненные отливали наркому бюсты из бронзы — квартиру Шахурин знала вся Москва, император пробормотал: «Широко живет Шахурин. Нехорошо живет Шахурин». Нарком читал о себе в газетах: «великий россиянин» — и устраивал приемы в квартире на Грановского: наркомы, маршалы, секретари МГК, артисты, бас Большого театра Рейзен с женой... Непринужденная обстановка, анекдоты, рояль.

Я забыл, переночевал ли Шахурин в своей прославленной квартире. Хоромы в ближайшем последствии поделили. В одну половину въехал авиаконструктор Лавочкин с семьей, в другой устроилась гостиница наркомата.

Как все заплесневевшие с истекшим сроком, Алексей Иванович, когда его окликнули, беспечно смотрел вверх и вперед — сорокалетний генерал-полковник, кавалер двух орденов Ленина, ордена Красного Знамени, ордена Кутузова I степени (только что — орден Суворова!), четырнадцать заместителей! позировал скульпторам и высматривал пост в Кремле, на небе — в эти же дни император неожиданно удалился в загадочно длительный отпуск в Сочи, словно давая пободаться приемникам

или скрывая (как считают некоторые) инсульт, — 9 октября он, по-моему, уехал.

Шахурин отправился отдыхать следом. Через месяц император позвал любимца погостить на дачу под горой Малый Ахун: отпразднуем вместе юбилей М.И.Калинина — семьдесят лет. Наркома, «великого россиянина», император встретил приветливо (хотя на Черном море к подданным суровел) и даже повелел Поскребышеву проводить наркома на вокзале. *Знал ли император* (знал, постановление ГКО «О самолете Як-9 с мотором ВК-107А» вышло уже два месяца как, и командующий ВВС Новиков получил выговор «за отсутствие настойчивости в требованиях» и беззаботно — как все намеченные — думал: на *этом и все*, какой-то там мотор ВК-107А)? Да и важно ли это? Императора считают садистом за то, что *знал*, и — улыбался в лицо, и — говорил о будущей работе, и — ласкал в последние часы людей, больше не нужных, — прежде чем умереть, многие получали надежду; но кто знает, что император чувствовал: наслаждался ли наивностью крыс? Или отделял лично себя, человека из кожи, человека с оспинками (и про оспинки много споров), от судьбы, от страшного, великого служения русской земли бессмертию, вырядившегося в ОБЩЕЕ ДЕЛО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО НАРОДА? Вправе ли он...

Поезд (Поскребышев, один из тысяч императорских очей, помахивал рукой или фуражкой) повез в Москву безмятежную бездетную пару Шахуриных, на север из кавказского тепла — Алексей Иванович улыбался своей дебелой Соне (откуда могу знать? я бы улыбался), им казалось, они взлетают, а Поскребышев, вернувшись к императору, мог сообщить подмеченную подробность — такая штука, с Шахуриными в Москву возвращался личный автомобиль, к поезду прицепили платформу. Алексей Иванович, всегда добивавшийся наибольших удобств, прибыл в отпуск с собственным трофейным автомобилем. Скорее всего семиместный «хорьх». Шаху-

рину предстоят ночи, годы подряд вспоминать проводы в Сочи, ублюдочную эту машину.

На той стороне реки, в старости (оставалось два года) Шахурин встретил Молотова на зимней дороге меж дач — Молотов полз с равномерной упрямостью секундной стрелки, простукивая палочкой лед.

— За что сидел... — жевал Шахурин (ему задал идиотский вопрос посторонний потомок, чернильная душа, не зная, как обжигает пламя великих). — У него спроси, — Молотов как раз поравнялся, похрустывая шарнирами. — Он меня сажал.

— Скажи спасибо, что мало дали, — посоветовал Молотов без всяких там детских «здравствуйте», как и полагалось, словно не кончилось ничего, и прополз дальше, а Шахурин с плачущей искренностью пустился в длинные рассуждения о громадном государственном уме и уникальных природных способностях императора.

За что? Нарком вооружений Ванников считал: Шахурин без разрешения правительства изменил конструкцию авиапушки для тонкостенного снаряда. Говорили о протекающих самолетных баках. О худых ингредиентах: на Курской дуге срывало фанерную обшивку с «Яков» — клей, химики дали скверный клей, он высыхал на солнце.

За что? Писали про самовольно добавленные (или убавленные) лонжероны, писали: отстали в реактивной технике. У окруженных и обреченных немцев самолеты с реактивными двигателями летали еще с сорок третьего (все ходит вокруг этих цифр!), на весь мир звонить про отставание нельзя — вот и подвернулся Як-9 со своим долбаным мотором.

Вася Сталин оставлял «дело авиаторов» за собой: летом на Потсдамской конференции (следователи менялись, менялись тюрьмы, поговорить недостойный сын любил, ему казалось: пока говорит — не расстреляют) в коротком перерыве между совещаниями с президентами там разны-

ми и премьер-министрами встретился я со своим отцом, вот так, как мы с вами сидим... Командовал я в ту пору авиадивизией в Германии, вот почему там (из командиров полка Васю сняли в сорок третьем «за пьянку и разгул»)... в тот день, помню, июнь был, папа говорит: а как тебе немецкие самолеты? Я, честно говоря, не сдержался, «страстный авиатор», и, честно говоря, будучи в нетрезвом состоянии слегка, как вырвалось: немецкие самолеты что надо, а вот наши — полное говно. Ну, и папа типа: иди отсюда. Я так подумал-подумал, когда пришел в себя, ну и сделал доклад отцу о технике нашей и о немецкой (М-107) — в ЦК (я первым выступил!) мой доклад почитали и решили перевооружить ВВС на реактивную технику, как у немцев, и «я ни в коей мере не сторонник умалять вину Шахурина и Новикова, этих холуев Маленкова».

Император обмолвился: «Нам помогли вскрыть это дело летчики с фронта»; скорее всего «летчиков с фронта» первым услышал Абакумов, люди правды донесли: самолеты производятся низкого качества, летчики гибнут — сведения о причинах катастроф искажаются, нарком и маршалы скрывают правду, им бы только деньги и ордена. И квартиры.

Император выслушал Абакумова (на допросах состаренный Абакумов хрипел: я ни при чем! *приказал* император!) и кивнул: да, пора и с этими, но... надо, короче, соблюсти... И Вася бросился собирать подписи (семьдесят пять) под красивым, смертоносным письмом, стараясь, чтобы побольше Героев; выяснилось: летчики Шахурин не любил, генерала Громова раздражал первый послевоенный год: «...не могло развернуться творчество... Ведь нашей авиацией командовали либо кавалеристы, либо наземные...» Как застонал маршал Новиков на Политбюро, вдруг поняв: выговором за мотор ВК-107А не кончится: «А что вы от меня хотите? Я — пехотный офицер».

На пересечении бывшего с казавшимся можно разглядеть: когда император ласкал Шахурин за дачным сто-

лом под горой Малый Ахун, Алексея Ивановича уже не существовало.

Император отдохнул, вернулся, кончилась война, он словно охладел к людям, меньше совещаний, докладов, встреч — 18 декабря зашел Шахурин (как отдохнули? а вы как тогда добрались?) и 27-го (последний раз в жизни) был у императора *один час сорок минут* — почему-то (возможно, заметил в тот день Алексей Иванович) вот уже полгода их не оставляют с императором наедине, всегда — Яковлев; час сорок оттикало, и Шахурина навсегда отпустили. Следом заходили люди правды Берия, Вышинский, присматривающий за авиацией Маленков — скорее всего ничего не значащее совпадение.

Минуло четыре дня, 31 декабря (Шахурины встречали новогодних гостей) нарком госбезопасности Меркулов принес императору бумажный лист: получив «сигнал», мы изучили, что же происходит в Наркомате авиапромышленности с трофейным автотранспортом. В целом безумие, как и повсюду. Сперва составили список «на получение» иномарок на сорок одного человека. Затем урезали: двадцать один. Не до работы, только и разговоров: кому «татра», а кому «БМВ». Результаты забега: Туполев получил «мерседес», Ильюшин, Лавочкин, Мясищев, Сандлер (зам по тылу) — по «БМВ», Яковлев, между прочим, скромный «гудзон», и еще один зам Шахурина, Дементьев, — «вандерер».

По Шахурину. Пятиместные «бьюик» и «лассаль» (1940 года выпуска, доставлены из США), семиместный «хорьх», открытый двухместный «аубурн», «опель» (оформлен на жену, Софью Мироновну), «мерседес-бенц» и «бьюик» (пока ремонтируется), «виллис» (использовался на охоте), и закреплен за тов. Шахуриным мотоцикл М-72 (находится, по нашим сведениям, в Горках-10, на даче). Подпись: нарком государственной безопасности В.Меркулов.

Едва начался год, в первые январские дни Шахурина поразил хамский звонок: загляните в Комиссию партийно-

го контроля (на его высоте такого учреждения не существовало), нет, никого принимать не надо, приехать к... — неизвестная, ничего не значащая фамилия. Нарком предостерегающе намекал: занят, готовится докладывать императору, и, может, кто-то из замов... Ему ответили: ждем через час — через час в тесном кабинете мелкая, плохо одетая гнида, впервые видящая живого наркома, сообщила: принято к рассмотрению «дело о личной нескромности тов. Шахурина», а именно: что можете сообщить о восьми автомобилях иностранного производства, числящихся за вами, — нет, давайте-ка (гнида ему сказала «давайте-ка») письменно и в моем присутствии... с ним разговаривали так, словно он не мог подняться, покрыть матом и уйти, словно теперь они будут разрешать наркому, и Алексей Иванович, любимец императора (неделя прошла с последнего пожатия руки), сдерживая, уговаривая себя, смиряя, царапал, катал, нерасчетливо и собственноручно, едва не хохоча над дикостью — представляете? — уже прикидывая, кто остановит, накажет хамье, кому позвонить — **НЕСЛЫХАННОЕ ДЕЛО!** Ну что, что, что, что?!!! — «аубурн» мне подарил маршал Новиков (я не вывозил, ясно?), один-то раз и проехал на ней по аэродрому и собирался подарить «Крыльям Советов» — мне на кой? — просто не успел! Так... «Мерседес». Нет, не так, «маленький “мерседес”» — вот *так*, это для обслуживания семьи — возили на нем обеды, продукты, отца и мать моих — стариков! Ну, жена ездила — инвалид второй группы. «Опель-Олимпио» вспомнили! При чем здесь Германия?! Это куплено когда еще, на складе в Минске в *польскую кампанию*, за 4500 собственных рублей! Только название «опель» — ма-аленький, однодверный, самый маленький из «опелей»! — ремонт обошелся в *девятьсот* рублей, ясно, что одно название, а не машина? Жена на нем отъездила два года, сын (был у меня сын, Владимир) учился водить. А то, что машину взял в Сочи (давайте по существу, хрен я вам буду по каждой отчитываться! кому надо, знают, что мне *положено!*), так это посоветовали

врачи. С 4 октября находился в больнице, очень ослаб, а кто-то из врачей (эх, тут и написать бы врачебные имя-степень-инициалы, чтоб не выходило жалким враньем) посоветовал: да возьмите с собой машину, все наркомы так делают (вот он куда пытался свернуть)... Виновным себя признаю: да, первое — что оформил машину в собственность, второе — отправил ее в Сочи. Перечел, подписал. И еще добавил поверх строк насмешливо: «на охоту я никогда ни на чем не ездил!» До свиданья.

И в тот же день: «Секретный архив. Строго секретно. Шахурин А.И. Номер партбилета 0473630, партстаж с 1925 года. Протокол 473, № 1 от 7.1.46 года. Тов. Шахурин имел в своем личном пользовании 8 личных автомобилей. Этот его поступок свидетельствует об отсутствии большевистской скромности в личном поведении. 1) Объявить выговор с занесением в учетную карточку; 2) Передать в резервный фонд Совмина СССР 6 находящихся в личном пользовании Шахурина машин, оставив ему две для личного пользования». Послано: в наркомат, Булганину, Хрущеву, Меркулову, Поскребышеву. Подписав протокол, председатель Комиссии партийного контроля Шкирятов (после вызова на комиссию многие понимали, что бог все-таки есть; если Шкирятов обращался к пациенту «милок» или «милая» — дело плохо) пояснил четырьмя строками «тов. Сталину И.В.»: «Он не хочет осознать, что это его вина, и все его объяснения показывают, что он не видит в этом никаких особо незаконных действий. По-видимому, он (хитро не называя имен) забыл или совсем не знает очень хорошую русскую пословицу “Знай край, не падай”, она очень подходит к его бытовым вопросам». Шкирятов знал, чего от него ждут, — в тот же день Шахурина уволили. Кончена жизнь!

Оборвалась в сорок лет. Все оставшееся делала выносимым лишь водка и не имело смысла: «...как всегда солировал отличавшийся прекрасным голосом А.И.Ша-

хурин», «любил петь», «особенно “Чубчик, чубчик кучерявый”».

16 марта сняли маршала Новикова с убийственным «как не справившегося с работой».

Алексей Иванович, уже начавший *понимать*, ждал спасения от Маленкова и через семьдесят пять дней получил засушенный, как листик в гербарии, пост – зам-пред Совмина РСФСР; но через девять дней ночью за ним на улицу Грановского приехал полковник Гордеев со своими – Гордеев возглавлял службу для ареста императорских любимцев.

Шахурин встретил положенное один. Софья Мироновна лежала в больнице. Через короткое время она забыла про инвалидность и тяжелую болезнь сердца, выучилась шить бюстгалтеры у знакомой белошвейки Генриетты из мастерских Совмина и зазывала клиентов, чтобы заработать на хлеб. Как белошвейка Софья Мироновна пользовалась успехом.

В мае Военная коллегия Верховного суда определила вину в «протаскивании на вооружение Вооруженных Сил заведомо бракованных самолетов, что приводило к большому количеству аварий и гибели летчиков». Семь осужденных получили убывающие сроки – семь, пять, четыре, три, два – кому-то это показалось смешным. Семь получил Шахурин. Имуущество в сумме пятьсот двадцать тысяч тридцать один обращалось в погашение нанесенного ущерба.

Доверитель

В тюрьме Володин папа перенес несколько инфарктов (условия не смягчали), жаловался на плохое сердце, слабый пульс в ногах. Чтоб не сойти с ума, переписывал стихи и разговаривал с ложкой. Сотруднику техотдела киностудии документальных фильмов (так представлялся Ильин, начальник

третьего отдела секретно-политического управления, сидевший с сорок третьего из-за взаимной ревности НКВД и СМЕРШа, и долго жил, пока не задавила машина), сокамерник не нравился (к этому свидетельству следует относиться осторожно): еду Шахурину носили из ресторана, он «харчами не делился» и проклинал подельников.

Что он думал, останется неизвестным, и написал только (я верю, из самого нутра): «Меня спасла только вера в партию. Только вера в партию, чистота перед ней, только то, что я, подвергаясь пыткам и оскорблениям, ни один час из этих тяжелых лет не чувствовал себя вне партии, спасло меня».

Берия исхитрился выволить Новикова пораньше, хотя давно и на совесть хлопотал за обоих друзей – Новиков, в синем лоснящемся костюме, приехал к Софье Мироновне: выводили гулять по крыше внутренней тюрьмы, один раз (за шесть лет) он оглянулся и увидел своего друга Лешу. Вот все, что знает.

Выйдя (в тюрьме с их душами что-то загадочное... многие из железных выныривали крепышами, красавцами, в полной сорока-пятидесятилетней силе и больше – ничего не могли), еще не увидев родителей, Володин папа сел писать из санатория «Подлипки»: восстановите в партии. Братьям сказал (дословно повторив маршала Рокоссовского, мою бабушку и несколько миллионов): «К этому вопросу мы не будем возвращаться *никогда*». Софья Мироновна следила за разговорами: нельзя его волновать. Можно только про зарядку в тюрьме!

И запил (из железных, тех, кто каждый день входил к императору в одну дверь и каждый день мог выйти в другую, – пили многие), не попадал в шаг, всем казалось: надо скромней. Взял его нынешний нарком Дементьев в третьестепенные замы – на коллегиях Шахурину встречали аплодисментами, стоя; на собственном юбилее (пятьдесят) затянул такую саморадающуюся речь, что Дементьев встал и вышел, торжество как-то само собой утасло, и гости рас-

ползлись. Взялся за «собственную программу действий» в министерстве — при первой же «реорганизации» его опустили в Комитет по внешнеэкономическим связям и через два года пихнули на пенсию; с пятидесяти четырех лет оставалось Володину папе лишь «выполнять поручения Советского комитета ветеранов войны», общества дружбы «СССР — США» (запомнился безотказным, из всех списков «на выезд» вычеркивала незримая рука) и партийной организации завода «Манометр» (где молотобойцем начинал, туда стальные молоты назад и вбили) и фотографироваться с космонавтами на отдыхе в Болгарии — рядом Софья Мироновна, располневшая, в открытом купальнике, чуть выше мужа, по-борцовски задирая толстую руку.

Для отдыха им выделили что-то в Баковке, потом Жуковка — рубленый домик. Взялся писать, но из архивов *страшно унижительно* выгоняли за воровство. Он не мог понять, *почему* не дают свернуть и положить в карман четвертушку бумаги с карандашной строкой: «Тов. Шахурину, срочно произвести испытание машины и мне доложить. И.Сталин», словно и в своей собственной жизни — чужой. Он не носил формы и награды надел лишь однажды, когда внучатую племянницу не брали в спецшколу и нужно было просить. Боготворил императора, Отца; и Хрущева поэтому ненавидел до остервенения. После смерти в столе нашли фотографию императора и записи о допросах — те, кто читал, опухали от слез; бумаги исчезли, ни одного из тех, кто читал, видел, мы не установили.

Софья Мироновна изнуряла мужа заботами о его здоровье, бесконечно консультировала и считала калории в еде, активно болела за советский хоккей — на весь дом! Много курила — «Беломор», затем перешла на «Новости», приглашала гипнотизера избавляться от никотиновой зависимости — вся семья содрогалась от смеха, слыша, как Софья Мироновна за стеной повторяет заклинания: я больше не курю... табак неприятен...

Свои траты записывала и возмущалась, что сестра не делает так же: как можешь так жить? И не знаешь, сколько у тебя серебряных ложек?

В больницу легли одновременно, на разные этажи. У Софьи Мироновны обнаружили рак кишечника и вырезали пораженные сегменты (части, что ли, кишок), у мужа ухудшилось с сердцем.

Вечером он проведал свою любимую Соню (доживали вдвоем, без будущего, сына нет) и ушел к себе на этаж. В десять вечера позвонил племяннице: набери меня утром. В восемь утра его телефон молчал. В двенадцать подняла трубку женщина: а кто вы ему? Приезжайте, его нет.

Ночью, 3 июля 1975 года.

Ей не говорили, не давали газет. Во время похорон с ней сидел маршал авиации Судец.

Она хладнокровно рассматривала предложения архитектора по семейному надгробию (черные полированные высокие камни, под которыми они наконец-то соединятся и будут втроем, жалела ли, что сына сожгли, повинуюсь революционному приличию уходить в пепел?) и утвердила нужный. Очень трезво относилась к жизни, без лишних переживаний. Не установлен ни один свидетель, видевший Соню плачущей.

Она сказала: я не умру, пока не закончу его книгу – стол в гостиной вечно занимали разложенные фото, выписки и книги с закладками – она дописывала за мужа «Крылья победы», правильно понимая, что *пока* человек за книгой, человек, читающий *книгу*, – лучшая попытка преодолеть смерть.

– Нет. И там ничего не сложилось, Боря. В «деле авиаторов» мальчика не называли. Осталось глянуть смерть Уманского.

Апрель – на концах веток появились какие-то райские цвета, каких не бывает на земле, каким не придума-

ны еще названия. Девушки достали кусочки тела. Достали бледные животы, колени. Лоскуты кожи на груди.

— Поедем в Мексику. Не приходилось бывать за границей. Каково там, в Латинской Америке? — И Боря вздернул приклеенную бородишу — борода перла до ушей и уходила в загривок на воротник серого учительского пиджака, надетого на пестренькую, связанную мамой штучку, — слабогрудое существо, музейный работник! На лацкан он насадил крохотный неразборчивый щито-мечный значок и говорил тонким поповским голосом с какими-то подблеиваниями. — Приобрел две бутылки водки за наличные. Чеки с собой. Чухарев предполагает, что Кирпичников алкоголик. Я пьянства не одобряю.

Как на день рождения, как во второй раз к красивой девке, мы, счастливые охотники у норы, собиратели музея 175-й долбанутой школы, с двумя бутылками водки в пакете из «Седьмого континента» взметнулись на Марию Ульянову, дом 9, второй подъезд, второй этаж и звякнули в квартиру, разминая лицевые мышцы, — как там его звать-то... (я убрал в карманы кулаки с разбитыми костяшкам и двинул вперед травоядного Бору), гости улыбаются, а-а...

— А-а-а... *(толстые руки, очки, чем-то на Бабеля)*, не разувайтесь, я живу в Германии — там не разуваются *(неслабый ноутбук на журнальном)*, у меня один приятель жил, говорит: кто-то звонил в дверь, он не открыл — вы, наверное, приходили? *(Врет, сам ташлся у глазка, рассматривая Чухарева, сам терпел звонки.)* Квартира эта.... историческая *(развел руки и очень основательно, с сахарком)* — перед отъездом Александра Галича я имел честь предоставлять ему квартиру для последних концертов. Имел честь выступать организатором! *(С этих слов тревога, что-то знакомое в нем, у Бори перестукивались бутылки, даже не спрашивает, кто мы, окатывая меня злобой — не так!)* На кухню? *(Круглый стол, конфеты «Стратосфера», коньяк, пасхальный кулич.)* Знаете, грязь, что есть в деле Володи и Нины, мне совершенно не интересна! Мд-а, кофе получился некрепкий...

Такие... писи тети Хаси. *(Я не улыбнулся, он отвернулся к чашкам и велел, не оглянувшись.)* Ну, рассказывайте! *(Я долгожданно открыл рот и заметил: Боря безумно улыбается.)* Кстати! Уманский — четвертый эшелон власти. Не имел даже персональной машины. Сталин бы его сто пудов расстрелял! Да, это уникальная история в истории человечества *(именно так)*: детей арестовывали, а родителей не тронули. Мой дед работал на третьем этаже Лубянки, а сын его сидел на пятом, сахар берите. Дед красивый, видный мужчина... Облагороженная копия актера Вельяминова. Крепкий, голос поражал всех. Левитан на даче ему советовал: Петр Иванович, да бросьте эту ерунду — будьте диктором! Трижды в день Берии докладывал. Для меня человек в кителе — это ничто, мразь! И Шейнин такой же... *(Я подсовывал ему текст доверенности, он не видел.)* Отец... Умер в Германии. В мае будет три года. От рака. За два месяца. Дал метастаз в мозг. Боли не чувствовал. В феврале я не мог угнаться за ним на катке, а в мае он умер. Никогда ничего не рассказывал. Однажды: папа, откуда ты знаешь столько стихов? «В тюрьме выучил». Он женился на еврейке, дочери репрессированного. Пришли из ЗАГСа, сели за стол — восемь человек. Позвонил дед: расходитесь, Жданов умер. *(Я двигал доверенность вслед за его взглядом, словно ловя солнечный луч, Боря покусывал губы и покашливал, унимая подступающие смехи.)* Для Сталина жалости не существовало. Он любил только Свету. Обвинительное заключение на школьников я нашел в бумагах отца еще в пятнадцать лет... А потом я работал металлообработчиком, спекулянтom, бизнесменом, антисоветчиком... А отец как залез в свой панцирь — от страшного потрясения, полученного в тюрьме! дикий отпечаток! — так в нем и остался. Да-а... Харизма власти действует на людей определенным образом! *(Боря лающе откашлялся, промокнул глаза и сунул губы в кофе, его затрясло.)* Но отец понимал, это людоедская система. Уничтожить семьдесят миллионов за семьдесят лет! И это по минимальным подсчетам! Не-ет, в убийство из-за любви

я не верю. Не могли Шахурин и Микоян влюбиться в кривоногоу. А Ваню был такой, что в него сами все влюблялись. *(Он подсел ко мне ближе и обкурено покачивался, выплевывая жаркие...)* Проникнуть в психологию четырнадцатилетних детей? Я не могу, это — тайна великая! Мне проще понять Сталина. Солженицын попервой пробивал меня до матки. С Суворовым я полностью согласен. Перед Зиновьевым я преклоняюсь. Знаете, как размышляет в моей повести Сталин? «Большие жертвы оправданы. А если не оправданы, значит, это не большие жертвы». И вдруг! *(Он закричал, Боря спрятал хохочущую морду в сложенные домиком ладони.)* Я словно проснулся: и написал тридцать страниц про историю арестованных мальчиков. Сначала получилась романтическая повесть. Потом — психологический детектив. Потом я написал третью версию, и она — получилась! И я тут же лег на диван, отстраненно прочел и начал править — два месяца! Меня несло! Спал полтора часа в сутки. Я мог бы оторвать свой зад на день и заработать две штуки, но я оставался писать. На сто процентов! *(закричал)* я попал в это время! Я вас еще не задолбал? Я знаю: буду иметь успех. Триста тысяч тиража влегкую разойдутся по России *(я попискивал и что-то мяукал, но он чутко не слушал меня)*, заложил в диалоги невероятный психологизм и поборол то, что ненавижу, — логические ямы и неправдоподобие. Я теперь другими глазами читаю даже Булгакова, отчеркиваю: вот тут можно было сделать много лучше. Сталин! Для него не существовало людей. Он не был людоедом, он был машинистом и первым полетел бы в топку, если бы попытался притормозить. Играл в доброго, обнимал, защищал: мы обязательно проверим, а потом неявно, сбоку — вбрасывал кровавый кусочек мяса, и все уже неслись рвать... Этот усатый... с желтыми зубами... Он... Он... уничтожал всех! И добавить нечего, прочел бы рукопись вслух, раз уж так заинтересовались, но тороплюсь в аэропорт...

Кирпичников улыбнулся мне в непривычной тишине. Нахмурился снова. Улыбнулся. Задумался:

— Как вы думаете, триста тысяч тираж не мало?

Боря стонуще и слезливо вздыхал и заново закатывался, сгибаясь к коленям. Водку он выставил на стол, поближе к доверенности, — тяжело размыкая глаза, махал мне рукой: пойдём... И ржал!

— Александр Феликсович, — клиент поднял зад провожаться, — нам бы доверенность от вас... Ваш папа... Архив. Достоверность сведений. Мы, в свою очередь, ничего без вашего согласия, — с глубокой тоской! чужим голосом!

Кирпичников брезгливо послушал: нет, он не может ничего подписать без согласия мамы, мама в Германии, переговорит с ней, грязь не нужна, его интересует прежде всего психология, *правда жизни*, глубина художественного образа — проникновение. Зачем мастеру документ, достаточно летучего впечатления, чтобы молниеносно проникнуть в суть! И показать.

— Александр Фе... — тополиным пухом садился я ему на рукав, — а ведь мы обладаем некоторыми сведениями (номер пистолета, протоколы допросов по «Четвертой империи») — они бы придали очарование достоверности вашей потрясающей, удивительной (Кирпичников замер, словно услышав пароль), *потрясающе удивительной* книге, да и память вашего отца... Нам с легкостью даст доверенность любой из проходивших по делу — всех нашли, адреса есть, и представляете, что может открыться? Да все что угодно! Дети! Валили на допросах друг друга, выгораживали себя, а если огласить? А так — если подпишете доверенность *вы*, то лично вы и решите: что огласить, а что... Каким запечатлеется образ вашего папы...

Кирпичников что-то подсчитал, перемножил: нет. Нет, давайте подождем выхода книги, он уже рассылает рукопись по издательствам. Но книгу он обязательно подарит, мы можем не беспокоиться. В числе первых...

— У тебя было такое... — стонал Боря, валясь на лестничные перила, — такое лицо! Думал, ты его сразу уду-

шишь. — Отплакав и отсморкавшись, сухо добавил: — Как я ненавижу писателей.

В конторе Боря совал себе в бороду бутерброд с колбасой: будешь?

— Меня дома кормят.

— Ну, наконец-то! — Боря всплеснул руками. — Александр Наумович, а я все ждал, когда же он начнет хвастать. Как его кормят дома! Как сытно он теперь жрет. Какие макароны! Котлеты! Пирог! Как ему стелют перину! (Неприятно, секретарша слышит, не гляжу на нее — почему бы не взглянуть на нее издевательски прямо? Я думаю: краснеет, это ей тяжело.) А он — лежит целыми днями. «Ты что лежишь, милый? Может, ты заболел?» — «Нет. Мне просто хорошо». И поменяет бок. Про тещу что-нибудь расскажешь?!

Гольцман нарядился в парадный костюм (день рождения? встреча отставных?), и седина его показалась особенно белой, костяной, и поредела так, что просвечивала, розовыми и малиновыми пятнами зияла кожа. Гольцман (по левую руку от меня, лицом в окошко) вывернулся боком на любимом кресле, словно болел зад, поерзывал: слышит меня? — мы не взяли Кирпичникова, доверенности нет. Он улетел.

— Предлагаю искать в Германии выходы на мать Кирпичникова, сблизиться с ней на личной основе — доверенность может подписать и она, — дебил Чухарев рассуждал как победитель, теперь ему казалось: если бы Кирпичникова брал он... — Либо представить в ФСБ поддельную доверенность от Кирпичникова. Паспортные данные мы его знаем, а в Германии его не пробьют, — и заткнулся, не обнаружив на себе ни одного взгляда.

— По Шахуриным чисто. Петрова жизнь промолчала. Мы не говорили только с внучкой Олей, что отравилась... Можно раскопать могилу. Остался Хххххх. Если он действительно мертв, ищем родственников. Ты, — кивнул Чухареву, — возьмешь базу прописки МВД и обзвонишь

всех жителей Москвы по фамилии Хххххх, с любыми инициалами. Не должно быть много, редкая фамилия. Я бегло посмотрел — сразу двое: Хххххх Р.А. и Хххххх Н.М. — оба или обе почему-то на Братской улице. Посмотри. Мы едем в Мексику. Но главное — Хххххх, — я поморщился от предстоящей правды, так похожей на ложь. — Это наша единственная возможность попасть на место событий — в третье июня. Александр Наумович. Александр Наумович!

Очнулся и сморгнул слезящимися глазами: да?

— Едем в Мексику. Работа с людьми, Александр Наумович, скрывающими правду, тупыми ребятами, не знающими по-русски, можете отказаться, но ваш опыт...

Он неопределенно пожал плечами. Разошлись, секретарша возвращала стулья на место и убирала стаканы, пользуясь случаем побыть рядом.

— А вы бы хотели оказаться вместо них? — И всмотрелась в меня с неприятной зоркостью, мой ответ что-то важное означал для нее, на все обозримое будущее. — Чтобы нашелся человек... Потом. Узнавал бы про вас... Возвращал. Косточки. Додумывал то, что не нашел. Без жалости.

Моя жизнь. А что такого особенного в моей жизни? Ее все равно что нет. Я не придумал, что ответить, лень. Алена распахнула дверь.

— Из-ви-ни-те! Я не помеша-ла? — красная морда, жадные глаза — все ощупать: что, как? — вынюхать. — Маша! Найдите время разобраться на вашем столе! Устроили помойку! Вам платят не за то, чтобы вы торчали в этом кабинете размалеванная, как кукла! ...Мой милый, мой любимый, что эта... все время у тебя? Что вы тут решали? Подожди-ка! — Алена комедийно попрыгала к двери, захлопнула; жалко играя губами, вернулась, обогнув стол. — Ты так устал... Так много работаешь. И днем, — она хрипло хохотнула не своим голосом, — и ночью, — она старалась выглядеть довольной, вдруг: потрогай у меня *там*,

и я полез, переступая пальцами по стерне двухдневной щетины — она шептала: *ну как там? — мяконько?* — Когда прилично выгащить руку, чтобы отстали и отпустили, — я тер, втыкал, стараясь не расцарапать ногтями, пока ей не показалось: достаточно. Куда бы деться насовсем. Скорее уехать.

Конвой готов — Алена ждала в машине, обозленная и почерневшая: что могло... Проверила мою почту? Я оглянулся на бег каблуков и собственное имя — секретарша. Что? что? что?!

— Хотела напомнить — Александр Наумович ходил на обследование. Поговорите с ним, пожалуйста...

— Купите на завтра один билет, самолет, Симферополь, вот паспорт. — Чуть не добавил: полетите со мной?

В прохладном полумраке, сделанном добрыми руками, избавленный от галстука и пиджака, Гольцман полулежал на диване, пролистывая папки с наклейкой «Мексика» на корешках — не ожидал, что я вернусь, — и благодарно улыбнулся:

— Напрасно ты... Вроде все в порядке. Пришлось обследовать толстую кишку. Обследование болезненное. Врач посмотрел... Сказал: *ничего нет*, «Я ничего такого не вижу», — Гольцман удовлетворенно улыбнулся. — И я как-то сразу успокоился. Я тебе не говорил, но когда каждый... Когда начали худеть? когда начали слабеть? когда? когда? — Гольцман резко выпрямился, словно показывая свою силу. — Я не слабею! Это терапевт меня поначалу напугал. В анализах низкий гемоглобин. Похоже на очаговое поражение печени. Или скрытую форму гепатита.

— Ну теперь-то все?

— Да. Для гемоглобина гранаты ем — Маша принесла, препараты железа куплю. Но врач посоветовал все-таки сходить в межрайонную поликлинику, посмотреть поглубже. Он смотрел сантиметров двадцать-тридцать кишки. А там есть какая-то японская штука, не надо на коленках, лежишь на боку. Обследоваться не помешает.

Я посидел с ним положенное, трижды ответив по телефону Алене, она молчала до дома, но дальше уже не ждала.

Ты любишь меня? Ты возвращался кому-то позвонить? Почему она так обращается к тебе? Кто? Не строй из себя дурака, ты же понимаешь, о ком я говорю. Почему она бежит за тобой по улице? Ты хочешь жить один? Может быть, тебе действительно лучше одному, и то, что я сделала... то, что совершила... весь этот ужас... Скажи: ты любишь меня? Кто тебе звонил вчера вечером? Почему тогда ты ушел говорить на кухню и дверь закрыл? Где ты был днем? От Кирпичникова вы ушли в двенадцать, а на работу ты приехал в три. У тебя был отключен телефон — я знаю, что это значит!!! *Это никогда не кончится!* Я не могу с этим жить. Меня просто не хватит на это! — Она плакала, отталкивая мои руки, потом плакала еще, обняв меня, потом целовала, еле уговорил погулять, пока не стемнеет. Мы ходили по парку вдоль Больших Академических прудов, я все время думал, о чем поговорить еще, если наступит тишина, а завтра без предупреждений вырваться и улететь в Феодосию.

Отец

Утром я двигался с бесцельной замедленностью, чувствуя себя щепкой, плывущей сонной, пустой дорогой в Шереметьево и дальше: от паспортного контроля до таможни, предопределив себя на многие часы вперед.

Из иллюминатора дуло, стена салона покрылась холодной росой.

Синяя портьера, скрывающая стюардесс, по-театральному волнуяще колыхалась, ругалась всем недозвольная вечная тетка из бизнес-класса, навьюченная пакетами «дьюти фри». Я почитал инструкции и почувствовал себя ничтожеством перед «расстегнуть ремень, выдернуть за тросик шпильки из штыррей чехла и вытолкнуть трап наружу».

Трансфер в виде дохлого «Москвича» — водитель дорóгой в Феодосию (равнина, затем татарские холмы) рассказывал советскую старину: базы подводных лодок, выдерживали прямое попадание термоядерной бомбы! — добавил:

— За голубые плавки во время «оранжевой» революции могли избить. — И простился: — Добавишь двадцаточку? Чтобы отдыхали вы хорошо, а умирали еще лучше!

Надо мной летали комары, а повыше кружили чайки. Рай — все приехали счастливо жить. В каждом подвальном окошке, на каждой веревочке над голубятней, на гаражных воротах и сарайных дверях сушатся плавки и купальники. В отгороженных уголках под табличкой «сладкая вата» темные люди прядут неспешно, и снежная пряжа в их руках собирается в кокон, напухает в папаху. Отъезжающие фотографируются в обнимку в усадебной беседке со скульптурой полуодетой греческой женщины — скульптура с брезгливым видом отвернулась от собравшейся очереди.

Вечером на набережной водители и захолустные инженеры с мрачным достоинством исполняют под караоке песни про воровскую долю, почти всегда поминая «девочку» («нету силы забыть»), мимо снуют бледные официантки в матросских костюмах из кафе «Морячка».

Как всегда, жаль одиноких девушек, возвращающихся в сумерках в снятые комнаты в лучших нарядах, — побродили вдоль по набережной, посмотрели на цены, послушали музыку и — на оплаченное койко-место, домой. Как всегда, хочется приехать сюда на подольше, хочется любить всех этих девушек. Хочется невозможного.

На пляже панамки, похожие на бумажные кораблики. Загорают девушки, выставив под солнце изнанки бедер с красными прыщами и кровавыми следами депиляционных усилий, и тети с волосатыми поясницами. Выходят из воды красавицы, с привычной строгостью вглядываясь в заинтересованные лица. Пьяный лежит

в прибое лицом вниз, волочась по камням, как водоросль среди плавающих окурков.

Я попытался расколотить галькой персиковую мокрую косточку, и она улетела над пляжем крупнокалиберной пулей, страшно отразившись от бетонной стены набережной, чуть не убив мальчика сорока лет с праздником под трусами; полистал газеты: ожила статуя богородицы; вздохнул, поднялся, лабиринтом пробрался к лестнице меж полотенец, одеял и животов, ожидаемо споткнувшись о сонную, беззащитную ногу, обогнул две надувные горки — с них врезались в воду подростки и молодежь, отдал старушке, дежурившей у искомым кабинок, пятьдесят украинских копеек и медленно отмотал полтора метра туалетной бумаги на глазах у красавиц, раскинувшихся вокруг бассейна на лежаках.

Семнадцатого июня в Мексике приземлился самолет с новым имперским посланцем. Уманский, пенсионер, отпылившийся два года в членах коллегии Наркомата иностранных дел, заведующий цензурой, возвращен императором в железные и должен переносить огонь. Он отказался от любимой женщины. Он сжег дочь, убитую неизвестным (на момент отлета, да и сейчас), умчался из крематория на аэродром, спасая остатки будущего, — урна с прахом осталась на помойке. Очевидец, поверхностно знавший Костю, сообщил нам: «Из самолета вышел *другой* человек» — на фото Уманского легко опознать: погрузневший, короткошей, в добротном широком пальто, в окружении флотских фуражек со сдержанным, брезгливым любопытством рассматривает встречающую суету, отвернувшись от кинохроники и дам со сложно уложенными волосами на затылках, пока не вступили духовые инструменты; неподалеку горбоносая женщина в шляпе с черными лентами — Раиса Михайловна?

— Через полгода буду говорить на испанском, — пообещал, представляясь президенту; в октябре раскатал пер-

вую речь (дарил местному дирижеру партитуру Седьмой симфонии Р-ова): «Седьмая — послание с полей сражений, выражающее веру в человека и его великое будущее» — Уманского послала империя, теперь он мог выжимать воду из камней.

Смерть Нины Уманской наметилась еще за три года до цветов на аэродроме — император, заглянув куда-то нечеловечески далеко, вдруг велел ближним: принесите все, что у нас... по Латинской Америке. Особенно — Мексика. Что могли принести (отношения разорваны в 1930-м, спасавшегося в Мексике Троцкого зарубил парень, отказавшийся назвать свое имя, империю ненавидят) — население, площадь, партии, промышленность — несколько цифр на бумаге, подбрюшье американцев, — но ему хватило, император больше не сводил глаз с *того* континента, словно решив: *нам туда*. А Мексика (в донесениях людей правды она называлась «Деревней») русским удивительно *подходила*, и как ни велел император забыть о мировой революции, любой москвит (Чичерин, Пестовский или апостол свободной любви Коллонтай), очутившись в Мексике, слал в Инстанцию пьяные телеграммы: обнаружена «Россия американского континента»! вот кому — руководящую роль в борьбе с империализмом, отсюда подожем США: здесь революционная ситуация, государь, все накалено: католики, военные, националисты, беглецы из Испании (наши, проверенные люди), эмигранты-поляки, голод, нищета, кучка богатеев... поставки в Штаты стратегического сырья, трудовые массы... вернуть нефтяные компании казне, в президента уже стрелял лейтенант Рохас... полтора миллиона голосуют за фашистов, но целая псарня левых... чего ждем, государь? Через десять месяцев Костю признали самым популярным дипломатом Мексики, еще через три — американцам показалось, что мексиканский президент полностью выполняет указания обаятельного Константина Алек-

сандровича, получаемые во время совместных конных прогулок, — симфония зазвучала.

Соединенные Штаты только-только начали осознавать себя совладельцем Земли (одним из двух), но русских уже понимали — упрямую, непроницаемую, жестокую, уклончивую, недобрую породу, это нищее, двуличное племя, одновременно бесчувственный реализм, способность договориться с дьяволом и революционный магнетизм, перенос за тысячи километров красной чумы, отменяющей любые договоренности, правила игры и вообще все известные игры. И одно дело — страдать от этого в московском Приарбатье или заочно, над холодными и противно дотошными телеграммами дяди Джо, на расстоянии океанов, и другое — видеть страшно однообразную картину проявления чужой силы на расстоянии звериного запаха, испуганного дыхания — в Мексике. Американцы уже знали: в империи никто ничего не делает сам по себе, железного несет Высшая Сила, его выбрали наконецником и смерти для него больше нет. «Школа Кремля под руководством Уманского» — вот во что превратился континент.

На папиросной бумаге попеременно карандашом и авторучкой жена первого секретаря посольства Л.П. Тарасова переводит для отправки Молотову очередное послание про набухающий в Мексике «русский вопрос»: «Самый выдающийся пропагандист Страны Советов за границей расположился в Вилла Кондеса в Такубайе, в бывшем доме семьи Перада, потомков испанских грандов... Большое здание с великолепным парком, с обширным залом в испанском колониальном стиле. Над парадной лестницей, ведущей в большой салон, позолоченная цитата Сталина... Уманский, бывший железнодорожный рабочий (не думаю, что Молотов улыбнулся в этом месте), ныне аристократичный, безукоризненно одевающийся человек, точно придерживающийся светских правил». «В посольстве устроили свой кинотеатр (стены расписаны фресками из русской

народной жизни) — там показывают советские фильмы для важных гостей». «Лукулловские ужины с редким розовым шампанским и лучшим в Мексике вином, лучшей белужьей икрой... Гостей развлекают знаменитые скрипачи, и местная примадонна Милица Корхус поет отрывки из Моцарта, а в заключение — фильм про победы Красной Армии или лекции хозяина». «Лекции — его конек, он всегда таскает за собой импровизированную трибуну».

На вечере «магната предприятий общественного пользования» хозяин попросил посла сказать пару слов о России. Костя разложил трибуну и два часа глушил публику успехами советского образования и завершил победоносным: вопросы есть?

Да, осмелилась какая-то дама. Какой смысл в стопроцентной грамотности, если у вас нет свободы слова? «Мадам, я считаю ваш вопрос реакционным и отказываюсь отвечать на него». Все спасала белужья икра и розовое шампанское.

Некоторые «отклики» Уманский отсылал Инстанции сам, сопровождая карандашными пометками описания собственной роскошной (и здесь) жизни: «Советские ухаживания за Латинской Америкой... В посольстве устраивали роскошный прием всего-то для двух тореадоров (посол вписывает над строками мелко, но въедливо-разборчиво: *прием скромный, хотя гостей явилось немало, а тореадоры народные герои, в Мексике их боготворят!*)... Посол аплодирует бою быков (*а это праздник простого народа!*), в совершенстве изучил корриду (*тореадоры пользуются огромным влиянием, многие из них верные друзья СССР*), его легко заметить на скачках на новом ипподроме (все дипломаты туда ходят!). Сидит за трактором, подаренным крестьянам СССР (*выдумки!*), и совершает конные прогулки с президентом».

«Имеет неограниченные фонды и колоссальный бюджет. В посольстве аккредитовано тридцать пять человек,

но слухи увеличивают эту цифру до 200—800. Интересы посла не ограничиваются Мексикой, он выше по рангу посла в Штатах, и тот должен согласовывать с Уманским свои действия. В Мексике готовятся советские кадры для Латинской Америки — молодежь стажирруется, учит испанский и разъезжается по континенту».

Журналу «Тайм», без успеха клянчившему интервью у посла, осталось отметить его общительность, уживающуюся с умением оставаться в тени и «работать чужими руками», — «крупная политическая фигура», «уполномоченный правительства СССР в Западном полушарии»; назвать так посла Громыко никому бы и в голову не пришло — Костя получил все, что хотел, но и заплатил немало.

Вспоминал ли свою дочь, кого винил в нелепой смерти, скучал ли по любимой, отвергнутой в Москве, — а может, писал Петровой, девочке из «Центропечати», что помнит его семнадцатилетним? Мечтал когда-нибудь все изменить — неужели *такая* любовь могла не оставить следов, зажить, не кровотока? Плакал ли, разбирая в Мексике вещи Нины, хранившие ее привычки и радости, запахи, — их не оставили в Москве — кому? Один человек — дипкурьер Мельников (в НКВД его звали И.Коган) запомнил единственный разговор: «Моя жена Раиса Михайловна не знает обо всех обстоятельствах смерти Нины. Прошу вас тему нашей семьи не затрагивать» — и только? Случайные гости заметили на рабочем столе посла небольшую фотографию какой-то девочки рядом со знаменитым фото императора с дарственной в рамке «под березу» — разговаривал ли он с фотографиями, неспроста они рядом?

В своих водянистых речах Костя повторял: «В России не осталось семьи, не потерявшей хотя бы одного близкого. Я убедился в этом за месяцы, что провел в России, порой вблизи от фронта». Я думаю, Уманский не любил мест, где стреляют и могут убить, — на фронт не ездил, Костя говорил о другом.

Лишь одна умеющая не стареть женщина показала следствию: «Вы почему-то считаете его равнодушным человеком. И напрасно. Работал он совершенно героически, но по ночам бродил как привидение по посольству... Он не мог спать... После смерти Нины нигде ему не было покоя...»

Похоже, Уманский действительно не спал по ночам — *копилось*: через Мексику курьеры Инстанции вывозили атомные секреты, отсюда, из посольства, первый секретарь Тарасов направлял американских нелегалов, раздевавших «атомный проект», Вашингтон не использовался для передачи важных сообщений — с тех пор как американская полиция подобрала в баре пьяного в стельку шифровальщика советского посольства; Мексику готовили для третьей мировой — через ее границу под видом сезонных рабочих двинутся в США боевые группы, осевшие в Латинской Америке с документами чехословацких эмигрантов. Действий Кости ждал Меркадер, убийца Троцкого, — Инстанция требовала вытащить из «черного замка», тюрьмы Лекумберри (люди правды называли «Госпиталь»). Император словно зарекся, побожился: вытащим, и Уманский, не сумевший вызволить Меркадера из США, спустя три года вернулся на заколдованное... Побег Меркадера готовили к Рождеству, после отсидки на конспиративной квартире его ждали в Гаване (кубинский паспорт лежал в сейфе Уманского), но в середине декабря на Мехико обрушилась мать Меркадера. Берия не удержал ее в империи, взяв клятву осесть на Кубе и не высовываться, — она высунулась по полной: отказалась встречаться с прикрепленной «дочерью», осаждала легального и нелегального резидента: каковы детали побега? И когда в Мехико явилась сумасшедшая, известная как дочь губернатора кубинской провинции, анархистка, пациентка психиатрической клиники, восемь лет назад закупавшая в Мексике оружие для испанских республиканцев (давление нарастало, умножаясь на давление Уманского, умножаясь на близкое окончание войны и дальнейшие сложные наметки раз-

реза пирога: а как, например, с Польшей? а Иран?), потребовала приема у военного министра (и открыто терлась с людьми Уманского) и прорвалась на свидание к узнику Лекумберри, — *включила свет*: Советы готовят побег своему человеку, Советам нужен этот континент.

Наступил январь, люди из ФБР сказали Рузвельту: «Мексика — фокальная точка русских». Когда лучи света, господин президент, падают на выпуклую линзу параллельно оптической оси, линза собирает их в одной точке, из нее лучи разойдутся вновь, но уже веером — с помощью увеличительного стекла можно поджечь свалевшийся тополиный пух, выжечь горелыми буквами свое имя на прикладе самострела, можно разжечь пламя фактически в любом месте, если есть, конечно, солнце, а солнце есть практически везде. 25 января самолет с Константином Уманским, сорока трех лет, взорвался на взлете, направляясь в Коста-Рику, и до притворных соблазнов союзникам два американца написали правду: «Он раздавал трактора мексиканским крестьянам, а теперь мертв, и пройдет много времени, пока приедет преемник и войдет в курс шпионских дел, изучит всю паутину». Вот к чему приводит «большое рвение».

24 января посол с гостями шумно отпраздновал освобождение Варшавы Красной Армией в ресторане «Сан-Суси», поднял тост за свободную и процветающую Польшу, заехал в посольство и там, в полночь, узнал приятную новость: в Нью-Йорке, выходя из машины, скончался от паралича сердца его главный соперник — посол в Мексике лондонского правительства Польши в изгнании Владислав (потерялась фамилия...), и выехал (наступило 25 января) на аэродром «Бальбуена», поблагодарив президента Мексики за любезно предоставленный самолет, а то летели б на рейсовом...

«Мексиканский военный самолет перенес их в царство Плутона раньше, чем в несчастную Коста-Рику, которую Уманский рассматривал как отдушину русской разведки».

Я подчеркнул адрес — «в царство Плутона» — и, поздно поужинав на веранде феодосийского отеля «Манго», выстроенного бывшей уборщицей детского сада, быстро поднявшейся на обмене валюты в смутные годы, через второй этаж вышел за стеклянные двери на балкон. Внизу между бородами гипсовыми гномами шелестел фонтанчик, я устроился на белом пластмассовом стуле и разглядывал окна общежития носочно-чулочной фабрики через дорогу — без бинокля ни-че-го; шумели безымянные ночные деревья, под ними таились до утра квасная бочка и пустые деревянные ящики, перевернутые кверху дном, — утром на них выложат персики и помидоры, подстелив картонки... Не хочется уезжать. Не хочется жить. Хоть бы год поближе к морю: как рано начинается весна, как копится и истекает летняя жатва... Я включил телефон и стер, не читая, заклевавшие монитор эсэмэски — до последней, и, надеясь, набрал контору — и получилось — секретарша взяла трубку.

— Почему так поздно на работе? — Она молчала, и я бессмысленно спросил: — Вы одна?

— Я одна.

— Как там у нас дела?

— Алена Сергеевна, — и она особенно отчетливо продолжала, — очень сильно плакала, когда узнала, что вы уехали. — В ухо начал бить «входящий», я переключился и сквозь вопли Алены: «Ты жив? Скажи только одно слово: жив?» пообещал: «Перезвоню через пять минут», и вернулся — помолчать.

— Чухарев обзванивает Хххххххх. Мало кто берет трубки. Наверное, многие на дачах. — Она подумала еще про «как у нас дела» и внезапно попросила: — Возвращайтесь. — И теперь я молчал уже не впустую, радуясь, удивляясь собственной радости, тому, что завтра будет такси, аэропорт и вечером Москва, пусть время пойдет скорей. — Хотела вам предложить... — Мы можем увидеться? — Может, вам поискать людей из собственного прошлого?

– Хотите, чтобы наша буровая остановилась?

– Нет. Не знаю. Хотя когда я остаюсь вечером одна, мне становится страшно среди наших папок. Особенно когда смотрю фото. Не перебивайте... Каждый вспоминает потерянных людей. Детских друзей. Просто интересных прохожих. Попутчиков. Красивых, но далеких людей... Всех, с кем, кажется, могла начаться любовь – а мы постеснялись подойти и познакомиться, узнать имя... Я уверена, даже самые счастливые мужчины не забывают таких, оставшихся незнакомыми. И когда я узнала, что вы можете находить мертвых, подумала: а ведь и у вас были такие люди, которые казались. Но не сбылись. С вашей волей...

Она думает, это моя воля.

– Вы сможете заняться собой: несколько раз прожить свою жизнь, ничего не потерять, ничего не отдать. Ничего не оставить, – она говорила мне во тьму и сама сидела где-то там во тьме, а на самом деле звала с того берега реки, через черную воду, она пыталась угадать, заговорить, навести какой-то порядок вокруг и в своей изогнувшейся, беспощадной жизни.

Я убежденно сказал:

– Со мной ничего такого не происходило. Прошлого у меня нет.

Перед сном я вспоминал семиклассницу из города Одоева, виденную мной пять раз – два в поезде и три раза в лагере на черноморской побережье. Темные прямые волосы. Что с ней стало? В каком году мы ездили? Знал ли я ее имя? Она и близко не видела пятиклассника в бескозырке, а может, и видела, казалось, что видела... или не казалось... И девушку из Тирасполя по имени Марина – постеснялся спросить адрес, сама сказала, что живет на улице Ленина – фамилия на «С», в Тирасполе, наверное, можно найти, город небольшой, и в Одоеве... – по старым фотографиям; я помню их третий десяток... буду помнить еще, и поближе к смерти – почему-то

этих людей, которые меня не запомнили... вдруг запомнили?.. Спать не давали часы, я поднялся, снял их со стены и убрал в ящик стола, только лег — под окном назидательно завывла сирена противоугонки, я вспомнил и поискал телефон позвонить Алене.

Мексика

Выезжать в Мексику договорились рано, чтоб поменьше машин, но я долго не ложился, пытался пересидеть Алену: еще поработаю, надо подготовиться. Как только она шевелилась в коридоре в шизофренических перебежках «спальня-ванная-туалет» — когда она ляжет, тварь?! — я гасил пультом слабо охающую эротику по СТС (четвертый раз показывают фильм, уже есть любимые эпизоды, когда она встает с постели и голая пробегает мимо камеры так, что трясется зад, искать парня, что украл бриллианты) и перечитывал, деланно хмурясь, разыскания некоего З.Сагалевича: «Уманский... Один из друзей известного великого мастера еврейской сцены Соломона Михоэлса... Он не дожил до всесоюзной юдофобской кампании сорок девятого. И все же его трагическая гибель в авиационной катастрофе была, как теперь становится ясным, далеко не случайной акцией, а запланированной и осуществленной органами госбезопасности СССР.. Уманский участвовал в митинге на огромном стадионе, проводившемся в честь еврейского антифашистского комитета СССР. Был найден простой выход: нет человека — нет проблемы. По-настоящему скорбела о погибшем только Мексика. На траурном собрании присутствовали все оставшиеся в живых сотрудники советского посольства. Был среди них, конечно, и резидент НКВД Тарасов, полковник, осуществивший, как предполагают, приказ Кремля...» Дебил. Алена уже проверила мои занятия:

– Все-таки, думаешь, самолет взорвали наши?

Полагалось ответить: «Именно это нам и придется завтра установить», но я (уже ночь) промолчал и она вытерпела. Обняла и поцеловала в шею так, что захотелось вырваться: работай, работай, ты просто *говори*, когда хочешь побыть один, просто предупреждай, не уезжай *так*, жизнь словно кончилась, нечем стало дышать, я умирала без тебя – это оказывается так страшно, когда ты не рядом. Она наконец убралась и потушила свет – несколько часов и – тяжелый, грязный день: что мы узнаем? Боишься узнать *все*, и Гольцман не спит в начале Университетского проспекта, сколько нам осталось таких общих дней, ранних поездок? Я побрился, чтобы потянуть время, но она навалилась, как только лег, – опустошить – мало ли я кого встречу в Мексике.

Обеспечив себе спокойное завтра, пометив «мой», она легла головой на мое зарешеченное сердце без обычных ненавистных похныкиваний и потягиваний в смысле «приласкай меня»... Сейчас скажет, а может, чуть потом, а сейчас просто подготовительные работы, ближе к дню рождения, Новому году, показавшемуся ей моему хорошему настроению: хочу ребенка, твоего ребенка, еще одного тебя... Мы же любим друг друга.

– Когда я с тобой, – так давно не слышал ее обыкновенного голоса, – я умею летать. Когда ты во мне, или просто целуешь меня, или просто рядом молчишь и только твое дыхание – мне так спокойно, так надежно – ничего плохого больше нет. С тобой я поняла, что такое любовь, я тебе так благодарна, – ее шепот, – так благодарна. Я могла умереть и не узнать, что можно жить без смерти, стать вечной. Это как чудо – быть любимой. Я хочу целовать тебя всю ночь. Сутками не покидать постели. Я раньше про такое только читала. – *(Ты и дальше про это будешь только читать, и сейчас про это ты только читаешь, так ни у кого не бывает, все врут, услышали в телевизоре и врут.)* – Скажи: ты чувствуешь так же?

Я успел заснуть, перестав ее касаться, отделившись одеялом, когда она неприятным голосом выдохнула над собой:

– Скучно тебе со мной. – И еще сказала или сразу, или я опять успел заснуть: – Ты когда-нибудь был в секс-шопе?

Закончив с «нет, конечно, спи...» (она не спала и, как шизофреничка, почти не мигая смотрела в потолок, навзничь, руки сцеплены на затылке), я прикинул: где-то нашла обрывок упаковки? Или следит за мной? И чуял себя задыхающейся рыбой, увертываясь от рук, – зубная щетка, и я вышел из лифта, вышел из подъезда и, убийственно зевая, двинулся через дорогу к сбербанку, к помигавшему фарами «уазику» с армейской эмблемой на боку сквозь ночь, уже ослабевшую, протекающую, уже не совсем похожую на ночь. Борю уже кто-то взбесил:

– Че мы так рано?! Ты скомандовал? Тут ехать *двадцать минут*... Поплавка видно не будет. Вам по хрену, а дяде Боре за машиной ехать, дяде Боре не ложиться ни хрена. Командиры... – Забрасывал мои вещи через заднее сиденье, за спину подобравшемуся, словно испуганному Гольцману – а может быть, у Гольцмана болит что-нибудь. – Ты донки с колокольчиками взял?! Приду-рок! Да завтра весь форум забьют сообщениями, что какие-то долбанутые приехали в Мисайлово с колокольчиками! С Каширки направо когда?

– Слушай, я не помню точно... Километра четыре там. По-моему – на первом светофоре.

– В-вашу мать! Какой раз едем, и не может запомнить, что на указателе написано! – Пьяный, днем начал и не остановился, не надо брать с собой, но там я не смогу без Бори.

– На первом светофоре под стрелку налево, указатель на Молоково, село Остров, поселок Володарского и до Мисайлово... – Гольцман светил фонариком в записную книжку.

— То ни хрена указателей, то до хренищи... — Боря зло вел машину по свободному МКАДу, матеря каждые встречные фары и припадая к рулю, я успокаивающе кивал Гольцману и подмигивал: видел ли он? — и мерз, и зевал. Съехав с Каширки, мы проехали насквозь деревянную придорожную деревню и покатали по грунтовке, оставив по правую руку поле, разнонаправленно уставленное мертвыми коттеджами из красного кирпича, по левую руку тянулась густая посадка, скрывая озеро или овраг — низину; качнулись — дорога прогнулась вниз, в дыру между деревьев и впереди за сетчатым забором показалась вода — так близко от Москвы; мы не первые, на стоянке три машины и мотоцикл, в будке две заспанные камуфляжные особи выписывали путевку и выдавали связки березовых дров двум начитанным туристам в бейсболках «Челси», туристы привезли кучерявых, пузатых и свитерных жен — те грузили в лодку мангал. Гольцман пошел тропинкой за коптильню в туалетную будку, я оглядывался: ничего не изменилось? На плоту (с плота кормили рыбу) шевелились тени и передвигали какие-то ящики, в воде будоражаше плескалось — я всматривался: где? На том берегу уже дымил костерок и невидимые ловцы забрасывали с тонким посвистом снасти, на стоянку заворачивал джип. Боря, наряженный в безрукавку на бобровом меху и тирольскую шляпу, ткнул невесть откуда взявшейся черно-деревянной дрожашей трубкой в фотографию на стенде:

— Смотри, идиот! — На фотографии неизвестные веселые морды держали обхватом золотистое чудовище, как бревно, и заорал: — Что ж ты не сказал, что здесь теперь сазаны?! Где у меня леска ноль пять и поводок с капроновым шнуром?!

Туристы брезгливо оглянулись и, отдав деньги, нагнулись к камуфляжной особи:

— Командир, уважаемый... А вот тут написано, что пятнадцать кило рыбы входит в стоимость путевочки.

А то шо сверху — карп по шестьдесят рублей кило, а белый амур по соточке — что: взвешивать на выходе?

— Ты сначала поймай, чайник! — посоветовал Боря, и навьюченные туристы после мгновений гневного сопения убралась вниз, на причал, и оттуда со скрипом отвалила лодка.

Боря переместился к стенду «Насадки животного происхождения»:

— Умерщвляют кузнечика легким ударом по голове. Ножки и крылышки отрывать не следует. Понял?! — Он все время орал, просто не останавливался.

— Шестой коттедж. Заказ на Миргородского.

— Ага. Есть такая бронь. Оплачивайте и ждите лодку.

В лодке Боря заткнулся, словно из него вынули аккумулятор, — пролез первым и уселся на носу и что-то не стесняясь утирал из-под очков — мы с Гольцманом устроились на корме лицом к черному плащу, к перевозчику, пареньку-азиату, тот греб, часто оглядываясь, высывая плоскую морду из капюшона, чтобы не махнуть мимо дальнего причала под цифрой 6 — двух досок на кольшках, — там, где озеро сужалось, мелело и на заболоченном берегу суховато шелестели высоченные сивые камыши, по воде плыли семена и хотелось, как когда-то, опустить руку в текучую воду и раздвинуть пальцы кленовым листом. Перевозчик бросил грести, обождал и зацепил причал когтистой рукой и подтянул, разворачивая лодку, причаливая боком, взглянул на нас: все. Мы полезли.

— Отец, — схватил Боря перевозчика за плечи, жадно оглядывая. — Запомни — Борис Антонович Миргородский! Псевдоним Марио. Шарикоподшипниковская, восемь. Квартира семь. Повтори! Передай командованию части семьдесят пять тысяч триста пятьдесят шесть... Будучи окружен противником, я... Нет! Отставить. Магазин «Рибок» на площади Восстания, спросишь Аллу... Передай: он любил вас... И больше ни слова, слышишь? Нет! — И спрятался за ладони. — А старики

родители? А иждивенцы до двенадцати лет? Бо-оже...
Передайте: я болел за «Локомотив»! *Красно-зеленая кровь*, — отмахнулся в отчаянии и косолапо полез следом за нами, сильно раскачивая лодку.

В домике Гольцман потрогал радиатор: не топят — трогал, узнавая, деревянные стены, оконное стекло, опустился на кушетку и жалко взглянул на меня. Ему не хочется переодеваться. А что это изменит?

— А ничего, что окна пластиковые? — кружил за спиной дежурного Боря, дежурного только разбудили, он забрасывал на шкаф свернутый матрас и открыл окошко проветрить кислятину. — Я видел телепередачу: от пластика даже мухи дохнут, — и уселся разуваться, придерживая бок — потащит, что ли, с собой трубку?

Дежурный вышел покурить. Я видел из окна: поплекался под рукомойником, отлил под елками, где в прошлом году перли из земли маслята. Торопливо, с Борей наперегонки, я разделся до трусов и влез, выбирая нужное из барахла, кучей вываленного на пол, в темно-синие бриджи с малиновым кантом, исподнюю рубаху, темно-синюю однобортную тужурку — сверкнули серпомолот и эфес меча на рукаве — и перед зеркалом нахлобучил фуражку с крапивным околышем и малиновым кантом. Боря не отставал и набросил поверх формы шерстяной серый плащ-реглан и прошелся взад-вперед, грозно посматривая в зеркало — и все так же придерживая что-то на боку.

— Можно я не буду переодеваться? — взмолился Гольцман.

— Хотя бы плащ и фуражку. Иначе нас не поймут.

— Газетки нет с кроссвордом? — дежурный вернулся и устрашающе зевал. — А на том берегу уже карпов таскают... — Он подошел к зарешеченной лифтовой шахте и ткнул в кнопку, лебедки взвыли, канаты поползли, и тишины уже никогда... — Да бросайте вещи так, я на месте, если выйду — запрю. До сколько у вас? До четырнад-

цати ноль-ноль. — Он для вида полистал путевку; повалится спать, как только проводит, скотина, а должен сторожить, на случай... Выйти бы глянуть: рассвело? Но держит чужая одежда, швы, тесные прикосновения ткани, права не имею, я служу. Боря метался, как загнанная крыса, делая вид, что изнашивает форменные ботинки, Гольцман водрузил фуражку на седые кудри — а мог бы подстричься, ведь *знал* — и странно вырос, выпрямился и вдруг взглянул в меня пустым, сильным взглядом — вот таким он был, такими они были, майоры госбезопасности...

— Давай, давай... — подгонял дежурный лифт. — Ну, давай-ай...

И все равно — вздрогнули, когда показалась допотопная дырявая крыша лифтовой кабины, выросла, подравнялась и с грохотом остановилась. Решетчатая дверь (всегда я запоминаю черную круглую ручку), деревянные створки — бегом, словно в игре, и надо первым успеть, словно может уехать, и Боря, придерживая рукой бок, и Гольцман — в освещенную коробочную тесноту, на истоптанный линолеум. Почему так спешим... Надо вспомнить, подумай. Работники посольства, служащие аэродрома, чтобы...

— Ты там нас откопай, если что! — крикнул с детским стеснением от дерзости Боря дежурному и, извиняясь, мне сморгнул: да ладно тебе...

— Поехали. — Деревянные створки сошлись посреди, зарешеченная дверь, и, глядя куда-то вверх, словно высматривая команду в небе, дежурный — нажал... и я зажмурился, словно мы сорвемся и упадем, долго и страшно пролетев в пустоте. Человеческий утренний свет коротко мигнул и пропал, мы без задержки опускались внутрь земли в зыбкой горсти дрожащего электрического сияния, равномерно мигавшего, отмеряя время или глубину. Боря, будто вспомнив забытое, поерзал, опять прижимая бок, а потом ни на кого не глядя выгудил из-под плаща пистолет ТТ с рифлеными деревянными щечками на рукоятке и поместил в брючный карман.

— Зачем ты взял?! — я хватанул Борю за плечо (кабина качнулась), пихнул в стену: пьяная тварь! размозжить эту костлявую близорукую падаль! — Я же сколько раз говорил! Ты нас всех там оставишь!

— Да па-шел ты! — Боря отпихнул мои руки и поправил фуражку. — Дядя Боря знает, что делает. Прошлый раз ты тоже говорил, а если бы дядя Боря поехал с пустыми руками? Не ори, понял? Я старше тебя по званию. Псих. Дебил! Сволочь!!!

За стенами кабины перестали ползти краснокирпичные своды, теперь, светлея и темнея, шершаво мелькала глина и порой на стекло брызгала и сочилась вода — мы опускались на дно, и говорить уже не о чем, тошнило, дрожали экзаменационно колени и ньюло, как перед дракой, в животе; еще опускаться долго, я знаю, и нельзя думать, *как* глубоко и как легко сдвигается земля — может сдвинуться следом; мы опускались, мигал свет, я замер, сжался, уснул, перестал слышать, я уже кончился — мне жалко чего-то? — посреди глубокой воды, в пустоте я перестал грести и обернулся на берег, чуть приподнявшись, опершись на плавник: ничего не жалко, себя не жалко, можно уходить, не болит; кабину стало потряхивать, и она с хрустом остановилась, едва заметно перекосившись, я успел подумать: застряли, поймали нас пружины, хотя уже слышал наружные голоса: Мексика. Боря, пытаясь начать первым, опередить еще невидимых, толкнул кулаками деревянные створки и впустил паровозное пыханье и резкие железнодорожные гудки (вот и пришлось вспомнить: с детства боюсь, видно, шел однажды мимо отцовского депо и вдруг за спиной...) и жаркий, не наш воздух — но я смотрел только на чужой синеватый асфальт, под ноги, на Борины шагающие каблучки, не разбирая смысла в гомонящих голосах, — нет неба... Мы вышли под перепончатый вокзальный неохватный куполом на асфальт, прорезанный канавами железнодорожных парных путей, к тупикам — не оглядываться на лифт, никто не должен понять, что мы отступим отсюда. Боря хмуро кивал очкарику с краси-

вейшей каштановой шевелюрой — высокий парень в теплом рыжем пиджаке с накладными карманами, сероватый, как с пепельной фотографии, склонился к Боре, сжав в руках блокнот и чернильную ручку, однообразно, словно задавая один и тот же вопрос, Боря набычился, вслушиваясь — другим, стальным куском, и я расправился, и вырос: ну что, твари? — правда сыщется, и вера не напрасна. На платформах стояли люди, битком, почти не видно асфальта — столько людей, тепло одетые по жаре, шляпы, шляпки, пальто, дети на руках, бегающие дети, горы чемоданов и узлов... Я косился на старую одежду, на незнакомые, несуществующие, давно исчезнувшие впалощекие лица, чтобы не глядеть на детей, — кричали, лопотали только дети, а оставшиеся, выросшие люди кричащими глазами смотрели на наши плащи и фуражки, с трудом освободив нам место — пятно пустоты, пятясь от каждого нашего шага. Пыхтели паровозы с железными нерусскими номерами и серебряными профилями на чумазых мордах, какая-то тварь вразнобой запускала гудки и сирены — паровозы стояли на каждом пути, уткнувшись в тупики, без вагонов, между рельсов я не заметил голубей, мусора и травы — образцово тут, только асфальт и вытравленная мазутом земля. Я вставал на носочки (и ближняя часть толпы с неясным охом оглянулась: куда он...), но так и не увидел, есть ли выход рельсам, уходят ли наружу? перепончатая стена глухо опускалась и смыкалась. Чего они ждут? какого хрена собрали их? — мы приклеились к Бориной темно-синей спине, Боря слушал очкарика, не снимая руки с брючного кармана, и с неприятной grimасой озирался на толпу, людские стены, на дюжину встречавших близнецов в плащах, обнаживших головы, стоявших тесней, решил и украдкой показал парню на свое ухо: *не слышу*, надо куда-то отсюда; и парень горячо закивал и шлагбаумом выставил длиннющую руку — в подземный переход. Боря (как ему не хотелось упускать лифт из вида) осторожным шагом двинулся по ступенькам вниз, с нами штатские еще... одни мужчины, они взволнованно взглядывали в наши

лица, кивали и делали какие-то знаки, словно не умея по-русски. Я смотрел только вперед и слушал, как гудят паровозы и пыхает пар, коридором мы прошли, убыстряясь до решетчатой двери, в каморку, где письменный стол и пара табуреток и портрет незнакомого человека — кто это? Уже ясно: парень говорил по-русски, уже проступали отдельно знакомые слова, только не складывались во что-то знакомое в целом. Боря вдруг — стоп! — и резко повернулся к сопровождающим:

— Так, товарищи, время ограничено. Давайте-ка без лишних. Кто у вас тут, э-э...

— Посол Капустин. Я сменил товарища Уманского, — выдвинулся безлиций человек. — Персонал посольства, те товарищи, что...

— Прошу, — показал ему Боря в каморку. — Остальные! Не расходиться! — и Боря особо посмотрел на очкастого парня. Тот уже молчал, но с восторженным трепетом встречал каждое Борино движение, любуясь, как развевается его плащ, как ладно сидит фуражка... Посол с готовностью опустил на табуретку, выпучивал глаза и потирал руки, на него невозможно было смотреть — кожа, встречавшая Борин взгляд, начинала шевелиться, пухнуть, открывая дышащие поры, лицо размазывалось и дрожало. Гудки долетали и сюда, подгоняя: время. Боря вздохнул, прошелся за спиной посла и подчиненно зыркнул на Гольцмана: вот кто здесь задает вопросы и решает, кому жить; сам встал боком у зарешеченной двери, следя, чтобы оставшиеся не уходили и не приближались.

— Товарищ Капустин, — голосом карандашной точилки, словно заводя ключом прыгающую лягушку, произнес Гольцман. Он не торопился: прокопаем, насквозь, песок просеем. — Оперативная группа Главного управления государственной безопасности НКВД, четвертый отдел...

Александр Капустин с глубокой благодарностью, с облегчением кивнул «наконец-то», возможно, он и вправду знал, чем занимается четвертый отдел ГУГБ.

Вопрос: Товарищ Уманский не дожил до всенародного торжества победы над фашистской гадиной и убит на своем посту нашими врагами. Советское правительство приняло соболезнования правительства США и президента Мексики в связи с авиакатастрофой, но это сделано лишь для того, чтобы облегчить нашу с вами, товарищ Капустин, работу... Установить и жестоко покарать врагов. Вам предоставили в министерстве обороны официальные результаты расследования?

Ответ: Да, картина открывается следующая: самолет взлетел в Коста-Рику примерно в пять тридцать и взорвался через четыре минуты, развалившись на две части. Взлет происходил сразу за другим самолетом... Пробег как в учебнике пилотирования — на две трети полосы. Погасли сигнальные огни на крыльях, что происходит при отрыве от земли, пилот убрал шасси. Эксперты считают: набранная скорость составила сто сорок четыре километра в час, высота восемь-десять метров. Полет продолжался полминуты. Примерно двадцать пять секунд.

Вопрос: Что показал осмотр места происшествия?

Ответ: Следователи министерства обороны нашли кусок колючей проволоки, намотанный на фюзеляж. Также сбиты и повалены несколько столбов ограды. На земле, внутри аэродромного ограждения найдены следы лопастей винта — метров семьдесят примерно самолет ковырял землю одним винтом, а потом небольшое расстояние — другим.

По расстоянию между метками установлено, что мотор работал в полную мощность. Следы продолжились опять в ста шестидесяти метрах за оградой и найдены на протяжении девяноста трех метров — там самолет загорелся и взорвался. Установлено: при падении самолет разорвало пополам в районе грузового отсека. Баки с горючим правого крыла разорвало, бензин вытек, воспламенился, пламя охватило левое крыло, и баки левого крыла взорвались. Официальное заключение: ошибочный расчет в пилотиро-

вании. Видимо, пилот решил уменьшить угол подъема для быстроты набора скорости и в темноте потерял ориентацию. Электрическое освещение на аэродроме не действует уже около двух лет в связи с реконструкцией — но по краям взлетно-посадочной полосы горели керосиновые бакены на расстоянии тридцати метров друг от друга...

Вопрос: Кто проводил осмотр тел?

Ответ: Судмедэксперты министерства внутренних дел. Останки складывали в большие корзины и вывозили. Сильнее всех обгорела Раиса Михайловна Уманская. Ее опознали по обручальному кольцу на пальце. В ее сумочке нашли револьвер и шестьсот долларов. Также газеты отмечали, что среди обломков обнаружены флаг СССР, пластинки советского гимна и вот еще, я выписал: «Мундир т. Уманского из тонкого сукна, отделанного золотом, лежит теперь среди трупов, как совершенно ненужный предмет туалета...»

Вопрос: Есть результаты вскрытия?

Ответ: Товарищ Каспаров, исполнявший обязанности посла, заявил: советская сторона против общего вскрытия трупов. При прощании погибшие находились в закрытых гробах.

Вопрос: Плохо, товарищ Капустин. Как же так?

Ответ: Я прибыл в Мексику, когда...

Вопрос: Да все мы знаем, когда прибыли, что делали... Об этом обязательно поговорим. Мы хотим опросить сотрудников посольства, провожавших посла на аэродроме, тех, кто видел падение самолета, и особенно г-жу Тройницкую, находившуюся на борту...

Ответ: Выжил также член экипажа — бортинженер младший лейтенант Моралес. Погибли командир корабля капитан Веласко Керон...

Вопрос: А у нас написано Серон...

Ответ: Может быть, что-то с переводом. Погибли капитан Мартинес, младший лейтенант Гусман, сержант радист Роман...

Вопрос: Сотрудники резидентуры опросили мексиканцев, находившихся на аэродроме?

Ответ: Да. Показания противоречивые. Ничего определенного, все пересказывают слухи. Что самолет взорвался от курения на борту. Что перед вылетом по чьему-то приказу заменили сиденья в пассажирском салоне. Кто-то видел, что в самолет поднимались подозрительные лица и грузили ящики в хвостовую часть. Будто механик заявлял о неисправностях, а пилот разомкнул систему основного зажигания... Что самолет заменили в последнюю минуту на другой. По каждому факту мы проводили проверку – ничего не подтвердилось. Самолет предоставил специально для товарища Уманского президент Мексики – С-60-01, американского производства, новый, в прекрасном состоянии, загрузка в норме – поднимает восемнадцать парашютистов с полной выкладкой, а пассажиров летело девять. Накануне самолет испытывали на земле и в воздухе летчиком Кероном – у него большой опыт ночных полетов и полетов вслепую, общий налет 3755 часов, ни одного взыскания, товарищ майор госбезопасности. День отлета хранился в строжайшей тайне. Даже прессу не приглашали. Для безопасности готовились к вылету два одинаковых самолета. Ночью самолет охраняли усиленным армейским караулом...

Вопрос: Сколько человек охраняло самолет? Они имели возможность заходить внутрь?

Ответ: Восемь солдат восьмого пехотного батальона. К самолету они не приближались – на борту дежурили два аэродромных механика, по очереди, сменяли друг друга каждые два часа...

Вопрос: А посла Уманского убили! ^{!!!} Наших товарищей троцкисты сожгли!!! Что вы нам пересказываете эти благодусные... Прекрасный пилот! Исправный самолет! Надежная охрана! Кому верите? Как может большевик верить врагам?! Нужны факты! Обгоревшие

тела коммунистов — это факты. Радость наших врагов — это факт, и ваша слепость, — песчано дребезжал Гольцман, поглядывая на скучающего и напряженного Боря, — факт! Вот из этого придется делать выводы. Так, Капустин?

Ответ: Хочу дополнить: товарищ Уманский настаивал, чтобы с ним летел посол Коста-Рики. А тот отказывался под разными предложениями. И согласился только под сильнейшим давлением. Я проверял: его машина действительно подъехала к аэродрому в четыре тридцать, но вернулась домой. Посол объяснил: его ввели в заблуждение, сообщив, что Уманский уже вылетел. Проверить эту информацию мы не смогли...

— Вот это факт! — Гольцман взглянул на меня.

Вопрос: Товарищ Капустин, вы сказали — самолет посла взлетал сразу за другим самолетом. Что значит «сразу»?

Ответ: Не могу сказать, все говорят: сразу, в опасной близости... Произошло это потому, что вылет Уманского по неизвестным причинам задержали.

Вали. Капустин неслышимо переставлял ноги, Боря направлял, как слепого, короткими тычками два раза подпихнув в бок, — Капустин не обернулся и не ускорился.

— Кто провожал товарища Уманского на аэродроме? Повторить вопрос? Отойдите и станьте отдельно... Быстро! Имена и должность, слева направо, — Боря заглянул к нам. — Секретарь посольства Каспаров, помощник военного атташе Павлов и дипкурьеры Исаченков и Мельников...

— Мельникова!

Боря зашептал, я отмахнулся: *помню* — не дипкурьер, Коган его фамилия, НКВД. Боря тогда прошептал другое:

— Поменьше романтики? На хрен вам наши? Потрошим мексиканцев и уваливаем на хрен... Вы что, собрались убийство Кеннеди здесь расследовать?!

Вопрос: Товарищ Мельников, мы читали ваше сообщение в Москве, но необходимо уточнить... Уточните: сжато. Вы приехали на аэродром...

Ответ: Мы приехали.

Вопрос: Проводили...

Ответ: Проводили...

Вопрос: И что, твою мать... Что ты видел, сам?!

Ответ: Темно очень... В темноту отрулил самолет...

Вопрос: Еще там другой самолет взлетал.

Ответ: Взлетал. Какой-то. А мы заказали по чашке кофе в баре, прямо там, окна на взлетную полосу. Бармен не успел разлить, как-то *особенно* сирена завывала. Я выглянул – окно широкое: вдали как костер, только большой... И всех пронзила страшная догадка. Мы побежали на зарево. Там ограждение с колючей проволокой вырвано, два железных колышка таких – вырваны... Самолет – на две части. Передняя часть, там, где наши, советская делегация, – настолько сильно полыхала, что не подойдешь... Час тушили. Еле опознали. По пуговицам буквально.

– Врет. Не бегал туда, – тихонько сказал Гольцман. – Товарищ Коган, как вел себя Уманский при вылете?

Ответ: Обыкновенно вел, товарищ майор госбезопасности. Жена, Раиса Михайловна, очень нервничала.

Вопрос: А что ей бояться? Три океана перелетела – не боялась, а тут сорок минут в Коста-Рику...

Ответ: Сказала: ах, Костя, вечно таскаешь меня с собой. Когда-нибудь мы угробимся.

Вопрос: А он? Что он ответил?

Ответ: Раечка, и я, и ты, мы потеряли самое дорогое. Но сейчас идет война, погибли и гибнут миллионы людей. И наше, личное горе, мы уже перенесли, а ты: что будет с нами?

Вопрос: Как же вы так запомнили, товарищ сержант? Длинная фраза...

Ответ: Я записал тем же утром.

— Все врет. Ничего не слышал. «Раечка... Костя... Наше личное горе...» Потом придумал. Видно, долго жил и на пенсии придумал, внукам рассказывал, чтобы уважали, — также прошелестел Гольцман. — Про дочь, Нину, не говорили?

Ответ: Вроде нет.

Вопрос: Фамилия Петрова вам знакома? Анастасия Владимировна Петрова.

Ответ: Вроде не припоминаю.

Вопрос: Почему вылет задержали? Почему вылет задержали? Просыпайся, милый!

Ответ: Я сам не видел. Но... Офицеры мексиканские видели... Когда все поднялись на борт и запустили двигатели — все заглушили, из самолета вышел человек, мужчина.

Вопрос: Из состава советской делегации? Кто именно? Сам Уманский?

Ответ: Не Уманский. Кто — они не знают, в лицо знали только Уманского. Мужчина в черном пальто. Побегал в зал ожидания. И его долго не было. А потом вернулся, тоже бегом. И самолет порулил на взлет... Вот что задержало.

Вопрос: Вы уверены, что в самолет вернулся тот же мужчина, что выходил?

Ответ: Я сам ничего не видел, товарищ майор.

— Иди, занимайтесь по плану.

— Товарищ майор госбезопасности...

— Говори.

— Вы пароль не назвали.

— Пароль, товарищ Коган, — Гольцман, по-жабьи не мигая, страшно распухал за столом, — дан вам Инстанцией для осуществления связи при выполнении вами полученных заданий, а мы проводим специальные мероприятия, цели и задачи которых... Вам ясно? Не слышу. Товарищ Миргородский, готовьте Тройницкую и мексиканца из экипажа, что выжил... Как его?

— Пароль, — с отчаянием попросил дипкурьер.

— Младший лейтенант Моралес, — крикнул я Боре, вскочил и хлопнул дипкурьера по тряпичному, кукольному, набитосоломенному плечу, — свободен.

— Пароль!

— Почему никто не идет?! — заорал я, и Боря перекошено заглянул в наши покои, я ударил курьера в висок, тот повалился со стула, но сразу же приподнялся на четвереньки — молча, даже не вскрикнул, словно началось что-то хорошо известное ему. Я ударил ногою в бок, и еще! морщась от ненависти к себе, в податливую! мясную! сущность... Мельников-Коган повалился, подтягивая колени к голове, по щекам его стекали слезы, правая рука умоляюще всплыла, показывая увядшие, словно перебитые пальцы, но он молчал, истекая лишь сиплым дыханием, — я ударил-двинул еще, не глядя, спеша до первых слов, до сострадания, Гольцман, громыхая ящиками письменного стола, вываливал наружу чужой мусор...

— Веребочку ищите, Александр Наумович? — Боря подпрыгнул с весело-изумленным видом. — А вы ремешок снимите с него. Вы боевики смотрите? В рот носки напхайте. Да хватит его бить, служивый! Уходим!

— Нет! А Тройницкая?!

— Будущая старушка наверху! Мексиканцы и товарищ Тройницкая наверху. Боятся спускаться. Люди, собравшиеся в земле, требуют, чтобы мы поднялись. Хотят поприсутствовать. Видеть и знать. Скорее!

Почти бегом мы бросились к лестнице, к паровозным гудкам, к застекленной духоте: видеть и знать — покажем! Я оглянулся: двое в шляпах остались у зарешеченной двери и как дети тыкали внутрь комнаты пальцем, но не заходили и воровато оглядывались: мы уже далеко? Гольцман не отставал, и не забыл придержать распахивающийся плащ, и споткнулся на первой же ступеньке; людей словно прибавилось и потемнело, как нахмарило на дождь, я смотрел в сторону

лифта — расступятся? Боря сложил руки рупором, вырос на голову и прокричал:

— Товарищи! Мы из Москвы! — и пьяно приобнял высокого в рыжем пиджаке — очкарик так и таскался за нами с блокнотом. — Ты кто, друг?

— Переводчик посольства, Гончаров Павел Львович, — взволнованный лопот, чуть не выронил блокнот.

— Годится, земляк! — расплылся в широченной улыбке Боря. — А есть ли здесь молодцы-гвардейцы из восьмого пехотного батальона? Кто охранял самолет покойника? Да не суетись, Паша, всех не надо, только ближнего!

Переводчик сбегал в толпу, вокруг него водоворотом стянулись затылки, поднялся неясный пчелиный гул, и вернулся с добычливым видом:

— Самолет непосредственно охранял Хосе Гудинос Эррера, — и помахал вырванным листком. — На следующий день после катастрофы дезертировал из армии.

— Молодец! — похвалил Боря. — Ловко. Спроси-ка, один Хосе этот убежал?

— Нет. Еще двое из того караула, — переводчик пытался вытягиваться «смирно» при ответе и едва сдерживал горделивую улыбку. — Дезертировали по причине тягот караульной службы.

— А механики, что дежурили в самолете, есть? Ну, пусть выйдет один. Иди, да иди, не бойся. Как звать?

— Его зовут Альфонсо Бака Эрнандес, — переводчик вывел осторожно вперед невзрачного паренька с качающейся головой. — Двадцать два года.

— А скажи-ка мне, Бака, механик, — Боря почему-то обернулся и подмигнул Гольцману, — как вы дежурили с другом не Бакой. Сперва ты два часа, а потом он два часа. А потом ты два часа. А потом он два часа. А потом ты, Бака. Или по-другому как-то?

Переводчик с ходу переводил, заметно гордясь, что с первого звука уловил Борину мысль, и рисовал что-то

механику на своей ладони — механик пожал плечами и что-то неслышно сказал.

— Оба спали всю ночь, — воскликнул переводчик. — Признает.

— Что бы я делал без тебя, Пашка? — удивился Боря и счастливо расхохотался, я озирался на подступающую, обмякающую толпу, Гольцман утирал с мертвого лица пот. — Придется рассказать про тебя в Москве товарищу Сталину. А вот это, что вот это за энтузиаст? — Боря потешно передразнил совершенно черного малого, пробиравшегося с по-школьному поднятой рукой сквозь уже поголовно улыбающиеся передние ряды — местные хлопали в ладоши и горланили по-своему, протягивая нам руки, я нелепо и заискивающе улыбался в ответ, не даваясь потрогать. — А тебе что, *мой мексиканский друг?*

— Рамон, — сиял переводчик, — племянник второго пилота капитана Мартинеса, что погиб. Хочет рассказать, что видел.

— Ну расскажи, просим, просим, — Боря вдруг опустился на корточки, и черный Рамон также присел, и переводчик присел третьим и переводил, потряхивая гордыми каштановыми кудрями и рисуя на асфальте пальцем извилистую линию:

— Он водитель. Находился на аэродроме. Рамон видел: самолет взлетел. Близко от другого самолета. Следом. Сигнальные огни хвостового оперения удалялись. А затем эти огоньки начали постепенно снижаться. Снизались. И раздался взрыв! Взметнулось огромное пламя. Все побежали. Провожаящие, работники аэродрома. И он бежал. Когда добежал — самолет горел весь, не было возможности подойти. И очень сильно пахло горелым мясом.

— А пожарные? — делано, будто разыгрывая сценку с ребенком, удивился Боря. — «Скорую» не вызывали, Красный Крест?

— Санитарная машина с огнетушителями выехала сразу, но застряла в кучах гравия и канавах — на аэродро-

ме ведутся ремонтные работы. Вот тут еще подошли младший лейтенант Моралес и госпожа, — переводчик сверился с блокнотом, — Мириам Л.Тройницкая...

— Мириам Л. — Боря разогнулся, изнеможенно вздохнул, будто что-то его огорчило, и слабо позвал: — Где ты, сестра? — Костлявая женщина в криво прищепленной на рыжеватой прическе шляпке неуверенно переступала на месте, словно терпя нужду, — сияющий переводчик подпихивал ее ближе, младший лейтенант Моралес, похожий на индейца с вырезанным белыми языком, с достоинством нянчил загипсованную руку. Боря страшно закатил глаза, задрал морду и, поблескивая белками, шипел, клешнями расставив руки: — Пусть ее подведут поближе... Я же чую, что она где-то рядом... Кровь. Родная кровь... — Тройницкая (переводчик бормотал ей ободряющее) протянула свою руку, защищенную поношенной перчаткой, и Боря цепко схватил ее так, что женщина охнула. — Мириам Л. Кто же обозвал тебя так, милая девушка? Ты же не такая! Я не верю. Ты же какая-нибудь там Марина Леонидовна или Мария Львовна, — с нарастающим гневом накатывал Боря. — Кто ты?!

— Я... Я не знаю, — Тройницкая тянула руку к себе, но Боря не выпускал. — Я не знаю, что сказать. Записали так.

Боря бросил ее, вытер руку о плащ, вытянулся и провел ладонями по лицу, вернув глаза на место, поправив фуражку, и все увидели: офицер плачет — ближние ряды замолкли, дальние еще гомонили, паровозы не уставали гудеть, торопя или собираясь, и детей не могли унять...

— Вот ведь как получается, товарищ майор государственной безопасности, — выталкивал Боря из себя, как только перехваченное рыданиями горло немного отпускало. — Что же мы можем доложить народному комиссару внутренних дел Советского Союза? Пятнадцатилетняя девочка убита на мосту неизвестными лицами. И может, даже беременная... — И Боря заплакал в голос, утопив в морщинах глаза

и колыбельно раскачиваясь, как над гробом. — В самолет заносятся взрывные устройства... Подкупленные сторожа спят... Вражки пособники часовые сбегают... Человек в черном пальто выходит из самолета, намеренно задерживая вылет... Посла Коста-Рики, собаку, кто-то предупредил не лететь... «Скорой помощи» и пожарным перекопали дорогу... А наши товарищи... — Он не смог больше говорить и с минуту скулил так, что плечи тряслись, выпуская какое-то подышающее шипение «хы-ы-иии», и дальше, чуть собравшись, отдышавшись уже, говорил не губами — горлом, нутряным, слабым, шатким старушечьим голоском: — Наши товарищи заживо *горят*, — он запрокинул ослепленное, залитое слезами лицо в небо, докладывая туда, — и сильно пахнет горелым мясом. И никто не понимает по-русски. — Боря кому-то кивнул, всхлипнул, медленно отвел в сторону правую руку с пистолетом и выстрелил, коротко глянув, присевшему от ужаса переводчику в лоб.

Я успел вытянуть руку... не успел... упал на колени, зажмурился, и покатила фуражка, смотри, тварь! — мексиканцы с воющим ужасом, словно разметенные взрывом, брызнули прочь, валясь навзничь на напирających сзади, выпрыгивая, с бешеной суетливостью продираясь, укрывая ладонями детские затылки, спрыгивая на железнодорожные пути, забиваясь под платформы, молча... от топота копыт... дальние кричали от невидимого страха с усталой интонацией зарезанной свиньи — серой опухолью рос вокруг нас пустой асфальт, я, вот я — что?! Гольцман с совершенно мокрым, терпеливо страдающим лицом держал обеими руками беззвучно, издыхающе визжащего младшего лейтенанта Моралеса, расчетливо вцепившись что есть сил в переломанную, загипсованную руку, я не выпускал вырывающиеся руки Тройницкой — она елозила каблуками по асфальту, пытаясь подалее отползти, потеряв шляпку, раскосматив рыжую волосню, и повторял, не слыша себя от воя и гудков:

— Не бойтесь. Сейчас все кончится. Сейчас вас отпустят. Не бойтесь, женщина, — а сам не мог не смотреть на дрожащие мелкой дрожью ноги переводчика в рыжих брюках — он успел прихлопнуть руками кровавую нашлапку на лбу и лежал, приклеившись затылком к кровавому сургучу, и застывал (ничего не слышу, я его не слышал, убрали звук), только мелко передергивались семенящие ноги, а руки так и держали лоб, словно вспомнил он что-то вдруг, да кровь выплевывалась из пасти равномерными, но разнообъемными толчками. Боря расстегнул плащ и, потрясая пистолетом, грозя вскрикивающим от каждого его движения далеким прячущимся людям, ревел:

— Теперь все понимают по-русски?! Мы покарали провокатора! Троцкиста! Фашистскую гадину! Чекисты на посту... Где? Где эта живучая тварь?! — и одним прыжком перелетел к забившемуся Моралесу. — Кто ты? — и тихо погладил его по волосам. — Давай поговорим. Присядем на краешке. Ты меня прости. Я тебя забуду.

— Не надо!!! Мне тридцать шесть лет. *Я ничего не видел!*

— Не вой! По делу!

— Меня посадили со вторым пилотом. В салон, на задние сиденья для равновесия, — Моралес выставил перед собой трясущуюся растопыркой ладонь, закрывая лицо, приплясывал, приседал по-боксерски вокруг Бори. — У второго пилота избыточный вес... Но я сразу почувствовал *легкий крен вперед*, а потом левое крыло высекло искры из столбов ограждения...

— Это я понял, — схватил его за больную руку Боря и дернул вниз! Моралес взвыл и застыл с разинутой пастью. — Видишь, больно как, — и весело оглянулся на меня; я встал и подтащил за собой заверещавшую в сто крат сильнее Тройницкую. — Кто проверял багаж?!

— Багаж укладывал командир корабля. Своими руками. На рассвете, когда пробовали мотор. Двадцать минут грели. При первом ударе все пассажиры издали отчаянный вопль ужаса! Пилот инстинктивно потянул ручку управления на

себя, поднял самолет и ударился уже правым крылом об ограду, самолет еще потянулся вверх, накренившись на правое крыло, как будто делая правый вираж, а потом уже скользнул быстро вниз... Пассажиры опять закричали — самолет тащился, волочился, чертил по земле правым крылом — это были душераздирающие крики...

— Что они кричали?! — словно не дослышав, словно переспрашивая... Боря... с напряженным лицом... словно готовился что-то сделать сразу после *любого* ответа...

— Я не знаю! *Я же не русский!*.. Как болит рука... *жалости!!!*

— Скажи ты, женщина, — позволил Боря Тройницкой и посмотрел в сторону, далеко, чтобы та не видела его глаз.

— Я услышала шум! — Тройницкая визжала, но *слышала*.

— Это удары пропеллера о землю!

— Ты молчи, — Моралесу. — Дальше.

— И резкий хлопок. Я сказала громко: что это? И никто не успел ответить потому, что раздался — взрыв! Все разом закричали. В самолете началась страшная паника. Самолет как-то повернулся и воткнулся в землю. Взлетел и — опять упал на правое крыло. Я сидела в обломках, в горящем самолете, одна... И увидела убегающего мужчину, закричала: *помогите!* Он даже не повернул головы.

— Так, Моралес? — словно удивился Боря. — Мексиканские военно-воздушные силы? — и легко крест-накрест ударил мексиканца пистолетом по лицу.

— Нет! Не надо стрелять! Женщина в шоке! Она не помнит! После удара фюзеляж разорвало, кругом одни тела, пол накренился, и я пополз, поддерживая сломанную руку, и слышу: жалобно кричит женщина. Она застряла между сидений — я не мог помочь ей — сломана рука, я как мог ногой вытолкнул ее в дыру, она вывалилась и упала среди обломков правого крыла. И, видимо, потеряла сознание. Я сам еле выбрался следом, левая нога

застряла между труб, крыло горело, у меня ожоги лица, левой ноги и руки, что сломана, но правой рукой я оттащил ее от самолета... Я же ее спас! А потом началась стрельба. Взрывались патроны пистолетов экипажа. Пятьдесят штук калибра сорок пять. А потом взорвался бензобак. И трупы взлетели на воздух.

— Трупы?! А может, кто-то еще был *жив*? И ты их не вытащил! — перекрикивая в себе что-то, надрывался Боря, жадно оглядывая Моралеса — куда? что?

— Я не слышал больше голосов.

— Верить тебе, младший лейтенант? Вылет задерживался? Кто-нибудь выходил из салона после посадки?

— Я не заметил. — У Моралеса тряслись колени, руки, дергался рот, он закрывал глаза, словно засыпая, — но держался поближе к Боре: так надо, он здесь — и показывал: *очень болит рука*.

— Тварь! А ты, Мириам Л.?

— Когда м-ма-ма-мат... рас-с...

— Говори!!!

— Когда... моторы завелись... Раиса Михайловна Уманская... повернулась на сиденье и начала что-то искать под ногами.

— Где она сидела?!

— В передней части. Там меньше укачивает.

— Что она искала? Может быть, она просто что-то заметила под сиденьем?

— Она повторяла: где? где?

— Что делал Уманский?

— Константин Александрович помогал искать.

— Небольшая какая-то вещь... Но принадлежавшая именно Раисе Михайловне. Интересно!

— Начал помогать военный атташе Вдовин. В самолете ничего не нашли. Вдовин вышел и побежал на стоянку, чтобы попросить водителя посмотреть в машине. Его не было долго. Когда Раиса Михайловна увидела, что Вдовин еще издали машет рукой: нет, не нашел — она

села на свое место и сказала: не будет нам сегодня дороги. Так и вышло. Отпустите меня! Вы же наши!!!

— На колени, — Боря поднял пистолет на Моралеса, что-то беззвучно шевельнул губами и прицелился, чуть отвернувшись и прищурившись, словно целился в солнце или боялся, что через мгновение его чем-то обрызгает, — Моралес не успел побежать.

Гольцман снял фуражку, прошептал:

— Мне больно. Плохо себя очень чувствую. Пойду лягу. — Держась за бок, Гольцман побрел к дальней стене, к лифтовой шахте, по пустыне.

— Садись.

Моралес закрыл глаза и вслепую, осторожно, будто на содранную кожу, опустился на колени и понурился. Тройницкая, почуяв свою очередь, забилась в моих руках:

— Миленькие... Ми-ле... Не убивай!!! — верещала без слов, пытаюсь сцапать меня за шею, я отбивал ее руки, расцарапала мне щеку до крови, вдруг дернулась и упала на асфальт — Боря выстрелил у нее над головой.

— Какая вам разница... Отползи от товарища капитана, — негромко сказал Боря и повел пистолетом. — На колени.

Тройницкая, взывая, причитая, не отрывая взгляда от пистолета, боком, безного перебралась поближе к Моралесу и встала так же, но не закрывала глаз и смотрела только на Бору, хотя, я чувствовал, хотела бы взглянуть на меня; я разинул пасть:

— Боря!

— Иди, — он стоял, словно о чем-то задумался тяжело; к нему не приближались люди, из-под платформ доносились не сдержанные ладонями детские крики, паровозы бешено гудели и пыхали весело клубящимся паром. Боря стоял за спинами двух горбатых, высохших фигур, над застывшим с согнутым коленом трупом, Тройницкая рыдала, не вытирая лица, но стояла на коленях точно, как Моралес, словно их где-то этому учили. Я двинулся за Гольцманом — старик, майор госбезопасности, мешком сидел

в распахнутой и освещенной кабинке лифта, запрокинув от боли лицо, но так и не расстегнув форменного плаща, чтобы никого не выдать; я держал ладонью, пятнистой от крови, царапину на щеке — заживет, уже заживает, никто не успеет: где это тебя так? что за женщина тебя поцарапала? — все, что здесь, — уже прошло и заживет, не заживет только у Гольцмана. Я шагал и, как всегда, гадал на четное или нечетное количество шагов — за сколько дойду до лифта? — но не мог придумать: на что я гадаю? как должно кончиться, чтобы «хорошо», а как — «плохо»? Все кончается одинаково. Все, Боря выстрелил, еще выстрелил, я, не оглянувшись, побежал и втиснулся в покачнувшийся лифт — Боря выстрелил еще, и я обернулся: он стоял один, Моралеса и Тройницкую уже унесло, Боря стрелял вверх, прицельно — что он там увидел? Ему хотелось попасть в небо, пробить стекло, перепонки, решетки, накрывавшие вокзальную площадь, ему хотелось запустить сюда воздух и настоящий свет, получить доказательство, что небо *там* есть, чтобы посыпались осколки и зазвенели — но пули уходили в стружку, в наслоения ваты, ничем не возвращаясь, холостыми. Вылетела последняя гильза, он без разочарования уронил пистолет и, поддав его ногой, как ледышку, направился к нам, сгорбившись и глубоко погрузив руки в карманы, словно проводил кого-то на вокзале, всю семью отправил на юг, а сам впервые в жизни остался — работа не отпустила, так непривычно оказалось: некуда спешить, одному в опустевшем городе, в опустевшей жизни возвращаться зачем-то в пустую квартиру, где разбросаны игрушки... Мы потеснились, Боря аккуратно закрылся, заперся, нажал кнопку и, отвернувшись от всех и бесцеремонно толкаясь, бросил на пол фуражку, расстегнул и скинул плащ, снял китель, разулся, потоптавшись, избавился от брюк и накрыл все исподней рубахой — остался в трусах — двери распахнулись.

— Порыбачили?

Боря прошел мимо дежурного, ударил дверь и коротким путем, по траве, мимо тропинки, не сгибая спины,

как лунатик, дошел до мостков и, оттолкнувшись, прыгнул в воду, лишь в последнее мгновение выставив соединенные руки вперед, — соседние рыбаки разом изумленно и гневно обернулись — Боря всплыл в четырех метрах и, размашисто и сильно выбрасывая руки, поплыл к другому берегу — там уже дымили мангалы и от причаленных лодок тащили золотистых сазанов на весы.

Жажда

Гольцман никого не ждал, отхлебывал из термосной кружки и смотрел на воду, он сидел ровно, безболезненно, сказал, не оборачиваясь ко мне:

— Ясно, что самолет Уманского попал в спутный след. В полосу разреженного воздуха, оставленного взлетающим перед ними самолетом. Слишком близко взлетали. Несколько секунд. Если бы они не опоздали с вылетом... Тебе этого достаточно?

— Осталось узнать, почему задержался вылет? Что потеряла Раиса Михайловна? Без чего она не могла лететь? Если узнаем — все откроется.

Гольцман оглянулся, словно «кто это говорит?», но ничего не добавил. Возможно, ему хотелось, чтобы я ушел, хотелось посидеть одному, глядя на воду, дожидаясь лодки, но он должен работать и помнить, кто командир, кто платит, и я дернул еще:

— Как чувствуете себя?

— Извини, что я там... Думаю, давление скакнуло. Писали — неблагоприятный день. Но дообследоваться надо.

Императору пришлось проглотить эти гробы, как горькие таблетки среди многих, смерти император мог противопоставить только вечную память, зато он, как никто, знал, что с этой памятью можно сделать. Девятнадцатого февраля американский военный самолет доставил урны

в Москву, некролог в «Правде» на колонку подписали Молотов (первым), Литвинов (пятым), Громыко (десятым). «Крупный деятель советской дипломатии, преданный партии Ленина—Сталина, честно прошедший жизненный путь, верный сын своего народа», — написали под фотографией взъерошенного, важного, маленького еврея в рубашке с заломленными уголками и в круглых очках. Хоронили на Новодевичьем в четыре часа дня — на ступенчатом, укрытом от снега постаменте футбольными кубками выставили урны, сверху всех одна, большая, как самовар, — Уманские? В почетный караул вставали Молотов и Шверник (как близнецы — лобастые, очкастые, усатые), Лозовский и Вышинский (в дипмундирах), провожали рабочие фабрик и заводов — чужие люди. Говорили только про Уманского, из вежливости раз добавив Раису Михайловну, Льва Ильича Тройницкого, Сергея Александровича Савина-Лазарева и Юрия Евгеньевича Вдовина. Урны поставили в ниши, солдаты трижды выстрелили в небо, и гимн Союза Советских Социалистических Республик заглушил траурный гимн и загрохотал «как символ бессмертия и торжества того великого дела, которому была посвящена жизнь т. Уманского и погибших с ним лиц» — в это мгновение я понял, что мы пытались разглядеть под снегом — лица, погибающие вместе с человеком.

Уманский погиб, и сжатая им чрез меру пружина вылетела вон: уже на следующий день «неизвестные лица» обыскали квартиру посольского завхоза Петра Кирмасова, а через три дня взломали дверь квартиры первого секретаря Гребского; «уличные хулиганы» избивали дипкурьеров, новый посол Капустин сидел тихо и все силы отдал строительству водопровода, гостей советского посольства прямо называли «шпионами ГПУ», полиция и суды обрушились на мексиканскую компартию; славянский клуб и «Общество друзей СССР» впали в ничтожество, печатались работы Троцкого и откровения перебежчиков под заглавиями «Ночь позади» и «Жизнь и смерть в СССР», наши испан-

ские выкормыши под руководством американцев месили и выпекали мемуары «Я потерял веру в Москву», «Люди “сделанные” в Москве»; в месяц в Мексику въезжало до двухсот пятидесяти сотрудников ФБР и ЦРУ, искали подземные ручейки, по которым утекали атомные секреты, — запахло разрывом отношений, советское посольство обходили как лепрозорий даже восточноевропейские дипломаты — всего-то за считанные недели...

Убийца Троцкого Меркадер написал матери бешеное письмо и заставил убраться в Европу, но поздно — он отсидел еще пятнадцать лет и по гроб не простил мать; она умерла в 1975 году во Франции под большим портретом императора в изголовье, он умер спустя три года на Кубе от рака костной ткани — надгробия обоим пенсионерам КГБ оплатил Советский Союз.

От Кости в Мексике остались только легенды: седла, в которых ездил, устроенный послом кегельбан, пятнадцатитонная подземная цистерна для дефицитного бензина (стоило послу пожаловаться на его нехватку), перенесенная на соседнюю улицу трамвайная линия (послу трамвайный перезвон мешал отдыхать) и любовь — секретарша Уманского влюбилась в адъютанта мексиканского президента. Возможно, ее никто не инструктировал. Хотя надежды на это нет никакой.

В Москве пепла осталось еще меньше: одноклассники Нины до дряхлости верили, что Уманские погибли при перелете в США и урна с Ниной Уманской упала в океан, те, кто постарше, считали: Костю погубило честолюбие — убеждали лететь рейсовым самолетом, но ему польстило — личный самолет президента!

Летом Чухарев заболел, остался в Москве один, жена с дочкой удалилась на дачные тридцать два километра от МКАД — к ним выбирался на выходные, доставляя персики, яблоки, сливы, абрикосы, виноград и землянику в высоком пластиковом стакане. Ночами не давали спать

духота и заполонившая мозги работа: однообразно и безнадежно с десяти утра он обзванивал каждого Ххххххх Москвы, Московской области, Российской Федерации и на всякий случай Израиля и Украины — дети и внуки последнего мальчика «Четвертой империи», по данным МВД числящегося в «пропавших без вести», не находились, контора стояла пустой, секретарша, уборщица, сторож — вот все, да еще приезжал Гольцман — Александр Наумович чувствовал необходимость куда-то приходиться каждый день к десяти в выглаженных брюках. В перерывах Чухарев, непроизвольно вздыхая, сидел в порносайтах, просматривая проститутток из числа «девушек с видеороликами», читал отзывы клиентов и опять садился звонить, жить; чувствовать себя здоровым Чухареву не давала плоть, он мучился днем, но особенно вечером — в восемь контору запирали сторож и Чухарев доставался улице, как всегда задержавшись вначале у лотка с газетами, — грудастая грузная продавщица Марина стояла допоздна. Иногда он выносил ей кофе в бумажном стакане и, пока она пила, болезненно поглядывал ей за огромную пазуху, в теснины, зажатые дешевыми черными кружевными шарами белья, и стыдливо вдруг озираясь: никто не видит? Он уходил и шатался по улицам, каждый вечер выбирая новые маршруты внутри Садового, дотемна, когда уже в переулках (в Мансуровском) и бульварах (за памятником героям Плевны) выводили на продажу проститутток — красивых, рослых девок с губастыми диковатыми мордами и высоко открытыми ногами, — он жадно разглядывал их, трусливо, лишь на немного сбавляя шаг. Его мучило желание, не направленное ни к кому, направленное сразу ко всем, — у него не было девушки, к которой он мог бы и хотел приехать в гости и засунуть, утолить, избавиться, — если бы она была, если бы, что еще лучше, их было много разных, а еще лучше — он мог бы любую, всех, лишь только завидя, сразу, он брал бы их (о том, почему он так хочет, о том, куда в его жизни переместилась девушка, взявшая его фамилию

и заполнявшая когда-то всю жизнь, и что все это значит, будет означать, если случится, сбудется, он уже давно не думал, все решилось само — нахлынуло и затопило по горло). Ничто не могло отвлечь, Чухарева летом насадило на крюк. Работа, голос дочери в телефоне — недолгие облегчения проходили при встрече первых же (в летней вечерней Москве на каждом шагу) плотных, даже толстых ног, высоко открытых короткими шортами до нежной складки под ягодницами. Казалось, его безумный, измученный желанием взгляд красивые тела замечали и снисходительно (или поощрительно? — и так большее) улыбались в ответ — вот совсем близко, протяни и дотронься, но слабость отделяла его от женщин, никчемность, он не понимал, как это легко получается в кино у других. От безысходности он в неурочное... решил: на дачу! к жене! Сумки оттянули руки, с долгими пересадками до вокзала, торчал в ненужной электричке и перетаскивался в нужную, ехал, шел и, когда вышел из леса на душную и влажную дорогу, вдруг почувал: еще немного, и упаду, все, оглох; ноги остановились и подламывались, он обмер в ледяной испарине и только успел подумать одно: куда денутся сумки?.. Посидел на поваленной березе и пополз дальше, навстречу выбежала дочь, он не мог говорить; когда лег на ночь к жене, обычно они ложились порознь, чтобы выспаться, после *этого* короткого, жаркого, привычного облегчающего *всего* который раз он униженно подумал: как же мало и ничтожно то, что так страшно владеет им, ради чего столько наворочено в жизни людей, почти все, и как бессмысленно: одной не хватит, хочешь всех, но со всеми не будешь — нарастут ослепительные, жестокие и молодые другие клейкие листочки, для которых ты будешь вонючим стариком, могильным горбом, прозрачным воздухом, они будут всегда — вот что такое жестокая вечность, — все девки не состарятся вместе с тобой — почему мне не досталось что-то другое, а только это?.. Прошло? но не проходило — и каждый вечер с восьми Чухарев выходил из конторы, и толстая, огромная Марина

улыбалась ему — у газетного лотка он задерживался все дольше, теперь он становился рядом с продавщицей, чтоб не мешать покупателям, не заслонять обзор, без слов признавшись, что не спешит, что идти каждый вечер ему некуда, и разволновался почему-то, когда она однажды предложила: постой еще, не уходи; они передавали друг другу каждый вечер одинаковые слова: как прошел день, устаешь без выходных, в шесть утра, знаешь, как холодно, «Советский спорт» почти совсем не берут, а питерский «Спорт» не берешь? — он смотрел на ее тяжеленные груди и сладко чувял случайные касания ее тела, когда она протискивалась мимо и нагибалась к ящикам из-под картона — в них хранились дамские романы, шариковые ручки и календари с лошадьми и котятками.

Однажды, когда он собрался уходить, Марина провожающе выбралась из-за лотка и неожиданно спросила, широко расставив туго обтянутые спортивными штанами ножищи, словно для лучшей опоры, словно ее слова требовали дополнительной устойчивости, — ему показалось, она выше его:

— А ты женат?

Она верила в «нет», прознав про него какими-то своими незаметными обходными путями, и приготовилась что-то сказать следом, то, что готовила она (может быть, и ночами), то, что получило бы смысл, оправданное, законное, но Чухарев после позорной необъяснимой паузы с усмешкой выдал:

— Да. Конечно, — хотел добавить про дочь, но Марина так жалко покачала головой: я поняла — и еще помедлила с неловкой сожалеющей гримасой, подсмотренной в американских фильмах.

Летом (мне кажется, июнь, июль) собрались — Чухарев *нашел*, делал вид «ничего особенного, я и не сомневался»:

— Все опрошенные по телефону Ххххххх отрицают родство. За триста пятьдесят долларов наши люди в МВД про-

верили свежую базу прописок, но уже по инициалам. И там засветилась Хххххх В.Х. — инициал отчества совпадает с нашим клиентом. Эта В. прописана по двум адресам: улица Малюгина, четырнадцать, и Фрунзенская набережная, тридцать пять дробь один. Оба телефона молчат.

— Отдыхает на даче! — подсказал Боря, наряженный в мотоциклетную куртку. Гольцман молчал: это еще не все.

— Я съездил в ДЭЗ управы «Хамовники» и купил выписку из домовой книги, что в доме на Фрунзенской прописаны Хххххх Виктория Хххххххххх, ее сын шести лет и мать Пирогова Нина Васильевна, между прочим, родом из Куйбышева, год рождения восьмой, умерла в девяностом. Фамилия, отчество Виктории совпадает. При такой редкой фамилии... Ясно, что это дочь, внук и теща нашего Хххххххх. Нам нужна дочь.

— Спаситель! Зачет! — веселился Боря. — Вот! А ты не хотел парня на работу брать! И еще что-то есть?

— Я зашел в РЭУ, Фрунзенская, двадцать шесть, там два начальника, общительные люди, любят деньги. Они проводили меня в подъезд, но квартира на звонок не ответила. Соседние две тоже. В почтовом ящике я оставил записку с просьбой связаться. Заодно вскрыл ящик и посмотрел, что там вообще есть. Кроме рекламных газет — квитанция за квартплату за июнь. В бухгалтерии РЭУ сообщили, что за квартиру не платят с апреля. Я думаю, надо отправить заказное письмо, чтобы почта-льон время от времени звонил в квартиру. И через неделю выходит из отпуска техник-смотритель Елена Владимировна, зарядим ее, пусть опросит соседей: что за семья, где могут быть.

Я слушал и понимал, обмотанный сонной ватой, — подъезжаем к станции, можем потихоньку собираться, третье июня.

Присутствующие задвигались, Боря нарочито громко хвалил Чухарева:

– Заслужил – иди, отсыпайся. Ты, кстати, не обратил внимания, какая девушка внизу газетами торгует? Грудь – как две твои нестриженные головы! Знаешь, прочел в газете: СПИД при половом контакте передается с вероятностью двадцать пять процентов, а гепатит В – сто!

С Чухарева каплями засочился пот, Алена прошептала: почему ты Чухареву не сказал – ему не следовало одному идти в квартиру, мало ли что он нашел адрес, ты обиделся? Ты плохо себя чувствуешь? Это от того, что ты не спишь...

Остался Боря.

– Давай купим мотоциклы и поедем в Симферополь с блондинками!

– Там сидит девочка в приемной – курьер из архива внешней политики, третий раз к нам приезжает. Света. Шестнадцать лет.

– Пусть зайдет.

Девочка села напротив: острые колени, блестящие черные туфельки на умеренном каблуке, крашеная белокурая челка, – из тех девушек, что носят на лице готово-плаксивое выражение.

– Это чулки? – передавленный, больной голос, я показал рукой: там.

Она, подумав, кивнула: да.

– Слабо показать?

Она еще подумала, закинула ногу на ногу, сгребла щепотью юбку и медленно махнула подолом – мелькнули черные кружева с завернувшимся липким краешком и белое округлое бедро.

– Ну, так быстро я ничего не увидел.

Глядя в дверь, она аккуратными складками подтащила юбку к поясу – на бедре открылась рыжая родинка с тыквенную семечку.

– Родинка.

– У меня много родинок.

– Можешь колени раздвинуть?

Она села пошире, показав клюв черных трусов. Я встал — ненавижу первые шаги, перемещения, пере-кладывания, раздевания, приседания, — присел у ее ног (легкие руки легли мне на затылок, слабо погрузившись в волосы), зацепил свободно отслоившиеся от живота трусы и заглянул: в самом низу, чуть подбритый, торчал кустик рыжеватых волос, из-под которых выворачивался мясистый лепесток; я поднялся, и она рывком вскочила и потянулась меня целовать суховатыми губами, я погладил согласно правилам маленький упругий зад, и после корявых танцевально-борцовских упражнений она оказалась на четвереньках, и мы опять повозились, переустанавливая приемные и выдающие части...

— Давно ты так?

— Как только в православном лицее нам объяснили, что любой грех можно замолить. — Девочка уже открыла дверь. — Пока!

Я трусливо посидел в кабинете — по конторе разносилось шуршащее старческое кваканье, разбавленное маразматическими паузами и мычаньем — телевизор? Что они смотрят? Иди, чего тебе бояться, вздохнул поглубже и распахнул дверь, словно в нее постучали и надо встретить. Двери, люди, лампы... Алена ждала меня, длиннючие, на хрен никому не нужные ноги, совершенно спокойное лицо — или делает вид, готовясь стать скучной как смерть в очередном прощанье: мне еще делать? еще стараться? Я спокоен: любимая, просто просил курьера следующий раз захватить — что? Фотографии. Мексиканские фотографии Уманского, мы проплатили их — Алена поманила меня в коридор и дальше на лестницу, я шел лениво, нехотя: я ничего тебе не должен и ничего не обещал, у меня много работы. Легко поцеловала меня — жив!

— Я забыла тебя предупредить. Сегодня у моего Сережки день рождения. Я уеду сейчас, ладно? А ты еще поработай, если хочешь, а то, наверное, устал, я постоянно над душой. Ты не обидишься? Без меня не ужинай,

я приеду и тебя покормлю. Он позвал ребят в боулинг. Побуду с ним хоть немножко. Он и так скучает ужасно, — она вдруг зажмурилась и открыла уже заблестевшие глаза. — А еще день рождения. Мы всегда в этот день... Я подумала, не хотела говорить, но скажу: может быть, потом, не сейчас, пусть даже не скоро, совсем уже потом, может быть — я познакомлю вас?

Я кивнул.

— Мне бы очень хотелось. Он у меня очень добрый и очень застенчивый мальчик, замкнутый. До смешного похож на тебя. И любит футбол. И ему сейчас очень непросто. Может быть, когда-нибудь, если у нас не будет много работы, он сможет у нас переночевать, — и она еще зажмурилась, и испугалась. — Что с тобой? Ты так молчишь... Ничего не случилось? Скажи: все в силе? Мы еще вместе? На небе и на земле? Мы одно? — и обняла меня рывком, как на военном вокзале, и мы замерли, превратившись в одно, — я потрогал ее лицо губами, и она побежала к лифту, оглянувшись счастливым, готовым еще поплакать лицом.

Запись старческого голоса крутила на всю контору секретарша, привлекая мое внимание к своим достижениям и себе, я послушал минуту и узнал приемную дочь Литвинова, секс-бомбу Левашову, юное победоносное тело, многим казавшееся безмозглым и жадным, — вот кого мы еще не проводили во тьму.

— Это последние пленки Левашовой. Хотите послушать? Сделать вам кофе?

Принесла диктофон, кофе, устроилась, сияла в гостевом стуле в предвкушении счастливых часов — ведь Алена Сергеевна уехала и не вернется, у меня разогнутая спина, снятый ошейник — и почуяла боль, когда я сказал:

— Идите домой. Больше вы сегодня не понадобится. Я послушаю один.

...В 1943-м я приехала из Сибири с двумя детьми, а в сорок пятом еще родила. И больше уже ни с кем ни

разу не виделась. Папа не мог мне простить, что я вышла за Левашова. «Я тебя предупреждал, кто он такой». – «А что ты плохого можешь про него сказать?!»

Если мне что-то нужно, я могла позвонить Петровой, и Максим Максимович заказывал для меня в распределителе, а Петрова привозила, улыбается: папиросы Максим Максимович не заказал. Угадайте, почему? Для вашего мужа он ничего делать не будет.

А у меня свой гонор: любишь меня – люби мою собаку. Я не верила, что папа прав.

Один раз мы поругались, муж мне денег не давал. И что-то я ему высказала. И вдруг он выпалил: вас, космополитов, давным-давно надо было сослать! Тут у меня мозги перевернулись и зашевелились. И я стала наблюдать и придавать значение его поведению.

Я растила детей, подруга говорит: ты медицину знаешь, музыку знаешь, хватит сидеть дома. Пойми, мужу не семнадцать лет. Он, если что, не будет тебя содержать – останешься ни с чем. Подруга работала в клинике МГУ, когда университет строили заключенные, и, оказывается, знала, как Левашов гулял там налево и направо, он же связан был с ГУЛАГом... Когда я поняла, что все это ложь, я развелась. Левашов денег мне не давал. На суд пришел в своей форме с голубой шапкой, и мне отказали в алиментах. А сам гараж построил и машину украл из трофейных. А у меня трое школьников.

Когда мы разводились, он уехал на дачу, а я дома осталась. Воскресенье. Звонок в дверь. Я вообще никому не открываю. Откройте, пожалуйста. Нет. Мне Левашов нужен. Его нет, я вам не открою, я не знаю, когда он придет. Я из Томска к нему приехал. А муж в Томске начинал свою деятельность, он же почетный чекист! Я открыла. Человек вошел. Страшный. Такие глаза. Елки-палки, что я сделала! Мне Левашов нужен! Я поняла, но его нет, он сегодня вообще, может быть, не придет. Он на пенсии, сейчас не работает. Не имеет значения, он вел мое дело,

и я приехал с ним счета сводить. Я его убью. Ради бога, оставьте это, мы сейчас разводимся... Дайте мне развестись, а потом вы с ним расплачивайтесь. Меня избивали в подвале. Левашов хитрый, сам стоял в стороне, а другим указывал. Где он?! Я говорю: на даче, там мои дочери, домработница. Дайте мне адрес. И я дала адрес.

А у меня уже роман закрутился с человеком одним — я с ним после развода жила. Мы чай попили и в десять легли. В одиннадцать слышу: дверь открывается. Я сразу дверь в комнату заперла. Мой человек вскочил: что делать? Я: в мою комнату Левашов не зайдет, я гарантирую.

Левашов метался по своей комнате как тигр, стонал: о, боже, неужели конец? Я поняла: неспроста. Нашел тот, из Томска, видно, дачу. И наговорил Левашову чего-то такого. Он мечется, а мне надо, чтобы мой человек незаметно выскользнул, чтоб Левашов не сказал на суде, что я падшая женщина, хотя я давно уже с ним не жила.

В четыре утра разбудила своего: сейчас открою дверь, парадное, а вы — бегите. Выпустила — закрыла все двери, как и не было никого! А Левашов потом дочерям, уже взрослым, все уши прожужжал, какая я была. Что с неграми жила. С китайцами! Все потому, что у самого совесть нечиста.

Как он умер, я не знаю... Пришел к дочери на Россосанскую с вином, выпил, но не хватило ему, поехал еще за вином. Его племянница, дочь его брата второго — удивительное стечение обстоятельств! — идет мимо магазина полуфабрикатов и вдруг видит: дядя Вася лежит на панели. У него удар случился. Он и не звонил перед смертью и не просил, чтоб приехала, все было порвано.

...На похороны Максима Максимовича я не попала, поздно сказали — хоронили в пять, я еще работала. Да и отношения поломались.

Петрова — я помню, от скуки ей позвонила, она очень обрадовалась: приезжайте, только я очень больна и не работаю. Лежит на диване у себя в комнате. Вася, больной ее

сын, там что-то делает на кухне. Вспомнили старое, как Громыко шпионил за Максимом Максимовичем в Америке, подобрал ключи к папиному столу. Максим Максимович требовал, чтобы Анастасия Владимировна присутствовала при отправке и получении диппочты, чтобы Громыко не совал в нее руки и нос.

А потом оказалось, у Петровой рак.

С дочерью ее, Ираидой, я не поддерживала отношений. Она такая же холодная и неприступная, как и мать.

Я заглянул на диктофонный таймер: запись уже кончалась, вдруг в полную громкость голос секретарши отчетливо спросил, последний в жизни вопрос, обращенный к бывшей красавице Зинаиде Максимовне Литвиновой, Левашовой, урожденной Буяновской:

– Скажите, что для вас любовь?

Молчание хрипело, скрипело, выростали новые шорохи и посторонние шумы, и вдруг старуха сказала:

– Любовь... Конгломерат, я бы сказала, чувств...

ММ

Послов из США и Англии император отозвал одновременно – в начале апреля сорок третьего.

Отзыв Литвинова, как и назначение, являлся сильным словом в разговоре с г-ном Рузвельтом. Император показал, что устал от неопределенности со вторым фронтом, от желаний временных друзей все оплатить русской кровью и нежелания гарантировать западные границы империи, император вроде бы сказал «мы не будем бесплатно работать» или «ну, мы покажем союзникам»; не прислав взамен *фигуры*, он оставил пешку – Громыко. Максим Максимович и Петрова привились от чумы и холеры (лететь предстояло через Африку, американцы уже разгромили Роммеля), – в Москву, в неизвестную, но, безусловно, более справедливую жизнь они добивались две-

надцать дней и двадцать первого апреля увидели Кремль. У Петровой, Кости и Литвинова, жителей Дома правительства, соседей, оставалось полтора месяца, чтобы сказать все, решить судьбу — соединившись либо перечеркнув уже насовсем.

Биограф Литвинова Зиновий Шейнис, добросовестный, влюбленный землекоп, в старости, как и многие, принужденный слабостью человеческой природы и неожиданной свободой продолжать говорить, говорить, когда нужно сказано — все! — сообщил потомству: Литвинов, прощаясь, подал Рузвельту письменную жалобу: император поощряет антисемитов. Надеюсь, это цветное стеклышко подбросили нам бескорыстно в той, сужденной многим из живущих поре, когда прошлое не только располагается рядом с нашими мыслями о нем, но и не отличается уже от этих мыслей, сливается с желаниями его поправить, украсить, прояснить.

Рузвельт (добрая душа, инвалидная коляска) сказал Максиму Максимовичу с невыносимой русским американской прямоотой в ответ на дежурные «ну-с, до свиданья...»:

— Вы не вернетесь.

Литвинов весело перевел разговор на доступные вещи, «можно-нужно», где меньше Божьей страшной воли. Нескольким раз они говорили с президентом наедине «о душе и муках ада» — я думаю, говорил больше Литвинов, он знал про ад. Рузвельта брала оторопь, он признавался: «глубокое впечатление», — кто еще на земле мог выслушать Максима Максимовича, железного, «сталинского знаменосца», выпускника хедера, прожившего под чужим русским именем, годами готового застрелиться от стука в кабинет в неурочное время, про муки души и грядущий ад, и не записать, и не послать «для сведения»? Рузвельт умер, позировав художнику, и не оставил воспоминаний.

Летели через Ближний Восток, Литвинов не верил в Бога, но, странно для коммуниста, находил возмож-

ным порассуждать на «эту тему»: а вы заметили, как мало доказательств существования Бога? и вот это наличие множества разнообразных религий — о чем оно говорит? а ведь Бог-то *есть*, *Он есть*, один и проч. — Тася заметила: коснувшись Стены Плача, Литвинов заплакал — о чем?

Они вернулись в крохотный кабинет «замнаркома», в безработицу (только инокорам казалось: Литвинов еще есть) и в открытой машине отправились на первомайский парад, прихватив детей и племянников Таси; они ехали по Красной площади, парадный дипломатический мундир, в народе порхал восторженный шепоток: «Вышинский! Вышинский» — Максим Максимович сидел со спокойным, измученным лицом.

18 июля 1946 года, когда Литвинову исполнилось семьдесят лет и один день, его позвал в свой кабинет другой заместитель Молотова — Деканозов. Мне поручено сообщить: вы освобождены от работы. Старик взмолился: «не заслуживаю участи, уже раз испытанной мной в 1939—41 годах, лишнего безработного, выброшенного из государственной жизни человека», не выбрасывайте — хоть в бюро жалоб, хоть в область внешней торговли, и, не получив ответа, утих в депутатах Верховного Совета СССР, по нездоровью не встречавшийся с избирателями; на сессиях он «бил» кроссворды и в домашнем кругу не упускал случая отозваться об императоре снисходительно: «Не знает Запада... Будь нашим противником несколько шахов или шейхов, он бы их перехитрил...» Император подошел к пенсионеру на приеме в английском посольстве: выпьем на брудершафт. Типа все позади. «Товарищ Сталин, я не пью, врачи запретили». — «Ну, ничего, будем считать, что выпили». Никто не разговаривал так с императором.

Ночью я посидел у Максима Максимовича за столом: толща бумаг, листок календаря 1948 года, тридцать первый год Великой Октябрьской социалистической революции (когда-то меня отвлекала от смерти мысль, что

доживу до столетия революции, а вдруг — до коммунизма?), записано «85 рублей», перечеркнуто и написано «156 рублей», на «июле 16» перечеркнуто напечатанное «пятница» и надписано «суббота»; «Смотрел фильм “Пугачев”. Прибыл в Барвиху, погода сносная, комната приличная, телефон и радиоприемник». И на обороте: «Политика — это умение максимально использовать людскую глупость и доверчивость»; сперва он хотел написать «не-доверчивость» — тоже неплохо. Переписал из Талейрана то, что болело (в скобках уточнив для НКВД: «Талейран, ругая Наполеона»): «Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан». Синим карандашом отчеркнул цитату Гейне: «Безобразие женщины — добрая половина пути к ее добродетели» и в желтый блокнот с расписанием электричек заносил курьезы школьных сочинений: «Татьяна очень любила природу и часто ходила на двор», «Дубровский имел сношения с Машей через дупло», «Пушкин любил духи и часто ими мочился» — вот, оказывается, сколько лет этим хохмам.

Бывший нарком, жизнелюбивый толстяк, всегда боялся скучной старости, и теперь предстояло чем-то заполнить последние: перечитывать Пушкина, лечить затемнения в легких, отдыхать в любимом Кемери, Барвихе и Соснах (пока служил в Америке, дача отошла к Хрущеву); бридж по вечерам, а каждое утро, как обязанный, вставал и шел в Ленинскую библиотеку — выкладывал по кирпичикам словарь синонимов — где начатки этой крепости, демонстрации, как разными словами говорится приблизительно одно и то же? — встречался с такими же окаменелостями, обмылками, везунчиками в кремлевской столовой на Воздвиженке — многие молодые увидели и запомнили Литвинова там, молодым он пошло показался одиноким и отверженным — каким он казался самому себе? Максим Максимович пробовал писать мемуары (а зарекался: «я не сумасшедший, чтобы писать»), вечером писал — утром рвал, так и не двинувшись дальше побега из Лукояновской

каторжной тюрьмы, и певица свободной любви Коллонтай утешала: «Вам нечего писать мемуары, вы уже вписаны в славные главы истории», но ему что-то хотелось, в семьдесят пять лет он пожаловался: мне некому диктовать — лучезарный Эрос, воспетый Коллонтай, не оставил рядом верных женщин и преданных детей — один, как и тысячи русских железных, маршалов, познавших ненужную и жестокую жизнь «после» использования, после славы под гнетом домоуправлений и первичных парторганизаций, жизнь рядовых — один. Коллонтай подбадривала, как могла: «Разве мальчиком вы могли думать, что станете исторической фигурой мирового значения», проявляя слабое, бездетное представление о русских мальчиках, и записывала за ним: «Пришел на чашку чая. Он сильно обеспокоен положением в Германии и Корее. Меньше его мысли были заняты Израилем и Югославией» — вот что заботило пенсионера, и только жена, Айви Вальтеровна, англичанка, спросила (такая подступила пора): *ты не жалеешь?* Ну, про свой СэСэСЭР — не жалеешь? Что вот так все? Максим Максимович ответил: знаешь, как бывает... Ты влюбляешься в молодую, прекрасную девушку и живешь с ней. Но приходит время... И она становится злобной старухой. *А деваться некуда.* Я слабо верю в точность запоминания и передачи вышеприведенных «вопрос—ответ», а если и правда — постарела не девушка, постарел он, земля не изменилась. Хотя англичанке, как мы установили, было что безжалостно ответить про то... почему... прекрасные девушки... Хотя и он бы нашелся... А потом она...

За два года до смерти Максим Максимович, как и положено боярину, верному псу, прощально написал императору на издевательски крохотном бланке депутата ВС: обращаюсь к вам в этом посмертном письме с последней просьбой... Считаюсь с приближением естественного конца жизни... Не оставьте в беде жену и детей... Он попросил назначить Айви Вальтеровне персональную пенсию и сохранить семье квартиру, «у детей

недостаточно средств к существованию». И закончил тем, что: «Умирать буду со спокойной совестью в сознании, что сделал для коммунизма и дорогой родины все, что мог, в меру своих сил, знаний и разумений и что не по своей вине не сделал больше» — последнее слово Литвинов пытался оставить за собой.

«С последним приветом и пожеланиями Вам здоровья и долголетия», — никакого лизания стоп и слюней. И подпись — большим, беглым росчерком.

И слег умирать видный деятель, ненавидевший открытые двери, от третьего инфаркта в Кремлевку — веселый, молчаливый человек, в лучшие свои дни макавший с легкой, хмыкающей усмешкой молодой лучок в сметану, походивший на добродушного семьянина; на радиоприемник, чтобы все время видеть, поставил вырезанную из старого журнала фотокарточку императора — заведующего вечной памятью, теперь годилась только правда. Желтый блокнот с анекдотами можно выбрасывать.

Жене (вот тут появляется супруга, надо же проводить) он говорил: мне снятся похороны на Красной площади... *(уже закрыв глаза)*... я вижу карту мира *(это, наверное, для газетных статей)*... я вижу свою страну без тюрем *(а это придумали через десять лет, пропитания ради)*... И открыв глаза (кому я это говорю? с кем я остался?): «Англичанка. Иди домой!» И жил еще на кислороде и морфии, всегда дежурили две медсестры, и в новогодний вечер начал задыхаться, медсестра схватилась за шприц, но «мама» перехватила ее руку: «Что это даст?»

«Несколько дней жизни».

«...Это не стоит того».

Так решила Айви Вальтеровна Лоу.

Кто-то расслышал, как Литвинов выдохнул: скорей бы...

Англичанка вернулась домой в новогоднюю ночь и объявила: It's all over. Он им не достался.

Да, к сожалению, в эту минуту она выразилась именно так.

На следующий день люди из «архивной службы» обыскали квартиру (найденную в письменном столе пачку долларов семья успела без счета спустить в мусоропровод, чтобы посмертно не обвинили в работе на израильскую спецслужбу «Джойнт» — это входило в обычай). Забираем мебель или будете выкупать? Нашли завещание: заключите мир с Австрией, помиритесь с Югославией и снимите оккупацию Восточной Германии. Дочь написала императору: они, дети, «оперились», «способны к самостоятельной жизни», нам ничего не надо, напрасно там папа, как они краем уха... что-то просил. Хоронили скромно, хотя множество людей (а кто-то припоминает — почти никого, охрана не пускала, плачущую Петрову вспомнили все) — чиновник в мидовском зале читал стиснутым голосом некролог из «Правды», кто-то запомнил «суконные речи», незнакомая женщина взяла Таню Литвинову за локоть и прошептала: «История разберется», на улице открыли гроб проститься, и снежок полетел на серый костюм Максима Максимовича, на лицо и — остался.

Денег со сберкнижки хватило на год, изданное житие назвали «Сталинский знаменосец мира».

Айви Вальтеровна как-то сразу от всего отстранилась, «впала в полную сдержанность», призналась дочери: знаешь, я первый раз столкнулась со смертью — счастливая женщина! — сыну велела переехать в комнату отца — пусть комната останется живой — и не нуждалась в сочувствии — Р-овы принесли соболезнования: Айви Вальтеровна, мы... Да, а я вот тут пасьянс села... Позвольте вам выразить... Да-да-да... Так — пиковый король... Трефовый... Ее долго не выпускали в Англию, но выпустили. Когда подступила смерть, написала дочери: ты нужна мне — и все время писала, писала (дочь ставила перед ней пишмашинку), читала, когда уже не могла писать, чтение — словно ее дыхание, и последние слова: ink. Ink. Чернила.

В бумагах Айви Вальтеровны, называемой в свое время «мадам Литвинов», любительницы хлеба, размочен-

ного в теплом молоке, нашли конверт с английской надписью «относительно тела», содержащий подробные указания, какому медицинскому центру должен достаться труп. Указаний захоронить прах с мужем в стране Россия конверт не содержал.

Анастасия Петрова, ответственный работник МИДа, в немного за пятьдесят осталась без любимых. Она трезво относилась к человеческим возможностям противостоять времени и понимала правильно слова, сопровождавшие ее повсюду: «Невероятно молодо выглядите!» Собираясь домой, она пошла в Америке элегантную серую каракулеву шубу (и Айви Вальтеровне посоветовала) — шуба запомнилась всем в бедное время, когда красавицы мечтали годами об *одной* новой кофточке. Гуляя в любимой Риге (любимая Прибалтика, любимая Паланга), Петрова удивлялась: как бедно и безвкусно одеты люди, и, переступив порог кафе, машинально отметила: вот только эта старая дама одета довольно хорошо — и замерла: она смотрела в зеркало. Чужим словам можно больше не верить, она — старая дама.

Занимая видные посты в министерстве и дипакадемии, А.В.Петрова запомнилась суровой и требовательной, «так умела впиваться в человека глазами, словно захватывала его целиком», лицо камеи — потрясающая кожа, очень высокий лоб, седовласая, волосы собирала в пучок, одевалась просто: вязаные шерстяные кофты, длинные юбки, даже когда их перестали носить — вещей немного, но дорогие.

Знакома с Литвиновым? Никогда не упоминала. Вскользь обронила, что работали вместе, хороший был...

Если молодые сотрудницы подходили «советоваться по личным вопросам», Петрова выслушивала молча, ни разу не произнеся в ответ слов «любовь», «любить», «страсть», отвечала однообразно: защищайте диссертации, не тратьте время на консервирование овощей и выпечку; стремление «обновить обстановку» в кварти-

ре презирала. Никогда не жаловалась. Никогда ничего не рассказывала.

Даже про Олю — единственную внучку многочисленных Цурко, ни про ее самоубийство.

Рак обнаружили на последней стадии и химиотерапию даже не предлагали (или предлагали, но знакомый врач посоветовал — заберите домой, и три года проживет, а от «химии» быстро погибнет), диагноза не объявили, но Тася Флам, не оставившая нам своего лица, «огонь», Анастасия Владимировна, поняла разговор на латыни врачей — гимназистка! (Что-то сомнительно, чтоб в правление Черненко врачи онкодиспансера беседовали *на латыни* у постели старой большевички.) Рак развивался медленно, всю жизнь Петрова не принимала лекарств, и поэтому ей (до самого последнего) помогали простые болеутолятели, и не работала только последние три недели в больнице старых большевиков на шоссе Энтузиастов, позвонила дочери на работу: «Я хочу видеть Нонну Николаевну». Дочь передала, и приятельница бессердечно уточнила: может быть, и вы пойдете? Нет, ответила дочь, она хотела только вас. Подружки проговорили вечер по-английски (якобы чтоб не отвлекать соседку по палате; Нонну Николаевну мы искали, не нашли), ночью Петрова умерла.

Вычеркнув человека, я вдруг задумался: как увозили в интернат ее сына, ее Васю, сына немца, словно возмездие, забравшего у нее все... На машине везли и сопровождали, наверное, крепкие люди. Мог ли он понять, что мама умерла (что квартира понадобилась — вряд ли — и в гости никого не пригласишь, здоровый мужик, а если набросится? Вон как на девушек глядит — жутко!). Умерла — значит, уехала, будет когда-то потом, детей занимают практические вопросы: а кто теперь будет водить меня на концерты и кормить, откуда эти люди узнают, что он любит, кто будет хвалиться гостям, как Вася читает ноты, — наверное, он не плакал или поплакал (водила же Петрова его на чьи-то похороны, приучала, что

смерть — это слезы, там плачут), и все-таки для него что-то придумали: в больницу на *обследование*, в *дом отдыха* — там так интересно, сестра уезжает в заграничную командировку и привезет тебе... — что могли обещать сорокалетнему мужчине, дебилу, что он любил? есть? — а пока ты поживешь не здесь, а *там, там* так хорошо, так вкусно кормят — у тебя будут друзья, а хотел ли он друзей? Обещали ли ему игры? Телевизор без ограничений? Светлая комната, кровать у окна, а вот твои новые соседи, сюда ты положишь вещи — запоминай, слышишь?! Посмотри сюда! И не забывай чистить зубы! Помнишь, как мама учила? Ребенок стремительно забывает даже то, что только и может его спасти, — забывал ли он маму, *испарялась* ли она? Но что-то, безусловно, должно остаться, следы чего-то трудновспоминаемого и теплого. Как трудно, должно быть, понимал он *режим, питание, палату, главного врача*, заборы и замки и скорее всего ждал, когда это кончится и за ним приедут, и вел долгие разговоры об этом с тем, к кому его прикрепили и попросили присматривать первое время, кому звонили по международному: ну, как там он? Да ничего, привыкнет. Хватает тех денег, что мы оставили? Вы сообщайте — водитель сразу подвезет. Возможно, его навещали, хотя не верится — кто-то из дальних, чтоб не вцепился, посмотреть, довести теплых вещей и зимнюю шапку: он же гуляет; а потом, возможно, ему придумали что-то еще — что дом сгорел, дома больше нет, и сестры нет, и тех маминых подруг, — надо же, как ты запомнил тетю Симу, да, была такая тетя Сима, мы про нее уж забыли, а он помнит, вот память! — все, *абсолютно все* они уехали, тяжело болеют или умерли, так что пока вот тут, вот здесь, а что тебе не нравится? всем же нравится! иди походи, играй вон с тем, а скоро кликнут на ужин — и что-то сложилось в его мозгу, что-то сложилось, какая-то Идея собственного существования, вряд ли оно казалось ему ошибочным, но как-то себе он все объяснил —

я такой и здесь потому, что... Понять или ненавидеть или все поглотила жвачка существования, совсем все, может быть, кроме мамы, — я думал, он разговаривал с ней.

Мать большого мальчика, теперь он старик, спрятали на Ваганьково, как сказала дочь — недалеко от церкви, зарыли в участок, захапанный родственниками, и, по материалам следствия, А.В.Петрова, роковая женщина роста сто шестьдесят четыре, о себе промолчала, не ослабили ни старость, ни смерть — ни про муки души, ни про ад, не выдала никого. Не жаловалась: если бы не Нина... Но — Большой Каменный мост в ее жизни не мог не существовать, какой бы холодной она ни была или казалась... как бы легко ни переносила боль. Тася, невидимка, не могла не пораниться, пройдя сквозь жизни столько мужчин и не застряв ни в одном, — навывлет, до рака прямой кишки. Вряд ли ее утешали заседания в деканате и строительство развитого социализма... Холодная дочь, не понимающий сын — вот только Оля, внучка; ее Петрова решила не любить, все — Васе; Оля, единственное, выходит, продолжение ее, погибшая от любви, — какой бессмысленной, должно быть, казалась причина ее смерти Тасе — *от неразделенной любви*... Если с кем-то она поговорила про Уманского — только с Олей, пока та жила... Но про девочку мы ничего не знаем — отравилась от любви к сыну Р-ова, мало похоже на правду — Тасю мы не открыли, не смогли, силы не хватило, знала она какое-то слово; я отшвырнул «Дело» — А.В.Петрова, как ты меня бесишь!

В приемной горел свет; все, что дальше, я — наизусть: заработавшаяся секретарша не могла скрыть радости — дождалась, я подошел к ее столу, потрогал прыгающими пальцами канцелярские товары, все разошлись, она испуганно поднялась: вот сейчас?

— Плохо сплю в последнее время. Есть ничего не хочется. Можете закрыть глаза? Хочу тебя рассмотреть. — И запомнить, — словно «можешь раздеться?».

Она отступила к стене, запнулась в мысли о лице — что на нем? что говорило зеркало? Уже все равно, если уж... Повернулась к окну, словно от яркой лампы, и смежила ресницы, спрятав руки за спину, — она прислушалась, словно врачи проверяли из дальнего угла «семнадцать, девять, двадцать три...». Я обогнул стол и впервые безбоязненно взглянул прямо в лицо — она покраснела, под кожей вздрагивала кровь, ожидая прикосновений, — высокая, худая девушка, были б деньги на другую одежду и другие салоны красоты — выглядела бы красавицей: небольшой ровный нос, бледная, уже не школьная пожившая кожа, тонкие губы с усиленным помадой зубчиком на верхней губе, большие глаза с заметными усилиями косметики на верхних веках. Добавить что-то точное, обыграть нездешние скулы, светлые волосы, густыми не назовешь, крашенные осы, а свои, должно быть, русского русого цвета — всегда смотрит исподлобья и говорит тихо, как зануда отличница, — она похожа на девушку, вот в чем дело — на по-другому сделанного человека... После тяжелого вздоха дотронулся до ее лба и провел, будто разглаживая, по правой брови:

— Все, — и отвернулся, словно от голой: оденьтесь. Она облегченно и разочарованно опустила на стул и уставилась на свои ожидания, на свои надежды, в себя, на какие-то развалины.

— Сколько вы у нас работаете? — Я провожал секретаршу до метро, телефон непривычно молчал.

— Четыре года.

— Кто вы? Я, например, пустой человек. А вы? Коротко о себе.

— Зачем вы так. О себе я не знаю. Я знаю, что очень-очень хочу, чтобы вы и ваши близкие были обязательно счастливы... Сама не знаю, чего хочу. Запуталась. Знаю, что хочу, но не могу сказать. Все равно невозможно. Купила вам иконку, — деревянный квадрат несмело вынут из сумки, спасибо. — Заходила в церковь, к своему батюшке...

— Верите в Бога? В то, что нас ждет превращение в нечто неведомое. Ухожу в надежде на великое «может быть», как сказал один веселый...

— Если вам подпишут доверенность, я поеду в третье июня?

— Нет, конечно. Поедут мужчины.

— А это... Как это обычно происходит?

— Установление правды на месте. Присутствовавшие на месте события говорят, проясняется память — с этим мы немножко помогаем, следим, чтоб никто себя не обманывал. Каждый по очереди рассказывает, что отпечаталось в глазах и что *показалось*, — добавляя свои желания, свою жизнь, страх умереть — каждый ведь хочет остаться, впихнуть побольше лично себя даже в чужую историю — мы никого не жалеем, мы берем с собой только правду.

— Почему мне нельзя?

— Пришлите мне на почту свою фотографию.

Ждала ли она, возможно, кто-то предостерегал, но все-таки:

— У меня нет хороших, я плохо получаюсь. Пришлю. Если объясните зачем.

— Просто. Ваша жизнь. — Чтоб не тратиться на распросы, полистать тебя, в спокойном одиночестве рассмотреть твое тело, когда хочешь, никто не отнимет и время не изменит. — Лучше в купальнике. Или без.

— У меня таких нет.

— Вы такая красивая. Просто стесняетесь? Из тех, что не раздеваются при свете?

Еще немного, помолчав (подступала осень — вон как посыпалось, осень, как всегда в нашем городе, — задолго и жестоко):

— Я могу раздеться при свете. Вопрос — для кого. И сфотографироваться — можно решиться...

— Если доверять фотографу...

— Я должна его любить.

А хотела сказать: он должен меня любить. Вот что это должно означать.

— И вы должны быть уверены, что он этого очень хочет, — подсказал я у пасти метрополитена, пожав, помахав, актерски погрузив на виду, начало положено, будет думать каждый вечер — и вдруг на огромное мгновение я почувал свое прошлое, как чуешь считанные разы за жизнь — что-то извне, как ветер; железные бачки с кипяченой водой, колобки бельевых веревок, расплавленный свинец остывающей в формочке октябрятской звездочки с кудрявым младенцем Христом, телевизор ч/б, самое страшное — смерть кинескопа, как люди стронулись и поехали из баракон, треск газеты, раздираемой в туалете, атласная пилотка, страшный язык похоронно-поздравительных телеграмм, проступавший на коричневых наклеенных лентах без зпт и предлогов, душные кабинки тугоухого межгорода, «совесть пассажира — лучший контролер», последние звонки, зачеты, стрельбы, слова и анализы, много ржавых гильз... Я достал телефон, потыкал кнопки, сообщил Алене:

— Я не приеду ночевать. Просто не хочу, — включил «без звука» и отправился на «Щелковскую» к директору музыкальной школы — в школе закончился капремонт, и директор поменяла дома кухню, уложила в ванной и туалете теплый пол.

Восемь неотвеченных вызовов

Мы потыкались друг в друга в прихожей, директор двигалась всегда степенно-крадучись, шелкнула свет (и прихожую поменяла!), оказалась в черном платье, короткие голенастые крестьянские ноги, отступила и вдруг скинула платье, оставшись в чулках и трех черных треугольных прозрачных заплатках, — сразу почувал запах спиртного, выпила, волновалась, зайти бы в душ, — но

она схватила и потащила к дивану и повалилась под меня, раскорячившись, мне за спину задрались сталью поблескивающие тонкие каблуки — вертелась подо мной какими-то игривыми рывками — поборись со мной, насилуй: перехватывала и отбивала руки: не трогай, не делай ничего, целоваться — я подставил рот, и она залезла в него острым крысиным язычком, делала из себя маленькую и хныкала... отпустила бы в душ, самой жарко — потные виски с прилипшими волосами...

— Подожди, — спрятав наконец язык, хитро улыбнувшись, словно у меня вымазанная морда, погладила волосы, плечи. — Я так соскучилась, очень-очень... Вставай, садись вон туда.

Вон туда: посреди гостиной стояло кресло.

— Можно, я зайду в ванную?

— Слушай меня! Садись. И все снимай с себя.

Она неожиданными дикими пожарными скачками, грохая каблуками, пометалась, готова премьеру: долой свет — оставив особую лампу в розовом коконе, ткнула в музыку, утихомирив до нужного звука какое-то унитазное журчанье и запорные охи, озиралась — ничего не забыла? Скоро не уйду... я сваливал под ноги одежду.

— Сидишь? Закрой глаза. Открывай. Молчи, это важно. — Уселась напротив, в трех шагах, на розовую мохнатую попону; сняла бы каблуки, спят же соседи. — Ты должен оставаться на месте, — она предполагала, что это от меня потребует нечеловеческих усилий; посидела молчком, председатель совета молодых педагогов города Москвы, и, глядя только на меня, не сводя глаз, вслепую дрожаще расстегнула молнию на розовой косметической сумке, оказавшейся под ногами — откуда сумка? — и с большим баллончиком с белой крышкой вдруг поползла ко мне, в своих глазах становясь кошкой (отсосала бы, и поехал, вытерпел бы чай и новшества музыкальной педагогики), — повозила рукой по моим коленям, нащупала с радостным стоном, откупила баллон — крышка покатила по паркету в сто-

рону телевизора — запомнил, искать замучаешься, — нажала распылитель, потрясла, еще раз нажала, и из баллончика запузырила какая-то белая пена; она сунула баллон мне между ног и пшиканьем покрыла этой прохладной, невесомой херней, словно гася опасное пламя — брить? хоть бы подстелила, испачкаем кресло, — отшвырнула баллон, ткнулась мордой в пену и начала жрать, лакать, щекотно и сладко-зажмуренно вылизывать до мокрой чистоты какое-то кондитерское изделие, удовлетворенно хрюкая. Я потрогал ее за плечи — давай, но она не спешила. Когда ей на работу? купил ли машину «друг»? — она напоминаяще погрозила: молчи! и с настоящим гневом показала: место! Целое, тварь, представление! Багровея, пряча глаза, вытасщила из походного набора пластмассовый длинный член, к желтому пульту тянулась проволока в белой изоляции; она зачарованно уставилась вниз и тихонько, осторожно, словно вдевая в иголку нить, погрузила в себя изделие одним плавным усилием — сразу на всю глубину — и прижала ладошкой, чтобы глубже еще, и откинулась, запыхтев, заткнутая, словно пробкой, запечатанная; вздыхала, ворочалась, приподнимала бухую голову на меня: как? — пыталась подвигать, но неудобно самой, и, не поднимаясь, не шевелясь, как парализованная, протянула мне пульт: ты! Я пересел, нащупал колесико на коробке, пахнувшей каким-то машинным маслом, и двинул в сторону «больше» — машинка не заводилась — нет батареек; я отколупнул нутро: да — и показал: нужны две пальчиковые.

Она подняла голову и в забытии пробубнила:

— Где-то ведь есть. Покупала недавно. Сейчас разве найдешь.

— Можно из часов вынуть, — я вспомнил что-то тикающее на кухне.

— Там одна. Ну ладно, — она сильно схватила меня за шею: целуй, чтобы скорее забылось, целуй, сама рукой что-то двигала, поправляла, шевелила вниз и довольно ворчала.

– Любимый... Я хочу...

Я повозился, повисел в ночной паутине и все-таки, как освободила, понял: сделаю – и пойду.

– У тебя есть презерватив?

Она ничего уже не понимала, покрываясь какими-то пятнами, взмокнув. *У тебя есть презервативы?!*

Заторопилась, словно сбегу, одной подвижной рукой зашуршала в своем арсенале, другой придерживая и подпихивая в себя пластмассу, болталась проволока и пульт подъезжал ей под зад – нашла! Мне дольку фольги, упаковку с осклизлой начинкой, сама с дрожащим вздохом потянула, выдавила из себя палку и подергала проволоку – отодрать? а вдруг вырвешь с мясом, разломаешь, распорешь... – мы пресмыкались на квадратном метре дивана, не видя друг друга, под водянистую музыку ублюдков, да подожди ты! – я сунул в пасть, нашупал, зажал клыками и перекусил изоляцию и железную многострунную нить – всё; она сразу легла, надеясь, что я сам возьмусь долбить и шевелить и проворачивать – но я рвал зубами край фольги и выдавливал резиновый пахучий сгусток – где тут лицо, где изнанка, хрен поймешь – перекатывайся на живот! – она перевернула тушу, одной рукой, как рану, держа свою залатанную пробоину и подставляясь еще: дублем – я быстрее-быстрее-быстрее... отвернувшись, задыхаясь, чтоб хватило распирающей крови натянуть, – она пихнула мне черный флакон с фотографией накачанной жопы, и я оторвал башку флакону и выцедил вязкую струю, пристроился как-то и, ну! ну – она напряглась, лошадино махая головой, растрепав космы, неуместно вываливая «о, господи!», попав в свои предсонные, одинокие, рукоблудные мечты – оставалось ей секунд двадцать... я прощально, словно впервые, вглядывался в фотографии в детских рамках неразличимых в полутьме людей, расставленные по полкам, в тяжелые шторы, меж которых неспящие окна дома напротив – резина не слете-

ла? — новый какой-то диплом у нее, получит и вешает в гостиной, все на носочках, болят уже икры, быстро доеду, четыреста рублей, чуть быстрее, и все! все!..

Почему-то, как стоял, на носочках, как педераст из балета, как по горячему песку, я посеменял в туалет в неясной радости — вот здесь, за дверью, начинаются пустые улицы, можно постоять под деревьями сколько хочешь, посмотреть на фонари, а потом только выйти на обочину и поднять руку.

— Я сейчас тебя буду кормить! — кричала она с кухни. — Я же была на конференции в Питере, делала презентацию своей методики по работе с детьми с ограниченными возможностями... Чай черный, фруктовый?

Я увидел в телефоне восемь неотвеченных — ничего другого... Но (почему мне тревожно?) все восемь раз звонил Чухарев — Виктория Хххххх вернулась с дачи, прилетела, приехала, застигнута техником-смотрителем, сдана соседями и завтра — тот самый день, что, возможно, откроет... *в тот самый день...*

— Ты же любишь меня? Я ведь тебе нужна?

— Проходите. — Виктория Хххххххххх Хххххх внимательно рассмотрела меня в видефон — высокая, крепкая женщина в бесформенных штанах и длинной рубашке, — увидела: бессонный, старательно выбритый человек в неумело выглаженной футболке и пожилых джинсах, сандалии на босу ногу и рюкзак — я захватил фотоаппарат, человеку с большим фотоаппаратом доверяют. Я стяхнул сандалии и шел паркетными полями за ней босиком, она не представляет, сколько лет мы за ней шли, за ключами — ключи от третьего июня, имя убийцы Нины Уманской оказалось у женщины, хотя она этого не знает и может их легко выбросить, если скажет «нет»,

я не волновался, я думал: ей будет трудно мне отказать, в квартире одна, улыбающегося бедняка трудно выпроводить. Я вдруг почувствовал себя старым человеком, пришедшим потянуть за кольцо, вмурованное в землю, пободаться со временем, я постарел, но мы много успели.

Я выложил на предложенный стол фотоаппарат, два заготовленных листка (ее доверенность, свою расписку) лицами вниз — она отстраненно скользнула взглядом по бумаге, — показал липовое удостоверение — фото свежее, печать; с трудно получавшимся у нее сочувствием Виктория Хххххххх послушала ложь про музей 175-й школы: внимание к выпускникам, тем более с такой громкой фамилией (пила ли она кофе или предложила только мне? я не запомнил), и, словно с подноса, выложила мне приготовленные накануне (заодно перебрала и сама) останки отца, годные посторонним (хотя так трудно остановиться, когда смотрят прямо в глаза, грустят с тобой и понимающе улыбаются забавным историям и задают *те* трогательные вопросы... Их тебе давно никто не задает, а так хочется, чтоб говорили с тобой, как с ребенком! Мало теплых людей, даже родственникам — никому никого не жалко, и приходится, помолчав, против воли раскрыться случайному, но — тепло: вряд ли это пригодится для вашего музея, вы уж там сами отберите, что нужно, а про это я никому еще не рассказывала и вы никому не говорите, просто я... чтоб вы себе представляли — сама потом себе не ответит: зачем? Зачем признаются на допросах убийцы, против которых доказательства нет, — «излить душу», «муки совести» — как там еще сейчас называется Бог? кому мы служим?). Я под шелест волн смотрел на ее смуглое, словно сожженное лицо, на облако черных волос — такие, должно быть, называются «пышными», на гладь приличного привычного размашистого богатства квартиры, сделанной из двух, не запоминая, захлопнув чужую жизнь ненужным словарем (Сальвадор Дали, воровство колес, испанский язык, Кашенко, умер Сталин, «Прогресс», на полном содержании у отца, Сред-

няя Азия, корь, бархатные шорты, письмо Хрушеву, тазобедренный сустав, Америка, партбилет, ЦРУ, «на суд пришли все мои женщины»), я погасил в глазах человеческое тепло и прекратил подачу раздувающих пламя вопросов — и Виктория Хххххххххх тотчас очнулась: где это я? уже столько времени?! — и по-хозяйски развязно, погромче обычного, словно толкнул:

— Вы знаете, что ваш отец был арестован в июле 1943 года за участие в подпольной организации и полгода просидел во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке?

Она знала. И скрывала. Или *не* знала. И не хотела узнать. Совершенно не важно. Она совсем потерялась и никак не нащупывала, *что* сказать, и правдиво выглядела оглушенной, ей не хотелось, чтобы ее сейчас видели, особенно я, кому столько доверила.

— Отец не был... очень храбрым человеком. Теперь я понимаю, почему он не особенно уверенно ощущал себя в *этой* стране, — она по-другому увидела мои рабочие потертые руки с криво подправленными ногтями, надолго устроившиеся на ее столе, но ничего не спрашивала, я стал противен... либо все знала сама, читала справку о реабилитации.

— Школьники играли. Ничего серьезного. Но в организации использовались фашистские звания, и «рейхсканцлер», Володя Шахурин, застрелил одноклассницу на Большом Каменном мосту. Громкая история. Дело «волчат», «Четвертая империя», не слышали? — Я на ее месте пробудился бы от жажды, потребовал деталей: папа, вдруг расширившаяся жизнь отца, уже столько лет усыхающая в прошлом, долгожданные объяснения давних загадок. — Но она брезгливо молчала, и я помолчал, давая понять: главного не скажу, *там много грязи*, но есть возможность по-быстрому договориться. — Вы должны меня понять: мы не можем оставить без внимания этого дела, тем более что сейчас всплывают какие-то дикие слухи, публикации готовятся в желтой прессе... — я презрительно поморщил-

ся. — Чтобы остановить ложь, я должен опираться на материалы дела. Многое мне уже дали, но ради формальности архив требует доверенность от самих мальчиков или родственников. Я искал, мальчики давно поумирали. — Если она созванивается хотя бы раз в год хотя бы с одним, мне можно подниматься и двигаться на выход, но я верил — *нет*, уж больно другим, чужим прожил в той проклятой школе Хххххх Хххххх, да и страх гнал их по противоположным концам жизни. — Родственники разъехались, повезло вот только вас найти... Вам не составит труда подписать мне доверенность, потому что роль вашего отца в организации, как я убедился, самая небольшая. Случайная. Чтобы вас отблагодарить, я дам вам расписку, что ни в каких публикациях, ни в каких экспозициях, ни в каких научных или публицистических моих работах, — перечисление впечатляет обыкновенных людей, — имя вашего отца и факты его биографии упоминаться не будут. Никогда. И я позабочусь, чтобы страницы дела с его показаниями уничтожили. Словно Хххххх в «Четвертой империи» и не состоял. — Я пододвинул ей свою расписку, свой настоящий паспорт и первой очередью — доверенность, с заметным местом для ее подписи.

Расписку она прочла внимательно, а доверенность взяла из вежливости, всего лишь подержать в руках.

— Но как-то... Нужны какие-то мои данные... Паспорт.

— Там все заполнено.

Виктория Хххххххххххх горько усмехнулась, словно ожидала чего-то подобного, осторожно подняла доверенность и дважды проверила — цифра за цифрой, надеясь спастись, убедиться, что играющая ею сила все-таки уязвима и она может остановить свое ледяное сползание в худшее из того, что... Серия, номер, прописка, телефоны — всего-то сто долларов паспортистке, а получается сильнодействующе.

Я катнул ей ручку с черным стержнем, ни одним движением не допуская «нет», «потом», «я должна посоветоваться с мужем»:

— Только ваша подпись.

— Но такие доверенности... Я, правда, не сталкивалась... Как-то заверяют. Надо будет потом ехать к нотариусу?

— От вас больше ничего не потребуется. Только сейчас один раз расписаться. С нотариусом мы договоримся. Он заверит вашу подпись без вашего личного присутствия.

Мы — вот, что ломало ее, — *мы* ее, хозяйку хорошей квартиры, заставляли на кого-то работать, ей стала неприятна, омерзительна собственная искренность, открывшая мелкие подробности детства и смерти папы, искусно выманенное из нее тепло, доверчивость, пустившая чужого в дом, своя недавняя снисходительная вежливость к простолюдинам-краеоведам, нестерпимо глупая своя готовность пойти на человеческий голос, хотя, как и всегда, никто никому не нужен с тех пор, как умерла мама, каждый один... и с усталой grimасой — все, что могла, чтобы указать нам место, отдалиться, спрятаться в надуманное равнодушие, превозмочь нас в цинизме и холоде, — она (на это я рассчитывал) широко, небрежным росчерком подмахнула бумагу и пихнула ко мне — вон!

В дверях я дал ей возможность еще по мелочи отыграться:

— Хотите, я сниму для вас копию показаний вашего отца?

— Мне ничего не надо.

Бегом, пропуская ступеньки, навсегда — я выскочил на свет и бросился через дорогу без светофора и перехода к набережной к двум человеческим фигурам, ждавшим меня напротив Нескучного сада, чуть правее Андреевского моста, — они оглянулись, уже все зная, — я помаhal белым листом, и они смотрели на меня, как смотрят

на бегущего ребенка, и вспышка света превратила их в фотографию, добавив резкости, и окончив, они так и остались — усыхающий, прямой, как вешалка, старик, в серых, намертво выглаженных брюках от единственного костюма, с морщинистыми, пятнистыми, уже нечеловеческими конечностями, висящими из коротких рукавов летней белой рубашки, — в седом сиянии седины, строго и печально смотрят глаза, немилосердной скобкой перехвачены губы — и веселый, краснолицый, рассыпающийся русский человек с деревенским жидким чубчиком набок, птичьей, клювастой, задорной головкой, с добрым, близоруко вглядывающимся лицом, с трудом остановленный фотоаппаратом, перехваченный в желании: навстречу, показать, воскликнуть, перемяться — так страшно ему остановиться и что-то понять... вот они и сейчас, я вижу, они ждут меня там в неопределенном летнем месяце, пока я схожу за ключами.

Я добежал через дорогу, и мы молча двинулись к мосту.

На первой ступеньке я почему-то оглянулся, словно она могла поджидать меня у подъезда, на улице в плывущей, истекающей ночи, — дверь заперта на верхний и нижний, меня здесь не было давно, соседи поменяли дверь, незаметно поменялось вечное детское население подъезда, здороваются ставшие незнакомыми школьницы-дылды, надо заново заучивать имена малышни... я остановился за порогом: вещи, что это? Вдоль стен в темени стояли коробки, тюки, что-то страшное громоздилось на вешалках — свою квартиру открыл? я уезжаю? Я, боясь пройти, перегнулся — а кухня? — кухонный стол едва виднелся из-под неизвестной пузатой посуды и свертков — да что это, словно в полусне, я тупо остановился: вспомнить что-то простое и поймешь... Высокая девушка показалась впереди, наверное, из комнаты, не выпустив электрический свет, не показав лица, и твердым неславшим голосом:

– Не пугайся. Я перевезла свои вещи. И кое-что докупила. Я все потом разберу. Очень устала и вечером не успела. Давай, позавтракаешь? Или сразу ляжешь?

Я продвинулся по прямой и опустился на кровать – не верится, что дадут лечь, квартира готова на выезд, заезжают другие, я могу еще посидеть, болят ноги, на кухне можно спросить попить... мне показалось, что я сижу на берегу черной воды, вот она чуть впереди, плещет, мягкое земляное дно уходит под пресную воду, висят на ветках пресноводные крабы, а дальше только вода и с ней смыкается ночь... точно не засну; мне казалось: больше она ничего не скажет – она не подходила, словно и она, моя любимая, увидела воду и осталась с другой стороны, но говорила, чтобы я не думал, что один:

– Начала разбирать, но так трудно. Каждая вещь – мое прошлое: когда купила, куда надевала... С кем. Когда переносишь на новое место, вещи сопротивляются – заставляют вспоминать то, чего уже не будет, словно им тоже больно, я успокаиваю – привыкнете, мы будем очень счастливы здесь...

Я смотрел под ноги, иногда пробно переступая: нет, не хлопает, в комнате точно кто-то еще, что-то задумали они; я уезжаю? куда? и чувствовал облегчение: пусть хотя в эту ночь что-то случится, я изменюсь и утром увижу мир страшным и чужим, вспомню про смерть, небольшое количество оставшихся дней и больше ничего – черное... я погружался в тишину, потолок не гладили расплывающиеся конусы автомобильного света, как гладили когда-то над кроватью мальчика в другом городе, где узоры на наследных коврах напоминали многовесельные корабли армии, идущей в Индию, все спали, то есть – все расступились, я раскрылся, раковинной, пустой – ничего нет, нечего отдать... она говорила жалеющим полуплачущим голосом, я уже так далеко, нет – *давно* не знал этой высокой, хотя привык – есть она.

– Шубы привезла, на зиму. Помнишь мою любимую шубу? Так радовалась, когда мне ее купили, что утром

вскочила с кровати, накинула на голое тело и побежала к зеркалу... Знаешь, как приятно... Я знаю, тебя раздражает, когда все не на своих местах, не так, как ты хочешь. Я наведу порядок. Ты сможешь работать дома. К нам будут приходиться гости. Мы будем одни, только когда сами захотим, — говорила она, представляя своего сына, утренние совместные чаепития, выполнение домашних заданий, крепнущую мужскую дружбу большого и маленького. — Мы устроим грандиозный Новый год! Потому что как встретишь Новый год, так его и проведешь — это я знаю точно! Мне бы хотелось все знать про тебя. Чтобы ты не скрывал свои желания, фантазии... Подсказывал, как тебе больше нравится. У тебя есть фантазии? Расскажи... Если мы не сможем осуществить их, то даже поговорить об этом будет очень волнующе. Мне хочется попробовать на природе — большие пространства меня не пугают... Хочется еще: красные кружева, свечи, масла... Зеркало. Мы все это обязательно попробуем.

Что-то требовательно и тяжело упало на кровать, рядом — я, не посмотрев, опознал рукой: ремень, стекло — *фотоаппарат*, а я его хорошо прячу, она прошла мимо огромной тени, встала подальше и распахнула шубу, длинно забелев голой кожей от шеи до пят, водруженная на каблуки:

— Сфотографируй меня.

— Сегодня сфотографирую. А что мы будем делать завтра? Послезавтра?

Она ненужно постояла и, стыдливо сторбившись, уползла куда-то далеко, пошуршала, захлопнула дверь и включила воду, первый звук — текущая вода, все двинулось, тронулось, отправился поезд, женщина плакала, словно в соседнем купе, — в моем, как я и предполагал, оказалось три вонючих ростовчанина с наколками РВСН на предплечьях, одного на вокзале приостановил милиционер за легкую выпитость и, выяснив, что поезд отходит вот-вот, усадил за решетку для составления некого

рапорта, ростовчанин молил («Брат, брат...»), торговался («Ты за билет мне заплатишь, если я опоздаю!»), сулил пятьдесят долларов, милиционер тихо сказал: «Нас трое» — сто пятьдесят, и ростовчанин сдох и, отправившись с Белорусского вокзала, раз в пять минут повторял, робко взглядывая на меня:

— Проклятые москали! Всех до одного в Ростове буду в задницу..! Да у нас за сто пятьдесят рублей мент тебя будет..! Сто пятьдесят баксов! Москали — педерасты.

Они пообедали и пятьюдесятью граммами самогона упились так, что падали с полок; я показал проводнику сто рублей и до Бреста ехал в соседнем вагоне один — в Бресте пахло акацией, ходили старушки с просветленными лицами: «Куручку жареную? С молоденькой картошечкой?», дворники поливали газоны — полтора месяца без дождей, строители выкладывали брусчатку, ведущую к прекрасному слову «рюмочная», нервно переступали скворцы, взмывали ласточки — давно я вас не видел. Свободно по высохшей траве прыгали мелкие сухонькие старички-кузнечики — я долго ступал туда-сюда, пытаюсь напасть на след, прихватил одного в надежде почуять, как забьются внутри кулака мускулистые травяные прыжки, но бедняга угодил в тиски между пальцев, тронув душу горьким: убил! но как только разжал кулак — выстрелил вверх и влево. Ожидая ночи, я полтора часа простоял посреди местного Арбата имени то ли Ленина, то ли Энгельса, разглядывая великолепно развитые задницы белорусок — чудовищные задницы в сочетании с тонкой талией производят сильнейшее впечатление, — и чуял себя моряком в портовом городе: хочется зацепиться здесь и не зацепишься, все равно ночью уплывать, всем сказать: я не такой, как вы, со мной надо по-особому; когда стемнело — двинулся к границе, она выглядела скучно: дорога, перегороженная железным заборчиком — забор выезжал и отъезжал на колесах, на нем висли загорелые мордатые молодцы с пачками долларов за

поясом, с барсетками размером в ленинский шалаш в Разливке, и не верилось, что вон там — другая страна, другая история, язык, дома, воздух, та самая Польша, с которой нам тысячу лет текло одно дерьмо (включая чемпионат мира по футболу 1982 года). Я отправился в Брестскую крепость, что оказалась полем с залитыми бетоном кирпичными остатками, уткнувшимся в Польшу, как фокстерьер в барсучью нору, обведенным каналами с зеленой водой; проходя мост, мне захотелось увидеть большую рыбу, отчетливую и недостижимую, нет — вода пузырилась, что-то животно проглатывало с поверхности мелкими губами, но не рыба, нет. Вечный огонь, сгущая темноту, дышал ровно и спокойно, как добрая собака, я шел по крепости, карту ее рассматривал в семь лет и играл в героическую оборону, в памяти сам собой появился майор Гаврилов, пистолет ТТ... что бы появилось в памяти моего сына, если бы я оставил сына, — Человек-Паук или покемон Пикачу? — Старухи, согнутые ивы, протянувшие корявые ветви над землей, помнящие все; я смотрел на нехотя подступающую тьму: вот в такое утро они и двинулись на нас, смотрели в бинокли... Я не знал, где начнется, где сможем оторваться и уйти за кордон, пока не наступила ночь, но верил: догадаюсь сразу; из кучи кирпичей у собора забрал зачем-то обломок, заворотил за угол и увидел — здесь. Старая знакомая — черная колонка, надо качнуть рычаг, чтобы пошла вода. Я схватился за рычаг, с радостно воскресшей умелостью припал губами к зашипевшей струе, вода показалась неледяной, но десны сразу заломило, — забытый вкус бабушкиной улицы, хотя; возможно, это всего лишь вкус ржавого железа, — и закрыл глаза.

1943 год

На Командорских островах начался лов голубого песка, снайперы Дадашев, Богданов и Джабраилов за семнадцать дней истребили шестьдесят шесть фашистов.

В Москве плохо убирают снег, школьники на каникулах чинят обувь красноармейцев, в зоопарке верблюд тащит за собой тринадцать санок. В доме на улице Горького отдельные граждане нарушают постановление Моссовета и колют дрова прямо в квартире. Молодые работницы, выполняя счет мести, делают за смену три-четыре нормы за Ольгу Селезневу, угнанную в неволю. В Советской Армии ввели погоны: пехота получила малиновый цвет, артиллерия — красный, авиация — голубой, кавалерия — светло-синий. В доме пионеров дети вечерами ножницами вырезают портупейные прокладки для головных уборов. Театр им. Станиславского покупает у населения кастаньеты и испанские гребни.

Учащиеся фабрично-заводских школ изучают методы метания гранат с лыж: левая нога вперед на колено, правая лыжа перпендикулярно для упора, граната на замахе, две палки в левой руке. В Москве соревнуются истопники-кочегары за экономию топлива, инженер Ньюберг выпускает настольную игру «Бой танков», в тренировочном полете погибает Марина Раскова, 19 января наши войска овладевают городом Валуйки, освобождают мою маму и бабушку. Писатели совещаются «Как работать над оборонной песней». Киргизские охотники добывают с беркутами лис и волков — из меха шьют теплые вещи для бойцов. В цветочном магазине на Сретенке появляется белая сирень, любимица москвичей, — цветок нашей победы. Гр. Зенов выигрывает в лотерею десять тысяч рублей и просит передать их в фонд постройки авиаэскадрильи.

9 февраля советские войска овладели станцией Солнцево — освободили моего отца и бабушку. Выставка: что может сделать ребенок в подарок бойцу — баульчик для двух катушек и иголок, футляр для расчески, домино, футляр для конверта. Уволен директор магазина за неправильный отрыв талона для продажи сельди. «Дорогой дядя боец! Когда пойдешь в бой, бей немца насмерть. Я сам смелый, хоть и малыш».

Весна пришла рано, ожидали бурного паводка, грозящего унести оставшиеся на льду Москвы-реки штабеля дров, освобождены проклятый Ржев, Вязьма, сержант Васильев вызвал огонь на себя, когда его землянку окружили немцы. Майор Богачев во вражеской траншее застрелил в упор трех немецких солдат и офицера, а когда кончились патроны, убил прикладом еще троих немцев. Колхозник Харитонов, тяжело раненный оккупантами, собрав последние силы, крикнул: «Да здравствует Советская Родина! Смерть немецким захватчикам!»

Детские мастерские ремонтировали тумбочки и табуретки. Возобновилось производство тульской гармони. В апреле награжденные Сталинскими премиями слали благодарственные телеграммы императору, получая одинаковые ответы: «Примите мой привет и благодарность», почтальон Шалаева седьмого апреля разнесла только часть писем, а остальные спустила в унитаз — четыре года лагеря. Через пять дней Калинин принял верительные грамоты чрезвычайного посланника и полномочного министра Мексики Кинтанийя, колхозники начали сеять на коровах и быках, заведующему гаражом Лохуарду в парикмахерской отказались вытереть мыло после бритья, коли он не желает освежиться одеколоном.

«Знаешь, о чем я мечтаю ночью или когда бываю один? Ну, во-первых, конечно, о победе. Потом о тебе. Вот приезжаю я в Москву. Схожу с поезда. Солнце светит, деревья шумят. Навстречу идешь ты со своими подругами. А я, между прочим, приехал не один, а с товарищами. Мы идем по широкой улице. Разговариваем, смеемся. Всем весело и хорошо. Заходим в ресторан. Знаешь, я никогда не был в настоящем ресторане. Садимся за столик, кругом мраморные колонны, хрустальные люстры. На столе бутылки — лимонад желтый с пузырьками и еще всякие разноцветные штучки, пирожные, конфеты. Я читаю вам стихи», — письмо разведчика девушке. Милиция медлила с оформлением огородникам постоянных пропусков для поездок за город.

Двадцатого апреля мексиканского посла принял т. Сталин и через два дня ответил на письмо президента Мексики Авила Камачо.

Восемнадцатого мая Президиум Верховного Совета СССР назначил т. Уманского послом в Мексике. Тяжелые воздушные бои на Кубани, снайперская война.

Второго июня садоводы приступили к посадке малины. Молодежь помогает семьям фронтовиков обрабатывать огороды. На бульварах торгуют газировкой, морсом, квасом, хвойным витаминизированным напитком — стакан содержит в пять раз больше витаминов, чем один лимон. Третье июня — четверг. В «Ударнике» — «Она защищает Родину».

3 июня (далее)

Я увидел: Москва опустела страшной краткой пустотой новогодней ночи, людей вобрали дома, если остановиться (я не мог, ноги сами несли силой юной, начальной любви), за рекой, за дальними окнами Дома правительства на Серафимовича угадывались живые тени за безобидными занавесками детских расцветок — нам оставили неподвижные машины и фонари, только не людей, чтоб никто не мешал; я спешил правым тротуаром Большого Каменного моста, высоко над черной, обрызганной электрическим серебром водой, коротко и радостно оглянувшись на Кремль — *мы дошли!* — и свернул направо, на лестницу к Театру эстрады — площадку, где убили Нину, чтоб скрыть кровь, посыпали песком, в углу валялись цветочные букеты.

— Готовились люди, — снизу тяжело поднимался старый... сильно хватаясь за перила. — Песочек, цветы... Восстана-авливали картину... Цветочки это я сказал убрать. — Он поднялся, краснолицый ветеран-физрук, сутулый, с высохшими и провисшими плечами, нарядился в белые

кроссовки, синие мягкие штаны с лампасами и молодую красную майку, под которую уходила золотая цепочка на загорелой груди; он хрипел, дребезжал — обычный непростуженный голос, долетающий до середины ковра, ринга, поля, конца бассейна, он приближался — примятый, сломанный нос, ультрамодная щетинистая стрижка с безукоризненным пробором, с трудом поворачивающаяся в стороны голова, — издали выставил корявые борцовские руки, подгреб ближе и обнял: здравствуй — и наставил на меня крохотные полузавешенные старческие глазки. — А ты тоже изменился... Дай-ка я на тебя посмотрю. Не мальчик. Солдатиков все собираешь? Были мы тут в Китае на сборах, хотел купить, а вспомнил — ты ж только русских. Майку привез. А то говоришь, я жадный. Да забыл взять. Телевизионщики, туды их мать, уже прибежали... Глянь, ничего, что я тут — похулиганил? — Он хитро сморщился, угадывая: понравится? нет? — на освещенной до белого набережной выставили пару носилок, накрытых простынями, из-под простыней торчали босые ноги. — Я как мыслил, — хрустели в физруке железные рычаги, собирая из звуков слова, слова с вязким грохотом ленточным транспортером подавались наружу. — *Для впечатления!* Никто не поймет: откуда, а спросить побоятся. И страх: а вдруг мы простыни снимем и попросим по одному подойти. Все знают: убийца подойдет — на трупе выступит кровь. А я попросил борца легкого веса с факультета единоборств и девочку гимнастку, Лена такая, кандидат в мастера, полежать за зачет — спокойные такие ребята, спортсмены, — они и уснут там. Не нравится? А если хочешь меня послушать: пусть будет!

Пора спускаться; он полз следом, грохоча непрерывно, как камнедробильный механизм:

— Да пойдём, а то скоро куранты. Я им говорю: зачем столько мест? Это ж не футбол! Ну, сколько там свидетелей — ну, десять. Самое большее — *двадцать*, — растопыривал пальцы, — вон их повели.

Телевизионщики выводили из автобуса людей с забинтованными лицами, свидетели в синих больничных халатах брели слепо, свободными им оставили уши и рты, каждого провожали (и руки оказались забинтованы), помогали переступить аппаратуру и обходить мачты освещения, вели к выстроенным амфитеатром ярко освещенным белым скамейкам, каждого на свое, пронумерованное синим числом место, и прихлопывали по плечам: садись здесь — заполнялись первые ряды, телевизионные засаленные люди пробовали звук, менялся свет — проходом меж рядов, на середине площадки вынесли три небольшие трибуны — сразу положу руки, чтобы не видна дрожь; я остановился: когда окажусь там, где все станет видно, я не увижу ничего за белым кругом полупустых рядов, забинтованных, поворачивающихся на звуки лиц — и я осматривался напоследок, поднимал голову на мост, к небу — звезды? — может быть, где-то она... нет, ее бы не пропустили, но вдруг кто-то есть, кроме нас.

— Пока толстый не подошел, опаздывает, туды его мать, как всегда, *профессор!* ты мне задачу поставь, правильно я понял твой настрой. — И физрук шекотно прошептал мне в ухо: — Валим Микояна?

— Ты что? Выясняем, как на самом деле.

— Да я так и понял! — захрипел физрук, быстро оглянувшись. — Выясняем, так сказать, обстоятельства, компетентные органы. — И дошептал: — И валим Микояна.

Я повернулся к нему:

— Ты не понял?! Мы устанавливаем ПРАВДУ! — И еле сдержался, не замахнулся, не крикнул!

Физрук смолк, словно что-то пережевывая, и обиженно отвернулся:

— Вот не можешь ты просто, без этих, своих... выебонув... — Еще помолчал. — Правду. *Правду*. Конечно, правду. Для чего я еще пришел. Только больше не приду. И позовешь — не пойду. Остарел, видно, не гожусь! Семьдесят шесть двенадцатого июня. Вышел из доверия. Зря

я тебе майку из самого Китая вез. Злой ты стал такой последнее время, ничего тебе не скажи. Правда! Но как положено, перед стартом — рисуем план боя: *какую правду?* Для чего правду? Задаем направление. Чтоб от правды польза была. Если не так старый понял, скажи: валим Шахурина — и завалим Шахурина. А на меня не кричи. Здесь студенты мои лежат.

— Ты можешь понять?! — вцепился я в физрука, он горько качнул головой и вырвался, и рывком обнял нового — рыхлого, бледногубого с опрятной православной бородкой мужчину в сверкающем костюме:

— Всегда ждем — *профессора!* Заставляешь, гад, нервничать. Вот-вот же пробьет!

— Добрый всем вечер! — профессор недоверчиво, с плохим предчувствием отдал девушке с телевидения кожаный портфель, отключил мобильник, отдал и его. — На сколько сегодня? Час, полтора? Утром лечу в Екатеринбург к клиенту. Да, все возимся с телекомом. Отдыхали? А загар свежий. А вы как всегда, — он еще раз с удовольствием приобнял физрука, — загорелый, красивый... Молодой! А прическа! — с восторгом щекотал пальцами по строго расположенной седине. — Люблю это дело, надо было мне в парикмахеры...

Физрук вкрадчиво прохрипел:

— А вот скажи, батюшка... Тьфу ты... сегодня — *профессор!* Раз ты завел такой разговор, а как ты любишь, чтобы там у женщины: прическа, налысо или чтобы — как есть?

— Когда как, — неопределенно ответил профессор и мигнул мне. — А вам как?

— Мне что-то в последнее время одни голенькие попадают.

— А вот как с этим обстояло в советское время? — посерьезнел профессор.

— Да никто ничего не стриг! И не знали! — грохотал физрук, массируя себе левое предплечье, намеренно оставляя меня за спиной. — И за границей, когда выез-

жали. И польки были, как наши. И венгерки. И кубинки. А немки — так они и сейчас даже под руками не бреют! Только если татарка попадалась. Татарки все бреют.

— А француженки? — спросил я.

Физрук запнулся и признал, глядя на носки кроссовок:

— Француженок у меня не было.

Нам велели готовиться, пожилые девушки подошли прикрепить микрофоны.

— Начинаем по курантам? Последний заход? — кивнул мне профессор.

— Хочешь спросить, кого мы будем валить?

— Да нет. Что-то случилось?

— Сейчас все случится.

— Бьют куранты и — выходим? Сначала некое вступление, да? Ну, помолчим? Надо все как-то *осознать*. Настроиться. В целом интересное получилось дело, хотя достаточно трудоемко и длительно... Та-та-та... А прохладно, да?

Телевидение делают те, кого ненавижу, для тех, кого презираю. Не спал, и все тяжелей, и говорить. Ничего, буду слушать. Твари надеются, что мы увидим только то, что покажут. А после: первое дело выпасться, мертвое, слабое желание. И где-то жить. Сопутствующие люди и обстоятельства, жить и просыпаться.

— О! — физрук довольно поднял палец. — Бьют! — Как он расслышал куранты? Хрестоматийные перезвоны, неузнаваемо измененные речным расстоянием, призрачно стекали под Большой Каменный, физруку ожесточенно махали руками: тихо! нельзя ничего! вас же предупреждали! Он сокрушенно развел руками, сплюнул и пробубнил: — Задолбали... — И, что-то вспомнив, торопливо спросил: — Лигу чемпионов смотришь? А я никак не куплю тарелку... Все-таки дорого. Ну и как тебе «Севилья»?

Нас поманили, мы тронулись к узкому проходу меж рядов, в жутковато высвеченный посреди ночи круг, я — последним, и сразу руки на трибуну, к заботливой бумаге и отточенным карандашам...

— Дорогие друзья! — бархатно постелила невидимая скотина. — В рамках дня памяти жертв сталинских репрессий и объявленного Советом Европы года преодоления коммунизма рассматривается дело Р-788, приговор Военной коллегии 4н-012045 дробь 55 по убийству Уманской Нины Константиновны. Остается напомнить правила нашим уважаемым гостям: свидетелям вы можете задавать любые вопросы. Свидетели отвечают лишь на те вопросы, которые слышат, понимают и на которые хотят ответить. Вы готовы?

Профессор пометил нечто карандашом и привычным сочным голосом огласил, извлекая из брючного кармана носовой платок:

— Мы готовы, благодарю вас, — и поприветствовал улыбкой птички насторожившихся свидетелей, хотя они не могли его увидеть, и *замер*: заело, завис... Физрук нечаянно оторвался от трибуны и пьяно пошаркал по кругу без особой цели — глупо улыбался всем вокруг, озираясь, будто в поисках нужной уличной таблички. Прощелестело бешеное неслышное: «Вернитесь на свое место!», физрук с трудом приподнял голову и куда-то ввысь по-рыбы и преувеличенно отчетливо прошевелил губами: «Пошла — ты — нах..!»

(С 19 мая по 30 июля 1943 года в Москве почти каждый день шли дожди.)

— Начнем, я думаю, товарищи, давайте не вставая, — профессор ожил, вел глазами по белоснежным марлевым головешкам, болванкам, пытаюсь хоть кого-то... — Товарищ Шейнин здесь?

Один из свидетелей немедленно заговорил техническим, неживым голосом, словно кто-то говорил за него по проводам, словно включили запись.

НАЧАЛЬНИК СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПРОКУРАТУРЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА СССР ШЕЙНИН ЛЕВ РОМАНОВИЧ: Я постановил приступить к проведению расследования по личному распоряжению прокурора СССР товарища Бочкова.

— Еврей... Законник! — просипел физрук и лукаво взглянул на профессора. — Все евреи — законники, да, батюшка? — Выудил из кармана плоскую фляжку, подумал и все-таки свинтил с нее пробку и отпил добрый глоток.

— Акт судмедэкспертизы... Можем взглянуть?

ШЕЙНИН: Акт от 4 июня, труп девочки-подростка, длина 158 сантиметров, правильного сложения, хорошего питания, грудные железы развиты хорошо... Общий цвет трупно-бледный. Трупные пятна фиолетового цвета, окоченение сохранено во всех группах мышц... Волосы на голове запачканы кровью. Входное пулевое ранение — на левой половине головы в области теменного бугра (*вверх от уха и назад*), круглой формы, выход на правой половине головы... Выстрел, следовательно, производился в направлении *слева направо, снизу кверху, кзади*. Не на близком расстоянии, свыше двадцати пяти, тридцати сантиметров...

Профессор записывал, рисовал и сделал мне знак «молчите!».

— Есть товарищи, что проводили первоначальные следственные мероприятия? Кто первым прибыл на место преступления?

СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ ЖЕЛЕЗНЯКОВ: В 20:15, обходя участок, увидел, что бежит народ и кричит: застрелили! Я — туда. Обнаружил: на спуске с Большого Каменного моста гражданин и гражданка с простреленными головами. Женщина лежала *книзу лицом*, мужчина *кверху лицом*. С постовым Степанчиковой вызвали кареты скорой помощи — мужчину в Первую градскую, женщину в морг-2 Московского университета. Собравшиеся

граждане опознали в убитых Уманскую Нину Константиновну и Шахуринна Владимира Константиновича...

— Владимира Алексеевича.

— И с лейтенантом Локтеевым убыли на квартиру к Шахуриным на улицу Грановского.

— Вы опросили свидетелей?

ЖЕЛЕЗНЯКОВ: Не представлялось возможным. Не видел никто.

— Мальчик был еще жив. Он говорил что-нибудь? Он говорил? Ну, как угодно, давайте дальше.

ПОСТОВОЙ МИЛИЦИОНЕР ЗИНАИДА СТЕПАНЧИКОВА, 18 ЛЕТ (*постовые-женщины дежурили с трехлинейными винтовками*): Я прибежала на место события минуты через три...

— А почему вы так определили? Вы слышали выстрелы?

СТЕПАНЧИКОВА: Выстрелы — нет. Люди кричали.

— Вы не пробовали найти оружие?

СТЕПАНЧИКОВА: Искала. Ничего не нашла. И подумала, что пистолет забрали. Убийцей был Шахурин, сперва застрелил девочку, а потом в себя.

— Зина, а почему вы так решили? Кто вам сказал, что стреляли из пистолета?.. Вы нашли кого-нибудь, кто видел *момент выстрела*?

СТЕПАНЧИКОВА: Никто не видел. Хотя людей собралось множество. Особо запомнилась одна дама.

— Чем она вам запомнилась?

— Она узнала девочку. «Нина!» И кусала в отчаянии пальцы. Брюнетка. Хорошо одета. Серый плащ. Шляпа. Я запомнила синие туфли.

— Вы видели тела? Володя что-то говорил?

Профессор подождал и продолжил:

— Лейтенант Локтеев здесь? Вы ходили к Шахуриным на квартиру 3 июня?

ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ ЛОКТЕЕВ: На квартире опросили домработницу. Установлено: Уманская и Шахурин были знакомы. 4 июня предполагался выезд това-

рища Уманского в Америку. Посещали друг друга на квартире. Володя пришел домой в два часа дня, радостный — сдал зачет по геометрии на «отлично». Примерно в 16:00 к нему пришел его товарищ Микоян. В 18:00 они ушли гулять. Товарищ Шахурин, уезжая из квартиры в наркомат, оружия никогда дома не оставляет и, возвращаясь обратно, убирает его в шкаф, который постоянно запирает на ключ. Пока находились в квартире, позвонили из больницы: Володе сделали операцию, прошла благополучно, находится в сознании.

— Кто звонил?

ЛОКТЕЕВ: Не знаю

Физрук весело хрипанул:

— Батюшка, отпусти ты с Богом милицию, они, как услышали «Микоян», «Шахурин», уже никуда не смотрели, их дальше кухни не пускали, топтались в подъезде и ждали НКВД — добрые, малограмотные, давай с докторами поговорим — хирурги тут?

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ: Доставлен без сознания. Сквозное пулевое ранение с повреждением обоих полушарий. Состояние крайне тяжелое, клочущее дыхание. Из раны выделяется белое мозговое вещество. Выстрел *произведен в упор*, в височную часть.

При нем денег пятнадцать рублей и часы белого металла с разбитым стеклом.

Решено провести трепанацию.

Зрачки расширены со слабой реакцией на свет. В руках легкие хватательные рефлексy. Нарастающее кровоизлияние в глазницах. Слегка потеет. Вновь учащенное дыхание. Вновь проявляются небольшие подергивания лица. Состояние остается крайне тяжелым. Пульс нечеткий и крайне мягок. Цианоз лица и кончиков пальцев. В легких рассеянные хрипы, жесткое дыхание. После крайнего урежения дыхания до 56 в минуту вновь участилось до 66 в минуту. Состояние крайне тяжелое по-прежнему. Зрачки не реагируют. 8:50 — внезапное падение

пульса и последовавшее исчезновение дыхательных движений, прекращается сердечная деятельность, несмотря на применение кордиазола и кофеина под кожу, кислорода и углекислоты вдыханием. Владимир Шахурин умер.

— Царствие небесное, — физрук бегло перекрестился, не особенно уверенно распределяя персты налево и направо, и перегнулся через бортик к безлицему врачу. — Кто хоть лечил?

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ: Спасокукоцкий, Бакулев, Бурденко, Бусалов, Гринштейн, Очкин, Вовси, Арутюнян, Стефаненко, Кочергин...

— О-о, это имена, — наугад брякнул физрук, гордясь, что ему ответили. — Ну а что ты думаешь, *санитарка*, убили его?

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ: Мы пришли к заключению, что Шахурин покончил с собой.

— А почему? — озаботился физрук. — Товарищи по школе обидели? На почве онанизма? — и энергично помахал кулаком у себя меж коленок.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ: Видите ли, выстрел произведен практически в упор. На виске остались следы пороха. И рана характерна для самоубийства.

— Практически в упор или все-таки в упор? — тянул физрук, и все минуту молчали.

— А когда? — ударил я, и врач, робот, несуществующее лицо, вдруг едва заметно, чудесно повернулся в мою сторону. — Когда писали заключение о самоубийстве?

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ: 10 июня.

— Видал? — усмехнулся физрук. — Пятого, когда помер, не написали, нужды не было, никому из старших не требовалось. Труп сожгли, потом уже сели *сочинять*, когда команда пришла.

— Допустим, — профессор катил дальше. — Кто-нибудь видел Шахурин с Уманской до выстрелов?

МАЛЬЧИК ТУРГЕНЕВ ИГОРЬ: Я не видел, как Шахурин стрелял, потому что побежали попросить закурить

у Бори Кирпичникова. Борька дал нам сделать по несколько затяжек. Но видел, как шли — от «Ударника» к Кремлю.

На самом деле — в противоположную сторону.

МАЛЬЧИК ГОРДИЕНКО ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ: Я гулял у моста, видел, как Нина Уманская шла с Володей и Ваню. Вдруг по лестнице с моста вниз побежала публика. Ваню не было.

Детей, наверное, на хрен отсюда...

МЕДСЕСТРА ХАСЯ ЛЬВОВНА АМИТИНА: Я шла с работы из Кремлевки в магазин Дома правительства и на Большом Каменном мосту встретила девочку. Она шла с двумя или тремя мальчиками. Я обратила на нее внимание потому, что она громко смеялась. А через минут десять, когда вышла из магазина, мальчик и девочка уже лежали в крови. Мальчик был еще жив и прерывисто дышал.

— Как вы думаете, во сколько примерно это было? Да вы сидите, мы же договаривались — сидя.

АМИТИНА: Я работаю до семи... Закрывала кабинет, пока шла... Думаю, в 19:55.

— Хася Львовна, вы, как медицинский работник, наверное, обратили внимание, как лежал Володя? Как располагались его руки? Говорил ли он что-нибудь? — Профессор держал паузу после каждого вопроса и безнадежно, но уверенно, словно ему все-таки отвечали, продолжал: — Где именно на площадке лестницы была кровь? И в каком виде — капли, брызги, потеки, другой какой-то формы... Благодарю вас. Товарищи, приглашены кто-нибудь из 175-й школы?

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА БУЧНЕВА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 40 ЛЕТ, СТАРОПИМЕНОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 5, КВ. 21: Общаться с Володей Шахуриным мне было бесконечно неприятно, мальчик держался надменно. Дома позволял себе критиковать учителей. Когда я отчитывала его за плохую учебу в первой четверти, нагло смотрел на часы, чтобы заметить, сколько вре-

мени я говорю. Очень нервный и вспыльчивый. Собирал деньги по подписке на самолет «Школьник», а когда выяснилось, что шестой класс собрал больше, побил организатора подписки из шестого класса, а сбор денег забросил. Вот еще случай: дал Гале Куйбышевой публично на перемене пощечину за то, что рассказала одноклассникам о его побеге в эвакуации из дома за Волгу с какой-то девочкой из-за «любви».

— Боится, — удовлетворенно хмыкнул физрук и опять достал фляжку. — Сидеть не хочет, училка.

БУЧНЕВА: Вообще Шахурин имел большую тягу к девочкам, всем давал характеристики. Я знаю, что Володя вел романтический дневник, переписывал стихи на английском и немецком. Дружба с Ниной не способствовала успехам в учебе...

— Вы не пытались поговорить с родителями Шахурина?

БУЧНЕВА: Я ставила вопрос перед ними. Родители сперва критически отнеслись, но потом заставили Володю учиться лучше. Софья Мироновна рассказывала, что Володя страшно переживал из-за своей посредственной успеваемости.

После разделения мальчиков и девочек он стал потише, не наблюдалось возбуждение, напротив — пассивность, мы посоветовали родителям показать Володю врачам, кажется, у него определили переутомление.

ЛЕОНОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №175, ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР: У Шахурина проявлялась нервозность: подергивалось лицо, мальчик заикался, по просьбе матери его освободили от испытаний 20 мая по причине нервного расстройства. Знаю, что частенько раскатывал на машине и что Софья Мироновна применила к Володе *физическое воздействие* за угон отцовской машины.

За пощечину Куйбышевой Шахурин извинился перед большинством девочек.

Нина... Первое время довольно замкнутая. Девочка, надо сказать, выделялась особенностями, связанными с пребыванием вне массовой советской школы... Дружба с Шахуриным была замечена с начала учебного года (*от страха директор перестаралась, встречались с февраля*), и мы сразу поставили в известность Уманских, тем более что мама Нины сама просила школу подсказать, как воспитывать дочь и каких друзей выбирать. С первого января учение стало раздельным, 20 мая Нина покинула школу в связи с отъездом. Я не отрицаю, что Володя также дружил с Ваню Микояном, но Ваню является, по наблюдению моему, простым, скромным мальчиком, без всякого чванства и гонора.

УЧИТЕЛЬ ГУРВИЦ ЮЛИЙ ОСИПОВИЧ, 60 ЛЕТ, БЕСПАРТИЙНЫЙ: 3 июня Володя Шахурин сдал мне зачет по геометрии. Уходил домой довольный. (*Гурвица, маленького, худого, «темпераментного» на родительском собрании Полина Молотова назвала «школьным папой», соавтора Гурвица по учебнику геометрии посадили, Юлий Осипович, как запомнилось свидетелям, многого боялся, но, единственный из учителей, ученика Шахурина не пнул.*)

ОДНОКЛАССНИК АРТЕМ ХМЕЛЬНИЦКИЙ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ – СЫН ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА: Теперь насчет нашей организации. Она возникла с декабря 1942 года, создал ее Володя и назвал «Роза юга». Входили: Шахурин, Хххххх, Бакулев, Реденс, Барабанов, Серго и Ваню Микояны, я и Кирпичников. Потом Шахурин предложил название «Четвертая империя». По предложению Реденса Шахурина утвердили «рейхсканцлером», был еще «фельд-фюрер» (*сейчас мальчик попытается выпутаться, остаться свидетелем*), меня называли генерал-лейтенантом (*как папу*), начальником тыла... Я говорил: как-то по-фашистски звучат ваши звания. Володя сказал: «Раз присвоили – нечего отказываться».

– Чем занималась ваша организация?

ХМЕЛЬНИЦКИЙ: Переписывались с Бакулевым – он от нас откололся. Переписка хранилась у Реденса,

начальника разведки. Шахурин говорил: «После войны мы захватим власть, этого захотела само провидение. А пока надо побольше вербовать людей в нашу организацию». Из выражений Гитлера он выбрал любимое: «Чем сильнее сжатие, тем сильнее отдача».

— Почему вы думаете, что Гитлер так говорил?

ХМЕЛЬНИЦКИЙ: Книги Гитлера Шахурину приносил Ваню. Я сам видел препроводительную записку НКВД на имя Микояна. На переплете книг золотыми буквами написано «Совершенно секретно» (*Тема Хмельницкий запомнился 175-й школе и всем сторонним обаятельным, бескорыстным фантазером*).

— Что вы можете сказать про отношения Владимира Шахурина и Уманской?

ХМЕЛЬНИЦКИЙ: Зимой начал дружить с Ниной, мне объявил: «Каша закрутилась!» Потом: «Ну, как тебе нравится, Нина уезжает!» Я: «Ну, значит, все по плану получилось», это любимое наше выражение «все по плану». (*За шестьдесят лет телефон сломался, и старикам начало казаться: любимое выражение Шахурина «организуем», а я им верил, а ведь так же и с остальным, великолепно запавшим в память с потрясающей полнотой решающих часов: вот как вчера, как живой стоит перед глазами, помню вот так повернулся ко мне товарищ Сталин, руку положил на плечо и говорит... Мы строим вечную жизнь на зыбучих песках.*) А он: «Нет, не совсем по плану». Вообще скрытный он был. О романе Володи и Нины никто не знал (*директор, классный руководитель, родители, двенадцать установленных одноклассников и шесть учеников из других классов — самое меньшее*). В классе его называли «псих». В последнее время часто сидел, опустив голову на парту. За четыре дня до смерти сказал мне: «Ты знаешь, Нинка должна родить» (*повторяешь это шестьдесят лет, возможно, семиклассник, «рейхсканцлер» так и говорил*), и еще: «Помяни мое слово, Нина в Мексику не уедет».

— Сказал так — вам?

ХМЕЛЬНИЦКИЙ: Мне передал Володины слова Реденс.

— Кто-кто говорил? Реденс? Тот, што Аллилуев?! — Физрук прикинулся встревоженным полученными сведениями и спрятал зевок, скрывающей якобы глубокое и горькое раздумье ладонью, приложенной к лицу, и из-под руки проныл сопливым, малолетним голоском: — Давай отцов, профессор... Хрен ли мы трахаем пионеров?!

Профессор помедлил, словно нам оставалось еще куда-то идти, и вдруг повернулся к особо замеченному больничному халату, тяжелораненному, безлицему, уже не оставляющему отпечатки пальцев, неприметному, главному для нас — *врагу*:

— Лев Романович, я понимаю, что мой вопрос не относится впрямую к проведенному вами расследованию... Но все же: Константин Уманский и нарком Шахурин встречались после гибели детей? Третьего июня вечером или четвертого, до отлета Уманского.

ШЕЙНИН: Мы не располагаем такой информацией. Думаю — нет, не встречались. Наши сотрудники установили: 5 июня в 1:30 ночи секретарь Шахурина товарищ Протасов принял телефонограмму от товарища Уманского следующего содержания: «Утром вылетаю за границу. Передаю привет и крепко жму руку Алексею Ивановичу и Софье Мироновне. О плохом прошу не думать, так как не время этим заниматься. Горе и печаль общая. Супруга моя о свершившемся факте подробностей не знает. Я ей сказал, что дочка шла по лестнице, споткнулась и от сильного сотрясения мозга умерла. В письмах к нам об этом факте прошу не писать. Супруга моя от сильного расстройства находится в плохом состоянии. Уманский».

Профессор взглянул на меня обычным, непрочным лицом человека, теряющего силы с каждым часом, идущего к немощи: *что?* — словно мы остались одни, никто

не подслушает, каждый сам по себе в своем предсонном углу.

— Уманский звонил, когда сохранялась надежда, что мальчик выживет... Хотел сохранить отношения с влиятельным человеком... Не называет мальчика убийцей... Понимает: Шахурин не верит в то, что стрелял Володя, и требует честного расследования. Его звонок означает: занимайся этим один, я ничего не хочу знать. Я боюсь.

(Может, и так, твоя правда, как и любая, уродлива.) Зачем тогда Шейнин приобщил телефонограмму к делу? — ведь мы понимаем, кто будет читать. Я думаю, Уманский звонил не Шахурину *(звонил, когда ЗАПИШЕТ секретарь)*. И смысл звонка другой: я виноват, заслуженно наказан за плохое воспитание дочери, горе мое безмерно, пощадите... С тем, что мою единственную... вроде бы смысл моей жизни, убил В.Шахурин, я согласен, и наркому Шахурину советую *(пусть отметят заинтересованные)* также *согласиться* и отдать все силы Победе советского народу в Великой Отечественной войне. Такая телефонограмма Шейнину помогает. Не исключаю, что сам Лев Романович ее и продиктовал. Так, Костя?

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ УМАНСКИЙ, ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В МЕКСИКЕ: В последнее время у меня сложилось впечатление, что В.Шахурин ухаживает за Ниной. Должен прямо сказать: я и моя жена к этому относились настороженно, он производил отрицательное отношение, и слышали вещи, его нелестно характеризующие *(зачем отпуская Нину ночевать к Шахуриным на дачу? Почему она принимала подарки В.Шахурина?)*. Мальчик отталкивал своею замкнутостью и настойчивостью. Нина относилась к Теме Хмельницкому и Ване Микояну лучше, чем к Шахурину. 3 июня она позвонила вечером на работу *(не вечером, не на работу, а в номер к Трояновским в «Москве»)* и сказала, что идет гулять с двумя мальчиками *(и ты сказал: только не иди одна)*.

— Благодарю вас.

УМАНСКИЙ: Если можно — можно? — я хочу особо подчеркнуть: серьезное увлечение моей дочери мальчиком *совершенно исключено*. Последнее время она серьезно увлекалась только учебой и насмешливо относилась к любому флирту.

— А, вообще нас не видит, только туда, — физрук махнул рукой в направлении вперед-направо-вверх, за мост, в Кремль. — Такой он, этот ваш Костя. Все с каким-то... — физрук зажмурился, словно от боли, и коряво покрутил возле носа рукой и обернулся ко мне, — вот как ты! А Шахурин что? такое ж?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ШАХУРИН, НАРОДНЫЙ КОМИССАР АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР: Мой сын настойчивый, горячий, вспыльчивый мальчик. Учился хорошо.

Дурных склонностей за ним я не замечал. Последнее время вел себя ровно и спокойно... Они ушли с Ваню гулять, минут через пятьдесят стало известно... о случившемся...

— Не об этом! — гаркнул физрук и косолапо, словно на искалеченных ногах, доковылял до фигуры, шевелящей губами от Шахурина, потянул к его горлу свою лапу и простонал: — Не об этом... Ну!!!

ШАХУРИН: Дневника Володя не вел. Он все выдумывал, чтобы произвести впечатление в школе, в школе хорошее поведение не котировалось, он стыдился, что просто обыкновенный мальчик...

— Еще! Хоть что-нибудь! *Дай!*

ШАХУРИН: Нина и Володя нередко встречались вне школы. У меня на квартире. В доме Уманских. У Ваню. Накануне жена приобрела букет отъезжающим Уманским. Володя был доволен этим фактом и вместе с моей супругой сочинял записку, чтобы вложить в букет...

— Хочешь сказать: Вовка не собирался убивать? — ласково хрипел физрук, резко убрав с багрового лба щекотную каплю, и раскачивал барьер. — Нам этого не хватит. Это НИЧТО!!! *Не вытасчим!*

ШАХУРИН: Оружия Володя не имел. Мой маузер калибра 6.35 и бельгийский револьвер хранились в сейфе на работе (*неуклюже врешь, один пистолет оставался дома*). А Нина убита из пистолета 7.65.

— Да, хорошо, не его пистолет, пускай, но это тоже НИЧТО, если хочешь вытащить сына... ДА ГОВОРИ ТЫ!!!

ШАХУРИН: За Ниной ухаживал и Ваню.

— И это НИЧТО, Шахурин! — Физрук налег на барьер и попытался ухватить забинтованную руку свидетеля, тотчас отдернувшуюся; *не скажет*, все, физрук уставал, угасал, но говорил, что-то извергалось из него, остывая, не веря. — Боишься... Но — тебя допрашивают только четвертого числа, а картинку сложат только к *десятому*... Шесть дней, нарком... Сегодня — еще ничего не готово, и они, — физрук на кого-то неприятно оглянулся, — ничего не могут, пока Вовка жив — а вдруг что-то скажет? Завтра — помрет и некого будет спасать, начнут бить на жалость: *зачем губить третьего*... И пугать. И ты начнешь считать, как ляжет карта, и заткнешься, это только Софью твою никто не запугает, а ты... Скажи нам как мужик, — попросил запросто физрук, — пока мы здесь. На хрен ты еще кому-то сдался. Мы семь лет досюда копали. Но мы не можем *все сами*, мы и так столько наворожали... Ты должен нам что-то дать. Краешек. Хоть посмотреть в *какую-то* сторону: туда — а мы вцепимся, порвем зубами — никто не спрячется... Не молчи, нарком. Нам скоро уходить. Сюда никто не вернется. Ты останешься один, гулять по этой лестнице... Тенью. По песочку. Каждую ночь. И вспоминать. Если такие, как ты, умеют вспоминать. Ты умеешь? Скажи. Просто скажи, хоть это скажи: *я вспоминаю*. Иногда. Только не про галстуки и сиреневые костюмы. Не про ебаный Як-9. Хоть что-то скажи, а? Ну, скажи... — И физрук уже отвернулся, когда за его спиной прозвучало по-прежнему бесстрастно и обще:

ШАХУРИН: Со слов матери Тани Рейзен мне известно, что Таня рассказывала матери... по секрету... что Ваню и Володя, гуляя недавно на даче в лесу, говорили: между

ними будет дуэль. — Свидетель вдруг приподнял заморозанную белым руку, словно пытался тронуть собственное лицо, и рука упала — сил не хватило.

Физрук блеснул мне глазами, дошаркал до профессора, дурашливо перевернул его бумаги, поприседал, выставляя поочередно ноги вперед, воспроизводя русский танец, выкрикивая, ни к кому особо не обращаясь:

— Вот! Вот! Вот! Во, бл... — ДУЭЛЬ! Слышал, Шейнин? И кто такая эта Таня Рейзен?

3 июня (далее)

— Уже довольно поздно. И поэтому... — Профессор снял пиджак, накинул продуманно на трибуну, чтоб не мять, сразу располнев в мягкой обволакивающей рубашке, рывком расстегнул, словно оторвал, верхнюю пуговицу под ослабленным галстучным узлом.

— Осталось довольного немного времени. И поэтому... — прошелся вперед, ближе к свидетелям, истуканам в больничных халатах — теперь они сидели совершенно неподвижно, камни, и я, отвязавшись от трибуны, двинулся за ним, по своей половине освещенного круга.

— Главное, чтоб Микоян, третий наш... — готовящимся рыком прорывалось из физрука, и он скалился по свидетельским рядам, — тут?! *Мы приехали!* Слышь, пусть свет поубавят, а то весь теку... — он оторвал, подавил в пальцах, как кровососа, и отшвырнулдохлый микрофон...

Мы остановились спиной к спине, темнело, в сером пятне едва угадывались очертания бывших людей, профессор выбрал позицию напротив Шейнина, они... наверное, и я во что-то превратился, я боялся взглянуть на свои руки, пальцы, открыть правду, готов принять все — правда вмещает все, даже смерть может вместить, хоть не берется, правда больше чем смерть, вот почему ей служим; если б сделать ее еще нужной хоть кому-то...

ВАНО МИКОЯН, 15 ЛЕТ 9 МЕСЯЦЕВ, ЖИВЕТ В КРЕМЛЕ, В КВАРТИРЕ ОТЦА: Володя очень высокомерный, заносчивый. Любил дразнить милицию. Нарочно нарушал правила дорожного движения: катался на подножке трамвая, цеплялся к буферам троллейбуса. Переходил дорогу там, где хотел. Его доставляли в милицию, и там он объявлял: я Шахурин. Ему нравилось видеть, как сразу меняются милиционеры, как они боятся. В школе существовала детская тайная организация. Шахурин именовал себя «консулом-рейхсфюрером» четвертой империи (*что ж не говоришь, что руководил организацией ты — «фюрер»? Подождем, увязни побольше...*). Выражался Шахурин так: «Господин министр надеется увидеть вас в таком-то часу...»

Почти все время мы проводили втроем: я, Нина и Шахурин.

СОФЬЯ МИРОНОВНА ШАХУРИНА, ДОМОХОЗЯЙКА, 35 ЛЕТ: Произошла ужасная катастрофа... Прошу любой ценой найти убийц, так как пущенную кем-то версию о том, что Володя застрелил Нину, а потом себя, категорически отвергаю на следующих доказательствах...

ВАНО МИКОЯН: Нина в школе казалась серьезной, а вне школы любила кокетничать. Мальчики так и называли ее: «кокетка». Поначалу Нина, как принято говорить, оказывала мне известное предпочтение (*писал за тебя Шейнин, не особо таясь*). А Шахурин не понимал: «Удивительно, что ты нашел в ней, обыкновенной девушке».

В феврале Нине вырезали аппендицит. Шахурин пошел в больницу объясняться в любви и сказал мне: *она ответила взаимностью*. Начался роман Нины и Шахурина. Я после этого не разговаривал с Ниной три месяца, и помирились только в мае, по инициативе Шахурина. Стало известно, что Нина уезжает в Мексику. Шахурин вызвал меня по телефону, подвел к Нине и велел: «Ну, миритесь». Начали гулять втроем. Но роман у нее продолжался с Шахуриным.

СОФЬЯ МИРОНОВНА ШАХУРИНА: Володя буквально был счастлив *перспективой* получения мотоцикла. Говорил товарищу Юре Коренблюму: я счастлив, любя Нину, она уезжает, но *будет* мне писать.

Утром в мой день рождения (*до гибели четыре дня*) Володя поцеловал меня и написал ужасно смешное поздравление. Я попросила его и Ваню нарвать сирени в комнаты, он воскликнул: «Что за варварство, рвать цветы!» — нарвали и поставили в каждую комнату, в вазы. Попросил разрешения поставить себе в комнату отдельный круглый столик — принес туда вазу фруктов. Еще дала ему коробку конфет, был просто счастлив...

Среди других гостей приехали Уманские с дочерью Ниной — дети обедали в комнате у Володи. Раиса Михайловна попросила дать ребятам ради праздника виноградного вина «Хванчкара».

ЛЕНА КЛЕЦКИНА, 6 ЛЕТ, ПЛЕМЯННИЦА С.М.ШАХУРИНОЙ (*тетю Соню запомнила смутно: броская, напыщенная, авианапард и тетя Соня в огромной белой шляпе, особняком среди великосветских дам, яркая, как Софи Лорен*): Я помню немного, пятнами. Запомнила день рождения Софьи Мироновны. Очень много людей. Уманские. Нина — голубое платье, волосы распущены до плеч. В волосах — голубая лента. Таня Рейзен шепнула мне: «Подойди к Володе и скажи: что же ты забросил свою невесту Таню?» Я так и сделала. Он меня поколотил!

ТАНЯ РЕЙЗЕН, 13 ЛЕТ, ДОЧЬ ПЕВЦА (БАСА) БОЛЬШОГО ТЕАТРА: На дне рождения у Софьи Мироновны мы веселились, немного выпили. За столом (нам поставили отдельный от взрослых стол) Ваню и Володя спорили, кому принадлежит Нина. Ваню говорил: ему. Шахурин: ему. Оба при этом декламировали из «Евгения Онегина»: «Пистолеты же при нас...»

СОФЬЯ МИРОНОВНА ШАХУРИНА: Вечером катали детей на машине и показали фильм. Ваню даже на мой день рождения приехал с винтовкой и показывал ее Нине

(а чем мог поразить красивую девочку твоей начитанный, заикающийся сын? мечтами? «Четвертой империей»?).

В 11 часов вечера я приказала идти спать, но дети хором упрашивали и я позволила немного задержаться. В двенадцать часов гости начали прощаться. Нина попросила разрешения остаться. Ваню увез шофер. Взрослые ночью смотрели фильм «Лермонтов» (фильм о дуэли, подсказка: *стреляйтесь*).

ВАНЮ МИКОЯН: 30 мая на даче Шахуриных праздновали день рождения Володиной матери. Из девочек были Нина Уманская и Таня Рейзен. Я вечером уехал (не вспоминаешь разговор про пистолеты, а ведь так внимателен к мелочам — про дуэль же Шейнин велел: забудь!), а Таня и Нина остались. На следующий день Шахурин сообщил мне, что Нина ему отдалась. Таня якобы притворилась спящей, но потом рассказала матери, а та — Софье Мироновне.

Когда мы на следующий день гуляли втроем в лесу, Шахурин сказал: «Мы с Ниной вошли в Париж». Она покраснела, но промолчала. На нашем языке «войти в Париж» означало: вступить в связь.

РАШЕЛЬ АНАТОЛЬЕВНА РЕЙЗЕН, ДОМОХОЗЯЙКА, 45 ЛЕТ: Я дружу с Софьей Мироновной с 1941 года, мы познакомились в эвакуации в Куйбышеве.

Что еще сказать... На меня лично Володя производил хорошее впечатление: не по годам развит, культурен, остроумен и находчив... Что? Нет, Таня мне никогда не говорила, что Володя приходил ночью к Нине.

СОФЬЯ МИРОНОВНА ШАХУРИНА: Комната моя — смежная с Володиной, тут же — комната девочек. Девочки возились перед сном, и я прикрикнула: утихайте! Но они не сразу заснули, долго еще тихонько разговаривали. Я все слышала.

ТАНЯ РЕЙЗЕН: Часов в шесть утра пришел Володя и начал нас будить. «Девочки, вставайте, я покатаю вас на машине!» Я сразу встала, а Нина полежала еще минут десять. *Ночью Володя к нам не приходил. О разго-*

воре насчет пистолетов я рассказала со смехом своей маме.

СОФЬЯ МИРОНОВНА ШАХУРИНА: Утром Володя разбудил девочек, гуляли с киномехаником Валерием Нестеровым, тот много фотографировал (*семиклассник Юрий Кузнецов вспомнил: Нестеров занимал ставку в наркомате, жил в районе Тверских-Ямских и показывал ему в шестидесятые годы фотографии обнаженных женщин, мы его не искали*).

Во вторник (*два дня до гибели*) я объявила сыну: надо поехать на улицу Горького заказывать цветы Уманским на отъезд. Он обрадовался: «Это очень культурно!» Когда сели писать сопроводительное письмо, Володя много шутил, подсказывая остроумные дипломатические формулировки. В конце попросил приписать: *всегда будем рады видеть вас в Москве и у нас. В комнате при этом сидела мать товарища Шахурина (так называла мужа, так полагалось женам железных)*. Сын подсказал: подпиши не «я надеюсь», а «мы надеемся».

Я говорю: надо подарить что-нибудь Нине на память. Достала две вышитые салфетки, а он отмахивается: это тебе удобно дарить, а я бы лучше ручку-самописку подарил. Ну, позвони папе, он принесет. Вечером Володя и Ваню (*прилип, не отходил от влюбленных все последние дни, подступала решающая минута-спор, все-таки: кто?*) отнесли цветы и вернулись с Ниной, шофер отвез их в Парк культуры и отдыха.

ВАНЮ МИКОЯН: Про Нину сказал: «Жизнь без нее будет пыткой». 1 июня Шахурин сообщил мне по телефону: «Что будет, если я застрелю Нину? И сам застрелюсь. Сколько шума будет. Весь город будет говорить» (*кто слышал, кроме тебя? у него же нет пистолета... что ж ты сразу никому не донес? мальчик, если верить тебе, «вошел в Париж» — зачем убивать?*). Я ответил: «Идиот!» и бросил трубку. Позже перезвонил: шутка.

СОФЬЯ МИРОНОВНА: Но скоро выяснилось: отлет отложили, у кого-то из Уманских ангина. Володя попросил

меня: давай и мы поедем на аэродром провожать. Конечно! Раиса Михайловна позвонила и поблагодарила за цветы.

На следующий день (*день до гибели*) Нина зашла к нам за справкой из райкома комсомола (*Софью Мироновну чтили в райкоме с комсомольских времен*), отец ждал ее на улице, в машине. Я попросила: Нина, ты уж пиши нам. Она ответила: *мы* договорились слать друг другу телеграммы, так быстрее.

ВАНО МИКОЯН: Софья Мироновна сказала за столом Шахурину в один из следующих дней: «Вина тебе не дам, ты и так себе позволил на день рождения то, что я себе и представить не могла». Шахурин пнул меня ногой под столом: понял? (*И ты решил: точно проиграл!*)

СОФЬЯ МИРОНОВНА: В тот же день ко мне пришла подруга, и за столом сын опять попросил вина. Я даже возмутилась: «Если дали на день рождения, то теперь, ты думаешь, это войдет в систему?» Все вместе пошли прогуляться (с нами Марк Осипович Рейзен), прошлись по *Большому Каменному мосту*, мальчики пошли вперед, почему-то они не хотели идти вместе со всеми, спустились по лестнице к Театру эстрады (*так они выбрали место для дуэли*). Перед сном говорили: летом, может быть, *поедем* в Цхалтубо, это важно, пора лечить заикание. Он очень обрадовался. Расспрашивал: *будет* ли операция на гландах.

Утром 3 июня принял ванну, позанимался геометрией с Еленой Бердниковой и пошел в школу сдавать зачет. Домработница Дуся сказала: вернулся довольным, сдал. «Давай скорей есть! А то внизу ждут Ленька Реденс, Серго и Ваню Микояны – должны ехать в наркомат смотреть мотоцикл – отец же подарил!» Позвал друзей в дом, послушали на радиоле пластинки. И ушли, Володя захватил спички, занести дяде в больницу. Дуся предложила: съешь пирожное. «Лучше вечером съем» (*оставшуюся жизнь домработница помнила эти пирожные, сколько они пролежали, как смотрела на них Софья Мироновна*).

ИОН МИРОНОВИЧ ЛУРЬЕ, БРАТ С.М.ШАХУРИНОЙ, 38 ЛЕТ, ИЗ БРЯНСКИХ МЕЩАН, УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕСТОМ «ЭНЕРГОАВИАПРОМ» (*нарком подобрал брату жены сытное место*), ВЫПУСКНИК ИНСТИТУТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. ПЛЕХАНОВА: 3 июня в 17:30 (*два часа до гибели*) Володя навестил меня в лечебнице санитарного управления Кремля, где я находился после операции, похвастался: «отлично» по геометрии, передал пачку спичек в мягкой упаковке и смеялся своей надписи на спичках «Фирма Хмельницкий-Шахурин и К°»; мечтал, как здорово *будет* этим летом на даче — отец подарил мотоцикл М-72! В 18:30 (*час до смерти*) попросил почитать книгу, лежавшую на столике (*странно, что Ион Миронович не упоминает названия, что же он там такое в лечебнице читал... врет?*), но я было отказал, мне пятого июня надо вернуть ее в библиотеку. Володя поклялся, что к пятому прочтет и вернет, *встретимся же пятого* — мы договорились вместе ехать на дачу. Помню, говорил: за лето *собираюсь* усовершенствовать английский и читать только классику.

СОФЬЯ МИРОНОВНА: В 18:30 (*час до гибели*) пришел из больницы и сели обедать с Марусей, женой брата товарища Шахурин. Попросил пришить пуговицы к пиджаку. «А где пуговицы-то?» — спросила Дуся. «Да в кармане носил-носил и потерял...» — «Ты бы сразу сказал, а то теперь пришью какие есть, и будешь с разными ходить, пока я такие же не подберу!» Договоривался с кем-то *назавтра* сдавать алгебру. Только присел переписывать вопросы по Конституции (*проверили, изучали такой предмет, учителя жаловались: оторван от жизни*) — позвонил Ваню...

ВАНЮ МИКОЯН: Днем позвонила Нина и попросила пойти с ними гулять, втроем: она, я и Шахурин. Она настаивала. *Так*, что я даже спросил: «Что, хочешь вспомнить молодость?» — «Да, я не прочь иногда вспоминать».

– Прошу меня простить, – вкрадчиво приступил профессор, – вы утверждаете, что прогулку втроем наметили еще днем... Но на 19:00 у нас нет ни одного доказательства, что Владимир Шахурин планировал вечером встретиться с Ниной... Идея выйти на улицу возникла у Шахурина только после вашего звонка. Получается, это *вы* их пригласили? Зачем? И, если бы не ваши инициативы, Шахурин увидел бы Нину только провожая, на аэродроме.

ШЕЙНИН: Я не понимаю, почему вы так абсолютно доверяете показаниям несчастной Софьи Мироновны... Матери, естественно...

– Конечно. Но у телефонных переговоров свидетелей нет. А Шахурин видели после сдачи зачета два одноклассника: Реденс и Хмельницкий; домработница, тетя, дядя, мать – кому-то он обязательно сообщил бы, что собирается погулять с Ниной и Ваню. Повторяю: у нас нет доказательств, что Шахурин планировал 3 июня убийство...

Не планировал – не означает «не хотел»... Подросткам не свойственно *продумывать* свои действия, многое получается «вдруг», само собой... Послушайте показания Реденса.

ЛЕОНИД РЕДЕНС (АЛЛИЛУЕВ – дописал на всякий случай в скобках следователь, давая понять, если кто не знает, – племянник императора, его допрашивали последним, чтоб не беспокоить без лишней надобности): В организации «Четвертая империя» я занимал должность начальника внутренней и внешней разведки, генерал-лейтенанта (*фашистские звания мальчишки признавали у всех, кроме себя*). Выполнял полученные задания: узнать, что говорят девчонки между собой, поссорить Нину с девчонками (выполнено), препирались с группой Петьки Бакулева...

Володя четыре раза говорил мне, что убьет Нину. Каждый раз – разным способом. Из-за угла, а потом убежит. Убьет, а потом притворится сумасшедшим. Уговорит Нину отравить отца, чтобы сорвать отъезд.

1 июня Володя сказал мне: 31 мая в 8:40 Нина отдалась ему на даче, в лесу.

Реденса они допрашивали последним, уже продумав нужное, 10 июня, когда закладывали последние кирпичи; безотказного мальчика берегли, издали почуяв, как он боится. Среди родовитых, страшных по фамилиям членов «Четвертой империи» только он — слабый, отца расстреляли, считали его личным врагом Берии, они с матерью (так достававшей императора своей добротой) могли исчезнуть в любое случайное мгновение (мать так и исчезла потом) — Реденс на допросах (признал спустя жизнь) говорил все, что угодно, лишь бы отпустили, топил всех. Они бежали друг от друга, от позора всю жизнь, но Реденса сторонились особо — свидетель Реденс.

— А вот мне интересно! — блудливо ухмыльнулся физрук и повернулся к нам, спиной курортно облокотившись на барьер, словно отвернулся от моря, фото на набережной. — Как думаешь, профессор, *вставил* он ей? А ты, специалист, как ты думаешь? — что он хочет? всерьез? Физрук вдруг резко направился к замеченному болвану. — А хрен ли, мы гадаем? Доктор же смотрел труп?! Что там написано про девственную плеву?

ШЕЙНИН: Заключение о смерти не обязательно включает...

— Да ладно тебе, а то мы первый раз выехали на бабий труп...

АКТ ОТ 4 ИЮНЯ: Н.К.УМАНСКАЯ — целостность девственной плевы не нарушена.

— Лев Романович, мы не можем отнестись к показаниям Реденса с полным доверием. И не только имея в виду обстоятельства времени. И личные обстоятельства подростка. Мы установили вместе с вами — Володя говорил о многих невероятных вещах: что сошлет отца на остров в Индийском океане, пойдет по улице Горького в сопровождении духового оркестра, многочисленные любовницы в Куйбышеве, убьет Нину из-за угла, угово-

рит ее отравить отца, овладевает ею и называет точное — до минуты! — время... Мне кажется, он пытался противопоставить реальности, зримой власти и силе других мальчиков то, в чем он был силен, — свой вымысел, — и однажды этот вымысел победил, Микоян поверил, что Нина выбрала Володю, — но Шахурин за свою победу расплатился. Или его заставили заплатить.

— По существу что-то можете?

— Володю свидетели характеризуют как скрытного человека. Мы видим, какое бешенство в нем вызвала огласка его побега за Волгу, — Володе не хотелось, чтобы об этом знали, и до определенного времени тайну удавалось сохранить... Про свою любовь к Нине, страсть, желание ее убить — Володя говорит, если мы верим вашим свидетелям, свободно: *убью, притворюсь сумасшедшим* — значит, он не придавал этому значения, это *не серьезно*, прежде всего — для самого мальчика, *игра*. Уманские готовились улетать, и улетели бы, да помешала ангина, мальчик готовил цветы и ручку-самописку в подарок — это серьезно. Готовился ждать телеграммы от Нины — серьезно. А убийство... Ведь у него даже не было пистолета! Все, что мы знаем, — какой-то старый, испорченный пистолет Шахурина валялся на комоду у Реденса, Софья Мироновна случайно узнала и приказала: выбросите в реку!

ШЕЙНИН: Ваши рассуждения полностью опровергаются показаниями Микояна.

— Возможно. Только будет очень жаль, если он окажется *единственным свидетелем* произошедшего и у вас не окажется других доказательств, кроме его слов. Кстати, какого числа вы допрашивали Вану?

— Пятого июня.

— Удивительно. Еще третьего вечером вы знали, что с Ниной шли *два* мальчика. Знали, что второй — Микоян. Важнейшего свидетеля вы приглашаете только пятого июня — почему?

— А потому что, — захрипел, стальнея глазами, физрук, — четвертого-то Шахурин еще жив, боялись они: придет в сознание, скажет... Тем более слух такой пошел от ментов: Шахурин очнулся... А пятого — Вовка помер, молча. Можно плести... Ну, давай, малый, что там тебе написали...

СОФЬЯ МИРОНОВНА ШАХУРИНА: Я крикнула в телефон: «Вано, не приходи! Пусть переписывает вопросы», сын пообещал: «Мам, перепишу утром», Микоян пришел.

ВАНО МИКОЯН: Я зашел к Шахурину и передал свой разговор с Ниной...

— Что ж ты за товарищ такой, — крикнул физрук. — Дружок твой страдает, убить ее собирался, трахнул вроде как ее, а ты ему: она не прочь... Как там? Вернуть молодость. С тобой в обратку. Провокатор какой-то... Что ты в них вцепился?! Им оставалось-то всего день...

— ...Попросил у Шахурина журнал и сел его полистать. Он вдруг спросил: «Твой “вальтер” с собой?» Я, не подозревая ничего худого, протянул ему револьвер, продолжая читать (*журнал Шейнин вписывает, подчеркивая неосознанность поступка, мимоходом: между делом. Следовательно, сочинителю, мастеру времени, важно показать: пистолет передан именно дома, задолго — при Нине оружие незаметно передать будет невозможно — прямое подстрекательство: Шейнину тесно, не развернуться в полную достоверность, понимаю, как объяснишь: один спрашивает «с тобой ли пистолет», а второй вместо «да» — отдает «вальтер» в руки...*). Володя попросил у матери разрешения пойти погулять.

СОФЬЯ МИРОНОВНА: После разговора с Вано Володя попросил: «Можно пойти погулять?» (*не сказал, что идут с Ниной*). Он просился просто погулять, я могла ему отказать... Если бы Володя хотел обязательно выйти из дома, он придумал бы что-нибудь особенное... И они ушли, и Дуся начала собирать вещи на дачу.

ВАНО МИКОЯН: Встретились на мосту (*все происходило стремительно, от квартиры Шахурина на Грановского до Большого Каменного моста пять минут быстрого хода, Уманская шла навстречу из дому, из Дома правительства, из квартиры на первом этаже, их встреча втроем мало напоминала прогулку, потому что продолжалась не более пятнадцати минут, но хватило бы для дуэли*), Нина опоздала. Шахурин заговорил, что Нина звонила мне и, видно, опять хочет крутить со мной (*так это ты ведь и раззвонил!*). Нина злилась, все отрицала. Я молчал (*что ж ты ей не помог?!*). Она начала упрекать, что Шахурин крутит с Ниной Цыплаковой (*красавица, старше классом, графинею выглядела, царицей, но в театральной стране вытянула только на горничную без слов и сгинула замужем за стариком режиссером*). Шахурин воскликнул: «Да! Она мне нравится!»

— Я понимаю ваше стремление показать нам конфликт, драматическое столкновение характеров, приведшее к убийству и самоубийству, — болезненно во что-то вглядываясь перед собой, проговорил профессор, — но позвольте вам напомнить, что свидетельница Амитина показала, что, переходя Большой Каменный мост, вы так громко, увлеченно смеялись, что обращали на себя внимание прохожих... И то, что вы излагаете, не вызывает доверия, если вспомнить: Нина на следующий день улетает в Мексику — на много месяцев или даже лет... У нее просто не оставалось времени с вами или с кем-то, как вы выразились, *крутить*. Жаль, что вы даже не пытаетесь объяснить действительно важное: по какой причине вы оставили у Шахурина пистолет? Вы не могли не заметить, что идете домой без пистолета...

ВАНО МИКОЯН: Нина сказала: мне пора домой. Хотели пойти по мосту, но Шахурин настоял: по лестнице. Я торопился: в восемь у меня урок немецкого (*вдруг! когда же собирался гулять? Шейнину важно увести Ваню... он не может провожать девочку до конца — урок немецкого! — не видит, что там у них... не свидетель, его не пойма-*

ешь). Я сказал: «Ну, ладно, я пойду. Наверное, больше не увидимся (кудряво вырезает Шейнин, но Нина улетает только завтра, в ночь, эта быстрая, бегущая встреча, прошедшая в обсуждении Нины Цыплаковой, мало напоминает прощание на неведомо долгий... перед межконтинентальной разлукой). Счастливого пути».

Мы пожали друг другу руки, и я пошел (а пистолет?! а жестокий отец? ты не мог оставить Володе «вальтер», если он взбешен... если обещал: убью Нину! зачем оставил пистолет?). Шахурин крикнул: «Иди медленно, я тебя сейчас догоню!» (те, кто за тебя, изворачиваются объяснить, как ты оказался рядом, хотя ничего не видел: шел медленно, времени прошло много, прошел мало). Я пошел по мосту, видел: они спустились на площадку лестницы, и больше туда не смотрел, но через минуту (сколько успел пройти? Простился — прошел несколько шагов — Володя крикнул: я тебя догоню — увидел: они спускаются на площадку, и еще шел примерно минуту...) я услышал два выстрела (сколько времени разделяло второй и первый?) и сразу побежал назад, на лестнице не было никого, только снизу бежал какой-то старик и кричал: «Скорей! Скорей! Сюда!»

Я страшно испугался и от волнения ничего не видел. Взял пистолет и бросился бежать...

— А почему? — вцепился физрук. — Не ты ж стрелял! Куда ты побежал? Вовка еще живой, ты бы ему «скорую» вызвал. Не хотел Вовке помочь? Испугался... Ты ж не пацан — почти шестнадцать лет! С другой фамилией ты бы на фронт бы еще успел! С пистолетом ходил, романы крутил... Куда побежал-то?

ШЕЙНИН: Подросток пережил страшное потрясение. Я требую учесть его эмоциональное состояние и прекратить опрос, тем более — в такой форме. Подросток, школьник с неокрепшей психикой, осознал, что является невольной причиной трагедии, и не понимал в ту трагическую минуту, что делает и что происходит... Естественная реакция ребенка — убежать, скрыться,

спрятаться, закрыть руками глаза и сделать произошедшее как бы несуществующим, не происходившим.

— Допустим. Ваш подзащитный испугался, внезапный ужас. Но он же не ослеп... Нас удивляет, что вы, опытейший следователь, не задали свидетелю — а он у вас первый, кто оказался на месте преступления, — буквально *ни одного* вопроса, он не мог *ничего* не увидеть...

— Тебе-то легко, — внезапно подобрел физрук, припомнив что-то из собственной юности, — а тогда, брат... Ты ж не знаешь, какие с Шейниным разговоры вели. И кто. Он только исполнял. Сказали: закрыть. И сделал. Может, он Микояна и не допрашивал... Сам написал *(да, некоторых мальчиков допрашивали в присутствии родителей, на глазах; под грозовыми тучами члена ГКО Шейнину часто приходилось бы искательно улыбаться и стараться покороче... с простым, скромным — как там характеризовали педагоги Ваню? — что еще мы знаем: начальник секретариата Берии Людвигов женат на племяннице Микояна, начальник охраны Берии Саркисов тоже дальний родственник)*.

— Вы обходите вниманием многозначительный факт. Испугавшийся, как вы позволили себе выразиться, *ребенок*, в состоянии шока, фактически в прострации, желая как можно скорее покинуть залитую кровью лестницу, совершает крайне продуманное и требующее огромного мужества даже от взрослого мужчины действие — забирает с места преступления важнейшую, единственную улику — орудие убийства, пистолет... Единственная *естественная* реакция подростка — остаться сверху, на мосту и звать на помощь, если, конечно, он не пытается оказать помощь Шахурину самостоятельно, — но Ваню именно *быстро* спускается по ступенькам, *наклоняется* к Шахурину — тот, как мы помним, лежит на спине с простреленной головой — и, таким образом, оказывается лицом к лицу с тяжело раненным другом — мы не можем исключать, что Володя просит его помочь, спасти его *(физрук не удержался и внезапным прокуренным кашлем*

погасил подступающий довольный хохоток, с гордостью взглянув на рассуждающего профессора довольными слезящимися глазами)... Разжимает пальцы Шагурина — Микоян не утверждает, что подобрал пистолет с площадки, следовательно, он забирает его именно из руки — вы можете представить себе это в исполнении ослепшего от ужаса, не понимающего что делает *ребенка*?! И только после этого — убегает... Не являясь даже свидетелем — он фактически ничего не видел! Убегает просто от страха. Ему пятнадцать лет и девять месяцев. Зачем уносит пистолет? Вернуть свою собственность? Какой в этом смысл, когда площадка лестницы залита кровью? Это невозможно объяснить... Если стрелял Шагурин и пистолет находился в его руке... Но если стрелял он сам — сейчас я не о говорю про обстоятельства, при которых это могло произойти! — объясняется все. Ему не надо совершать тех фантастических действий, придуманных следствием... Он прячет оружие убийства.

Я давно не всматривался в замотанные бинтами головы, в размеренно шевелящиеся щели губ, пытаюсь уловить совпадение звука и движений: они? из них это звучит? Сидя, свидетели не отличались друг от друга — одного роста, плоскогрудые, только головы — побольше и поменьше, пышные прически так не забинтуешь: ни женщин, ни детей не различишь среди них, никто, я только слушал — *дошли*, все, что мы столько лет хотели узнать, — вот; иногда переглядывался с физруком, тому не терпелось посильнее нажать, врезать, и он пытался перемигиваться понимающе с «Шейниным» или вдруг дотянуться до забинтованной руки «Микояна», и прохаживался хитро, словно растягивая незримую паутину, — так ходит чемпион России по бильярду в сочинской бильярдной и неуверенно мямлит: «Я как-то не очень... Пару раз всего играл...» на предложение местных молодежков стонять партию на деньги.

ШЕЙНИН: Возможно, вы не знаете... Или не обратили внимания. Дети Микояна, особенно Ваню, безусловно

славились некоторым э-э... необузданностью в быту. Если их особенные шалости становились известны отцу, тот реагировал достаточно жестко...

— Жестоко.

— Вот. Как элемент присутствовало... И рукоприкладство мы с вами не можем исключить, верно? И лишения каких-то благ... Отца дети боялись панически, *безумно*. И нам также известно, что наибольший гнев его вызывали именно проделки с оружием. Легко представить, что не раз отец обещал Вану лишиться навсегда пистолета, если еще хотя бы раз где-то что-то... Вану унес пистолет потому, что испугался отцовского гнева. Это именно детский, наивный поступок — мальчик на мосту не мог мыслить, как мыслим мы с вами, и понимать: рано или поздно пистолет, из которого произведены выстрелы, и владелец его будут установлены... что найдутся свидетели, кто видел детей на мосту — троих... Учтем также раскаяние — Вану чувствовал вину за то, что оружие оказалось у Володи, и он, унося пистолет, пытался скрыть свой проступок, словно сделать его несуществовавшим, пытаясь исправить то, что не исправишь, скрыть заодно и свое присутствие на мосту — тоже очень по-детски... Раскаяние и страх наказания. Да, не забывайте про кавказский темперамент...

— Вану, а что вы делали потом?

— Я... Я подбежал к Троицким воротам...

— А ведь было время одуматься и вернуться.

— Встретил знакомую девушку...

— Как ее зовут?

— Поговорил с ней...

— Любопытно: о чем? Вы же торопились на занятия по немецкому, даже Нину не пошли из-за этого проводить до дома... Да еще находились в состоянии сильнейшего стресса: убиты два ваших друга, из вашего пистолета, пистолет у вас в кармане — у вас должны были губы дрожать, как вы могли разговаривать о чем-то? Потрясаю-

щее самообладание у такого впечатлительного, как утверждает следствие, мальчика...

— ...и пошел домой. Начал делать уроки.

— И все же: как же немецкий язык? Вы же четко говорили: в 20:30 у вас занятия. Они отменились?

— Вычистил револьвер. Вот и все.

— То есть спустя определенное время, поговорив с неизвестной нам девушкой на отвлеченные темы, сделав уроки, одумавшись, успокоившись, мальчик совершает очередной необъяснимый для свидетеля поступок: вычищает пистолет, уничтожая следы выстрелов и все отпечатки пальцев...

ШЕЙНИН: Мы настаиваем: подросток боялся...

ЛАРИСА СМИРНОВА, ШКОЛЬНИЦА: Третьего июня в 22:00 мне позвонил Ваню и сказал: «Шахурин, как и обещал, убил Нину, но точно ничего не знаю».

— То есть о произошедшем стало известно домашним Микояна, начали звонить телефоны, и Ваню, продолжая проявлять редчайшее самообладание, мало того что скрывает свое присутствие на мосту, задает, видимо, какие-то вопросы, сокрушается о судьбе Уманской, клянет Шахурину, да еще и распространяет сведения о том, что Володя готовил убийство Нины *заранее* — тот самый Володя, не имевший даже пистолета! — и тем самым подсказывает уважаемому следствию единственно возможный путь... И, выпавшись, подумав, четвертого июня, весь следующий день — Ваню не спешит к следователю, чтобы помочь прояснить картину, сообщить, кто же и за что убил Нину Уманскую... Говорить начал только пятого, когда приперло, когда позвали... Когда умер Шахурин.

СОФЬЯ МИРОНОВНА ШАХУРИНА: И они ушли, и Дуся начала собирать вещи на дачу. И тут позвонила сестра Уманского (*нет, от ужаса ты не поняла, звонила скорее всего сестра Раисы Михайловны*).

Я не раз выступала на родительских собраниях и требовала отобрать у детей пистолеты... Я знала, что гото-

вится дуэль, но мне казалось это игрой... Юра Кузнецов из Володиного класса *(на место, где мы его брали, Кузнецов опаздывал, задержался на теннисном корте, я думал: так и Володя мог бы долго еще прожить, играть до семидесяти в большой теннис, водить иномарку, но помнить шестьдесят лет день недели — воскресенье, когда прозвонил телефон: с вами говорят из НКВД, сейчас мы к вам приедем, все остальное — тайную организацию, допросы, школу — он забыл)* признался мне про тайную организацию — членские билеты изготавливал Ваню Микоян! Я выманила у Кузнецова список организации и отнесла в школу *(куда он делся? педагоги 175-й школы — вот кто умел бояться, что они могли... детям этих фамилий... еле избавившись от Васи Сталина)*.

Наконец, левая рука его осталась в кармане брюк, это при его квалификации и тренировке к стрельбе *(не очень внятно, мать гениального мальчика хотела сказать: не умея стрелять, совершая усилие, занимаясь непривычным... странно не вытащить руку из кармана... даже стреляясь... когда уже красоваться не перед кем)*.

В итоге могу сказать не только как горем убитая мать единственного горячо любимого сына, но и как член партии... Володю и Нину убили. Найдите убийцу, это важно для будущего других детей и снимите со светлой памяти моего сына это ужасное дело.

Она попросила своего бога, над плечами с погонами, над черепашьей вобранной в плечи рыжеватой головой железного наркома, мужа, над расчетами, под словом «партия», «коммунизм» — вот в эту дыру, щель, бездну — она, пышнотелая Соня, строительница квартирных бассейнов и будущая белошвейка, все, что могла, самое — попросила императора, последний раз вспомнила своего сына вслух, чтоб больше не называть, — возможно, постельничие не врут и он действительно сказал: «Погублены две жизни. Не будем губить третью», промолчал, полистав «дело», где каждое слово — Ему, все поняв и — промолчал, не опускаясь до

житейских мелочей прыщавых недоразвитых ублюдков, до каких-то любовей, дележа наследств, ковров в три слоя и списков иномарок, не выпуская из рук пылающий меч великой войны... Время оказывалось сильнее, император предполагал худшее в своих людях, но они всякий раз оказывались еще хуже — император не любил про это... про смертность, минутность своей силы, способной создавать атомную бомбу, дивизии, как он спросил однажды с презрением: «А сколько у папы римского дивизий?» — но и дивизии отступали перед старческим одиночеством, тоской ушедшей молодости, онкологией, похотью, поисками местечек, где теплее, перед ночными разговорами, обвешенных микрофонами, занавешенных теплыми цветами спален — перед шепотом любовников; он не знал, что с *этим* делать, хотя окончил семинарию и мать, умирая, прошептала, словно подсказывая выход: «Лучше бы ты стал священником...»

— Ну, что. Что получилось, то получилось, — после вздоха проговорил профессор, огляделся: никто не хочет добавить? — натянул и застегнул пиджак.

— Если бы они были жи-ивы, — спросонья потянулся физрук с охотничьим сожалением упущенного и покрутил кривыми пальцами, что-то выкручивая, подвигивая, дожимая, — хоть одного бы нам, чтоб кровь в нем текла, чтоб нервные окончания реагировали... И сразу — другой разговор. Люди... Они — другие, когда их сильно коснется... Такие понятливые, — сладко улыбался физрук, — когда помогаешь понять... Так и тянутся к чужой душе — как-то раскрыться, прильнуть... Щедрые становятся. Никого никому... тьфу! — то есть: ничего никому не жалко. Как Господь наш завещал, — физрук оглянулся в сторону храма Христа Спасителя и трижды энергично перекрестился, что-то неразборчиво (кроме «спаси...») и горячо шепча.

— Вы нас не убедили! — профессор посмотрел по верхним пустым рядам, и вдруг стало понятно: он не ухо-

дит. — Ваша правда не существует. На ней ничего не построишь. Плохо придумали. Мы умеем лучше.

— Я вижу... Как я вижу... — Физрук отправился в шаркающее и коряво качающееся путешествие — маятником: от профессора — ко мне, рассказывая азартно, как про борцовские схватки своей молодости. — Микоянчик соперничал с Вовкой — кто, как вы говорите, покруче... И в организации этой долбаной... И за девчонку — совсем их заклонило... Непростая, видно, эта Нина... Рано начала хвостик поднимать. И очень Ваню обидно, что с ним она закончила и начала с Вовкой, — вишь, три месяца не разговаривал! До середины мая — так получается? Считаю, до отъезда. А когда узнал, что уезжает, — все еще с новой силой в нем затомилось, так бывает. Да еще май, гормоны... А девчонка качалась, ей что? ей приятно — и там хорошо, и здесь интересно. Никому ничего толком не говорит. Качалась. Не зря они про дуэль заговорили — пусть пуля решит: чья. В полушутку; Вовка, конечно, проигрывал, хотя поддакивал: будем стреляться, не боюсь. Хотя сам боялся и никогда бы стреляться не пошел... — Физрук поднял на меня пустые осколочные глаза, такие серьезные, словно никогда не смеялись. — Но у Вовки свое оружие — так говорит, что ему *верят*. Ему надо дуэль отменить... И он утром Микояну врзает: Нинка мне дала. Попал — Микоян поплыл. Он вроде бы поверил, и не верил. Вовка ему за два дня — *три* раза, — физрук убедительно растопырил соответствующее количество пальцев, — тремя разными способами доказывал: трахал сам — раз; через Нину... про какой-то Париж — два. И три — через мать. Свидетелей указывал: Таню эту Рейзен, мать этой Рейзен. Я думаю, и подробностей добавлял каждый раз новых. Вот и доигрались. Микоян вытаскивает Нину и Вовку на разговор. Он — заводила, всегда у него с собой пистолет. Не может дать ей улететь, а себя оставить так — боли-ит, понимаешь, у него... Ведет на лестницу, где собирались стреляться, и место выбрали поближе к ее дому — хорошее место, чтоб напомнить: Вовка слаб — стре-

ляться не пошел... Трус. И задает какой-то решающий вопрос. Может быть, даже в категорической такой форме, как ты сказал бы, профессор: клянись, Нина, ты со мной, а Вовкой вроде играла... Разное он мог услышать. Но одно ясно: ничего из того, что он хотел. И пора расходиться, — физрук передохнул, давая всем представить. — Вспыльчивый мальчик. Властолюбивый. Бешеный! Я думаю, первым он положил Вовку — практически в упор. Неожиданно! Вспышка гнева — тот и руки не успел из кармана достать. Уманская шаг всего успела, отвернулась, он ей — в затылок, и — сразу побежал... Повезло: никто не увидел, быстро побежал, а потом пошел, дите, — на входе в Кремль еще остановился с девкой поболтал, ему казалось: так следы заматают... Почистил пистолет. И ждал, куда вывернет. Я, слышишь, профессор, не думаю, что он собирался убить. Просто сошлось. Красивая девка. Обида. Кончилась весна, началось лето. Сирень. Пистолет под рукой. Вот что там видно, дорогой ты мой товарищ Шейнин. И тебе это тоже видно, но ты — посвободней нас, ты можешь чего-то бояться, это мы — кто? Мы — рабы, сеем песочек. А вот теперь *мы* пойдем, поздно уже. Мы закончили!

ШЕЙНИН: Ваши предположения, в целом, ну... скажем так: имеют право... Вы, я так понимаю, какую-то часть жизни милиции отдали? Накладывает, отпечаток... Восприятие жизни в определенных формах... Но у меня есть для вас и ваших... *нечто*, что сделает бессмысленными наши препирательства о выстрелах на Большом Каменном мосту и правда, как вы *это* называете, останется моей и на ней построят...

— Сделайте милость, скажите, — предложил профессор, подождал и обернулся ко мне, потрогав бородку, скрывая смущение и раздражение.

Шейнин молчал в своем полумраке, отсутствии, словно наслаждаясь очевидной ему близкой победой, физрук прогулялся, мягко и тяжело ступая по своему борцовскому ковру, словно измеряя, прикидывая площадь, и доложил:

— Ничего у него нет! Молчит. Сам еще не придумал!

— Я знаю, — по-мальчишески жалко сорвался я, ужаленный, распухающий пчелиной мелкой, тугой и горячей болью: сказать *первым*, угадать беспощадное в глазах врача, шагнуть самому в пустое, пока не столкнули, улыбнуться: «Я знаю. Ты меня больше не любишь»; уходить с прямой спиной, особенно не торопясь, мягко закрыв дверь, словно если ушел первым — не все проиграл и хозяин своему времени. — Когда следствие заканчивалось, у вас появился свидетель. Который видел все. Вам повезло.

ШЕЙНИН: Именно так, уважаемые товарищи.

— Мне следовало догадаться раньше, — я подошел к профессору, тот: «ничего, ничего... еще посмотрим...», — как только я увидел, что показания Ваню Микояна в деле не подшиты, а *вложены* отдельной страничкой без нумерации и, единственные, написаны от руки, аккуратным почерком, без единого исправления.

— Они допросили его пятого июня, — вглядывался в меня профессор, — но потом показания переписали.

— Да. Чтобы добавить единственную деталь. Микоян, который так испугался, что ничего не видел у себя под носом, оказывается, заметил старика, бежавшего к мосту. Старик *бежал и кричал*.

— Тогда и я тоже попробую кое-что угадать, — смурно задумался профессор. — Свидетель у вас появился именно тогда, когда стало ясно, что показаниями Микояна дело не закроешь, настолько они не достоверны. Десятого июня! — точно в тот день, когда вам дали команду сворачиваться и врачи написали заключение о самоубийстве — через пять дней после кремации тела.

ШЕЙНИН: Да. Действительно, так случайно совпало. Десятое июня.

— Также, продолжу угадывать я, раз так удачно у меня получается, свидетель, которого никто не видел — а на мост прибежали десятки людей, — которого так долго и напряженно искали милиция и НКВД — семь суток! —

сам пришел к следователю, оказалось: все это время он находился где-то совсем рядом, буквально под рукой...

ШЕЙНИН: Я не понимаю, к чему вы клоните, но свидетель — работник комендатуры Дома правительства.

— Там, где у вас даже домработницы — лейтенанты, — прощедил физрук.

— Я также думаю, что единственный свидетель, спаситель ваш, человек достаточно уязвимый, слабый, не исключаю, что инвалид...

ШЕЙНИН: Забавно, но он действительно не очень здоров. Хотите его послушать?

ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ ОСИПОВ, 52 ГОДА, ТОКАРЬ КОМЕНДАТУРЫ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА: Я находился в двадцати пяти метрах от моста. Я поднял голову на шум проходившего по мосту троллейбуса (*или трамвая?*)...

— Хитро ему составили! — ухмыльнулся физрук. — Не скажет: поднял голову на выстрелы. Тогда бы он ничего не увидел, а им надо момент выстрелов зафиксировать... Вот и составили: *поднял голову на троллейбус* — диковину, б..., увидел! работает напротив моста, троллейбусы там каждый день... — а Шахурин совершенно случайно в этот момент и начал палить, так, ветеран?

ОСИПОВ: Категорически утверждаю: на моих глазах мальчик выстрелил в девочку. И перед выстрелом зашел как бы сзади... Я очень взволновался и быстрее пошел к мосту... Когда я поднялся на площадку лестницы, пистолета в руках мальчика не было. Мальчик лежал на спине. Левая рука в кармане, правая, почти сжатая в кулак, вытянута вдоль туловища.

— Так почему же свидетель неделю не заявлял ничего следствию? Он работник комендатуры Дома правительства — он не мог не знать, зачем сотрудники НКВД опрашивают жильцов квартир с окнами на мост...

ШЕЙНИН: Осипов больной, необразованный... Откуда ему знать, что он — единственный?

— Но Осипов — инвалид, не может быстро передвигаться, он сделал усилие, чтобы оказаться первым на площадке лестницы, и, трудно предположить, что, увидев открывшуюся картину, он смог быстро удалиться. Да и вряд ли он этого хотел. Зачем тогда торопился на место преступления, превозмогая недуг? Чтобы все рассмотреть. Что он делает дальше? Скорее всего пытается позвать на помощь. Первым подбежавшим рассказывает, *что, как...* Но постовая Степанчикова появилась на площадке лестницы минуты через три, начался опрос свидетелей. Осипова там уже не было. И ни один свидетель не сказал: я сам не видел, но был тут один инвалид...

ШЕЙНИН: Знаете, это уже настолько отвлеченный и недостаточно серьезный разговор... Постовая могла ошибаться, свидетели старались держаться подальше — время у нас такое... А вот теперь мы будем заканчивать, — и он поднялся, ему неприятно...

— Последний вопрос! Осипов находился в двадцати пяти метрах от моста. Он начал движение сразу после выстрелов. Одновременно за пистолетом побежал Микоян. Но Микоян находился от лестницы намного дальше. Вспомним: он сделал несколько шагов, обернулся на слова Шахурина: «Я тебя догоню!», сделал еще несколько шагов, опять обернулся и увидел, как Уманская и Шахурин спускаются на лестницу, и затем, если мы ему верим, шел не меньше минуты, пусть и не быстро... Микоян успел добежать до лестницы, спуститься на площадку, схватить пистолет и обратно подняться по лестнице на мост — вы считаете, что Осипов за это же время не прошел и двадцати пяти метров? Даже издали, даже не поднимаясь на лестницу, свидетель увидел бы все, что на ней происходило! Скорее всего он двигался, постоянно поднимая голову на место выстрелов — есть там кто еще? Он *не мог не увидеть* убегающую фигуру с пистолетом в руке!

ШЕЙНИН: Знаете, я могу заниматься с вами арифметикой, но доложу: двадцать девятого июня дело по расследо-

ванию убийства Уманской Нины прекращено. Первого июля, если уж вам так интересна арифметика, лично мною и заместителем начальника следственного управления З.М.Альпшуллером произведен следственный эксперимент для установления, сколько времени потребуется, чтобы от третьего фонаря на мосту (туда, как мы предполагаем, успел дойти Ваню, прежде чем Шахурин начал стрелять) добежать до площадки на лестнице и вернуться. Подобран пятнадцатилетний мальчик, сходной комплекции, Лалик Цемах, электромонтер прокуратуры. Первый раз он спустился на лестницу и вернулся за 32,5 секунды. Второй — за 35 секунд. Мы считаем, что за это время свидетель Осипов не мог преодолеть на больных ногах расстояние, на котором он находился от Большого Каменного моста. Осипов не мог увидеть убегающего Ваню. Я думаю, настала пора пожелать друг другу успеха. И — до встречи!

Дело закрылось. Подступает прилив, возвращаются пески. Тают следы, люди заново все забывают — что-то пели, не могли же молча сидеть, но что за слова?.. только музыка вертится где-то там, не мотив, а какой-то обрывок, и сердце щемит, словно возвращается время, когда мама молода, а — ни слова уже не помню... даже про что. Все. Уходим. Все уже сбылось.

Приглушенно — все? все, закончили — а затем не таясь нас окружили голоса второстепенных черных людей, obsługi; мигнув, пропал свет, сменившись на зарешеченное краснолампочное дежурное освещение; свидетелей, придерживая за плечи, по одному поднимали и выводили — свидетели осторожно переступали приставными шажками, боком, как по узкой пиратской доске, на выход — там пятился автобус; заспанные краснощекие мужчины в синих комбинезонах полезли разбирать верхние ряды, Шейнин опустил на место и сидел спокойно, словно слушал завыванье в своей голове, реку, бесшумно стоящую под Большим Каменным мостом. Позвонить?

– Ты понимаешь... – физрук, вцепившись в бок, осторожно качал плечами вперед, направо. – С внуком побегал в большой теннис – в апреле! А каждое утро болит. Как растяжение какое... А к врачу – сам понимаешь, какие теперь врачи, что надо и не надо напишут, узи, музи – тыщи три выйдет... – О чем-то еще он думал, близоруко и зло посматривая в сторону, где Шейнин безмолвно ожидал своей очереди уйти.

– Разрешите мне сейчас позвонить.

ШЕЙНИН: Кому?

– Владиславу Р-ову. Сыну композитора Р-ова.

ШЕЙНИН: Какое он имеет отношение к делу Р-788?

– Я предполагаю, что хорошо одетая дама, брюнетка, выделенная среди свидетелей постовым Степанчиковой, есть известная нам Петрова Анастасия Владимировна, жительница Дома правительства...

Профессор безучастно рассматривал меня, как пустой киноэкран перед появлением названия фильма, физрук из деликатности придвинулся поближе:

– Не майся дурью!!!

– Мы не установили ни одного человека, кому бы Петрова рассказывала о смерти Нины Уманской, хотя эта девочка и ее смерть сыграли большую роль в ее судьбе... Но удалось опросить не всех. Единственная внучка Петровой, Ольга, покончила с собой. Можно предположить, что с внучкой Петрова могла быть хоть однажды откровенной...

– Да она и попу перед смертью ничего не сказала! Ей здесь никто не нужен был! Она всех собиралась там встретить!

– Все, что мы знаем про Ольгу, – она любила сына композитора Р-ова. Возможно, девушка пересказывала любимому истории своей семьи... Тем более – про несчастную любовь. Я никого не задержу – один звонок...

Профессор, словно мы остались одни, уроды словно отъехали, домашним сострадающим голосом:

– Мы не можем запомниться им слабыми! Вспомни, в Доме правительства никто не знает точно – из-за кого Ольга умерла. Кто говорит: сын Р-ова; кто говорит – из-за Щедрина... А может, просто скончалась. Мы не готовы! Р-ов в Америке, мы сутки будем искать телефон, да еще звонить... Там разница во времени – сколько?!

– Да. Да! Но пусть будет так, что у нас уже был телефон и мы прямо сейчас дозвонились... Пусть – совпало все!

ВЛАДИСЛАВ Р-ОВ, ДИРИЖЕР (*слабым, сомневающимся голосом*): Алло?

– Владислав Дмитриевич, вас беспокоят из России, Федор Калашников из музея Дома на набережной... Мы собираем материалы для обновления экспозиции... Хотели к вам обратиться... В 306-й квартире жила такая – ПЕТРОВА Анастасия Владимировна, советский дипломат, автор самоучителя английского языка, – вы знали ее?

Р-ОВ: Петрова? (*Он наглядно старался, он думал.*) Нет... А в какие это годы?

– Ваш отец знал ее в Куйбышеве во время эвакуации, мог познакомиться через ЛИТВИНОВЫХ (*нажать на фамилии, вспоминай!!!*), Константин УМАНСКИЙ был еще там такой...

Р-ОВ: М-м... Нет. Знаете, нет. Не припоминаю.

– (*Ну, хорошо.*) Вы общались с внучкой Петровой – Ольгой. Она потом трагически погибла. Покончила с собой. Говорят, из-за несчастной любви... Помните?

Р-ОВ: Ольга? А как ее фамилия?

– (*Я почувал скуку и усталость, а хрен его знает, как ее фамилия.*) Бабушку ее звали Анастасия Владимировна ПЕТРОВА. Маму звали ИРАИДА ПЕТРОВНА ЦУРКО. Девушку звали Ольга.

Р-ОВ: ...Нет... Ольга... Нет. Ничем помочь вам, наверное... не смогу (*вот теперь под словами его что-то замерцало, отблеск плывущего тела, кусочек остывающего солнечного тепла, судороги страшно всплывающей правды, подсоберись, говорит он сейчас себе, должно быть, осто-*

рожно оглянувшись на жен-детей, папино фото, заслуги и дирижерские палочки и устоявшийся, укоренившийся на квадратных метрах мир, внутренности высохшей раковины — облупленный перламутр). Я ее не помню (и положил трубку, думая — н а в с е г д а, притворюсь мертвым, они забросают листьями и уйдут).

Меня все ждали. На кладбище всегда кто-то дальний должен сказать на выдохе «ну!» и махнуть парню с молотком и гвоздями, когда все замерзнут плакать у открытого гроба, я — один, незнакомые лица:

— Все. Закрываемся. — Сразу уйду, а потом уеду, подставлю голову под ветер, все подтает и высохнет без следа, вместе с жизнью, выветрится; я обернулся на дно нашей ямы — лестница Большого Каменного моста, набережная, Дом правительства, русская правда — сейчас сверху посыплется... — и никто не увидит этого больше *так*, все умрут — и отошел в тень, прихлопнув ладонью неожиданную слезу — чего-то жалеешь всегда на закрытии, после салюта, когда сдуваются аттракционы, грузят животных в фургоны и зооцирк едет дальше, оставив вытопанную поляну у городского вокзала...

— Закрываемся! Видишь, как обставил все еврей... И ничего не сделаешь — свидетель есть. А как вы хотели? Служба! И мы бы на его месте. Ух, мы бы на его месте... Евреи — они умные, верно, батюшка? — Физрук страшно улыбнулся рекламой искусственных челюстей и прощально затряс Шейнину головой, словно его били беззвучные рыдания, просипел, от кого-то таясь: — Ну как вы тут? Девки хоть есть? — И вдруг, будто припомнив что-то, резко выставил руку лопатой: — Лев Романыч, а гильзу можно посмотреть?! Одну секунду, милый человек!

— Какую гильзу?

— Вы же обнаружили гильзы на лестнице при осмотре места преступления, — немедленно подсказал профессор и бешено махнул рукой телевизионному холопу, взявшемуся было Шейнина увести, — не так ли?

– Да. Это соответствует... Мы обнаружили гильзы...

– Пистолета «вальтер», калибра 7.65, естественно!

– Хоть в руке подержать, – хрипел физрук, не пряча ладони. – Люблю оружие и всякие железки... Знаешь, профессор, как немцев прогнали, выходим с братом в огород... Потом мы эту мину в костер... Брату два пальца... А меня насмерть... Покажь гильзу!

– Они находились в деле, я отлично помню – сиреневый конверт с надписью «Гильзы от патронов, подобранные на месте преступления»...

– Только почему-то этот конверт оказался пуст. Видимо, какая-то оплошность работников архива, верно?

– Не исключено. Мне пора уходить.

– Конечно! Счастливого пути! – взмахнул профессор руками, словно вызывая ветер, бурю. – В деле нет протокола осмотра места происшествия – случайность! Расположение трупов, пятна крови, положение гильз – не известно! Никаких следов баллистической экспертизы – небрежность! Нечетко описаны входное и выходное отверстие пулевого ранения в голове у Шахурина – результат спешки... Осматривалась ли одежда Микояна на предмет выявления следов крови? Нет! Забывчивость! Труп сожгли, а через пять дней пишется заключение о смерти – не успели оформить! Показания главного свидетеля несостоятельны от первой буквы до последней... Пистолет почистили, отпечатки стерли, свидетеля подготовили... Исчезли гильзы – кто-то недосмотрел! – Профессор вдруг увидел перед собой невидимый митинг и оперся на трибуну. – Зачем вы приказали изъять из дела гильзы? Потому что выстрелы производились из двух пистолетов и дуэль все-таки состоялась?! Неспроста Шахурин стоял в позе дуэлянта – боком, рука в кармане, словно презирая опасность, – ему и попали точно в висок! – Профессор кричал на доньшке ночи, пока хоть кто-нибудь мог услышать, чтобы говорить последним, чтобы слепыми оказались они, оборачиваясь на

реку — второй пистолет Микоян мог выбросить только в воду — Металлоискатели, мокрые водолазы — он кричал, как всегда, с удивительно убедительной интонацией, пока я не тронул его за плечо — третье июня закончилось:

— Все. Закрываемся. Спасибо, что нашли время. Вы очень помогли. И вам — спасибо большое. Достаточно. Мне кажется, хорошо получилось, грамотно, без суеты. Можно меняться.

— А ты? Да брось ты на хрен дирижера!!!

— И я. Возвращаюсь с вами. Забудем. Я только съезжу еще в одно место.

По приарбатским переулкам когда-то я шел в Плотников переулочек, в архив внешней политики, при минус восьми, грея в кармане грабительские двести долларов за ксерокс ворованных документов из личного фонда Уманского — мимо котлована, на дне которого блестело тающим снегом бетонное дно и ковырялись оранжевые каски — вот и мы на дне, больше нельзя оставаться здесь, а то осыплются стены и похоронят нас с грудой не разложенных по полочкам сведений; мы попытались все разложить — кажется: разложенная, собранная жизнь прорастает; на нее сходит дух — зима, а теперь новая зима и гложут голоса дела Р-788, хор Ленинградского шоссе, кунцевских квартир, Кутузовского проспекта, Патриарших прудов, Тверской, Лубянки, Дома правительства, Котельнической набережной, улицы Большой Грузинской и особенно — Фрунзенской набережной (*сквозь верстовые чернильные стоны: «Дорогой Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович, вот уже сорок пять дней я нахожусь в одиночном заключении...», «Просит рассмотреть дело его отца, 58-летнего осужденного на шесть лет за обмен спичек на продукты. Сам он, Киселев М.Е., не имеет обеих ног, правой руки, а левая рука переломана. Два его брата на фронте. Отец был единственным человеком, который мог ухаживать за ним...»*). Свидетели селились

здесь, множество людей, куда бы ни отправлялся, ноги сами собой выносили к лестнице Большого Каменного моста, мы не могли освободиться...

Я оказался на обочине старого Волоколамского шоссе в районе станции Снегири: чем мы занимались? — зачем я четыре месяца просил эту женщину о встрече, два-три слова, соломинки, спички — неужели мы никого не нашли для себя? Нужна или близка стала мне эта девочка — нет, сколько их... Видел ли я себя в этом мальчике — нет, и никого не жалко, все слишком давно, чтобы пробилась жалость, хотя ловил себя на ощущении, что найду их живыми, ожидающими разрешения какого-то проклятья, что они есть, знают, сидят рядом и улыбаются или просто серьезно смотрят, как мы копаем, и еще раз умрут, когда закончим; мне казалось (голодно бросаясь на новое имя), вон за тем углом ждет меня человек совсем «оттуда», но за тем углом: да вы что, ее давно нет, а дочери ее семьдесят пять лет, и она ничего не помнит. Но ведь что-то мы искали, нельзя же сказать: мы шли через пустыню, чтобы побыть в одиночестве, надо же что-то искать — *полюс*, а на самом деле: побыл один, мог с этими... все, что хотел, всемогущ, и это единственный способ стать для мира понятным и что-то понять самому, иначе мы просто потеряли время...

Вот она заметила и идет ко мне, пожилая, маленькая, жилистая и боевая женщина в берете, для меня она останется девочкой тринадцати лет:

— Я не понимаю, как в наше время мужчина может быть без машины?! — качает головой. Я высадился с электрички, она-то предполагала, что у меня ампутированы обе руки, а так — оправдания нет, в наше время мужчины должны зарабатывать, а если не зарабатывают — не отрывать занятых людей и не заставлять с собой возиться. Она ведет «Ниву» наизусть, многолетним на-

выком объезда заполненных дождями ямок и своевременных торможений у незаметно опасных поворотов, водопроводными изгибами грунтовок, усиленной щебенем, меж дачных заборов композиторских лесных, обширных наделов, вот наш дом, и всюду — тот же рассказ: половину участка продали коммерсанту, и видите, что он построил?! — а что делать: вы знаете, сколько стоит содержать наш дом? просто содержать — газ, вода, дорога, электричество? они любят носить рваные куртки и на рынок наряжаются, как бомжи, словно император еще жив... Пушистые тапки, я поднял голову на вешалку — светлая, мужская шляпа одного из знаменитых покойников, когда она сказала:

— Алексей Иванович и Софья Мироновна были посаженными родителями на моей свадьбе. Прямо на даче и праздновали...

Я прошел по теплым следам к обычному чаю, она не сдержалась:

— Ну не могу понять: как в наше время мужчина может быть без машины?! — Ей так не хочется везти меня до станции назад, она-то думала — просто покажет дорогу, езжайте за мной следом, маленькая девочка Таня Рейзен, дочь баса Большого театра — единственная свидетельница разговоров про дуэль. — Папу похоронили на Немецком кладбище. Он загодя купил участок и совершенно мудро написал в завещании: «Если не сочтут нужным похоронить меня на Новодевичьем...» Что помню? Когда Алексея Ивановича арестовали, Софья Мироновна лежала в больнице с дифтеритом, ей ничего не говорили. Из опечатанной квартиры она не смогла даже забрать вещи.

Он сидел в одной камере с Перцем Маркишем. Делал зарядку. Гулял.

Раз в месяц разрешали передачу. Чтобы Алексей Иванович понял, что жена не осталась одна, мы упаковывали в коробку торт, который делали только у Рейзенов, — огромные, в полстола, коржи из песочного теста, пропи-

танные шоколадным кремом, и сверху, на белый заварной крем брызгали опять шоколадом.

Вышел он в мае, примерил заготовленный генеральский мундир: я должен сразу поехать к отцу, отец не должен понять, что я сидел.

Когда умирал, родители послали меня: иди, попрощайся с Лешей. Он виду не подал, что понял, зачем я пришла.

Я не помню, чтобы они когда-нибудь вспоминали сына. Володю я не помню. Так, какие-то мелочи. *(Она никогда не узнает, что была последней.)* Допрос — да, что-то... Допрашивал Шейнин, сосед наш по квартире. Он даже у мамы деньги занимал на детали — он же радиолобитель... Маму оставили в приемной.

Допрос не помню. Что я говорила? День рождения Софьи Мироновны? Совсем не помню. Да? Может быть. Дуэль? Так и сказала на допросе? Невероятно. *(И погасила свет.)* Ничего из этого я не помню. Так давно...

День закончился, время закончилось — государь «вдруг умер» и лежал в гробу под старинную грузинскую песню; описаний его агонии и неизвестно для чего поднявшейся в 21:50 левой руки осталось множество — императорские евангелисты и переработчики дерьма с целью последующей перепродажи словно описывают разные смерти разных обыкновенных стариков, продавая сценарии английскому телевидению, где русских играют поляки: «неуравновешенный алкоголик сын», «не любившая отца дочь», «настоящее чудовище Берия», шеренга монстров с обычным штампом «руки по локоть в крови», и все начинается пьянкой (вино «Маджари»), наркоманами, пляшущими в исподних рубашках, — льют водку на косматые головы, бабы грызут куриные бедра и помахивают объедками над головой, император довольно ржет и затыкает ближнюю хрипящую пасть помидором, ночь, странное повеление охране идти отдыхать, страшное утреннее, дневное молчание, свет, зажегшийся в шесть вечера в маленькой столовой, и только в десять охранник отважился и зашел: император лежал

в луже собственной мочи, парализована рука, нога, отнялся язык — рядом часы с остановившимся временем и дальше быстро, сквозь поцелуи рук: скажи нам... хоть что-нибудь! — «снова стали давать кислород», пиявки на шею и затылок, заседания сессии Академии медицинских наук, до 21:50, когда он поднял руку, и лопнула нить, в которую превратился канат, пуповина, и по слезам поплыли бумажные кораблики маленьких людей.

...Ночь прошла, и остывшее солнце выкатывается так стремительно, что не успеваешь сбегать за фотоаппаратом, и смерть можно только приблизить, и ничего другого; в пустом, первом вагоне метро я спал; засыпал и представлял: когда-нибудь я буду сидеть поздним вечером на берегу моря. И смотреть во тьму воды, переходящей в тьму неба. Один. Меня некому будет окликнуть с берега. Все «мои» растворятся уже в этой общей тьме. Станет ли тьма хоть немного поближе от этого, привыкнут ли глаза, смогу ли я там *хоть что-то увидеть* — и не сам шагнуть, так хоть спокойно, не закрывая глаза, дожждаться, пока она приблизится и — проглотит все.

Ключ

В день выдачи зарплаты — контора начиналась за покрашенной в черное одноглазой дверью — на второй этаж, мимо потного запаха загорелой охраны; в пыльно-желтом здании в Прохольском переулке по соседству с медцентром — по левую руку, если спускаться к трем вокзалам (детская площадка остается справа), обжились, как дома: сразу за дверью простирается бессмысленно широкий коридор, почти квадратный, с вышарканной полоской паркета посреди, диваном и креслами по правой стене, одежными шкафами по противоположной; здесь же налево — маленькая комната, занятая дореволюционным ксероксом с подселенными сто-

лом и парой стульев — лучшее место для допросов и одиноких слез; направо коридорчик ведет мимо кладовой (владения уборщицы и сторожей) в кухню (где почему-то обязательно собираются с полными чашками и мисками все, кому даны задания «сделать срочно»). Оставив слева просторную бухгалтерию с двумя квадратными столбами, свидетелями расширений и перепланировок, превращений коммунальных квартир, — кассир читает газету «Твой день», озабоченно и сокрушенно вздыхая: сбываются ее худшие предчувствия — на что только не способны богатые! Зарезать шестнадцатилетнего любовника матери! Да и бедные... После (мой кабинет соединен неким вентиляционным способом именно с бухгалтерией) включает телевизор на скромную громкость: тихая речная музыка, говорит красивый (по голосу) мужчина, музыка, отвечает красивая женщина, музыка, словно на осеннем балконе в инвалидных креслах, — тянутся пожилые дневные сериалы. Раз в неделю приезжает неполной занятости главбух, пустующие пространства зарастают шкапами с архивом и сломанной оргтехникой.

Если вернуться в большой коридор и пройти вперед, то окажешься на распутье. Прямо — дверь в коридор с двумя туалетными комнатами, не разделенными половыми признаками, направо — такой же обширный, как и бухгалтерия, зал — Боря и Алена устроились возле окон, Чухарев, опоздавший и молодой, окопался в углу, отвернув компьютерный монитор от общего обозрения, — самая светлая комната и чаще других — пустая.

Налево от развилки — тесная приемная шириной в окно: умещается письменный стол, шкаф с чайными и кофейными боеприпасами, вентилятор на журавлиной ноге и нестройный хор цветочных горшков — здесь просвещенно и добросердечно властвует секретарша; за ее спиной — кабинет Гольцмана, там сейф и календарь и большой порядок. Вещи я собрал еще за ночь, добравшись до конторы в подлодочной тесноте маршрутного такси, забил мусором две урны, все нужное поместилось в один черный трупный

мешок, перетянул горло красной ленточкой, остались солдатики — нужны две картонные коробки: для коллекции и для дублей. Я выбрал ноябрь, хороший месяц, чтобы все закончить: рано приходит ночь и выпадают дни с теплым ветром и приятно идти до метро, в сторону «вот пойдет снег...», на прилавках вырастут елки и свесят ноги рождественские чулки, замигают гирлянды по карнизам, а пока — пусть дожди растопили и смыли все хлипкие, снежные покровы и густая трава зелено сияет в пятнах собачьего дерьма, каждый день обещают то резкое похолодание, то потепление до +8, то резкое падение доллара, но не происходит ничего. Не постучав, словно в необжитую пустоту, зашел Боря и зацепился задом за крохотный подоконник, загородив свет, сложил руки углом и смотрел в никуда, изредка поправляя очки, — так люди ожидают вызова судьи на длинной скамейке среди сумасшедших старух и забрызганных чужими слезами адвокатов, своей очереди. Я прочитал оставленный на столе свежий листок:

Владислав Р-ОВ, дирижер.

«Молодой еще совсем Владислав Р-ов часто сам гулял во дворе дома композиторов со своим эрдельтерьером (*имя не пропечталось*, на «Ф»). Я был совсем еще мальчишкой и приятельствовал с его сыном, поэтому мое общение с Владиславом Дмитриевичем сводилось к обмену самыми бытовыми фразами. Но ни тогда, ни сейчас в памяти я не ощущал в нем искры Божьей. Он смахивал на благовоспитанного и образованного делягу, снисходящего до простых смертных из-за скуки. Быть может, я не справедлив к нему, но таковы были мои ощущения тогда, таковы они и теперь».

«Имитатор, невероятно талантливый и артистичный, ве-се-лый...»

«Из рогатки стрелял по врагам отцам... Со специальной досточки на дереве... Досточка “отгнила” лет через пятьдесят...»

«Паспорт у меня американский, но душой я русский...»

«На Запад сбежал с банкета через запасной выход...»

«Владислав Р-ов... “Орлы-погубители” слетались в августе в Коктебель... Выделялся Р-ов... Мчался на красном то ли “форде”, то ли “порше”...»

Разорвал на четверо, на шестнадцать и выбросил. Боря внезапно заметил меня, под его взглядом я после нерешительных мгновений выудил обрывки из урны и затолкал в карман.

Боря смотрел на меня давно заплаканными, высохшими, прогоревшими глазами и все *видел*.

Тяжело молчать. Мешают собственные руки. Темно, осенью я умею точно угадывать время. Хоть бы кто-нибудь позвонил.

— Остановись, — издали сказал он. — Мы дошли до края, дальше только вода. Океан.

Запинающиеся, потрясенные шаги, и секретарша, не сбрасывая куртки, замерла на пороге, украдкой осмотрев кабинет, словно ожидая обнаружить в нем кого-то еще:

→ Я думала — проспала... Все окна горят.. Все на месте. Надо было пораньше сегодня? Вы бы сказали... У нас генеральная уборка?

— Мне нужны две картонные коробки.

Она, уже не веря в доброе, напутанно заглянула в выгоревшее Борино лицо и тихо затворила дверь, неподвижно оставшись снаружи.

— Я так понимаю: дело сделано. Я тебе больше не нужен, — Боре хотелось услышать свой голос, произносящий спокойно именно эти слова; теперь уже молчало полегче, все сказано, я отвлекся от второстепенного, ничтожного, происходящего со всеми, и яростно подумал про «дальше»: Цурко, мать и остальные мне не помогут, интерес к самоубийце Оле краеведением не объяснишь, но ведь у девочки был-остался где-то отец,

неспроста обходимый в рассказах молчанием, родня «той», отцовской стороны, а через них — к друзьям и подругам, зацеплюсь: Олю похоронили на Ваганьково, если найду могилу — узнаю фамилию девочки, день смерти, имена людей, отвечающих за участок, и телефоны — вот след, и пойду.

— Я тебе очень благодарен. Все-таки хоть какая, да жизнь... — Боря расплывался, подрагивая, стираясь в серое, телевизионно-шуршащее пятно, помеху. — Я желаю тебе хоть немного быть к людям по... — он сосредоточился, выбирая слово поострее...

— Мне этого не надо.

— А помните?! — Чухарева шатало, горят щеки, так, он подсмотрел в кино, полагалось неистово праздновать, мы — чемпионы! — как орут безмозглые ублюдки с потными космами, тряся золотой урной. Все думал — мы не сможем...

— А мы смогли!!! — дико, лишь бы заткнуть, заорал Боря, и они обнялись.

— Я, — вдруг признался в личном, — так и не заснул, смотрел запись передачи, вы — такие *молодцы!* Просто... Я уже думал — все... Никогда бы не догадался спросить про гильзу... А свидетель? А Таня Рейзен и дуэль? Рука в кармане? Нет баллистической экспертизы, — за его спиной возникла побледневшая секретарша, ничего не слыша, а Чухарев жал Борину руку, стесняясь потрогать меня.

— Ты знаешь, безымянный человек, — Боря сжал Чухареву плечи, — самое время сказать, ты — мужик. Судьба тебя испытала на излом, я буквально краем уха... ты все прошел, себя сохранил и никого не предал, самое главное — себя не предал. Не зря мы тебя приняли в стаю. А мы — хищники, мы идем за кровью, мы загрызем своего, если будет мешать движению вперед... а ты уцелел, заматерел, и в деле нашем и твоя заслуга.

— Да что вы, Борис Антонович, что я — канцелярия, бумаги... Мне еще столько учиться... — отмахнулся Чуха-

рев, но слушал упоенно. — Главное, что мы — команда! Рыцарское братство — спина к спине и — на прорыв! А сейчас я пойду спать! Я все эти годы мечтал — жену предупреждал: когда дело закроем, я лягу спать, день буду спать, два, три, — выбрасывал он пальцы. — Отключу телефон, забуду про все и буду спать. Пока не выплещусь. Первую ночь — спокойно, на этом свете.

— Поспи, поспи, человек, — радовался чужому Боря, — отдохни. Твои силы нам очень нужны, закрыто только первое дело, и спрос теперь с тебя будет совсем другой... Кому много дано, с того и... Нет, нет, сегодня — ни слова о работе, ишь ты, как сверкнули глаза, — ты только посмотри, командир! Орел! Волк! Не терпится! Нет, сегодня — всем спать, баю-бай, — и подтолкнул сопровождающе Чухарева на выход, ласково отодвинув секретаршу — та не сводила с меня нетерпеливых глаз, что-то сказать, срочные новости. Боря вернулся и развел руками: руки свободны — взялся за секретаршу. — А с тобой что, детка? Да на тебе лица нет! Марш в постель — я принесу чашку горячего бульона!

— Там пришли люди. Говорят — они новые арендаторы и заезжают после обеда. Просят ключи. Говорят — вы знаете.

— Отдайте им ключи.

— Мы переезжаем? Куда? Что мне делать?

— Соберите личные вещи, сегодня освобождаем помещение. В бухгалтерии надо получить зарплату и выходное пособие. И напишите заявление по собственному желанию.

— Я вас не устраиваю? У вас есть человек на мое место?

— У нас возникли некоторые трудности...

— Я могу месяц, два работать бесплатно. Господи, ну почему все вот так?! Почему нельзя сказать прямо?!

— Мария Николаевна, прямо: у нас достаточно доказательств, что 3 июня 1943 года на Большом Каменном мосту Нину Уманскую застрелил Ваню Микоян. Это все, что мы хотели узнать, — мы закрываемся.

– Но вы не знаете, почему он это сделал!

– Это неважно.

– Машенька, если *вам* это важно, – Боря успокаивающе улыбался и прятал трясущиеся руки, – если реконструировать, то варианта два. Один – дуэль. Два – Шахурин уходил, но вернулся на выстрел и получил свою пулю. Три – убийство Шахурина по неосторожности, в игре, и осознанное устранение Нины... Четыре... Но мне больше нравится один. Два предполагает крики, борьбу за пистолет, жертва находилась в движении и пыталась бороться, да и одежда Шахурина сохранила бы следы борьбы... Оторванные пуговицы. Да забейте!

– А что теперь?

– А-а... Вы про это. Про возмездие. Так мы ж не милиция, вы не заметили? За наказанием – к участковому. Вам за что платили?

– Но все должны знать – не виноват Шахурин!

– А он не виноват? Как посмотреть... Все виноваты! – Боря перекрестился, вытащил из-под рубахи и поцеловал воображаемый крест.

– Какой тогда был смысл?!

– Большой Каменный мост. На ту сторону. Как это можно, барышня, все делать со смыслом? Так и не поняла, – протяжно и печально вышло у Бори, – чем мы занимались. Зачем делали жизнь хрен знает с кого... Мы соскребли все, что отразилось в человеческих сердцах, подсчитали численный перевес в свидетельствах... ведь любое, даже из-под пыток, даже лживое хоть из чего-нибудь да росло! – и связали букетик, *на свой вкус* – иголки торчат в разные стороны – и если вынести и отдать его людям – поранятся все. У них, – Боря показал за окно и вокруг, – у живых, нет навыка обращения с правдой. Ты не можешь смотреть на правду без стеклышек. Нас изуродовали протоколы и вот такие, как вот... вот, – Боря, не оборачиваясь, отмахнул рукой по направлению ко мне. – А вам запечатал мозг телевизор и упаковка...

Вот ты и требуешь, чтобы правда *продвигалась*, чтоб полезно было ее жрать... А в конце поплакать. Злишься, что не понять, где здесь плакать?

— Борис Антонович, вы со мной говорите, как с чужой... Я могу *все* понять. Я к вам очень хорошо отношусь... Вы близкий мне очень человек...

— Жаль, если не заметила... все пыталась устроить свою девичью судьбу... Мы занимались *производством правды* в чистом виде. Только тем, *что произошло на самом деле*. Не продавать, нам ничего не надо от вас, нас — кормят другие, — Боря залез на стул. — Мы шагу не ступим за черту, чтобы сделать правду поувлекательней, *изогнуть*, чтобы подбрасывало и крутило так, чтобы барышни вроде тебя ойкали, хохотали и не могли уснуть. Правда в чистом виде, вот такая, — Боря показал пустую ладонь, смотри! — Серая, невнятная, легко испаряется, добыть трудно, присвоить легко — *не интересная*. А ты думаешь, раз заплатила за билеты, то где-то должен быть вход, кнопка и вход! Это не к нам. Нас занимает ненужное. Время. Мы ждем автобуса. А вы, русские люди... — Боря замолчал и снисходительно и горько покачал головой, — раньше хоть любили сбрызнуть порцию кровью... Какие-то поиски, шарили во тьме... А теперь — только поржать и резиной в резину! Никого отдельно нет. Тебя нет. Нет твоего прошлого, ты понимаешь? Исчезло. Будущее отъехало еще раньше. Тогда и тебя нет. Чем спасешься? Как и все: купишь билеты в стадо. Только чеки сохраняй... Не можете смотреть чужую смерть, не хотите знать свою. А любой смертный час, если его внимательно... разбухает страшными, необъяснимыми подробностями — пристальное внимание к единственной минуте опасно. Из обычной истории распятия в глуши можно сделать... Можно слепить... Как тебя звать? Точно ты? Что-то я тебя не узнаю... Лицо у тебя вроде было какое-то другое... Опасно искушать смерть вниманием. Если умер кто-то, все уже сказано. А если вопросы продолжа-

ют звучать, если кто-то пытается подойти *слишком близко*, то свидетели начинают *домысливать*, они открывают свою душу небывшему, непроисходившему, неправде — прошлое начинает самостоятельно мыслить мозгами миллионов. Самостоятельно мыслящее прошлое опасно, это зыбучие пески — поглотят все. Туда — нельзя *долго* смотреть. Дело закрыто. Уходим. Собирай вещи. Что ты плачешь? Ты пропала.

— Александр Наумович! — позвала, словно «спасите!», не двигаясь с места, словно сторожила, не давала мне уйти.

Гольцман, белый, хворающе красный, всклокоченный, безглазый, погруженный в свое нутро, словно перепил снотворного или рано разбудили, вывез из оставленного кабинета новый громадный бордовый чемодан на колесах и удлинил рывками ручку — застегнул черное толстое пальто:

— Неважно чувствую себя. Все ненужное выложил на стол — кто-нибудь выбросит? Поеду. Вызвал такси. Спасибо за премию, все получил. Звони. Маша, — ему хотелось ее поцеловать, дотронуться, припасть, но он уже ехал, а она стерегла меня и всматривалась, запоминая, в Гольцмана, в мертвые, нервно выбритые щеки, неоткрывающиеся глаза, всхлипывая в ладонь. — Я желаю вам всего самого-самого доброго, — отвернулся и покатил свою колесницу. Боря, затянув басом что-то отрывочно оперное, слетел со стула, сорвался открыть и подержать дверь и не вернулся — спустился проводить до такси.

Одна тысяча рублей и бутылка водки: Анастасию Владимировну Петрову похоронили на четырнадцатом участке Ваганьковского кладбища. Я немного волновался, глядя в зад едущего впереди фургона, на расчищенный от грязи автомобильный номер — словно на свидание; неуловимая, неощутимая материя все-таки застряла в дверях, лоскуток зацепился за гвоздь, буду с ней близ-

ко, в двух метрах — единственное доказательство ее существования.

Четырнадцатый участок оказался огромными четырьмя квадратами в старой части Ваганьково, налево от входа, набитый мертвыми так тесно, что меж оград некуда поставить ногу; камни и кресты глядели в разные стороны, прятались в траву и друг за друга. Я ошеломленно порыскал по краям, как вдоль моря, я-то верил, что меня сразу окликнут — именем или фото, и два часа лазил меж оград: Петрова, Петрова, 1984 — нет. Но есть одна безымянная могила.

Ничего. Я зашел в контору. Комнатку зрителей занимал человек в чистой синей фуфайке, расслабленно откинувшийся на стуле. Говорил он так тихо, что приходилось нагибаться навстречу ленивому шепотку. Как мне найти? Как, как — ходите... В архиве нет плана захоронений? Нет, сами ходите. Может быть, есть угол, где хоронили именно зимой восемьдесят четвертого? Нету. Может быть, зрители помнят фамилии? Тысячи могил, оба зрителя на обходе. Можно сдаваться.

Я прочел со стенда все документы, необходимые для родственного захоронения, выжидая, когда женщина-«Регистратура» останется одна.

— Не могу найти, — перед своей жалкой и слабой, косоглазой улыбкой я просунул пятьсот. — Там Петрова скорее всего не одна...

— *Петрова*, — она долистала книгу до декабря 1984-го, не поленилась вытащить вторую. — Захоронена со Степановой Степанидой Ивановной. Довольно большая ограда — два на два. Написано: могильный холм. Ищите по размеру ограды.

Я показал человеку в чистой синей фуфайке сто долларов, и он воздушным шариком двинулся за мной — четырнадцатый участок мы разделили пополам. Найду я. Пробираясь меж колючих оград... Имена совершенно не запоминались. Степанова? Степаненко... Запоминались

детские лица, на младенцев смотреть я не мог, спросил как про соседку – старожила с веником:

– Степанову не видели?

Она заорала:

– Я тут что, всех знать должна?!

Тварь. К некоторым никому не нужным оградам уже не пролезть, я возвращался на дорожку и продирался, приметив место, с другой стороны, ступая по краям железных надгробий, как по рельсам. Вдруг наемник позвал меня – поднял руку. Нашел.

Здравствуй, Тася.

Три креста. Ржавая ограда, калитка привязана целлофановым пакетом. Глиняные холмики проступают сквозь пену упавших листьев, как женская грудь.

Но девочки Оли не видно. Она ушла другой дверью.

Я перелез ограду, поспешил палец и расчистил последнее, нижнее имя, почти съеденное землей: Петрова 2.12.84 года, я тебя догнал.

Край земли, не нужный никому. Остался только я. Но заметил – астры все-таки пытались поднять головы, рассаженные по кусту – на каждой могиле. На крестах – пластмассовые венки. Может быть, кто-то и... Но точно – не дочь. Не Ираида.

Переписал подземных жителей коммуналки. СТЕПАНОВЫ (*кто это такие?*): Алексей Николаевич 28 июня 1937 года, Виктор Алексеевич (*сын, получается, первого Степанова...*) 23 января 1969 года, Евгения Александровна 1953 года, Степанида Ивановна 7 июня 1978 года (*жены, что ли?*), Евгения Алексеевна (*дочь*) 1 апреля 1975 года, Чубурков И.М. 10 августа 1978 года, и самая свежая – Колотилина Анна Ивановна 14 февраля 2000 года – кто они Тасе Флам?

Еще пятьсот рублей в контору – участок записан на Колотилину Е.В., позвонил, уже по голосу поняв: род измелечал.

– А кто спрашивает?

— Алексей Иванович Сидоров.

— А кто вы?

— Человек.

— Зачем?

Затем.

— А это я. Бабу Настю может помнить только моя мама. Она работает до пяти.

И долго отнекивалась, пока не добавил: отблагодарю. В субботу в одиннадцать. Но ничего, простолюдины побольше запоминают из прожитой жизни.

Собрав в пакет коробку шоколадных конфет «Коркунов», банку кофе, пачку чая и бутылку водки — от «Бауманской» я вдарил пешком до Немецкого кладбища и чуть промахнулся, спугав Солдатскую улицу с переулком, и возвращался, нечаянно припоминая: а ведь я, годы назад, весной или летом, стоял напротив кладбища с сыном, жена пошла навестить могилу тестя, а я заупрямился и сына поберег, мы остались ждать напротив, среди яркой пластмассовой цветочной торговли, как вдруг ударили копыта — девчонки вели пони. Я похрустел бумажкой, сын оседлал скакуна с разукрашенными косичками в гриве, и мы весело тронулись подальше от печали, и долго ехали, а тут объявили — назад не идут, никаких «кругов», и спешили под деревянной вывеской «Медвежонок» — имя игровой площадки, я увидел и узнал.

С третьего раза я попал в переулок, собранный из двух хрущевок, балконы первых этажей стояли на земле. Квартира три. Выходит, первый этаж. Код забыл спросить. Позвонил по телефону, на первом этаже орала матом на кота и смолкли потому, что зазвонил телефон: это я.

Мать, Татьяна Ивановна, грузная, огромная, широкая, зубы прут в разные стороны, уселась напротив. За стеклом шифоньера стояли четыреста игрушек из «кин-дер-сюрпризов», сколько же денег. Я молча выставил на стол подношения.

– Кто вы Петровой?

– Алексей Степанов зажиточный был, у него имение в Михневе. Жена его – сестра Софьи, матери Насти. И брат у него Александр. Евгения – дочь брата. Еще Евгения – дочь самого Степанова. И домохозяйка, Татьяна, прижила от барина еще Виктора, Степанов сына признал, и жена смирилась. Виктор в шестнадцать лет ушел из дома. Степанида Ивановна – это его жена. Бабка Стеша. Это моя тетка.

Охренть. Надо будет рисовать схему. Короче, сестра Софьи Топольской, Тасина тетка, жила в несчастье: муж ее результативно трахал домохозяйку.

– Говорят, внучка Петровой покончила с собой...

– Ольга? Отравилась.

– Из-за чего?

– Может, ей на голову подействовало, что на нее напали в подъезде... А с бабой Настей она не общалась. Оля с тринадцати лет одна – мать вышла замуж и за границу уехала...

Я тьякнул:

– Так у Петровой больной сын...

– Вася?! Так *сил много не тратила!* На даче за ним мужчина ходил, гулял, двести рублей в месяц платила. Дома бабки Женя и Стеша возились. Вася смирный, к нам его привозили, варенье закручивал. Настя богато жила, но не помогала. Стешу благодарила разной ерундой, а Стеша нянечкой в Бурденко, а муж в охране и дворником, они-то жили на той стороне, на Ухтомско-го, а разменяли, уехали от брата-алкоголика...

Я еще послушал и уточнил:

– Почему Олю не похоронили на вашем участке?

– Не знаю, мы бы рады. Ираида объявилась, только когда умерла мать. Мы еще удивились: чего она к Оле не хоронит?

– Не помните фамилию Оли? Год, когда умерла? Сколько лет?

– Не помню... Лет двадцать назад, тридцать... Да молодая совсем... Фамилия ее – Вознесенская. Муж очень убивался.

– Муж?!!

– Бабка Стеша рассказывала: высокий, красивый, шел первым и прямо на гроб валился. Он в доме отдыха жил, когда Оля отравилась. Хорошо они жили. Олина квартира ему и досталась.

Муж. Единственная внучка Цурко – Ольга Вознесенская, отравилась, находясь в замужестве, казавшемся посторонним счастливым. Квартира осталась мужу, значит, прописаны вдвоем – в Доме правительства? В квартирах Петровой и Цурко девочки нет, ехать в Ермолаевский переулок, искать остатки бабки, С.А.Топольской.

Я вытащил мешок с бумажной корой (обрастает человек, посидев на месте) и надежно перевязанные, тяжелые, словно свинцовые, коробки с солдатиками, как боеприпасы, на уличную сырость без запахов. В Москве нет запахов. Даже полная тарелка на столе ничем не пахнет. Поэтому так заметен дух горящей листвы. Пахнет пот. Парфюмерный кокон женщины, внутри которого она болтается, как последняя монетка в коте-копилке. Парфюмерный запах мужчины, торчащий из него, как бумажник, как очертания пистолетной кобуры, как член. Снег летел вверх. Так бывает средней осенью: снежный пух, забежав вперед, в чужое время, летит вверх, словно еще не привыкнув. Только народившись и не зная – куда.

Не успел поднять руки – Алена стерегла через дорогу у застекленной жизни салона красоты: вот же машина, я жду тебя. Я оглянулся на окна конторы – света нет, ключи сдал, уже некуда, прожил и, шатаясь от усталости, потащился к ней, чтобы спросить:

– А разве ты остаешься?

– Что? – Она не расслышала: проезжающий автомобильный шум, спешка собственных заготовленных фраз,

хлопок шампанского должен успеть к курантам, — с окончательной клейкостью обхватила меня. — Не жалею, что дело закрыто. Мы будем с тобой жить на острове. И нам никто не будет нужен. Я тебя люблю, — и оставила место: *скажи*.

Арестантом я покидал пожитки в багажник, мучаясь, что от поваленной сосны свернул не туда и придется вернуться и двинуть левее, оставив солнце по правую руку и где-то оставив ее, поднялся в салон красоты и двигался неостановимо до стойки — до чудовищной жопы с выкращенной в смолу челкой:

— А что это за хмырь возле вас стоял?

— Это наш стилист. Он занимается моей головой.

— А кто занимается всем остальным? Может быть, я займусь?

Она повозилась, почиркала и протянула клочок бумаги, словно чек. Номер телефона и имя — Татьяна. Несколько извилин, пройденных шариковым стержнем для вызова счастья из леса.

Вышли «покурить», и под вывеской я ее потискал.

— Не надо трогать меня... так. Ты же сможешь сегодня же ко мне приехать. Я никогда ничем не болела.

Почему не смогу? Она пошла отпрашиваться, я смотрел в небесную серую реку, тянущуюся меж крыш, отдувал снежинки и думал: купить презерватив. В первый раз не отсосет. Ненавижу резину. Эти вопли: *а есть ли у тебя что-нибудь для защиты?!* Заготовленное под подушкой. Фольгу на зубах. Проверки: не слетел? *В меня* ничего не попало? Ты выбросил его? Наступают холода, обернись... я легко и трудно обернулся на ждущую машину, сквозь лобовое стекло, во вздрагивания или поблескивающий взгляд, умещающий смерть, и удивился — пустоте; уехала, никто не ждал, *лопнуло*; другой парковался, повинувшись манящей ласке грязных парковочных лап желтой безрукавки с алой бляхой на груди.

Лил дождь, зимний ледяной дождь — по голове, на макушку, не давая посматривать вверх, да там и некуда смотреть: над старыми двухэтажными стенами, над котлованами турецких строителей, над сколоченными из досок тротуарами такая ж грязь, что и под ногами. После мучительных сидений в дневных пробках Садового кольца и переползаний переулками и Бульварным в начале пятого я не быстро и не медленно шел правой стороной Большого Козихинского, отмечая номера домов на левой стороне. Совет ветеранов живет в доме двадцать три без телефона, впустую съездил прошлый раз — принимают только по средам, с трех до пяти.

В богатом доме сидят. Я потомился у запертого железом подъезда. Замок щелкнул. У местной жительницы, ведущей под дождь ребенка, лицо исказила мука: кого выпускает?

Совет ветеранов заседал по-школьному: за учительским столом наставительно сидел дед с армейски зачесанной вверх и назад седой шевелюрой. По двое за столами-партами устроились пожилые женщины, не сняв курток, шапок, платков и пальто. Я смотрел только на лица, не запоминая, они смотрели на меня — главное событие недели. Одна старушка возбужденно рассмеялась с интонацией: «Помните, я вам про него рассказывала? Сейчас сами все увидите!», — чем-то я радовал ее.

— Я разыскиваю тех, кто знал Софью Александровну Топольскую, 1882 года рождения. Ермолаевский переулок, дом 8, квартира 13. Она умерла в начале шестидесятых.

— А чем это она так знаменита?

— Ничем. Работала машинисткой в «Вечерней Москве».

— Я живу в доме восемнадцать. Только не в этом подъезде, — женщина с больным лицом, дремавшая за последней партией, встрепенулась, но говорила так, слов-

но продолжала спать. — Я даже ее помню. Немного (*я напрягся*). Она была блондинкой. И женой Алейникова. (*Женщину семидесяти лет трудно назвать блондинкой. Она лет сорок была в разводе с человеком по фамилии Флам.*) Потом она получила отдельную квартиру и уехала за Речной вокзал, в Химки. Только мне кажется, жила она не в тринадцатой квартире. И не в нашем доме. В нашем доме с самого начала живет Галина Петровна Потапова (*сколько ни встречал Галин, каждая — тварь*). Запишите телефон.

У дверей паспортного стола (дом 9, строение 1) я сперва позвонил в бывшую квартиру Топольской, по адресной базе милиции там сиял некто Овсянкин.

— Ольга Вознесенская? Никогда. Я переехал в восьмидесятом году. И знаю того, кто жил до меня. Он уже умер. Ничем не помогу. — С подозрением быстро отключился.

Телефон старожилки Потаповой взял сын:

— А вы кто? И что? Ну?

— Что — ну?

— Она не будет с вами говорить!

Убить, своими руками. Как и авторов пособий «Возлюби свою боль», «Как научиться ближнего своего видеть насквозь». Булку б с изюмом, я — в паспортный стол, предвкушая: а вам зачем? а вы родственник? — погонят, продолжив шепотки с пришедшими продлевать регистрацию кавказцами. Дать тысячу. Лучше пятьсот.

Паспортистка стояла за стеклянной стеной, у вырезанного хомутом окошка. Непривычно. В прочих паспортных столах заходишь и подсаживаешься к столу. Немного народу. У окошка образованные супруги уточняли: какого цвета азербайджанский паспорт? За мной заняла выцветающая девушка с волчьими челюстями, оттяпывает квартиру у подонка мужа, будет нетерпеливо прислушиваться и морщиться. Я разглядывал паспортистку: доброе круглое лицо, очки. Все время улыбается. Попроситься в кабинет? Испугается.

Она взглянула на меня. Я помолчал и улыбнулся, и она. Я показал серую фотографию на толстой бумаге:

— Ищу могилу этой женщины на Ваганьково. Рядом с ней мою бабушку похоронили. Не могу найти. Вы не посмотрите в домовую книгу год смерти, с кем прописана, Ермолаевский переулок, восемнадцатый дом? — из-под фотографии на стол паспортистки спланировали пять сотен.

Паспортистка отошла листать. Сейчас скажет: умерла в 1962 году, а проживала с внучкой и ее мужем — таким-то... Первый свидетель — установлен. Я оглянулся на злобную девушку, та поправила капюшон дубленки и взглядом дала понять, что знает мне цену — дерьмо.

Палец паспортистки со скромным маникюром прополз вниз по фиолетово-чернильным водорослям фамилий-имен-отчеств:

— Вам не повезло. Топольская уехала от нас в добром здравии в 1956 году. Когда дом встал на реконструкцию. Проживала одна, в коммуналке. Убыла на 7-ю Парковую, 43-а.

Заново: совет ветеранов, паспортный стол... Сохраненный кусок жизни.

— А люди? Те, что жили с ней коммуналке. Убыли куда?

— Тоже пожилые. Второго года рождения. Умерли давно, жили одни, — паспортистка перестала улыбаться, и глаз ее коснулась тень. — А зачем они вам?

Надо ехать. Купить кусок хлеба и колбасы. Муж Ольги Вознесенской проживает последние спокойные дни среди пятнадцати миллионов жителей Москвы; я чувствую слабость свою в этом поиске и все время чувствую силу, что меня ведет, — невидимые руки сомкнутся, он ответит на несколько вопросов.

В последнее время всегда — в семь вечера слипаются глаза, а ляжешь ночью — мешает все; не люблю читать — все измышления, по телевизору — женский футбол, выхожу на балкон и рассматриваю дом напротив

с раскладного стула, если во дворе не пьет и поет быдло, если не бьют салюты Китайской Народной Республики из песочницы, взлетая на уровень двенадцатого этажа, и матери сидят в черных спальнях, зажав младенцам уши ладонями. Кто? В дверь позвонили. Я потаился, едва дыша, позвонили еще, без нажима, с «подождут немного и уйдут»; я подкрался к глазку и покраснел от плеснувшего стыда, от собственных шорохов, насекомых перебежек под мусорным ведром.

— Добрый вечер. У вас отключен телефон.

Секретарша прошла за порог, стесняясь взглянуть повнимательней, пытаясь разуться, найти вешалку, я, ужасно, ужасно потерявшись от внезапности, от прежде неведомого ей домашнего, подпанцирного вида, незаправленности, несвежести, кислоты, открытости укусам, да еще лампочки перегорели — неспроставшего молчал, не зная: куда? — и сел успокоиться на пол, спиной к стене, полный мелких страданий, да еще босой!

— Не включается свет? — она пощелкала пластмассой. — Вы здесь живете?

— Да.

— Но здесь же ничего... Пустая комната. На чем вы спите? Где хранится ваша одежда? — Работа кончилась, ее уволили. Секретарша имела право задавать вопросы. — Борис Антонович дал ваш адрес... Простояла у подъезда, — замерзла, не знала код, долго никто не выходил. — Она прогулялась к балкону: что я вижу, когда... пересекла паркетные полосы и присела на пол не коснувшись, но близко — соединенные острые колени из-под края юбки.

Мы сидели рядом, словно договорились, встречаемся так каждую ночь, беседуем, находя общие темы. Я не мог собраться и соврать, сыграть что-нибудь, я сидел, превращаясь в ребенка, видя в первом встречном спасителя, только протяни ему руку, поплачь, и вдруг выронил, помимо себя — горе? неужели все-таки важно? или в поисках облегчить душу?

— Алена ушла, — и что-то показал ей руками, разрывающееся, боль.

— Я знаю. — И добавила с горячим чувством, пытаясь скрыть и искупить радость: — Она была готова ради вас на все. — Ей не понравилось презрительное вздрагивание моей головы. — Вы любили ее?

— Да.

Она вытерпела и:

— Тогда почему вы ее мучили?

Ей бы хотелось, чтобы я что-то... Например: а кто вам сказал, что любовь — это когда не больно? Любовь — это когда нет смерти. Хорошо и больно. Сладостно и больно. Страшно и больно. Болит рука, пальцы, глаза, болит память в тесноте воспоминаний, болит город, улицы, дома, троллейбусные маршруты болят, болит время: месяцы, дни, некоторые часы болят больше других.

— Вы не можете здесь жить. В пустоте. Вам просто не хочется, чтобы я узнала о том, что вам дорого, ваш дом. Извините, но вы не кажетесь мне счастливым. Что вы делали раньше? Борис Антонович мне сказал, но об этом, наверное, нельзя? — вы... в ФСБ, а потом помогали выходить студентам из каких-то сект?

— Нет, конечно. Это я все придумал.

— Зачем?!

— Надо было с чего-то начать.

Секретарша вздохнула и враждебно спросила:

— А что вы еще выдумали? Кого еще — выдумали? Утром расставляете армию и думаете: ты еще поживи, а тебе хватит?! Лучше бы не говорили. Теперь все время буду про это думать!

— Что-то еще говорил Борис Антонович?

— Почему вы один?

— Я не один. Я никогда не был один. Я так рано женился, что не помню себя холостым. И поэтому никогда не трахался с чистой совестью, уже привычка.

– Вы женаты? – удивительно ей. – На ком?!

– На одной старухе.

– С ней... что-то случилось? Ее же здесь нет.

– Есть, – я покрутил головой впотьмах, по прямо-угольным лужицам оконного света, куда я положил? – Всегда ношу с собой. Вот же... Да где? А, поставил на зарядку. Она – превратилась в мобильник. Удобно. Захотим – можем поговорить. Я хочу – набираю ее. Если она вызывает, у меня звенит и высвечивается «жена»... И я отвечаю. Если не хочу – остается в непринятых. В изображениях есть ее фото. Я потом покажу ее, да вы же видели, я ж на работе всегда с трубкой...

Посидели, но ей скучно сидеть:

– Вот все закончилось. Я представляла: когда все закончится – мы устроим праздник! И все будут радостные ходить... А теперь еще страшней.

– Почему? Выложили все, как было, и получилось – ни слова правды?

– Не знаю. Страшно. Должно было кончиться чем-то другим, – она резко повернулась ко мне, щекотно задев прядками, волосами. – Сейчас, когда мы одни, ночь, я не вижу твоего лица, ты можешь мне – *один раз!* – сказать то, что думаешь на самом деле.

Во всем я останавливался, едва только первая ясность появлялась вдалеке: в футболе, в игре на трубе, фотографии, собирании солдатиков – ни к чему близко не подошел и не взял в руки; маленьким был, а молодым нет. Не пришлось. Никакой страстной силы при постижении мира. Почему так сложилось? Никаких заблуждений, страстей и очень острых, обрезающих на всю жизнь, желаний. Все в пределах крестьянской дисциплины и понимания скорой смерти.

– Нам не поручали делать выводы. Мы разведали и назад – через линию фронта. Боря тебе все объяснил.

– Я никому из вас не верю. Только Александр Наумович добрый, но он промолчал.

— Да? — Что ты про него знаешь, девушка... — Первыми трупы увидели милиционеры. Они не знали: кто, что, чьи дети... Они опытные, прожившие люди правды, и мертвых смотрят каждый день... Я только в таких верю. Милиция сразу написала: мальчик — самоубийца. Почему? Милиция вьедливо изучает место преступления, особый пунктик — документы... Вывернуть все карманы, чтобы установить личность. Наверное, они обратили внимание на штанцмарку — характерный след от приставленного вплотную ствола. Остались, получаются, повреждения на коже, как пишут обычно, от «дополнительных факторов выстрела» — вьевшиеся частицы пороха, трафаретное отражение ствола — даже пистолетную мушку пропечатывают на виске расходящиеся пороховые газы... Четкая картина выстрела самоубийцы.

— Но ведь милиция не нашла пистолета.

— А вот это могли сразу и не заметить, пока ворочали трупы — может, оружие свалилось с лестницы вниз...

— А то, что Нине выстрелили в затылок?

— И это. Направление раневого канала «слева-направо, снизу-вверх, кзади» как раз самое распространенное в убийствах эмоциональных, на почве ревности и мести. Убийца располагается практически спереди, а потерпевшая инстинктивно отворачивается от выстрела вправо...

— А то, что Шахурин держал руку в кармане?

— Левую руку. Крайняя степень волнения. Дрожали руки, подергивались. Вот он и спрятал ее в карман, чтобы зафиксировать. Если бы в него стреляли, мальчик бы пытался обороняться и руки держал бы на свободе. Дети. Смерть они еще не вполне осознают... Им кажется, что ничего плохого с ними случиться не может, они не могут *перестать*; кажется: после смерти все равно все останется впереди, будущее — их, а самоубийство — всего лишь способ что-то сказать миру и — услышать ответ, — я вздрогнул и поежился от озноба, секретарша испуганно схватила меня за руку. — Самоубийства подростков про-

исходят именно так. Решения принимаются быстро и претворяются в жизнь тотчас.

— Зачем Ваню чистил пистолет?

— Мальчик. Хотел скрыть, боялся папу, а может, и некоторый навык — у людей, часто пользующихся оружием, на уровне рефлекса — после стрельбы надо почистить. На каждый вопрос есть ответ.

Она пожалала и выпустила мою руку, разозлилась на себя:

— Какая же я дура! Я вам так поверила... Вы так искренне и умело все раскрыли третье июня... Так... показали, что все — ложь. А все... И сами врал, и Микоян ни при чем...

— Может быть и он...

— Зачем ты меня мучаешь?! Он! Не он! Опять он! — Она поднялась скорее уйти, остаться одной и подумать в тех местах, где она спит и сегодня не сможет уснуть. — Неужели лично тебе действительно все равно?! Да, тебя заслали, тебе сказали... Но лично тебе: все равно, кто убивает живого человека? Тогда, на мосту? Она могла бы еще прожить шестьдесят лет!

— Меня это не трогает. Проиграно главное, а мелочи... Нам поставили задачу — *каждый должен быть услышан*, — ты ж не переживаешь, когда играешь на компьютере... Стреляешь, в тебя стреляют. Тратишь жизни. Как может сердце заболеть?

— И ты... Только это? Вот ради этого — семь лет?.. Все, что ты хотел?!

Что бы я хотел? Чтобы кто-то из них вышел навстречу из подступающего тумана. Хотелось бы задержать Петрову, Настю, Флам — но она не пожелала в старухи, сберегла молодыми глаза, свою силу, *механику обольщения*, нажала «уйти без следа», без старческих фото со слезящимися глазами и полоумных исповедей нянечкам, пришедшим вынести дерьмо. Я бы хотел... Хочу умереть. Но остаться живым. Умереть в другую сторону. Где нет смерти. Остаться жить, но умереть.

— Тебя раздеть? Или у тебя какой-то другой план? Есть же и у тебя какой-то план. Что там дальше?..

Она вскочила и — к дверям, дергала ручки, пробовала замки.

— Ты же запомнила: я запер дверь. И твой план: позвать «открой, выпусти меня...», расплакаться от обиды в темном коридоре... Чтобы обнял...

— Нет!

— Утешал, говорил, как хорошо ты работала, как мне не хватает тебя... Особенно сейчас. Гладил. И ты тоже меня обнимешь, а потом уже скажешь, зачем пришла и что хочешь. Мало осталось, не хочу играть. Что еще сказал Борис Антонович?

Она ответила так нескоро, что я поверил — промолчит:

— Что вы не остановитесь. Дождетесь, когда все разойдутся, оставят вас и — пойдете дальше один.

— Еще.

— Что это опасно. Все, что связано с той женщиной, Анастасией Петровой, — опасно. Что это видно даже по судьбе ее любовников и мужей. Еще он сказал, но не про женщину, про что-то: *она* все равно окажется сильней, и человеку лучше в этом не убеждаться, все-таки надеяться. Он думает, вам нечем будет вернуться. Если вы пойдете. Вот, почти все.

— И еще он рассказал что-то про меня...

— Боря хороший. Он не хотел сделать мне больно... Чтобы я... не ездила к вам.

— И дал адрес.

— Не то чтобы не ездила, а чтобы осталась... Не искала вас... там, — наконец-то в ее руке появилась бумага. — Я съездила в Дом правительства, поговорила с соседями... Все говорят: Оля Вознесенская запомнилась очень светлой... Петрова покупала ей что-то для школы, и Оля всему радовалась: баба Настя, мне как раз это и нужно! Училась в инязе. Бросила, когда полюбила Владислава Р-ова. Собралась замуж за другого, но покончила с со-

бой. С матерью Оля не жила — Ираида Петровна много времени проводила за границей. Над гробом Петрова сказала: «Оля могла прожить еще шестьдесят лет». — Не дождавшись благодарностей и горячечных вопросов, выложила еще: — Я съездила в иняз и убедила учебную часть показать мне на минуту дело Вознесенской. Все, что выписала, — почему-то бросила листик на пол, чтобы не приближаться. — Ладно. Попробую честно: в общем, позовите меня, если я еще что-нибудь смогу... Хочу с вами. Не хочу, чтобы вы один... Ничего не побоюсь. Я все смогу, если вам это надо. Только не обманывайте.

Шаги послабели и утонули в грохоте подъездной двери, я нашел мобильник и подсветил первый четкий след, отпечаток узкой убегающей юной стопы: Вознесенская Ольга Петровна (*отец — Петр Вознесенский, кто это? а еще Петр дед, бабушка Петрова*), родилась 6 марта 1953 года, закончила школу №122 Фрунзенского района. Зимой 1973 года (*девятнадцать лет, вот он, появился Р-ов*) просит академический отпуск по состоянию здоровья по сентябрь. Начинала на дневном и (*опять*) по состоянию здоровья перешла на вечернее. Декабрь 1975 года — приказ на отчисление с четвертого курса (*примерное время смерти установлено, двадцать два полных года, уместился муж и несчастная любовь*), прописка: улица Жолтовского (*вот он, теперь — Ермолаевский переулок*), дом 10 (*а прабабка Топольская в доме 8, все напрасно! Олю прописали к родителям отца?*), квартира 27. Переменила фамилию по браку — Овсяникова (*значит, Овсяников какой-то...*) — перечитал внимательней и то, чего не хватало — нашлось: Ольга Петровна Вознесенская родилась на *следующий день* после официальной смерти императора, не дав оборваться нити, еще одной опорой подставившись под изгиб Большого Каменного моста.

В доме двадцать один Овсяников по телефонной базе не числился.

Вторник, среда — с четырех до семи, я снова полз в паспортный стол, скучая: пел про бабушкину могилу,

а теперь понадобилась самоубийца в доме напротив; еще пять сот? А вызовут милицию? Милиции – сто долларов; скажу: сумасшедший, изучаю историю переулка; и повеселел: адрес стола-то другой, Красная Пресня, 26; но – просто переехали, и прежняя улыбка встречала интересующихся в восьмом окошке. Я занял очередь, за мной не занимали, подходили, спрашивали и не занимали, я промочил ноги, почти не сплю, ничего не придумал, паспортистка мне больше не улыбалась; сунул бумагу «адрес-имя», деньги:

– Ищу человека. Куда она выехала? – Почему я должен все объяснять?! Будьте сами повнимательней.

– Через неделю.

Через неделю:

– Вознесенская меняла фамилию на Овсяникову, знаете? Выехала в 1972 году на Куусинена, дом 9.

– Одна? Там у вас нет имени-отчества мужа?

Нет.

На Куусинена в базе висела Левина А.С. – где же Овсяников?!! – Оля выехала дальше? Какую квартиру оставила мужу? Вдруг ошиблись бедные родственники... Хотя во всем, что касается квартир и сережек с камнями, бедные родственники не ошибаются – я обреченно позвонил, и грубый голос, гортанный, диковатый, – небось, сдали квартиру черным, сидят на шести сотках, не доковыряешься.

– По этому адресу была прописана Вознесенская Ольга Петровна. Вы не слышали это имя?

– Я ее муж.

Я почуял: взлетает – то, что не происходит ни с кем, происходит с ним, его жизнь *нужна*, будет вспоминать этот вечер до смерти, вместе со мной.

– Я ее муж. Алексей Алексеевич.

– Я собираю материалы про семью Ольги Петровны, для музея... Хотел бы с вами встретиться. Несколько вопросов, недолго... Где вам удобно?

— Тогда уж давайте в квартире, посмотрите, где Оля... Запишите.

Второй этаж, верхняя кнопка, код... Торопился я, уже предчувствуя: напрасно, но радуясь, ошибся — дал свой телефон, но он попросил, нельзя спугнуть, трудно копать одному, и в воскресенье (за два часа до...) Овсяников позвонил:

— Саша (какой я тебе на хрен «Саша»?!)? Во-первых (это херня, главное он заготовил для «во-вторых», кому-то позвонил, поделился со своей А.С.Левинной, поворочался ночью), у меня гости приехали из Киева, много народу в квартире... А во-вторых, я так мало знал (ах ты, скотина... ах ты...)

Я бодро и сочно попротестовал, цепляясь за краешек ногтями. Позвоните когда-нибудь потом, после первого — и через *десять* дней:

— Мы хотели встретиться.

Вот он уже мне и грубо ответил:

— Это *вы* хотели. Мне нечего сказать.

— Десять минут. В любом месте. Я пришлю за вами машину. Вы можете ничего не рассказывать. Просто послушаете меня и скажете: это правда, а это...

— Нет.

— У вас будет время поговорить со мной по телефону? — Ему ведь и страшно, и любопытно, что я нарыл...

— Мы уже говорим.

* * *

— Оля жила в квартире бабушки Маргариты Михайловны Вознесенской по прозвищу Муца. Бабушка работала в «Вечерней Москве» (как мать Петровой — Топольская, знакомы?), отец Оли — юрист, он умер. Оля тяжело переживала развод родителей и не хотела видеть отца.

— Вы видели другую бабушку — Петрову?

– Баба Настя. Высокая согбенная старуха, типа Анны Ахматовой. На фотографиях и портретах маслом просто роскошная женщина. Я знаю, что она познакомилась с мужем в Японии. В Китае? Все говорят, невысокая? С меня ростом, а я сто семьдесят шесть. Вася? Не буйный. Похож на Форреста Гампа. Ежик такой на голове. Образованный, как словарь. Прекрасная память. В шахматы играл блестяще.

– Когда вы поженились?

– В семьдесят первом. Через полгода развелись. Я уехал работать за границу...

– Немного пожили вместе, это было связано с каким-то... конфликтом?

– Нет, с моим отъездом. Я уехал за границу на три года, и она должна была приехать ко мне. Но что-то у них там случилось.

– Ваша жена...

– Очень любила музыку классическую. Малера. Живопись. Глазунова, например. Такая была серьезная... Кем хотела стать? Педагогом, наверное. Мы развелись, и я уехал, и больше отношений не имел. Я старше ее на семь лет.

– Вы виделись после развода?

(Словно ударившись в темноте обо что-то тяжелое:)

– Да.

– Говорят, на похоронах за гробом шел муж...

– Никакого мужа. Это я.

– Отец пришел на похороны?

– Да. Да он каждую неделю на кладбище ходил!

– Оля красивая?

(Вдруг с теплотой:)

– Очень...

– Как бабушка?

– Нет! Другая.

– Когда она умерла?

– В декабре 1975 года.

– Ее смерть была связана с... болезнью?

(Очень отрывисто, бегом:)

– Да.

– Она умирала в институте Склифосовского?

– Да, сотрясение мозга *(все, пошла давно отработанная ложь, чтоб поскорей закончить)*.

– Травма? Она упала?

– Да. С подоконника.

– С подоконника?

– Да. Мыла окно. Головой о паркет.

– А мне говорили про несчастную любовь к какому-то музыканту...

– Я не хочу это вспоминать. Извините. Рана очень большая.

Все стихло, я всматривался: первые буквы, черты, начинающий обрастать мясом скелет надгробной надписи, оказывается, Алексей Алексеевич Овсяников – мягкое имя – отключился, и ему опять теперь об этом не с кем поговорить.

Прозвенел незнакомый номер, Алена сперва издала вопль «счастье/восторг» (там «бух!», «бух!» музыка).

– Я пьяная, – сообщила она кукольным баском и завизжала, повалившись, должно быть, на бок, уворачиваясь от веселых рук. – Подожди. – Хлопали двери, шипела вода, крикнула в сторону, сквозь музыку: – Виталик, каким полотенцем можно вытереться? – Шуршало, шелестело, неприятно для уха твердо обо что-то стучал телефон. – Как это здорово, когда в салоне тебя обдергают до шелковистой гладкости... – Алена помурлыкала, где-то улеглась. – Сидишь? В темноте? – И с интонацией испытанной подружки, хранительницы общих секретов: – Ждешь кого? Какая она? Толстенная? Не грусти там, ми-илый! Я улетаю в Испанию! Тут.. С одним тут.. нахалом! – И она захохотала, отбиваясь, шлепая кого-то ладонями по голой коже, и в последнее мгновение втиснула: – Пока! Если никто не придет – поработай сам!

Почему Овсяников испугался? Его бывшая недолгая жена покочила с собой. Прошло тридцать лет. Ему шестьдесят. Как он живет? Чем? Хочет ли сохранить подольше память о ней. Хочется ли ему получить от меня память побольше, выше и шире, или он боится боли — увеличенная память, как меньшая обувь, может жать, натирать до крови, идешь и плачешь: каждый день; или добавит ему, как выражаются уроды, «светлой грусти» — все зависит от того, с какими картами он вышел из игры, слишком мягкое имя.

Хотя, если глянуть по верхам: что хорошего для ОВСЯНИКОВА А.А. в истории — «его юная жена полюбила другого так, что не смогла без него жить».

Я постоял среди комнаты, прислушиваясь, и быстро оделся.

Гольцман открыл подъездную дверь без «кто?», почти сразу, словно спал поблизости от домофона, ждал у лифта с изуродованным немощью лицом.

— Почему не спите? — Я перешагнул у порога две сумки: на дачу? — Плохо себя чувствую. Все в порядке, а как-то тревожно... Не могу заснуть. Александр Наумович, пересажу ночь? Вы ложитесь, я телек на кухне посмотрю...

Я приоткрыл окно: машины на Университетском проспекте шумели шершаво, низко, как приземистый зимний ветер.

— Заезжала Алена. Кажется, она думает, что мы общаемся помимо работы...

— И приезжала с красивым высоким парнем! На дорогой машине! И все время смеялась!

Я нащелкал в телевизоре фильм про бандитов и убрал звук: двух красивых проституток приводят в роскошный отель обслужить главаря. Главарь ждет девок в холле со своими головорезами. За ними наблюдают какие-то парни с проводами в ушах, и еще какие-то парни в подвале глядят видео из холла на монито-

рах. Главарь рассматривает девок (одна-то проститутка, а вторая чего-то стесняется, боится, или первый раз), сладко причмокивает (точно, ему не жить) и поднимает в номер: мрамор, колонны и — под балдахины. Та, что проститутка, покрасивее, мнет себе грудь, а вторая ей шепчет... Главарь отпускает охрану и заваливается на аэродромную кровать, расставив ноги: давайте, раздевайтесь... Проститутка пихает подругу: ну! смелее, — и берется за пуговицы на плащике, наброшенном, небось, на одно белье — я встрепенулся и выключил: вернулся Гольцман.

— Ложусь в больницу.

— Что случилось?

— То, что я тогда рассказывал.

— Вы ж сказали последний раз: все в порядке!

— Говорили, но, помнишь... в межрайонную поликлинику, на японской технике... Вот вчера. В другом положении, лежа. Не так больно... Но все равно, готовился, три литра пил этой... дряни, утром не пить, не есть... Такая слабость, — он замолчал, словно сказал все.

— И что?

— Сказал тот, что смотрел: вам надо срочно госпитализироваться. У вас есть полип. Надо его убирать.

Гольцман неприятно и раздражающе молчал после каждого ответа.

— Но почему срочно? Слетайте к сыну, отдохните. Потом.

— Я просил. До осени. Поработать над очерком об одесском подполье. А он: нет, вы теряете кровь. Низкий гемоглобин. Слабость. Боль в животе будет нарастать. Еще спросил: есть ли кому ухаживать. Но сказал: недолго. — Гольцман выложил последний камешек на стол: — Делают в онкодиспансере.

— Вы из-за этого расстроились? Но полип — это... Это не... плохое. Значит, там хирурги просто по этому делу... Будем вас навещать. Только позвоните: где.

Гольцман, не подняв на меня глаз, встал и занялся чаем. Он двигался весело, продуманно, словно с тяжелым рюкзаком вверх по тропе.

— Что ты будешь делать? — Не спросил «что ты делаешь?».

— Когда? — принял я горячую чашку и старательно улыбнулся.

— Вообще.

— Буду стареть. — Я посерьезней представил: — Будут деньги — перейду на проститутку. Не будет денег, устройсь продавать газеты на «Киевскую», на переходе с радиальной на кольцо — там крутая лестница и постоянно сквозняк: летом девушкам поднимает юбки, а если сидишь на стульчике за лотком и смотришь снизу...

Радио в машине сказало: «Жизнь — это форма существования белковых тел», подвозил грузин, увесивший салон иконами для убеждения милиция, что не мусульманин, для верности на заднем сиденье развернул трехстворчатый складень. Я опять на Ваганьково, скоро Пасха, и все с букетами, весеннее солнце, трубач несет к губам инструмент, завидев посетителей поприличней. Каменных бандитов вперемешку с каменной знатью рассматривают бодрые и отстраненные люди, словно на кладбище ложатся только те, кому не повезло. Секретарша стояла у крематория, среди ждущих отпевания черных платков, хорошо держалась, лишь за мгновение до протянутой руки лицо ее поползло, словно пролитую на стол воду скомкал ветер.

— Вы счастливы?

Она криво повела головой: нет — и лицо ее расплылось опять, вздрогнула корка, скрывающая живое, поверхность души:

— Все хорошо сложилось. Не сбылась только пара вещей.

— Любовь и интересная работа.

— Вы угадали.

— Как и у всех. — Мимо пронесли букеты в блестящих и шуршащих пакетах, катили грузовые мотороллеры с истлевшими венками. — Хотел увидеть вас в лифте. — В лифте человек затихает, словно готовясь на фото, на продление, перестает непрерывно меняться. — Как вас зовут?

Она напряженно промолчала — новые высокие сапоги подняли ее худощавое тело еще, расстегнутый короткий плащ расступался, давая посквозить сквозь клеточки, сетку, петли надутой бельевыми приспособлениями груди — не такая и маленькая грудь; она подкрасила побелее волосы и красиво уложила челку до бровей, чуть за-слонив краешек глаза, и предельно серьезна — недоверчивые глаза замкнутого ребенка под сделанными тонкими бровями, на ресницах избыток туши; она умела смотреть с достоинством, красиво сомкнув невеселые, страдающие губы, верхняя — с мягким зубчиком, если не подрисован; я подсчитал тусклую кожу, бывалые руки с заметными жилами, опущенные уголки рта и складочки под глазами, годы в конторе и запах житейской пыли — лет двадцать семь. Двадцать восемь. Пара мужиков, первого можно не считать, а второго ждала мучительно и долго, и не сложилось, и расставалась мучительно и долго; продолжают игры в маленькую девочку, и несменяемые часовые подымают на посту, но охраняют от мародеров мечты. Скучное имя Мария.

— Вы заболели? Вы же знаете, как меня зовут.

— Просто не сплю. Негде жить. Многие зовут переночевать, но не бескорыстно. — Каждой надо вставить, и помнить, что говорил прошлый раз, и сказать что-то другое; она все смотрела на меня. — Поизносился? Стирать некому. Не на что купить... Заказ сделали, работы нет. Ничего, а я люблю старую одежду! Рваную. Скучаю только по горячей воде. — Мы пошли закоулками меж оград. — Столько разговаривал с вами эти годы... Мы успели прожить с вами столько историй — от невинных до «для взрослых»... И даже хуже. Все получил от вас, нечего больше хотеть. Обнаружи-

ваю в себе все признаки любви: робость, страх посмотреть в лицо... Начинаю говорить — заикаюсь, вы моим шуткам не улыбаетесь. Близость с вами представляется чем-то невероятным... Вершиной. И обладание вашим телом — неслыханное счастье, и хватает его на вечность... Так не бывает, а верю. Видите: иду и трясусь, не могу представить, как вас за руку взять. Никогда не думал, что буду чувствовать что-то такое... По-школьному. Думать по утрам: увижу ее. И ради этого вставать. И жизнь имеет смысл, радостный смысл...

— Вы избегали меня.

— Я думал... Я много что представлял... Но думал, вы меня обязательно оттолкнете, и потом будет болеть. Да и я вам ничего не могу дать. Даже денег. Я не умею — ни мужем, ни любовником, ни другом. А если не пробовать, то не заболит, останется неизвестность — вдруг могло бы.

— Вы все время говорите: боль, боль... Но ведь и какие-то другие ощущения, — слабо и скучно ответила она, не сводя с меня глаз. — Что с Александром Наумовичем?

— Не знаю. А что с ним? А, он ложится на операцию, вырежут полип из кишки. Про Гольцмана я... чтоб вытащить вас из дома. А на самом деле... С собой телефон? Алексей Алексеевич Овсяников. Скажи: по моему заданию ищешь могилу Оли Вознесенской, чтобы сфотографировать. Скажи: прямо сейчас на кладбище, стоишь у крематория, у центрального входа, куда дальше? Не давай опомниться, ты уже идешь, говори на ходу, пусть услышит сбивчивое дыхание... — Нужен девичий будоражающий голос, его порадует — девушка знает о его любви, прошел месяц с нашего разговора, столько воспоминаний, поднялось облако от моих копыт и накрыло его с головой, незнакомой девушке Овсяников не откажет. — Но тебе нужна не могила, хрен бы с ней... Как-то надо втиснуть вопрос: с кем Вознесенская дружила? Хотя бы *одного* живого, но не только имя, кем работает, где живет... Быстро, быстро говори, и самое главное: в твоём

голосе должна быть слепая сила, ты не видишь его, но уверена, что он не сможет тебе не ответить — давай!

Мария отошла, приложив телефон к голове, словно грея ладонью ухо — надуло и ухо болит, а я озирался и поволчьи шерился на могилы: нет, к этому невозможно подготовиться. Даже к старости. Даже к презрению молодых. Я, боясь, оглянулся: слушает, записывает! И волновался, как на свидании, когда ждешь незнакомую, и только голос, и думаешь про каждую: она? Только не она! Пускай вот эта! — и она десятки раз поменяет облик и только потом... Только не тот мрамор. Не та провисшая проволочная ограда.

— Есть?

— Она дружила с Хол-мян-ским. Вместе отдыхали. Зовут Александр. Драматург. Больше никого не назвал.

— Выбрал самого безвредного. Того, чья память играет за него.

— Ольга лежит рядом с отцом и бабушкой. За могилой ухаживает вторая жена отца. Какое-то имя... Невнятно сказал: Элина... Или Э-велина. Ключи от ограды только у нее. Никому не дает. По центральной аллее до крематория. Дальше направо по основной дороге идти примерно две минуты до колонки с водой. Там бетонный круг, от него налево аллея, идти по ней, и справа в метрах сорока-пятидесяти от поворота три могилы Вознесенских. Ольга — средняя. На каждой могиле отдельный памятник. У Оли была бронзовая роза. Ее уже дважды спиливали, — она все пыталась увлечь меня на поиск, идемте, доскажу на ходу...

— Не обижайтесь. Дальше я один.

Я четыре раза пропахал «правую сторону», и вглубь и вкось, думая: спиливают розу, ведь не лень ночью на кладбище пилить во тьме — сколько силы дремлет в народе. Нет. И побрел назад.

Может быть, я свернул у кирпичного круга, а есть еще поближе — бетонный? Ввели в заблуждение «две минуты

идти»: Овсяников медленно ходит, и — они стояли рядом, три камня — Маргарита Михайловна ВОЗНЕСЕНСКАЯ 1907—1984 (*и еще муж с братом*), ПЕТР ПЕТРОВИЧ ВОЗНЕСЕНСКИЙ 1927—1995, ОЛЬГА ВОЗНЕСЕНСКАЯ 1953 (*невнятно выбито, «53» как «55»*) — 1975; два, что посвежей (когда хоронили отца, подновили камень и дочери) с православными крестами. Гвоздики, верба, елочные лапы, все выложено узорами, на могиле Ольги — мелкие голубые цветы, в большом порядке, хотя большой порядок не всегда свидетельствует о большом сердце или большой любви, — отыскать бы эти памятливые и верные руки.

— Натэлла Трофимовна Вознесенская. Могила записана на нее.

Наверное, дочь офицера. Послевоенные офицеры причудливо называли дочерей: трофейные фильмы, трофейные зажигалки, жажда счастья, выбежать из судьбы...

— Телефон не дам, — регистратор Ваганьково пять сот не взяла, она узнала меня и задумалась о смертельных неприятностях, доставляемых неприметными прохожими. На! — тысячу рублей. — Могу только позвонить при вас.

И набрала, но Трофимовны не оказалось дома, ее сожительнице продиктовали мой телефон, и я знал: не позвонит — да и я бы не позвонил.

...Так неожиданно, что я испугался: а? — за рукав, *незнакомое существо!*

— Вот, — Мария подстерегла и протянула два ключа на проволочном колечке и записанный адрес. — Будет надо — живите, сколько хотите, у меня. Просто так, — даже не засмеялась, ей не стало смешно, дескать — не за *это*, а всего лишь немного тепла, то есть: отдашь *все*, а потом и еще; топталась рядом, настроилась «вместе к метро».

— Прости. Но после осмотра могил мне надо остаться одному. Осмыслить. Прощайте! — Я свернул в кусты, парасстегивался и с наслаждением наконец-то отлил под

бетонный забор с надписью «Единая Россия — сильная Россия». Холмянский, я взял след. И побежал, оставалось мало времени, деревья и погоды выветривались, испарялись из глаз и теряли смысл, куда им деться, и цены, завтраки, бывалость зубной щетки и глухонемые разговоры с банкоматом.

В преждевременных воспоминаниях, не обеспеченных золотым запасом лауреатских медалей из коробочек с бархатным, словно запыленным нутром, Холмянского А. поминали «надеждой русской драматургии» с оттенком «а не сбылось», канул в Штаты; в Интернете нашлась почта holm@vogue.ru и фото похмельного малого в вязаной шапке на фоне рекламы стирального порошка — я написал и через две минуты получил извещение: адреса не существует; две недели я нюхал звонками воздух: где? — вдруг Холмянский нашелся в Москве — мыл золото на телевизионных приисках — и назначил встречу у кафе «Делифранс» на Маяковке; я полчаса ждал на солнышке, наблюдая, как два придурковатых панка раздавали купоны на посещение новой кофейни:

— Вторая чашка бесплатно!

Я все ждал молодого — почему? — потому, что Ольга умерла молодой — нет, ждал такого, как я, и ошибочно опознал седого волнующегося типа с хорошим загаром, стоявшего у музыкальных афиш, глянул на часы — ровно:

— Вы Холмянский?

— Нет.

И сразу — Холмянский подошел, высокий, метр девяносто, вялоязыкий, вялощекий, весь словно сшит из подушки, узкоплечий мальчишка в свитерке и светлых брюках, заспанные глазки за очками, безмятежность идиота — рассеянный, несуетливый, меланхоличный — хотел бы я зайти далеко за полтинник вот таким — вялая ладонь, словно порок сердца; мы опустили за крохотный столик, Холмянский набил трубку, официант в длинном переднике оценил мой вид и мрачно попросил:

– Сразу расплатитесь, пожалуйста.

Я в ловецком угаре заказал кока-колу со льдом и три пирожных «картошка», Холмянский смотрел в сторону, типа особо нечего рассказать (*ну и я подготовился: малый пожил в Америке, научился упрощать прошлое до легкоусвояемых антисоветских продуктов, да еще из чернильного сословия — эти молодцы мешают правду с сочинениями по «поводу», сами не отличая, где что*):

– Я знал Олю класса с восьмого, она жила рядом. Ее дом стал клубом — встречались каждый день, Оля была центром, с ее смертью компания распалась. Это лучшее, что было в моей жизни. Кто еще? Три красавицы подружки: Оля Бирюкова, Мария Котова — самая красивая, такая рыжеватая, Оля, я, один такой... мальчик Рашид, еще один мальчик Алик, полный такой, — он улыбнулся: полнота в затянувшемся детстве, ясное дело, представляется комичной. — Кто-то еще.

– Опишите Вознесенскую.

– Не красавица, надо приглядеться, чтобы оценить. Нос уточкой, высокая, худая, русые волосы, довольно слабые, зачесывала назад и закалывала пучком. Похожа на Кейт Бланшетт. На английскую аристократку. Деловая, хорошо одета, не опаздывала. Замечательно знала английский. В то время иностранный язык был чем-то большим, чем сейчас... Оля была среди нас заводилой, ее легко представить в роли хозяйки салона. Никто не предполагал, что она способна покончить с собой. Вспомнил ее прозвище: *Родя*.

– Как проводили время?

– Читали иностранную литературу, слушали пластинки рок-музыки, Севу Новгородцева — знаете такого? — по японскому приемнику. Мы знали, что живем за железным занавесом, что снаружи есть мир и мы его лишены. И говорили в основном о том, как выжить в *этой* стране, сохранить порядочность и не погибнуть.

– А что, была такая проблема? Кругом гибли люди?

Клиент неприязненно пошевелился.

— Ну, когда мы пошли в институты, началось: об этом можно писать, об этом нет... Мы не могли с этим смириться! И не надевали комсомольские значки вне института! Девочки пошли в иняз, чтобы выучиться и уехать, Рашид устроился в МИД... Мы стремились именно к духовной свободе, не материальной! Тогда все стоило копейки! Мы срывались и ехали путешествовать, как делали герои любимых западных романов. Бросаемся на вокзал, даем проводнице двадцать пять рублей, едем в пустом вагоне, и наутро — мы уже в Киеве. Открыли для себя Прибалтику, уже за граница, помню потрясение: «Слава КПСС» написано не белым по красному, а белым по голубому!

— Что можете сказать о семье Вознесенской?

— Отец — какой-то чин в Моссовете. Возможно, этим объясняется суховатость Оли, что-то она все время недоговаривала. Мать — яркая такая, светская женщина: театральные премьеры, новинки литературы и прочее... Бабушек я не видел. Больной дядя?! Впервые слышу...

— Как Ольга вышла замуж?

— Совершенно неожиданно. Первой из девчонок. Все происходило у нее очень внутри. Мы мало что поняли. Какой-то преподаватель арабского языка начал появляться в ее комнате. Такой интеллигент, коротко стриженный, в свитере... Овсяников. Его прозвали Лямун. «Лимон» по-арабски «ля мун». Потом появился этот... юморист. Что написал рассказ «Косточка» на шестнадцатой полосе «Литературки» — знаете такую (*черт, а ведь и я читал*)? — алкоголь и интеллигент, хотя юмор-то в рассказах жлобский. Юморист и познакомил ее с Р-овым... И у Оли началась какая-то другая совсем жизнь, мы ее не выдержали и остались позади со своими детскими интересами. Она резко повзрослела. Помню, привела нас в какой-то подвал к Савелию Погонщикову — иконы, картины, мистика, водка... И нам стала чужой тем, *что* делала. Р-ов ездил на гастроли и оставлял ей огромную, чудовищную, рыжую

собаку в квартире, куда она переехала, на Куусинена, где собиралась жить с Лямуном... Другое дело, если бы собаку они вместе купили, растили, но это была *его огромная рыжая собака* — и лаяла на гостей, а Оля сидела рабыней и слушала по телефону рассказы, куда он поехал на гастроли. И с кем.

— Вы описали Вознесенскую как рационального, суховатого человека — из таких людей не получаются самоубийцы...

— У нее снесло крышу. Р-ов — это бешеный разгул, отцовская слава, огромный американский автомобиль, гонял на Москве на хэтчбеке, успех — дирижер. — Клиент с неугасающей обидой уточнил: — Но не гений!

— Вы чувствовали себя неполноценным рядом с ним?

— Абсолютно! Ему бы сгодилась разгульная девка из школы-студии МХАТа, а для Оли все это оказалось слишком... Я зашел на Куусинена и видел: у нее в глазах слезы. Что-то не так. Но она ничего не говорила. На похороны я не попал. — Он неуверенно добавил: — Меня не было в городе. Но я бы и не пошел.

Он выслушал мои пожелания: телефоны Оли Бирюковой и Маши Котовой, пожал руку, выключив меня, как настольную лампу, вернулся к столику — забыл в пепельнице ножичек для нарезания табака — и с минуту шел рядом, уже совершенно меня не замечая. Юмориста, первого виноватого, я вспомнил: Шукин, длинноволосый, рисованный портрет на брошюрке из «Библиотеки «Крокодила»» — двадцать пять лет назад на привокзальной площади города Валук Белгородской области купил вместо «Футбол-Хоккея», в среду не привезли; нет спасительной усталости от труда, ежевечерне жгут неотомщенные детские обиды и прихватывают приступы бессмысленной жестокости. Нескольким людям я желаю смерти, химиотерапии, прямой кишки, выведенной в брюхо. Убить. С наслаждением калечить... Лежу и предлагаю, потев от ненависти. Утром «Копейка» наполне-

на пенсионерами — распределив по рукам кошельки и очешник, по-рачьи широко расставившись, ползают между полками, перелезая друг через друга.

* * *

Я взял банку «Куриное мясо» и жрал на лавке, дважды перечитав этикетку: точно не собачий корм? — подозрительно дешево, шкурка, жилы и попадаются голые обломки костей — и наблюдал конкурентную борьбу за пустые бутылки на пяточке у метро «Кунцево», обсаженном маргаритками. Обыкновенные люди теснились в автобусах, сгибаясь, пролезали в маршрутки, сосали пиво — они нарядились в джинсовые куртки, в плащи, багрово, огородно загорели, плевали на асфальт, словно клевали, помечая свой путь... На лотке предлагали книгу «Застольные речи Сталина», я приценился, но взял сборник эротических фантазий на газетной бумаге, где анус именовался «заветным местечком». И с трудом разлепил горло:

— На одну поездку, — поняв: первое, что сказал за день; весь день читал и смотрел в окно на движущийся город: дома, облепленные оконной чешуей, снег прилег на газоны, словно сохнут остатки стиральной пены, бродят сонные и наглые таксисты, сторожа прикормленные места; зашел в подъезд — по нему словно прополз тяжелораненый, истекая пивными вонючими струями.

— Можно у вас переночую?

Мария потрясенно и немо кивнула. В ужасном халате — голые голени в синяках, была бы у нее другая жизнь — носила бы другие платья... По ущелью меж велосипедов, корзин с картофелем и разобранных колясок, перешагнув обувной флот... за следующим порогом навстречу двигалась неопрятная женщина с толстым носом и морщинистыми щиколотками, началась коммуналка.

– Добрый вечер! Вот и лето прошло!

– Она вас не слышит.

В запертых туалете и ванной горел свет, в ее комнате поместился диван с разложенной периной, шифоньер, кресло, туалетный столик с компьютером, много учебников. Мария не успокоилась, пока мимоходом не смахнула с линии огня чье-то фото в веселой рамке с сердечками, в первую очередь... что:

– Подушки с дивана снимаются. Я постелю вам на полу.

– Все равно не усну. Просто посижу.

Мария дождалась, пока затихнет детская бегодня и унитаза все смоем.

– Пойдемте на кухню. Буду вас кормить. Хотя... нет... Я сюда принесу. – Наверное, представила оставленное соседями kloкочущее кастрюльное жерло. – Можете включить телевизор, негромко.

И думала: что ночью? Когда погаснет свет? В чем ложиться? Надолго? Я схватил и потряс яблоко из блюда и слушал, как колотятся семечки во внутренней пустоте – сухим костяным перестуком. В телевизоре менялась реклама самоубийц – живые курицы предлагали себя выпотрошить, конфеты с улыбками прыгали в разинутые пасти, коровы выдирали котлеты из боков, рыба, упруго выпрыгнув из воды, весело ложилась боком на сковороду – все умоляли: ешьте нас, мы этого хотим!

...Мария рассказывала биографию, с упором на милые, слезные подробности: наконец-то появился тот, кому:

– Когда я была маленькой, я нашла в детском саду отрубленный палец в песочнице и отнесла воспитательнице. Я думала: он от куклы.

Я вдруг заметил, что слева от меня пропорхала, пронеслась серая птица.словно воробей. Слушать я уже не мог. Я то и дело ошеломленно оглядывался за спину – это должно было еще где-то летать. Что я увидел? Или муха пронеслась, а мне показалось? Я украдкой поэзирался.

Какая-то муха летала под люстрой малым квадратом, словно что-то вынюхивая, но мелкая — не она.

— Моя любимая передача. — Я воткнулся в «Футбол России. Перед туром», ковыряя кашу с орехами и изюмом и еще какой-то неразличимой херней, напоминающей нарезанный мокрый картон, — каша, горбом наваленная в глубокую плошку, остыла до резины — я жевал с усилием, делая спасительные глотки ненавистного чая. Локомотив — ЦСКА в воскресенье, надо обязательно смотреть.

Во тьме я лег на разъехавшиеся подушки, накрылся душистым одеялом и приготовился к вечернему разговору — плата за постой, скучнее только расстегивать на жене лифчик. В туалет пошаркала старушка или старик тяжелыми ногами, как на лыжах, ледником, гадом — на унитазах заснет.

— Вы спите? — Марии хотелось заглушить журчания и всплески, словно она... — Вы нашли юмориста, что познакомил Олю и Р-ова?

— Нет. В журнале «Континент» за 2003 год написано: Щукин три года торговал на рынке турецкими вещами. Потом отчаялся и уехал в Германию. Спокойной ночи.

— Только если не будете засыпать, сразу меня разбудите. У нас тихо здесь. Нестрашно. — Я надеялся, спит, когда она вдруг прошептала: — А что именно привлекло вас во мне? Ну, в самом начале...

Что бы придумать, ну?

— Глаза.

Она довольно шевельнулась:

— Да, про силу своих глаз я знаю.

Уже измучился ждать, когда она задышала спокойно, нестесненно; я нашел кухню, подтащил табурет поближе к подоконнику, меж фиалок нашлось место для пары локтей — внизу проносились редкие машины, напротив не спали окна пустых комнат и мерцающие телевизоры алкоголиков, я нашелкал в телефоне «love-радио» и при-

жал пальцем наушник к уху. Срывающимся голосом говорила девушка:

— Передайте, пожалуйста, эту песню человеку, которого я очень любила... Любила его много лет. А он меня не любил. А я страдала. Очень. А вот теперь я почувствовала, что смогла его забыть. Забыть нашу любовь. И передайте, пожалуйста, для него песню. Пусть он знает, что я его забыла. Хотя очень любила. И не могла забыть. Потому что любовь моя была настоящей, а не то, что сейчас есть у него. Он не понимает сейчас, но когда-нибудь поймет... что так любить его, как я... — оборвали на полуслове, я, не оглядываясь на часы, знал время — время шло сейчас хорошо, вот с половины пятого начнет растягиваться, ползти, замирать и мучить.

— Почему вы меня не разбудили? — Мария прятала за дверь голые коленки; хотелось обнять и спасти. — Вам неудобно на полу? Ложитесь со мной. Диван широкий, мы не помешаем друг другу. Вам надо спать, — страдала, — вы так долго не протянете. Вы не сможете работать!

— Сейчас приду. Посижу немного и приду.

И: — Нет, — на «хотите, я с вами посижу?», «сделать вам чай?» и «вам не холодно?».

Идет ночь, кажется: смерть останавливается и перестает грызть, просто лежит рядом, сомкнув зубы на твоём горле, и не грызет до девяти утра, тебя оставляют одного в кровати; когда человек спит, его почему-то все оставляют, словно он уже умер, немного умер, можно передохнуть в темноте, чувствуя на глотке холод отдыхающих зубов.

Я ждал у «Шоколадницы», Кутузовский, 28, Ольгу Бирюкову. Никак не идет, вдруг не останется свободных... тогда в пиццерию на Большую Дорогомилловскую. Узнавал ее в пятке роковых красавиц (Холмянский сказал: Бирюкова красивее Вознесенской), но вопросительно всматривался и в теток с авоськами; подкатывали хорошие машины с загорелыми де-

вухами, провинциалы покидали «Шоколадницу» гордые — запомнят надолго; клиентка шла прямо на меня, абсолютно уверенно: серый костюм, стальные, жесткие волосы, железный взгляд, уверенная и невысокая; подала твердую руку, неровный, словно переломанный, нос.

— Вы курите?

— Да, к сожалению. — Мы забрались на второй этаж и сели с краю, она захлопнула меню: — Я здесь все знаю. — И закурила, повелев: — Сперва расскажите вы.

Я лгал, запоминая гнутый золотой браслет, три кольца, серьги, огромные, как шоколадные конфеты из плоской коробки, цепочку, жемчужное ожерелье; вряд ли она думала, что надеть для встречи со мной.

— Оля родилась шестого марта. На следующий день после смерти Сталина. Родители скрывали радость, когда покупали шампанское. Она пришла к нам в школу в Леонтьевском переулке классе в четвертом — центральная, аристократическая школа, дети артистов, музыкантов, режиссеров, секретарей обкомов — мы подружились. У нас была какая-то общность. Она держала меня за сестру. Оля жила в доме шесть на Тверской, возле телеграфа, напротив, в доме пять, жила Маша Котова. Вот у Машки мы и собирались, пусть Холмянский не сочиняет.

— Вы помните родителей Вознесенской? Ее бабушку — Анастасию Петрову?

— Про бабушку Петрову я ничего не слышала. Существовала бабушка Муца, добрейшая. Существовал дядя дебил, как некий дальний родственник, за которым надо ухаживать. Ираида привозила из бесконечных командировок книги на английском языке. О работе ее в моей памяти никаких следов. Кажется, переводчица-синхронистка.

Отец возглавлял юридический отдел Моссовета. Очень высокий, вздернутый нос, холеный. Рано имел тенденцию к седине... Держал себя странно для советского

чиновника, одевался не партикулярно: клетчатые пиджаки изобиловали, горчичные, в коричневую клетку, желтые галстуки. За одним столом мы сидели с ним только на поминках. На поминках Петрович сильно опьянел и говорил: если бы я знал, что в роду Оли душевнобольные, я б держал ее взаперти... Это Мезенцов начал называть его Петрович...

– Мезенцов?

С облегчением выговорила, словно выловив из тупли мешавший камешек, прокашлявшись, избавившись от невидимой неловкости, мешавшей ей с первого мгновения:

– Оля была замужем за Мезенцовым. Потом девятнадцать лет его женой была я.

Я усиленно пожевал блин с шоколадом и тщательно вытерся салфеткой, размещая в неполные двадцать три года мужа Овсяникова, мужа Мезенцова и сына Р-ова, хозяина рыжей собаки.

– Холмянский рассказывал про вашу компанию, что...

– Ничего подобного! Никакого самиздата! Без политики, по Би-би-си ловили только «Битлз». Какие у нас могли быть разговоры?! Культура и мужики!

– А... что Оля суховата и рациональна?

– Никакой рациональности! О будущем не думала абсолютно. Когда женщина *настолько хороша*, то все устраивается само. Она не предназначалась для учебы или работы. Оле нельзя работать, никакой дисциплины, что-то в генах ей мешало.... По дому ничего не делала. Не могла вставать в институт. Покупались будильники. Но – не могу и не хочу. Лежала и страдала: что на этот раз врать? Каждое утро. Однажды сказала: сломала ногу в ванной, и месяц в институте не появлялась. В другой раз сказала: *не знаю*, почему я не пришла на учебу. Чудовищная неприспособленность к быту. И душевная щедрость. Я на ее фоне просто стерва.

– Холмянский сказал: в красоту Вознесенской нужно всмотреться, она не бросалась в глаза...

Клиентка, презрительно усмехнувшись, подалась вперед и отчеканила:

– Она была настолько красивой, настолько эффектной, что *любого* разила! С первого раза! Первого встречного! Где угодно! Мой будущий муж, Мезенцов, подвез Олю до института под дождем, просил телефон, но она, как девушка скромная, не дала. Так он устроил пикет возле ее дома и ежедневно – встречал и подвозил. Имея жену! Но когда его «жигули» в пикете сменил красный «мустанг» Р-ова и Оля сказала Мезенцову: уйди, я тебя не люблю, его это крайне уязвило – прилюдно дрались!

У меня не осталось ни одной ее фотографии. Тогда не было «Смен», «Зенитов», «мыльниц» и никого, кто бы умел ими владеть. Свадебные фотографии Оли лет десять назад я выкинула. Не из-за того, что плохие, а просто мне стало неприятно их иметь.

– Говорите: она не продумывала будущее... Зачем вышла за Овсяникова?

– Отец, Петрович, влюбился в медика из поликлиники. Натэлла ее звали. Очень тяжелый период. Все сопровождалось скандалами, жуткими сценами, встал вопрос, с кем Оле жить: мать или отец. Она решила: я замуж выйду и заживу одна. Знала, что ненадолго, абсолютно не любила Овсяникова этого, Лешу, и он знал, но любил ее трепетно. Весь какой-то черный, смуглый. Добрый. Оля решила: в трудный момент Леша ее утешит.

Свидетельницей на свадьбе была Карина Проскурина – редкая дрянь, всем готовая делать гадости, завистница!

– Оля любила Владислава Р-ова?

Клиентка вдруг задумалась и ответила просто:

– Да. Очень. Владислав хорош был очень, очень трогателен. Красный автомобиль «мустанг» – в нем едешь практически лежа... Ухаживал красиво, одевал ее с ног до головы.

— Так он заботился о ней?

— Что вы считаете проявлением заботы? Коробку с синими джинсами? Я в их компанию не монтировалась, скромная, мужиков боялась, ощущала себя синим чулком, и не ошибалась. Владислав легко издевался надо мной. Оля успокаивала: он так со всеми, *шутит*. Она вдруг оказалась посреди прожженных, развратных людей — это было видно за три версты... А потом Оле позвонила *другая* женщина — видно, смену произвели: я слышала, вы раньше ухаживали за собачкой Владислава? Теперь моя очередь. Чем надо кормить? Сколько раз вы гуляли? Подлец! Телефон-то зачем давать? Он ничего не помнит? *Он все помнит!!!*

— Оля погибла...

— Во всем виноват их разрыв, до этого ничего подобного не наблюдалось. Очень большая искренность столкнулась с человеком, живущим в свое удовольствие. После Р-ова Оля лежала в клинике на транквилизаторах, в жутком состоянии. И это сыграло роль. Не спала, даже принимая снотворное, слышала голоса. Я видела: плохо с человеком, реально плохо, себя не контролирует. Приходишь — вся посуда разбита. «У меня это бывает». Квартиру на Куусине-на обставила плохо, осколками от развода, остатками от прежних хозяев, на кухне — ничего, тараканы бегали. В комнате кровать, два стула. Больше ничего.

— Она написала что-нибудь перед тем...

— Записку личного характера. Без разрешения Мезенцова я не могу пересказать ее содержания.

— Оля вам ничего никогда не рассказывала про Нину Уманскую?

— Нет.

Бирюкова твердо пожелала «разделить счет» и приготовила кошелек; хотелось врезать по ее пожившей руке, она почувствовала.

— Вы обидитесь? — жестяным голосом, как и все прежде — в одной интонации, ни разу не ступнув мимо. —

Хорошо, я пойду вам навстречу. Подвезти вас на «коне-огне»?

Нет; я отправился ловить машину, получив эсэмэску «Будешь ужинать?»; когда-то я уже ехал домой и писал «нет» на «будешь ужинать?».

Мария приготовилась — в шифоньере освободились две полки, на них белели майки-трусы, со счастливой дрожью купленные наугад, есть пришлось долго, я хвалил котлеты и выбирал десерт, принаряженные соседи по очереди заходили на кухню знакомиться, выталкивая из-за спины детей, — «стесняются».

— У тебя плохое настроение? Мне очень тяжело, когда ты *так* молчишь.

— В машине укачало.

Я отпросился подышать на лестницу, за трубой мусоропровода нашел сплюсненный картонный коробок, постелил на ступеньку, тепло — так можно долго просидеть; угомонится лифт, эти страдальческие лязги и всплывания по зарешеченной глотке...

— Что с тобой? Ты хорошо себя чувствуешь? Правда, все в порядке? Ох, я так испугалась. Тебя нет и нет. Хочешь, вместе здесь посидим? — И втиснулась рядом. Надо же разделять все, растворяться в нем, жить его интересами — необычно и волнующе пахла, сколько трат и приготовлений. — Как ты встретился с Бирюковой? Кого-нибудь еще поискать? У тебя правда ничего не болит?

Болит — Бирюкова за что-то оправдывалась. Отдавала должное, но виновато, с излишним размахом и спешкой. На ее личной правде я успел заметить мелькнувшую бледненькую тень соперничества. Фотографии лучшей подруги, уставшей жить, не уничтожают. Все устрашающе повторялось, как и с бабушкой — ...красота, множась мужья и любовники, тени, уклончивость окружающей местности, и теперь мне тоскливо казалось (может, просто вечер, ночь, надо ждать утра, и покажется легче),

что там виноват не один, там еще какие-то... я слышу, долетают слова, восклицания и слоги.

— Мне нужны. Карина Проскурина — свидетельница на свадьбе. Натэлла — вторая жена Петра Вознесенского, медицинский работник, предположительно из поликлиники, где обслуживался Моссовет. И прежде всего — Степан Мезенцов, муж Ольги Вознесенской, муж Ольги Бирюковой, связан, кажется, с телевидением.

На кухне я погасил свет и устроился поближе к подоконнику, давая жертвам выспаться и передохнуть, считал грузовики, кроме «газелей»; из окошка потянуло свежей... я снял майку; когда про меня забудут, намешаю смородинового варенья с горячей водой. Мария долго шумела в ванной.

— Пойдем спать.

— Я все равно не засну.

— А ты попробуй. Ты обязательно уснешь. Устал, вон какой серый.

— Я посижу. И приду.

— Пойдем сейчас. Ну, пожалуйста.

— Я приду. Попозже.

— Я буду ждать. Без тебя не усну. Когда ты так сидишь, то словно куда-то уходишь. Все будет хорошо? Слышишь? Ты главное — верь! — Завтра в этом месте она попробует заплакать.

Она обиженно ушла, еще вспомнила:

— Да. Звонил Боря. Чухарев вызывает его на встречу. И обязательно, чтобы ты присутствовал. Не может понять, что ему дальше делать. Боря сказал: заодно посидим на дорожку. Кажется, Боря куда-то уезжает.

Я поднялся из метро и удивленно остановился: падает вода, сверху льет; стоял под дождем, припоминая, как мокнут волосы, как щекотно капли попадают в лицо, смотрел на фонарь — на свету капли моросили часто, много, словно там, на свету, дождь шел сильнее. Пробираясь сквозь пар-

ковку к галерее «Аэропорт» — договорились там — меж блестящих автомобильных боков, осторожно, чтоб не задеть стекла, заметил мельком: целуются, сквозь лобовое стекло — поглаживание и шевеление, словно окно спальни. У раздвигающихся дверей, где отряхивались, складывали зонтики и пережидали, я понял: машина Алены — из нее вышел Чухарев, что-то прощальное бросил внутрь, хлопнул дверцу и поспешил на встречу, стирая с губ блески и пудру — все, что остается. Я послонялся в книжном, пролистав «Историю района Раменки» («Первые люди появились на этой территории четырнадцать тысяч лет до нашей эры. В здешних лесах водились мамонты, северные олени и пещерные медведи...») и спустился на эскалаторе в кофейню. Боря, расстегнув мокрый на плечах плащ, с отсутствующей доброжелательностью глухого слушал Чухарева, придерживая рукой рюкзак под столом. Страшно пахло мочой.

— Надо уже сейчас думать о судьбах России в двадцать втором веке. — Чухарев отвлекся на рукопожатие и продолжил: — Ноосфера! Другое отношение к природе и борьба с обществом потребления. Реакционной, антидуховной силой выступают именно женщины! Ваш монархизм, Борис Антонович, — ошибка. При царе Россия не имела счастья. Один врач на город. Людей секли, а люди целовали царю руки. И культ царя ничем не отличался от культа Сталина!

Боря понимающе кивал и укрдкой что-то говорил мне больными, припорошенными пеплом глазами, как часто говорят пьяные. Они допили чай и попросили счет.

— Ну, — Боря взвесил на руке рюкзак: тяжелый? — Я разъяснил вот товарищу, — показал он на Чухарева, явно не припоминая того имя-прозвище, — чем мы занимались этот значительный... временной отрезок. — И без чувства, ради отчета, перечислил: — Мы воевали. С тьмой. Отступающие пока основные силы оставили нас прикрывать отход, оборонять данную высоту. И мы —

цеплялись когтями, ходили в штыковые. Мы отбили несколько атак, и ребятам пришлось повозиться, прежде чем устроить здесь братскую могилу. Ну а наши — успеют взорвать мосты и получше закрепиться за рекой. Ну а нас уже нет. А как по-другому? Все ж пока помирают.

Чухарев напрасно подождал продолжения, и с слышным, ржавым скрежетом обернулся ко мне:

— И вы... знали? С самого начала? Что — только это?

Я промолчал.

— Видишь, этого никто не понимает. Но знают все. — Боря схватился за воротник плаща и покачивался, перед кем-то красуясь, словно догадавшись о скрытой камере, сладко-улыбчивый, как ресторанный фотограф.

— Тогда мне жалко своего времени, — сказал Чухарев с какого-то острова, поверх возникших преграды. — Что мне теперь делать?

— А тебе — надо привыкать, — Боря прижмурился от сладости, — к обыкновенной жизни... Ты не рыбак, нет? Подлещик? Мотыль? Донки? И с лодки не ловил? Ну-у... И зимой — ни разу? Двадцать шесть килограмм карпа имал? И не охотник? Гончие собаки! Лисьи норы. Лось. Кто-то там кукует на зорьке, а ты в схроне... Заячьи следы и лежки. Попробуй! Знаешь, как смешно наблюдать, как мечется заяц, пытаясь, так сказать, сохранить *свою жизнь*... А борщ со сметаной! Все в твоих руках — живи! Это я, — он взмахнул появившимся белым платком, — это про меня, мою жизнь: скончался, не приходя в сознание. А ты смотри, вон она какая, твоя жизнь, па-арень...

Чухарев посмотрел в ту сторону — завораживающее зрелище тающей жизни — вот уже места не осталось, чтоб *все* начать заново, уже недостаточно места *хоть что-то* начать, нет места, чтобы *хоть что-то* сделать и стать другим, нет места, чтобы хоть кем-то стать, чтобы сделанное изменить. Поменять жену. Родить новых детей. Почти ничего не осталось и — обрадованно вырастут волосы на мертвых лицах.

— Я понял (*ничего ты не...*). Хотел посоветоваться о другом. Вы — опытные люди. Умеете (*не находил он нужного*) менять жизнь (*не то!*), подчинять, а я не умею. Не успел у вас научиться. Получается, больше не увидимся, и поэтому могу спросить, а так — стыдно. Короче. Треснула моя жизнь. Кажется — *вся* жизнь. Я люблю жену, — Чухарев убежденно произнес заклинание, начинавшее его разговоры с самим собой, ночные, жарко летние бреды пеших походов за короткими юбками, за жирными незнакомыми бедрами. — *Я люблю жену*. Она — моя жизнь. Моя любимая. Она единственная. Мне больше никто не нужен. Мне с ней хорошо. Во всех отношениях. Она родила мне дочку — самую лучшую девочку на свете. Моя жена и моя дочь — это моя семья, мне другая семья не нужна. Пусть мы будем вместе *здесь*, и если *там* что-то есть, пусть и *там* — только вместе. Я люблю жену. Она самая красивая. Любит меня, никто не сможет так любить. — Все, что ему требовалось сейчас: помалкивайте. — Она у меня — первая, и я у нее — первый. Мне повезло: получил такую любовь, какую мечтал. Как у моих родителей. Как у всех наших. Любовь не бывает как-то по-другому. Я счастлив так, что даже страшно. — Это все, что он загрузил на одну чашку весов, пересчитал: все? Да, такая малость, но больше нечего, и что б ты хотел? — И я уже не молод. Я что-то уже прожил. Кажется: лучшее прожил. Больше не буду молодым. Беззаботным. Осталось много работать. Стареть и много работать. Стареть и растить дочку. Стареть и ездить на море. Стареть и любить жену. Ничего не осталось, чего бы я не знал в будущем. Кроме одного: чем заболее и когда. Буду стареть и болеть. Я начал думать: сколько еще осталось? Стареть и ждать. И вот, — он постоял на этой ступеньке, — я начал скучать. По себе. Я понимаю, что кое-что, даже многое, почти все — уже не получится. Я останусь *таким*. Меня не запомнят, и я просто умру. В будущее уже не тянет. Жалею, что прошла юность, и скучаю по себе, молодому. Словно юность прошла как-то не... не понимал, что нужно брать... Теперь ску-

чаю по времени, когда смотрел на *разных* девчонок — такие все красивые — *свежие*. И сколько сейчас таких же. Больше! Раньше и не встречал *таких*. И чтобы столько. Я в молодости к каждой примеривался, и в воображении *мог* с любой, и представлял себя с каждой. Каждый день выбирал новую, в новом месте, на каждом этаже, в каждом городе, вагоне, аудитории, каждый день — каждую минуту; поглощал *возможности* — охватывало такое счастливое волнение от одного только предвкушения... Словно все были готовы. А теперь, когда поработал с вами, я понял: все действительно были готовы и я действительно мог тогда с каждой. Надо было брать. Подойти, протянуть руку и брать каждый день *все*. Каждый день новую, *всех*. А не думать «кому я нужен?», «кто со мной захочет?». Стало скучно, как-то горько. Особенно чувствуется весной. Потому что, — он зажмурился, — я понял: я и сейчас так могу. Пока могу. Мог бы. Но не могу. Нельзя. А пройдут годы, и будет просто нельзя, и не смогу. А теперь — все рядом, и остается, как и тогда: протянуть руку и сказать пару слов. А вдруг я в старости пожалею?! — Чухарев спрашивал у меня. — Если сейчас мне так больно, то как будет в старости... Что прожил мимо... Жизнь ушла, и мне не хватило. Нет ощущения: все успел, получилось. Когда я был молодой, жизнь чувствовалось по-другому. Я и тогда думал о смерти, но что-то все-таки разделяло нас — какое-то предстоящее наслаждение, и поэтому молодость — это лучшее... — он спохватился, — но она прошла. Но — когда я вижу других женщин, новых, возможных, неизвестных, мне кажется: *да ничего не прошло!* Я еще молод. Я все могу! И смерть еще не здесь. Чувствую себя живым. А так — не чувствую себя живым. Просто старею и жду, когда за мной придут и поведут умирать. Получается, не могу жить, если какую-то новую не хотеть. Жить — это хотеть. Себе-то я не могу врать, все время думаю только об этом — улица полна голых ног.. Все раздеваются. Город. Телевизор. Интернет. Прошлое. Все — об этом, вокруг этого... Все этого хотят, но не каждый может, а я могу —

много могу... Вот сейчас рассказал первый раз вслух и кажется: не нужно было, все не так, не так сильно. — Он удивленно оглянулся, официантки в коричневых рубашках скучали у стойки: долго еще? — Но когда один, а я все время один... — каждый день тебя жжет, как пламя...

* * *

Может быть, это город, город-столица, где все легко, и нужно уехать и перетерпеть? но *они* догонят, всюду кто-то окажется рядом, словно толкнет кто-то навстречу... *Им* ничего не надо, никакой любви, пересечься и исчезнуть, поесть, угостить, попробовать, взять, что можно, куда дотянутся руки, *подарить*, они жадные к жизни, они правильно живут, — о *них* он бы поговорил еще, но не мог пересказать про жадные губы, влажные языки, и пальчик с малиновым ногтем, сдвигающий в сторону белую полоску трусов...

— А приходишь домой — дочка подбегает и прыгает на руки, утыкаешься в нее — и больше ничего не надо, чуть отпускает... Ненадолго. Я очень люблю жену. Хочу любить до конца, чтоб умереть в один день. В чистоте. Она хорошая. Понимает меня, но в ней *этого* уже нет. Не будет. Не может быть. И пусть. Но теперь мне кажется: а если жена не будет знать? Если никогда не узнает? Как бы *этого* и не было никогда? И я сам буду *сразу забывать*. Просто — не понимать, плыть. Может так? А какой у меня выход? Как и у всех! Все жрут других, тех, кого не видят. Но я люблю жену, не хочу ее терять. Не хочу обманывать, хочу дожить с чистой совестью — вы знаете такое... совесть? А ведь есть, было такое пионерское слово — *совесть*. И мне все равно, что *так* — все, врут все, каждый, и вы — *на моих глазах*. Я! — хочу по-другому, остаться — и я! — я больше не могу по-другому, я пекусь на какой-то жаре и боюсь. Я боюсь, мне страшно, страшно, страш-ш... — неожиданно зашипел он, лицо перехватили судороги ужаса, частил: — Когда смерть, когда

смерть... Когда все, когда оглянешься... Жалко будет или не жалко, что ты будешь жалеть?! Не хочу стареть, не хочу умирать, хочу жить просто, просыпаться, радоваться, засыпать, радоваться, не бояться, не жалеть, я поработал у вас, и теперь не знаю – куда? – треснула жизнь. – И попросил: – Спасите, – сразу пожалев, что открылся, – вскочить и бежать, – и сдержался только тем: а-а, их нет, умерли, больше не увижу...

Я упарился, словно у костра, не терпелось освободить столик и подставиться ветерку – расходимся? Боря кехекал и поперхивался, поднимал брови и раскачивал стул, пытаюсь что-то мне промывать, Чухарев не поднимал глаз – так болезненно-медленно испарялись со стола вываленные им слова. Боря не вытерпел и ткнул меня в плечо, уколол.

– Что ты, Боря?

Он спрятал лицо за ладонью, вывел губами какие-то слова, подстегнув меня – матом! это я разобрал.

– Да что ты?!

– Скажи ему, – проныл Боря сквозь стиснутые зубы и затряс, как бешеный, красной рукой.

– Что сказать?

Чухарев дернулся уйти, Боря успел успокаивающе прихватить его руку, как гвоздем:

– Это кровя в тебе играют, – проникновенно начал он, – и это неправда, что говоришь. Что «нельзя по-другому». Что обязательно грязь. И что *все* так. Не *все*! Это потребители свою мерзость оправдывают... Что инстинкты. Гормоны! Что мужика не изменишь... Что самцу нужно... и прочую там херню. Это все костыли тем, кто живет земным, вот этим самым прахом. А настоящий человек, подобие Божье, а не свинское отродье, не может быть раб своего низа – какая это свобода?! Рабство! А свобода-то – есть, свобода правды, и это честная и сладкая свобода – без мучительства себя, не пожалеешь! Это быдло пожалеет, их жизнь накажет – за пустоту, за прожранную душу. Путь есть, и он каждому

открыт, кто душой не ленив! Запомни: надо, чтоб *каждое утро*. Встал – в туалет, опорожняешь кишечник. Зубы почистил, душ, и сразу после завтрака – только не обжираться! без углеводов! – ложишься на спину, и жена отсасывает. И целый день ты видишь все по-другому! Можно рукой. Но лучше – жена! Строго – *каждое* утро. Не давай душе поблажки, хочется – не хочется, проспал на работу, плохо себя чувствую – оправдания нет – *должен!* Иначе спасения нет! Сам не заметишь, как пропадешь. Уступишь в малом – потеряешь все. Только не сдавайся, слышишь? – И Боря показал сжатый кулак. Чухарев сгорбился и почти побежал на выход. Боря горестно указал на свой рюкзак: – Все, что нашил. Я же из бедных. Одни трусы на всю семью! Почему ты ему ничего не сказал? – Все оборачивались, так он заорал. – Почему ты ему ничего не сказал?!

– Кому, Боря? Протри глаза! Нет же никого!

Боря вскочил и бросился вон, расталкивая соседние стулья, пихнул в грудь стеклянную дверь, плащ развеался, охранники переглядывались, оборачивались посетители – Боря бежал отчаянно, как вор, спасая рюкзак, словно пытался успеть что-то договорить Чухареву, хотя бежал в другую сторону...

Боря уехал не сразу, вечером я увидел его еще: прогулялся Красноармейской улицей мимо родного музея авиации и космонавтики до «Динамо», купил «на одну поездку» и едва не прошел мимо – Боря, прижав к груди рюкзак, всматривался, подростково задрал голову, в змееволосую медузу, в катящееся солнце, в паучьи щупальца, в проросший в подземной сырости картофельный клубень – в схему метрополитена, обернулся ко мне и дрогнул:

– Сейчас, сейчас... Я тут, – он уменьшился ростом, волосы поредели, обнажив тропинки и опушки первоначальной белизны, нос как-то расплющился и кожа потемнела – где загорал? – убавил лямки рюкзака, нагрузился и подпрыгнул: ничего не болталось и не звякало, – стою и думаю: а все ж и там, – кивнул он в сторону эскалатора, с мерным гро-

хотом подбирающего последних... — может быть, *целый мир*. Переходы. Колонны. И бывает свет. И даже птицы залетают, — закончил он сипло, неслышно, оглянувшись на качающиеся высокие двери со стеснительной улыбкой. — Жаль, не дождалсь солнышка. Я, между прочим, июнь любил. Июль любил. И вообще — когда тепло. Ну! — Он протянул руку, я вовремя отшагнул. — Зря ты ковыряешься там дальше. Думаешь — так уцелеешь? Будет только хуже. Она чисто метет. Ладно. А хорошо порыбачили, правда? — Он вспоминая хохотнул, снял почему-то очки и со значением сложил дужки, взмаргивая заблестевшими глазами, словно закрыл проверенный паспорт или личную книжку убитого бойца; ему хотелось отдать очки мне, но я еще отшагнул. — Ну, вспоминайте дядю Борю! — Он стронулся, прыгающим птичьим скоком преодолел турникет, бросил очки с использованным билетом в черную железную урну — с ускорением, словно разгоняясь, чтобы прыгнуть, набежал на эскалатор и близоруко обернулся на меня, уже никого не видя, и с клоунской, перекошенной, пляшущей, словно от боли, гримасой — посеменил ногами назад, удерживаясь на месте, перехватываясь руками по резиновым, убегающим под землю поручням — оставаясь здесь, танцуя на краешке, — вдруг вытянулся, взмахнул обеими руками и — замер, — быстро погружаясь по колени, — котомка, плечи — мелькнула растрепанная голова и пропала — я смотрел на мелькающую кромку, железных, зубастых ступенек. Они вытекали из-под земли, раскладывались в лесенку и уползали вниз, не встречая никаких препятствий.

* * *

Второй муж самоубийцы Вознесенской — Степан Мезенцов — принимал следствие в гостинице «Россия»; дородная секретарша, «Приемная господина Мезенцова!», я прикидывал: трахает он ее или нет? Моложавый, семиде-

сятилетний, безмерно медлен и удивлен: «откуда это ты взялся такой?», локти, облезавшие от заграничного загара; меня потрясло, что «Россия» внутри пустая, невольно обращившись на внутренний дворик — так и есть, сирень и беседки.

— Она была искренним человеком. Не была циником. Иронична. Любила узкие брюки из тонкой ткани, по фигуре (*надолго замолкал после каждого хода, а теперь ты — ну-ка! И отвечал словно невпопад. А еще?*).

— Ее звали Рожа. Необыкновенно красива, носик одинаковый с отцом. Отец и Ираида — эгоцентрики, что-то Ираида недодавала ему, какой-то нежности. И Петрович ушел к Натэлле, врачу из Кремлевки, к очень славной женщине, — естественный финал подобных отношений. Они въехали в фешенебельный дом на Малой Бронной. Петрович жил небогато, с трудом обставил квартиру. Родители Оли не возражали против нашего брака.

Мы поехали в Прибалтику, нас устроили в дом на острове, совершенно вдаль от людей — пять километров до ближайшего жилья. И мы жили одни на своей земле. Баня. Ночью Оля ходила купаться в одной ночной сорочке (*рассказывал он, как-то замерев, глядя прямо туда, в ту ночь*), лишь иногда вечером приезжали на машине поужинать в ресторан... Я был совершенно счастлив.

— Разница в возрасте вас не смущала?

— Шестнадцать лет — не очень большая разница. Позже я жил с женщиной младше меня на тридцать три года и — и чувствовал себя ровесником.

Уход к Оле — первое эмоциональное действие в моей жизни... Я оставил респектабельную семью, роскошную квартиру в шесть комнат на Тверской напротив гостиницы «Минск», с домработницей...

— Вознесенская какая-то особенная?

— Она не была роковой. — Он стал измято и спешно говорить, словно пряча, про вздернутый носик, красочность и вдруг трезво: — Я ни разу не пожалел.

— Оля знакомила вас с бабушкой? Анастасия Владимировна Петрова.

— Нет. Я знал только Муцу.

— Вам что-нибудь говорят фамилии Уманский, Шахурин?

— Нет.

— Как вы познакомились с Вознесенской?

— В 1974 году. Подвез домой, в дождь. А потом нашел (*шепотом договорил*), используя опыт профессионального московского гуляки (*и здесь Вознесенская попала на мастера*). Подвозил, встречал. Оля не могла заставить себя учиться. Стеснялась ходить на лекции. «Сижу и плачу, слезы сами текут — почему?» Ее болезнь проклевывалась давно. Я снисходительно относился к ее слабости.

— Вы понимали, что она больна?

— Да. Но не настолько. Фактически она была моей женой полгода. Из этих шести месяцев три она пролежала в Кунцеве, в психиатрической больнице. Там я понял, насколько она больна. Утром заехал в больницу, в неурочное время, сразу после процедур, и увидел — абсолютно стеклянный взгляд. Сказала: если меня не заберете, покончу с собой. Мы забрали. Оля надела красивое платье, пошли в ресторан — казалась совершенно счастливой. А через три дня покончила с собой.

(Клиент что-то показал руками на тему «ну что ж тут подделаешь».) Возможно, это я ее подтолкнул к Р-ову, когда сказал: перспектив у нас нет... Конечно, она увлеклась: и красная машина, и дача, известность. Но и я был человеком состоявшимся. И когда ее потерял, понял: должен вернуть ее любой ценой. И вернул.

— Чем вы привлекли Вознесенскую?

— Никогда не говорила. Может быть, этим (*и он деланно лениво указал на стену с иконостасом дешевых ч/б фото*

давно вымерших звезд — я завистливо покивал, но не узнал ни одного).

— Говорят, квартира, где Вознесенская жила до самого последнего дня, имела достаточно запущенный вид...

(Как я и думал, клиенту этот вопрос показался неуместным, так задушевно... о жертвенном любовном чувстве, и тут... о посуде.)

— Я не занимался бытом. Мы прожили слишком мало вместе. Еще не верилось, что это надолго.

— Как она умерла?

— Оля покончила с собой в день моего рождения. Я утром уехал на работу. Мы старались ей днем звонить, она не ответила... Отец обнаружил ее и вызвал «скорую». Я похоронами не занимался. Был не в форме. После — сразу уехал в Свердловск снимать фильм и пробыл там два месяца вместо одного. Когда все случилось, жена написала мне: я знаю, как это трудно потерять любимого, но если ты захочешь — тебя ждет дом. Я вернулся, но — не смог. Через два месяца ушел.

— Оля оставила записку?

— Да.

— Если не секрет...

— Володя, я люблю тебя. Но мучиться больше нет сил. *(Не сочинил ли ты эти слова прямо сейчас? Мятый листок, большие фиолетовые буквы.)*

— Можно на нее взглянуть?

— Я ее не сохранил по какой-то глупой причине.

— Бываете на кладбище?

— Бывал. А потом как-то пришел и не смог найти могилу.

— Я слышал, что... через какое-то время вы женились на Олиной подруге?

— Я не мог Олю забыть, женился на Бирюковой и долго находил утешение на ее плече. Бирюкова очень милая... но ее очень раздражало, что я всегда заглядываю ей за спину — в могилу...

В автобусе (ненавижу потное метро) я растянул на про-свет пересказанное, отмечая протертости и узелки: так незаметно во что-то вырастаешь, а потом понимаешь — моя жизнь; почитал объявления — «Усыпление. Вывоз, кастрация, стерилизация. Без выходов», рекламные щиты боролись со СПИДом — «Жизнь дороже мгновения сомнительного удовольствия», и усмехнулся — «сомнительное удовольствие» не напишет даже старик, и внезапно, коротко и небожно, но со страхом подумал про собственное прошлое: надо научиться, пока еще что-то есть впереди, обжить прошлое, обмерить шагами, спланировать, что ставить куда — место, что на последнее время станет пристанищем, единственным курортом, куда хватит сил доехать и отдохнуть, — удобно ли оно? Сухо? Прохладно? Всего ли в нем хватает? Прокормит ли оно? Что добавить, чем еще запастись? Не завелись ли мучения и неясные, плохо освещенные места? Надо уже сейчас опробовать прошлое, разносить, чтоб хорошо грело, напиталось домашней привыч-ностью, и научиться пользоваться: куда надо завернуть, чтобы порадоваться, а куда не смотреть и не оборачиваться, даже если оттуда окликнут; всему ли я хозяин или что-то придется терпеть, как храпящего соседа, как пьяного соседа; все ли *выносимо* (или еще попытаться успеть отомстить, забыть или уравновесить) — сейчас узнать и получше научиться, успеть к тому... когда тебя, лежащего, отвезут к стене, от которой не отвернуться, — на ней плоско и непрерывно будут крутить твое прошлое, можно перематывать на интересное, повторять, вглядываясь в неразличимые детали, но не выключить, когда... Будет ли ему больно — тому, что в очень небольшой, неизвестной степени, останется «мной»... Хватит ли ему заготовленных мною дров, воды... Не обманет ли меня прошлое, устоит ли, не прорвется, давая дорогу полярному, пожирающему — аду? Я надеюсь. Надеюсь на тело. Пожилой человек может понять только то, что может изменить. То есть очень немногое. Надеюсь на таблетки, хотелось бы устоять, не докучать выворачи-

вающей ежедневной рвотой лживо добродушным врачам и грудастым медсестрам, дающим подержать сладко пахнущую руку, не пытаться пристроить свое прошлое на постой: в какое утро родился, во сколько пошел, кем работала мама — очень добрая, добрая, она...

Допоздна — вдруг не дождется и уснет? не хотелось туда, где мало людей, — гулял по магазину: шоколад для похудения, под огромным плакатом «Планирование семьи» штабелями в семь рядов лежали разноцветные упаковки презервативов, среди бьющей хвостами рыбы коченел на ледяном постаменте огромный рак — клешни ему от греха подальше склеили аккуратными бумажными полосками белого цвета. На усах его висели немые капельки влаги, словно слезы.

Передо мной стояла женщина с табличкой на лице «все лучшее позади», к ней еще можно было обратиться «девушка», выкладывала кассиру под нос свою жизнь: бутылку вина, тампоны и кусок сыра. Мужик в черной шапке собирал пустые тележки за стеклянными разбегжающимися дверьми.

Где бы я ни ночевал, в лифте встречается огромная собака неизвестной мне породы — черная толстая морда, сама коричневая, гладкая и саблей хвост. Словно одна и та же. И ее просто возят за мной.

Мария не спала: будешь ужинать? Пойдем погуляем, я поняла, как тебе заснуть, — свежий воздух; мы остановились посреди детской площадки, окруженные звездами и безлюдными окнами, за которыми угадывались шкафы или стояла пыльная ночь; смерть — единственное слово, что не скучнеет со временем.

В парке через дорогу бродили радостные подростки с пивом.

Не люблю август. Он короткий. Слабый. Бессмысленный, поработенный осенью и нестойкий. Завален жухлыми березовыми листьями, пронизан мыслями о школе, болезнях, работе. Прошально пахнет трава. Я потро-

гал ее ладони: не замерзла? Мария вздохнула и обняла меня, припала, словно пытаясь что-то расслышать внутри.

— Расскажи свой день.

Мне показалось, что Мезенцов не жил с Ольгой накануне ее смерти, в лучшем случае «бывал»... Мне показалось: он не собирался жить с Вознесенской дальше... Мне показалось, записку он потерял не случайно...

Я немного испугался: каждый встречный рассказывает историю добровольной смерти красивой девушки, продолжая, но всякий раз *изменяя*, освещая другие механизмы и кнопки «пуск!» — играют со мной; нужно угадать — кольцо в каком кулаке, но я знал: в таких играх все кулаки оказываются пустыми; *все* нужное мне знает Р-ов, нужно просто поднабраться сил, чтобы разомкнуть ему пальчики.

— Опять нет настроения? — погладила плечо. — Тогда слушай мои дни. Я нашла мэйл Щукина в Германии и послала ему письмо. Карина Проскурина, свидетельница на свадьбе, нашлась пока только в Интернете. Она называет себя «покровительницей влюбленных» и «послом святого Валентина». Провела демонстрацию «за любовь», участвовали три человека. Живет на Красноармейской. Есть ее фотография — Проскурина сидит на диване в окружении мягких красных сердечек. Ищу телефон. Телефон Натэллы Вознесенской ищу через мэрию. Женщина, что ее помнит, сперва ушла в отпуск, а теперь уволилась и сидит на даче. Звоню раз в неделю, обещает, но постоянно застаю ее с сумками в дверях и кто-то ждет ее на платформе. И вот сегодня вечером выдала сразу три номера: домашний, дача в Серебряном бору (если не отобрали) и квартира сестры.

Я прислушался: море погромыхивало вдали, словно кто-то двигал мебель, тяжелыми рывками, натисками прибора. У Марии поскреблось в горле — так всегда, когда человек готовится сказать важное:

— Как-то страшно за тебя. Все, что связано с Петровой... А теперь с Олей. Нас куда-то заманивают. Ты и так

много сделал. Всех не вернешь. Тебе, мне кажется... — рылась она впотьмах в аптечке под рябой засиженной мухами лампочкой, выдирая из фольги белую спасительную пуговицу таблетки, — надо признать, что все вот это, — обвела она рукой вокруг себя, — вот это — не одна твоя жизнь, живой не только ты. Есть еще жизни. Совсем другие жизни! Ты понимаешь?! *Это* — совсем другая жизнь!! И ты не можешь с ними ничего... И если ты не сможешь вернуть эту девушку, другую, это не значит, — крепко она прихватила меня, — что тебя не должно больше быть. Ты останешься, — встряхивала меня, упрасывая, — ты будешь всегда. Со мной. Если захочешь... С другими... — К ней не подбегали на помощь примеры, никто, если бы я основывал тайное общество в школе, собрал бы тех, кто осмелится вернуть в мир смерть, как-то подравняться с окружающими (может многое помочь, например, фотографическое дело), захватить хотя бы первый ненаселенный пункт, но *не с кем...* Или — научиться переносить жизнь как огонь — тоже не получилось, наши показания, возможно, согреют, но это не мы, а «что-то почитать»; можно захлопнуть дело на любом доказанном эпизоде, жизнь приросла, она не выходит наружу, приросла к этим костям и мясу, к тому, про что не скажешь «вот я», но ничего другого... все остальное — фотографии, записи голосов, видеофайлы, надгробия и детские рисунки — нельзя уничтожать, нельзя на «пригодится?» отвечать «никогда», я ненавижу людей, способных влегкую выбросить в мусор конверт с младенческой прядкой, найденный в чемодане «на выброс», даже если младенец вырос, состарился, лично не знаком и давно умер. — Мне. Ты очень нужен мне. Ты всегда будешь, — зажмурилась и поцеловала легко-легко и рассмеялась.

— Что ты смеешься?

Мария прошептала:

— Нельзя? — и поцеловала еще, безвкусными губами. Я ни о чем не думал: глубокие мысли мне недоступны.

Мне никому нечего сообщить. И сделать я тоже ничего не могу. Никогда не занимал первого места. Мечтал быть бортинженером, когда все — первым пилотом. Стоять с бас-гитарой за спиной у патлатого солиста на сцене ДК железнодорожников. Подавать мячи героям. Полузащитником, но не нападающим. Радистом разведгруппы. Не мечтал быть командармом, только геройским командиром батальона. Боюсь даже лотерейных билетов. Кругом слаб. Стараюсь сразу предупредить.

— Ничего не знаю про тебя. Ты москвичка?

— Ты оставишь Вознесенскую там? О ней позаботятся.

— Нет, я. Я представляю интересы мертвых. Это у меня есть выбор. А какой у нее выбор? Я — или ничего. Да молчи!

— Хочешь спать? — прежде чем лечь, она присаживалась на колени проверить политую грядку: сорняки и посева.

— Да.

— Вот видишь. Это свежий воздух. Каждый вечер будем гулять. И разговаривать. Или молчать, как захочешь. Спи. — Она помедлила, не веря, что прошла все вагоны и никто не приехал, значит — завтра, и ушла; я поворочался, приятно лежать на полу, как в лодке. — Соседи завтра уезжают на неделю, у них в Саранске разбился насмерть двоюродный брат. Будем одни. — Позже мне послышалось: плачет.

— Ты что?

— Зачем ты так Борю? Боря такой был... Все вспоминаю: такой жалкий последнее время. Глаза прятал. Так старался радоваться — *каждому дню!* Очень переживал за тебя. Ты не забывай его, пожалуйста! Слышишь? И Александр Наумович... Давай навестим Гольцмана?

Мы полежали еще, совсем тихонько, вдруг сплю. Мария прошептала:

— Хочу, чтоб ты понял: Бог есть, — шептала убежденным, спокойным голосом, уверенным в разуме и добре

окружающих нас предметов и явлений. — Бог есть. Спокойной ночи, милый...

Я непривычно захотел тишины, мягкого, уснуть и попытался представить себе, что я иду из ниоткуда в никуда. Без цели. Никто не ждет. Каким я тогда буду? Наверное, очень внимательным к встречным людям, потому что человек не может *один* вынести все, и поплыл, засыпая, погружаясь в младенческое мирное тепло, радость неподвижности — паутинную сладость беспамятства, доброго дела, но — вздрогнул, судорогой встряхнуло меня, — перелег поудобней, побежал за сном, догнать, снова оказаться на пути у этой теплой сонной реки, еще долго гнался, ждал и даже казалось... но — нет. Упустил. Я понял: не хочу спать. Надо подниматься, идти ждать утра на кухню.

Натэлла Вознесенская легко назначила на субботу, десять утра — закончить к одиннадцати; в девять сорок я опустился на лавку за киоском с сосисками над осушенными Патриаршими прудами, где годы назад ждал я брата Шахурина, и в большом возбуждении читал «Спорт-экспресс», поднимая глаза на милицейские патрули, составленные из девушек; иду брать человека. Воробьи очередями, порхающими пулями пронеслись над головой и с каким-то веселым удовольствием набились, запихивались в кругло остриженный куст.

* * *

Без пяти я встал и пошел, два кода, от лифта налево — улыбающаяся, седая, молодая и светлая женщина высоко подняла руку для пожатия:

— Как вас зовут?

Прошли на кухню («вы же будете записывать»), скинула сандалии; усиленно накрашенные глаза, черные брюки, лица не запомнил; она подготовилась, война, боевая готов-

ность, все, что подворачивалось под руку, она привыкла использовать для очередного удара по Ираиде Петровне Цурко — бьет по живой, умрет — могильную землю будет колотить ладонью и царапать ногтями.

— Она была красивой?

— Ну... Скорее — эффектно одевалась. Ираида в *редкие приезды* из-за границы выглядела человеком из другого мира — шляпки, перчатки, костюмы. Когда Оля шла рядом с мамой, девочка видела: все оглядываются.

— Петр Петрович общался с тещей — Анастасией Владимировной Петровой?

— С Цурко он встречался редко, ходили в гости два раза в год. Очень гордый, от них зависеть не хотел — никаких льгот! Про Петрову рассказывал много — эрудированный собеседник, начитанная, интересная жизнь. Она, как и Ираида, отдавалась целиком работе. Такие женщины не должны иметь семью.

— У Петровой сын...

— Шизофрению Василия тщательно скрывали. Не знаю, жив ли. Василий много лет провел в психиатрическом отделении ЦКБ. Они говорили — последствия детской энцефалопатии. Да там и другая наследственность по линии Цурко присутствовала (*выходит, донеслось, что брат Петровой покончил с собой*).

— Говорят, Анастасия Владимировна и Ираида отличались некоторой сухостью...

— Все, кто бросает своих детей, — не женщины!

— Бросают?

— Когда Оле исполнилось два года, Ираида сказала: Петя, мне предложили работу за границей, ты не будешь возражать? Конечно, он не мог возражать. Но в душе надеялся: не уедет. Ираида уехала. И до самой смерти дочери прожила за границей, приезжая в Москву два раза в год: летом в отпуск — она его проводила в Сочи, занималась собой в санатории имени Цурко, и — на Новый год. Там, где она работала, у нее появились любовники.

Петя знал. Он и сам не монах. Но во время приездов Ираиды устраивались пышные приемы, зазывались гости, чтобы показать, какая у них замечательная семья. Олю растила Муца и домработница.

— И Петр Петрович ушел к вам...

— Они договорились развестись, когда дочь закончит школу. Но он не вытерпел. 30 декабря 1971 года (*торжественно огласила она святую дату*) открываю дверь — стоит с маленьким чемоданчиком: я больше не могу с Ираидой,пустишь меня? Петр Петрович оставил ей все, даже рояль «Стейнвей». Потом только забрал пару костюмов. Ираида закатила жуткий скандал, подняла на ноги всех, кого могла. Полгода нас терроризировала звонками.

— Вы, как медик, можете объективно оценить психическое здоровье Ольги?

— Я сразу заметила: у Оли не все в порядке. И какое-то время просто наблюдала. Девочка в двадцать лет должна быть жизнерадостной, веселой, а она не переносила яркого света, из писателей обожала Достоевского — просто упивалась им, из музыки — Вагнера. Не любила громкие голоса, громко включенную музыку, кричащие цвета в одежде не любила. Почти год не спит.

— Оля понимала, что не вполне здорова?

— Она считала — это последствие падения на катке. Оля ударилась головой о лед, сотрясение мозга. Пила таблетки. Мы говорили: это у тебя последствия травматической энцефалопатии, это пройдет.

— Мезенцов сказал, что Оля лежала в больнице...

— Я работала тогда в Кремлевке. Говорю: Петя, надо показать Олю главному психиатру Союза Снежневскому. Я три часа ждала под дверьми окончания консультации. Уже думала, что с ума сойду: так долго. Снежневский позвал меня: Олю необходимо срочно госпитализировать, она серьезно больна. Мы наврали ей про неврологическое отделение и положили в психиатрическое в ЦКБ. Она пролежала полгода (*Мезенцов показал — три месяца*) и возмущенно

звонила: что вы делаете? В дурдом меня положили?! В больнице, как выяснилось, у нее были суицидальные попытки. Она пыталась резать вены. После больницы врачи сказали Ираиде: если Оля вас *так* любит, вам необходимо побыть с ней хотя бы полгода. А что сделала Ираида? Поговорила с Олей: знаешь, мне так надо работать, я буду присылать тебе красивые вещи. Хотя Петр Петрович запретил Ираиде привозить вещи, одевал Олю сам, все шили в закрытом ателье, ему хотелось показать: он сам может одеть дочь не хуже. И уехала! И Оля отправилась жить одна на Куусинена (*одна — а где же Мезенцов? почему бы девочке не пожить у вас? мешали ее гости? ее бессонница? табачный дым? рыжая собака Р-ова? кормить и ухаживать? сама не захотела?*). Мы, конечно, следили, контролировали, но я видела: ей не лучше. Врачи были в шоке, когда узнали, что Ираида уехала.

— Почему же она так боготворила мать?

— Это же девочка (*вопрос не понравился*).

Попутно я думал: с Мезенцовым Оля не расписалась, «мужем» называл он себя самозванно, сейчас бы сказали «друг», проходящий, уходящий, я не сомневался в брошенной шестикомнатной квартире с домработницей на Тверской, в «уходе», но следов «прихода» навсегда в чужую жизнь попадалось немного.

— Как вы думаете, чем Оля привлекала Мезенцова. Он состоявшийся, устроенная жизнь...

— Оля — полная противоположность его жене. Та — очень деловая, «женщина в брюках». А Оля — тихая, спокойная, женственная, романтичная.

Когда Оля легла в больницу, мы сказали Степе: ты должен решить, что дальше. Она серьезно больна. Степа ответил: *я ее люблю* и останусь с ней. Постараюсь, чтобы выздоровела. Он планировал работать за границей.

— А Овсяников?

(Клиентка растерялась и поднялась включить чайник. Драмкружок закончился: она поведала легенду о плохой матери больной девочки, о жестокости судьбы, разлучившей влюб-

ленных в самом начале аллеи, обсаженной розовыми кустами, у подножия ее собственной, победоносной и великой любви, холма с созревающими оливками, ей нравилось, как я кивал, как теплели слушающие, засеваемые нужным глаза обращенного, сторонника, рекрута, как вдруг на сцену выскочила черная собака, картонная яблоня с треском покосилась и рухнула на актеров, включился свет, обнажая постыдные усилия гримеров: отваливаются бороды и домашняя, ранимая, многим переболевшая правда кажется вдруг жалкой и позорно смешной, и хочется поскорее сгрести разложенные елочные игрушки и пластмассовый хлам с ценниками, завернуть в скатерть и, пережив, прожевав, ждать следующей ярмарки, заново и привычно, наполняясь при виде свежего покупателя яростной верой, на дне которой уже навсегда окаменевшим дерьмом будет лежать «на самом деле»; ее клевали теперь «зачем ему?», «кто он?», и время теперь особенно тратилось — без ее пользы, потому что из мертвого сложения личных правд в что-то единственное, общее получается грязная дорога, которой никто не хочет пройти.)

— Овсяников? Кажется, он закончил институт военных переводчиков. В отношении Оли к нему — проявлялась ее болезнь. Раздражало все! Как он *ест*. Как *умывается*. Как *говорит*. Помню, шепчет: он та-ак шаркает... Хотя приятный, симпатичный парень. Петя очень хорошо относился к Овсяникову и после смерти отдал ему Олину квартиру, прописали на Куусинена и подарили нашу кровать.

— Оля тяжело переживала расставание с Р-овым?

— Легенду о том, что Оля покончила с собой от несчастной любви к Р-ову, придумали подруги Ираиды. Бред! У Оли с Владиславом были просто дружеские отношения. Да в него невозможно было влюбиться!

— Почему же она решила уйти? Молодая, красивая...

— Шизофреники суицидальные. У них самоубийства происходят внезапно. Вдруг слышат голос: *надо уйти*. Все очень умные. Дураков среди шизофреников нет.

– Как она умерла?

– Она умерла в день рождения Степы, 29 ноября (*Мезенцов запомнил: отравилась в день его рождения, умерла позже, в декабре*). Какое-то время он каждый год в этот день приходил на могилу с большим букетом роз.

Степа уехал в командировку (*показания Мезенцова – ушел на работу*). Оля зашла к нам, я напекла пирогов, оставайся. Это было воскресенье. В понедельник вечером (*29 ноября 1975 года – суббота*) веду прием – звонит Петр Петрович: с Олей что-то случилось. Он смотрел футбол (*в конце ноября, вряд ли футбол*) и вместо моего номера по ошибке набрал Олю. Она взяла трубку, ответила что-то заплетающимся голосом, и связь оборвалась. Петр Петрович набрал еще раз. Оля закричала: оставьте меня в покое! Это семь или восемь вечера (*Мезенцов запомнил – звонили днем и переполошились: Оля не ответила*). Мы схватили машину и помчались. Дверь открыта (*словно кто-то ушел или девочка хотела, чтобы ее нашли...*). Оля лежала в самом нарядном костюме, красиво накрашенная, благоухая...

– В сознании?

– Когда я наклонилась к ней, Оля прошептала только: Натэллочка, прости меня... И потеряла сознание. На полу валялся флакон сильного психотропного препарата мутабон. Она его принимала. Я дала ей флакон всего два дня назад. Сто таблеток. Попытались промыть желудок, но бесполезно. Стали вызывать «скорую», но ни я, ни Петя не можем вспомнить адрес... Две недели Оля отлежала в Скиффе и умерла.

– Что было в записке?

– Папа, Степа, простите меня. Писала, уже выпив таблетки. Буквы расползались.

– Вы занимались похоронами?

– Да. Самое тяжелое – сказать бабушке Муце (*Петрова, видимо, любое известие воспринимала спокойно*). Муца лежала в больнице, ей боялись сказать. Я успокаивала: старики и молодые все переносят легче. Мы говорили: Оля в боль-

нице, все делается, чтобы спасти... И вот я сказала, что все-таки — случилось. Муца окаменела и произнесла только страшную фразу: Натэллочка (*все собеседники клиентки в ее прошлом называли ее именно так*), я жила в розовой комнате, а сейчас стены стали черными. И до конца своих дней я буду жить в черной комнате без окон.

Степа и Петя в страшном состоянии. Пытались выбраться с балкона (*я покосился в окно: третий этаж*), я от них не отходила. Перед похоронами Петю накачала таблетками, сделала укол, на него не действовало.

— Ираида?

— Когда я собиралась на кладбище, мне позвонила общая знакомая и передала слова Ираиды: если она, то есть я, придет на похороны, устрою скандал прямо у гроба. Но на похоронах она точно не была (*надо проверить!*)!

— Мезенцов женился на Олиной подруге...

— Бирюкова. Тоже оказалась какой-то сумасшедшей! Запретила ему ездить на кладбище. Ужасно ревновала к мертвой. Патологическая особа!

Она принесла фотографии Оли и неожиданно разрешила их забрать, я ради приличия всмотрелся в каждую, слушая:

— Все могло хорошо сложиться. Люди с такими заболеваниями и долго живут, и такие посты занимают, и длительные ремиссии у них... Девочке бы нормальную мать...

Я, чтобы закончить, ловко затронул осушенные Патриаршие, и она легко перешла на строителей, заливших бетоном семнадцать источников на дне, а теперь бетон расколупали, а источников нет — ушли, скорее всего под дома, и размывают в эти минуты фундаменты — а если наш дом провалится? — а мы вас переселим, Ресин говорит — все деньги решают!

В такси я равнодушно еще раз перебрал фотографии: платочки, косички, кулачки, поддерживающие голову курносой девчонки, не улыбающаяся невеста без фаты, еще улыбающийся густобровый Лямун в кричаще-черных

туфлях, ироничные поцелуи, короткое черное платье с белым пояском, колени в плотных колготках — *все взорвалось*, все, построенное про Олю Вознесенскую, взрывалось, не выдерживая веса человеческих свидетельств; стало так тяжело, словно я опускаюсь поглубже, а не всплываю туда, где светлее и люди спят сколько хочешь субботним утром... но у меня еще есть рыба, сеть еще дрожит, еще есть с кем поговорить, прежде чем помочь Р-ову *все вспомнить*, я поднял голову и с ненавистью смотрел, как по тротуару вдоль парка, вдоль тополей с выбеленным горлом катят на роликах высокий, нескладный очкарик, дочь его с распущенными волосами двенадцати лет и следом — молодая ухоженная жена — смеются, опрятные, в нарядных свитерах, обнимаются с разгону, целуют раскрасневшиеся щеки и тянут друг друга в гору, и глупый, счастливый лабрадор несетя следом, отвлекаясь на палые яблоки и неразличимые отсюда интересные пахучие вещицы... Но ничего, ничего — так не бывает. Может, ему кто-то дает прямо в офисе, появилась совсем недавно новенькая секретарша с толстой грудью и невыплаченным кредитом и железкой в глубоком пупке. Может, у нее жизнь пуста, морщиниста и покрыта кухонной пылью, и цветы высохли, вспоминаются школьная любовь на уборке клубники в Ростовской области и дискотеки на футбольном поле, и вся невостребованная нежность отдана собаке. Может, это безмозглые иностранцы из посольского городка. А скорее всего — рекламная съемка. Ничего... Я вспомнил про Чухарева, что бы я ему сказал, что бы я ему сказал: любовь — это то, что недолго, как жизнь, это первая собственная смерть заживо — и получаешь представление, как это будет тогда, когда ты уже ничего не сможешь понимать, кроме вкуса манной каши и различных оттенков *огромной боли*, начавшейся незаметно, — незаметно начиналось совместной жизнью на тротуарах и рассказом о каждом прожитом дне и незаметно кончилось, когда ты перестал рассказывать свой день и перестала она, как бывает всегда: раз ты не любишь, то и я не люблю (а надо,

чтоб хотя бы один упрямо *продолжал рассказывать*, продолжал любить, что-то нестигаемо постоянное должно проявиться, как материнская любовь, — никто не знает, что именно пригодится вечной жизни)... А так — незаметно кончалось: перестал завтракать дома, нет, сперва перестали засыпать одновременно, а потом перестали засыпать вместе, а вот только потом — перестали рассказывать дни; женщина часами оставалась «на телефоне» и перестала смеяться твоим шуткам, хотя раньше у нее от смеха болел живот и она умоляла, заливаясь: прекрати! — бессильно каталась по дивану и бросалась подушками; и ты начал задерживаться в супермаркетах, закатывал тележку вглубь, поближе к рулонам туалетной бумаги, поближе к источникам музыки, грохоту и — не думая стоял. Когда начал думать, сложилось «хочу туда, где один». Не заметил, как оставались за спиной первые камешки запомнившихся несовпадений, непониманий, не переваривались и обрастали едкой слизью и кровили, стоило обернуться... Как обиды и трещины перестали срастаться и бесследно исцеляться вечерними разговорами, предшествовавшими половым отношениям, как впервые взаимно отвернулись и заснули каждый «при своем мнении», и уже ясно: навсегда. Так умирают — когда появляется «прошлое»: извилистое, обрывистое, полное непростительного и уже непростимого, — мелочами, а прожитые обиды — вечный пожар, негасимое адское пламя. На прожитое счастье невозможно опереться — кого когда оно спасло? Всемогуще только будущее счастье, бессильны только будущие разочарования... Как телу впервые чего-то *не хватило*, а потом уже постоянно начало — *не хватать*, и скоро очень во время тесных движений с малым размахом ты начал думать о ней, но не такой, потом о чем-то другом, щелях в шторах, скрипах, желании сна, а потом о других — в такой последовательности; ты злишься на нее, отцветающую, сохнущую, обвисшую, — *не так*, все не так; тебе кажется: тебе хотелось, когда она не могла, когда она пытается — опять, так получается, выбрала неудачное время

и пронзительно глупо-жалко выходит у нее; *как* надо — ты и сам не можешь объяснить; надо *как раньше*, чтобы все, как тогда — еще раз родиться, ведь любовь — еще одно рождение, но и еще одна смерть, — и дом, включающий кухню и санузел, становится главным доказательством твоей прожитости, использованности, местом, где осталось только покачать на колене внука и умереть... Не для тебя приходит весна, девушки показывают животы и колени, и смеются в телефонные трубки, и пахнет сиренью — вот как выглядит смерть, жизнь без тебя: ты становишься невидим для молодых и сильных, для тебя не показывают рекламу, кажется: ничего «этого» для тебя больше нет, никто не улыбнется в ответ, кажется, что ты вообще можешь прожить остаток без *этого*. Но однажды... Эти страшные «хочу еще»... И безжалостная власть знания, что в жизни только это и имеет смысл, *только это*, и пока это есть — ты жив, и настоящий... Так что все начинается и кончается очень незаметно, ни один шаг не требует особых размышлений, взвешивать не приходится, все разбито на несколько промежуточных операций, каждая, взятая отдельно, невинна, как улыбка встречной незнакомой студентки с такой большой жопой, что ее выхляет из стороны в сторону, а взятые вместе, они образуют атомную бомбу — самодельное устройство рая после смерти, посреди жизни. Накормиться тем, чем не насытишься. Накормить то, что не насытишь. Словно появляется рядом *еще одна жизнь* — там другой язык, время и другое тело, там все очень похоже и — жизнь на тротуарах, и ожидание звонка, и упругость и вкус, — но все отравлено ложью и точным знанием, что сдохнет и это, — и повторяется без конца одинаковая история, бормотанье одинаковых ласковых слов, со скучной неумолимостью срабатывает машинка, ты ищешь свободы, но оказываешься кругом должен: должен помнить дни рождения, должен все время говорить. Говорить то, что не думаешь. Утверждать то, что на самом деле не существует. Подтверждать то, что существует, но не в такой степени. Говорить, когда хочется толь-

ко молчать. Все очень похоже, удастся достичь нужного сходства, но с каждым разом — все меньше, быстрее, физиологичней, и только там, где уже завиднеется спуск с горы и черное, бесконечное пространство ночной воды, ты понимаешь разницу: там, тогда, первый раз тебе казалось, что это — навечно, и это единственная вечность, выпавшая тебе, а все прочие попытки повторить теряют многое без этого «казалось» — теряют все; и если ты рассказал однажды кому-то о своих детских прозвищах, о маме, первый раз тронул за руку, поцеловал — ты отдал свое свидетельство о рождении, выпустил душу, чтобы она, соединившись с другой, летящей навстречу, парусом развернулась над головой, всегда перехватывая нужный ветер и всегда зная, где спастись. Отдал все, что у тебя было. Оказалось: было одно. Оказалось: отдавать больше нечего. Мы обыкновенные, земляные люди, у нас единственная душа. Не будешь же пересказывать все еще один раз — как называла тебя мама, как ты боялся паровозных гудков, что ты подумал, первый раз ее увидев... не сможешь придумать новые ласковые прозвища небольшому количеству вещей, необходимых в любви, — попробуешь обходиться без этого, и, если обойдешься, выходит это — не имело значения. Выходит, твоя жизнь не имела значения. Тебя нет. Не получилось. Все равно умер. Мы умерли, исчезли, сдали на разграбление наш город — больше не ходят троллейбусы того маршрута по Малой Дмитровке, переехал с Садового загс, закрыли «Овощи—фрукты», где за стойкой разливали газированную воду разных вкусов, снесли лавочку, на ней обсуждали свадьбы, за магазином «Автозапчасти» застроили арку, где всегда студено сквозило, подгоняя меня к автобусной остановке, отменили поезд в 18:06 — к родителям, — и словно все это произошло из-за того, что наша любовь (вот и вырвалось это слово) скрепляла мир, и если она исчезла — с миром может произойти все что угодно.

Стала ненужной общая, священная история — от первого взгляда до первого прикосновения — кому нужны

косточки высушенной рыбы; становится ненужным общий язык, не понятный никому, даже если ты сможешь научить паре словечек встречных туземцев. И впустую запоминаешь про запас: расскажу ей про это, и она увидит моими глазами. Рассказывать некому, и запас отягощает душу. Она не узнает, под какую песню вспоминаю я ее. Я умер, и она ушла умирать далеко без этого знания, кажущегося мне страшно важным. Становятся ненужными люди, которых мы обсмотрели вдвоем, осень, которая разлучала, лето, которое радовало, зима, которая уничтожала, становится ненужной страна — заходишь в нее чужим, она рассчитана на двоих, и теперь... вот теперь ты понимаешь не только ненавистное время, но и *расстояние*: вот сидит человек, с ним был ты бессмертен, так близко, что легко достать рукой, и кажется, если забыться, накроешь ее руку своей и, как прежде, вы оба замрете, и потечет общая кровь, — но рука не сможет преодолеть полосы пустоты, ты будешь видеть ее каждый день, но не увидишь больше никогда, у тебя другой голос, другие слова, немного пройдет, и глаза тоже изменятся, и ты снова, и теперь уже навсегда, перестанешь замечать весну в тот день, когда больше не остается женщин, которым важно помнить день, когда ты их впервые поцеловал, кому важно и интересно повторять твое имя, изучать твои детские фотографии, спрашивать поутру: что снилось? — и не находить ни в чем утешения, если ты хмур. И эта еще одна смерть — неотвратима. И я не верю, что бывает по-другому, мне теперь важно — чтобы ни у кого никогда не получилось по-другому.

— Пойдем гулять. Пойдем, тебе же понравилось. Пожалуйста! Ну, ладно, посидим дома. Сделала чай с травками — от бессонницы. Как себя чувствуешь? Еще бы — столько не спать. Голова не болит? Дай потрогаю — температуры нет. Попьешь чай — измерим давление. Скажи, а когда ты не спишь — ты думаешь о чем? О работе? Тебя что-то тревожит? Ты с кем-то разговариваешь? Я иногда вижу, как ты молча с кем-то разговариваешь...

— Как это выглядит?

— Хмуришься, качаешь головой и губы немного шевелятся. Я подумала: тебе нужно на море. Когда закончим дело, поедем в Феодосию? Понравился чай?

* * *

— Ты очень красивая сегодня, — оплата за ужин; что-то покрасила в волосы, проредила и подогнула брови.

— Купила тебе газету. Владислав Р-ов вернулся в Россию.

Я очень издали взглянул на бородатого господина в безрукавке и: водку? — нет; курите? — курю; стараюсь жить в Санкт-Петербурге, благотворительную школу организовал при храме Святой Екатерины... Все сборы пошли на нужды больных детей... Мои дети должны быть по-настоящему русскими... Я обязан привить им духовность и патриотизм... Пойдете на Новодевичье? А как же. Святое место... Разве в этом цель нашей жизни — бороться, толкаться, куда-то пробиваться... Я понял, что надо быть со своим народом (*это я тебе обеспечу*)...

Мария подержала бережно каждую фотографию Оли Вознесенской, пытаясь в каждой отразиться и что-то найдя, словно сестра-близнец, украденная из колыбели, выросшая и сгинувшая где-то там, — в сериале здесь надо пустить слезу, сопровождаемую вздохом:

— Ты выбросишь их? Отдай лучше мне.

— Нет. Фотографии мы продадим. Мы скажем Овсяникову-Ляму: у нас есть Олины фото. Он подумает: а вдруг таких у меня нет? А все должно быть — только мое. И высушится из раковины. И мы — схватим за клешню.

— Мне жалко Лямуна. Мне кажется, ему особенно больно. Поэтому он не хочет тебя видеть... Опять говоришь про себя?

А.А.Овсяников, прописанный на Куусинена и принявший в подарок от бывшего тестя кровать... Да он счастлив,

пьян, в нем включили свет — он сейчас разговаривает с облаками, его никто не узнает, он бредит, и время расстужается перед ним, пуская туда и обратно; как только я позвонил, полустертая жизнь его стала ЖИЗНЬЮ, икона обновилась, он бродит с Олей своей по ожившему городу и показывает, что понастроили, а что осталось, она берет его с собой, и он для нее — будущее открывает, прощает ее, каждый день прощает ее, и находит на утреннем лице слезы и жалеет сны — его взяли, зачислили, он нужен — тебе это не суждено, и мне... Понимаешь, парень сидел и ждал на подаренной кровати, в пыточной квартире, где находились ее волосы и пятна ее победительных друзей, и шерсть рыжей собаки, тридцать лет ждал отбросом, выбракованным, каблучной, гусеничной вмятиной в мокрой земле, обрастая седой семейной корой, смотрясь в борщи со сметаной, хмурясь заново окольцованной золотом птицей, не понимая: за что? и не понимая: что? — ведь все случилось так быстро, и свадьбу играли настоящую — ведь не приснилось. И что ему оставалось: верить, что «еще не конец», как верили в детстве, гостя в чужих домах, где водились телевизоры, пусть прошли титры и пуст пушистый советский скудный экран, но вдруг сразу, не завтра, покажут следующую серию про танкистов и собаку, вернется знакомая музыка и — начнется с начала; еще не конец, верил он, эту девушку пустили пожить неспроста, и чудовищная, кривая, безумная сила ее — это не то, что ему казалось, это *существовало*, пылало, и многие обжигались и видели, и человечески это объяснить нельзя; он не способен ее предать, признать, что может она забыться, истлеть, ослабнуть, не способен поверить в то, что поступила с ним, как поступила, — так казалось тем, кто далеко, — не им судить, что и как там получилось, и вплывать лучеглазым, ротастым между ними, они — *муж и жена*, все свершилось, их никто не разлучит, и смерть — сейчас он докажет — не разлучит; он не мог ее сдать, признать, что расчет окончателен, он верил, он заложился на то, что любовь — побеждает все, его

любовь — побеждает все, его любовь — не обманет, надо только подождать, годы, десятилетия, и даже хорошо, что все устанут, будут приходить через раз с большим букетом роз и вовсе разойдутся, и перестанут находить калитку, за которой скрылась она на кладбище; он останется (как и должно, кому еще?) один над этим пригорком, прирастет и, если надо, уйдет в ту же землю; он будет ждать тридцать лет, чтобы потом легко привстать (ты так и не заснул? я тебя ждала, ты же помнишь: без тебя не засыпаю) и пойти навстречу, со спокойной улыбкой, даже не удивившись, увидев снова *ее*; первый раз за тридцать лет — заплакать (и часто представлял, *как* с достоинством заплачет, и слезы горячим доказательством переполняли глаза); все, возьмет ее за руку, все — кончилось, теперь мы одни, земля опустела, бронзовые розы ожили, мы сядем под этом деревом (подвернется какая-нибудь лавка и пожилой дуб с вздувшимися корневыми, узловатыми венами) и *будем разговаривать*, я столько хотел тебе рассказать, и я... Когда я позвонил, Овсяников понял: *началось*, все сбылось, все воскресло, пересидел всех и ему отдадут Олю, «последними мазками» он сможет изменить все, подправить, больше не ходить горбатым, *он* станет ее автором, вцепится в ее руку и проведет мимо всех, он ждет меня у телефона на Куусинена, жаждет рвануть под наш хирургический свет, показавшийся ему солнцем, он думает: мы оправдаем его жизнь, вызволим и отдадим ему девчонку, и вчистую свалим... Не все так просто, парень.

Мария особенно долго терпела в выбранную ночь, не спала, карауля: вдруг? — когда я поднялся, натянул майку и остановился прислушаться: кухня пуста? — она печально спросила:

— Помнишь, ты сказал, что представлял, придумывал — будто прожил со мной несколько историй?

— Да.

— Расскажи какую-нибудь.

— Да ну.

— А там нет истории про то, как мы с тобой катаемся на кораблике? На верхней палубе.

— Нет.

— Давай покатаемся.

— Когда-нибудь. У меня так мало времени осталось. Я работаю на конвейере.

— Я подожду, они плавают до октября. Покатаемся, — протяжно произнесла она, ясно себе представив. — Не хочешь спать?

— Не знаю.

— Тебе кажется, что нельзя больше спать? Что ты... не должен? Что — что-то должно случиться?

Не знаю, что сказать.

...Карина Проскурина — однокурсница и свидетельница на свадьбе Вознесенской и Лямуна, похихикав, трижды переспросила год моего рождения:

— А вы сами с Олей были знакомы? Мы все ее любили... У вас есть хобби? Можем встретиться в «Макдональдсе» на Тверской, где Эйфелева башня (*не был ни разу, какая там на хрен Эйфелева башня?!*). Как вы выглядите?

Я бесцветно доложил, она кошачьи изогнулась в телефонном отдалении:

— А какие у вас глаза-а?

Я опоздал на двенадцать минут и еще двадцать торчал, задыхаясь от фастфудовской вони, принимая атлетические и кинематографические позы пожирателей тел, разминая в руках газету — опознавательный знак, не дождалась. Могла уйти, но хотя бы из интереса вернется глянуть издали, но — нет. Я скормил газету урне и побрел в туалет на второй этаж, украшенный женской очередью и залитый мочой, и когда уже... на выход — вот Карина Проскурина, черный, мокрый от дождя плащ, невысокая, кудряшки, блестки на веках, лице и открытой груди, свежая помада, босоножки на черных колготках — видны крашенные ногти на маленьких ступ-

нях, — я двинулся на нее, мы перешли Тверскую и вперлись в кафе «Пирамида», едва не взорванное три года назад молодой чеченкой, в гремящий угол, и сильно огорчили официанта заказом чайника чая и стакана воды без газа.

— Мы познакомились на первом курсе, английский педагогический факультет, на втором курсе Оля уже не училась. Очень модная. Тогда все старались походить на модель Твигги, вот Оля такая — длинная, худенькая. Курила три пачки в день, прикуривая от сигареты сигарету. Красивые ноги, сексапильна. И пользовалась большим успехом. Оля не выносила пошлость, воспитание сказывалось. Когда в разговоре возникал хоть малейший намек на пошлость, она испытывала физическое недомогание, ее буквально тошнило.

Сказать, что необыкновенная, — ничего не сказать. Она была, как теперь говорится, «экссклюзив». Фантастический нос. Задранный почти вертикально. И женщин, и мужчин притягивала как сильнейший магнит. Умение собирать вокруг себя одаренных людей. Что-то от Бога. Обожала музыку.

— Как получилось, что Вознесенская так рано вышла замуж?

— Леша чрезвычайно милый, добрый, симпатичный, мы все обожали его, и к девяноста восьми процентам обожания прибавлялись два процента влюбленности. И мы доконали Олю: Леша такой красивый! Его так все любят! Надо выходить замуж! Она выходила за него под давлением, а мы очень радовались свадьбе, играли в «Пекине», любили этот ресторан. На свадьбе всем стало ясно: ненадолго. Если бы мы с вами пошли в церковь венчаться, батюшка нас бы не обвенчал — видно, что ненадолго. Так и там. Холмянский возмущался: как она *так* может? А Оля обижалась на него за это.

Их несовместимость выяснилась чуть ли не в первую брачную ночь (*людям урезали языки, как я ненавижу этот*

словесный шлак, подобранное дерьмо, мозги, проросшие общими, скудоумными речами ста пятидесяти телевизионных каналов, рекламное рабство, ничтожество собственных мозговых усилий, невозможность увидеть вокруг что-то отличное от приносимого на дом корма – в «первую брачную ночь»!), и стало понятно: нельзя мужа брать на вырост, как ботинки. Любовь не удалась, и Леша уехал в Африку один.

– Как он оказался в квартире на Куусинена?

– Леша не имел квартиры в Москве. Я как-то заходила к нему: что-то типа угла за занавеской, типа у сестры. С квартирой... Наверное, просто воспользовался моментом – удачная ситуация, его же туда прописали....

– Оля тяжело переживала развод родителей?

– Мать Ольга *безумно* любила. Скажи что против – выцарапала бы глаза. В Ираиде присутствовал оттенок превосходства. В ее улыбке. Глаза чуть раскосые. Держалась, как светская львица. Что? Олю она совершенно не одевала, подарки из-за границы – миф. Свою обиду на Петровича выплеснула на дочь, раскачала психику безобразным разводом.

Они вели, казалось всем, такую замечательную жизнь... И вдруг после очередных блестящих гостей, великолепной вечеринки, Петрович объявляет: я ухожу. Ужасно! Ираида рыдала ночи подряд, брала Олю в постель и выматывала ей душу излияниями, истериками, не давала спать. Оля все меньше ела, преподаватель в университете сказал: «Вы как после Страшного суда...»

– Владислав Р-ов ни при чем?

– Она не могла справиться с этой болью... Я говорила: да если тебе нужен этот Р-ов, так позвони ему! Оля ответила: звонить бессмысленно. Если женщина караулит мужчину у подъезда с зонтом, максимум, что она получает, – с ней пару раз переспят. Чтобы не зря ехала. Но, я думаю, она захотела умереть потому, что перед смертью осталась совершенно одна...

(Я не нашелся, что спросить, и впился в принесенную воду — осталась одна, все сыплется, как только я остался один и двинулся за этими тонкими очертаниями, скрывающими другие очертания, и другие.)

— С Р-овым их познакомил Евгений Шукин. Слышали про такого юмориста?

— Ой, в Щукина Оля влюбилась ужасно. Женя, Женя, все уши прожужжала. Он был женат и алкоголик.

— Мезенцова помните? Он женился на Олиной лучшей подруге.

— Да, Бирюкова вышла замуж за Мезенцова. Я как-то встретила их в ЦДЛ — Бирюкову и Степана, и помахала рукой: вот это да! А что же вы Олю с собой не взяли? А Бирюкова мне: тихо! Оля умерла.

— Вы хотите сказать, что Бирюкова и Мезенцов... близко общались, когда еще Оля была жива?

— Конечно! Возможно, Оля даже успела узнать, что Бирюкова беременна от Степы, у них же сын. Как-то у нас зашел разговор с Олей про Мезенцова. Она сказала: да, я все знаю, но сейчас не время менять декорации.

— Вы что-то знаете про обстоятельства ее смерти?

— Знаю, когда Олю откачали, она сказала: зря, я не хочу жить. Разлад с миром оказался слишком глубоким *(опять реклама)*...

— Когда вы видели Вознесенскую последний раз?

— Незадолго до смерти. Оля, пьяневшая раньше от капли шампанского, встретила меня в невероятном диком виде, с полбутылкой белого вина *(а Натэлла Вознесенская чистосердечно показала: Оля не пила)* — сейчас пойдем и купим еще! Будем пить! Это сейчас бы на меня не произвело впечатления, а тогда я бежала в ужасе, имея только одно желание: никогда не встречать Олю больше.

(Мы прощались, больше никогда не увижу, не услышу, она под диктовку записывала придуманные домашний и мобильный.)

— Почему так с ней получилось? Того любила, этого любила... Целый список.

— Знаете, каждый подсознательно чувствует, сколько ему отведено. Каждой женщине на жизнь дано три-четыре романа — даже самой некрасивой, невостребованной... Архивной крысе! Три-четыре романа. Оля знала: времени ей отведено мало. И поэтому прожила свое быстро и красиво. Быстро прокрутила пленку. Без грязи. Если вы о распушенности нравов — это не ее история. Просто жизнь некруглая, попадаются углы с дикими страданиями. Ей выпало углов побольше других. Замуж никто не брал. Были бы дети — забыла бы все.

Я пытался постоять посреди Пушкинской площади, но не нашел места, где бы никому не мешал, не хотелось в метро, в пот, к своему отражению в черных стеклах, я испугался на немного и, успокаиваясь, всматривался в людей — *миллионы*, ненадолго я почувял себя пассажиром, безруким, связанным — все поехало само, повернуть некуда и не вылезешь; прятался во дворе, где деревья вращались в небо, под провисшим плевком баскетбольной сетки, постаравшись не вчитываться в числа и строки под «Уважаемые жильцы! Просим вас принять участие в уборке опавшей листвы», чтобы по-советски не стыдиться неявки, пока не задуবেл. Она распахнула дверь, как только услышала стальное зазубренное вгрызание ключа в замковые теснины, и обняла как долгожданное, со стоном, с внезапной нежностью, вцепившись: ты, это ты... *Мы постояли на пороге неизвестного мне праздника — что-то забыл? Лишь бы не день рождения.

— У тебя сегодня день рождения?

— Нет. Мы сегодня одни. Соседи уехали!

Мария окружала, дотрагивалась в счастливом нетерпении, убегала что-то подправить, мелькало новое платье, я смотрел на ее худой зад: нет, шансов нет — веки серебрятся от блесков, несмываемая помада, — сегодня так просто меня одного не оставят, все предстоящее — такое же интересное дело, как выбирать люстру; забился на кухню и искал, где поют, мне нравилась девка из

подтанцовки Жанны Фриске, та, что слева, с залезанными волосами, что-то давно ее не видно.

— Весь день драила ванную. Сделаю тебе ванну с пеной — *глубокое расслабление*, сегодня ты уснешь, — поцеловала меня, командовала, скрывая стеснение: — Живо раздевайся! Вот твоё полотенце — оранжевое. Ой! — У распахнутой двери клекочущая струя вздыбила в ванне пенную белую бороду, кудлатый горб, поползший через край. Она включила душ, убавила напор и тощими струйками причесала, разгладила пену и — стихло. — Полежишь двадцать минут. Глаза закрой. И ни о чем не думай.

Я заперся и потрогал: новое махровое полотенце. Кусок неведомого мне материального мира. Бязь. Жаккардовое одеяло. Штрипки. Папье-маше. Солонина. Меренги. Гуммиарабик.

Сквозь прохладную пену и горячую воду я поставил ногу на скользкое дно и погрузился весь, пена упаковочно шуршала на груди и желеобразно колыхалась от малейшего движения, как живая, плотоядная масса, трясина, и чем-то тесно пахла — на других этажах плакал ребенок, восклицали: «Да, мой золотой!» и мышино попискивала вода, уходя в дырявый слив. Я рассматривал чужое: грязную банную варежку, заткнутую за полотенцесушитель, кран с ржавым потеком от нижней губы вниз по горлу, тубики зубной пасты с передавленными позвоночниками, пластмассовую черепашку с гибкими лапами. Сколько осталось времени? Она подошла к двери: у тебя там все нормально? Жарко зашипал лоб, и я согнул колени в пенных волдырях, размахал пену и освободил лужицу почти черной, затененной воды, протянул руку и прочел на ближайшем флаконе, удобно вогнутом под рукопожатие: «Stress Relief», снимает стресс и беспокойство розмарином, природная терапия; еще нашлась банка, на этикетке: ледяная неживая арктическая вода, заваленная ледяными глыбами, написано

«Соли Мертвого моря» — и поднялся, облепленный чешуей, с загипсованными пеной ногами.

Темно, только ее комнату озаряло багровым, от розетки за угол тянулся черный провод.

— Не включай свет. Не трогай ничего! — крикнула Мария из кухни. — Иди в комнату. Садись на кровать и жди. Не подсматривай!

Лампу она накрыла красной тряпкой, я поглядывал: не задымится? — долго гремела в коридоре мелким железом, я ждал на кровати, голый, обернутый влажным, холоднеющим полотенцем, хорошо представляя себе *все*; она ткнула музыку, после шуршаний пошли арабские бубны и завывания, она выбежала с распущенными волосами, голый живот, бедра обмотаны платком с мелкими монетами, чешуей, вывезенной из страны «олл инклюдзив», — ЭТИМ платком она и трясла, танцевала довольно однообразно, выставляя вперед то одну, то другую босую ногу, иногда кружилась, я поднял глаза на грудь, скрытую купальником, — ничего там нет; я бы радовался, если бы она уехала на неделю, и каникулы я бы пожил один, я смотрел, делал вид, что смотрю, делал вид, что замираю, блаженно улыбаюсь, и вздыхал от неловкости, нескладности ее тела, лампы, занавешенной тряпьем, от убожества предстоящего, от убожества ее, убожества своего — таким она меня видит? Она решила танцевать, пока не кончится музыка, значит, еще долго, они занудливые, эти песенки; все больше стыдясь, целиком покраснев — подступила ближе и потрясла платком перед носом, трусы на месте — убежала, звеня, поменяла музыку на какие-то тихие всхлипы, переступая босыми ногами, крадучись вошла в коротком жарком платье, покачалась, опираясь на дверной косяк, отвернулась и с трудом потянула платье через голову — спина оказалась уже голой, черные узкие трусы, тощие ноги, она елозила животом по двери, приседала, широко раздвигая колени, пыталась обернуться, локтем закрывая грудь и, мне казалось, — жмурясь от ужаса за распущенными волосами, — я думал одно:

лишь бы не стала снимать трусы — потянулась, выдернула шнур лампы, подбежала и повалилась на меня, обняв, горячая и влажная, я никак не мог избавиться от улыбающейся гримасы, она застыла:

— Теперь ты меня разглядел? — дохнув чистотой жевательной резинки.

Мы погладили друг друга и долго лежали бессмысленно рядом, и она отвернулась, закрывшись рукой.

— Расскажи: что у тебя на душе? — отчаянно попросила и ждала, ждала, ожидала, и уснула, не снимая с меня рук с маленькими детскими ладонями, и спала доверчиво, как спят дети. Я долго не решался встать, боясь ее разбудить.

From: Evgenij Shukin <e_shukin@mail.ru>

Здравствуйте, Александр!

Я очень короткое время общался с Ольгой, став свидетелем драмы, начало которой и развитие прошло вне моего поля зрения.

Есть святые вещи, они требуют бережности. Иначе легко пойти на поводу у собственных эмоций, как, например, поступает Мезенцов. Никто не имеет права на жизнь другого. Память о мертвых — тоже жизнь. Лезть в нее напролом, отыскивая козлов отпущения, не имеет права никто, включая тех, кто такое право почему-то себе присвоил (*каким образом Мезенцов тридцать лет назад шел на поводу эмоций? каких козлов отпущения нашел?*).

Владислав Р-ов пригласил меня с женой в дом Оли на Куусинена на правах фактически хозяина и близкого Оле человека. Там состоялось знакомство. По-моему, весной 1973 года.

Позже мы вместе — Оля с Владиславом и я с женой — отдыхали месяц на юге.

Там, на юге, я заметил, что в отношениях Владислава и Оли наступает некий перелом. Оба не давали мне повода вмешиваться в их отношения. Только быть их немым свидетелем, — и то для меня было нелегко.

Позже, уже в Москве, волею обстоятельств мы с женой на два месяца нашли приют у Оли на Куусинена. Влад там уже появлялся от случая к случаю. Вот эти два месяца и есть период, когда я мог бы узнать или выпросить поподробнее, что у нее на душе. Но я, извините, имел достаточно своих проблем, чтобы нагружаться чужими. К тому же я полагал, все, связанное с Владиславом, для Оли болезненно.

С Олей были у меня отношения чисто дружеские, основанные на благодарности — приютила нас, бездомных, бескорыстно, в Москве это много значит.

Ни о какой любви моей к Оле или Оли ко мне, извините, речи даже близко идти не могло. И не только потому, что я был женат и не собирался бросать жену (*вот тут и место написать «а потому, что я ее не любил», ну!*). Как видите, кроме жизни и страстей Ольги Вознесенской и Р-ова-младшего существовали другие люди и другие страсти, хотя, как я понимаю, для людей, ведущих «следствие» и конструирующих свои версии, чтобы обязательно привести их к стадии вынесения приговоров, моя жизнь и мои переживания глубоко неинтересны.

Оля жила как птичка Божья, все возникающие хозяйственные проблемы я решал сам, удивляясь, как живет она одна? Что ест? Кто готовит? Стирает? Ходит в магазин? От родителей ее поступали шмотки, книги и деньги, которые она тратила на сигареты. Я должен был кормить троих взрослых между приемами гостей.

Теперь о Владиславе. Владислав привлекал к себе людей своим положением, фамилией, деньгами, обаянием, легкостью, «общей одаренностью», отчего и был добычей, как правило, тщеславных женщин. Как в их число попала Оля — для меня тайна. Может быть, она видела его иным? Или была все-таки тщеславна? Или избалована и не могла без дальнейшего «балования» себя кем-то? Баловать женщину, молодую и красивую, — не всякому по зубам, по средствам.

Внешне она была со мной приветлива, улыбочива, легка — одной ей все-таки было тоскливо, а тут какое-никакое общение. Спала она мало, мы забалтывались порой за полночь, и потом свет у нее долго не гас. Думаю, она страдала бессонницей. А скорее всего спала наяву.

Не знаю, кто бы мог разбудить ее. Так и лежала с сигаретой, книгой и улыбкой на кухне. До нашего вторжения и после, при наших редких визитах. Мириться с таким образом ее жизни мог бы только очень влюбленный в нее человек. Я таких вокруг нее не замечал (*вот тут уместно свести кое с кем счеты*), и сам (*не может отойти, как привязанный*), увы, таковым не являлся.

Вскоре мы съехали от Оли в нанятую мной квартиру, и наши встречи стали совсем эпизодическими: какие-то дни рождения, звонки. Владислав тоже испарился с горизонта. Почти. Встречались ли они это время — не знаю.

Однажды он мне позвонил и сообщил: Оля лежит в Кремлевке, в нервном отделении. Сказал: она не прочь, чтобы именно я ее навестил. Я понял так, что это просьба скорее всего самого Влада, у которого душа все-таки за нее болела. Я навестил. Вроде как «уполномоченный представитель». Что называется «в чужом пиру похмелье». Согласитесь, не очень уютная роль.

Постоянно я вставлялся в эту историю в качестве персонажа, и до сих пор меня, отряхнув пыль, вынимают из ящика, чтобы я сыграл в этом театре. Сам виноват. Нечего было пользоваться даровым гостеприимством. За все в этом мире человек платит (*пустотелые слова, свидетель оправдывается*).

В больницу, как я пришел, Оля была рада по-настоящему. Но откровенного разговора не получилось, да и получиться не могло! Фальшивая ситуация и масса недомолвок, плюс — обстановка дурдома. Ни она не рвалась в откровенность, ни меня, которого она, подозреваю, воспринимала только в отраженном от Влада свете,

не тянуло заговорить о том, что же все-таки ее тяготит: такое место, как психушка, обязывает к осторожности (*допустим...*).

Тонкое это дело — женская душа. Да еще когда женщина, как я позже выяснил у подруг (*зачем? что случилось после ее смерти? в чем тебя обвиняли?*), периодически предпринимает попытки самоубийства (*звучит зловеще и опирается на сплетни; как же «бережность» к «святым вещам»? как же «никто не имеет права на чужую жизнь?»*) и попадает в лечебницу.

Обвинять Владислава в чем-нибудь — это все равно что обвинять канаву на дороге в нанесении увечья человеку с дефектом зрения, бредущему по этой самой дороге.

Все, что Вы пишете о каких-то там мистических мужьях, для меня полный темный лес.

Я не видел ни одного живого мужа ни разу (*опять тебе важно пнуть Мезенцова*). Не слышал о таких. Может, Мезенцов был мужем? Я даже этого не знаю, извините. А он опять появится. В финале. Как в драме «Маскарад», тот самый роковой человек (*что ты хочешь сказать? ненавистная интеллигентская уклончивость, капризность пишущего сословия! что означает «появится в финале»? ты и про Мезенцова говоришь «роковой»?!*).

Финал.

Оля позвонила после длительного перерыва.

Попросила о встрече (*не думаю, что этому нашлись свидетели*). Мне это показалось странным (*нищая, однообразная песенка-отмазка...*), но я помню добро (*других, конечно, мотивов для встречи с ослепительной девкой у тебя быть не могло! мы в это верим!*) и отказать ей не мог. Мы встретились в городе, прошлись бульварами, дошли до моей квартиры (*отличное место для формальной встречи!*), зашли, распили бутылочку сухаря. Она только пригубила (*предстоит доказать, тут мало мимолетного утверждения, свойственного чистой правде*), я в таких делах понимаю, сам пьющий, ей это было не нужно. Вид у

нее был свежий, цветущий, отнюдь не вид опустившейся и пьющей женщины (*оправдаться, почему вообще наливал, выходит, свидетеля обвиняли: только из психушки, ей категорически... алкоголь!*).

Очень, помню, прифрантилась (*да — внимание! — похоже, тот самый день — 29 ноября*). Вся сияла (*я не виноват, наряжалась не для меня, вы что-то сделали с ней потом*). Но в глазах — что-то опять от сломанной куклы. Это мне скорее хотелось немного выпить, чтобы легче переносить неловкость и фальшь встречи (*еще раз — она не пила, так это важно, а фальшь встречи — если она тебе безразлична, если ты старше ее лет на пятнадцать — ты о чем говоришь?*): опять она (*перестал называть ее по имени*) ни о чем не говорила серьезном, я не мог даже предположить, что у нее в душе делается. Смеялась, шутила. Я говорил какую-то чушь... (*может, и так, или все забыл — хотя весть о смерти навечно печатает в память последний разговор, да еще в мозги пишущего — или больно помнить?*). Сейчас, конечно, винишь себя, говоришь: «Если бы знать...» Схватил бы, задержал, запер. Так весь фокус: откуда знать-то? Ведь жили вдали друг от друга, каждый по своей судьбе... Вот кто рядом был, они-то куда смотрели (*крепко, выходит, на тебя тогда наехали*)? Все эти бывшие и настоящие мужья и подруги (*у свидетеля хватает отваги, ему Вознесенская не показалась суицидальным шизофреником, услышавшим голос: уходи!*).

Я не знал, как она жила последнее время. Она ни взглядом, ни жестом не дала понять, что ей плохо.

Ночью позвонил Мезенцов и сообщил, что она приняла большую дозу снотворного (*вот как ловко пытаешься выскочить из последней встречи под шумок страшного... а так естественно было бы литератору описать прощальные слова, как уходила... и думал ли я, в тот самый момент... я ее проводил до метро... посадил на такси... ее кто-то ждал, назначена встреча... выйти проводить уже не мог потому, что набрался порядком... или ждал водопроводчика... ужасно устал... как-то не подумал, даже в голо-*

ву не пришло... Неужели ты не проводил ее до Куусинена, почему бы об этом прямо и легко не написать?).

Мезенцов знал, что Оля была у меня. Откуда? Видел ли он ее (*после тебя, но до — глотания таблеток, так бы тебе хотелось*)? Звонил ли? Вопросы без ответа. О его звонке в ту же ночь — так отложилось. Допускаю: он звонил на следующую (*Оля могла прийти в себя, в реанимации сразу кого-то заинтересовало: у кого провела последние часы, кто-то увидел в этом причину*). К сожалению, у меня есть основания «вешать» на Мезенцова кое-какие поклепы. Если он забыл — тем лучше (*выходит, ночью Мезенцов позвонил*).

Я и на похороны не пошел потому, что знал, что буду воспринят именно в этом контексте! (*Другая причина — слишком многие считали тебя виновником!*) Согласитесь, обидно, ибо я это я, а не какой-то там, «который еще там был», приятель «пустого и холодного прожигателя жизни Владислава Р-ова», как, вероятно, обо мне поминалось на Вашем «следствии».

Я живой человек, который питал к Оле теплое чувство. Жалею, что не стал ей настоящим другом. Мешало многое. Не буду объяснять. Любовь к себе я бы почувствовал, не бревно же я! Чего не было, того не было. Не роковой я человек. Не тяну я на соблазнителя, как бы господину Мезенцову ни хотелось накинуть на меня этот плащ (*вот чем закончилось... с точки зрения Мезенцова, и толкнуло Ольгу на скользком, вот, возможно, почему тебе не вспомнить, о чем вы говорили — почти не говори-ли...*) — он будет все равно с чужого плеча.

Звонила ли она кому еще в тот вечер? Прошло несколько часов (*сколько?*) после ухода. Целый вечер она где-то была (*указывает следствию многочисленные разбегающиеся пути, не заботясь о достоверности, — вычеркните меня, прошло тридцать лет*)...

Ничего, кроме недоумения, боли и вопросов, она после себя не оставила.

Прошла лишь по касательной к моей жизни. Попрошайте тех, кто напрямую участвовал, если они поделаются. Да будет память об Оле светлой и доброй. Всего Вам хорошего. *Евгений Шукин.*



Утром от телевизора и Интернета болели глаза, я отпросился купить газет, а сам скорым шагом, чтобы отлучка не затянулась, не вызвала подозрений, что лучше мне одному, чтоб потом отпускали еще, добежал до школьной спортплощадки, за дома, и постоял на плешивом пригорке, почти не слыша завываний с проспекта и грохота; с рассеянным вниманием смотрел, как на асфальтовом поле, не вполне свободном от луж, пожилые школьные друзья в святой, неотменимый день гоняют в футбол — стучат подошвы; я потерялся; устал и не сплю — вот и потерялся, утром белого дня, когда надежно держат ноги... я потерялся, и *они*, выходит, подошли близко; я смотрел: какие-то люди бегают за мячом, и внимание, сознание мое растворилось так, что на мгновение одно я умер, вернее — точно почувал, *как* умирают — полностью и незаметно, в сонном тепле перелетают в созерцание бегающей на поле жизни, уже не имеющей отношения к тебе... я вздрогнул и застонал:

— Нет! Нет! — взмахивая рукой, все вспоминая — все, ощупывая: на месте? — огонь, *они* боятся огня, движения, запоминающих глаз, я успею — я почти побежал к месту кормления, и в помойном лифте, посреди маркерного мата мне даже показалось: положи меня и — усну.

Чухарев каждый день приходил к газетному лотку — ничего не покупал, листал журналы, пытался рассмешить продавщицу Марину и жадно рассматривал ее жир-

ные тела. Он не признавался, что уволен, врал: офис переехал. Деньги кончались, жена втайне от него составила и рассылала резюме и больше не спрашивала, куда Чухарев уходит на целый день после внезапного крика: мне нужно доработать! Сколько раз можно повторять?! Ты можешь запомнить с первого раза?! Это *мое* дело. Что ты меня дергаешь за поводок? Тебе мало моей жизни? Что еще тебе дать? Что конкретно тебя интересует в моем дне? Я буду писать отчеты – по минутам! Тебе хочется, чтобы я сидел с ребенком, а ты спала? Не хватает времени смотреть телевизор? Кто вас будет кормить?! Работа – это моя жизнь, понимаешь ты?! – *моя жизнь*. Я сделаю ее, даже если не будут платить! Если у меня не получится, моя жизнь не имеет значения, ее нет – это тебя семья может сделать счастливой! А я не хочу быть счастлив! Я хочу быть свободен! Хватит выть! Все уже наизусть: выть на кухне, выть в ванной, выть в телефон, потом вытаскивать ребенка из кровати – мы уезжаем, плохой папа, потом: мне плохо, темнеет в глазах, повалишься на пол, а ночью приползешь подлизываться... Что? Разговаривай лучше с зеркалом! Ты же не высыпаешься – вот и ложись! Спи! Я хочу быть один! Хочу спокойно засыпать. Я устал, хочу спать! Чуть не ударил, когда попыталась обнять.

Утром он старался уйти пораньше, гулял по городу, выбирая праздные места, где собирались загорелые, губастые девушки, разглядывал посетительниц в кафе и заговаривал с официантками, ни разу не решившись попросить телефон, заезжал на вокзалы, вздрагивая от внезапного близкого баса: «А-автобус на Брянск!», рассматривал в Интернете проституток, забывая в «поиск» рост (от ста семидесяти), вес, возраст, размер груди (от шестого) и почему-то ближайшую к дому станцию метро, пропуская только цену, ему нравилось выбирать, даже записал пару телефонных номеров и имен, зная: никогда не позвонит; к вечеру – Марина торговала до восьми – ехал на «Сухаревскую»

и брел к газетному лотку — зачем? — каждый раз эта толстая девка его раздражала — тем, что не особо радовалась ему и вряд ли заметила, если бы он пропустил пару дней, и не искала, если бы исчез; тем, что никогда не расспрашивала ни о чем, не понимала его шуток и посреди любого рассказа легко отвлекалась на подошедшего покупателя, даже пьяного и занудливого, не доспрашивала, освободившись: ну и потом? — и радовалась знакомым милиционерам и черным таксистам, прописанным у ближайшей остановки, — знала всех по именам и беззлобно отбивала их лапающие руки, Чухарев резко поворачивался и уходил без «до свидания», обещал, ярясь: больше не приду! тварь! безмозглая корова! — но утром уже не чувял вчерашнего омерзения, а после обеда ждал вечера с радостным нетерпением! Чухарев присаживался сбоку на подоконник магазинной витрины и смотрел: у нее такая большая грудь, что Марина передвигалась, словно стесняясь, — боком. Она жирно красила губы на казавшемся грязном лице, и яркий лак раз в неделю возобновлялся на запыленных пальцах, — и ему, он понимал, не выговаривая про себя, но понимал — *хотелось* потрогать ее, сжать, увидеть ее раздетой, он представлял, как скажет: *покажи свою грудь*, попросит, нежно прикажет, и она не удивится, для чего же еще она? — словно дождавшись, притворно погрузнев или щедро улыбаясь, потянет пухлой рукой, краснея, молнию вниз. Он спешил к лотку, но... доходил — и все казалось невозможным, хотя — вот — он мог протянуть руку и коснуться ее бедра, словно случайно, и — не мог. Он повторял: «Какая ты красивая сегодня...» — что еще сказать? она — *не понимала*. Что надо говорить, чтобы поняла? куда-то пригласить? Но она работает каждый день до восьми, а ночами его ждали дома. И куда идти с этой безобразной тушей, плохо одетой, глупой, тратить на нее деньги (деньги он не считал личными, деньги — семьи), все это *планировать*, строить рядом с существующей какую-то еще одну позорную жизнь. Главное — жалко времени, такой длинный, ничего твердо не обещающий

путь — вместо того чтобы сказать: *покажи свою грудь* — только это, больше ему ничего не надо, и еще — много других, всех...

Пошел дождь, гибэдэдэшники стояли на Садовом в накидках, нацепив целлофановые пакеты на фуражки, — Чухарев вымок, как мокнут под дождем только дети, и шел, торопясь, вниз по Грохольскому, шатаясь от тяжести одежды и странной дурноты, ему не хватало воздуха, тяжело давался вдох, и — выдох, сердце обморочно редко вздрагивало, отдавая сильно в затылок, слева; он чувл себя больным, оторванным от календарного дня, как когда-то — прогуливая школьное расписание; он провалился внутрь себя, и там, издали, обложенный лекционной ватой, он о многом забыл, многое мучавшее его потеряло смысл и все — сделалось возможным измененному человеку, шедшему словно спросонья, — Марина пряталась от дождя под магазинным козырьком, накрыв товар квадратом серой пленки, — подвинулась, давая ему место, и Чухарев, не останавливаясь, словно с разбега, вдруг — неловко обнял ее и прошептал:

— Соскучился.

Марина шутливо прижалась к нему, и он почувл будоражаще: *так* — и они постояли, раскачиваясь, как родственники; рассмеялась и отстранила, покажись: вроде не пьяный:

— Дождь. Никакой торговли.

Чухарев выждал до конца, исчерпав обычное отведенное время — что сказать дома? Придумаю, когда поеду. В восемь грузчики покидали в «газель» товар и разобранный лоток, Марина отдала бордовый форменный фартук.

— Ты сейчас куда?

Она вздохнула:

— В метро. Мне на «Партизанскую», деньги сдавать.

— Довезу. — Поймал машину, они ехали, почти не разговаривая, сидели тесно, он с боязливой уверенностью трогал ее руку, рассказывая про встречные улицы, мосты

и дома, — она сонно всматривалась в огни и тьму, никогда не ездила по Москве на машине, одинаково повторяя:

— Красиво.

И на «Партизанской» спустилась в подвал четырехэтажного дома, собранного из рыжих кирпичей, с тяжелым пакетом мелочи и пачкой денег, обхваченной резинкой, коротенькая куртка не закрывала широченный, извилисто качающийся зад, у лестницы, ведущей в подвал, стояла банка из-под оливок, в дождевой воде плавали узкие, женские окурки.

Чухарев продрался сквозь шиповники и прохаживался по коврикам теней, расстеленных кленами; в беседке парень целовал девчонку, уткнувшись ей куда-то в шею, словно грыз ухо, кошка мягко ступала по своим делам, не замечая прогуливаемую таксу, под фонарем остановились прощаться молодые матери, сдвинув коляски, — у одной из-за джинсового пояса торчал край белых трусов с красными цветами — казалось, маками.

Он зажмурился, словно отдирая от раны бинт:

— Алло.

Но это звонила дочь.

— Папа.

— Ты мое солнышко. Ты моя самая красивая девочка на свете.

— Во сколько придешь?

— Сегодня поздно, — он поднимал глаза на нелепые переплетения черных веток и тоскливо приподнимал плечи, он словно жаловался с остывающей, смирившейся болью — из плена, изнутри тела, мягкой, вонючей, покрытой шерстью, тюрьмы. — Я сейчас на встрече.

Она помолчала, отвлекшись на что-то, потрогав, перелистнув или подойдя к подоконнику, ей нравилось разгуливать по комнате с трубкой, как делает мама.

— Встреча с кем?

— С заказчиком.

— Как это?

— Люди заказывают мне работу. Я ее делаю. Заказчик платит деньги. И летом мы полетим на море.

Дочка равнодушно протянула:

— Поня-атно... — И прошептала, задев губами трубку: — Приходи скорее.

— Что-то случилось? Поссорилась с мамой?

— Мама на меня кричит. Сказала: засыпай сама!

— Наша мама — самая лучшая. Она сейчас просто очень устает. Не обижайся на нее. И она тебя очень любит.

— Погасила мне свет, — дочь набрала воздуха и, начав с тонкого, нарастающего стоны, заплакала где-то вдаль, выронив трубку или уткнувшись во что-то.

— Не плачь, милая, — говорил он тому, кто его не услышит. — Ты моя самая любимая. Засыпай, я скоро приеду и посижу с тобой. Не плачь! Все будет хорошо! Пожалуйста! — Он отключил телефон: ничего, дочке просто нравится говорить по телефону, жена устает и последнее время срывается на нее (*что-то сказала: поезжай домой*), но скорее всего набегалась и устала и теперь капризничает... Или ей одиноко? Или чтобы привлечь внимание — позвоню папе; всегда, когда ее обижают: позвоню папе; ей бывает страшно засыпать одной, с ней, хоть немного, надо посидеть, держа за руку... лишь бы жена не бросилась звонить следом: «Что он тебе сказал?! Он домой собирается?! Почему отключил телефон?! Папа не хочет со мной говорить!» — крик и еще слезы — «Не могу с тобой сидеть, засыпай одна!» (*поезжай домой!*)... ничего, *просто* позвонила, сейчас успокоилась и спит, дети все забывают бесследно, и первые годы слипаются в непрозрачный ком, только мерцают ощущения света и ощущения тьмы, застывшие в недоступном согласии — все забудет, без следов и шрамов, запомнит море.

— ...Я думала, ты ушел.

— Где ты живешь?

— Да вот тут пройти. Рядом.

Они прошли двором, словно о чем-то договорившись, следующим двором, под арку — по незнакомой, странной земле, на другом конце Москвы, в неурочное, отвоеванное время, расширяющее, делающее бесконечно долгой его молодую жизнь, он даже не пытался запомнить дорогу — где-то недалеко завывая, разгонялось метро.

— А что у тебя дома? Кошки? Собаки? Хомяк? Ревнивый муж?

— Никого нет, — хрипло рассмеялась она. Ведь совершенно незнакомое лицо, вдруг он всмотрелся — кто это? — Снимаю с тремя девочками однокомнатную. Они из Саранска. Знаешь? Мордовия. Вон наше окно.

В окне — включенный свет, люди, занятое место. Некуда.

Постояли у подъезда; уже привычно, как освоенную территорию, он тронул рыхлую руку:

— Пойдем, пройдем еще круг.

И она с покорностью, переполнившей его кровью, пошла и остановилась там, где он остановился и ее поставил — в тени кустов, у решетки детского сада; они оставались невидимыми для неприятно освещенных кухонных окон, где двигались седые космы и голые плечи, где холодно и равномерно мерцала телевизионная трясина. Чухарев развернул ее спиной к балконным длинным плевкам и покуриваниям, она вопросительно притихла, они замерли под разносимыми ветром брызгами водопада популярной музыки англоязычных стран и колоний, сериальных отголосков, криков детей и собачьих восторгов и несогласий — Чухарев опять подержался за ее руку — и потянул к себе — обнял так же, как и впервые, неотстранившееся тело, так же, как и впервые, по-родственному теплое и бесполое, сильно сжал и вдруг пустил вниз напряженные жадные руки — жир и мясо, и провел, разгладил руками такое обычное, так будоражащее, такое огромное, гладкое, неожиданно плотное, набитое... — воровски, быстро, суетливо... не зная, что теперь? Она вдруг рассмеялась и неприят-

но пошевелилась, словно ей что-то мешало: тесная обувь, закатавшиеся меж ляжек трусы, переполненный кишечник, — он прижимал, не выпускал не отстраняющееся, но и не наваливающееся тело — вот и происходило то... то, что... шарил по ней, словно искал выключатель, терся о ее низ — чувствуешь? — прося ее руку, что-нибудь, что-нибудь навстречу, что сейчас можно? словно от него не зависело ничего, несло течением... потрогал рукой — от плеча вниз мягкое, широкое вымя — она как-то ловко-привычно перехватила руку и заглянула в лицо, обдав неприятным запахом нутра:

— Ты что? Ты что? Что с тобой? Эй, очнись, — легонько шлепнула по его лбу, — тебе так плохо, что ли?

Он ученически, вслепую, задолго вытянув губы, потянулся ее целовать, но она не играючи отстранилась и засмеялась уже громко, ее смешила игра, и теперь они стояли раздельно. Чухарев видел: она ничуть не волнуется, качает головой с насмешливой укоризной, ее разбирает смех, и снова — невозможно потрогать ее, и ничего, оказывается, не случилось, хотя какая-то память осталась в ладонях.

— Пойду, — объявила она. — И ты иди. Тебя дома ждут. Уже поздно.

И повернулась уходить, утомленно раскусив зевок, уворачиваясь от его ненужной, трясущейся руки; время, вот оно что — время, с ненавистью понял он, всего-то навсего — время, отнимает все и думает, что может отнять даже ничтожное это, но — не может! Все должно открываться навстречу, если он подходит и протягивает руку — руку единственного человека, в которой сочтется жизнь, а после не останется ничего, космос. И он, словно приказали, схватил и подволок ее поближе к себе и зашептал в недовольно подведенные глаза, в эту жирную, распухшую, животную морду:

— А давай пусть как будто прошло три месяца — четыре! — я приходил каждый день, приносил подарки, коробки

в блестящей бумаге, я давал тебе деньги, когда не хватало платить за квартиру или ты так всего лишь говорила: не хватает заплатить... купил новый мобильник на день рождения, духи, трусы... Мы ходили в кино, и там я *осторожно сжимал твою руку*... Писал тебе эсэмэски — *каждый день* — о твоей красоте — ты очень красивая! Ты самая красивая! Ты такая красивая! Почему ты такая красивая?! Говорил: рушится семья, дома меня не понимают... Смотрел твои фото, где ты маленькая, где твоя мать молода, обещал поехать весной к тебе домой и умолял: тебе нужно учиться, не век же торговать, другая жизнь тебе нужна — мне важно, что с тобой случится, и я... — Он медленно нагнулся и прижался к ее пресным расплзшимся губам, к всплывающему навстречу языку, поведшему какой-то немой, болтливый, дразнящий разговор, запустил руку за пояс ее штанов, минуя усиленные резинками препятствия, достигнув, наконец, просторной, напреди животной пустоты, язык ее задрожал, словно обожглась, пронзило, она мычала, точно пыталась ему то, что невозможно, все же *сказать*, пока он перетаскивал руку на прохладное бедро — и волнуяще представлял, держа руку там, какая ее жопа будет сзади, как она будет трястись, принимая его, как сожмут ее руки, а он будет смотреть вниз, и вперед — на жирную шею, на трясущийся затылок, тогда не видно морды, и он сможет думать — *о других*... Домой! Унести — домой, к горячей воде, родным его людям — дочь! его всегда ждут, он там прописан, его там место для жизни, он защищает и держит там фронт, там его служба и награды, там на мягкой подушке спит его дочь — светлые кудряшки, придерживая рукой медвежонка Мартина, там неподвижно ждет его жена и — будет ждать всегда, там ничего не изменится, и нет ее лучше на свете... он ударил свое лицо ладонями — *зачем он?!* — так заболело внутри, и, ничего не слыша, сдувшийся, полегчавший, потерявший кости, он побежал в сторону, где завывало метро, уже забыв навсегда этот двор, чужой город, вырезая из прошлого улицу, проклиная день: *никогда!* — жег его

стыд, казнил, и знал бы молитву — молился бы сейчас, переложить чтоб хоть на кого-то: неси Ты! и казалось: никогда не забуду, так и потащится за мной эта подлая малость. Как могло это небольшое, ничтожное, смешное, мелкое и рабье... угнетать его и даже направлять и требовать? Что все это лживое, кормушечное, преходящее это в сравнении с крепостью его дома и верностью любящего сердца, и прощением (не зная ничего, его простят) единственных рук? Он словно очнулся: пора искать работу, растить дочь, делать уроки, мечтать о сыне, может быть, он выстроит небольшой дом километрах в ста от Москвы, они заведут собаку, и будут кататься на велосипедах вдоль реки, и собираться вечером у костра и глядеть друг на друга влюбленными глазами поверх скачущего пламени, ничего не говоря, но больше, чем «все», понимая, — как странно и страшно, что без «этого» он не мог так сразу все понять, так окончательно и ясно понять свое счастье, мимолетность своей жизни, важность не упустить ее скользкой рыбой из рук, удержать, сбывься, все время строить не уставая, не ждать, что выстроится что-то само... годы пойдут медленно и нестрашно, он подружится со священником и тот расскажет детям о Боге как можно раньше, чтобы успели поверить, чтобы сразу укрепилось небо над ними... Он бежал вдоль бетонного забора, по лестницам переходов, через турникет и остановился только в вагоне — теперь за него мчался вагон, — налитыми больною дрожью пальцами тыкал эсэмэски жене — одну за одной: «Я люблю тебя», «Как там спит наша девочка?», «Прости, что задержался, больше такого не будет», «Наша жизнь теперь будет другой» — и поглядывал на пятно — сохнет? — да, успеет высохнуть до невидимости, а белое он в подъезде соскребет, и нюхал руки и с ужасом свитер — да, насквозь, чужим, тварью — и смотрел в телефон: нет? — еще две минуты — нет? — еще, минуты не прошло — нет? и теперь — нет? Да! Жена написала: «Я тебя люблю и жду». Он отвернулся и раздавил в глазах слезы. Нет, как ему повезло, как повез-

ло, что ничего почти и не было, ничего просто не было, не случилось, да и не могло, и теперь он едет домой, все — он возвращается, он разогнулся, какое это счастье, самое главное на свете: ехать домой.

В подъезде, покинув лифт этажом раньше, он еще раз проверил, внюхался: пахнут руки? Пахнет одежда? Пахнет пасть? Поменьше? Да нет, в тепле еще больше заворачивает, проскользнуть бы, не касаясь, может, спит? Грабительски тишайше орудуя ключом и придавая лицу омерзительное радушие слизняка, пьяного труса — не было сил держать голову прямо... жена, сонная, теплая, в новой, не видел раньше, майке, тихонько выбралась из спящей детской комнаты и уткнулась, ища губами его наискось вывернувшееся позорное лицо, и прошептала с пионерской серьезностью:

— Я тут подумала. У меня не было, нет и никого не будет, кроме тебя, — и вцепилась покрепче, словно отдала что-то ему сильное свое и теперь одной ей не устоять.

На дрожащих ногах, щупальцах он вполз в ванную, скинул одежду в грязное белье, джинсы на самое дно, еще раз поскреб пятно — вдруг не заметят, не будут же разглядывать, загружая стиральную машину, — и согнулся под душем, и не мог согреться (слабый, что ли, напор или моются соседи), убавлял холодную, горячее и горячее — все прошло, но ничего не смывалось. Он стоя ждал, искал: где? Но ничего не смывалось. Он постепенно понимал: ничего не изменилось, ничего не изменить, ничего не изменится в тесной квартире, под ребрами на кривых, коленчатых ногах, в прямоугольной, душной ванной, в малогабаритной трешке, в восьмизэтажном кирпичном доме шестидесятих годов, городе, выстроенном из лохмотьев собственной кожи, куске зеленой и черной земли, пылинке в пустоте мрака, навязанной пошло и бессильно вселенной, — морщины продолжают, он скоро умрет; горячая вода близилась к кипятку и почти нестерпимо нагревала кожу, но его не меняла —

его, этот кусок, понимающий себя, ничего не изменит, он останется такой и еще хуже, он чуял, как с чугуном на ногах опускается на топкое дно...

В темной комнате — они собирались назвать ее кабинетом, на полу он плакал и шептал жене: «Спаси меня! Спаси меня!» В ответ на встревоженное, птичье: «Что с тобой?» — «Мне плохо». Как это в детстве получалось — *говорить правду*, и важным было научиться говорить — слова могли все: облегчить душу, убить смерть... Он плакал: «Спаси меня!», без желания спастись, не то чтобы совсем без желания, а зная, родившись с этим знанием: спастись, уклониться невозможно — говорил потому, что так полагалось, когда-то так было «надо», прежде это что-то означало, еще фаст-фудом не выжгли этот инстинкт... «Спаси меня!» и целовал ей руки, жена смотрела в его лицо, целовала в глаза и шептала наугад, как будут расти дети, строиться дома, сбываться мечты, про растянувшееся лето, и, если бы он успел поймать, он закричал бы: все размывает вода, все побеждает вода — не песок, не пламя, не космос — вода, которая проникает повсюду, смывает все и побеждает все — ты не можешь ее поймать, не можешь остановить, она все уносит, вода уносит все.

У нас есть фотографии Ольги — Овсяников неделю ломался (принимаю экзамены), и в четыре у Ваганьково, я буду в зеленом. Ниже меня, щуплый, лобастый, с богатой мимикой поднимающихся бровей, еще черноволосый, прилизанный.

— Долго ждете? Я зашел в церковь.

— Дойдем до могилы?

— Боюсь. Мне Ираида запретила с вами встречаться.

Я отдал фотографии, он проглядел — такие есть, но взял, проямлив:

— Отдам Ираиде.

Он не хотел оставаться на кладбище, боясь случайной встречи или слезки, мы сделали круг по центральной

аллее, и он скорым шагом вывел меня за ворота; мы ходили взад-вперед вдоль кладбищенского забора, вдоль рева и смрада, он оправдывался:

– Ираида всегда была такой. Если что-то решит – должно выполняться. Мы так и называли ее – «Железный Феликс».

– Может быть, вы мне расскажете, зачем с Ольгой встречался Шукин?

– Об этом ходило много темных слухов. Зачем звонил ей... Зачем встречался... – и замолк.

– Когда видели Ольгу в последний раз?

– Встретились... Проводил до дома, – и сделал важное для него уточнение, – на такси. Оля сказала: через две недели придет мама – давай все вместе увидимся. И звонит Ираида. Я так обрадовался: наконец-то, мы с Олей так вас ждали! А она мне сказала...

– Вы знаете что-нибудь про записку, которую нашли...

– Не было никакой записки.

– И про похороны...

– Множество народа. Мы шли с Ираидой под руку по льду, – он словно вступал в официальные права, их распределяла Олина мама.

– Когда вы жили вместе, вы понимали, что Вознесенская больна?

– Она не болела! Однажды Оля мыла окно и упала, головой на паркет... А соседка напротив, что помогала по хозяйству, есть готовила, заметила что-то неладное, звонила, звонила, а потом открыла дверь, ей оставляли ключ, – накручивал он недостоверные детали. – После этого попала в больницу, привыкла к лекарствам.

– Что больше всего ценила в мужчинах?

– Получается, что талант, – с ноткой разочарования протянул он.

– Помните Мезенцова?

– Какую-то синюю рубашку.

– Оля знала, что у Мезенцова возникли какие-то отношения с ее лучшей подругой?

– Она узнала, что... у них...

– Вас прозвали Лямун?

Он довольно рассмеялся:

– Сашка Холмянский придумал, когда я съездил на стажировку в Египет... Мы прожили год. Срывались и ехали в Таллин, в Киев! – причем...

– Ночью сбежали из пансионата на Клязьме, – подсказал я.

– Да! – Шли дальше, и он улыбался.

– Быстро прошло время?

– Быстро прошла жизнь.

* * *

– Почему Оля так поступила с вами?

– Я просто сам – с таким напором... Она мне так понравилась, провожал ее каждый день, заходил... Ираида предупредила: я через месяц уезжаю, поэтому, если хотите расписываться, давайте сейчас. Мы с Олей переглянулись: давай! Свадьбы играли две – партия Петра Петровича праздновала в «Праге», а не в «Пекине», как вам сказали... Партия Ираиды отмечала дома. Оля сама понимала, что это ненадолго, – сказал он мимоходом, словно проходя мимо заборной доски, ничем не отличимой от соседних. – Писала мне в Африку. Веселые письма! «Села играть в карты с трехлетним клопом, а он уже мухлюет!»

– Когда она подружилась с Р-овым?

Он усмехнулся моему «подружилась»:

– Когда я уехал в Африку, все и началось.

– И при этом вы вспоминаете ее с теплотой. – Я не мог сказать «ты ее любишь».

– В аэропорту меня встретила Ираида на черной «Волге», привезла мою мать и прямо в машине сказала, почему Оля не приехала ко мне в Африку. И что теперь Оля хочет развестись, надо завтра же встретиться на

квартире у бабушки, у Муцы, — чеканил он, подлинно донося беспощадно-железную интонацию. — И все решить. — У меня вдруг сделались ватными ноги, и я заново оглядел клиента — память о девушке, умершей тридцать лет назад, — все, чем он жил, цена его жизни, Ираида умела его отлучить, потому что сама короновала, вот почему он так ее боится. — На встрече Оля как-то весело и просто все объяснила. Как-то очень достойно.

— И вы ее простили.

Овсяников подумал сперва:

— Простил, когда так получилось... Когда... она умерла.

— Оля общалась с бабушкой — Анастасией Владимировной?

— Наверное. У Петровой, помню, какие-то веера, платья из Японии.

— Из Китая.

— Ее портреты маслом. Еще помню: Оля танцует, а Петрова смотрит. Величавая старуха. Типа Гоголевой, Пашенной.

— Вы слышали: Петрова любила человека по фамилии Уманский?

— Нет.

— А еще была такая история: на Большом Каменном мосту мальчик застрелил девочку и сам застрелился...

— Ничего не слышал. Видите? Вон старуха переходит дорогу?

Я напрягся: откуда у нас общие знакомые? Высокая, согбенная, короткие, седые...

— Вот такая была баба Настя.

И здесь — без надежды...

— Вас подвезти?

— Нет-нет, я до метро. Надо пройтись. Подумать.

О чем ты будешь думать сейчас? Уже пожимая руку, мне захотелось вытащить его оттуда, из морока, отрезать:

– Но у вас, потом... как-то сложилось?.. Появилась семья?

– Да. Да, – он счастливо и перекошенно улыбнулся, запрокинув голову, удивленно пробормотал: – И дочка больше похожа на Олю, чем на меня.

Я почуял: ничем ему не помогу. Или он мне уже ничем не поможет.

Последний раз в жизни я увидел Лямуна из окна такси – переводчик, ветеран арабо-израильской войны, рыцарь в нелепой защитной рубашке, пересидевший соперников над могилой, раб, шел мимо торцов пятиэтажек через дорогу от «Мострансагентства» в сторону метро «Улица 1905 года» – время его не видело, а мне предстояло доказать его несуществование; я передернулся от растекшегося по спине озноба и подумал о другом, отгоняя страх, – еще есть Р-ов, про «дальше», «если» и «потом» я не думал – я на службе; таксист вслушался в радио и презрительно хмыкнул:

– Во дебилы! Все сводят ко второй чакре!

Я переплатил ему полтинник.

Соседи шевелились, приходилось ждать, я попросил поменьше света, и каждый расположился в своем углу.

– Сейчас я тебя покормлю.

– Я не буду.

– Ты где-то ел? – В смысле: «Тебя кто-то кормит?»

– Нет.

– Тебе постелить?

– Все равно не засну. Освободится кухня, пойду посмотрю, нет ли чего нового в Интернете по теме.

– Опять плохое настроение? Не скажешь, почему?

– Ничего нового.

– Я звонила. У тебя был отключен телефон, с половины первого. Я думала, в метро едешь. Потом думала: день-ги кончились. Положила тебе деньги. Но до шести «вне зоны доступа», – она вопросительно замолчала, моя оче-

редь, я молчал, сейчас Мария показалась мне заплаканной. — Я узнала: Р-ов на два дня приедет в Москву. Пятого февраля у него концерт в БКЗ — Большом зале консерватории. Можно брать.

Мария подседа поближе: лизаться? — но она сложилась в «заметь, пожалуйста, как мне плохо...». Болит живот?

— У тебя что-то болит?

— Звонила Александру Наумовичу, — Мария ткнулась в меня и вдруг тихонько заскулила, я от неожиданности погладил ее по волосам — умер? — не успевая чувствовать ничего. А что, старики первые в очереди.

— Нет, ты что... — она проплакалась, — готовят к операции. Так обрадовался, что я позвонила, мне показалось, даже заплакал. У него... такой голос. Не его голос — ему там страшно. Когда операция, не говорят.

— Я поеду и дам денег. Его для этого и пугают. И операцию не назначают, уроды. А он пожилой человек, не может понять, что от него хотят. С этим все ясно. С этим все как раз просто. Все, что за деньги, я решу. Не плачь, девушка.

— Я просто подумала... Представила... Если с ним что-то случится...

— Это небольшая операция, может, и живот разрезать не будут, дырочку вот такую маленькую сделают. Типа сегодня операция, а завтра можно вставать, и через три дня домой. — Я почувал, что сижу, живу сейчас, как сквозь сон, в плывущей комнате, и заново подобрешими, пьяными, чувствительными к новым местам глазами озирался и будто впервые, прозрев, — раньше слышал только голос — увидел девушку: сидит у моих ног, такие у нее глаза, тонкокостное устройство — она живая, ей бывает больно, я не могу это почувать и пожалеть, но все равно — ее нельзя обманывать, пусть не тратит свою жизнь впустую, отходит в сторону, от ударной волны и зараженной местности; я ощутил себя больным в часы посещения,

солдатом в отправляющемся вагоне — не трогай ее попусту, не бери в руки; она показалась сестрой, незнакомым, родным человеком, что лечит, когда к температуре прибавляется насморк и болит глотающее горло, ее полагалось ограждать... я готов, я нагнулся и провел губами по ее волосам, по макушке, что она скажет еще.

— И подумала, если с тобой что-то случится... Жизнь — такая ненадежная! Запомни: я не смогу без тебя! — посмотрела на медленно разведенные пальцы, словно чуя, но не видя соединившую их паутинку. — Я люблю тебя. Я люблю тебя.

— В смысле: бери меня и делай со мной все, что хочешь? И у тебя никого не было до меня? Я — тот самый единственный? Пока смерть не разлучит?

Ей не понравилось:

— Нет. Просто...

— Лучше нам больше не видеться.

— Ты что? — Она вцепилась в мою руку, поймала, не выпускала взгляд. — Ты обиделся? Из-за того, что я... Ты теперь ко мне по-другому относишься? — она перевела дух, набираясь смелости. — Почему мы не можем быть вместе? Я тебе не нужна?

— Все, пошел в Интернет. *(Нужна раз в месяц. Месяц нужен, чтобы прошло омерзение с последнего раза. Твой месяц только начался, и я тороплюсь тебе сказать. В тебе есть, конечно, какая-то одноразовая привлекательность. И ты можешь успеть еще пару раз раздеться, но дальше...)*

Покачиваясь от бессонной, дурной слабости, я прокрался на кухню по паркетному скрипу, мне скоро отсюда, никто не плакал, я и не прислушивался — все, Р-ов едет в Москву... Маяла меня и пугала последняя встреча, не о чем будет думать, кончится, я выйду на крыльцо и скажу: *все* — освобожусь, засну и много раз с радостным спокойствием увижу утро, подкоплю денег, поеду на чемпионат Европы и отыщу на новой барахолке на Школь-

ной улице оловянного буденновца времен нэпа, двух, второго продам, можно сделать интернет-магазин; радость начнут доставлять снег, березы, метущие небо, увлекусь рыбалкой, изучу породы птиц, как называется эта трава — буду рассказывать детям, буду на них смотреть — вот это будущий «я»; они этого не знают, и я этого не чувствую, но это «я».

В «новых упоминаниях» вылетело празднично-синее «1»: на радио «Свобода» какой-то малый лениво ворочал какую-то старуху, служившую при императоре в ВОКСе — Всероссийском обществе по культурным связям с границей, — я, зевая до ослепления, до слез, посмотрел издевки над советской властью, над советской моралью в теннисном размере «вопрос-ответ». А вот и пример коммунистической подлости: посол Уманский имел любовницу в ВОКСе — нд-а, на кого там они ссылаются? — Зоя Лодейникова, ветеран ВОКСа, мемуары... — а, еще жива, улица Усиевича, совершенно сошла с ума на любви «ко всему мексиканскому»... Что там в ее мемуарах? Так, вот: «В Мексику Константин Александрович повез урну с прахом дочери и убитую горем жену» — обычные глупости; да, вот еще: «В Москве же он оставил любимую женщину — она работала в ВОКСе секретарем-стенографисткой» — ага, только Петрова ходила в помощниках заместителя наркома и числилась в наркомате иностранных дел... Хотя мог ведь Уманский трахнуть какую-то стенографистку, что-то рассказывать ей про дочь, про Петрову... Надо доломать — не понравилось мне... я перевел время на «все проснулись, день, ясно, начало зимы» — Лодейникова нашлась быстро:

— Да. Я помню. Это Лида Иванова. Она нисколько не моложе меня (*так жива?!*). Это такая трагедия... Они собирались объединиться (*ну, конечно...*) после его возвращения. Но государство не поощряло разводы и такую... любовь. И Эренбург даже написал, как страдал Уманский, когда уезжал из-за Лиды. Я легко вам дам ее

телефон. Хотя она очень больна. Нет, детей у нее нет. Совершенно одна. Никого не было, кроме Константина Александровича.

Я никак не мог вынырнуть, подышать. Кто-то умер из моих? Уже сказали, а еще не верится — не Петрова. Они хотят мне сказать: не Петрова *та* женщина, на которой мы строились, *не Петрова* — не Петрова А.В., она же Флам и по матери Топольская, не взявшая наркомовскую фамилию у Цурко, 1902 г.р., ее Уманский любил и уговаривал замуж в сорок первом — но *та* женщина, говорят они, не Петрова, *та* женщина, из-за которой всё: хотел развестись, но ради дочери не развелся, и до смерти страдал, — выходит, не Петрова, а какая-то Лида, стенографистка. Он упрятал свою бабу, хитрый еврей, так, что шестьдесят лет все без угроз и понуканий указывали на Тасю, — а мы без проверки взяли результаты старых упражнений по арифметике из учебника старых большевиков и семь лет втыкали лопаты — не туда. Смешно, как развели нас — с цинизмом — так случается при проведении следственных мероприятий, вернее — только так и случается, когда от слабого, неожиданного сотрясения почвы откуда-то сбоку вываливается ненужная правда... Куда же мне завтра, зачем приезжает Р-ов, столько выкопанных и выстроенных скелетов, потревоженных теней... я толкался среди изнеможенного отряда, я же клялся вывести их на сухое место, у меня же фуражка с красной звездой... я повалился на стол от дурноты, страшась вздохнуть — отпускает? — но только затягивало — и успел лишь... *телефон Лиды Ивановой*, да кто это?! — Я поднялся и упал на окно, словно собираясь пробить стекло и вылететь, и испуганно смотрел на смородиновую ночь — дома сливались с небом, мерцали окна... нежилые — одинаково позвоночными, перепончатыми столбами, жилые — ступеньками, хаосом, вразнобой и кое-где пересекались венозными тенями веток — я боднул свое отражение с ввалившимися щеками, скобками морщин: старый, мимо прожил — видна дорога вдоль дома, фонарь автостоянки

в жестяной раскачивающейся юбке, машина едет, кому-то кивая яркими, пушистыми фарами, чуть дальше проспект: машины черные, попадались серые и белые, едут ровно, как по жирно натертому, скользкому, по черноте, размеченной прерывистыми линиями и загадочными значками, вылизывая светом бордюры, одинаково замедляясь на липкой «зебре», — удивительно: все ехало само, иногда обгоняя друг друга, иногда двигаясь родственными парами под нависшими фонарями, пересекая тени фонарных столбов, выплескивая фокуснически исчезающие носовые платки выхлопов, отражаясь переселением народов, факельным шествием в витрине под загогулистым названием грузинского кафе — в обе стороны от пластилиново-зеленых газонов — с робостью плыли автобусы, троллейбусы посверкивали синеватыми вспышками по проводам, с обмахивающейся мигалкой протащился седоусый чистильщик в оранжевой робе, грузовой старик протащил бетонные неподъемные плиты — у него тряслась голова; по дальней стороне прокатил велосипедист, неподвижный, красный огонек мигал под сиденьем — повыше, вот, там, где противоположный панельный дом касался неба, на крыше торчали башни с квадратными оконцами, словно доты пограничных укреплений, а выше уже беззвездная тьма — слева в нее влывает клочками пар и копится съехавшим набок вязким облаком и справа тремя малиновыми точками, очертаниями креста — обозначен строительный кран, мимо, наискось, поднимался грязный бродяжий воздушный шарик, похожий на рыбий пузырь, туда, где выше всего, висело широкое... что с тобой? — что с тобой?

— Что с тобой? — За мою руку, чуть, чуть-чуть, упал, только заглянул... с закрытыми глазами. — Что с тобой?! — Покачался, лег на удивленную, на мягкую землю; вцепилась когтями в мой пульс, втирала в висок пахучую дрянь. — Ты меня слышишь? Сейчас, я открою окно. — Побыл один, там должна... обещанная метель, атом, водород, мировой океан, на руке распухало нажа-

тиями резиновое пожатие — давление — какое давление? — Склонилась надо мной, сочащиеся глаза, щекотные прядки. — Тебе лучше? Что случилось? Ты упал? Ты можешь мне сказать, что ты почувствовал? У тебя сейчас болит голова? Сердце не болит? Ты хорошо видишь? В руку не отдает? — Не могу говорить, я вытягивался, выгибался, словно тело пыталось зевнуть, расправиться побольше. — Если не станет лучше, вызову врача. — Лежал в темном тепле, смотря в неприметный угол, откуда ничто не смотрит в ответ, все чужое, все вокруг чужое. Она уходила звонить и советоваться. — Выпей это... А это надо рассасывать. — Проходили часы, открывал глаза: все время рядом, сразу нагибается. — Я так испугалась. А это просто спазм. Меняется погода. У тебя так раньше не было? Вот и хорошо. Просто надо выспаться. Сейчас будем спать. Уже поздно. Я тебя накрою.

— Они говорят: не Петрова.

— Что? Господи, главное — ты жив, понимаешь? Что мы есть, живы. И еще долго будем, милый. Я тебя люблю. Запомни. Что бы ты ни... Буду любить тебя всегда. Каждый день. И буду каждый вечер смотреть на дорогу, которой ты завтра уйдешь от меня, и буду верить, что однажды вернешься, даже если не вернешься, я буду верить — и ты вернешься... Поднимешь голову, и помахаю тебе рукой из окна: иди! И ты будешь всегда-всегда. И я всегда буду с тобой. Сейчас тебе надо поспать. Отдохнуть. Утром...

— Я не усну. Но понимаешь, если не Петрова.... мы не смогли. Те ребята, крутые, прикрытые со всех сторон, что всех закапывают, нас приняли и оформили. Там — в мосту — ничего нет, все утекло, и, значит, вообще нельзя ничего — все утекает. Я не хочу! — Я сел и вскочил бы, да она держала.

— Будет, как ты хочешь! Послушай, — сказала серьезно, — я тебе обещаю. Петрова. Значит, Петрова. Эренбург писал про нее. Мы не ошиблись, мы правильно все

выстроили — твою плотину — столько свидетелей, и все сходится. Написала — кто? — всего-то лишь одна пожилая женщина! Какая-то! Почему ты ей сразу поверил? Почему ты в себя не веришь?! Какая-то стенографистка, что-то там сплетничали про нее и Уманского — запомнили сплетни, прочли у Эренбурга, и все у них сложилось. Она же не знала, что это Петрова, про Петрову — все получится у нас, мы сильнее всех, спи! — И держала, крепко. — Но даже если и не... Важно то... Ты не один!

— Пойду. Не могу лежать.

— Подожди. Пойдешь. Я не буду тебя держать. — Поцеловала. — Дай мне немного своего времени, полежи спокойно и послушай меня, ложись... Слушаешь? — Она легла рядом, не касаясь меня, и говорила слабым, исчезающим, но различимым голосом: — Я тебя люблю. Представь лето, конец июня... Там, где кончается город, мы с тобой стоим на холме, высокая трава, жаркое солнце... Я люблю, когда тепло, когда теплый ветер... Ты в белой рубашке и светлых брюках, сандалии на босу ногу, а я в красивом легком платье... *(Не получится.)* Я — очень красивая, для тебя... У нас есть сын. У нас будет еще девочка. А потом, может быть, кто-то еще... Но пока только сын, мальчик. Похож на тебя маленького... Особенно когда улыбается. Он не может спокойно стоять на месте, надо все время куда-то бежать... Догонять бабочек. Но он боится шмелей. Наш сын бежит вниз, в лес, ты ему кричишь, чтобы не бежал быстро под гору... Мы скорее идем вниз за ним, тропинка заросла, трава щекочет ноги, ты помогаешь мне обходить крапиву... Где начинаются деревья — березы и дубы, еще боярышник — мы останавливаемся и целуемся... Нам всегда будет нравиться целоваться... Даже когда будем старенькие и у нас вырастут внуки... Я все равно буду красивой... Я для тебя буду всегда молодой. И мы стоим там, где тень, прижавшись друг к другу, и сын, подбежав, берет за руку тебя и меня, и мы замираем, слушая, как поют про свое птицы, как что-то стрекочет и шуршит в траве, и мы — так счастли-

вы... Столько света... *(Корни.)* Он ведет нас дальше, через небольшой овраг, там сухие листья и сыро... Мимо черных пней... Ты держишь меня за руку... Ты всегда меня держишь за руку. *(Маленькая рука, необходимое соединение. Дома.)* Он, наш мальчик, поднимается быстрее нас, первый, и кричит от радости... *(Железная посуда, я посмотрел, действительно, края изогнуты, плохо покрашено.)* Он зовет нас скорее... Он там увидел реку... Детей всегда волнует, когда много воды... *(Заячьи следы на снегу вокруг яблони, погрызенная кора. Снег набирается в сапоги.)* Когда не видно другого берега и лето. Он столько еще увидит! Ему столько еще предстоит... Ты срываешь листок ивы... Такой узкий, похоже на лодочку... Ива — доброе дерево. И мне говоришь... Мы все время разговариваем, даже когда молчим... между нами... не бывает... тишины...

* * *

Мне показалось, что не спал, но проснулся надежным, ленивым днем и еще полежал, и долго. Никого больше не осталось, из окон несло зимой, в батарее входила вода, и на немного, на удивление отчетливо на переезде «ванная-кухня» (на «кухне» я вышел и постоял: что у вас здесь?) я почувствовал одиночество — жалость или «словно жалость», что некому о себе рассказать, никто не знает, что уеду.

Лидия Ивановна Иванова разбитым, дряхлым голосом от встречи не отказалась, но попросила две недели, пока болезнь; я ждал полтора месяца, не сомневаясь, что на этот раз уроды дадут себя опередить: она доживет.

Дом десять по Симферопольскому проезду, третий подъезд, четвертый этаж, давно обитая дерматином дверь — шляпки гвоздей хороводятся вокруг замочной скважины и выстраиваются диагоналями — долго, неслышно шла она, эта женщина, к двери и отперла.

Белая рубашка, вязаная безрукавка. Маленькая, прямая. Короткая аккуратная стрижка. Подправленные помадой губы. Она готовилась. Когда старики готовятся, они наряжаются такими, какими хотели бы лежать в гробу.

Лида Иванова стояла внутри железной рамки, водруженной на колесики, — сломала шейку бедра, только так ходит. Она ни разу не выбралась из нее — сидела, как в башне, как в корыте. В квартире настойчиво пахло старостью.

Она все продумала: тапки, за стол поближе к фото, посмотрите настоящую меня — тоненькая красавица с матерым героем Валерием Чкаловым, опьяненным успехом трансарктического перелета в Америку, прочтите (дала понять, что жене Чкалова автограф доставил некоторое неудовольствие): «Милая девушка, моя соотечественница Лидушка. Этот снимок я дарю тебе на память о себе. И говорю тебе слова, которые для меня являются самыми дорогими: нет ничего лучше в жизни, как жизнь в Советском Союзе. Помни об этом всю жизнь, и в этом есть счастье».

Жила на Бахрушина. Родители? Простые служащие. Закончила школу и — на курсы иностранных языков при Наркоминделе. А зачем туда? Да вот туда. И поехала в Америку, заведующей канцелярией посольства. *(В двадцать лет, дочь простых служащих и не комсомолка, незатейливое вранье — твое счастье, что уже не важно.)* Ну и как вам Америка? Там кризис. Хотелось домой.

Лида Иванова отвечала настороженно, сухо и кратко. Сквозь кожу на руках подробно проступал скелет, она давно умерла, остатки живого едва мерцали в тумане.

Первый раз? Встречали Уманского в Вашингтоне на вокзале. Он с женой. Жена рассказывала, что выросла у родственников в Австрии на коровьем молоке, и сама похожа на корову. Я с ним дружила. И в Москве. Очень дружила. Где встретились в Москве? У Трояновских. Он вас сразу узнал? Лида Иванова с внезапным бешенством произнесла:

— А почему он должен был меня не узнать?! Странный вопрос!

Заходили к Эренбургу. Какой был Уманский? Не танцевал. Из еды — ничего особенного. Очень любил искусство. О политике не говорили. Всегда доволен своей судьбой. Знал иностранные языки. В Мексику? Говорил: если ненадолго, то хорошо (*это тебе так хотелось*).

— Как простились?

Заехал в ВОКС попрощаться. И что? Привез какие-то сувениры, торт. И что? Он же не со всеми прощался! А с председателем правления. И со мной! А почему не похоронил дочь? Он думал: быстро вернусь и похороню.

— Как вы узнали о его смерти?

Шла на работу — висит газета в траурной рамке.

И что?

Ничего, пришла на работу — всем рассказала. На похоронах не была. Нет, знала. Просто не пошла. Но я знаю, где та стена на Новодевичьем.

— Эренбург писал: перед отъездом в Мексику Уманский страдал из-за того, что расстается с любимой...

— Это про меня. Знала ли жена? Не знаю. Раиса в шутку как-то сказала: своего мужа отдам только Лиде.

— У вас есть фотография, где вы вместе?

— Нет.

— У него была ваша фотография?

— Наверное, нет.

— Он не думал взять вас в Мексику?

— Не было такого разговора.

— Обещал, что разведется?

— Нет.

— Вы не жалеете?

— Нет.

— Он вас любил? — Я уже устал.

Лида Иванова ответила медленней, по итогам десятилетних раздумий:

— Думаю, да. Любовь была.

— И все-таки: что он вам сказал на прощанье?

— Я не помню, — но я угрожающе молчал, и после вечной паузы она сказала правду: — Что прощаемся не на всю жизнь.

— Вам знакомо это имя — Анастасия Владимировна Петрова?

— Нет.

— Вы знаете, кто убил Нину Уманскую?

— Сын Шахурина. Не хотел расставаться.

Я закрыл тетрадь, она встрепенулась, посмотрела на мои руки:

— Надеюсь, вы никому про это не расскажете?

— Конечно, нет. *(На хрен кому это сдалось.)*

— Постойте!

Как я ненавижу эти дешевые признания на пороге.

— Уманский перед отлетом был у моих знакомых, это очень высокопоставленные люди. И сказал: я хочу изменить свою жизнь. И сказал: я имею в виду Лиду.

Во дворе, походив меж железных, раскрашенных в детские добрые цвета... Забыл спросить: почему за долгую жизнь «потом» она не вышла замуж? Возможно, ей показалось или что-то убедило ее, что любовь бывает одна. И надо ждать не только живых, но хранить верность мертвым, и *того* тепла ей хватило навсегда, и она любит и сейчас, как любила... Или — не везло, были, но не оставались, война сожрала лучшие годы и сверстников... И тогда она ухватилась за память, женщина не может одна... она таскалась к Эренбургу год за годом — о чем они говорили? — об одном: Костя, Костя, ах, Костя — Эренбургу ничего не оставалось, для засыхающей девушки он припоминал что-то новое: а знаете, был случай... а вот этого он терпеть не мог... — и получалось: разорванный в Мексике на обугленные фрагменты человек еще жил, от него доходили вести, она обдумывала новости ночами, заготавливала уточняющие, расширяющие... к следующей встрече — ходила к Эренбургу, числила себя в друзьях, звонила в единственную квартиру,

где признавали ее права собственности на Костю, знали, *чья она*. В ее повторяющихся воспоминаниях, в милосердном вытряхивании Эренбургом последних крошек их с Костей жизнь продлевалась и осуществлялось: кем стал бы Костя, чему радовался, а в какой год могли расстрелять за еврейский национализм (тревожились), а после радовались (а вот сейчас бы — министром!), без обсуждений признавая — *только она* в этой представляемой жизни рядом, ведь он так *хотел*, но случайно погиб... Вот зачем ходила к писателю бывшая стенографистка, а ей казалось: помогает писать мемуары, гнала ее жажда, опускала брезентовое ведро в высохший колодец за одним: за новыми подтверждениями от Эренбурга, за старыми подтверждениями, если нет новых, но пусть — с новыми интонациями, теплее голосом, другим порядком слов, а хоть и звук в звук (хотя, конечно, хотелось нового) — как Костя *хотел* остаться с ней, *как* сильно, *как* окончательно, *как* несомненно... и *что* в очередной раз выражало его лицо, когда он произносил «Лиды»... Ради прекращения пытки, из жалости Эренбург мог пуститься на хитрости (жалко ли трех неполных строк в трех томах?), написать *неправду* — придумать нищенке, «девушке друга» спасительное прошлое, вставить Лиду в историю, камешком в оправу, расчетливо-безымянно (ее и себя защищая от споров-удивлений-разоблачений) — написал и отделался, он продумал ее прошлое, пояснил ее самой себе, вознес, посадил на остров, и дальше она пошла без опоры, трогая диковинные цветы и поднимая голову на раду, а когда подступала тьма, раскрывала единственную книгу — те три неполные... и засыпала спокойно: она есть, *они* — есть, их любовь ничто не разрушит, они уже на небе... Могло так, могло не так, разницы нет, добровольно признаю под давлением открывшихся фактов: следствие с самого начала шло по ложному пути — «фам фаталь», Тася, женщина, умевшая с разными мужчинами быть разной, нас обманула. Я заглянул в зазвевший телефон, странно: Иванова — что-то забыл?

— Я столько дней переживаю, как плохо я с вами поговорила... Просто места себе не нахожу. Надо было рассказать все, что знаю (*ничего ты не можешь знать*). Но это так больно для меня...

Я выкладывал на стол кофе, конфеты, печенье. Прежняя блузка, но Лида Иванова словно размягчилась, подошла вплотную к разделявшему нас стеклу, у нее оказались другие пальцы, другой нос, я обнаружил в комнате деревянную тумбу с цветком — разве была? Она спешила, Лида Иванова, поняла, что я, кто бы ни был, кто бы меня ни послал, — последний, и больше никто ее не выслушает, но даже я — не слушал.

— Простлый раз вы разговаривали со мной, как на допросе (*ты просто глуховата, я заика, приходилось czeka- нить слова*), а меня никогда не допрашивали...

Простолюдины родители шевельнулись и испарились: росла в семье дяди — Н.И.Пахомова, наркома водного транспорта, жили в Доме правительства, дядя дружил с Калининым, трижды видела императора: зашел в обед на дачу к Калинину и подсел за стол, Калинин по кругу представлял едоков, все как-то шутливо, она с ужасом ждала: *про меня* — про нее: «А это Лицька. Только начала работать, а уже жалуется, что маленькая зарплата!»; еще — на кавказской даче Калинина император пододвинул тарелку: «Попробуйте. Вам должно понравиться»; прожевала что-то, стесняясь выплюнуть, дождавшись неизбежного вопроса: «А знаете, что это было? Бараньи яйца!»; и — там же, на Кавказе, на даче императора играли в кегельбан, нагнулась, чтоб пустить шар, и вдруг услышала за спиной голос государя: «Ловите!» Красивая девушка быстро обернулась: от императора летел к ней гранат — успела перехватить его у самой груди с обезьяньей сноровкой, он восхитился: «Все успеваешь!» — Больше ничего не помнит. О чем говорили, что ели, во что император одет — не помнит.

Устроили ее после курсов во Внешторг и согласовали в Америку — родители плакали, а Калинин одобрил, ей

двадцать с небольшим, я быстро подсчитал, сейчас — девяносто; в Америке понравилось, посольский сын катал на лимузинах, поражали магазины, возвращаться страшно — дядя нарком переехал из Дома правительства на Грановского и писал ей: тебя ждет комната, большая и светлая, — дядю расстреляли, и паспорт ее из квартиры исчез. Прислали Уманского — тот не танцевал, не пил, не злой. Близких отношений в Америке между ними не... близкие отношения начались в Москве.

Лида Иванова вернулась, паспорта нет, получила направление в ВОКС; председатель Смирнов принимал в мрачном, затененном кабинете: репрессированные среди родственников есть? Она, не закрывая глаз, зажмурилась от ужаса: «Муж тетки». Вдруг из темного, совершенно пустого угла за ее спиной возник смуглый человек, знавший по своей должности все, и тихо пояснил: «Это не прямое родство».

Да, все это очень... Что меня еще интересует? *Ничего.* Где вы встречались? Пока не вернулась его семья, я приходила в гостиницу «Москва», официант приносил еду из ресторана и раз выплеснул ей на ноги кипяток. Эренбург звал официанта так: «Гарсон!» Потом — у нее, жила в коммуналке, большая комната в арбатском переулке, два окна выходили в сад американского посла, — по ночам на лестнице дежурили люди правды, страшно подниматься в темноте после работы, зная — там кто-то невидимый есть и еще шепчет: «Поднимайтесь, не бойтесь». Воду грели на кухне, комната топилась дровами. Дрова раздобыл Уманский и перетаскал в комнату сам. Водил ее повсюду — в Большой театр, в консерваторию на Седьмую симфонию Р-ова, в летнее кафе в ВТО, гостили у Эренбурга, встречали вместе Новый год — не стеснялся, не боялся, со всеми знакомил. *Словно будущую жену.* Домой возвращались на трамвае или пешком, он хорошо знал Москву — показывал адреса великих.

Никогда не говорил со мной о работе, и о политике не говорил, и о будущем — ни слова, считал красивой, называл «цыпленком», «Лидуська», лежал с ангиной в больнице и передавал записки — записка сохранилась всего одна: как правильно распределить сигареты и шоколад из посылки. Ссорились один раз. Он первый позвонил: «Капитулирую». Я никогда не звонила ему сама.

Мне кажется, он не радовался, что уезжает (*Эренбург описывает прыжки восторга*), приехал сразу после гибели дочери, рыдал, не помню, что говорил, назавтра приехал на работу — проститься, и вечером — ко мне домой, ненадолго (*проститься — по-другому, за сутки между гибелью Нины и отъездом Костя увидел ее три раза, всю выбрал, до крохи; а вдруг и правда полюбил девчонку мужик, покатавшийся за сорок, и не радовался, что так удобно отцепит ее — уезжаю, и что тут поделаешь?*). Я очень переживала, но виду старалась не подавать.

Улетел. За два года (*полтора, но ей казалось — побольше*) — всего одна телеграмма (*ни писем, ни денег, ни посылок*) с Новым годом, и последняя строка: «Все мысли о Москве» (*только она, Лиде казалось, знала, что обещали эти слова...*).

Все. И погиб. И спрашивать не о чем.

— Каким вы его вспоминаете?

Лида Иванова отмахнулась, не покидая нержавеющей железной рамки на колесах, сама себе удивляясь, что *из-за этого* способна еще заплакать:

— Это слишком больно для меня.

— Что-нибудь вам дарил?

— Вещи, — слабо откликнулась она, — но они все разлетелись, — трудная жизнь, много потом всего... Швейцарские часы. Сказал: продашь, когда будет трудно. Забыла про них. Много лет потом... Нашла эти часы. Взяла в руки. И вдруг — они пошли. — Часы с его руки, сожженной десятилетия назад, вдруг пошли силой заведенной еще им, живым, настоящим, любящим ее, пры-

жины, бодро застрекотала железная жизнь. — И я... Я так заплакала. — Костя теперь уже точно в последний раз коснулся ее, и мне стало больно: а может, все это зря мы... столько умучили за веру...

* * *

Ни снега, ни льда, как в прошлом году, ныли от стужи картонные щеки, вот, когда хочется *домой*, надует в уши, шапку бы купить, и приходилось по сиреневому асфальту топтать, задирая плечи, подставляя ветру куцый воротник, шурясь на обозначения домов на четной стороне — какой-то праздник? — трамваи катили с флажками на бровях, силясь — сейчас сделаю, смогу! — вбежал, пропустив вперед всех убогих, купить себе все, что можно купить!!! — «Пациенты без бахил обслуживаться не будут», дал вахтеру с гербастой бляхой щитом полтинник в ответ на «Пропуск?», и — наверх, через второй этаж отправился искать переход в главный корпус мимо раскрытых дверей в душное тепло — что там? — зажигают свечи, больничная церковь, пощупал, запоминая, карманы — рубли, мелочь, доллары и евро. Надо бы конверт. Навстречу по стеклянному, залитому молочным сиянием переходу враскорячку переступал человек с забинтованной шеей и шумно вздыхивал через короткую синюю трубку, воткнутую в горло, оседлые, обольниченные родственники катили лысых, колченогих одногодков, я принялся насвистывать, пытаюсь выбраться хоть на какой-то мотив из «Русского радио», — еще навстречу попалась рослая, задастая девка, несла пакет, туго набитый тряпьем, и чью-то инвалидную клюку, держа ее двумя пальцами за шейку, — я покосился на морду, обернулся взглянуть на зад и запоздало понял: плачет, сдержанно всхлипывает на ходу — попросили забрать ненужные вещи.

В главном корпусе слева и справа потянулись двери — в очередях ждали женщины в париках. Из кабинетов выводили плачущих образованных дам, и санитарка провожала их к мягким стульям, советуя держаться и привычно приводя примеры исцеленной одною лишь верой в себя, — закончить и скорей отсюда валить!

Я остановился у лифта и заставлял себя не смотреть на лысую девушку в синем халате — на ее глаза. Она сидела у нужной двери и ничего не видела. Глаза остались, но из них что-то вырвали — две беспокойные черные раны.

По шестому этажу бродили-гуляли люди с раздутыми багровыми щеками, забинтованными носами, некоторые обожженно переступали в навернутых юбками простынях; я прошел в отделение мимо сгорбленного табора ждущих перевязки — палаты не запирались и смахивали на железнодорожные залы ожидания, — когда-то в таких залах бездомные устраивались ночевать, теперь пускают только по билетам, — я заглядывал наудачу и в каждой — сгорбленные пассажиры, измученные провожающие, в любое мгновение обрушится поезд, заберет; попадались добродушные, торопливые мордатые доктора, подводя встречных страждущих поближе к дневному свету, вопрошая в мобильник: «Так внезапно и появилось? Прямо с утра? И не увеличивается?», с одинаковой повадкой: оказались здесь случайно, и должны заниматься в эту минуту на самом деле чем-то важным другим, а здесь — так, мимоходом, по бесплатному совместительству. На пустом посту посреди отделения позванивал телефон и жарко горела настольная лампа, я перегнулся через стойку, искал листок с назначениями по палатам и нашел нужную — вонючую духоту:

— Здравствуйте!

Они — налево-направо, брезгливо, словно боясь заразы, я протискивался меж поросших седым пухом кадыков, синюшных ликов, приспособлений для извлечения

дерьма, чавкающих банок, жирных родственных спин, спящих, разинутых пастей — до окна: нет.

— Ваш вот.

Словно узнали, твари! — я поежился от гнева — и зачистили меня, кто-то заметил относящееся ко мне окликающее шевеление или простым способом: незнакомый человек может прийти только к тому, к кому никто не ходит, надо было принести еды — ничего, куплю.

Я присмотрелся с вежливой неприязнью, заранее зная: не он.

— Нет, — и в недоумении на пороге, готовя «а вы не знаете...», но, уже поймавшись на отвергнутый взгляд, вернулся, зачем-то подошел и даже нагнулся, затаив дыхание, чтоб не поймать запах: да — я не узнал Гольцмана, то есть — не мог узнать, его не осталось — птичий бескрылый скелет тонко тянулся под одеялом, Гольцман высох с быстротой, почти волшебной, до предпоследнего предела, он казался голым, обнажены цвета костей и тканей, на черепе появились вмятины и шишки, пожелтели зубы, голова свинцово вминалась в подушку в сиянии спутанных косм, он не удивился, не обрадовался, не пытался сесть, он опустил куда-то туда, где уже ничего не мог. Я пожал его теплое запястье-ветку, на тумбочке ждала заветренная манная каша и кусок хлеба накрывал чайный стакан (куплю ему газет), жалостливая тетя из местных подтолкнула мне стул движением осуждающим, но готовым многое простить, если я буду приходить.

— Что ж вы мне не позвонили? — зло, перебарывая омерзение, шептал я. — Я бы все решил. Ну, как вы тут? — Меня потряхивала бешеная... посторонние разговоры, дыхания, смертная тоска, хоть хватай кровать и укатывай на хрен. — Вас готовят к операции? Что вообще происходит?! Александр Наумович!!! — Скорей, пока кто-нибудь не подполз с пояснениями. — Вам есть все можно? Давайте встанем, походим. Здесь есть буфет? — Словно не слышал меня, вер-

нее, он куда-то сдвинулся, а я говорил на прежнее место, мимо, скромно просящие глаза мигали на меня, расположившись на недвижимой поверхности, словно из песочной кучи. У Гольцмана все было новое: ресницы, брови, щеки, цвет глаз — где он это взял? я никогда такого у него не видел; и руки, искривленные пальцы, широкие неопрятные ногти. Он лежал тихо, едва слышно заговорил, словно с середины, он не хотел, чтобы *они* знали, что он не хочет — как они — присоединяться, они обидятся, если узнают, что он пытается вырваться в одиночку из их общего заблуждения.

— Говорят, — он высоко перешагнул слезливую паузу детской жалобы, — рак.

— Кто говорит? — вступил я в заговор. — Врач что говорит?

— Врач ничего не говорит. Редко заходит. Вначале зашел: готовимся к операции. Теперь молчит. Спрашиваю: ждите. Очередь у них. Тех, что позже поступили, уже соперировали.

— Просто дать денег, — шептал я, — я все решу.

— А они говорят: рак.

— Кто вам это говорит?! Вам на исследовании сказали: полип?

— Полип, — он помнил, и вспоминал, похоже, это каждую минуту. — А здесь, с кем ни поговорю, все: рак. Кал черный был? Был. Сразу: о-о, это не полип. У нас такой один был. Так его разрезали, посмотрели и зашили. И выписали домой. И через месяц умер. Там рак был. Тут у всех онкология.

— Не надо! Никого! Слушать! О чем им еще говорить?! У них — рак, значит, у всех рак. Надо было ложиться в нормальные условия, за деньги. А не в эту помойку. Как вы сейчас себя чувствуете?

— Так... Ничего. Изменила, конечно, меня болезнь? — и вдруг он взглянул пристально на меня, надежда...

— Да ладно. Чего вы хотите? Я бы в таких условиях давно уж сдох! Хоть спите?

Он показал глазами: нет — и еще тише:

— Есть такие... Очень тяжелые. Кричат. Тошнит постоянно. Одного кормят через зонд.

Я отошел в туалет — отсчитал рубли, десять тысяч — вокруг трубы, уходящей в дырку в стене, тесно напихали тряпок, спасаясь от крыс; рыжий от ржавчины унитаза.

Гольцман уже сидел, словно осмелел:

— Звонил Маше. Отключен телефон.

— Надо нормально питаться, — весело затрубил я, закрыл Гольцмана спиной и сунул в его ладони деньги, он незаметным движением переместил их под одеяло. — Покупать и есть. Гулять стараться — хоть немного. Смотреть новости по телеку. И никого не слушать! С врачом я поговорю. Александр Наумович! Я вас не узнаю. Ничего пока страшного не случилось. Мало ли кто что сказал. Надо жить. Каждый день. И радоваться, — я держал остатки его руки и сильно сжимал на отдельных словах. — Никто не знает, сколько каждому из нас осталось. Но пока мы живы, мы можем все! Надо работать. Напишите, какие книги вам принести.

— Ты *сейчас* поговоришь с врачом?

— Я поговорю. Но вы должны помнить — вы не один. Вы нам очень нужны. Нам еще столько предстоит. В нашей работе, — я запнулся, выпал; я молчал, когда я шел сюда... и мне хотелось, оказывается... сейчас понял — хотелось, чтобы он узнал, что мы... Он всегда говорил какие-то верные, неизвестные мне слова, как-то все поворачивал в спасительную... Гольцмана не осталось, но даже этому, другому, хламу, «мясо-кости», непохожей, перепутанной тени, мне по-прежнему захотелось пожаловаться на *все*: что это — не *она*, как оказалось в последнюю минуту, а стенографистка Лида... что Вознесенская не нужна, она, они — оказались сильнее... Кому еще рассказать? Некому... Я ждал, давая ему заметить что-то, кроме его черного кала, спросить: а ты? где находишься? как мост? С каким все закончилось счетом?

Что все про меня, словно у тебя будет по-другому... Доложи, может, и я смогу чем-то... И сам отвлекусь, и ночью подумаю, успею позвонить тебе, надумав... Он боязливо взглянул мне за спину – на других, намеченных на съедение в первую очередь, и попросил:

– Иди. А то вдруг врач уйдет.

– Все. Будет. Хорошо, – блудливым, подлым, неузнаваемым голосом я улыбался так, что болели скулы.

– Ты идешь к врачу?

– Да. Я ж сказал.

– И потом вернешься?

– Конечно.

– Я жду, – он зашевелился и пересел поудобней, подтягивая, словно парализованные, сухие длинные конечности.

В дверях я обернулся и, багровея от стыда, бодро помигал ему и помахал рукой, как приятелю, как скотина...

За мной выскочила местная жительница из ухаживающих:

– Ваш-то прям доходный совсем. Очень худой. А Бог держит. Вы с его работы? Давайте знакомиться. Будем держаться вместе, неизвестно сколько придется...

– Пошла на хрен отсюда, – и я уже вырвался, шел, ускоряясь, поймав в углу толстую санитарку с мокрым пятнышком на халате, на соске левой или правой груди:

– Вы здесь ответственная за чистоту?

– Кто? Я? Я простая санитарка.

Я показательно перемял в пальцах три сотни и положил ей в боковой карман:

– Надо навести порядок в туалете шестнадцатой палаты.

– Сейчас надену маску, возьму кислоту и все сделаю.

У кабинета заведующего отделением – на табличке «доктор наук» – стояли просители с раздутыми портфелями и сидели просители, не имеющие сил стоять, не купившие чего-нибудь положить в портфели. Высокая,

с королевской осанкой старуха в черном платье в жульническом жестом задвинула в кружевной рукав тысячу рублей. На каталке подвезли маленького ошипанного старика, он спорил вполголоса с санитаркой, а когда та отошла, поискал хоть кого-то и нашел глазами меня:

— Ельцин столько наворовал... Я по нему плакать не буду!

Я не мог больше ждать еще и здесь, заведующий лениво вышел, вызванный телефонным звонком или велением мочевого пузыря, — повыше меня, свежезагорелый и белозубый, приятно-безликое, дремлющее комсомольское лицо с мальчишеским зачесом набок, как он умел в сдвинувшейся вокруг толпе не замечать никого, замер, словно в зарослях доисторических безмолвных хвощей, никто не осмеливался зануть или тронуть за руку. Я хмыкнул с укоряюще-приятельской интонацией «наконец-то!» и заведующему кивнул, веселый и здоровый я человек, принес деньги! Он, не просыпаясь:

— А вы?... — тонким, пресным голоском.

— Я! — Я прошел в кабинет, уставленный вазами, коньячными коробками и позолоченными предметами, на стене распласталась парящая медвежья шкура, на фото оруженосцы и стрелки улыбались над окровавленными кабанами в снегу и раздирали волчьи пасти пошире; я сел, заведующий, плотно затворив дверь, вопросительно возвышался, мелко погрузив кончики пальцев в словно защитные карманы халата, пытаюсь меня вспомнить.

— Надо как-то решить по отдельному размещению Гольцмана из шестнадцатой палаты, — я подсунул пятьсот евро одной бумажкой под штабель больничной макулатуры на столе, — а то Гольцман не спит.

— Гольцман? — заведующий спохватился, будто припомнив обещанное, занял стол и пролистал бумаги. — У нас одноместных, к сожалению... Но завтра после обхода мы найдем возможность его... Место в сдвоенном боксе.

— Нормально.

— То есть фактически — отдельная палата, только туалет и душевая на двоих. Цветной телевизор. Холодильник.

— Было бы здорово. А что там с операцией? Нельзя как-то ускорить? Я вам буду очень благодарен.

— Конечно, можно. Давно он у нас? Я просто так, визуально его не помню. — Он еще ни разу не взглянул на меня и перебирал истории болезней, напряженно ровно держа спину, вытягивая негнувшийся позвоночник так, что казался дальнзорким, словно больно читать буквы вблизи. — Вы... ему?..

— Работаем вместе. Лично заинтересован. — Я разглядел наконец имя-отчество на табличке. — Вячеслав Алексеевич, я бы очень хотел, чтоб вы и оперировали... Вас так все хвалят.

— Я бы рад... Но есть лечащий врач, есть определенный порядок... Не все, к великому моему сожалению, — бляел он, шлепая бесцветными губами, — зависит от вашего покорного слуги... Видите — доктор наук, вице-президент европейской ассоциации онкохирургов, сто шестьдесят две монографии... На полтора месяца вперед расписано, и это только те, что самотеком, — сложнейшие случаи! Да еще каждый день звонят. И — очень непростые люди. С работы — в десять вечера. А в половине восьмого — уже в отделении. А, вот он, Гольцман, Александр Наумович. Да-а, давно. Что ж мы так его... затянули.

— Тяжело вам, — я с восхищением вздохнул и присоседил к первой вторую бумажку в пятьсот евро, чуть тронув бумаги на столе, чтобы на вспышечное мгновение привлечь его боязливый взгляд.

— И тут дело даже не в... — признался он, сделав неопределенный жест в сторону моих вложений. — А время, время катастрофически...

— Может, как-то изыскать возможность... Ветеран войны.

– Воевал? – уважительно откликнулся заведующий.

– Да. Генерал-майор. В госбезопасности.

Заведующий стократ уважительней покивал головой:

– Это ж сейчас, самое... то! Ну, может, как-то... Сегодня вторник? А что у меня в пятницу? – он позвонил. – Алло? Алло? А что у меня в пятницу? А, да. А что там? Ага. Да. Помню. И сразу второй – да? Не звонил. Я позвоню, – бережно положил трубку. – Знаете, – и он заговорщически, потаенно мне подмигнул, – а если мы, – он даже зажмурился от собственной безрассудной смелости, – в *четверг*? – «Четверг» он выдохнул беззвучно, показал губами, проказливо поглядывая на дверь, за которой томилось быдло. – Прямо, – еще прошелестел, с наслаждением, словно вкусное, матерное слово, – в *девять*. – И еще был для меня подарок. – *Первым*.

– Буду вам очень благодарен...

– Так, а у него... – заведующий прочел, понимаясь потряс головой и протянул с непонятым удовлетворением, – у него мы имеем опухоль слепой кишки. Довольно большую. Есть подозрения на метастазы в печень, – «Метастазы» он произнес мимоходом, я почувствовал холод – словно раскрыли окно, и поежился, потер лоб, показалось: не выйду из кабинета, приходил, чтобы заплатить и весело выйти, заглянуть в шестнадцатую, проститься – не выйду, трудно врать, надо врать долго, чтобы не заподозрил, Гольцман заподозрит... так уже устал, что не заподозрит... согласится на вранье, чтобы протянуть еще, лишь бы я врал... я буду говорить неправду – все в палате будут презрительно слушать, не пряча злорадный смех, – я видел себя, уже не видел Гольцмана.

– Операция сложная?

Заведующий первый раз как-то непонятно взглянул на меня и нарисовал на чистом листе:

– Что-то надо попробовать сделать. По крайней мере – убрать первичную опухоль. Сделать анастомоз – обход. Другое соединение.

- Долго?
- Часа три.
- Он сможет потом... работать?

Заведующий вдруг заметил, что я устал, пропустил момент и не понимаю его, и медленней, убедительней произнес:

– Наша задача – убрать опухоль. И по возможности, – выговорил как дебилу, – *продлить. Жизнь.* О работе надо забыть.

– Хорошо. Так и надо, – сказал я сам себе и подстегнул: – А что еще надо, кроме операции? Какие-то лекарства? Все купим.

– Сейчас у него начала подниматься температура. Можете тиенам купить. Ти-е-нам. Но это дорогостоящая штука, швейцарская. Три-четыре флакона нужно на день. Надо, чтобы после операции кто-то был: помочь перевернуться, перестелить. На самом деле, – теперь он искал мой взгляд, – самое важное сейчас. Есть у него родственники?

– Сын. В Америке.

– Надо сообщить, чтобы он срочно летел сюда, чтоб успеть.

Уходи, но я хотел побыть смелым, за чужой счет, без маскарада, слабой, слизистой плотью, червем:

– То есть: умрет?

– Риск большой. Очень. Возраст, сосудистые заболевания. Слепая кишка – это инфицированный орган. После операции могут развиваться серьезные осложнения. Пневмония, инфаркт. Так они обычно и уходят. Вызывайте сына.

– Если не делать операцию?

Он развел руками – да воля ваша:

– Можете его под расписку забрать.

– И тогда? Сколько времени есть?

– Так вам никто не скажет. Может, несколько недель. Дней. Могут начаться серьезные боли. А может и так –

легко — уйти, и сам не почувствует, хоть завтра. — Он не мог понять, почему я молчу. — Идем на операцию?

Среди людей — потеснились — я присел, теперь *такой же*, все выходят с *такими* лицами и начинают ждать, молчали, придерживая локтями забинтованные бока, старик на каталке взялся кашлять, к заведующему отделением зашел кто-то веселый из местных, и они заперлись на ключ — за дверью взрывался неистовый хохот, распадаясь надвое.

Я не двигался, словно надеясь: еще не все, кто-то меня заметит и поможет, не понимая, но понимая — но *этого* не существовало, это же не я — человек в шестнадцатой палате, я — всего лишь слабое представление, я что-то чувствую, но только про себя — что я могу, что не хочу, и непонятную, душную горечь. Соседка из ухаживающих вдруг тронула мою ладонь:

— Кто? Папа ваш? Дедушка? Ничего... Ничего.

Посижу. Вдруг Гольцман поднимется и выйдет искать? Попросит кого-то?

— Так! Признавайтесь, кто приходил к Гольцману в шестнадцатую палату?

Я покорно поднялся, и толстомордый повар-кулинар отвел меня за две двери и вниз под лестницу.

— Куришь? Не отравлю? Слушай, твой дед — невменяемый, глухарь! Я ему объясняю, чтоб ты понимал: *у тебя скоро операция*. Он глазами так — вытаращил: *да*. Я говорю: *я — твой — анестезиолог*. Понимаешь? *Я — за тебя — буду — дышать*. — Дверь хлопнула, впустив холл, словно улица рядом. — Он, твой дедок-красноармеец, не понимает: *как это?* Ему мозг не проверяли? Не долбанутый? Я объясняю — еще раз: ты отключишься, *а дышать за тебя буду я*. От меня твое дыхание зависит. Если все хорошо сделаю, если правильный, дорогостоящий укол...

Я дал ему двести долларов — надо попробовать, тронул дверь — поддалась, — вышел и огляделся. Я оказался во

внутреннем дворе, дорожка вела наискось к проходной, где вроде бы всех выпускали без пропуска; я постоял немного, делая вид, что просто вышел подышать, затем быстро стянул и выбросил в помойное ведро лопнувшие бахилы и спокойными, широкими шагами двинулся к проходной, сгорбившись, глядя в землю, словно замерз или мне есть о чем — ничего не слыша — подумать, больше всего боясь услышать — будто отчетливо слыша уже — умоляющий судорожный стук сухих пальцев по стеклу, в окно, в окошко; за воротами я распрямился и пошел быстрее, вдруг пошлют кого-то догнать, и успокоился только в переулке, что выводил в сторону от метро, — никто не догадается, куда свернул, только забыл выключить телефон. Терпел, сколько хватало, выхватил — отключу! — не смотри, но посмотрел: звонил агент, мы ему уже заплатили.

— Да.

— Завтра у вашего клиента концерт. Он остановился в доме приемов грузинского посольства. Сегодня вечером будет скорее всего в номере.

В Скатертный переулок я прибыл в половине шестого и, натянув купленную в переходе черную киллерскую вязаную шапочку, прошелся туда-обратно по льду вдоль «мерседесов» с синими фонарями на крыше и телохрани-телей-столбов. Пустят ли меня в Дом приемов: грязные ботинки, дырявые джинсы, армейская куртка? В холле я мучительно вытер подошвы о швабристую подстилку и мягко прошел к стойке, удивленно обнаружив, что ступаю по нахоженной грязи — тропа общепита; поднял голову — две крашенные в белое женщины разговаривали между собой по-русски с заметным акцентом, я их не интересовал: иди куда хочешь.

— В 413-й, меня ждут.

— Вот лифт.

У лифта стояли два продавленных советских дивана с красной, распутившей нитки обшивкой, на этаже, как

в общежитии, часто вминались в стены дешевые, обклеенные пленкой двери с жестяными номерками, теперь я бы не удивился, если б в конце коридора обнаружил общий туалет. Он там и был. Что делал в этом доме блестящий и губительный Владислав Р-ов?

Его дверь оказалась в углу, за дверью гремела музыка — что же еще могло? — готовится к концерту? беседует с ослепительной посетительницей? все расписано по минутам? Я сделал еще туда-обратно, как возле двери любимой, и постучал. За дверью зашевелилось, и дверь открыли.

Клиенту шестьдесят шесть лет. Я увидел, что многое изменилось. Орел-погубитель встретил меня в дешевой толстовке. Остатки широкоплечести. Джинсы. Седоватая борода. Морщины, уже начавшие сжирать глаза. Хорошо слепленный нос. Упорно длинные актерские волосы. Я пытался сквозь мусор разглядеть *то* лицо. Или хотя бы — услышать *тот* голос.

В узкой холодной комнате две солдатские кровати. На ближней валялась спортивная сумка. На стул клиент сбросил пальто и серую кроличью шапку. В дальнем углу работал маленький ч/б телевизор: памятный концерт, интервью людей, вспоминавших какого-то покойника. Передача называлась: черно-белое что-то. Жизнь или люди.

Я сел на кровать и веером рассыпал рядом, чтобы он видел, но рукой не достал, фотографии молодой О. Вознесенской. Клиент бегло глянул, чтобы я не приставал: посмотрите! как вам? узнаете? — и с телячьей покорностью уставился на меня. Ваша воля, смирился он, надо перетерпеть. Он ждал нас каждый день с той минуты, с того года, когда телефонный звонок нашел его в Америке, он многое вспомнил и, возможно, о чем-то жалел, представлял, *какие мы* — а вот *такие*, на первый взгляд — ничего страшного... такой долгой оказалось эта... и так... закончилось, так чувствует себя точно и сильно пущенная стрела, видя, что мишень свалил ветер, приближаются деревья, сырой и пустой осенний мимолетный про-

стор... Я разглядывал клиента из болезненного далека, с горы. Если бы мы пришли пораньше... Если бы та женщина оказалась той женщиной, у тебя бы затряслись сейчас губы, ты бы узнал, с какой болью припоминается... и впивается правда, как пахнут вскрытые покойницкие брюшины, и вся твоя жизнь... Вот в этой самой руке. Как птичьи ломкие, бьющиеся, оперенные кости... Живи дальше, береги горло, тебе повезло.

– Да. Да. Да. Такая трагедия! – по старушечьи поахал он, перебарывая страх, ему нечего бояться, он же первым заговорил. – А что с ней было?

Я молчал. Он сохраняя вид «все в порядке», с надеждой наклонился поближе:

– Депрессия у нее была?

– Да.

– А она так любила мою собаку! А собаку потом я так – трагически! – потерял. У меня был чудесный сен-бернар – Боня!

– Вспоминали рыжую собаку. Я думал: эрдель.

– Да нет же, эрдели были потом! И так получалось, что негде было Боню оставить, и я всюду таскал за собой...

– На красной машине...

– Да! И Боня так понравился ей. Леонид Борисович Коган мне подарил Боню, а у меня гастроли в Японии – некуда деть...

– Какая она?..

– Кто? А, Оля. Да вот такая и... Как на фотографиях.

– Красивая?

– Очень умная. Музыку знала. Книги читала. Образованная такая... А-а, – он подавился, подавился. – А что она... сделала? Э-э... вы-прыгнула?

– Выпила таблетки.

Клиент опять издал «ах, ах, ах» и заметил:

– Раньше – недооценивали депрессии. А вот, знаете, недавно, у меня приятель... – И смолк. Он быстро замол-

кал. Это было бы плохим знаком, если допрос сохранил бы хоть какой-то смысл.

— Где познакомились?

— Я не помню. У кого-то в гостях. *Ей так понравилась моя собака!*

— Как вы расстались?

— Да, знаете, как бывает — люди дружат, а потом, — тихонько и бегло, — как-то расстаются.

Я собрался было уходить, но сел:

— У вас была какая-то необычная для советских времен красная машина.

— Да. «Джавелин»! Подруг? Никого не видел. Друзей? Нет, никого не знал. Дома? У нее не был. Отца-мать? Ни разу не видел. Бабушку? Не видел. Но бабушку она очень любила. Никого не помню. Мезенцов? Да, кажется, он и привел ее в те гости, где мы познакомились...

— Говорят, дрались с Мезенцовым из-за нее?

— Да что вы, не было этого...

— Одевали ее?

— Да что вы. Это я из Японии... Думал: что же это я без подарка? Что привезти? Она сказала: джинсы. Вот и привез.

— Встречали ее у института?

— Да нет.

— Вывозили на дачу к друзьям.

— Не жили на даче, никогда!

— Вместе на юге.

— *Два дня.* И она сразу уехала к подруге. О, смотрите — Кобзон! — он показал в телевизор, теперь, когда начались вопросы, он все время смотрел в телевизор так жадно, словно дома, в Питере, его серьезно ограничивали в этом удовольствии.

— Где же вы проводили время?

— Так, нигде. В рестораны я вообще не ходил. И она не любила. То грустная такая была. Так и смотрит в одну точку. А то вдруг — такая веселая, активная. И с таким

юмором. Сказала: когда я вижу Боню, когда он виляет мне хвостом, мне кажется, что у меня тоже есть хвост и я виляю ему в ответ, — клиент с удовольствием рассмеялся.

— А потом одна женщина позвонила Оле и сказала: теперь моя очередь ухаживать за собакой...

Он опять тихонько рассмеялся, приглашая меня задуматься вместе с ним:

— Кто же это мог быть? Эта женщина?

— Вознесенская хотела за вас замуж?

И еще рассмеялся, искренне, и отвечал в присутствии жены, маленьких православных детей и адвоката:

— Нет. Не было такого разговора!

— Щукина хоть помните?

— Он мой друг с четырнадцати лет!

— Зачем вы просили Щукина навестить Олю в больнице?

— Не помню. Она лежала в больнице? А с чем?

Я сидел спокойно, пересиливая желание ударить кулаком по лицу пожилого человека. Возможно, он не издевался, а придерживался последовательности в своем слабоумии — продумал линию защиты, времени хватило.

— Зачем Щукин встречался с Ольгой в день, когда она попыталась покончить с собой?

— А он встречался?! Мне ничего не сказал. Я обязательно... Обязательно спрошу его. При случае. Но, кажется, у него с алкоголем... — он страдальчески и сочувственно скривился, — сильно.

— Как вы узнали о ее смерти?

— Я был в поездке. Приехал — какой-то голос женский позвонил и сказал: вот это... Про вот это... Что с Олей... — произнес он имя, словно по оплошности, и быстро продолжил: — Господи, боже ты мой, как это вся тяжело...

— Говорят, она очень скучала по вам. Не могла забыть.

— Да? А вот Фельцман, — он узнал кого-то в телевизоре. — Он жив еще?

– Некоторые родственники Оли считают, что это вы виноваты в ее гибели.

– Да. Это, конечно, неприятно, – и он окончательно сосредоточился на телевизионном просмотре, какое-то время мы посмотрели передачу вместе.

Я встал и спросил уже в дверях:

– А что случилось с той... вашей собакой дальше?

– Ах, Боня погиб в ужасной автокатастрофе. Уже на другой машине. «Нива» у меня была. Я ехал из Питера в Москву. Ужасный мороз! Градусов сорок. Страшный лед. Но ничего не предвещало... такого. Я сделал еще доброе дело: вижу, подмерзает собачонка посреди дороги. И я подобрал ее. Отогрел в машине. Подвез до деревни. И она – такая веселая! – побежала к домам. И я, помню, подумал: ну, теперь хорошо поедем... И где-то под Калинином я разбился просто вдребезги. Все лицо порезал. Голова сошла с шейных позвонков. До сих пор мучаюсь от головных болей. Вот и сегодня... А Боня... Боня – вылетел сквозь лобовое стекло и ударился о дерево так сильно, что сломал его. И до весны лежал у нас, похоронить не могли – такие сильные стояли морозы, могилу не выроешь, а он тем более большой. Только весной зарыли на даче у отца, – и он не удержал горький вздох, пропитанный давно пролитыми слезами.

– До свиданья.

Вдруг клиент другим, не удержанным где-то, человеческим, мужским голосом живого существа сказал:

– Это вы оставите мне? – Старался мимоходом, не задерживая, подчеркивая «не имеет никакого значения», «если вам некуда выбросить, то давайте я», но все-таки просил, боясь показать рукой на клочки бумаги, грубые распечатки на принтере, с которых потерянно и преданно смотрела его любовь в черном платье – ее уже пользы ради забытое лицо, способное многое напомнить, добавить к его прошлому пару этажей, где можно походить, забираясь повыше, удаляясь подальше от точки «сей-

час» — ненадолго, порвешь и оставишь здесь, домой не повезешь. Я бросил фотографии на кроватное покрывало, и он затворил за мной дверь; я завернул за угол и подождал, клиент досчитал, наверное, до десяти и заперся на ключ — два надежных оборота. Вот теперь поговори с ней, может быть, она тебя расслышит, мне нужно идти, жизнь Ольги Вознесенской и других закончена, все пока умирают и умрут, нет — все умирают и умрут, нет...

* * *

Я приехал на Новодевичье в Вербное воскресенье, пусто, навестить коммунистические могилы шли немногие, повалил снег, едва давая перейти дорогу...

Нет — лучше октябрь, еще плавают корабли, дни равновесия, с утра на целый день небо перекрывает синь, а к вечеру по-снежному хмарит, а с утра свежо, зелено, сочно видна трава, и солнце нагревает лавочки, и расстегиваешь куртку, подставляя грудь ветру, словно март и зима отступает, и кажется, как и каждую весну, — навсегда... Дороги празднично засыпаны листьями клена, чистыми и гладкими, еще не сжавшимися в корявый комок усохшей кожицы, в смертную судорогу старушечьей ладони, я прошел подземным переходом, заглядываясь на киоски, торгующие женским бельем, отворачиваясь от разрезанных пополам инвалидов, от нищенок, и от главных ворот пошел вперед и направо, наугад, осторожно, высоко поднимая ноги, чтоб ни на кого не наступить, — круглый аквариум бережет цветы на могиле красногвардейца, надписи «Сынок...», младенец Инночка, капитан артиллерии, ненавистное «Приходит время — мы отдыхаем...», почти не встретишь привычных на простонародных кладбищах женщин в уборщицких халатах, в резиновых перчатках, с баночками воды и краски — стоят, поглядывая на солнце,

расставив руки, и по очереди нагибаются к родным холмикам, к свежо перекопанной земле, наращивая горку вырванных сорняков... Я понял — скоро, как только пошли Молотовы, Микояны, Аллилуева, а вот Орджоникидзе, Вася Сталин, навсегда — Вася, красавица Екатерина Тимошенко — слушая рассказы о ней, испытываешь легкое волнение: умерла одна, поняли, когда заметили, что птицы залетают в форточку и что-то клюют — падаль в квартире... Слова «от себя» могли позволить безымянные, ничтожные, а маршалы и наркомы, железные люди — и здесь встали молча, истуканами, спина к спине, вон они — наискось от Фурманова и Островского, приметного каменной буденновкой и ярчайшими гвоздиками, в соседстве с матерью Молотовой-Жемчужиной, матерью маршала Жукова, семейным гнездом Калинина — вот они, сразу после каменного мальчика Димитрова Мити вечных семи лет, Шахурины — гранитная скамья, массивная, как саркофаг, гранитный короб, ледяной, не присядешь даже в жару — так я себе и представлял; по углам участка — пень от спиленного дерева, пень от сгнившего дерева и пень от дерева, сломанного страшной бурей, пронесшейся в августе по Москве так, что с Новодевичьего монастыря снесло кресты; вот они — три человека, семья, три плиты: на сером постаменте, широкая и самая высокая — отец, звания, регалия; мать — узкая и чуть ниже; «Володя Шахурин» — без постаментов, отдельно, но вровень с матерью, каждая плита чуть развернута по отношению друг к другу — за спинами их три лиственницы, скульптор Сальман, архитектор Студеникин, какую задачу поставила им «черный бомбардировщик», любительница фарфора и широкополых шляп Софья Мироновна, что хотела сказать серыми камнями? На островке земли тянулись усы крапивы и зачатки клена из летучего семени, листы одуванчика и подорожника, в двух стеклянных коробках из оргстекла — искусственные розы и тюльпаны, в граните отражалось мое лицо. Я покрутился — где те? — и двинулся на пробу за спину каменному Семашке, к башне

с замурованным прахом вольных и невольных членов общества любителей крематориев. В широкой части башни основательно и роскошно расположился Дмитрий Ульянов, в боковом откосе — я узнал их с двадцати метров, увидел — Уманские, и обернулся, чтобы убедиться — да, красивую Нину Уманскую и здесь никто не заслонял от одаренного мальчика из «Четвертой империи», кто-то позаботился, чтобы так; в их заброшенном, неухоженном уголке кто-то копался совком. Раиса Михайловна родилась 9 марта, ее плита справа сверху, отец родился 14 мая, плита с его должностью левее и позажиточней — из камня, Нина родилась 16 августа — плита ровно под отцом. Под плитой Нины Уманской облицовка башни треснула — виден зеленый мох на кирпичах и черная щель, но все лучше, чем стеклянные окошки, дающие подсмотреть металлические кубки или пластмассовые коробочки с пеплом. У матери и дочери плиты бедные, казенные, с парой просверленных дырочек — словно от сорванных фото. Странно, что Уманскому не досталось фотографии, так долго везли его из Мексики, могли подготовиться. Нет полочек, чтобы оставить цветы, никто не поставил в подножье башни баночку с астрами, только намеревается вырасти самостоятельно рябина, да не успеет — ударит ноябрь, и все. Но — за краешком плиты Нины Уманской торчала пересохшая гвоздика. Кто-то принес ее на день рождения в конце августа, кто-то еще неприятно присутствовал здесь, кроме нас, кто-то остался, кого мы так и не нашли.

Женщина, копавшаяся в земле под соседними плитами, разогнулась и взглянула на меня, ей казалось: она здесь хозяйка. А хозяином хотел быть я.

— Кто вы?

Она что-то почуяла и живо представилась:

— Я из Орловых. Отец поехал посланником в Уругвай и там умер в сорок четвертом году. От рака! В сорок два года! Сотрудник внешней разведки. А вон там — Деканозов, ничтожная личность!

Деканозов – единственный, кому войну объявили по форме, немцы вызвали в МИД поутру и объявили (император дословно повторил за императором Александром I, встретив весть об очередном нашествии мира на русских, бессильным: «Мы этого не заслужили»), но Деканозов страшным 22 июня «быстро справился с собой», заявил «недрогнувшим голосом» что-то наподобие: мы все равно победим – и прыгающе шагал в сторону выхода, а Риббентроп бежал следом и шептал: «Это все Гитлер. Я ни при чем. Это все Гитлер».

– А это Уманские, – показала она, – они...

– Все знаю. Дочь убили. Отец и мать разбились в самолете, задержался вылет...

– Вылет задержали из-за мамы Нины Уманской.

Я помолчал. Но из вежливости спросил:

– Почему вы так думаете?

– На похоронах говорили, и мама моя запомнила. Раиса Михайловна взяла на память часы с руки Нины, золотые часы. Часы не разбились на мосту, и Раиса Михайловна их носила. А в день полета – куда они там собирались? в Коста-Рику? – оставила дома или потеряла в машине. Она уже по дороге на посадку заметила: часов нет. Смотрела под ногами, в сумочке. Ей кто-то помогал.

– Военный атташе Вдовин.

– Точно. Моторы самолета уже завелись. Раиса Михайловна попросила его сбегать в машину – посмотреть. Вылет задержали, он побежал, искали с водителем, и еще издали Вдовин помахал рукой: нет, не нашел. Раиса Михайловна сказала: значит, не будет нам сегодня дороги. И села на первые ряды, где меньше укачивает.

– А цветы, – трудно говорить, задыхаясь, я словно падал в это неприметное лицо, все заканчивалось, так больно, – может быть, вы знаете, кто приносит Нине цветы?

– Это я. У них же никого нет. У меня еще здесь мама моя, – тепло, поглаживающее взглянула она на черную...

под ноги. — И сын, — она наклонилась к разрыхленной земле, к своим грядкам и прошептала: — Сыночек мой... — и подняла заплакавшие глаза на меня, проститься. — Так что цените жизнь... Цените любовь. Цените друг друга! — словно обращалась не к одному мне или видела кого-то еще со мною рядом, и я вдруг ослепляюще, с облегчающей резкостью увидел — сошедшееся, сцепившееся *всё*, середина моста, берега исчезали, и я смотрел вниз на измятую воду.

* * *

Все еще спали, я двигался неслышно, постояв у каждого окна, — такси уже приехало, в салоне горел свет и белел газетный разворот; вот теперь хотелось спать, раздирала челюсти зевота; я одевался, задевая знакомые углы, не попадая в рукава и злясь на пуговицы, — лишние, раздражающие движения невыспавшегося человека, — и в каждой комнате слышал подступающее море, шумел ветер и раскатывалась волна; море стирает мелочи, стирает все — и остановился над чужим дыханием — из-под одеяла торчал клок черных волос — это жена, я сказал в темноту: «Жена». Я позвал, зная, что никто не ответит, но почему-то испугался: может быть, она умерла? Нагнулся и три раза спросил, прямо в ухо: ты жива? — на четвертый еле уловил ладонью (гладил ее волосы) какое-то движение, не зависящее от моих желаний, от меня, — жива.

По двору мы проехали тихо, я вспоминал, глядя на обочины, — ничего точного, отдельного, вспоминал словно сразу все целиком, или это дом и ближайшие улицы запомнили меня, разматывая, как бинт, до конца, и чем быстрее и дальше отъезжали, тем вспоминалось меньше, меньше оставалось меня, и вот и совсем не осталось, можно больше в окно не смотреть... Я устроился подремать, расшнуровав левую кроссовку — натер себе ногу, над пяткой,

больно, особенно с утра. Приехали рано, я, вздрагивая, походил, чтоб не окоченеть, а когда потеплело, ждал на лавке, наблюдая, как мальчишки на поляне гоняют в футбол — последний раз на воздухе, завтра повалит снег, и уже не выпустят, не допросишься. Я болел за слабых, четыре — один, и мечтал подать мяч — *один раз*, но мяч ни разу не отлетел ко мне. На соседней лавке серьезный мальчик представлял свои пластмассовые армии звероподобных монстров, полуящеров с зазубренными мечами и лучевыми пушками, человеков-пауков, расправлял клешни роботам, утыканным пулеметными стволами, нашептывая под нос боевые задачи, с удовольствием убеждаясь, что я восхищенно наблюдаю приготовления к битве; я смотрел на него: узколобая головенка, маленькие татарские глаза, жесткая шерстка на голове, знать бы: вот кому быгодились мои буденновцы, матросы Октября, «Ледовое побоище», красные казаки, мотоциклисты и пулеметчики, пограничники, медсестры, знаменосцы пятидесятых, регулировщики, «столбики» в больших касках, прозванные «фрицами», оловянные произведения Тулы, Брянска и Мелитополя, солдаты Победы, часовые с отломанными штыками и бесценная «качалка»-Чапаев, выкупленная на интернет-аукционе у одного жадного немца, «командиры на параде» в мешковатых мундирах, полковые музыканты и лыжники финской войны. Я дождался его взгляда и кивнул: давай! — я ухожу; почему-то не хотелось уходить незаметно. На площадке, высоко над рекой лоточная торговля ожидала автобусы с туристами, я хромьял — вот болит нога! — выискивая железо. Среди бюстов Ленина, Сталина и Дзержинского, подстаканников и пепельниц попался на одном только лотке набор из шести «солдат в походе» Ленинградского карбюраторного, но — без командира; можно купить всех рублей за двести, а утепленный спортивный малый огласил: *триста* баксов; я усмехнулся и двинулся к лестнице, еще раз обернувшись на мальчика — тот остался у лавки, но тоже обернулся на меня: что ж не остался смотреть? и поду-

мал: жаль, не было у меня сына; и придумывал: был бы сын, и я бы начал подыхать — кто отважится посидеть рядом? на агонию... Средний медперсонал разбежится по чаям и перекурам, да и сын окажется далеко — на заработках и в поисках удовольствий, растает, вырастет из моей жизни к тому времени; я бы тогда позвал перед отъездом его маленького, из прожитого, вот такого, непонимающего — моего мальчика, и он тут же примчится, стукнет дверь и приляжет на меня, на мое последнее дыхание своей легкой тяжестью, своими синяками и царапинами, боевыми болячками и замрет, отдавая все, что может отдать ребенок, — свое тепло, прикосновение чистоты, свой покой и то, что дается ему тяжелей всего, — свою живую неподвижность, и протянет, как всегда протягивал прежде, — разгрызть упрямую фисташку, я поймаю и утвержу на зубах серый, костистый орех, и скорлупа треснет — и сморщенное зернышко вложу пальцами прямо в его клюв, и умру... мальчик не оставил бы меня, он бы сразу пришел, как только позову, он бы услышал, что там, наверху? Облака, как расплющенные слоны, гряды, веера, перья домашней птицы во дворе птицебойни, как подушечное нутро, щенячий, нежный испод, как нашлепки на низком, с виду прозрачном, а по правде — наглухо завинченном, плотном, дешево раскрашенном небе, расчерченном самолетными шерстяными нитями — чистая пустота неубедительна.

Неожиданно появилось солнце, не надеялся увидеть до весны. Я спускался, вступив в сырую тень, где ледяная и мокрая трава, под мостик, сочившийся водой, шел дальше под согнувшимися добрыми ивами, там, подальше виднелись елки в кочевнических шапках, зеленые склоны лопались сочащимися больными тропинками, привставали на носочки дубы — выросшие дети играли в рыцарей деревянными мечами, заучивая нехитрые боевые приемы на глазах встревоженных и любующихся полноватых, некрасивых единомышленниц, метивших в подруги и старавшихся все разделять и быть поближе,

чтобы оказаться первыми на открытии распродажи, — они сидели на распиленных стволах, на чурбачках с гнилым, коричневым, мягким, продырявленным нутром, на ближнем к тропинке дереве обрывок бело-красной ограждающей ленты чьи-то умелые руки заплели косой.

Пора; я сошел с дороги и, расставив для равновесия руки, съехал на пятках вниз короткой тропинкой, резко спускавшейся, а потом взбирающейся на той стороне оврага меж дубов с влажными подножиями — корни ступеньками вспухали из земли. Здесь мертвая листва уже срослась в сплошной ковер, я чуял усталость и близкий, заработанный покой: вот идет человек, давно работающий в ночь, ступает по ненастоящему утру, здесь он случаен, его ждет постель, его день заканчивается, когда появляется солнце.

Не выдержал и обернулся — нет никого? Нет. Да и не может быть, знаю. Но ждал. Человеку, позвоночному существу, трудно не верить в то, что его никто не видит, что никто за ним каждое мгновение матерински не следит, что он никому не нужен и никому его не жалко. Я увидел впереди реку, там фонари изгибались, отвернувшись от воды, выпустив из разбитых снайперами глаз патроны на желтых жилах; ближними к воде оказались сухие липы с переломанными в локтях ветками, висящими на одних лоскутах коры. Еще сюда, к воде, из леса добралась только крапива, в ней торчала рогатая ветка, воткнутая рыбаками.

Я не мог себя сдержать и все оборачивался на тот угол, в той край, где из леса выбегала тропинка и вела ко мне коротким путем, — все не мог поверить, что — никого, а когда все-таки смог, все равно казалось: это сейчас никого, просто опоздали, придут, когда поздно, погорюют, попеняют еще себе.

Вода расстилалась ровно, выглаженно, непрозрачно, как небо, только слева и справа не умея растянуть рябь, покачивала пару листков, галочье перо и раздавленную в гневную смятку белую сигаретную пачку.

По той стороне ртутно-бесшумно катили машины. Сухой листок карябающим пустым коготком царапал каменные плиты, меж которых пушилась трава. На будке кассира виднелись опущенные железные жалюзи, дверцу охранял замок, причал, разукрашенный кляксами точных птичьих попаданий, оградил турникетом. Моя страна с плакатами «Купаться запрещено» над помоечными лужами.

За опорами моста виднелась баржа, вдоль реки шла женщина, что-то несла, словно лоток на груди, ручная торговля, но подошла поближе, и оказалось — несла ребенка в какой-то попоне, закрепленной на шее, безволосая голова спящего младенца высоко выступала из тряпья. По фанатичному, высохшему лицу и прыгающей походке матери легко угадывалась фанатка закаливания, рожавшая дома в ванной. Мы хотели бы уходить туда только затем, что, может быть, там смогут окликнуть... чтобы... материнские руки, и впереди расстилается лето, и никогда не кончается июнь.

Я вздрогнул — так неожиданно увидел корабль. Он оказался уже на середине реки, его приближение спрятали автомобильные завывания на мосту — корабль приближался, целясь словно мимо причала, на корме болтался неразличимый застиранный флаг, вяло, как огонь, еще не решивший, стоит ли ему разгораться.

Корабль плыл ровно, не нарушая дыхания реки, сделавшись ее частью, только впереди ровно и серо бурлила вода цвета грязного снега. В пустых иллюминаторах, окнах я не видел людей — корабль плыл словно сам по себе. Пройдя причал, он вдруг резко повернул, остановился и, сильно качнувшись, начал сдавать назад, на корме появилась человеческая фигура с петлей, канатом в руке, так незыблемо, словно была там и раньше и я ее просто не видел.

1997–2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| Финский лыжник | 5 |
| Шашлыки | 11 |
| Мост | 23 |
| БКМ. Справка по делу | 29 |
| Пароход | 36 |
| Проблема | 46 |
| Маскарад | 55 |
| Море | 71 |
| Невидимка | 82 |
| Ишейки и собаки | 92 |
| Свидетели по существу | 106 |
| Смотрящий | 114 |
| Бухгалтерия | 124 |
| Шахурин: результаты наружного наблюдения | 127 |
| Отец и сын | 139 |
| Дачник | 146 |
| Соня | 157 |
| Тот, кто все видел | 168 |
| Облака | 178 |
| Библиотечный день | 188 |
| Кремлевские стены | 194 |
| Куйбышев, Куйбышева | 205 |
| Убийца | 215 |
| Америка | 223 |
| Америка-2 | 233 |
| Америка-3 | 245 |
| Рыбная ловля | 258 |
| Бригада дяди Феди | 275 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| Z | 283 |
| А и Б | 293 |
| Фам фаталь | 300 |
| Свобода половой любви | 311 |
| Рыба карп | 321 |
| Личные листки | 334 |
| На покое | 350 |
| Раскрасчица тканей | 359 |
| Фамилии-отчества | 383 |
| На самом деле | 392 |
| Плохие приметы | 403 |
| Игроки | 411 |
| Немые | 434 |
| Союз друзей до гроба | 454 |
| Девушка | 470 |
| Вопросы на ответы | 482 |
| 3 июня (<i>начало</i>) | 492 |
| Ich hatte einen Kameraden | 502 |
| Мрак | 518 |
| Чубчик кучерявый | 530 |
| Доверитель | 539 |
| Отец | 550 |
| Мексика | 561 |
| Жажда | 587 |
| ММ | 599 |
| Восемь неотвеченных вызовов | 612 |
| 1943 год | 625 |
| 3 июня (<i>далее</i>) | 628 |
| 3 июня (<i>далее</i>) | 646 |
| Ключ | 679 |

Литературно-художественное издание

Терехов Александр Михайлович
КАМЕННЫЙ МОСТ
Роман

Заведующая редакцией *Е.Д. Шубина*
Младший редактор *М.А. Горелова*
Технический редактор *Т.П. Тимошина*
Корректоры *Н.П. Власенко, Т.П. Поленова, И.Н. Волохова, С.А. Войнова*
Компьютерная верстка *И.В. Михайловой*

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 3а

ООО «Издательство АСТ»
141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 9б
Наши электронные адреса:
www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано на ОАО «Нижеполиграф»,
603006 Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

Что можно увидеть с Большого Каменного моста?
Кремль. Дом на набережной. А может быть, следы трагедии:
в июне 1943 года сын сталинского наркома из ревности
убил дочь посла Уманского. Но так ли было на самом деле?
Герой нового романа Александра Терехова –
бывший эфэсбэшник – через шестьдесят лет
начинает собственное расследование...

«Каменный мост» – это роман-версия и роман-исповедь.
Жизнь «красной аристократии», поверившей
в «свободную любовь» и дорого заплатившей за это,
пересекается с жесткой рефлексией самого героя.

ISBN 978-5-17-058261-7



9 785170 582617

www.elkniga.ru